

Славянский
АЛЬМАНАХ

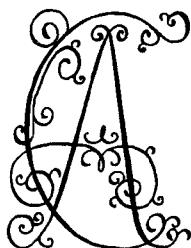


2002

Министерство культуры Российской Федерации
Российская академия наук
Институт славяноведения

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ

2002



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2003

УДК 94(367)

ББК 63.3(4)

С 47

Редколлегия:

Т. И. Вендина, профессор

В. К. Волков, чл.-корр. РАН, профессор, директор Института славяноведения РАН

М. А. Робинсон, заведующий Научным центром «Россия и славянские народы» Института славяноведения РАН (отв. редактор)

В. А. Хорев, профессор

Славянский альманах 2002. — М.: «Индрик», 2003. — 560 с.

ISBN 5-85759-239-9

Шестой выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2001 году в Калуге, а также Круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Калуге и Москве.

Открывается альманах разделом, в котором помещены доклады, произнесенные на пленарном заседании конференции в Калуге. Содержание остальных разделов альманаха составляют материалы по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов. В состав «Славянского альманаха» включены также сообщения, прозвучавшие в рамках упомянутых Круглых столов и симпозиумов. В данный выпуск альманаха добавлен специальный рецензионный раздел, посвященный изданиям по историко-культурной проблематике.

ISBN 5-85759-239-9

© Коллектив авторов, 2003

© Издательство «Индрик», 2003

От редколлегии

Ежегодно в России 24 мая День славянской письменности и культуры отмечается разнообразными мероприятиями. Проведение ежегодной научной конференции «Славянский мир: общность и многообразие» и соответствующих ей Круглых столов и симпозиумов также приурочено к этому национальному празднику.

В 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, и 2001 гг. такие конференции проводились в Костроме, Орле, Ярославле, Пскове, Рязани и Калуге. По итогам этих конференций было подготовлено шесть выпусков «Славянского альманаха». Альманах, являясь ежегодником, выходит в свет в мае к очередной конференции. Седьмой выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2002 году в Новосибирске, а также Круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Новосибирске и Москве.

Открывается альманах разделом, в котором помещены доклады, произнесенные на пленарном заседании конференции в Новосибирске. Содержание остальных разделов альманаха составляют материалы по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов. В альманахе имеется и специальный рецензионный раздел. В седьмом выпуске альманаха открывается и новый раздел, посвященный публикации материалов по историко-культурной проблематике.

Мы надеемся, что ежегодное издание «Славянского альманаха» будет способствовать дальнейшему изучению и распространению знаний о славянском мире.

Н. Н. Покровский
(Новосибирск)

Поиски и находки памятников кириллической письменности и печати в Сибири*

Праздник дня памяти святых Кирилла-Константина и Мефодия имеет особое звучание в Новосибирске, где со середины 1960-х гг. имел место научный феномен, названный академиками Д. С. Лихачевым и А. М. Панченко «Археографическим открытием Сибири»¹. Возникший в Новосибирске в 1965 г. третий центр страны, специализировавшийся на поисках и изучении кириллических памятников, во многом обязан своим быстрым и успешным развитием одному важному обстоятельству. Археография — одна из старых и наиболее традиционных гуманитарных наук, уходящая своими корнями в средневековье и Возрождение; на пустом месте ее развивать долго и трудно, но пересадить можно. В 1965 г. археографический центр в Новосибирске начали создавать ученики двух наиболее известных в стране, наиболее богатых опытом столичных школ — московской и ленинградской. Еще в 1959–1960 гг. академик М. Н. Тихомиров, возглавлявший тогда Археографическую комиссию АН СССР, отправлял в Сибирь и на Дальний Восток разведывательные археографические группы². Вопреки мнению скептиков, оказалось, что древняя русская книга здесь была; почему-то русские крестьяне-переселенцы веками везли в Сибирь среди других крайне необходимых на новом месте вещей и древние рукописи, старопечатные издания текстов Писания и Предания, и литературные записи, и исторические сочинения древних византийских и русских авторов. Но одновременно выяснилось, что традиционные методы археографического поиска, дававшие отличные результаты на Русском Севере, в других регионах Европейской России, здесь требовали немало пересмотра. Крестьянская среда бытования древних фолиантов требовала особенно бе-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 02–01–00314.

режного и искреннего к себе подхода, выработки новых методов взаимовыгодного сотрудничества. Именно это навело Михаила Николаевича на мысль, что московские экспедиции будут здесь менее эффективны, что нужно создавать сибирский археографический центр. Для быстрого его развития он и пожертвовал недавно возникшему Сибирскому отделению АН СССР свою уникальнейшую коллекцию древних русских рукописных и старопечатных книг³.

Но когда я приехал в Новосибирск с этими книгами и планами подготовки первой экспедиции из Новосибирска, оказалось, что такая экспедиция уже отправляется в путь. Ее возглавили ученики знаменитой ленинградской школы академика Д. С. Лихачева — Е. К. Ромодановская, Е. И. Дергачева-Скоп и свердловский искусствовед В. Н. Алексеев. Летом 1965 г. они привезли в Новосибирск 38 рукописных и старопечатных книг, включая интересный рукописный сборник XVI в. с необычной редакцией главного сочинения русского писателя преподобного Иосифа Волоцкого «Просветитель». Это было весьма окрыляющим успехом⁴. И вот так получилось, что новосибирские ученые из НГУ, ГПНТБ и Института истории, филологии и философии смогли разворачивать археографические исследования, опираясь на весьма весомую научную поддержку, как Археографической комиссии, так и Пушкинского Дома. Нашему становлению активно способствовали как москвичи Михаил Николаевич Тихомиров и Сигурд Оттович Шмидт, так и питерцы Дмитрий Сергеевич Лихачев и Владимир Иванович Малышев. Без них мы вряд ли сумели бы доказать партийным чиновникам разных уровней, что церковные древности нужно и при советской власти спасать, хранить, изучать.

Перед передачей Тихомировского собрания в СО РАН я помогал М. Н. Тихомирову ознакомить с древними фолиантами его собрания дальновидных руководителей Академгородка академиков М. А. Лаврентьева и А. Л. Яншина. Они вместе с А. П. Окладниковым пообещали Тихомирову поддержать его план развертывания сибирских археографических экспедиций. Когда первая часть тихомировской коллекции поступила в ГПНТБ, М. А. Лаврентьев писал Тихомирову:

«Появление такого фундаментального собрания рукописей в Сибири будет существенно способствовать развитию гуманитарных наук в восточной части страны, превращению Новосибирска и Новосибирского Академгородка во всесторонне развитый крупный культурный центр страны.

Сибирское отделение АН СССР надеется быть не только надежным хранителем сокровища; стоящие у истоков национальной культуры русского народа памятники не останутся здесь лежать мертвым капиталом»⁵.

А летом следующего, 1966 г. в свою первую археографическую экспедицию отправился и я с З. В. Бородиной и двумя студентами НГУ⁶. Маршрут мне подсказал сам Михаил Николаевич в нашу последнюю встречу с ним уже в палате Кремлевской больницы. Названный им регион был для меня неожиданным. Просматривая перед отъездом в Сибирь периодику, я не нашел ни одного упоминания о том, что в Туве сохранились какие-то следы старообрядчества. Не знаю и сейчас, какими путями до Михаила Николаевича дошел слух о том, что где-то в горных долинах за Саянами скрывается нечто интересное для археографа.

Наши первые поиски в Туве были почти безрезультатными, поселения Большого Енисея нас не порадовали почти ничем. Но затем мы узнали, что в другой тувинской долине еще есть староверческие скиты «часовенного» согласия. И, в конце концов, мы увидели то, что нашим московским и ленинградским коллегам видеть не доводилось: действующий скрипторий, средневековую мастерскую по переписке, ремонту и переплету древних книг. К тому же в скиту отца Палладия⁷, настоятеля скита и неутомимого переписчика книг, имелась тогда и прекрасная библиотека. Когда он торжественным жестом откинул перед нами занавеску, скрывавшую книжные полки в моленной, мы увидели десятки старинных томов. Здесь почти не было поздних перепечаток, так хорошо известных археографам. Корешок к корешку стояли подлинные издания конца XVI — первой половины XVII в. Все книги были в идеальном порядке, многие переплеты были изготовлены недавно заново, оторванные части листов были аккуратно подклеены и дописаны почерком отца Палладия.

Позднее мне удалось уговорить отца Палладия разрешить сфотографировать инструменты этого скриптория. Здесь были дощечки для линовки бумаги разных форматов, и Палладий знал их древнее византийское наименование — терексы (тираксы). В жестянке из-под консервов были железосинеродистые чернила, сваренные по старинному рецепту из кислого кваса, ржавых гвоздей, дубовых орешков и камеди. Обычные тексты писали гусяными перьями, для толстых линий нотных рукописей использовали перья орлиные. Множество штампов и роликов служило для нанесения орнамента на кожаный переплет. Оттиск одного из этих штампов особенно удивил меня еще до знакомства со скрипторием: на явно свежей коже переплета была вязью оттиснута надпись «Книга глаголемая», часто помещавшаяся на подлинных московских переплетах XVI–XVII вв., причем параметры вязи были идентичны оригинальным. Оказалось, отец Палладий наложил глину на соответствующее место одного из подлинных переплетов, затем углубил рельеф, и после обжига глины получился велико-

лепный штамп, позволявший имитировать древние переплеты. Фотографии инструментов этого скриптория были быстро напечатаны в Ленинграде Д. С. Лихачевым, а затем в Оксфорде известным славистом Джоном Симмонсом, первооткрывателем «Букваря» Ивана Федорова⁸.

Кое-что из книг этого скита перекочевало позднее на железные полки хранилищ Сибирского отделения Академии наук, в том числе — несколько книг московской печати конца XVI — первой половины XVII вв. После долгих переговоров, длившихся не один год, мы смогли получить и рукописное Четвероевангелие, созданное в те годы, когда будущему царю Ивану Грозному было еще несколько лет от роду, и хранившееся в XX в. в сибирском скиту м. Измарагды. Четкий почерк, тонко выписанные заставки нововизантийского орнамента, горящие золотом и яркими красками, сделали эту книгу одним из самых ценных наших приобретений⁹.

Но для науки не меньшее значение, чем эти древние раритеты, имел скромный томик в восьмерку, обложенный в оленью кожу и исписанный мелким почерком хозяина скриптория. В нем был скопирован ряд интереснейших сочинений местных урало-сибирских авторов XVIII—XX вв. И ни один из этих исторических и догматико-полемических текстов не был известен науке. Мы не знали даже имен авторов — холопа из ногайских татар отца Максима, крестьянина Мирона Ивановича Галанина (XVIII в.), отца Нифонта (XIX в.), отца Саввы и матушки Анатолии (XX в.)¹⁰.

Последующие разыскания в архивах Tobольска, Екатеринбургa и Москвы позволили узнать нам биографии многих из этих народных богословов, философов, историков. В своих построениях они настойчиво пытались основываться на классических трудах византийского богословия, на сочинениях Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Григория Синаита, Феодорита Киррского, Ефрема Сирина, Анастасия Синайского, Никона Черногорца, исихастов. Во всех этих сочинениях напряженно осмысливались катаклизмы бурных веков истории Российского государства, от времени Петра Великого до сталинского «раскрестьянивания» и Большого террора.

Д. С. Лихачев писал в своей статье «Археографическое открытие Сибири»: «Была открыта огромная крестьянская литература XVIII—XX-го веков — литература, свидетельствующая о неутомимых, горячих и бескомпромиссных поисках народом правды-истины, об отчаянной борьбе крестьянства с самодержавным государством за право думать и верить по своему собственному разумению»¹¹.

Вполне закономерно, что в сборах новосибирских и екатеринбургских археографов византийские, древнеславянские, древнерус-

ские сочинения, столь авторитетные для местных народных писателей, занимают видное место. Авторитетнее их — лишь тексты самого Священного Писания, тоже широко представленные среди наших находок. Из знаменитых текстов древнерусской литературы назову «Послание к брату столпнику» киевского митрополита XI века Илариона, «Сказание о Мамаевом побоище» (XV в.), «Повесть о царице Динаре» (XVI в.), послания и завещание Кирилла Белозерского (XV в.), окружное послание российского первосвященника митрополита Макария 1543 г.

В старом земледельческом районе на юге Тюменской области был получен уникальный Минейный Торжественник 40-х гг. XV в. В этом манускрипте мы можем прочесть слова епископа Климента Охридского, одного из учеников святого Мефодия и участника моравской миссии солунских братьев (IX–X вв.), Паремийные чтения о Борисе и Глебе (конец XI — начало XII в.), слова Кирилла, епископа Туровского (XII в.)¹².

Особый интерес и оживленные споры в научной среде вызвало обнаружение на Алтае большой рукописи 1590-х гг., связанной с именем известного библиофила вологодского владыки Ионы Думина. В ней были переписаны византийские сочинения, рассказывающие о гонениях на Иоанна Златоуста и Афанасия Александрийского, труды Григория Синаита, Григория Богослова, Кирилла Белозерского, Максима Грека. Но наиболее важными оказались материалы, сообщившие немало нового об обстоятельствах жизни этого последнего православного писателя — богослова, философа, филолога. Михаил Триволис, известный на Руси как Максим Грек, прибыл в Москву в марте 1518 г. из Ватопедской обители Афона с заданием перевести по просьбе государя Василия Третьего с греческого на русский язык ряд богословских текстов. В Москве его приняли с почетом, поселили рядом с царским дворцом в Чудовом монастыре, где вскоре вокруг него сложился кружок любознательных «книжных» людей, позднее названный исследователями «чудовской академией». Но затем он оказался замешан в политических интригах, бурливших тогда в кремлевских коридорах власти, и в результате в 1525 г., а потом и в 1531 он был обвинен в неправильных переводах, еретичестве и, главное, в шпионаже в пользу Турции. И в результате — 26 лет заточения, во время которого он создал более трехсот талантливых сочинений в защиту православия. Лишь за пять лет до своей смерти он был прощен и продолжил свои труды в Троице-Сергиевом монастыре, где и скончался в 1556 г. Историкам были давно известны материалы обвинения на процессах 1525–1531 гг., казавшиеся в своей политической части убедительными. О виновности знаменитого цер-

ковного деятеля истории Б. Дунаев и И. Смирнов писали в 1916 и в 1946 гг. Но алтайский сборник конца XVI в. впервые принес нам и материалы умелой защиты Максима Грека, равно как и другие связанные с этим делом документы. И в результате невиновность известного писателя стала очевидной¹³.

В юбилейном 1988 г. Российская Православная Церковь причислила к лику святых и Максима Грека, и его давнего почитателя митрополита Макария.

Но ценные находки памятников древней кириллической письменности делались археографами не только на отдаленных лесных заимках и в скитах. Параллельно шло обследование многих государственных хранилищ. Уже в первом выпуске нашей серии «Археология и источниковедение Сибири» в 1975 г. было опубликовано обширное описание рукописей Тобольска, сделанное Е. И. Дергачевой-Скоп и Е. К. Ромодановской¹⁴. В ГПНТБ создаются картотеки многих сибирских собраний древних книг.

Однажды, знакомясь с фондами Томского краеведческого музея, я обратил внимание на рукопись Степенной книги царского родословия¹⁵. На первый взгляд она не представляла большого интереса — сейчас рукописей этого памятника тщательным петербургским археографом А. В. Сириновым выявлено более 140¹⁶. Но вскоре изучение водяных знаков, орнаментики и текстологический анализ показали, что в «сибирских Афинах» неведомыми книжными судьбами оказался древнейший из всех известных науке полный список этого знаменитого сочинения. Точнее говоря, один из двух древнейших полных списков, дошедших до нас: перед нами здесь довольно редкая для древнерусской текстологии ситуация практически одновременного создания в начале 1560-х гг. в одном и том же скриптории (Чудовском), одними и теми же писцами двух полных кодексов памятника: Томского и Чудовского. При этом правка Томского списка зачастую учитывалась в Чудовском, но оба списка имеют и параллельную редакционную правку, сделанную одним и тем же почерком и весьма интересную по содержанию. Картина создания знаменитого памятника еще более прояснилась недавно, когда А. В. Сиринов сделал в Москве ценное открытие, обнаружив в РГАДА первую треть Степенной книги в списке начала 1560-х гг. (Волковском), который имеет пересечения по почерку и бумаге с Томским и Чудовским списками и, как доказательно утверждает первооткрыватель, является своеобразным черновиком для этих двух списков¹⁷.

Вдохновителем идеи создать этот первый систематический курс русской истории был митрополит Макарий, а непосредственным исполнителем — его преемник и единомышленник митрополит Афана-

сий. В качестве источников кроме летописей привлекались жития святых, повести о знаменитых иконах, литургические тексты о героях-правителях и подвижниках восточных славян. Историческое повествование членилось не на погодные статьи («в лето такое-то»), как в летописях, а на семнадцать «степеней» или «граней» — по правлениям российских государей.

Идеология Степенной книги, коей была суждена долгая жизнь, строилась на трех постулатах: 1) история страны — это, прежде всего, история подвигов, богоугодной деятельности ее самодержавных правителей; 2) единство страны обеспечивается единством царской семьи и законным переходом власти от одного богоизбранного государя к его потомку; 3) Церковь и государство действуют в добром согласии, их общим интересом является благо отчизны, заключающееся и в укреплении державы, и в следовании ее правителей и подданных нравственным законам Христа. Этот последний постулат (византийская концепция «симфонии» между церковью и государством) в реальной жизни и на Руси, и в Византии не раз нарушался самым трагическим образом, но, тем не менее, оказывал на жизнь немалое воздействие. Концепция Степенной книги повлияла не только на писателей XVI–XVII вв., но и на таких знаменитых историков Нового времени, как Ломоносов, Татищев, Щербатов, Миллер и даже Карамзин.

На полях томской и чудовской рукописей оказалось немало редакционных вставок, включенных затем в основной текст. Они помогли понять смысл последнего редактирования в Чудовом монастыре текста этого памятника. Оно совпадало с главным направлением деятельности митрополита Макария: времена феодальной раздробленности ушли в прошлое, и глава Церкви был обеспокоен укреплением идейной базы возникшего государственного единства. На церковных соборах 1540-х гг. были рассмотрены возникавшие ранее в разных княжествах местные культы и к единому сонму общерусских святых были причислены 39 известных подвижников Церкви и государственных деятелей, подчас довольно разной политической ориентации, от Александра Невского до соперника московских князей Михаила Тверского. (Кстати, сибирские археографы нашли и новые источники об этих соборах и о литературной деятельности кружка митрополита Макария.) А в 9 редакционных вставках, одинаковых в Чудовском и Томском списках, писец расширяет на полях генеалогические сведения обо всех правителях ранее независимых русских княжеств, подчеркивая, что все они — члены единого семейства Рюриковичей. Томская рукопись показывает это с такой же наглядной отчетливостью, как и знаменитые фрески XVI в. Благовещенского собора Кремля, семейного храма московских государей.

Однако годы, когда в Чудовом монастыре строками четкого полуустава заполнялись листы будущего Томского списка, являлись временем одного из наиболее трагических переломов в русской истории. Заканчивалась эпоха благодетельных для страны реформ 1550-х гг., наступал террор опричнины. Митрополит Афанасий, используя традиционное церковное право «печалования» за опальных, пару раз смог защитить невинных, но вскоре вынужден был покинуть свой пост главы Церкви. Его преемник святой Филипп (Колычев) смело высил в Успенском соборе Кремля свой голос против опричного террора и был низложен, а затем задушен руками Малюты Скуратова.

И величественный замысел митрополитов Макария и Афанасия остался незавершенным — Степенная книга внезапно обрывается на второстепенном известии о голоде в Крыму и не имеет итогового заключения. Однако когда минует время безумного государя, новые правители Руси вспомнят опять, сколь важна для них поддержка Церкви. И неудивительно, что Степенную книгу с последних десятилетий XVI в. начинают дополнять, продолжать, переписывать во многих десятках списков. Последнее научное издание Степенной книги было осуществлено в 1908–1913 гг. в Полном собрании русских летописей вдумчивым исследователем этого памятника П. Г. Васенко. Однако в соответствии с тогдашними знаниями о списках Степенной книги и текстологическими схемами в основу этого издания был положен Пискаревский список, написанный на бумаге начала XVII в. и отражавший более поздние этапы истории памятника¹⁸. Сейчас ученые Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и Лос-Анджелеса готовят новое издание огромной Степенной книги, основанное на списках 1560-х гг. и учитывающее томскую находку.

Новосибирским археографам удалось обнаружить и ввести в научный оборот немало интересных экземпляров славянских старопечатных книг кирилловского шрифта. Среди них «Минея праздничная», напечатанная в 1538 г. в Венеции повелением известного просветителя южных славян Божидара Вуковича, книги анонимной дофедоровской типографии в Москве, издания, вышедшие из-под печатных станков Ивана Федорова, Петра Мстиславца, двух поколений виленских издателей Мамоничей, московских, украинских и белорусских типографий XVI–XVII вв.

Наши находки свидетельствуют, что в народной среде Востока России самой широкой известностью пользовались два сборника, изданные Московским печатным двором в 1640-е гг. Это Кириллова книга (М., 1644) и Книга о вере (М., 1648)¹⁹. Они содержали произведения украинских и белорусских православных авторов, боровшихся против экспансии католицизма и унии на их землях. Уже в

XVIII в. в Западной Сибири было изготовлено несколько рукописных копий этих книг, их часто цитировали местные авторы. Но интересно, что не только эти полемические сочинения свидетельствуют об острой политической борьбе тех лет, об использовании в ней польских «административных ресурсов», как мы сказали бы сегодня. Свидетелями этой борьбы являются и издания некоторых литургических, святоотеческих текстов. Православное население Западной Украины, Белоруссии, Литвы имело свои типографии, издававшие церковные книги. Их продукция противостояла государственному внедрению унии. Важнейшим фактом и церковной, и научной жизни того времени было издание Иваном Федоровым в Остроге в 1580 и 1581 гг. полного текста православной Библии. Экземпляры Острожской Библии бережно хранились в крестьянских библиотеках Востока России, именно эти издания любили цитировать местные книжники, и хотя немало этих книг было уничтожено советскими властями, кое-что осталось и на долю сибирских археографов.

Недавно с низовьев Енисея мы получили от староверов два виленских издания упоминавшейся типографии Мамоничей. Это Учительное Евангелие 1595 г. и Цветная Триодь 1609 г. Два поколения издателей, два этапа политико-религиозного противостояния. Выпустивший первую книгу Козьма Мамонич начинал свою типографскую деятельность с сотрудничества с учеником Ивана Федорова Петром Мстиславцем. В 1590-е гг. ему уже приходилось значительную часть своих изданий выпускать полуполюгально, без выходных данных. Но Учительное Евангелие еще имело полные выходные данные и посвящение, которое восхваляет православного магната Семена Воину за его защиту и помощь в осуществлении издания. А само издание самым тщательным образом копирует в расчете на московского покупателя шрифты и пышный орнамент изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

Цветная Триодь выходила в 1609 г. уже в иной обстановке. Типография перешла к сыну Козьмы Леону, попала под контроль яркого католика канцлера Льва Сапег и должна была печатать почти исключительно униатские издания. Но в 1609 г. было сделано исключение для Цветной Триоди, нарочито тщательно оформленной под московские издания. Разгадка таилась в послесловии, где велеречиво провозглашались заслуги канцлера перед культурой «всех краев народу языка словенского», кои призывались объединяться в унии. Книга вышла в те самые месяцы, когда канцлеру, наконец, удалось уговорить польского короля Сигизмунда III открыто выступить в поход на Москву. Но политической своей миссии книга не выполнила. Православная Русь, как известно, отстояла себя в той далекой

борьбе, и в 1618 г. Лев Сапега вынужден был официально признать это, подписывая акт Деулинского перемирия. А вот культурную роль книга сыграла. Православные литургические тексты были скопированы в ней буква в букву, качество печати и бумаги было весьма высоким. А лист с послесловием, как оказалось, очень легко было выдрать. Зачастую это делали даже не читатели, а еще продавцы. Нет его и в енисейском экземпляре книги, зато там есть владельческая запись 1639/1640 г. о покупке книги у некоего «Ефрема попа» за 1 рубль 23 коп. (41 алтын).

Таковы лишь некоторые из находок новосибирских археографов.

Примечания

- ¹ *Панченко А. М.* «Археографическое открытие» Сибири // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник, 1974 г. М., 1975. С. 152–156; *Лихачев Д. С.* Археографическое открытие Сибири // *Покровский Н. Н.* Путешествие за редкими книгами. Изд. 2. М., 1988. С. 3–7.
- ² *Павлов-Сильванский В. Б., Рогов А. И.* Рукописи и старопечатные книги, собранные в Бурятской АССР в 1959 году // Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1961. С. 216–221; Они же. Рукописи и старопечатные книги, приобретенные экспедицией Археографической комиссии в Бурятской АССР в 1960 году // Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962. С. 206–214.
- ³ *Рогов А. И., Покровский Н. Н.* Собрание рукописей академика М. Н. Тихомирова, переданное Сибирскому отделению АН СССР (г. Новосибирск) // Археографический ежегодник за 1965 год. М., 1966. С. 162–172; *Тихомиров М. Н.* Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968; *Шмидт С. О.* Издание и изучение наследия М. Н. Тихомирова. Тихомировские традиции // Сибирское собрание М. Н. Тихомирова и проблемы археографии. Новосибирск, 1981. С. 5–21.
- ⁴ *Алексеев В. Н., Дергачева-Скоп Е. И., Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.* Об археографических экспедициях Сибирского отделения АН СССР в 1965–1967 гг. // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970. С. 262–274.
- ⁵ Цитируется по: *Шмидт С. О.* Издание и изучение наследия М. Н. Тихомирова... С. 17.
- ⁶ *Покровский Н. Н.* Путешествие за редкими книгами... С. 9–37.
- ⁷ См. о нем: *Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д.* Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 29, 98, 128, 465, 466. Житие о Палладии помещено в Дополнении к т. I рукописного Урало-Сибирского патерика (Собрание ИИ ОИИФФ СО РАН. № 7/91-г. Л. 1–34).
- ⁸ *Покровский Н. Н.* О древнерусской рукописной традиции у староверов Сибири // ТОДЛ. Т. 24. Литература и общественная мысль Древней Руси. Л.,

1969. С. 395–402; *Pokrovsky N.N. Western Siberian scriptoria and Binderies; Ancient traditions among the Old Believers / Transl. J.S.G. Simmons // The Book collector. L., 1971. Vol. 20, № 1. P. 19–24; См. также: Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России... Ил. 11–21.*
- 9 Описание рукописи см.: *Панич Т. В., Титова Л. В. Описание собрания рукописей ИИФиФ СО АН СССР. Новосибирск, 1991. С. 40 (№ 39/70); воспроизведение заставок рукописи см.: Там же. С. 41; Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами... С. 144а.*
- 10 Описание рукописи см.: *Панич Т. В., Титова Л. В. Описание собрания рукописей ИИФиФ... С. 94–95 (№ 9/71-к); Покровский Н. Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе Урала и Сибири XVIII века // ТОДРЛ. Т. 30. Историческое повествование Древней Руси. Л., 1976. С. 165–183.*
- 11 *Лихачев Д. С. Археографическое открытие Сибири... С. 4.*
- 12 Собрание ИИ ОИИФФ СО РАН, № 53/71. Подробное описание сборника см.: *Черторицкая Т. В. Торжественник из собрания ИИФиФ (Опыт описания сборника постоянного состава) // Источниковедение и археография Сибири. Новосибирск, 1977. С. 162–198. См. также: Соболева Л. С. К вопросу об эволюции минейного текста, посвященного Борису и Глебу // Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 5–12; Панич Л. Г. Лингвотекстологическое исследование Минейного Торжественника. Рукописи XIV–XVI вв. Новосибирск, 1988.*
- 13 Отдел рукописной и редкой книги ГПНТБ СО РАН, № F. IV. 3. Издание и исследование памятника и описание рукописи см.: *Покровский Н. Н. Судные списки Максима Грека и Исака Собака. М., 1971. 186 с. См. также: Он же. Сибирская находка (Новое о Максиме Греке) // Вопросы истории. 1969. № 11. С. 128–138; Казакова Н. А. Максим Грек в советской историографии // Вопросы истории. 1973. № 5. С. 149–157; Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973. С. 153–161; Зымин А. А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI века). М., 1972. С. 280–294; Покровский Н. Н. Замечания о рукописи Судных списков Максима Грека // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. С. 80–102; Он же. Путешествие за редкими книгами... Гл. IV. Максим Грек. С. 78–121.*
- 14 *Дергачева-Скоп Е. И., Ромодановская Е. К. Собрание рукописных книг Государственного архива Тюменской области в Тобольске // Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. Вып. 1. С. 64–143. Опубликованы описания и ряда других книжных собраний востока страны.*
- 15 Собрание Томского областного краеведческого музея, № 91. Описание и исследование рукописи см.: *Покровский Н. Н. Томский список Степенной книги царского родословия и некоторые проблемы ранней истории памятника // Общественное сознание и литература XVI–XX вв. (серия «Археография и источниковедение Сибири», вып. 21). Новосибирск, 2001. С. 3–43.*

- 16 *Сиренов А. В.* Степенная книга редакции Ионы Думина // *Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: редактор и текст.* СПб., 2000. Вып. 3. С. 256–304.
- 17 *Сиренов А. В.* О Волковском списке Степенной книги // *Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность.* СПб., 2001. С. 246–303.
- 18 Книга Степенная царского родословия / Подг. к изд. и ред. П. Г. Васенко // ПСРЛ. СПб., 1908–1913. Т. 21. Ч. 1, 2. См. также: *Васенко П. Г.* «Книга Степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской исторической письменности. СПб., 1904. Ч. 1.
- 19 Последнее монографическое исследование обстоятельств создания печатных и рукописных источников этих сборников принадлежит новосибирскому историку Т. А. Опариной: *Опарина Т. А.* Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии. Новосибирск, 1998.

Е. К. Ромодановская
(Новосибирск)

Литературная деятельность Тобольского архиерейского дома в XVII в.

Русская, точнее, древнерусская литература в Сибири представляет особый интерес для историков русской литературы. Благодаря тому, что она появилась много позже других областных литератур, ее исследователи могут опираться на значительное число документов, проясняющих обстоятельства создания того или иного произведения, оперировать сопоставлением разного рода источников, в общем, знать об окружении писателей и книжников значительно больше, чем о предшествовавших ей литературах XII–XVI вв.. Вместе с тем по своему характеру сибирская литература XVII в. остается литературой средневекового типа, и ее изучение позволяет в значительной мере выявить общие закономерности развития и специфику литературного процесса эпохи средневековья.

В настоящее время мы достаточно знаем не только об отдельных сочинениях, созданных в Сибири в первое столетие освоения ее русскими, но и о людях, писавших и распространявших их, и в этом случае в центре внимания непременно оказывается Тобольский архиерейский дом — дом святой Софии, Софийский дом, как его называют в большинстве источников. В дни празднования славянской письменности, дни Кирилла и Мефодия, необходимо прежде всего рассказать о его людях, причастных к литературному творчеству.

Русская книга, а следом за ней и русская литература появляются в Сибири почти сразу вслед за походом Ермаковых казаков. Мы не знаем, были ли и какие именно книги в обозе участников похода, но литературным творчеством казаки занимались: до нас дошли сведения, что, помимо устных рассказов о походе (позднее записанных и получивших название «устных летописей»¹), ими был создан и письменный памятник: в 1622 г. они принесли первому сибирскому архиепископу Киприану, задумавшему установить поминание Ермака с дружиной, «Написание» о походе. Текст «Написания» до нас не дошел, но на его основе при Киприане был составлен Синодик Ермаковым казакам. Именно с Синодика мы и ведем историю русской сибирской литературы.

Текст Синодика содержит, наряду с именами погибших, краткие сведения о битвах и других обстоятельствах похода Ермака; благо-

даря этому он позднее послужил главным источником для летописи архиепископского дьяка Саввы Есипова и таким образом был положен в основу тобольской традиции сибирского летописания. По мысли Д. С. Лихачева, Синодик «сам по себе представлял собой краткую летопись — сжатый конспект событий похода Ермака»².

Кто непосредственно писал Синодик, неизвестно, но можно предположить, что к его созданию приложил руку сам архиепископ Киприан — человек, прославившийся в эпоху Смуты твердой патриотической позицией; вынесший гонения со стороны шведов, оккупировавших Новгород, Киприан делается лично известным молодому царю Михаилу Федоровичу, а позднее становится ближайшим сотрудником патриарха Филарета. С его именем связаны многие идеологические и литературные начинания более позднего времени, 1630-х гг., когда он был митрополитом Новгородским: описание новгородских святынь и запись чудес в Новгороде³, создание легендарного сочинения о первых веках русской истории (Повести о Словене и Русе)⁴, Сказания о даре шаха Аббаса⁵, а самое главное — создание Нового летописца — одного из важнейших общерусских летописных памятников XVII столетия⁶. Литературное творчество Киприана еще ждет профессионального анализа, но уже теперь можно говорить о широте его интересов, профессионализме и образованности. Опытный автор, именно Киприан, скорее всего, был создателем и Синодика Ермаковым казакам.

Начавшись в Тобольском архиерейском доме, сибирская литература в течение всего XVII столетия была тесно связана с домом святой Софии. Здесь было написано подавляющее большинство сочинений, созданных в Сибири, причем не только духовная письменность (сказания о чудотворных иконах, жития святых, духовная полемика и т. п.), но и исторические сочинения.

Главное место среди них несомненно занимает уже упоминавшаяся летопись, получившая название Есиповской по имени своего автора — Саввы Есипова⁷. Об авторе ее, кроме имени, мы почти ничего не знаем. Судя по документам, он служил в Сибири в 1630–1640-х гг. Несомненно лишь, что он был умелым писателем и смог создать цельное и художественно завершенное произведение, рассказывающее об истории Сибири как страны, впервые просвещаемой христианским учением.

Есиповская летопись, созданная в 1636 г., одно из важнейших повествований об обстоятельствах похода Ермака, начинается с рассказа о местоположении Сибири и о населяющих ее народах, об их вере и местных князьях и царях. Завершается эта часть рассказом о Кучуме, который, подобно ханам в древнерусских исторических повес-

тях о татарском нашествии, изображается как гордый царь: «И мнози языцы повинны собе сотвори, и превознеся мыслию, и сего ради погибе по глаголющему: Господь гордым противится, смиренным дает благодать» (С. 27)⁸. В наказание Бог лишает его власти и царства.

Концепция Есипова отличается стройностью и четкостью. Ермак с его отрядом рисуется как «меч обоюдоострый», как орудие Бога в борьбе с неверными. Именно поэтому у Есипова отсутствуют имена рядовых участников похода; другие летописи содержательнее в этом плане, он же называет поименно только двух атаманов — Ермака и Ивана Кольцо. Отсутствует и вся предыстория похода, известная по другим источникам: казаки появляются в сибирских пределах, на реке Тавде, сразу после краткого рассказа о Божьем гневе на Сибирь за «гордость» и «неверие» Кучума. И завершается летопись известием о гибели Кучума — это естественная развязка сюжета, построенного на широко известном мотиве о божественном наказании гордого царя. Такая развязка подкреплена сообщением об основании Тобольской епархии и о приезде в Сибирь первого архиепископа — Киприана.

Противопоставление двух антиподов, двух главных героев — Ермака и Кучума — прослеживается не только в идейном, но и в художественном плане. Ермак у Есипова фактически не выделяется из состава дружины. Везде, где идет речь о русских в Сибири, Есипов пишет «казаки» или же «Ермак с товарищи». Лишь в двух эпизодах Ермак отделен от дружины: в момент гибели, когда были перебиты казаки и он остался один: «Ермак же, егда виде своих воинов от поганых побиеных и ни от кого ж виде помощи имети животу своему, и побеже в струг свой и не може дойти, понеже одеян бе железом, стругу ж отплывшу от брега, и не дошед утопе...» (С. 55), а до этого — в эпизоде, повествующем о приеме пленного царевича Маметкула, где Ермак изображается полноправным правителем Сибири: «Ермак же прият сего, поведает же ему царское великое жалованье и ублажает его ласкосердыми словесы» (С. 47).

Если Ермак составляет одно целое со своей дружиной, то Кучум, напротив, всегда изображается отдельно от приближенных. Глаголы, описывающие действия Кучума, всегда стоят в единственном числе даже в тех случаях, когда имеются в виду дела всего татарского отряда: «...побежден бысть царь Кучюм и беже из града и с царства своего в поле, и дойде, и обрете место, и ста ту со оставшими людми...» (С. 63); «Царь же Кучюм утече не со многими людми, и доиде до улуса своего и оставшия люди взят и иде втай в Колмыцкую землю и улусы; и подсмотря стада конская и нападше, отгна» (С. 64–65).

Христианское просвещение неверных, устройство православной епархии в недавно языческой стране — главная тема Есипова. Ис-

пользуя многочисленные цитаты из Священного Писания, примеры из Библии, автор как будто пользуется любым случаем, чтобы просветить своих читателей в основах библейской истории. По всей вероятности, создаваемая во вновь колонизируемой стране, далеко еще не просвещенной христианским учением, Есиповская летопись выполняла задачу не только исторического, но и проповеднического сочинения, что постоянно заставляет его объединять светские (воинские) и христианские мотивы.

Те же принципы просвещения лежат и в созданном почти одновременно с летописью (между 1636 и 1641 гг.) и, очень возможно, тем же Есиповым, Сказании о явлении и чудесах Абалацкой иконы Богородицы⁹. Там рассказывается, как крестьянской вдове Марии из села Абалак, близ Тобольска, несколько раз являлась Новгородская икона Знамения Богородицы, приказывая строить в Абалаке церковь в свое имя. Архиепископ Нектарий, при котором произошло это явление, выполняет завет Богоматери, протодьякон Матвей Мартынов по просьбе расслабленного крестьянина Евфимия Коки пишет образ Знамения, оказывающийся чудотворным. С этих пор Абалацкая икона делается главной святыней Сибири. В отдельных списках рассказы о чудесах, записи о которых постоянно вели священники Абалацкой церкви, насчитывают до 150 текстов. Среди них есть и те, которые были записаны тобольскими архиепископами и митрополитами. Так, митрополит Корнилий детально рассказывает о болезни и чудесном исцелении своего сына (С. 167–179).

Вообще среди сибирских архиепископов было немало пишущих людей. Владыки, занимавшие тобольскую кафедру, сыграли важную роль как в организации местного творчества, так и в непосредственном его воплощении. Среди них были крупные писатели, известные не только в Сибири. Самый знаменитый среди них – Игнатий Римский-Корсаков (1692–1700), видный публицист времен правления царевны Софьи, создатель ряда панегириков в ее честь¹⁰. В Сибири он написал Житие Симеона Верхотурского (С. 196–231), Послание в Красноярск по поводу бунта 1697 г. (С. 322–329), несколько окружных посланий с обличением раскольничьей ереси.

Однако и другие владыки представляют не меньший интерес как писатели. Помимо уже упоминавшихся Киприана и Корнилия, можно говорить о двух литературно одаренных лицах на тобольской кафедре. Это архиепископ Нектарий, имевший непосредственное отношение к прославлению и возвеличиванию Абалацкой иконы Богородицы, автор нескольких посланий и поучений¹¹, и архиепископ Симеон, который после Сибири, по непроверенным сведениям его биографов¹², в течение ряда лет руководил Московским Печатным двором и, по-ви-

димому, был связан с писательской деятельностью. Среди его сочинений мы знаем сейчас только одно Сказание о явлении иконы Казанской Богородицы в Тобольске (С. 192–195) и большое число посланий.

Письма и послания архиереев занимают особое место в картине литературной жизни. В них в наибольшей степени нашли отражение личные качества авторов — их характер, образованность, литературные пристрастия и умение владеть словом.

Письма двух владык, Нектария (1636–1640) и Симеона (1650–1664), сопоставимы как по явной литературной одаренности, так и по обстоятельствам жизни их создателей: у обоих есть письма о своей жизни в монастыре до поставления на кафедру, оба имеют отношение к прославлению местных чудотворных икон и к написанию сказаний о них. Тот факт, что это сопоставление разводит авторов к двум творческим и психологическим полюсам, позволяет отчетливее выделить специфику каждого.

Нектарий, стремящийся уехать из Сибири назад в Нилову пустынь, восхищенно перечисляет все тяготы монастырской жизни и побои, какие терпел от настоятеля, причем здесь в наибольшей степени сказались его тяготение к ритмической организации речи, к игре словом, к книжным сравнениям: «...Учил клюкою, и остном прободал, и мелном, коим жерновы мелют муку, и пестом, что в ступе толкут, и кочергою, что в печи уголья гребут, и поварнями, что еству варят, и рогатками, что роствор на хлебы, или на просвиры, или на пироги в сосудех бьет, чтоб хлебы, или просвиры, или пироги белы были. Того ради и тело мое начальник бил, чтоб душа моя темная светла была и бела, а не черна. И в ушатах, что двоя воду носят на том, и тем древом икра выбита, чтоб ноги мои на послушание Христа ради готовы были. И не токмо древом всяким, но и железом, и камением, и за власы рванием, но и кирпичем, и что прилучилося в руках его, чем мне раны дал, и что тогда очи его узрят, тем мою душу спасал, а тело мое смирял.

И в то время персты моих рук из суставов выбиты, и ребра мои и кости переломаны, и ныне немощен и скорбен, чаю себе вскоре смерти...» (С. 279–280).

Это послание Нектария преследует ясную цель — показать, что просьбы о возвращении в монастырь вызваны совсем не сладостью тамошней жизни, поэтому все описания тягот у него явно гиперболизированы. Они еще и литературны по своему характеру: помимо отмечавшейся игры словом — риторически организованной речи, любования ритмом и неожиданными сравнениями, — в них просматриваются не столько реальные факты и события, сколько определенная этикетная ситуация, неоднократно воспроизводившаяся в литературе. Мотив физических истязаний характерен для агиографиче-

ских жанров, прежде всего для жития-мartyрия, где герой терпит муки от язычников за свою приверженность христианству. Однако встречается и ситуация, сходная с описанной тобольским владыкой, когда молодого послушника истязает (с целью приучить к терпению) сам его наставник. Ярким примером этого может служить Житие Акакия Синайского, читающееся в Прологе и Лествице Иоанна Синайского и несомненно известное Нектарию. Скорее всего, именно оно и сходные с ним произведения послужили литературным источником для автора челобитной.

Симеону же, не собирающемуся оставлять кафедру и полному ощущением значимости собственной миссии, подобные воспоминания не важны, они лишь должны подчеркнуть его сегодняшнее положение, когда он говорит о высокой миссии иерея: «Да я же, богомолец твой, исперва был кроток и смирен, и тогда я жил в монастыре и себе единому внимал, и ни до ково дела мне не было. А ныне, великий государь, молчаливым и кротким быть не в меру. И того же нрава и устройства держатися нельзя, потому что положено на нас бремя великое, и место пастырское держим, идеже нам поручено, и посреди мира живем и бываем, государь, многим до нас дело, а нам до них, а всякому не угодить. А еже нам всякому угожать не в полезное, и мы будем подобны ослом безсловесным: кто ево взял, тот ево и повел. И то устроение не нашего чина» (С. 320).

Вопрос о миссии архиерея, как и проблема отношения светской и духовной власти, наиболее важна для Симеона. Среди его литературно значимых посланий едва ли не больше всего — о его столкновениях с сибирскими воеводами. Особенно красочны описания столкновений с тобольским воеводою А. И. Буйносовым-Ростовским. Здесь наиболее ярко проявилось авторское умение передать живой диалог, с помощью речевых средств создать характер человека в его живости и непосредственности. Образ воеводы контрастирует с образом рассказчика. Если Буйносов груб, вспыльчив, несдержан, неприличен в своем поведении, то архиепископ подчеркнуто благочестив, мудр, праведен: «И я, твой государев богомолец, слышачи ево заказ угрозной, посылал к нему побить челом, чтоб он, князь Алексей Иванович, пришел ко мне за совет в келью хлеба есть. А по совету хотел с ним переговорить наедине обо всем, как бывало при прежних архиепископах и при мне, богомолце твоём, и при прежних твоих государевых воеводах. И он ко мне в келью приходил, и я ему учал говорить наедине в келье обо всяких делах, и чтоб он во всякие наши духовные дела не вступался и воли б у нас не отнимал. И он, князь Алексей Ивановичь, во всем мне отказал: „Знай де ты одне церкви, а до города де тебе дела нет...“.

И он, князь Алексей Иванович, от того моего келейного совету ис кельи от меня и не простяся со мною побежал и келейными дверми удар[я], потому что тот мой келейной совет стал ему не люб» (С. 313–314).

В этих текстах Симеон проявил и мастерство диалога, и емкий лаконизм повествования, и умение несколькими фразами обрисовать характеры и создать сценки, которые по современной терминологии можно назвать «жанровыми». То же — и в деловых челобитных. Так, хлопоча о строительстве «мостов» на Софийском взвозе, Симеон пишет: «В Тоболску, государь, как бывают со кресты и с ыконами ходы летом и зимою для освящения воды и к приходцким церквам для молебнаго пения по великим празником и от соборныя, государь, церкви Софеи Премудрости Божии по звозу под гору... И та, государь, улица и во все лето не просыхает и проезд по ней едва бывает. Со кресты и с ыконами ходить бывает нужда болшая. Летом, государь, бывает грязи болшие, а зимою ледяно. А се, государь, гора крутая, священницы и дякони со кресты и с ыконами и с книгами падают, и иконы и книги роняют, отнюдь по чину с ыконами идти не lze. А от иноземцов бывает зазор болшой, а иноземцов в Тоболску всяких вер много» (С. 297).

Талант автора несомненен, но он здесь ограничен сферой, которую его современники не связывали с настоящей литературой: деловой язык, как и деловая письменность, исключались ими из области книжной культуры¹³. Недаром и протопоп Аввакум, современник Симеона, именно при нем побывавший в Тобольске в ссылке, называет свое писательство «вяканьем». Именно потому письма Симеона и сохранились лишь в делах Сибирского приказа.

В отличие от Симеона письма Нектария ценились. Его послание «господину моему Ивану Михайловичу» дошло до нас не в архивных столбцах, а в составе нескольких сборников литературного состава: современники переписывали его как художественный текст¹⁴. При этом если Симеона можно назвать мастером жанровых сцен, то Нектарий — мастер «плетения словес».

Литературная образованность тобольских владык несомненно способствовала тому, что в течение всего столетия Тобольский архиерейский дом оставался главным, а то и единственным центром собственно литературной работы. Лишь к концу столетия летописная, в частности, работа переместилась в воеводскую избу, в сфере же официальной художественной деятельности духовенства осталось описание новых чудес (как от мощей, так и от икон) и создание новых церковных служб. Возможно, произошло это под влиянием известных указов Петра I, запрещавших монахам «писать по обету», без разрешения вышестоящих властей. Но перенесение летописи в

чиновничью среду в значительной мере снизило ее художественный уровень, и поздние сибирские летописи, являющиеся продолжением Есиповской, все больше и больше в XVIII столетии приобретают характер официального реестра, справочника по воеводскому управлению, теряя значимость литературную. Впрочем, это тоже связано с общей тенденцией «специализации» литературы, потерей ею средневекового синкретизма, когда деловой текст имел и чисто художественные функции. Литература нового времени такого синкретизма уже не допускала.

Примечания

- ¹ См. о них: *Дергачева-Скоп Е. И.* Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965.
- ² *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 394.
- ³ *Тихомиров М. Н.* Новгородский хронограф XVII в. // *Тихомиров М. Н.* Русское летописание. М., 1979. С. 278–280; *Янин В. Л.* Некрополь Новгородского Софийского собора: Церковная история и историческая критика. М., 1988. С. 217.
- ⁴ *Лаврентьев А. В.* Летописный свод 1652 года как источник для изучения русской средневековой повести XV–XVIII в. // *Русская книжность XV–XIX вв.* (Труды ГИМ. Вып. 71). М., 1989. С. 166–167.
- ⁵ *Гухман С. Н.* «Документальное» сказание о даре шаха Аббаса России // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 264–266.
- ⁶ *Вовина В. Г.* К вопросу о сибирских статьях Нового летописца // *Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России.* Новосибирск, 1987. С. 64–66.
- ⁷ См. о нем: *Ромодановская Е. К.* Есипов Савва // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* СПб., 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. С. 314–318. О художественной специфике его летописи см.: *Ромодановская Е. К.* Русская литература в Сибири первой половины XVII в.: (Истоки русской сибирской литературы). Новосибирск, 1973.
- ⁸ Все тексты цитируются по изданию: *Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века* / Изд. подготовили Е. К. Ромодановская и О. Д. Журавель. Новосибирск, 2001. Страницы указываются в скобках.
- ⁹ Публикацию текста см.: *Литературные памятники Тобольского архиерейского дома...* С. 85–184.
- ¹⁰ См. о нем: *Белоброва О. А., Богданов А. П.* Игнатий // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* СПб., 1993. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. С. 26–31.
- ¹¹ См. о нем: *Ромодановская Е. К.* Нектарий // *Словарь книжников...* Ч. 2. С. 374–376.

- ¹² *Абрамов Н.* Симеон, архиепископ Сибирский и Тобольский (1651–1664) // Странник. 1867. № 8.
- ¹³ См.: *Калугин В. В.* Иван Грозный и Андрей Курбский. (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). Автореф. дисс. ... доктора филол. наук. М., 1998. С. 4–5.
- ¹⁴ См.: *Ромодановская Е. К.* Русская литература... С. 62.

А. А. Гиппиус
(Москва)

У истоков древнерусской исторической традиции

Обретение восточным славянством письменной истории было одним из результатов крещения Руси. Восприняв христианство из Византии и письменность от южных славян и сделавшись, таким образом, преемницей кирилло-мефодиевской традиции, Русь исключительно быстро начинает писать собственную историю и уже к 10-м гг. XII в. создает Начальную летопись — Повесть временных лет (ПВЛ), основу всей последующей русской историографии.

Летописание, безусловно, — наиболее самобытная часть оригинального литературного наследия Киевской Руси. Эту самобытность принято усматривать в основополагающем для летописи принципе изложения событий по годам, не находящем соответствия в известных на Руси византийских хрониках, описывающих всемирную историю как последовательность царств и царствований. Это объективное различие лежит в основе традиционной формулировки, согласно которой летописание — единственный жанр древнерусской литературы, не вписывающийся в жанровую систему литературы византийской, усвоенную, хотя и не в полном объеме, на Руси (см., например: Творогов 1996, 371).

Справедливая в своей основе, данная формулировка нуждается в ряде уточнений. В том, что касается общего соотношения литературных систем, она грешит излишней прямолинейностью. В настоящее время уже ясно, что говорить о прямом усвоении на Руси византийской системы жанров не приходится, что в действительности имело место усвоение конкретных образцов, которые, будучи перенесены в организованную на совершенно иных основаниях культурную среду, могли смешиваться, переосмысляться, изменять свои функции и т. д., в результате чего могли возникать тексты, принципиально невозможные в литературе-источнике, такие, как паремейное чтение о Борисе и Глебе или несохранившееся Житие Антония Печерского, явно представлявшее собой памятник, весьма далекий от канона византийского жития (см.: Живов 2002, 100–108). В этом смысле начальное киевское летописание, в котором такое смешение образцов принимает особенно широкий размах, лишь наиболее ярко демонстрирует общую несводимость оригинальной книжной продукции Киевской Руси к византийской литературной систематике.

Существенных уточнений представление о жанровой оригинальности древнерусского летописания требует и в сравнительно-типологическом аспекте. С одной стороны, необходимо иметь в виду, что погодный принцип не был полностью чужд византийской историографии. В годовые рубрики организуют свой материал «Пасхальная хроника» VI в. и «Хронография» Феофана IX в. Впрочем, значение этих параллелей для русского летописания минимально. Названные тексты не только никогда не были переведены на славянский язык, но и в пределах самой византийской традиции представляют собой изолированные опыты, не получившие развития (Манго 1988/1989).

Намного более важную параллель древнерусским летописям составляют средневековые западноевропейские анналы. Сходство между ними, подмеченное еще на заре научного изучения русского летописания А.-Л. Шлёцером, какое-то время оставалось в поле зрения исследователей (см. в особенности: Сухомлинов 1908), но впоследствии было основательно забыто и лишь совсем недавно вновь стало привлекать к себе внимание (см.: Каштанов 1996, Гиппиус 1997, Ранчин 1999, Гимон 2000). Значение его исключительно велико как для понимания природы летописного жанра, так и с общей историко-культурной точки зрения. Типологически летописание есть не что иное, как форма анналистической историографии, и наличие таковой является исключительно ярким признаком, по которому Русь, выделяясь из византийского культурного круга, объединяется со странами Западной и Центральной Европы.

Значение западной анналистики для истории русского летописания определяется в первую очередь несравненно лучшей сохранностью ее памятников. В то время как русские летописи XI–XIV вв. дошли до нас, за единичными исключениями, в позднейших списках, многие средневековые западные анналы сохранились в подлинниках. Поэтому то, что на древнерусском материале может быть лишь предметом реконструкции, западноевропейский позволяет наблюдать непосредственно.

Это относится в первую очередь к характеру летописного процесса и природе самой формы анналов. Ее простейшее, лежащее на поверхности объяснение состоит в том, что летопись возникает как последовательность ведущихся год за годом записей, современных описываемым событиям. С преодолением этой точки зрения как излишне буквально воспринимающей летописную форму в отечественной традиции связана концепция летописных сводов, ассоциируемая в первую очередь с именем А. А. Шахматова. В трудах самого А. А. Шахматова и, в особенности, в работах его учеников и последователей деятельность летописца понимается как имеющая преиму-

щественно компилятивный характер, состоящая прежде всего в обработке материала, почерпнутого из разных источников, иногда также — в дополнении его на основе собственных сведений, осуществляемом, однако, ретроспективно, в момент работы над новым летописным сводом.

Справедливость такого подхода в отношении подавляющего большинства сохранившихся списков русских летописей и их ближайших протографов не вызывает сомнений, а его результат — воссозданное трудом многих поколений исследователей генеалогическое древо русских летописей XI–XVI вв. (Лурье 1985) — более чем внушительно. Возражать приходится не против шахматовской концепции летописных сводов, а против ее абсолютизации, при которой содержание летописного процесса сводится к одному лишь обновлению сводов, а годовая статья трактуется исключительно как форма организации исторического материала в единовременно создаваемом своде.

Именно в этом отношении параллели с западной анналистикой особенно важны. Сохранившиеся в подлинниках западные анналы с очевидностью подтверждают реальность того, что применительно к русским летописям нередко ставилось под сомнение, — погодного летописания как особого типа историографической деятельности, состоящей в систематическом пополнении последовательности годовых записей, фиксирующих события по мере их развертывания и таким образом относительно синхронных этим событиям. Большинство средневековых монастырских или епископских анналов создавались именно таким образом на протяжении более или менее длительного времени¹.

Нет оснований думать, что на Руси дело обстояло иначе. Более того, отдельные древнерусские летописи демонстрируют вполне аналогичный западноевропейскому анналистический процесс с регулярностью и продолжительностью, даже превосходящими западные образцы жанра. Это прежде всего новгородская первая летопись (НПЛ), текст которой на протяжении более чем трехсот лет, с начала XII в. по середину XV в., складывается, за немногими исключениями, из погодных записей сначала княжеских, а затем епископских и архиепископских летописцев, работавших при Новгородском Софийском соборе (см.: Гиппиус 1999). Такая же по существу летописная работа с разной интенсивностью и в разные периоды времени велась в эту эпоху и в других центрах Руси: Киеве, Владимире и Ростове, Твери и Москве. Однако, в отличие от новгородской, эти местные летописные традиции были, начиная с XII в., объектом активной сводческой работы и дошли до нас в сводах XIV–XV вв. в сильно отредактированном виде.

Сходство летописного процесса Руси XII–XIV вв. с западной анналистикой важно как само по себе, так и, ретроспективно, для изучения начального киевского летописания. Очевидно, что в сравнении с той же Новгородской летописью за XII–XIII вв. ПВЛ представляет собой во много раз более сложное образование, в котором собственно анналистической составляющей принадлежит относительно скромная роль. Очень важно, однако, что эта составляющая все же имеется, поскольку именно она, в конечном счете, ответственна за форму памятника в целом. Своеобразие Начальной летописи, собственно, и заключается в том специфическом преломлении, которому оказался подвержен в ней общий для средневековой европейской историографии анналистический принцип.

Такая постановка вопроса неизбежно переводит его в историко-текстологическую плоскость. Безотносительно к истории текста анализ ПВЛ как литературного явления представляется, вообще говоря, малосодержательным. Суть летописания — в его динамике, оно — не столько жанр, сколько процесс, и ПВЛ — в первую очередь ансамбль, создававшийся на протяжении длительного времени разными авторами. Целостность такого ансамбля весьма относительна; его своеобразие, прежде всего — в его разнообразии, которое, в свою очередь, есть не что иное, как проекция истории сложения текста.

Огромная литература, посвященная этой истории, так или иначе группируется вокруг концепции А. А. Шахматова (1908, 1916), глубоко новаторской для своего времени и сохраняющей актуальность по сей день. Лишний раз не пересказывая эту схему, напомним, что ПВЛ как киевскому своду 1110-х гг. в ней предшествуют три киевских и один новгородский свод XI в. Позволив себе несколько сниженное сравнение, можно сказать, что Начальная летопись устроена, по Шахматову, как матрёшка, разбирая которую, мы доходим, в конечном счете, до ядра в виде Древнейшего Киевского свода 1037–39 г.

Критический разбор построения А. А. Шахматова в последующей историографии заставил отказаться от ряда его положений как недостаточно обоснованных, слишком гипотетичных или же противоречащих фактам. Однако фундамент возводившегося А. А. Шахматовым здания устоял и выдержал испытание временем. Им является положение, согласно которому в основе созданной в 10-х гг. XII в. ПВЛ лежал киевский летописный свод 90-гг. XI в., отразившийся в его древнейшей части, до смерти Владимира Святославича, в Новгородской первой летописи младшего извода. Аргументы А. А. Шахматова, доказывающие первичность текста НПЛ, никем опровергнуты не были, и с течением времени к ним добавились новые (см.: Творогов 1976, Гиппиус 2001).

Шахматов был, безусловно, прав и в том, что этот свод (сперва названный им «Начальным» и под этим названием оставшийся в литературе) в действительности не представлял собой абсолютного начала русского летописания, но был лишь звеном в цепи летописных памятников, уходящей вглубь XI в. Точное восстановление этих памятников — в духе попытки, предпринятой самим А. А. Шахматовым в знаменитых «Разысканиях» (1908), — очевидно, невозможно, ввиду недостатка данных. Но уловить основные тенденции эволюции текста — задача вполне осуществимая, и накопленные наблюдения дают для этого вполне надежную филологическую основу.

Заслуга постановки этой проблемы в общем виде принадлежит М. Х. Алешковскому, чьи работы по истории начального древнерусского летописания в методологическом отношении составляют наиболее яркое явление послешахматовского периода изучения ПВЛ. В посмертно опубликованной работе «К типологии текстов „Повести временных лет“ (1976) исследователь предложил разграничивать в ПВЛ, как и в летописании вообще, два основных типа текстов: «монотематическое» повествование и погодную запись. От других классификаций форм летописного повествования (в частности, предложенной И. П. Ереминым (1968): «летописная запись — сказание — рассказ — повесть»), типологию М. Х. Алешковского отличает опора не на степень подробности текста и его литературный/фольклорный характер, а на природу явления: первый из двух типов текстов «представляет собой связный рассказ о нескольких или многих годах, записанный, когда эти времена отошли уже в прошлое; второй из них представляет собой погодную запись, сделанную сразу после события или в конце года, когда произошло событие или же в начале следующего года, но под датой предыдущего года» (Алешковский 1976, 134)². Наиболее ярким примером повествования первого типа является Галицко-Волынская летопись XIII в., хронологическая сетка которой вторично наложена на первоначально не разделенное на годы повествование (см. последнее исследование: Котляр 1997). Образцом памятника, состоящего почти исключительно из погодных записей, может служить уже упоминавшаяся НПЛ (в особенности ее старший извод, представленный древнейшим Синодальным списком).

С осознанием того, что ведение погодных записей, т. е. собственно анналистическая деятельность летописцев, выступает и в Начальной летописи как самостоятельное текстообразующее начало, связана фундаментальная поправка, сделанная М. Х. Алешковским к шахматовской схеме соотношения Начального свода и Повести временных лет. В схеме Шахматова Начальный свод заканчивался 1093 г., события же последующих лет были описаны уже Нестором в ПВЛ в на-

чале 1110-х гг. Это означало бы, что Начальный свод в течение более чем десяти лет лежал без движения. Между тем нормальная практика средневековой анналистики заключалась в том, что составленная летописная компиляция получала продолжение в виде погодных записей. Примером этого на Руси может служить новгородский летописный свод, составленный около 1115 г. и продолженный погодными записями, да и сама ПВЛ с обоими (Лаврентьевским и Ипатьевским) вариантами ее продолжения. Опираясь на эти примеры, М. Х. Алешковский предположил, что и свод конца XI в. не был заброшен почти на двадцать лет сразу после его написания, но систематически пополнялся записями до того момента, когда на его основе была составлена ПВЛ. Доказательством этого служит идущая в ПВЛ с 1091 г. серия записей, отличительной чертой которых является указание не только дня, но и часа события. Тем самым была уточнена и дата составления Начального свода — не 1093, а 1091 г.³

Анналистическое продолжение Начального свода — не первый в ПВЛ поток погодных записей. Еще одна серия таких записей начинается с 1061 г.; в ней впервые систематически встречаются дневные датировки событий. Наконец, в самом начале XI в., там, где в связном повествовании ПВЛ наступает семнадцатилетний перерыв, читается несколько совсем лаконичных сообщений, в которых, возможно, следует видеть начало анналистической традиции на Руси.

«В лето 6508 (1000). Преставися Малфридь. В се же лето преставися и Рогнедь, мати Ярославля.

В лето 6509. Преставися Изяслав, отец Брячиславль, сын Володимирь.

В лѣто 6511. Преставися Всеславъ, сынъ Изяславль, внукъ Володимирь.

В лето 6515. Пренесени святии в святую Богородицу» (ПВЛ, 57–58).

О происхождении этих записей ведутся споры, но большинство исследователей признает их подлинность и связывает с Десятинной церковью. А. А. Шахматов (1908, 163–164), следуя в этом вопросе за А. А. Куником, считал эти известия заимствованиями из Синодика или Помянника киевских князей. Однако, если в этом источнике преставления членов княжеского рода и некоторые другие события были записаны по годам, то более правильной будет характеристика его как примитивной формы анналов (так называемые «малые» анналы, лежащие у истоков жанра в Западной Европе, также в значительной степени состоят из записей смертей).

Сопоставляя эти предельно лаконичные записи с пространными погодными статьями конца XI в., можно видеть, какой путь прошла древнерусская анналистика за сто лет: из средства простой регистра-

ции событий она превратилась в полноценный исторический нарратив. В этом, по-видимому, состоит общая тенденция развития анналистического жанра, которую в равной степени демонстрируют, например, Англо-Саксонская хроника (см.: Кларк 1995) и новгородское летописание XII–XIII в.

Присутствие в ПВЛ другого, «монотематического», по определению Алешковского, начала особенно ощутимо в ее древнейшей части, охватывающей события до смерти Владимира. В литературе уже давно обращалось внимание на случаи, в которых номер годовой статьи разрывает цельную фразу. Так, в отражающей Начальный свод НПЛ под 6430 (923) г. после сообщения о передаче Игорем дани с древлян Свенельду сказано: «И рѣша дружина Игореви: се дал еси единому мужу много». За этим следует ряд из 22 годовых рубрик, большинство из которых пустые, и под 6453 (945) г. в начале статьи читаем: «В то же лѣто рекоша дружина Игореви: «отрочи Свѣньлжи изодѣлися суть оружиемъ и порты, а мы нази» (НПЛ, 109–110). Совершенно очевидно, что первоначально фраза имела вид: «И рѣша дружина Игореви: се дал еси единому мужу много: отрочи Свенелжи изоделися суть оружием и порты, а мы нази»⁴.

Подобные разорванные вставкой хронологической сетки контексты не выходят за пределы первой четверти XI в. (см.: Алешковский 1976, 147). Их совокупность показывает, что в основе древнейшей части ПВЛ и Начального свода лежал не разделенный на годы связанный рассказ о начале Русской земли и первых русских князьях. Разделение этого повествования на годовые статьи — явление, симметричное тому, которое мы только что наблюдали, говоря о постепенном превращении погодных записей из формы регистрации событий в форму повествования о них. Оба процесса связаны между собой как встречные тенденции, определяющие логику становления Начальной летописи. У ее истоков мы находим, с одной стороны, анналы, не являющиеся нарративом, а с другой — нарратив, не являющийся анналами. Со временем эти начала сближаются: анналы превращаются в нарратив, а нарратив принимает анналистическую форму⁵.

Как и анналистическая составляющая ПВЛ, ее «монотематическое» начало имеет свою историю. М. Х. Алешковский прослеживает признаки данного типа повествования до 1066 г., относя появление первого связного очерка истории Русской земли ко времени киевского княжения Изяслава Ярославича. Однако в том виде, в каком этот текст попал в руки составителя Начального свода 1091 г., разделившего его на годы, он уже содержал разновременные напластования. Свидетельства этого содержатся в древнейшей части летописи, где искусственно вставленная хронологическая сеть иногда разбива-

ет фрагменты текста, сами по себе имеющие вторичный характер⁶. «Монотематическая» основа Начальной летописи вполне могла, следовательно, возникнуть в более раннюю эпоху и какое-то время развиваться, сохраняя свою типологию, как цельный рассказ, не разделенный на годы.

Что же в таком случае представляло собой первоначальное ядро этого повествования? На этот счет существуют прямо противоположные точки зрения. Согласно гипотезе Д. С. Лихачева (1947, 1950), это было составленное при Ярославе Мудром «Сказание о распространении христианства на Руси», написанное в традициях византийского патерика. Эта точка зрения давно уже не встречает поддержки и, видимо, должна быть оставлена (см. последний критический разбор: Баловнев 2001). Агиографические пассажи, которые Д. С. Лихачев относил к древнейшему «Сказанию», при ближайшем рассмотрении обнаруживают признаки вторичности и никак не могли составить композиционного костяка ПВЛ⁷.

Намного более перспективной представляется позиция М. Н. Тихомирова (1979, 46–66), восстанавливавшего в качестве первоосновы ПВЛ написанное в Киеве в конце X в., вскоре после крещения Руси, «Сказание о русских князьях». Накопившиеся к настоящему времени прямые и косвенные данные о русской письменности эпохи Владимира не противоречат столь ранней датировке начала русской историографии⁸. Однако, в отличие от М. Н. Тихомирова, видевшего в «Сказании» сугубо светское произведение, нам не кажется целесообразным противопоставлять в плане истории текста повествование о крещении Руси (в его первоначальном виде) рассказам о ее языческом прошлом, а также выводить за рамки «Сказания» рассказ о призвании варяжских князей. Данные внутренней критики текста в сочетании с лингвистическим анализом позволяют охарактеризовать первоначальное ядро будущей ПВЛ как основанное на дружинном предании повествование, прослеживавшее историю Русской земли от основания Киева тремя братьями-полянами до крещения Владимира (см.: Гиппиус 2001).

Датировка этого произведения концом X в. дает возможность видеть в упомянутых выше кратких записях 6508–6515 гг. анналистическое продолжение «Сказания». Важно, однако, что сам этот текст, вполне однородный по своему характеру, нет оснований считать летописным сводом, существование которого в эпоху Владимира предполагали Л. В. Черепнин (1948) и Б. А. Рыбаков (1963). Ситуация конца X — начала XI в. («Сказание», продолженное элементарными анналами) как бы прообразует в примитивной форме ситуацию конца XI в., когда Начальный свод 1091 г. продолжается подробной погодной летописью.

С типологической точки зрения важно, что нарративное ядро Начальной летописи точно так же не вписывается в византийскую литературную модель, как и ее анналистическая форма. Написание истории одного, варварского, с византийской точки зрения, народа, с опорой не на письменные источники, а на устное предание, — по сути своей противоречит как духу византийской хронографии с ее имперским универсализмом, так и методам работы византийских историков и хронистов. Византийские авторы писали историю на основании письменных источников или собственных воспоминаний, но задача письменного оформления устного предания об отдаленном прошлом была им незнакома. Собственное прошлое византийца IX–X в. было обеспеченно письменной историей на тысячелетнюю глубину. Что же до исторического предания соседей-варваров, то оно его совершенно не интересовало. Система форм и жанров византийской историографии отвечала потребностям тысячелетней христианской державы и совершенно не подходила для оформления в ее рамках собственной исторической традиции вчерашнего варварского государства, только что вступившего на путь христианского развития.

В этом отношении показательны практически полное отсутствие ранних болгарских исторических сочинений. Оно иногда объясняется последовательным уничтожением древних болгарских летописей завоевателями-византийцами. Однако более убедительной представляется точка зрения исследователей, считающих излишним предполагать существование таких летописей (Турилов 2000, 88). Причину их отсутствия следует видеть в особо тесных отношениях, связывавших Болгарию с Византией. По замечанию К. Манго, «Болгария, так и не выработавшая национальной историографии, осталась полностью в рамках византийской традиции» (Манго 1988/89, 372).

Киевская Русь вышла за эти рамки, благодаря чему мы и располагаем ПВЛ. Как мы уже видели, анналистический принцип роднит древнерусское летописание с западным. То же можно сказать и о повествовательном ядре Начальной летописи. Типологически оно сближается с такими памятниками раннесредневековой западноевропейской историографии, как «История франков» Григория Турского, «История готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского, «Церковная история народа англов Бэды Достопочтенного», «История лангобардского народа» Павла Диакона или «История норманнов» Дудона Сент-Квентинского⁹. В средневековых славянских литературах сопоставимыми с ПВЛ памятниками являются польская Хроника Галла Анонима и чешская Хроника Козьмы Пражского (см. Кралик 1968). В последней, как и в ПВЛ, связанное изложение национальной истории сочетается с анналистической формой (см.: Ранчин 1999).

Итак, раннее киевское летописание, в обоих образующих его началах, не вписывается в византийскую культурную парадигму; при этом оно обнаруживает принципиальное сходство с западно- и центральноевропейской историографией. Ничего удивительного в этом нет. В целом ряде других социокультурных параметров Киевская Русь конца X–XI вв. точно так же сближается не с Византией, а с молодыми христианскими государствами средней Европы — Чехией, Венгрией, Польшей, скандинавскими странами. Насколько актуальны были эти западные связи для Руси конца X–XI вв., видно из слов ПВЛ о Владимире (под 996 г.): «и бѣ жива съ князи околними миромь, с Болеславом Лядским и с Стефаном Угорским, и с Андрихом Чешским, и бѣ мир межю ими и любы» (ПВЛ, 56). Перспектива позднейшего конфессионального противостояния православной Руси и католического Запада заслоняет от нас эти контакты. Однако до разделения церквей в 1054 г. — а восходя к истокам древнерусской исторической традиции, мы неизбежно попадаем именно в эту эпоху — ситуация была совершенно иной, чем в последующие века, и несравненно более благоприятствовала общим культурным переживаниям и взаимному влиянию (см. из последних работ: Живов 2002, 83–93; Успенский 2002, 65–75).

Остается неясным, является ли общность анналистического принципа средневековой европейской и древнерусской исторических традиций следствием их типологического сходства или влияния одной на другую. Поскольку никаких прямых связей между западной анналистикой и начальным древнерусским летописанием не просматривается, положительных оснований говорить о таком влиянии нет. Необходимо учитывать, что анналистика вообще представляет собой наиболее примитивную форму фиксации истории и в принципе может возникать независимо в разных культурных ареалах. В то же время нельзя не заметить, что в средневековой Европе распространение анналистического жанра происходит путем его постепенного продвижения с запада на восток, с VII в., когда этот жанр (в виде дополнений к «Церковной истории народа англос» Бэды Достопочтенного или записей в пасхальных таблицах) зарождается в Англии и в ходе деятельности британских миссий переносится на континент, по конец X — середину XI в., когда первые анналы появляются в Чехии, Польше и Венгрии (см.: Грансден 1974; Мак-Кормик 1975; Ваттенбах 1948, 1953). Возникновение летописания на Руси было бы заманчиво трактовать как заключительный этап в этом поступательном движении жанра¹⁰. Языковой барьер и отсутствие переводов западных исторических сочинений на славянский язык в принципе не составляли непреодолимого препятствия для усвоения этой тради-

ции: для этого достаточно было и общего знакомства с самой практикой ведения погодных записей, которое в условиях интенсивных церковных и династических контактов Руси с Западом было вполне возможно.

Предполагать влияние каких-либо западных литературных образцов на сложение нарративного ядра ПВЛ нет никаких оснований; здесь, очевидно, мы имеем дело с чисто типологическим сходством. Западные аналогии, таким образом, не столько проливают свет на источники древнерусского летописания, сколько указывают перспективу, в которой можно лучше оценить его жанровую специфику. Пытаясь охарактеризовать ее через сравнение с византийскими хрониками, мы неизбежно принимаем за «древнерусское своеобразие» общие типологические признаки раннесредневековой историографии новых христианских государств Европы — анналистическую форму и сосредоточенность на истории своей земли и своего народа.

В чем же тогда подлинное своеобразие начального древнерусского летописания? Видимо, в том, что на Руси эти общие «невизантийские» принципы реализовались в литературной среде, в целом ориентированной на византийские образцы и модели.

На самой ранней стадии сложения текста главным (если не единственным) таким образцом — причем не собственно византийским, но лишь достигшим Руси при византийском посредстве, в кирилло-мефодиевских переводах с греческого, — была, как можно думать, Библия. Не вдаваясь в обсуждение этой активно исследуемой в последнее время проблематики (см. работы И. Н. Данилевского, В. Я. Петрухина, С. Я. Сендеровича и др.), приведем лишь один пример, представляющийся особенно показательным. Одним из признаков, объединяющих тексты, относимые нами к древнейшему ядру ПВЛ (см.: Гиппиус 2001, 179), является пара определений *мудръ и смыслень*. Ее находим, в частности, в рассказах об основании Киева: «и бяху *мужи мудры и смыслены*, нарицахуся поляне»; об Игоре: «и преведе к себе жену от Плескова именем Ольгу, и бе *мудра и смыслена*» (только в НПЛ, отражающей Начальный свод); об испытании вер Владимиром: «ты князь еси *мудръ и смыслень*»; «избраша *мужи мудры и смыслены*». Эта столь «эпически» звучащая формула восходит, как отметил И. Н. Данилевский (1997, 198), к тексту Второзакония (1: 6–15) и заимствована из Паремейника. За эпической монументальностью нарративной основы ПВЛ просматривается, таким образом, нечто большее, чем бесхитростная фиксация устного предания.

В дальнейшем ориентация на универсальный библейский образец дополняется обращением к более специальным моделям и источникам, уже собственно византийского происхождения. В этом смысле

история начального летописания может быть описана как история византинизации его первоначальной основы. Позиция А. А. Шахматова и в этом отношении представляется намного более убедительной, чем точка зрения его оппонента В. М. Истрина (1924, 248–249), считавшего, что в основе киевского летописания X в. с самого начала был греческий хронограф. Влияние византийской хронографии появляется лишь на определенном этапе становления Начальной летописи и с течением времени возрастает. Сопоставление ПВЛ с НПЛ демонстрирует, как текст Начального свода конца XI в. «обрастает» в Повести временных лет выдержками из Хроники Георгия Амартола (см.: Творогов 1974). Сам же Начальный свод использовал, как показал О. В. Творогов, только так называемый «Хронограф по великому изложению»: на его основе была дополнена и хронологически препарирована древнейшая часть «Сказания о русских князьях», определена дата «начала Русской земли» и выстроена (в «Предисловии») новая всемирно-историческая перспектива, вводящая Русь в череду мировых царств. Наконец, на еще более раннем этапе, вероятно, в 70-е гг. XI в., Начальная летопись также при посредстве византийской хронографии получает свое библейское введение, ведущее рассказ от раздела земли сыновьями Ноя¹¹.

Это осуществляемое *crescendo* воздействие византийской хронографии приводит в конечном счете к тому, что киевский летописец начала XII в., цитируя Хронику Амартола, называет ее «летописанием греческим», используя то же обозначение, что и для своего собственного труда, который он тоже называет «летописанием» (ср. ПВЛ, 11, 119).

Параллельно с влиянием греческой хронографии и также в несколько этапов в первоначальный текст вносится множество интерполяций житийного, учительного, полемического, богословского характера. Агиографическими вставками осложняются рассказы об Ольге и Владимире, в повествование о крещении Руси включается основанная на целом ряде переводных источников Речь Философа, описание первого нашествия половцев прерывается введением в него Слова о казнях Божьих, восходящего к болгарскому Златострую, и т. д. Летопись, возникшая вне жанровых канонов византийской словесности, по мере своего разрастания принимает на свои страницы все новые и новые тексты и фрагменты текстов, создаваемых по этим канонам. В итоге этого процесса, каким является Повесть временных лет, мы находим уже многоуровневую структуру такой сложности и разнообразия, какие, как кажется, действительно не свойственны ни византийской, ни западноевропейской средневековой историографии. И в этом отношении самобытность древнерусского летописания вне всяких сомнений.

Примечания

- ¹ Образчиками таких «живых летописей» (living chronicle) могут служить анналы ирландского монастыря Инисфаллен XI–XIV вв. (Мак Аирт 1951) или шотландская летопись монастыря Мельроз XII–XIII вв. (Андерсон 1936). Подобные памятники позволяют составить достаточно полное представление о порядке ведения анналов, кодикологическом оформлении летописного текста, способах его редактирования и т. д. «Живая летопись» представляет собой, как правило, рукопись сложного состава. К основному блоку кодекса могут быть приплетены или вставлены в него дополнительные тетради и листы, содержащие новый или отредактированный текст. Погодные записи в такой рукописи могут следовать одна за другой (как в Инисфалленских аналах), но могут быть также отделены друг от друга пустым пространством, специально оставленным в расчете на позднейшие дополнения. В летописи Мельроза имеются участки, на которых все пространство листа на протяжении нескольких страниц занято текстом, но в этом тексте выделяется несколько слоев — первоначальные записи и ряд дополнений.
- ² Известную непоследовательность в типологию М. Х. Алешковского вносит проведение параллели между двумя этими видами текстов и двумя типами летописных памятников: летописным сводом и погодной летописью (см. там же). Если погодная летопись действительно складывается из погодных записей, то считать коррелятом «монотематического» повествования летописный свод оснований нет. Создающее летописный свод начало находится вне предложенной исследователем дихотомии — это начало компилятивное. Предметом же компиляции могут становиться тексты обоих выделенных М. Х. Алешковским типов: как отдельные погодные записи и их ряды, так и более или менее крупные произведения «монотематического» характера. Применение типологии М. Х. Алешковского для классификации летописных памятников предполагает поэтому добавление к ней еще одного критерия. Летопись имеет смысл подразделять в зависимости от того, 1) в какой мере они представляют собой компиляции из первичных источников и 2) как соотносятся в рамках этих источников погодные записи и «монотематические» блоки.
- ³ Следует заметить, что в реконструкции М. Х. Алешковского продолженный записями свод 1091 г. есть не что иное, как первая редакция ПВЛ, созданная Нестором. Справедливые сомнения, вызываемые этой атрибуцией, по-видимому, повлияли на то, что и главное предложение М. Х. Алешковского — видеть в первоначальном тексте ПВЛ с 1091 по 1115 г. погодную летопись, а не одновременно созданный текст, — до последнего времени не было оценено по достоинству. С сохранением шахматовского противопоставления Начального свода и ПВЛ эта идея использована в новейшей работе А. Тимберлейка (2001), точка зрения которого на данную проблему представляется особенно близкой действительности. Согласно А. Тимберлейку, первый слой статей ПВЛ 1090–1110-х гг. (по статье 1112 г.) принадлежит Начальному своду и продолжившей его по-

годной Киево-Печерской летописи, создававшейся в княжение Святополка и потому в целом сочувственной ему; второй слой принадлежит собственно ПВЛ, созданной уже при Владимире Мономахе. Промономаховская тенденция этого слоя хорошо согласуется с главным датирующим признаком ПВЛ — счетом лет «до смерти Святополчи» в статье 852 г. Это позволяет датировать создание ПВЛ периодом между смертью Святополка в апреле 1113 г. и моментом переписки текста Сильвестром в 1116 г. В этих хронологических рамках находится и наиболее вероятный, на наш взгляд, повод к составлению нового летописного свода, указанный Л. В. Черепнинным (1948), — второе перенесение мощей Бориса и Глеба в 1115 г. См. также прим. 10.

- 4 Специально об этом пассаже в связи с соотношением Начального свода и ПВЛ см.: Творогов 1976, 20; Гиппиус 2001, 155–159.
- 5 С взаимодействием этих тенденций связано появление в ПВЛ текстов еще одного типа, широко представленного в первую очередь в ее древнейшей части (до начала XI в.), но встречающегося и позже. Его можно обозначить как «псевдоанналы». Это в основном краткие записи, оформленные как погодные, но в действительности содержащие информацию, ретроспективно помещенную под соответствующим годом. В отличие от годовых статей, возникших в результате вторичного членения неанналистического нарратива, такие записи могут восходить к нелетописным источникам (например, Хронике Амартола) или же вообще представлять собой плод исторической реконструкции летописца. Примером может служить запись под 6391 (883) г.: «Поча Олегъ воевати деревляны, и примучивъ а, имаше на нихъ дань по чернѣ кунѣ» (ПВЛ, 14). «Псевдоанналы» могут содержать и вполне достоверную информацию, как, например, запись в Ипатьевской летописи под 1075 г. о рождении у Владимира Мономаха сына Мстислава, внесенная, по всей вероятности, в одну из редакций ПВЛ. Ср., с другой стороны, расположенные в ПВЛ с подозрительной регулярностью записи о рождении детей Ярослава Мудрого, которые Т. Л. Вилкул (2001) подозревает на этом основании в неаутентичности. Отличить достоверные записи такого типа от недостоверных, как и «псевдоанналы» от annales настоящих, т. е. подлинных погодных записей, часто бывает затруднительно. Мы исходим из того, что от дохристианской эпохи подлинных древнерусских annales до нас не дошло, и все оформленные таким образом тексты этого времени представляют собой псевдоанналы. Альтернативная точка зрения, допускающая существование погодного летописания в языческой Руси (см.: Рыбаков 1963; Ворт 1993), идет вразрез с типологической характеристикой жанра как принадлежности христианской книжной культуры средневековой Европы.
- 6 Так, дата 6496 (988) г., отделяющая «дательный самостоятельный» от главного предложения («И минувшю лѣту. Въ лѣто 6496. Иде Володимѣрь съ вои на Косунь, град гречьский»), внесена в текст, восходящий к «Курсунской легенде», фрагменты которой, как показал А. А. Шахматов (1908, 132–134), образуют вторичный слой в повествовании о крещении Руси.

- ⁷ К примеру, речь патриарха, обращенная к Ольге в рассказе о ее крещении, которую Д. С. Лихачев относил к «Сказанию», явно вставлена позже в рассказ о том, как киевская княгиня перехитрила греческого императора (см.: Кузьмин 1977, 334–341; Мюллер 2000, 178).
- ⁸ До последнего времени серьезные сомнения в возможности начала летописания на Руси в эту эпоху вызывало отсутствие прямых свидетельств существования русской книжности при Владимире. Однако сенсационная находка Новгородского кодекса на церах (см.: Зализняк и Янин 2001), датированного самым началом XI вв., в одночасье сделала ее реальностью, подтвердив достоверность ранних летописных известий о начале «книжного учения» на Руси. Особых оснований относиться с большим скепсисом к «Сказанию о русских князьях», чем к шахматовскому Древнейшему своду 1039 г., как кажется, нет. К тому же, как теперь ясно, событие, с которым Шахматов связывал создание Древнейшего свода — учреждение киевской митрополии, — в действительности имело место не в 1037 г., а практически сразу после крещения Руси. К этому же времени Я. Н. Шапов (1972, 126) относит появление уставных грамот о материальном обеспечении Десятиной церкви и русских епископий, лежащих в основе церковного устава Владимира. С другой стороны, совсем недавно А. В. Назаренко (2000, 435–450) привел ряд фактов, позволяющих относить ко времени княжения Владимира и начало формирования литературной традиции о его крещении. На этом фоне создание ядра будущей ПВЛ еще в конце X в. совсем не кажется невероятным.
- ⁹ Сопоставление ПВЛ с памятниками этого типа см.: Алпатов 1973, 102–106); см. также: Рукавишников 2002; Попова 2002).
- ¹⁰ Краткую характеристику ПВЛ в перспективе развития западно- и центральноевропейской анналистики см.: Ваттенбах 1948, 814–815.
- ¹¹ Поскольку в НПЛ это введение отсутствует, А. А. Шахматов считал его появившимся только на этапе создания ПВЛ в 1110-х гг. Сейчас это положение (одно время разделявшееся и автором этих строк, см.: Гиппиус 1994) должно быть, по-видимому, оставлено. В том виде, в каком Введение читается в ПВЛ, оно явно содержит разновременные пласты. С другой стороны, следы усечения Введения имеются в НПЛ (см.: Петрухин 2000, 69–80), а рассказ о разделе земли находит яркие параллели в тексте, заведомо читавшемся в Начальном своде конца XI в. (Алешковский, 1971, 59). Как показал С. Франклин (1982), наиболее вероятный источник этого рассказа (в конечном счете восходящего к «Книге юбилеев») обнаруживается в Изборнике 1073 г. Поскольку этим годом в схеме Шахматова датируется «первый Киево-Печерский свод», исследователь предположил, что библейское введение впервые появилось именно в нем. Принимая тезис С. Франклина об актуальности данного сюжета в политическом контексте начала 1070-гг., мы несколько иначе представляем себе последовательность событий.

Версия, которую мы надеемся подробно обосновать в другом месте, опирается на идею Л. В. Черепнина (1948) о связи двух этапов сложения Начальной летописи с двумя перенесениями мощей св. Бориса и Глеба —

в 1072 и 1115 г. Рассказ о сыновьях Ноя мог впервые появиться в своде 1072 г., в ситуации обостренного соперничества трех братьев Ярославичей. В своде 1091 г., взявшем за точку отсчета истории Руси начало царствования Михаила, часть текста, предшествовавшая этой начальной дате (6362), была устранена, а библейская перспектива уступила место имперской и эсхатологической. Обстоятельства второго перенесения мощей Бориса и Глеба в 1115 г., вновь актуализировали библейский сюжет, в связи с чем созданная в этом году ПВЛ, взяв за основу продолженный записями свод 1091 г., восстановила отброшенное в нем Введение на основе свода 1072 г., существенно расширив его.

Литература

- Алешковский 1971 — *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет. М., 1971.
- Алешковский 1976 — *Алешковский М. Х.* К типологии текстов «Повести временных лет» // Источниковедение отечественной истории. М., 1976. Вып. 2.
- Алпатов 1973 — *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XII–XVII вв. М., 1973.
- Андерсон 1936 — *The Chronicle of Melrose / Ed. A. O. Anderson & M. O. Anderson, London, 1936.*
- Баловнев 2001 — *Баловнев Д. А.* Сказание «О первоначальном распространении христианства на Руси»: Опыт критического анализа // Церковь в истории России. М., 2001. Вып. 4. С. 5–46.
- Ваттенбах 1948 — *Wattenbach W.* Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit / Hgg. R. Holtzmann. Bd. 1. 4. Heft. Tübingen, 1948.
- Ваттенбах 1953 — *Wattenbach W.* Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger / Hrsg. W. Levison und H. Löwe. Weimar, 1953.
- Вилкул 2001 — *Вилкул Т. Л.* Старшие и младшие: летописное моделирование // Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти: XIII чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто (Москва, 11–13 апреля 2001 г.): Мат-лы конф. М., 2001. С. 42–47.
- Ворт 1995 — *Worth D.* ([Church] Slavonic) Writing in Kievan Rus' // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. 1. Slavic Cultures in the Middle Ages. Ed. B. Gasparov and O. Raevsky-Hughes. Berkeley. LA. Oxford, 1993 (Californian Slavic Studies. XVI). P. 141–153.
- Гимон 2000 — *Гимон Т. В.* Периодичность пополнения летописи: англосаксонское и древнерусское летописание // Восточная Европа в древности и средневековье: Историческая память и формы ее воплощения: XII чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто (Москва, 18–20 апреля 2000 г.): Мат-лы конф. М., 2000. С. 76–82.
- Гиппиус 1994 — *Гиппиус А. А.* Ярославичи и сыновья Ноя в Повести временных лет // Балканские чтения-3. Лингво-этнокультурная исто-

- рия Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994. С. 136–141.
- Гиппиус 1997 — *Гиппиус А. А.* Древнерусские летописи в зеркале западноевропейской анналистики // Славяне и немцы: Средние века — раннее Новое время: Сб. тезисов 16 конф. памяти В. Д. Королюка. М., 1997. С. 24–27.
- Гиппиус 1999 — *Гиппиус А. А.* К характеристике новгородского владычного летописания XII–XIV вв. // Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию В. Л. Янина. М., 1999. С. 362.
- Гиппиус 2001 — *Гиппиус А. А.* Рекоша дружина Игоревн: К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian Linguistics. Vol. 25. № 2. P. 147–181.
- Гранден 1974 — *Gransden A.* Historical Writing in England c. 550 to c. 1307. London, 1974.
- Данилевский 1997 — *Данилевский И. Н.* Эсхатологические мотивы в Повести временных лет // У источника. Сборник статей в честь чл.-корр. РАН С. М. Каштанова. М., 1997. Ч. 1. С. 172–220.
- Еремин 1968 — *Еремин И. П.* Лекции по древней русской литературе. Л., 1968.
- Живов 2002 — *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предистории русской культуры. М., 2002.
- Зализняк и Янин 2001 — *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородский кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси // Вопросы языкознания. 2001. № 5. С. 3–25.
- Истрин 1924 — *Истрин В. М.* Замечания о начале русского летописания: по поводу исследований А. А. Шахматова в области древнерусской летописи // Известия ОРЯС за 1924 г. Т. 24.
- Каштанов 1996 — *Каштанов С. М.* Источниковедческие основы компаративного метода в истории // Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. (Москва, 29–31 января 1996 г.). М., 1996. С. 30–35
- Кларк 1995 — *Clark C.* The Narrative mode of *The Anglo-Saxon Chronicle* before the Conquest // Words, Names and History: Selected Writings of Cecily Clark. Ed. R. Jackson. Cambridge, 1995. P. 1–19.
- Котляр 1997 — *Котляр Н. Ф.* Галицко-Волынская летопись (источники, структура, жанровые и идейные особенности) // Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования. 1995 год. М., 1997. С. 80–165.
- Кралик 1968 — *Kralik O.* Počátky kronikárství u Slovanů // Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů. Praha, 1968. S. 233–243.
- Кузьмин 1977 — *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977.
- Лихачев 1947 — *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М., 1947.
- Лурье 1985 — *Лурье Я. С.* Генеалогическая схема летописей XI–XVI вв., включенных в «Словарь книжников и книжности» Древней Руси // ТОДРЛ. Т. 40. С. 190–205.

- Мак Аирт 1951 — *The Annals of Inisfallen*. Edited with translation and indexes by Sean Mac Airt. Dublin, 1951.
- Мак-Кормик 1975 — *McCormick M.* Les annales du Haut Moyen Age. Brepols Turnhout, 1975: (Typologie des sources du Moyen Age occidental / Directeur L. Genicot).
- Манго 1988/1989 — *Mango C.* The Tradition of Byzantine Chronography // Harvard Ukrainian Studies. 1988/1989. 12/13: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine / Ed. by O. Pritsak and I. Shevchenko. P. 360–372.
- Мюллер 2000 — *Мюллер Л.* Рассказ «Повести временных лет» о крещении Ольги // *Мюллер Л.* Понять Россию: историко-культурные исследования. М., 2000.
- Назаренко 2001 — *Назаренко А. В.* Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001.
- НПЛ 1950 — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950.
- ПВЛ 1996 — Повесть временных лет / Подгот. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., исправл. и дополн., подгот. М. Б. Свердлов. СПб., 1996.
- Петрухин 2000 — *Петрухин В. Я.* Древняя Русь: Народ. Князь. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь). М., 2000.
- Попова 2002 — *Попова А. М.* «История готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского как памятник раннесредневековый текст: Проблемы интерпретации. Иваново, 2002. С. 88–103.
- Ранчин 1999 — *Ранчин А. М.* Оппозиция «природа — культура» в Повести временных лет // *Ранчин А. М.* Статьи о древнерусской литературе. М., 1999. С. 105–116.
- Рукавишников 2002 — *Рукавишников А. В.* Проблема «непризнания родства» в раннесредневековых хрониках и Повесть временных лет // Восточная Европа в древности и средневековье: Мнимые реальности в античной и средневековой историографии: XIV чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто (Москва, 17–19 апреля 2002 г.): Мат-лы конф. М., 2002. С. 198–203.
- Рыбаков 1963 — *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Легенды. М., 1963.
- Сухомлинов 1908 — *Сухомлинов М. И.* О древней русской летописи как памятнике литературном // Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1908. Т. 85. №1.
- Творогов 1974 — *Творогов О. В.* Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению // ТОДРЛ. Т. 24. С. 99–113.
- Творогов 1976 — *Творогов О. В.* Повесть временных лет и начальный свод (текстологический комментарий) // ТОДРЛ. Т. 30. С. 3–26.
- Творогов 1996 — *Творогов О. В.* Древнерусская литература // Очерки истории культуры славян. М., 1996. С. 363–377.

- Тимберлейк 2001 — *Timberlake A.* Redactions of the Primary Chronicle // Русский язык в научном освещении. 2000. № 1. С. 219–238.
- Тихомиров 1979 — *Тихомиров М. Н.* Русское летописание. М., 1979.
- Турилов 2000 — *Турилов А. А.* После Климента и Наума (славянская письменность на территории Охридской архиепископии в X — первой половине XIII в.) // *Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А.* Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. М., 2000. С. 76–162.
- Успенский 2000 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка XI–XVII вв. М., 2002.
- Франклин 1982 — *Franklin S.* Some Apocryphal Sources of Kievan Russian Russian Historiography // *Oxford Slavonic Papers*. N. S. 15 (1982). P. 1–25.
- Черепнин 1948 — *Черепнин Л. В.* «Повесть временных лет», ее редакции и предшествовавшие ей летописные своды // *Исторические записки*. М., 1948. Вып. 25. С. 293–333.
- Шахматов 1908 — *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.
- Щапов 1972 — *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. М., 1972.

Б. В. Носов
(Москва)

Славянские народы на рубеже XXI в.

Истекшее десятилетие накопило значительный опыт, позволяющий осмыслить место славянских народов в современном мире и выявить тенденции и перспективы их развития в ближайшее по историческим меркам время. Главными вопросами сегодняшнего дня в связи с этим становятся, по нашему мнению, две фундаментальные проблемы. Во-первых, это перспективы посткоммунистической модернизации и, во-вторых, тенденции глобализации мировой экономики, социального развития и духовной жизни современного общества. Указанные вопросы, несомненно, являются, важнейшими из проблем, стоящими перед гуманитарной наукой и перед славяноведением в частности. Тезис об особой роли славяноведения в исследовании названных универсальных проблем основывается на том, что именно славянские народы в целом оказались вовлечены в процесс посткоммунистической модернизации, в то время как иные исторические и цивилизационные общности были затронуты ею только частично, причем в минимальной степени, а также на том, что в процессе глобализации славянские народы оказались в зоне цивилизационного разлома между Востоком и Западом. Употребляя последнее понятие, мы отдаем себе отчет в дискуссионности его содержания и применяем его лишь постольку, поскольку оно служит для обозначения весьма сложного и многостороннего явления, нуждающегося само по себе в глубоком и детальном изучении.

I

Начало посткоммунистического развития для славянских народов характеризовалось, по словам одного из теоретиков реформаторского курса, убеждением, что «тотальная система советов кончилась тотальным крахом, а это значило, что выход из коммунистического общества также должен был носить тотальный характер <...> нужно было менять и выстраивать заново все — экономику, политический строй, само общество»¹. Итоги такого неолиберального подхода разительно отличались от ожиданий.

В ходе реформ все славянские страны пережили длительный экономический спад, резкое сокращение занятости, распад сложившихся социальных связей, духовный кризис. Состояние общества трудно

поддается количественной оценке. Наиболее объективны в этом смысле экономические показатели. Даже так называемые «успешные» трансформации сопровождались в славянских странах, как, впрочем, и в других государствах Центральной и Восточной Европы, падением ВВП, сопоставимым с Великой депрессией, а восстановление производства происходило медленнее, чем в США в 1930-е гг.² Спустя 10 лет едва ли можно назвать переходные страны «регионом роста», только некоторые из них (Польша, Словения, Белоруссия) за это время ненамного превзошли докризисный уровень. Сравнение производства ВВП на душу населения (по данным Всемирного банка) свидетельствуют, что Чешскую республику и Венгрию можно сопоставить с Тринидадом и Тобаго, Болгарию — с Папуа–Новая Гвинея, Россию — с Намибией, а Польшу — с Ботсваной³. Характер экономического развития не мог не сказаться на всех сторонах общественной жизни, для которой было свойственно разложение традиционных социальных структур, падение доверия к национальным политическим институтам, эрозия моральных ценностей, упадок культуры и изменение ее роли, объединяющей народы в процессе социальной дифференциации.

Разочарование в неолиберализме в Восточной Европе не представляет собой уникального явления. Аналогичные последствия «структурных реформ» и соответствующие оценки имеют место в Азии и в Латинской Америке, где не было процессов посткоммунистической трансформации. Тем не менее мы сталкиваемся с общим феноменом пересмотра тезиса об универсальном характере рыночной (то есть западной) модели развития. Соответствующие дискуссии уже вышли за пределы сугубо ученой среды и приобрели широкое общественно-политическое звучание. Требование «эффективного управления» как антитезы стихийному рыночному регулированию привело к постепенному пересмотру взглядов на роль государства, укрепило убеждение в необходимости конструктивной государственной политики в создании адекватной институциональной среды для нормального функционирования рынка, в необходимости государственного регулирования социальных отношений в сфере перераспределения доходов и в выстраивании соответствующей передовым общественным потребностям социальной структуры, а также в области общественного сознания и культуры. В последнем случае совершенно очевидна несостоятельность рыночного механизма спроса и предложения, поскольку и первое, и второе определяется частными интересами, которые не перестают быть таковыми, даже когда частный интерес представлен той или иной корпорацией или ассоциацией. Развитие культуры во всеобъемлющем ее содержании требует государственной программы, основанной на общественных

потребностях, а не на частных интересах, и соответствующей мобилизации общественных ресурсов.

С новой перспективой в славянских странах приходит осознание, что не существует универсальных императивов модернизации, которые автоматически вернут в «нормальный мир» народы, расставшиеся с коммунистическим прошлым. Народы Центральной и Восточной Европы, ядро которых составляет славянское сообщество, вынуждены интегрироваться в мировой рынок из состояния отсталости, плохо подготовлены к встрече с силами современной глобализации. Стоящая перед ними сегодня задача «нормализации» означает в этом контексте и то, что Адам Пшеворский предвидел в момент падения «железного занавеса». В 1991 г. он писал, что наши страны «тоже столкнутся со всеми даже слишком нормальными проблемами экономики, политики и культуры бедного капитализма»⁴. В этом смысле программа «нормализации», как и прокламируемая «новая волна реформ» должны остановить и преодолеть сползание общества к структурной деградации, к социальной сегментации, чтобы не допустить отступления славянских народов на периферию современного мира.

II

Вопрос о том, что же несет славянским народам современная глобализация, постоянно находится в центре общественного внимания. Не раз он становился предметом обсуждения и в рамках научных дискуссий, приуроченных к Дням славянской письменности и культуры. Поэтому сегодня мы остановимся только на отдельных аспектах поставленной проблемы. Сама по себе глобализация явление отнюдь не новое. Интернационализация мирового хозяйства, социальных отношений и всех сторон общественной жизни как тенденция мирового развития была отмечена наукой еще в XIX в., однако несомненно, что на современном этапе этот процесс приобрел качественно новые черты. Важнейшие из них, по нашему мнению, это новый уровень, если можно так сказать, технологического раздела мира. Обладание высокими технологиями, отчуждение технологической ренты становятся все более значительными факторами международной конкуренции. Во-вторых, это новое качество международных отношений, когда национальный суверенитет отдельных стран ограничивается в пользу международных наднациональных объединений, политика которых определяется монополистическими корпорациями. И, в-третьих, это раздел мирового информационного пространства между великими державами и ярко выраженная их идеологическая и культурная экспансия.

В этом смысле положение славянских стран нельзя признать оптимальным. Их экономическое отставание сочетается с отставанием технологическим, ибо падение производства в наибольшей степени коснулось высокотехнологичных областей, которые к тому же восстанавливаются наиболее медленно. Это происходит на фоне весьма показательной тенденции. Если по объемам производства, взятым в натуральных показателях, 20 наиболее развитых стран на протяжении последних 15 лет постепенно уступают свои позиции развивающимся странам, то в стоимостном отношении присутствует ярко выраженная обратная тенденция, особенно заметная в сфере высоких технологий, где на развитые страны приходится более 80% мирового производства как в натуральном, так и стоимостном выражении. Такая ситуация вызывает озабоченность в наших странах, осознание необходимости новых импульсов в развитии науки и технологии, кооперации друг с другом в области научно-технической политики. Примерами могут служить сотрудничество в области ядерной энергетики, совместные проекты Белоруссии, Украины и России, научно-техническое сотрудничество Польши, России, Словакии. Такие начинания, наряду со взаимным стремлением к развитию взаимовыгодной торговли и других экономических связей, очевидно демонстрируют, что славянское единство и сегодня имеет достаточно прочную экономическую основу.

В области интернационализации международных отношений славянские народы стали одним из первых объектов воздействия так называемого «нового мирового порядка»⁵. Центром событий стали народы Югославии, подвергшиеся ударам НАТО. Согласно концепциям западных политологов, миротворческие действия Североатлантического блока не повлияли на суверенный статус государств, подвергшихся атакам умиротворителей⁶. Однако как объективный научный анализ, так и восприятие событий на Балканах общественным мнением славянских стран свидетельствуют об обратном. При этом следует отметить, что наметились расхождения в оценках событий на Балканах правящими кругами и официальными средствами массовой информации, с одной стороны, и широкой общественностью, с другой. Таким образом, можно констатировать, что идеи славянской солидарности отнюдь не изжили себя и не представляют лишь дань прошлому.

В условиях интернационализации общественной жизни, выработке универсальных стандартов общественного бытия принципиальное значение для сохранения потенциала развития имеет многообразие форм общественной жизни и общественного сознания. В нынешних условиях важнейшим средством сохранения такого многообразия является накопленный культурный потенциал народов, его творческое развитие. В связи с этим огромное значение имеет культура славян-

ских народов, без которой невозможно представить мировую культуру в целом. Культура наших народов, о чем уже говорилось неоднократно, выступает как основа этики и морали, фундамент нашего общественного бытия, стержень нашей национальной и общеславянской идентичности. Однако в современном обществе развитие культуры становится не просто функцией, имманентно присущей обществу, но и решающим условием общественного развития. Социальная структурированность человечества все в большей степени включает в себя культурный компонент, без которого нельзя представить себе перспективу общественного развития.

III

В заключение, в свете вышесказанного, несколько слов о современных проблемах гуманитарной науки. Более трехсот лет ученые стремились познать универсальные законы развития человечества. В этом стремлении, в частности, нашла естественное отражение потребность осознания единства человеческого рода. Ныне, когда интернационализация экономической жизни, политики и культуры стала непреложным фактом, повседневностью бытия, на первый план научного поиска выступает исследование многообразия общественной жизни. Способы его изучения неисчерпаемы, как неисчерпаемы сами явления социальной действительности и культурного пространства. Тем не менее феномен славянской общности как один из важнейших элементов многообразия человеческого мира продолжает оставаться для мировой науки важнейшим предметом изучения. Надо ли говорить в связи с этим, что для России как крупнейшей славянской страны славяноведение остается фундаментальным направлением научного знания, неразрывно связанным с ее национально-государственными интересами, с ее исторической миссией как одного из признанных лидеров славянского мира.

Примечания

- 1 *Malia M.* Leninist Endgame // *Deadalus*. Vol. 121. Spring, 1992. P. 69.
- 2 *Gregory P. R.* The Years of Transformation. Frankfurt/Oder, 1999. P. 2.
- 3 World Bank. World Development Report 2000/1. Attacking Poverty. Wash.: DC, 2000.
- 4 *Przeworski A.* Democracy and the Market. Cambridge, 1991. P. 191.
- 5 См.: *Волков В. К.* «Новый мировой порядок» и роль международного кризиса на Балканах в его становлении // Новая и новейшая история. 2002, № 2.
- 6 См. *Frieden machen* / Hg. v. D. Senghaas. Frankfurt a/M., 1997; *Calic M. J.* Krieg und Frieden in Bosnien-Hercegovina. Frankfurt a/M., 1996.

Б. Н. Флоря
(Москва)

Смоленщина и Московская Патриархия накануне Русско-польской войны

Еще в 1914 г. известный исследователь церковных отношений на Смоленщине П. Строгонов обратил внимание на события, происходившие в Дорогобуже незадолго до начала русско-польской войны¹. Как узнал в апреле 1653 г. проезжавший через город русский гонец, подьячий Д. Мордасов, в Дорогобуж «на третьей неделе Великого поста» неожиданно прибыл смоленский униатский архиепископ Андрей Золотой Квашнин. Приезд его был связан с тем, как узнал подьячий, что архиепископу от посланника Речи Посполитой Казимира Униховского, посетившего Москву в 1652 г., стало известно, что четверо жителей Дорогобужа, приехавшие в Москву вместе с посольством, там «стали в попы» и, получив в русской столице антиминсы, стали служить в дорогобужских церквях. Поэтому, приехав в Дорогобуж, архиепископ стал проверять, на каких антиминсах служат местные священники².

О некоторых других мерах, принятых тогда архиепископом, сообщил 27 мая 1653 г. направлявшемуся в Речь Посполитую русскому посольству игумен Бизюкова монастыря Гедеон. Священники, поставленные в Москве, были задержаны, архиепископ отобрал у них ставленные грамоты и «скуфьи с них снял и претил им злою мукою». После этого один из них «пристал... к унияцкой ереси» и был поставлен в священники архиепископом, а двое других бежали — один из них бежал в Россию, а другой «живет в укрыте» у местных жителей. Игумен Гедеон отметил также важную подробность, о которой ранее не сообщалось и которая придавала происшедшему инциденту особое значение — жители Дорогобужа были поставлены в священники самим главой русской церкви — патриархом Никоном³.

Происшедшее никак нельзя считать чем-то обычным. Поставление священников на территорию другого государства, да еще и самим главой русской церкви никак не вписывается в рамки обычных

отношений между государствами, даже если они не отличаются высокой степенью дружелюбия. Правда, речь шла здесь о действиях церковной, а не светской власти, но связь между той и другой была для современников достаточно очевидной. Показывая своими действиями, что он не желает считаться со сложившимися после Смуты церковными границами, патриарх тем самым ставил под сомнение и государственные границы, которые с этими церковными границами совпадали.

В условиях конца 1652–1653 гг. в таком поведении Никона нельзя увидеть чего-либо необычного. К этому времени переговоры о принятии Запорожского войска «под высокую руку» царя Алексея Михайловича вступили в завершающую стадию, и сам патриарх принимал в них активное участие. Постановление священников патриархом Никоном в такой ситуации можно было бы рассматривать как своеобразный пролог к вступлению русских войск на Смоленщину летом 1654 г.

Выясняется, однако, что действия Никона вовсе не были первым подобным актом. В начале 1649 г. в пограничный русский город Вязьму приехали из Москвы жители Дорогобужа Федька Иванов сын Попов и Якушко Степанов сын Попов, побывавшие в русской столице вместе с польско-литовским посольством во главе с Добеславом Чеклинским. Так как у них не оказалось грамоты «о пропуске за рубеж», дорогобужане были задержаны в Вязьме. При начавшемся разбирательстве выяснилось, с какой целью они ездили в Москву. Здесь они «по... государеву указу и по их челобитью» были поставлены в священники митрополитом Сарским и Подонским Серапионом. Федор Иванов был поставлен священником в сам город Дорогобуж в церковь Параскевы Пятницы, а Якушко Степанов — в церковь св. Николая Чудотворца в селе Кнещине Дорогобужского уезда⁴. Священники предъявили и тексты полученных ими ставленных грамот⁵, как было отмечено в ставленных грамотах, желающие посвящения представили, как того требовали традиционные нормы, свидетельства своих духовных отцов.

Судя по реакции местных властей, речь шла о достаточно обычном факте, не вызвавшем у воевод какого-либо удивления. Если бы не случайное отсутствие у священников проезжей грамоты, он, скорее всего, не нашел бы никакого отражения в известных нам источниках.

Новое обнаруженное свидетельство позволяет прийти к некоторым важным заключениям.

Как известно, православное население Смоленщины в 20–40-х гг. XVII в. было принудительным образом подчинено власти униатского архиепископа в Смоленске⁶. Теперь, очевидно, что за этим внешним фасадом скрывалось недовольство местного населения создавшимся

положением. Без достаточно широкой поддержки со стороны городского населения и крестьян вряд ли простые жители Дорогобужа решились бы на действия, которые могли повлечь за собой весьма неприятные для них последствия и резко расходились с политикой и смоленской шляхты и властей Речи Посполитой. О существовании такой поддержки косвенно свидетельствует и тот факт, что подобные действия могли продолжаться в течение нескольких лет втайне от церковных и светских властей Польско-Литовского государства.

Конечно, речь шла об установлении церковных связей, но само обращение за посвящением в Москву, а не к православному митрополиту Петру Могиле в Киев, как представляется, говорит о стремлении населения к тому, чтобы обновить свою связь с Россией, от которой Смоленщина была отторгнута после событий Смутного времени.

Готовность русской стороны на высоком уровне пойти навстречу пожеланиям жителей Дорогобужа бросает свет и на русскую внешнюю политику, которая в восстановлении (хотя бы и неофициальном) церковных связей несомненно видела одну из предпосылок для возвращения в будущем Смоленщины в состав Русского государства. О существовании у происходивших событий политической составляющей помимо очевидных общих соображений говорит одна характерная деталь. В черновике царской грамоты воеводам Вязьмы, содержащей разрешение поставленным священникам выехать в Речь Посполитую, читается следующий текст: «и приказати им, как они по благословиению богомольца нашего преосвященнаго Серапиона митрополита в Дорогобуже, у своих мест учнут священнодействовати, и они б о нашем царском здравии и о царице нашей и о всем нашем царском синклите Бога молили»⁷. Правда, в дальнейшем этот текст был зачеркнут и, следовательно, в беловик документа отправленного воеводам не вошел, но все же его появление говорит само за себя.

Случайность, отрывочность имеющихся сведений не дает возможности с уверенностью ответить на вопрос о том, к какому времени следует отнести появление такой практики. Все же представляется маловероятным, чтобы подобная практика могла существовать в течение десятилетий, не привлекая внимания духовных и светских властей Речи Посполитой. Гораздо больше оснований видеть в происшедшем закономерную реакцию и светской, и духовной власти Русского государства и православного населения Смоленщины на победы войск Богдана Хмельницкого.

Приложение

СПИСКИ СТАВЛЕННЫХ МИТРОПОЛЬЧИХ ГРАМОТ СЛОВО В СЛОВО

1. Лета 7158-го октября в 9 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу. Божиею милостию се аз, смиренныи преосвященныи Серапион митрополит Сарский и Подонский, по благодати Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа даней нам от Пресвятаго и Животворящаго Духа благословил есми дьяка Якова Степанова сына попова и поставил его в чтецы и в подьяки и в подьяконы и во дьяконы и совершил есми его в попы за рубеж в Дорогобужской уезд в село Кнещино к церкви к Николе Чюдотворцу со всяким испытанием и со истязанием по поручению и по свидетельству отца его духовного, еже есть достоин священства. И он по нашему благословиению и по сеи нашей грамоте священническая да действует во святеи божии церкви невозбранно. И аще кто к нему приходит от детей его духовных, и он их да разсужает по правилам святых апостол и святых отец, имея власть вязати и рещати (!) по благословиению нашего смирения.

Писана на Крутицах.

А над печатью написано: Смиренныи Серапион митрополит.

2. Лета 7158-го октября в 11 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу. Се аз, смиренныи преосвященныи Серапион митрополит Сарский и Подонский, по благодати Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, даней нам от Пресвятаго и Животворящаго Духа, благословил есми дьяка Федора Иванова сына попова и поставил его в чтецы и в подьяки и в подьяконы и во дьяконы и совершил его в попы за рубеж в город Дорогобуж к церкви святых великомученицы Парасковьи, нареченных Христовы Пятницы, со всяким испытаньем и истязаньем по поручению и по свидетельству отца его духовного, еже есть достоин священства, и он по нашему благословиению и по сеи нашей ставленной грамоте священническая да действует во святеи божие церкви невозбранно. И аще кто к нему приходит от детей его духовных, и он их да разсужает по правилам святых апостол и святых отец, имея власть вязати и рещати по благословиению нашего смирения. Писана на Крутицах.

А над печатью написано: смиренныи Серапион митрополит.

Примечания

- ¹ *Строгонов П.* Патриарший Бизюков монастырь. Опыт церковно-исторического исследования. Могилев, 1914. С. 100, 193.
- ² Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. Т. III (1651–1654 годы). М., 1954. № 156. С. 276.
- ³ Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 79 (Сношения России с Польшей). Кн. 83. Л. 299 об., 302.
- ⁴ РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1649 г. № 1а. Л. 577.
- ⁵ Там же. Л. 579–580.
- ⁶ См. об этом: *Krajcar J.* Religious conditions in Smolensk // *Orientalia christiana periodica*. 1967. № 2; *Флоря Б. Н.* Положение православного населения Смоленщины (20–40-е годы XVII вв.) // *Revue des études slaves*. Т. LXX/2. Paris, 1998.
- ⁷ РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1649 г. № 1а. Л. 581.

Н. С. Гурьянова
(Новосибирск)

Эсхатологические построения сибирских старообрядцев XVIII в. и традиции русского православия

Раскол в русской церкви, происшедший в середине XVII в., способствовал обсуждению и решению многих актуальных религиозно-богословских проблем, связанных с практикой богослужения и общими вопросами вероучения. Защитники старого обряда, не одобряя нововведений патриарха Никона, провозгласили себя хранителями традиций русского православия. С их точки зрения нельзя было вносить какие-либо изменения в богослужебную практику или богослужебные тексты, как это сделал патриарх Никон, поскольку «истинность» русского православия не вызвала у них сомнения. Идеологи раннего старообрядчества представляли себя, в отличие от последователей патриарха Никона, истинными ортодоксами, отстаивающими чистоту и неизменность веры, которой придерживались их предки. Но неуклонное следование традиционному учению Церкви было осложнено отсутствием решения многих богословских вопросов, составляющих русский вариант православия. Ярким примером подобного положения может служить православное эсхатологическое учение, которое является важной составляющей вероучения.

Эсхатологические ожидания всегда были сильны в русском обществе, но особенно обострялись в кризисные моменты, каковым является XVII в. С момента раскола в русской православной церкви старообрядцы остро ставят вопрос о переживаемом времени и объявляют его «последним», в которое царствует Антихрист, и далее следует ожидать конца света — Второго пришествия Христа, Страшного суда со всеми вытекающими последствиями. Утверждение об уже свершившемся воцарении в мире Антихриста было основным отличием старообрядческих эсхатологических построений от эсхатологического учения официальной православной церкви. Защитники старого обряда не только провозгласили идею о наступлении «последних времен», но и жили, ощущая приближение близкой катастрофы, должной, по христианскому вероучению, предшествовать Страшному суду.

Вопрос о переживаемом времени был очень актуален для староверов, поскольку именно эсхатологическое учение являлось основа-

нием для выработки формирующейся идеологии, догматики и богослужебной практики. Наступлением антихристовых времен объясняли защитники старого обряда в XVIII в. свое бессвященническое состояние, отрицание браков, изменения в богослужебной практике. Эсхатологическими построениями староверы обосновывали свои политические взгляды, благодаря им выражали социальные чаяния.

В русской православной церкви вопросы эсхатологического учения были подняты и в определенной степени решены в связи с ожидавшимся концом света в 1492 г., но отсутствовала детальная проработка всех проблем. Старообрядцы вынуждены были не защищать сформулированное в самом общем виде эсхатологическое учение, а обратиться к его оформлению. При этом они, разумеется, прежде всего, ориентировались на древнерусские традиции. Они пытались представить себя защитниками русского православия, которое с их точки зрения было нарушено реформами патриарха Никона. Приверженность старине объясняет особо уважительное отношение старообрядцев к древним, харатейным рукописям, старопечатным книгам, изданным до реформ.

Выстраивая свою систему авторитетов, защитники старого обряда обязательно опирались на традицию, существовавшую в русской православной Церкви. В данном случае хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что староверы, обратившись к оформлению эсхатологического учения, попытались найти в духовном наследии своих предков те варианты интерпретации Священного Писания, которые более всего отвечали их насущным потребностям. Утверждение об уже состоявшемся приходе в мир Антихриста стало отправной точкой для староверов при оформлении эсхатологического учения, оно определило и суть их точки зрения по этому поводу.

Особенно интенсивно и результативно староверы занимались обсуждением проблем эсхатологического учения в XVIII в. Для старообрядческих эсхатологических построений характерна многовариантность, когда буквально каждое согласие, а иногда и каждый автор представлял свое истолкование текстов Священного Писания и Священного Предания, составляющих христианское эсхатологическое учение. Мы обратим внимание на эсхатологическое сочинение, написанное в конце XVIII в. на берегах Оби (об этом неоднократно сообщается в тексте сочинения) автором, принадлежащим к поморскому (беспоповскому) согласию, названное «Щит веры» — огромное сочинение, пятая часть которого посвящена изложению эсхатологического учения¹. Оно было написано в конце XVIII столетия и является итоговым документом, появившимся в результате интенсивного обсуждения проблем эсхатологического учения в поморском согласии.

Староверы, объявив себя защитниками традиций русского православия, адептами «старой веры», хранителями древних устоев должны были отстаивать неизменность вероучения. В русской церкви вполне оформленного эсхатологического учения не существовало, многие богословские вопросы, составляющие его, были еще в стадии решения, поэтому важно понять на какие именно традиции попытались опереться староверы в своем противостоянии последователям патриарха Никона. Мы обратим внимание только на один аспект интереснейшей проблемы оформления староверами эсхатологического учения — на использование защитниками старого обряда в эсхатологических построениях сочинений украинско-белорусских авторов, живших в конце XVI — начале XVII вв.

После Смутного времени русская православная церковь некоторое время в качестве ориентира выбрала киевскую ученость, которая сама была заинтересована в тесном контакте с Россией². Это была особая ветвь православия, продолжившая традиции духовного наследия Кирилла и Мефодия, развивавшаяся под непосредственным влиянием латино-польской образованности, но в постоянном противостоянии другим христианским конфессиям католиками и протестантами, занимавшим ведущие позиции в данном регионе.

В первой половине XVII в. были переведены на русский язык и изданы в Москве два сборника сочинений киевско-белорусских авторов — «Кириллова книга» (1644 г.) и «Книга о вере» (1648 г.), которые оказали определенное влияние на дальнейшее развитие русской богословской мысли³. В это же время в Москве появляются и становятся популярными многие киевско-белорусские издания конца XVI — первой половины XVII в. Следовательно, староверы имели полное право считать использование сборников «Кириллова книга» и «Книга о вере», а также украинско-белорусских изданий определенной традицией русского православия.

Разумеется, в кратком сообщении невозможно подробно осветить данную проблему, можно ее только обозначить. Важным аспектом ее изучения является вопрос бытования московских изданий украинско-белорусских произведений в старообрядческой среде. Сборники «Кириллова книга» и «Книга о вере» пользовались особым уважением в кругу защитников старого обряда, что вызвало некоторое замешательство у иерархов официальной церкви и они уже в вопросах Неофита попытаются сформулировать мысль о сомнительности этих текстов с точки зрения православного вероучения. Староверы в своих знаменитых «Поморских ответах» попытаются доказать их соответствие православию⁴. В эсхатологических построениях староверов XVIII в. постепенно тексты этих сборников станут основным аргу-

ментом в пользу утверждения об уже состоявшемся в 1666 г. воцарении Антихриста.

Особенно активно использовалась староверами 30 глава «Книги о вере», в которой было в свое время сформулировано пророчество о 1666 г. как годе «последнего» отступления, с которого должно было начаться царство Антихриста. В 368 ответе из «Щита веры» мы находим не только положительное отношение к изданному в 1648 г. тексту «Книги о вере», но зафиксированную явную сакрализацию личности «творца Книги о вере». Этим обстоятельством автор аргументирует требование к оппонентам верить предсказанию 30-й главы о 1666 г. «всеконечно», т. е. безусловно.

Не останавливаясь подробно на судьбе «Кирилловой книги» и «Книги о вере» в старообрядческой среде, обратим внимание только на тот факт, что староверы в данном случае отстаивали свое право оставить эти тексты в кругу авторитетных на том основании, что они изданы русской православной церковью с разрешения русского царя и «благословением» патриарха Иосифа, т. е. с их точки зрения текст был «засвидетельствован древлеправославною церковью». Это позволило староверам не только апеллировать к изданным «Кирилловой книге» и «Книге о вере», но постепенно сделать используемые фрагменты текстов из них идейной доминантой эсхатологических построений.

При этом следует подчеркнуть, что авторитетность текстов этих двух изданий староверы отстаивали, внимательно и досконально изучив историю их создания. Так, например, они были осведомлены, что в сборнике «Кириллова книга» в начале был помещен перевод сочинения «белорусца Стефана Зизания», посвященного толкованию 15 Слова Кирилла Иерусалимского. В ответе 333 «Щита веры» цитата из «Кирилловой книги» введена следующим образом: «Но о том в знамени 6-м толкователь словес св. Кирила Стефан Зизаний так пишет...» (Л. 525). Следовательно, старообрядцы признавали авторитетность московского издания, прекрасно понимая, что они используют толкования белорусского автора, жившего в конце XVI в., на Слово Кирилла Иерусалимского.

Старообрядец, живший в конце XVIII в., не удовлетворился текстом «Кирилловой книги», а обратился и к изданию сочинения Стефана Зизания, с которого был осуществлен перевод, включенный в состав сборника и давший ему название. Причем обозначил его как «Кирилова книга польского наречия» (Л. 549 об.). Далее приведены цитаты из виленского издания «Казанья о Антиристе», конец которых отмечен следующей фразой: «Дозде из Кириловы книги приведохом вкратце» (Л. 549 об.–550)⁵. Следовательно, старообрядцы считали ав-

торитетным не только сборник «Кириллова книга», но и послужившие основой для перевода при его формировании тексты украинско-белорусских авторов конца XVI — начала XVII вв.

В старообрядческой среде, по-видимому, в связи с подготовкой «Поморских ответов», были проведены разыскания и по поводу истории создания «Книги о вере», в частности, по поводу происхождения 30-й главы. Автор «Щита веры» не просто апеллирует к ее тексту, а приводит результаты этих разысканий, процитировав сначала фрагмент из Палинодии Захария Копыстенского⁶, послуживший основой для автора «Книги о вере» в части предсказания о 1666 г., затем отрывок из «писменной Книги о вере», явно ставшей источником для печатного издания, и, наконец, тот же отрывок из издания 1648 г. (Л. 611 об.—612 об.). Следовательно, староверы, зная о происхождении текстов московских изданий, в XVIII в. не только сохранили их в качестве авторитетных, продолжая традицию русской православной церкви первой половины XVII в., но и стали осмысливать в качестве основы своих эсхатологических построений.

Следует подчеркнуть, что в XVIII в. защитниками старого обряда активно использовались не только изданные в Москве сборники сочинений украинско-белорусских авторов, но и послужившие их источником украинско-белорусские сочинения и издания конца XVI — начала XVII вв. Их внимание привлекли не только связанные с публикацией «Кирилловой книги» и «Книги о вере», но и другие «литовские» книги этого периода. Так, например, автор «Щита веры» активно использует Апокалипсис и Толкования на него.

Поморский автор, разумеется, в первую очередь ссылается на рукописную традицию — Апокалипсис «старописменный» (Л. 641 об.), «старописменный трехтолковый» (Л. 619, 631 об., 633 и др.), «4-х толковый» (Л. 611), приводя из этих рукописей цитаты. К сожалению, по приведенным фрагментам и указаниям автора на то, что он имел дело с «древлеписменным» или «старописменным» Апокалипсисом, трудно что-либо определенное сказать об этих рукописях. Можно только констатировать, что автор-старообрядец использовал в своем сочинении цитаты из нескольких рукописных списков Апокалипсиса, в том числе с толкованиями, которые он обозначает как «трехтолковые» и «4-х толковые».

Для нас важно, что старообрядец, живший в конце XVIII в., приводя нужные ему фрагменты текста Апокалипсиса и толкований по рукописным спискам, указывая на их древность и явно признавая их авторитетность, тем не менее, счел необходимым привлечь печатные издания Апокалипсиса. При этом автор всегда дает четкие пояснения, каким из вариантов текста (печатным или рукописным) он

пользуется. Ярким примером может служить фраза, которая заключает цитату из рукописного Толкового Апокалипсиса и предваряет фрагмент из печатного издания: «Сия убо в старописменном, в трех-толковом Апокалипсисе толкуется. В печатном же...» (Л. 633).

В большом количестве автор приводит цитаты из «печатного» Апокалипсиса, обозначая конец следующим образом: «Дозде Андрей Кесарийский» (Л. 523 об.). Другой вариант отсылки к этому изданию представлен во вводной фразе типа: «И по блаженному Андрею, архиепископу Кесарийскому...» (Л. 537 об.). Иногда на поле для читателя поясняется: «Апокал. печат... Андрей Кесарийск.» (Л. 610 об.). Следовательно, речь идет об издании Толкований на Апокалипсис, выполненных Андреем Кесарийским. Первое издание на церковнославянском языке было осуществлено в 1625 г.⁷ Старообрядец XVIII в. пользовался именно этим киевским изданием, о чем свидетельствует тот факт, что он дословно воспроизводит фрагменты текста и почти всегда указывает точно листы, на которых они расположены.

Дополнительным свидетельством в пользу этого утверждения может служить использование автором «Щита веры» предметного указателя, составленного Тарасием Земкой и отсутствующего в московских изданиях⁸: «О чем во Апокалипсисе, каталог, литера А значит сице: Антихрист римское царство воздвигнути лицемеритися будет. Лист 89, строка 40»⁹. Далее автор приводит большой фрагмент текста из издания, к которому относится это пояснение, введя его следующим образом: «А в самом Апокалипсисе на оном 89 листе, строка 40, то есть во главе 18, зач. 55 в толковании Андрея архиепископа Кесарийскаго пишет сице...». После этого приведена еще одна цитата из предметного указателя по поводу «литеры Л — лик един» и соответствующий текст издания (Л. 618 об.—619). Все это доказывает, что в распоряжении автора-старообрядца были цитаты из киевского издания.

Это издание озаглавлено следующим образом: «Святаго нашего Андрея архиепископа Кесарии Каппадокийския. Толкование на Апокалипсис святаго апостола и евангелиста Христова Иоанна Богослова. От еллинскаго на славянский диалект преведенное и чинно расположенное волею и тщанием и благословением преподобнейшаго и в православии сияющаго кир Захарии Копыстенскаго, милостию Божию архимандрита святой Лавры Печерския Киевския». Здесь указано, что данное издание осуществлено под руководством Захарии Копыстенского. В предисловии говорится о том, что оно было подготовлено при участии Лаврентия Зизания и Памвы Берынды. Все эти имена киевских деятелей, казалось бы, не должны быть безусловными авторитетами для старообрядцев. Тем не менее это изда-

ние будет активно использоваться старообрядцами в качестве весьма авторитетного, наряду с рукописными списками Толкового Апокалипсиса. Следует обратить внимание, что при этом автор не делает акцента на его киевском происхождении.

Автор-старообрядец не ограничился киевским изданием, дополнительно он привлек еще одно, маркировав его как «Апокалипсис Кутеинского монастыря, печ.» (Л. 622) или: «Толковый Апокалипсис малороссийский, Кутеинской печати» (Л. 640 об.). На это издание, как и в случае с киевским, автор ссылается, подтверждая или дополняя приводимые фрагменты из рукописных списков. Например, приведя цитату из «Апокалипсиса старописменного», автор апеллирует еще и к авторитету «Кутеинского Апокалипсиса»: «То же и в печатном, в Апокалипсисе Кутеинском на поле пишется...» (Л. 609) или: «И в трехтолковом Апокалипсисе...И в малороссийской печати Апокалипсисе, како о убиении пророк живуции на земли возрадуются, толкует...» (Л. 619).

Автор «Щита веры» воспользовался изданием Апокалипсиса в составе Нового завета¹⁰. Внимание старообрядца к этому изданию привлекли толкования, напечатанные в этом издании на полях. Следует отметить, что эти толкования он представляет читателю наряду с толкованиями Андрея Кесарийского: «Вемы, яко, аще и толковницы Апокалипсиса Андрей Кесарийский и прочии протолковаша сию тысящу на связание сатаны и не во уставныя лета или на совершенство евангельския проповеди. О чем зри Апокалипсис, главу 20 с толкованиями...» (Л. 608 об.). Приведенная далее цитата из Нового Завета (1652 г.) свидетельствует, что эти комментарии важны и авторитетны для старообрядца не менее, чем Толкования на Апокалипсис, выполненные Андреем Кесарийским. Кроме этого издания, осуществленного в Кутеинском монастыре, автор «Щита веры» ссылается еще на «белорусские малые Апокалипсисы» (Л. 559 об.). Трудно предположить, какие издания или рукописи имеет в виду поморский автор, но важно, что он подчеркивает их белорусское происхождение.

Приведенные фрагменты текстов из «старописменных» и печатных Апокалипсисов, в том числе и с толкованиями, позволили старообрядцу более полно представить собственную точку зрения на проблемы эсхатологического учения. Важно, что староверы не ограничивались каким-то одним авторитетным текстом Толкового Апокалипсиса (рукописным или печатным), а использовали цитаты из всех доступных источников. Как удалось установить, автор «Щита веры» использовал цитаты из нескольких рукописных списков и двух изданий Апокалипсиса, в том числе и с толкованиями. При этом

он явно считал эти рукописи и издания авторитетными, способными убедить читателя в справедливости собственной точки зрения.

В ответах на 366 и 367 вопросы автор «Щита веры» выстроил своеобразную иерархическую лестницу авторитетов: «О чем архангел Гавриил, пророк Даниил, апостол Павел, Златоуст, Ипполит, Кирил и инии толковницы — Стефан Зизаний или, якоже вышепомянутый творец Книги о вере. А наипаче сам Бог Апокалипсисиею Иоанну Богослову яви» (Л. 610 об.). По этому замечанию мы можем судить, что для старообрядца, разумеется, на первом месте в системе авторитетов стояло Священное Писание, но важно, что среди признаваемых им истолкователей в одном ряду с Иоанном Златоустом, Кириллом Иерусалимским названы и Стефан Зизаний, и «творец Книги о вере».

Еще более показателен в этом плане фрагмент из 335 ответа: «А поже о Антихристе слово зде превниде, что есть Антихрист. От святых бо учителей церковных разная о нем толкования предаются разумети: Павел апостол нарицает Антихриста — противником, а Златоуст нарицает Антихриста — отступление. Кирил же святой Антихриста тожде наричет с прилогом сим — отступление правыя веры. Памва же Берында в письмени А: Антихрист — что есть? Противник Христу, абы противник Богу» (Л. 535)¹¹. Памва Берында назван старообрядцем «учителем церковным» наряду с такими авторитетными именами, как апостол Павел, Иоанн Златоуст и Кирилл Иерусалимский.

Обращает на себя внимание ссылка на авторитет произведения Иоанникия Галытовского «Мессия правдивый»¹². В 343 ответе, рассуждая об антихристовой печати, автор-старообрядец в качестве аргумента приводит цитату из сочинения архимандрита черниговского Елецкого монастыря, вводя ее следующим образом: «Пишет же в книзе полскаго наречия, именуемей «Мессия правдиваго» о печати Христовой — истинной и о печати антихристовой — ложной, сице...». Не менее значимо и использование автором «Щита веры» при решении одного из вопросов эсхатологического учения — о месте воцарения Антихриста — киевского издания «Синописа». В 381 ответе, начав со ссылки на авторитет толкований на Апокалипсис, выполненных Андреем Кесарийским, т. е. на киевское издание, положив цитаты из него в основу своих рассуждений, автор-старообрядец привлек в качестве важного аргумента для доказательства тезиса о воцарении Антихриста в России фрагменты из «Синописа» (Л. 635 об.—638 об.)¹³.

Мы сознательно обратили внимание на использование в «Щите веры» киевских издания второй половины XVII в. в качестве вполне авторитетных, способных аргументировать авторскую точку зрения. Это может служить основанием для утверждения, что в среде старообрядцев тенденция положительного отношения к украинско-бело-

русским авторам конца XVI – начала XVII вв., воспринятая первыми защитниками старого обряда от предшествующего расколу периода в истории русской православной церкви, постепенно превратилась в убеждение безусловной авторитетности для православия «киевской» традиции.

Примечания

- 1 БАН. Собр. Каликина. № 32. 1е, конец XVIII в. Л. 522–647. (Далее ссылки на эту рукопись в круглых скобках в основном тексте.)
- 2 Характеристику этой эпохи см.: *Еремин И. П.* К истории русско-украинских литературных связей в XVII веке // ТОДРЛ. Т. 9. М.; Л., 1953. С. 291–296; *Живов В. М.* Вопрос о церковной юрисдикции в российско-украинских отношениях XVII века // *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 344–380; *Кантерев Н. Ф.* Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914; *Лаппо-Данилевский А. С.* История русской общественной мысли и культуры. XVII–XVIII вв. М., 1990; *Опарина Т. А.* Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск, 1998; *Платонов С. Ф.* Москва и Запад в XVI–XVII веках. Л., 1925; *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002. С. 411–428.
- 3 Об этом более подробно см.: *Опарина Т. А.* Иван Наседка и полемическое богословие...
- 4 См.: Ответ 36, 37 и 106. Поморские ответы. Репринтное воспроизведение издания Московского Братства. М., б/д. С. 235–236, 571–581.
- 5 Ср.: *Зизаний Стефан.* Казанье об Антихристе. Вильно, 1596. Л. 35 об., 64. (Описание издания см.: Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–XVII вв. Л., 1973. С. 140–146, № 41.)
- 6 Об этом сочинении см.: *Завитневич В. З.* Палинодия Захарии Копыстенского и её место в истории западно-русской полемике XVI–XVII вв. Варшава, 1883; *Hannich С.* Перевод и переработка богословских и патристических текстов в трактатах Льва Кревзы и Захарии Копыстенского // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI–XVIII secolo. Alessandria, 1999. P. 127–141.
- 7 *Андрей*, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Толкование на Апокалипсис. Киев, тип. лавры. 2625 (7133). Описание издания см.: Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв. Каталог изданий, хранящихся в ГБЛ. Вып. 1: 1574 г. – I половина XVII в. М., 1976. С. 21–22.
- 8 *Андрей*, еп. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. М.: Печатный двор, 1712, июль. 2е. Книга была переиздана в 1768 г. Эти издания во многом повторили текст киевского издания, включены гравюры, иллюстрирующие текст.

- ⁹ Ср.: *Андрей*, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Толкование на Апокалипсис. С. 133.
- ¹⁰ Новый Завет со Псалтырью. Кутенн. Описание издания см.: Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–XVII вв. Вып. 2 (1601–1654). Л., 1975. № 107. С. 216–220.
- ¹¹ Ср.: «Антихрист — противный Христу, або противник Христов» — *Памва (Берында)*. Лексикон Славеноросский и имен тлькование. Киев: тип. Лавры. 1627. Л. 232. (Описание издания см.: Украинские книги кирилловской печати... Вып. 1. С. 22–23.)
- ¹² *Галятовский Иоанний*. Месиа правдивый Исус Христос сын Божий... Киев, 1669.
- ¹³ Синописис или краткое собрание от различных летописцев о начале Славяно-росси́ского народа... Киев, 1680.

Православная традиция пустынножительства в сочинениях сибирских старообрядцев*

Православная традиция пустынножительства восходит к началу IV в., когда в египетских пустынях появились первые колонии отшельников, а затем возникли монастыри. Начало православного монашества связано с именами свв. Павла Фивейского, Антония Великого, Макария Египетского, Пахомия Великого. В том же IV в. идеалы пустынножительства обосновываются и проповедуются в сочинениях восточнохристианских отцов церкви Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Григория Богослова, Григория Нисского. Позже, в VI–VIII вв. большую популярность получают сочинения аввы Дорофея, Иоанна Лествичника (Синайского), Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина, а впоследствии и других богословов.

Богатейшее византийское богословское наследие становится широко известным на Руси после принятия христианства. Идеалы пустынножительства вдохновляют русских подвижников на уход из «греховного» мира, создание больших и малых монастырей. Ко времени трагического раскола русской церкви православная традиция пустынножительства была хорошо известна русскому крестьянству. После раскола, с возникновением старообрядчества в нем широко распространились идеи ухода из мира в необжитые пространства, туда, где можно было, спасаясь от преследования властей, сохранить в чистоте «древлеправославную» веру.

В старообрядчестве проповедь пустынножительства оказалась тесно связанной с комплексом византийских эсхатологических теорий. Отцы староверия призывали уходить не просто из «греховного» мира, но из мира, где царствует Антихрист и распоряжаются его слуги. Старообрядческие идеологи смогли тесно связать эсхатологические и пустынножительные идеи в рамках единого цельного учения о побеге из мира Антихриста. Опираясь на святоотеческие тексты, они прославляли бегство, уход из мира в уединенную пустынь, при полном разрыве связей с «антихристовым» миром. Такого рода проповедь была присуща многим деятелям старообрядчества, в том числе, уже первым идеологам движения, таким, как протопоп Аввакум, дьякон Федор, инок Авраамий, инок Евфросин и другим.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ. Проект № 02-01-00314а.

Развитие в старообрядчестве раннехристианского комплекса пустынножительных идей оказалось непосредственно связанным с нуждами крестьянского побега, непрерывными миграционными и колонизационными процессами, проходившими в условиях постоянных преследований за веру со стороны властей и приводивших к созданию раскинутых по всей территории России сети тайных убежищ и скитов.

Связь крестьянского старообрядческого побега с православной традицией пустынножительства подробно исследована в работах Н. Н. Покровского. Он отметил легкость, с которой традиция пустынножительства могла быть приспособлена к нуждам крестьянского побега. В конкретных условиях России и Сибири XVIII в. «пустынножитель практически не мог не быть беглецом, и в этом главное. Идеология пустынножительства удобно (и подчас незаметно для самих крестьян) маскировала реальные житейские причины побега под высшие идеалы... „приношение моления Господу Богу“, единение с природой и т. д. А организация сети скитов, пустынь, тайных лесных келий создавала одновременно великолепную систему убежищ для беглых»¹.

Нередко судебно-следственные дела дают следующую картину. Задержанные властями пустынножители (по официальной терминологии — беглые) объясняли свой уход из мира желанием «приносить моление Господу Богу», причем часто такое объяснение бывало единственным. По мнению властей такой пустынножитель всегда являлся преступником, беглым, подозрительным в отношении содержания старой веры (последнее, как правило, подтверждалось)².

Сочинения сибирских старообрядцев, а также рукописи, входившие в круг их чтения, показывают насколько важное место в их мировоззрении занимал комплекс пустынножительных идей, как правило, связанный с эсхатологическими построениями. В этом отношении очень показательны сочинения сибирских староверов часовенного, филипповского и страннического согласий, опубликованные в недавно вышедшем томе «Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв.». Тема богоугодности ухода из «антихристового» мира, странничества, странноприимства и нищелюбия присутствует во многих из них.

В частности, урало-сибирские авторы, принадлежащие к часовенному согласию, много внимания уделяют духовной жизни общин пустынножителей, «заботливо фиксируя для потомков дела их авторитетных руководителей и рядовых членов, их преданность заветам учителей, стойкость в вере»³. Страннические сочинения прославляют уход в «прекрасную пустыню», призывают христиан разорвать

все связи с «антихристовым» миром, а тех, кто, по какой-то причине, не может уйти, учат соблюдать заветы нищелюбия и странноприимства, помогать пустынноикам всеми возможными способами.

При изучении сибирского старообрядчества нельзя ограничиваться исследованием только сочинений собственно сибирского происхождения, следует учитывать весь массив рукописей, входивших в круг чтения сибирских старообрядцев, в том числе старообрядческие сочинения, созданные за пределами сибирского региона. Тем более, что, за исключением староверов часовенного и титовского согласий, локализованных исключительно в урало-сибирском регионе, другие старообрядческие согласия, в частности, те же странники, представляют собой общерусское явление «и рассматривать их следует в контексте всей страны, учитывая, прежде всего, роль идеологических центров этих согласий, расположенных в Европейской России»⁴.

С учетом сказанного, в рамках нашей темы, мы считаем возможным обратиться к сочинениям инока Евфимия, жившего во второй половине XVIII в. и сыгравшего выдающуюся роль в становлении страннического согласия. Дело в том, что Евфимию, на наш взгляд, удалось в рамках единого цельного учения дать интереснейший пример гармоничного сочетания пустынножительных и эсхатологических идей, пример переосмысления православной пустынножительной традиции, ее приспособления к российским реалиям второй половины XVIII в.

Специфика учения страннического согласия, самоопределившегося в 60-х гг. XVIII в. — утверждение, что побег из «антихристового» мира — это необходимость, первая обязанность и религиозный долг истинно верующего человека, иного пути спасения души просто не существует. Исходя из этого, странники осудили представителей остальных направлений староверия, допускавших возможность мирской жизни, и размежевались с ними. Реальный побег, переход на нелегальное положение, исчезновение из поля зрения властей являлись, по мнению страннических идеологов, обязательными условиями крещения человека. Мирские жители принципиально не могли претендовать на то, чтобы считаться христианами.

Сочинения Евфимия распространялись в Сибири еще при его жизни. В настоящее время списки сочинений инока представлены в крупнейших сибирских хранилищах рукописей — Института истории СО РАН, ПИИТБ СО РАН, НБ ТГУ, Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области⁵. Одно из сочинений Евфимия — Послание к неизвестному о записи в раскол — дошло до нас в единственном списке, хранящемся сейчас в собрании рукописей НБ ТГУ⁶.

Пустынножительные идеи были положены иноком Евфимием в основание его учения. Недвусмысленные, резко отрицательные от-

звыи о мирской жизни как таковой — независимо о каком мире: православном, благочестивом или же нечестивом «антихристовом» идет речь — постоянно звучат в сочинениях Евфимия. Он считает, что тлетворному влиянию мира не могут противостоять ни сила духа, ни крепость веры. «...Мира сего житие, — пишет инок, — бедственно есть и пагубно душам человеческим, не точию маломощным, но и самым тем сильным, могущим победити страсти его». Этим готовится логический вывод: поскольку никто из живущих в миру не может противостоять его пагубному влиянию, единственный выход — покинуть мир и стать пустынножителем. Бегство из мира — это «путь... Христов спасительный» и необходимое условие содержания истинной, чистой веры. «...Поразумей, возлюбленне, — обращается Евфимий к воображаемому читателю, — аще будеш и правую веру имети, но егда в том же пленении вавилонском и смущении, и мятежи умом мира сего затворен имаши пребывати, то ... не можеш и истовы христианин быти и нарицатися». Еще раз подчеркнем, что все приведенные рассуждения о принципиальной пагубности мирской жизни Евфимий относит и к «благочестивому» православному миру. По мнению инока, мирской житель, даже в православной стране, практически лишен возможности спасти свою душу, если он не будет почти во всем уподобляться иноку: «Еда бо мирскому должно есть что множае имети инока? Ни, но разве еже с женою жити токмо. В сем бо точию имать прощение, во инех же — никако же, но вся равно со иноком делати токмо законено есть».

Рассуждения Евфимия о пагубности мирской жизни преследовали конкретную, вполне определенную цель, а именно — показать, что коль скоро даже православный мир служит препятствием для содержания истинной веры, то что говорить о мире, в котором царствует Антихрист, а истинное православие преследуется. Рассуждения о принципиальной пагубности мирской жизни нужны Евфимию для усиления отрицательной характеристики современного ему мира. А его Евфимий воспринимал, подобно другим старообрядческим идеологам, как всемирное царство Антихриста.

Евфимий считал, что в России во времена дониконовского православия и даже некоторое время спустя после реформы Никона люди были свободны в выборе: либо жить в пагубном мире, либо удалиться в спасительную пустынь. Все изменилось после воцарения Петра I, который с помощью ревизии — народного описания «путь... Христов спасительный запре и загради, не дая на нь никому же поступати», заключил всех в «богопротивном» миру, буквально заставив людей служить дьяволу. Более того, он начал сыск и насильственное возвращение в мир уже покинувших его боголюбцев.

За первым и наиболее страшным, с точки зрения Евфимия, мероприятием Петра I — запрещением пустынножительства и заключением всех в «богопротивном» миру, последовал второй шаг — император начал «портить» и без того уже испорченный мир. «Порча» заключалась в последовательном осуществлении ряда нововведений.

Во-первых, император «раздоби народ на разныя чины» и в соответствии с этим «расположи дань подушную»; кто-то должен был платить больше, кто-то меньше, а кто-то — вообще ничего. Во-вторых, император размежевал всю землю и раздал ее в собственность своим подданным в соответствии с социальной иерархией, и, опять же «кому надели много, другому же мало, иному же ничесо дав, токмо едино рукоделие имети».

Разделение людей по социальному и имущественному признакам стало причиной социальных конфликтов и бедствий. «И сим расположением и разделением, — пишет Евфимий, — оны император единых и тяждых же, яко язычник, содея друх на друга раторборствовати». Из-за этого «вражды родишася, зависть и ненависть, свары, драка и бой, и убийства, зане не имея у имущаго тайно нача похищати, а силнии — другаго надел своею силою нудящеся во область свою отяти и в том тяжбу начаша содевати, яко же и прочия житейския вещи тако понудиша человек деяти; от чего суды неправедныя по мзде начаша бывати, сего ради во всех рать неумирима и вражда неукротима воста, и человеконенавидения наглость во вся вместися».

Вследствие того, что «удержани быша врагом (Антихристом в лице Петра I. — А. М.) человецы и понуждени им пещися о дани оной (подушной подати. — А. М.) и домовном строении, и прочем собрании имения», они «тщание возымеша како болшая собрати. И сего ради оттоле в торгах начаша бывати обманы, неправыя меры, неистовыя весы, и во всякую вещь неудобныя примесы. Сего дея божбы и клятвы ложныя родишася. Отгуду, такового ради жадательства имении — ненависти и зависти, вражды и драки, и междоусобныя брани прозябоша в человеках». Именно такой виделась иноку конкретика «антихристового» мира⁷.

Общий вывод, который делает Евфимий из своих рассуждений — истинные христиане должны обязательно бежать из «антихристового» мира, уходить в неведомые властям пустыни. В контексте нашей темы очень важно еще раз подчеркнуть, что едва ли не основным признаком наступления царства последнего Антихриста Евфимий считал именно запрет «богоугодного» пустынножительства, лишение людей самой возможности спасти свою душу, следуя пути, указанному Христом и отцами церкви. Рассуждая о «богоугодности» пустынножительства, Евфимий широко цитирует сочинения Иоанна Зла-

тоуста, Василия Великого, аввы Дорофея, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Макария Египетского и других богословов.

Отмечая особую роль странников в развитии православной традиции пустынножительства, приспособлении ее к российской действительности, необходимо еще раз подчеркнуть, что прославление бегства их мира и пустынножительства, представление о том, что бежавшие от Антихриста пустынножители лучше выполняют свой христианский долг, чем живущие в миру старообрядцы, характерно для многих, если не для всех, течений старообрядчества. Например, изучение истории сибирских часовенных второй половины XIX – XX вв. привело Н. Д. Зольникову и О. Д. Журавель к выводу, что в их среде «монастырь воспринимался как святое место, наиболее защищенное от слуг Антихриста; вне монастыря спасти душу представлялось чрезвычайно трудным делом»⁸.

Подводя итоги, подчеркнем, что сибирские старообрядцы в своих сочинениях не только опирались на предшествующую православную традицию пустынножительства, они творчески переосмыслили идеи восточнохристианских богословов и, на их основе, широко используя сочинения отцов церкви, создавали и продолжают создавать собственные сочинения.

Примечания

- ¹ *Покровский Н. Н.* Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири в XVIII в. // Крестьянство Сибири XVIII – начала XX в. (классовая борьба, общественное сознание и культура). Новосибирск, 1975. С. 46.
- ² Там же. С. 19–49.
- ³ Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. / Отв. ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1999. С. 12.
- ⁴ Там же. С. 9.
- ⁵ *Мальцев А. И.* Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1996. С. 234–237, № 10, 17, 19, 20; *Дергачева-Скоп Е. И., Ромодановская Е. К.* Собрание рукописных книг Государственного архива Тюменской области в Тобольске // Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 66 (№ 2. Л. 105–119 об.).
- ⁶ *Мальцев А. И.* Неизвестное сочинение инока Евфимия // Известия СО АН СССР. История, философия и филология. Вып. 3. Новосибирск, 1991. С. 19–21.
- ⁷ Подробнее об учении инока Евфимия см.: *Мальцев А. И.* Староверы-странники... С. 117–156. По этой же книге (с. 118–122) мы приводим цитаты из сочинений Евфимия.
- ⁸ *Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д.* Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002. С. 282, 426–427.

И. И. Лещиловская
(Москва)

Серб — сподвижник Петра I. Граф Рагузинский

В истории русско-сербских связей XVIII в. яркой и значительной личностью был серб, сподвижник Петра I Сава Владиславич, получивший известность в России как Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, или граф Рагузинский.

Сербский род Владиславичей происходил из Герцеговины. Во второй половине XVII в. один из его представителей Лука перебрался с семьей в Дубровницкую республику. Будучи человеком состоятельным, он приобрел здесь земельные владения, а затем стал заниматься торговлей. Близ Дубровника (Рагузы) в 1669 г. у него родился сын Сава. В молодые годы Сава Владиславич покинул родной город, занявшись торговлей во Франции, Испании и Венеции. По возвращении в турецкие владения он обосновался в Стамбуле, где открыл торговый дом под защитой французского короля.

Наступало время противостояния России и Турции. Включение Московского государства в составе Священной лиги (союза Австрии, Венеции, Речи Посполитой, а затем и России) в войну с Османской империей, участие его представителей в работе Карловацкого конгресса 1698–1699 гг., появление русских дипломатов в Вене, обучение русских дворян в Венецианской республике, в Боке Которской, их знакомство с Северной Адриатикой — все это было неожиданным, вселяющим новые надежды в православном мире Балкан. Россия вырисовывалась на европейской международной арене как потенциальная опора православного населения Юго-Восточной Европы перед лицом чужеземных угнетателей.

«Человек проворной и пронырливой», как характеризовал Саву Владиславича один из крупнейших деятелей сербской культуры XVIII в. Захария Орфелин¹, дубровчанин обладал острым чувством времени. Поэтому не случайно в Стамбуле он вошел в контакт с русскими людьми.

В марте 1699 г. Петр I в письме князю Ф. Ю. Ромодановскому, возглавлявшему Преображенский приказ, распорядился «по пьрошению Савы Рагузинского» «учинить не мешкоф о лисицах»². Из этих немногих слов видно, что царь уже тогда знал о Владиславиче и считал нужным удовлетворить его просьбу о мехах. Вскоре в Стамбуле появились русские послы.

В 1700 г. думный дьяк Украинцев находился в турецкой столице в связи с заключением мирного договора между Россией и Турцией в развитие подписанного на Карловацком конгрессе договора о перемирии между ними в результате завершения войны Священной лиги с Османской империей. В 1701 г. Стамбул посетил «торжественный» посол князь Голицын с ратификационной грамотой мирного договора. Между послами и Владиславичем установилась тесная связь. Сава снабжал дипломатов интересующей их информацией, помогал в пересылке почты в Москву, давал советы и оказывал другие услуги.

В ноябре 1702 г. Владиславич по проезжему листу, выданному ему еще год назад Голицыным, прибыл на турецком судне с греческим экипажем из Стамбула в Азов³. Это был первый коммерческий рейс в Азов, морскому торговому развитию которого Петр I придал особое значение. Сербский купец привез деревянное масло, кумачи, хлопчатую бумагу и пр. Оставив судно зимовать близ Таганрога, Владиславич в конце марта 1703 г. объявился в Москве с надеждой встретиться с Петром I. Но царь находился на Балтике. Владиславич готов был ехать в Шлиссельбург, чтобы увидеться с ним. Однако Петр I в письме адмиралу Ф. М. Апраксину, который был в Москве, 17 апреля писал, что «лучше дожидаться нас там». Он распорядился выдавать Владиславичу «ради времени... по полтине на день корму», выражая пожелание, чтобы он «без указа не уезжал бы»⁴. Владиславичу было определено содержание, как и посланцам валашского господаря. При этом глава Посольского приказа Ф. А. Головин отмечал «верные к великому государю службы» сербского купца⁵.

В Москве Владиславич был принят адмиралом Апраксиным, который в письме Петру I от 3 мая высказал свое впечатление о сербском купце: «И при отъезде моем (в Воронеж. — *И. Л.*) он меня провожал, являетца самою верою, а сердце ведет Бог; толко, государь, человек зело ведущ и открываецца ведением с великою клятвою»⁶. В русских официальных кругах складывалось мнение о Саве Владиславиче как о человеке, располагавшем ценной информацией и проявлявшем преданность России.

Встреча Петра I и Владиславича состоялась, вернее всего, 1 июля 1703 г. в Петербурге. Сава Владиславич просил царя о предоставлении ему права свободной торговли в России и давал советы. Царь в письме 1 июля из Петербурга писал Апраксину, что Владиславич рекомендовал ему построить несколько гребных судов для перевоза товаров с торговых судов в Азов, так как в тихую погоду бывает купцам убыток «в замедлении», а также «чтоб за денги выгружать, а не даром»⁷.

Результатом этой встречи стала Жалованная грамота Владиславичу, подписанная Петром I в крепости Шлотбург 6 июля 1703 г. За

«истинное служение» царю «иллирскому шляхтичу» было предоставлено право свободно торговать в России в течение 10 лет, провозя товары через Азов, с уплатой пошлины, равной обложению русских купцов. Только Владиславичу разрешалось в течение трех лет торговать лисьим мехом из Сибирского приказа. Он мог свободно открывать в Азове и других местах дома и торговые лавки. Грамота повелевала всем должностным лицам оказывать Владиславичу всяческое содействие⁸.

Сербский купец пробыл в Москве до октября 1703 г. Он вернулся в Стамбул сухим путем через Киев, с трудом добившись разрешения на такой маршрут у Ф. А. Головина, который настаивал на его возвращении через Азов, чтобы создать прецедент для торгового движения через этот порт. Сава Владиславич вез для дипломатических нужд российского посла собольи меха на 5000 руб., а также, не забывая своих интересов, лисьи меха и другую «рухлядь»⁹.

Тем временем в Турции разворачивалась дипломатическая деятельность первого постоянного посла России в Османской империи графа П. А. Толстого. 29 августа 1702 г. посольство прибыло в Эдирне (Адрианополь), где тогда находился двор султана Мустафы II. С самого начала российское посольство было поставлено в крайне сложные условия. Турецкие власти, охваченные к нему подозрительностью, стремились вытеснить его из страны. Они установили постоянный надзор за посольским домом. «И ныне, государь, живу на новом дворе в городе, — писал Толстой Головину из Эдирне, — и на двор ко мне никакому человеку приттить невозможно, понеже от-всюду видимо и чюрбачей (полковник. — *И. Л.*) у меня стоит с янычаны бутто для чести. И все для того, чтоб христиане ко мне не ходили»¹⁰. Толстой, не имевший в Турции известных ему лиц, столкнулся с угрозой изоляции. И тем не менее уже в мае 1703 г. он представил в Москву обстоятельное описание Османской империи на рубеже XVII–XVIII вв.

В сентябре 1703 г. российское посольство по возвращении султанского двора в Стамбул также переехало в турецкую столицу. Но и здесь при посольском дворе постоянно находился военный караул, и русский посол был в неравном положении с послами европейских государств. В этой обстановке неоценимую помощь П. А. Толстому в налаживании полномасштабной дипломатической деятельности оказал Сава Владиславич, имевший в турецкой столице обширные знакомства и хорошо осведомленный о положении в стране.

Еще до личного знакомства с Толстым, при письменной связи между ними, Владиславич, уезжая осенью 1702 г. в Россию, снабдил посла сведениями о положении Османской империи, столь необхо-

димыми московскому правительству для формирования политики в отношении Турции.

По возвращении в Стамбул Владиславич вошел в тесные отношения с Толстым. Русский посол остро нуждался в переводчиках, в текущей достоверной информации о состоянии дел в Османской империи и надежной связи с Москвой. Сава Владиславич по возможности решал эти вопросы.

В 1704 г. Владиславич познакомил Толстого с секретарем французского посольства, в тот момент расположенного к России¹¹. Тем самым расширился круг общения Толстого в турецкой столице, он получил возможность общаться с европейскими дипломатами.

Владиславич связал Толстого с дубровницким консулом в Стамбуле Лукой Баркой. Консул имел в столице широкие связи, был в курсе скрытой жизни и нравов султанского двора. Лука Барка стал тайным информатором российского правительства. В запутанной международной обстановке, когда Петр I в ходе Северной войны терял одного союзника за другим, при постоянной неуверенности Москвы в позиции Турции и активных польско-шведско-татарских интригах в Стамбуле опытный Лука Барка снабжал Толстого неоценимыми сведениями разного характера, но прежде всего по главному, интересующему посла вопросу о позиции султанского двора в отношении России¹².

В 1704 г. в Стамбуле сербский купец выполнил ряд поручений российских властей. Они были даны ему при первом посещении Москвы. В «доношении» Ф. А. Головину от 13 февраля 1705 г., когда он вновь прибыл в Россию, Сава Владиславич сообщал, что привез «с шайкою в Азов» «бумаги хлопчатой», как было ему приказано, а также «заполочки» и «образцы порусные». Но парусных мастеров ему найти не удалось, потому что такие мастера, будучи турками или армянами, ехать в Москву не хотели. Вместо корабельного мастера Августина, которого велено было привезти, Владиславич, по договоренности с Толстым, нашел «доброе и старого мастера» француза Антония Барталомеева, «который лучше Августина и знает делати корабли, тартаны и галеры». На него Владиславич истратил 350 руб. до своего отъезда из Стамбула «по повелению господина посла». Далее он сообщал, что сообразно приказу мальчик Иван Петров обучается турецкому, арабскому, французскому, греческому и итальянскому языкам и получает жалованье 100 руб. в год¹³.

Находясь в Стамбуле, Владиславич содействовал обеспечению материалами и мастерами российское кораблестроение. Он участвовал в подготовке переводчика для посольства. Владиславич предоставлял Толстому крупные суммы денег для посольских нужд. Его

люди доставляли дипломатическую корреспонденцию в Россию. Наконец, поддерживая с Толстым регулярные контакты, Сава информировал его, давал советы. Он содействовал плодотворной работе российского посольства¹⁴.

Владиславич оказывал Толстому помощь в решении важнейших задач, возложенных на посла. Кроме обязанности трудиться над тем, чтобы не допустить, «отчего боже сохрани», войны Турции против России, посол должен был добиваться установления торговых отношений между странами на договорной основе.

Торговый путь из России на Балканы шел в то время по суше через Молдавию и Валахию. Петр I еще в ходе Великого посольства в 1697 г. сформулировал в качестве стратегической цели внешней политики обеспечение России выхода к Черному морю¹⁵. В июле 1698 г. вице-адмирал Корнилиус Креус обратился в письме из Амстердама к великим послам, находившимся в Вене, с рекомендацией в связи со слухами о предстоящем заключении мира с Турцией, «естли к миру дойдет, чтоб они великие и полномочные послы страны и ползы Цар. Вел-ва не zapomнили, и дабы по последней мере половина Чернаго моря в договорах получена была...». А российским судам была позволена свободная торговля «во всех турских пристанищах»¹⁶. Вопрос о черноморской торговле вошел в круг дипломатической деятельности русских послов.

В ноябре 1698 г. думный советник представитель России на Карловацком конгрессе П. Б. Возницын включил в «Образцовое письмо, какову подобает быти во утверждение мира», переданное послом австрийским и венецианскому уполномоченным, статью 5, которая гласила: «На обе стороны купцом со всякими товары сухим путем, возами и вьюками, морем же на кораблях и иных судах, до государств обоих В. Г-рей, до порубежных и до царствующих городов, и до Крыму, волю и безопасно ездить, и ходить, и торговать... а пошлина им платить по древнему извычаю, там где они товары свои продавать будут»¹⁷. Россия впервые заявила на международном уровне о своих торговых черноморских интересах.

В 1700–1701 гг. во время русско-турецких переговоров в Стамбуле Украинцев и Голицын с неослабевающим упорством поднимали вопрос о плавании русских торговых судов в Черном море. На это турки высокомерно заявили: «По Черному морю иных государств кораблям ходить будет свободно тогда, когда Турское государство падет и вверх ногами обратится»¹⁸.

В июне 1704 г. П. А. Толстому была выдана Полномочная грамота для ведения с турками переговоров о торговле. Ф. А. Головин в инструктивном письме ему указывал: «О торговле, дабы чрез Черное мо-

ре учинить, всяким тщанием своим изволь домогатца»¹⁹. Посол начал переговоры с везиром о заключении торгового договора.

И вновь ситуация не обошлась без участия Савы Владиславича. Толстой подал турецкому правительству «мемориал», написанный на латинском языке, с русскими предложениями. Документ был составлен не без помощи сербского купца, от которого Толстой получил сведения о французском и венецианском торговых соглашениях с Турцией. Послу удалось добиться тогда согласия турок на отпуск торгового судна из Стамбула в Азов. Оно было зафрахтовано от его лица, но оплачено Владиславичем и загружено товарами купца. Добиваясь разрешения, Толстой преследовал цель, «чтобы помалу оной морской путь к Азову отворялся»²⁰.

30 января 1705 г. Владиславич прибыл в Москву с письмами Толстого и «с ыными тайными делами». Его сопровождали племянник Ефим Иванов и писарь Петр Лукин. Купцу было определено ежегодной «кормовой дачи» в 328 руб. Он продолжал получать «корм» и позднее²¹. Владиславич обратился с новым прошением к Петру I о расширении его торговых привилегий. 2 апреля 1705 г. царь подписал Жалованную грамоту, которая давала Владиславичу право свободно торговать в Малороссии, Азове и всюду в России, ввозить и вывозить товары не только через Азов, но и через «малороссийские города»²². Петр I покровительствовал торговой деятельности сербского купца. Азовский губернатор И. А. Толстой в письме царю 20 сентября 1705 г. из Троицкого близ Таганрога писал: «И по твоему государеву указу во всем ему (Саве. — *И.Л.*) доволство и всякое вспоможение учинено». В 1707 г. царь вновь давал распоряжение губернатору: «Господину Саве в его торговом деле чини всякое вспоможение»²³.

В 1707 г. Владиславич вновь принял участие в организованной русским послом акции по налаживанию морского торгового движения Стамбул — Азов. П. А. Толстому удалось возобновить торговые переговоры с турецкой стороной. В Азов было отпущено второе судно, отправленное под дипломатическим прикрытием посла с товарами Владиславича. 9 июля 1707 г. азовский губернатор писал царю, что пришла в Троицкое из Константинополя турецкая «шайка» «с вещми господина Савы». Сообщая, что ему в торговом деле «вспоможение чинится», И. А. Толстой продолжал: «А оную шайку с нагужением от него, Савы, паки отпущу в Константинополь в скорых числах»²⁴. Однако для налаживания черноморской торговли России, чего добивался русский посол в Стамбуле, правительству потребовались десятилетия, наполненные победоносными войнами с Турцией и переговорами.

Находясь в Стамбуле, Владиславич внес значительный вклад в налаживание и развитие многоплановой деятельности российского посольства в Турции. Сава Владиславич привез из османской столицы в Россию двух мальчиков — арапов, одному из которых, Ибрагиму Петрову, суждено было стать прадедом А. С. Пушкина.

Между тем Владиславич постепенно осваивался в России. В 1708 г. царь пожаловал ему «двор» в Москве на Покровке, принадлежавший ранее боярину В. Ф. Нарышкину, и с этого времени Сава Владиславич постоянно поселился в России. Энергичный и подвижной человек, владевший европейскими и восточными языками, обладавший бесценными знаниями о Балканах и располагавший устойчивыми связями в Стамбуле, Владиславич пришелся как нельзя лучше ко двору русского царя с его широкими международными интересами.

В России Савва Лукич Владиславич-Рагузинский занимался прежде всего торговлей. Он имел коммерческие интересы прежде всего на Украине, и основная контора его фирмы находилась в Нежине. Этот город являлся главным центром торговли в России богатых балканских купцов, которые прибывали сюда по суше, сбывали хлопчатобумажные ткани и восточные товары, а скупали российские меха²⁵. Богатства Рагузинского росли благодаря царским пожалованиям, торговым льготам, таможенным уступкам, обеспечившим ему устойчивое положение на внутреннем и внешнем рынках. Его процветающий торговый дом стал одним из самых богатых в стране.

Рагузинский имел тесные деловые связи с казной. Они особенно активизировались после 1709 г., с переломом в ходе Северной войны. Формы этого сотрудничества были разные, купец вступал в контакт с казной самостоятельно и с компаньонами. Он входил в узкий круг избранных, в основном иностранных, экспортеров казенных товаров.

Рагузинский торговал прежде всего мехами, которые составляли основную ценность государственной казны. В числе разнообразных казенных товаров он сбывал на внешнем рынке воск. В 1709 г. Адмиралтейский приказ, в ведении которого находился этот продукт, продал Рагузинскому 665 пудов воска, в следующем году — 38 пудов. Воск пользовался спросом в государствах Юго-Западной Европы, в частности, высоко ценился в Венеции. В 1718 г. Петр I распорядился отдать 1000 пудов заготовленного в Архангельске воска «на счет Сава Рагузинскому и на их страх»²⁶.

В период жесткой государственной монополии на экспорт хлеба, в конце 1710 г. Петр I «указал» Рагузинскому закупить в России на свои деньги «повольною ценою» 8000 четвертей пшеницы и отправить ее через Архангельск «за море» «со обыкновенными пошлинами». В указе

предписывалось властям не чинить купцу препятствий или задержания. Рагузинский вывозил зерно и в последующие годы²⁷.

Рагузинский вместе с компаньоном отправлял за границу парусные полотна, составившие новую статью русского экспорта. Его компаньоном был Карл Гутфель (Чарльз Гудфеллоу), являвшийся официально английским консулом в России. Вместе с тем Гутфель представлял здесь мощные купеческие западноевропейские компании — сначала он был агентом «Компании Гудзонова пролива», затем резидентом «Русской табачной компании». В 1710 г. Рагузинский и Гутфель закупили у Адмиралтейского приказа, в ведении которого находилась крупная казенная мануфактура по производству парусного полотна — Хамовный двор, 2500 кусков полотна по 6 ефимков за кусок, расплата была произведена медью. В 1711 г. компаньоны получили монопольное право на вывоз полотна. Царь дал распоряжение Адмиралтейскому приказу продавать только им ежегодно по 5000 штук полотна в течение пяти лет «по настоящей цене». Однако низкая производительность Хамовного двора не позволила выполнить условия заключенного контракта. В 1717 г. было экспортировано всего 200 кусков²⁸.

Рагузинский самостоятельно и в компании с тем же Гутфелем занимался также экспортом поташа, традиционного «заповедного» товара. В 1710–1711 гг. рыночная конъюнктура для поташа складывалась в Западной Европе неблагоприятно. В 1712 г. по указу Петра I Сенат, который ведал тогда казенными поташными заводами, заключил с Рагузинским и Гутфелем договор сроком на три года на поставку им ежегодно 1000 бочек (30–32 тыс. пудов) этого продукта по 15 ефимков за берковец (10 пудов). При этом царь распорядился выдать Рагузинскому 300 бочек поташа «безденежно» в качестве вознаграждения за его службу и возмещения «за убыток и бедство», причиненные его брату турками²⁹.

Предметом коммерческих интересов Рагузинского была смола, которая пользовалась постоянным спросом в странах с развитым судостроением. В 1717 г., незадолго до отмены государственной монополии на экспорт смолы, купец получил разрешение на вывоз в Италию 1000 бочек этого товара. Операция была осуществлена под предлогом, что из Италии в Петербург было отправлено судно с мраморными и прочими вещами, а на обратный рейс оно не имело груза. В следующем году Рагузинский вывез уже 2000 бочек смолы. В компании с Гутфелем он поставлял также в Италию икру (в 1711 г. было отправлено 10000 пудов в Ливорно). Сбыт смолы и икры приносил наибольшую прибыль в прямой русско-итальянской торговле³⁰.

В 1713 г. Канцелярия Сената дала Рагузинскому на откуп в течение трех лет вывоз мачтовых деревьев за 2180 ефимков ежегодно. Это означало, что государство передало ему исключительное право экспортировать мачтовый лес, предоставив свободу в заготовке или закупке товара в пределах откупной суммы³¹.

В деловых операциях совместно с казной Рагузинский выполнял иногда подрядные и агентские функции. В 1712 г. Петр I, находясь на лечении в Карлсбаде (теперь Карловы Вары), дал распоряжение Сенату отправить в Стамбул русским послам лучших мехов на 3000 руб., взяв их из Сибирского приказа, а в случае отсутствия их там, закупить меха в торговых рядах, к чему употребить Саву Рагузинского. Царь обращался по этому поводу и лично к нему. В том же году по указанию Петра I Рагузинский занимался подбором и закупкой мехов на сумму 25 400 руб. для стольника А. Лопухина, отправлявшегося в Стамбул с ратификационной грамотой русско-турецкого договора, и фельдмаршала Б. П. Шереметева³².

Деловые связи Рагузинского с казной охватывали не только традиционные казенные товары, но и продукцию, на экспорт которой не было монополии государства (пенька) или она устанавливалась как временная мера (юфть). В 1714 г. Адмиралтейский приказ экспортировал 30 тыс. пудов пеньки, закупленной «в компании» с Рагузинским. По условиям сделки предполагалось, что по продаже товара «он отдаст счет как в настоящих деньгах, так и в прибылях, что будет пополам»³³.

В 1717 г. согласно указу Петра I из России вышли два корабля: один из Петербурга с юфтью, смолой и воском в Венецию, другой из Архангельска с юфтью в Ливорно. Они были адресованы российскому агенту по купеческим и иным делам в Венеции П. Беклемишеву и Рагузинскому, который находился в Италии. 15000 пудов юфти были проданы с большой прибылью. Казна осуществила крупную операцию по продаже заготовленной ею юфти³⁴.

Отношения Рагузинского с казной не всегда были безупречными. В 1714 г. в Сенат из Риги поступило «доношение» И. Исаева о доставке в порт из Малороссии казенных товаров, принадлежавших гетману Скоропадскому, Рагузинскому и стародубским жителям, с целью их беспошлинного вывоза из России. Собственностью Рагузинского были 160 бочек поташа и 18 штук парусных полотен. Сенат постановил собрать с этих товаров пошлину. За мачтовый откуп, по данным на апрель 1715 г., Рагузинский в Канцелярию Сената не внес еще денег за 1713 и 1714 гг. И это в условиях, когда казна остро нуждалась в средствах³⁵.

К концу второго десятилетия XVIII в. для устойчивого «заповедного» товара — смальчуга сложилась неблагоприятная рыночная

конъюнктура в Западной Европе. Он вырабатывался на частных заводах, и Адмиралтейская коллегия проводила линию на сокращение числа заводов и их продукции. Однако эти меры подрывались бесконтрольным производством смальчуга на заводах Меншикова и «неуказных» будных станах на Украине, принадлежавших Скоропадскому, Рагузинскому и стародубским мешанам. Эти продавцы свободно отправляли смальчуг в Западную Европу через Рижский порт³⁶.

Реализация казенных товаров была важным источником пополнения финансов России. В петровское время во внешней торговле казенными товарами, при полном преобладании иностранцев, участвовали лишь два россиянина. Одним из них был Рагузинский. Он в разное время экспортировал различные заповедные продукты. В целом его торговые операции охватывали практически все традиционные казенные товары, из которых некоторые имели для западных стран стратегическое значение. Торговые связи Рагузинского в Европе были широкими и устойчивыми, его личность — весомой и значительной. Это благоприятно сказывалось на деловом имидже молодой России.

Рагузинский был поставщиком казны. Он снабжал, в частности, медью Монетный двор. В 1711 г. согласно указу царя Сенат заключил с Рагузинским и Гутфелем контракт сроком на пять лет на поставку ими 10 000 пудов меди ежегодно по 7 руб. за пуд. Но в 1713 г. контракт был ликвидирован, так как поставщики запросили более высокую цену за медь³⁷.

В круг занятий Рагузинского входила поставка казне сукон и холста. Выполнялись царские заказы на снабжение высококачественными сукнами двора. В середине 1710 г. приказчики Владислави́ча везли из Валахии сукна, «которые велено ему поставить на Москве». Рагузинский занимался снабжением текстильными материалами армии. Во время Прутского похода царь дал ему указание выяснить относительно возможности закупки в Молдавии холста для палаток, так как русские солдаты страдали от жары. В 1713 г. Рагузинский поставил для нужд армии большую партию сукна, примерно 62 000 аршин. В годы интенсивного дворцового строительства в Петербурге Рагузинский закупал в Италии для двора и правительственных учреждений украшения, подбирал разного рода специалистов, среди которых был и фонтанный мастер, и т. д.³⁸

В хозяйственно-финансовой деятельности Рагузинского важное место занимали операции по переводу денежных сумм за границу. По существу он выступал финансовым агентом петровского правительства в Европе. При его посредничестве переводились обычно деньги Толстому в Стамбул. По указанию Петра I Рагузинский с на-

дежными курьерами отправлял послу вексель, по которому корреспонденты купца в турецкой столице выплачивали предьявителю деньги. В Москве выделенная сумма возмещалась «мягкой рухлядью», т. е. мехами, или деньгами из казны. Как докладывал Толстой Петру I, посол в конце 1708 г. получил от корреспондентов Рагузинского «определенные суммы золотых червонных», которые пришлось ему к сроку и помогли в беседах с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы выяснить у них истинную позицию Турции в отношении России. Деньги, писал посол, «велми мне в помянутом деле спомоществовали». «Зело изрядно поступил господин Рагузинский», — заключал он. Это был ответственный момент русско-турецких отношений³⁹.

Деньги Толстому были нужны постоянно. И уже в феврале 1709 г. Петр I дал новое указание Рагузинскому отправить послу вексель на 10 000 руб. или на 20 000 левков (турецкая монета). Однако за отсутствием у Владиславича в то время денег в турецкой столице он не смог на этот раз оперативно выполнить распоряжение царя⁴⁰.

Через Рагузинского поступали деньги другим лицам за границей. Проводимые им операции с ценными бумагами не только решали конкретные финансовые задачи, но имели и более широкое значение, способствуя развитию в России вексельных отношений европейского типа.

Важными статьями доходов Рагузинского были разного рода подряды и откупы. Из письма украинского гетмана Мазепы Петру I от 1707 г. следует, что в это время Рагузинский уже имел на откупе индукту — сбор пошлин на ввозимые на Украину товары. В составленном после измены Мазепы перечне его ежегодных доходов, получаемых с населения, упоминалась индукта с Рагузинского в размере 5300 злотых. В Нежине находился его индуктор — выходец из Дубровника Петр Лупиш. В 1710 г. в связи с «морovým поветрием» и остановкой торгов царь дал указание гетману Скоропадскому с Рагузинским «снисходительнее поступить», «дабы ему в том не было разорения»⁴¹.

Неумная энергия Рагузинского охватывала и производство. В 1712 г. он вместе с Гутфелем занимался судостроением. В конце 20-х гг. на севере левобережной Украины существовала его полотняно-парусная мануфактура⁴².

Хозяйственная деятельность Рагузинского в России носила универсальный характер, как это было свойственно предприимчивым людям XVIII в. По масштабности мероприятий, крупным объемам торгового оборота, освоению экспортных возможностей новых российских товаров Рагузинский внес заметный вклад в развитие экономики России в петровское время.

В хозяйственных занятиях Рагузинский как истинный купец преследовал извлечение прибыли. Он стал одним из богатейших людей в России. Вместе с тем Рагузинский не лукавил, когда в связи с очередным поручением Петра I в 1708 г. писал ему: «З добрым сердцем всегда вашему величеству работать желаю»⁴³. Эти слова россиянина — серба получали убедительное подтверждение в его политической и дипломатической деятельности.

Особые отношения связывали Рагузинского с Петром I. Царь давал ему деликатные и ответственные поручения по разным делам. В 1707–1708 гг. Рагузинский неоднократно посещал царя в армии в Польше. В феврале 1709 г. он приезжал к нему «с ызрядными ведомостями» в Воронеж. Рагузинский привозил корреспонденцию, общал Петру I важную информацию, тот передавал через него письма и указы соответствующим учреждениям и лицам. Случалось, Савва Рагузинский участвовал в «доброй компании», устраиваемой царем⁴⁴.

В 1710 г. Петр I «за верную и усердную службу» произвел Рагузинского в надворные советники. Ему были пожалованы на Украине вотчины, конфискованные у приспешников Мазепы. Позднее Рагузинский приобрел в Петербурге «двор» недалеко от Адмиралтейства на набережной Невы. Так сербский мигрант стал полноправным высокопоставленным российским дворянином.

Хорошо осведомленный, проницательный и надежный серб вошел в ближайшее окружение царя. Заинтересованное отношение Петра I к Рагузинскому получало выражение в дополнительных хозяйственных послаблениях. 21 ноября 1710 г. царь извещал московского губернатора Т. Н. Стрешнева, что «отпущен господин Рагузинский к Москве для управления некоторых дел, ему приказанных». При отправке им своих людей в Турцию «с товары или бес товаров» надлежало пропускать их всюду на заставах «без задержания». Соответственно и его приказчиков, ехавших с Украины в Москву с товарами или без них, полагалось после 6-недельного карантина на первой заставе далее «пропустить без задержания»⁴⁵. Торговые операции Рагузинского часто были сопряжены с разного рода поручениями Петра I, не только коммерческими, а иногда были их прикрытием. Поэтому облегчения, дававшиеся Рагузинскому, служили не только хозяйственной оперативности купца, но и своевременному решению иных задач.

По отъезде в Россию Рагузинский продолжал поддерживать регулярную связь с П. А. Толстым. Посол информировал его о состоянии дел в Турции, обращался к нему за поддержкой и советом по разным вопросам. В свою очередь люди Рагузинского выполняли курьерские и прочие задания посла⁴⁶. Как писал секретарь англий-

ского посольства при царском дворе Л. Вейсброд, Рагузинский «заведует корреспонденцией с Турцией»⁴⁷.

Толстой в донесениях в Москву отмечал, что «приятели» Рагузинского за свою деятельность никакой «заплаты» не требуют и не просят⁴⁸. Как правило, они оказывали помощь послу безвозмездно, хотя иногда получали вознаграждения.

В 1709 г. умер тайный информатор российского правительства в Стамбуле Лука Барка. В связи с этим П. А. Толстой писал канцлеру Г. И. Головкину: «...Господин Лука Барка скончал временную жизнь и пошел в вечную. А по нем ныне является добрым работником в делах здешних племянник ево Лука, брат родной переводчика Николая Барки, которой ныне при вашем высокографском превосходительстве обретается. И аще ли изволиш, повели господину Саве Владиславичю, чтоб он отписал к предреченному Луке, дабы он равною мерою работал в делах царского величества, как и дядя ево покойной Лука, понеже оные господина Саву Владиславича имеют себе за патрона»⁴⁹. Благодаря авторитету Рагузинского среди дубровчан новый консул республики в Стамбуле Лука Барка младший, родной брат переводчика Посольского приказа Николая Кирикова (Барки) также вошел в конфиденциальные отношения с русскими официальными лицами.

Лука Барка младший фигурировал в секретных донесениях под именем Макария Степанова. Он регулярно информировал П. А. Толстого, был в переписке с канцлером Головкиным, не упускал оповещать о важнейших событиях в Стамбуле своего патрона Рагузинского. Он был информатором российского правительства в сложнейший период русско-турецких отношений, до заключения Адрианопольского мира в 1713 г. Сведения Луки Барки младшего о внутри- и внешнеполитическом положении Турции были обширными и достоверными, поскольку он являлся также переводчиком английского посольства и имел связи при султанском дворе. В условиях подготовки и проведения Прутской кампании, неоднократного объявления Турцией войны России донесения Барки имели исключительное значение, позволяя российскому правительству адекватно выстраивать линию отношений с Портой. В Петербурге были удовлетворены деятельностью Барки⁵⁰.

Рагузинский имел широкий круг близких ему лиц, «приятелей», «корреспондентов» в Турции, снабжавших его сведениями о новостях в Стамбуле и на Балканах. Хорошая информированность в сочетании с аналитическим складом ума позволили ему предвидеть после победы Петра I над шведами при Лесной в 1708 г. неизбежность русско-турецкой войны. 31 декабря 1708 г. Рагузинский писал Головкину из Москвы: «А что ко мне особливья друзья пишут, то

все благополучно и к мирному разорению еще знаку нет. А что лютуют пушки и делают корабли, то обыкновение всякого государства, когда в покою пребывает. А я скоро ведомости не имею, токмо, по моему рассуждению, турки, услышав нынешнее состояние не токмо измену окоянного Мазепы, но приближение толиких войск государевых и швецких к Крыму, то подлинно они будут готовитися, понеже никогда турки христианом не верят и будут иным рассуждением думать. А ныне великому государю войну показать не чаю, а подлинно, — богу весть. И еще будет какой знак, то друзья мои немедленно будут ко мне писать»⁵¹. В августе 1709 г. Толстой сообщил в Москву о подготовке Турции к войне с Россией.

В напряженные годы русско-турецких отношений стала особенно важной деятельность Рагузинского в области внешних дел, его способность быть посредником в отношениях между Россией и Балканами. С помощью Рагузинского были установлены и поддерживались связи Петра I с Балканами. Именно он в 1709 г. известил дубровницкие власти о победе русских войск под Полтавой. В ответ Сенат республики направил царю по этому случаю поздравительное письмо⁵². Так было положено начало официальным отношениям петровской России с Дубровницкой республикой.

Поступавшие в Дубровник сведения о России, ее военных успехах и выдающемся монархе Петре I вызывали в поэтических кругах города восторженное отношение к ней. Это получило выражение в ряде рукописных поэтических сочинений. В 1710 г. дубровницкий поэт, иезуит, каноник И. Градич создал на народном языке поэму «Северное пламя», в названии которой был заключен аллегорический образ Петра I, и преподнес ее Рагузинскому⁵³.

При посредничестве Рагузинского была установлена связь Петра I с господарем Молдавии Д. Кантемиром⁵⁴.

Рагузинский принял активное участие в Прутской кампании 1711 г.

На рубеже 1710–1711 гг. в связи с объявлением Турцией войны России в правительство было представлено «Мнение». Документ не был подписан. В нем среди рассмотрения военных и дипломатических вопросов впервые содержалась рекомендация послать «государевы грамоты к тамошним народам». Конкретизируя это предложение, автор высказал мысль направить к христианам в Албанию и Македонию «знатных и словесных людей» для подъема населения. Далее следовало: «Писать грамоту к Рагузинской Посполитой, также и сербским князьям и протчим их посредствам, обещаая им в некоторое время великия привилии»; «Послать диакона суздальского Петра Сербенина чрез Вену и Виуме до Рагуз и протчих тамошних народов з грамотами, которой человек не глуп и тамошних стран уроженец, и

многих тамо из главных знает»; «В Венецию послать человека умного, которой бы мог выведать их намерение, и писать к нам обо всем цыфирью». Далее упоминался сербский курьер, который был прислан «от тамошняго митрополита». Автор документа предлагал его отпустить и передать с ним обращение «к их начальником, дабы и они с прочими народы востали и, согласясь и вооружась, наступали на поганцов»⁵⁵.

3. Орфелин прямо указывал на Владиславича как автора идеи обращения Петра I к балканским христианам с призывом к выступлению вместе с Россией против турок⁵⁶. Данное обстоятельство, как и проявленные в документе знания автора географии Балкан, особое внимание к Дубровнику и Венеции, ориентация в кругу лиц, способных «увещевать» христиан, наконец, осведомленность о настроениях в Яссах — все это убеждает в авторстве Рагузинского.

Петр I и его окружение разгадали стратегический план турок в войне 1711 г. 18 января царь собрал военный совет для определения направления похода российских войск. Высказывались разные мнения. Как сообщал в Лондон английский посол при русском дворе Ч. Витворт, «большинство генералов решительно противилось движению в глубь Молдавии, но мнения вице-канцлера Шафирова и Саввы получили перевес»⁵⁷. Петр I решил направить войска к Дунаю. Основанием для этого послужили поступавшие от иерусалимских патриархов, видных сербов, господарей Молдавии и Валахии знаки готовности угнетенных народов к поддержке России в случае войны с Турцией и выдвижения российской армии на линию Дуная.

28 февраля 1711 г. было обнародовано «Объявление» о начале войны с Турцией. 3 марта в преддверии выступления российской армии Петр I по совету Рагузинского подписал грамоту западнобалканским славянам «и прочим христоролюбивым, обретающимся под игом тиранским турецкого салтана» с призывом подниматься на борьбу против турок. Рагузинский организовал и доставку этой грамоты на Балканы. Вскоре царь обратился с грамотой к христианам на греческом языке и манифестом Молдавии и Валахии и всем христианам Балкан с разъяснением планов России в войне⁵⁸.

10 марта Рагузинский выехал из Москвы в армию к Петру I. Известия о расположении турецких войск подтверждали, что в мае они еще не подойдут к Дунаю. Надеясь предупредить их, царь 7 мая послал с князем В. В. Долгоруким указ фельдмаршалу Б. П. Шереметеву «итить с войском к Дунаю». В штаб-квартиру графа направлялся Рагузинский «ради отправления в сем походе министерских дел и воинского совета». Петр I предписывал «чинить прочее все, что к пользе нашей принадлежит, с общего совету з генералы, а в тайных

делех и пересылках с ним, князем Долгоруким, и с Рагузинским»⁵⁹. В задачу последнего входили консультирование командования по балканскому вопросу и координация действий в случае выступления против турок христиан.

8 мая Рагузинский отправился из Яворова в Немиров к Шереметеву. 16 мая по получении петровского указа фельдмаршал выступил в поход, 30 мая его армия форсировала Днестр и вступила в Молдавию. Петр I торопил Шереметева, «чтоб к Дунаю прежде турков поспеть, ежели возможно». Однако Рагузинский 4 июня предупреждал царя: «Мы, по ведомостям, турков упредить у Дуная не можем... Однако марш наш останавливать не будем»⁶⁰.

В начале июня, когда стало ясно, что опередить турок в движении к Дунаю не представляется возможным, Шереметев повернул армию к Яссам. Петр I негодовал. «О замедлении вашем zelo дивьлюсь, — писал он фельдмаршалу 12 июня. — И ежели б по указу учинили, то б конечно прежде турков к Дунаю были...»⁶¹. Все это означало крах надежд на выступление против турок славян на севере Балкан. Но сохранялись еще планы совместных действий России и Дунайских княжеств, связь с которыми поддерживалась через Рагузинского.

Еще 13 апреля 1711 г. были составлены «Диплом и пункты» Д. Кантемиру, содержавшие условия вступления Молдавии «под протекциею» России. По существу это был договор о союзе Молдавии и России. Со вступлением российских войск в Молдавию Кантемир открыто перешел на сторону России. 6 июня произошла торжественная встреча молдавского господаря с Шереметевым. Кантемир объявил себя «подданным его величества» и принес присягу верности «со всеми знатными Воложской земли начальниками». Состоялся военный совет русских генералов и молдавских сановников. Стороны обменялись богатыми подарками. Солидную сумму на содержание молдавского войска внес Рагузинский. Он вручил Кантемиру 200 кошельков золота на обмундирование 10 000 человек. Сверх того, Рагузинский дал господарю 300 кошельков золота на закупку скота для русской армии⁶². Так был материально закреплен русско-молдавский военно-политический союз.

Новая обстановка потребовала созыва военного совета для уточнения планов кампании. Петр I решил собрать его в Яссах. В ходе его подготовки царь лично писал Рагузинскому, чтобы он прибыл с Кантемиром, через Шереметева давал указание ему «писать с общаго согласия к господарю (Валахии. — *И. Л.*) и х Кантакузиным, призывая их, чтоб по обещанию своему к нам пристали»⁶³.

24–26 июня Петр I находился в Яссах, где провел важные совещания. На них присутствовали Головкин, Кантемир, Рагузинский,

Фома Кантакузин. С выходом турецких войск к Дунаю господарь Валахии Бранковяну, с которым была договоренность об обеспечении российской армии продовольствием и фуражом, стал проявлять осторожность, а затем и вовсе занял сторону турок. В Яссы приехал от лица значительной части валашских бояр, заинтересованных в союзе Валахии с Россией, племянник Бранковяну, спафарий княжества Фома Кантакузин в сопровождении 40–50 человек⁶⁴. Изворотливость Бранковяну поставила русскую армию в тяжелое положение, лишив ее продовольствия и фуража. Это стало одной из причин неудачи Прутской кампании Петра I.

В соответствии с военной стратегией Петра I Рагузинский дал непосредственный толчок развитию повстанческого движения на юго-западе Балкан. В преддверии Прутского похода 4 марта он направил письмо сербу Михайло Милорадовичу, торговавшему тогда скотом в Валахии и Венеции, с экземплярами грамоты Петра I. Извещая о пожаловании Милорадовичу чина полковника российской службы, он просил его отправиться в Сербию, Албанию и Черногорию, чтобы поднять христиан против турок. Рагузинский неоднократно писал также сербским офицерам, служившим на Военной Границе в Австрийской монархии, призывая сербов к вооруженным действиям против османов и соединению с русскими войсками на Дунае⁶⁵. В результате в Черногории, Герцеговине и на севере Албании 30000 человек (почти столько же, сколько насчитывала штыков российская армия на Пруте) выступили в поддержку России. Антиосманские вооруженные действия на Балканах «з государевыми знаменами» продолжались до 1713 г.

Во время Прутской кампании турки знали о нахождении Рагузинского в армии. На переговорах о заключении мира они выдвинули требования, в числе которых была выдача Порте Кантемира и Рагузинского. Но Шафиров сумел добиться отказа везира от этого условия⁶⁶. Позиция турок в свою очередь подтверждала политическую весомость Рагузинского в балканских делах.

После Прутского похода, безуспешность которого объяснялась многими причинами, Рагузинский оставался главным советником царского двора в понимании ситуации на Балканах. Он продолжал поддерживать связь с валашскими сановниками Кантакузинами, которые, помимо всего, были посредниками в отношениях России с сербами. Когда в начале 1713 г. в Петербург прибыли представители сербского движения и канцлер Головкин в связи с новым объявлением Турцией войны России решил вернуть их на Балканы для возобновления борьбы, Рагузинский воспротивился этому. Он считал, что движение было обескровлено. Сенат счел его доводы убедительными⁶⁷.

Рагузинский оказывал реальное влияние на балканскую политику российского правительства. Вместе с тем он принимал участие в решении главных внешнеполитических вопросов: определении позиции России в отношении Швеции и Турции. Он выполнял деликатные дипломатические поручения царя. В первой половине 1712 г., когда царский двор, по словам английского посла, жил, «как в перемежающейся лихорадке», Рагузинский дважды имел с Витвортом обстоятельные беседы. Как доносил посол в Лондон, их «разговор касался вопросов, возникших во все течение настоящей войны». Обсуждались русско-английские отношения, международное положение в Европе. Рагузинский зондировал почву для заключения союза России и Англии против Швеции, но получил отказ. Посланец царя пытался также прояснить вопрос о возможности заключения мира с Карлом XII. В беседах Рагузинский проявил хорошую осведомленность как в политических, так и военных делах⁶⁸.

В 1712 г. Рагузинский неоднократно присутствовал на совещаниях в Петербурге при подготовке ответственных писем русским послам, с его нарочными отправлялась наиболее важная корреспонденция российским дипломатам в Стамбул, именно он привез ратифицированный Константинопольский договор России с Турцией из Петербурга в Москву, далее стольник Лопухин должен был доставить договор в турецкую столицу. В сентябре Рагузинский изложил Петру I «пункты», содержавшие его видение условий сохранения мира с Турцией. Главными среди них автор считал вывод российских войск из Польши и замену их саксонскими частями⁶⁹.

Петр I отблагодарил Рагузинского за его деятельность во время Прутской кампании. В 1714 г. по истечении срока действия была продлена Жалованная грамота ему на свободу торговли внутри и вне России еще на 10 лет.

Рагузинский окупился в обустройство семейных дел, в хозяйственные операции, заграничные поездки. Находясь за пределами России, он выполнял различные царские поручения, в том числе дипломатического характера. По его просьбе ему были выданы рекомендательные грамоты за подписью Петра I, в которых он именовался «иллирийским графом Владиславичем». Еще в 1711 г. дубровницкий Сенат выдал ему диплом графского достоинства.

С 1716 по 1722 гг. Рагузинский с перерывами жил в Венеции. Он побывал на родине. Здесь граф Владиславич тщетно пытался, несмотря на поддержку Петра I, воздвигнуть православную часовню в саду собственного дома. Дубровницкие власти жестко хранили католическую традицию республики. Церковный вопрос с самого начала получил в дубровницко-российских отношениях острый

политический характер. Поэтому намерение Рагузинского не увенчалось успехом.

В течение ряда лет граф Владиславич по существу выполнял функции царского поверенного в делах в Республике Св. Марка. Он занимался прежде всего торговыми операциями. В 1716 г. в Италию пришло судно с его товарами из Архангельска. За время пребывания в Венеции он отправил в Россию шесть торговых судов с товарами (пять — в Петербург и одно — в Архангельск), причем в 1719 г. на свой «кошт» приобрел собственное судно, которое должно было совершать рейсы между Петербургом и Венецией. Рагузинский стремился взять в свои руки всю прямую русско-итальянскую торговлю⁷⁰.

Рагузинский по поручению царя принимал активное участие в закупках в Венеции мраморных статуй, других произведений искусств и предметов. Он приобрел здесь 23 мраморных статуи, заказал ряд скульптур и 36 бюстов. С его участием состоялась отправка из Рима в Петербург знаменитой античной статуи Венеры, которая была приобретена российским правительством ранее, но на ее вывоз в Россию был наложен запрет. Два года длились дипломатическая переписка и переговоры, пока статуя не была обменена на мощи св. Бригитты. Статуя была доставлена в Петербург в 1721 г. Теперь эта скульптура украшает Отдел античного искусства Эрмитажа⁷¹.

Во время пребывания в Риме Рагузинский вел переговоры с папой с целью установления письменной связи между Ватиканом и Россией. На него были возложены задачи организации практики молодых дворян, обучавшихся в Венеции морскому делу, опеки других учеников, а также живописцев Ивана и Романа Никитиных, находившихся во Флоренции. Он занимался наймом специалистов. На Адриатике «иллирийский граф» по собственной инициативе набирал славян на службу в российский флот В 1717 г. Рагузинский сопровождал Петра I в его поездке в Париж⁷².

В 1722 г. Рагузинский вернулся в Россию с молодой венецианкой — женой. Сюда же он перевез и престарелую мать. Наступило затишье в его публичной деятельности.

Рагузинский хорошо владел пером. В 1722 г. в Петербурге вышел его перевод с итальянского языка сочинения далматинского аббата Мавро Орбина «Славянское царство» (1601 г.), проникнутое сознанием целостности славян. Русская версия труда Орбина получила распространение на славянском юге, способствуя возрождению в новых исторических условиях идеи славянской общности. Петру I Рагузинский посвятил рукописный перевод с итальянского языка сочинения «Советы премудрости, или Собрание определений Соломоновых».

Савва Лукич Владиславич-Рагузинский оставил заметный след в жизни петровской России. А. С. Пушкин упомянул его в ряду ближайших сподвижников царя в неоконченном романе «Арап Петра Великого».

Но главное политическое дело Рагузинского было впереди. В 1725–1728 гг. он возглавлял русское посольство в Китае. Формально оно отправилось в Пекин, чтобы сообщить китайскому императору о смерти Петра I и восшествии на российский престол Екатерины I. Но основная задача посольства состояла в урегулировании торговых отношений и пограничных вопросов между Россией и Китаем. Дипломатическая деятельность Рагузинского в Китае была сродни подвигу.

Посольство выехало в октябре 1725 г. и добиралось до русско-китайской границы почти 10 месяцев. Рагузинский сделал продолжительные остановки в Тобольске и Иркутске, чтобы познакомиться с состоянием Сибири, собрать материалы о границе, русско-китайской торговле, перебежчиках. Посольство прибыло в столицу Китая в октябре 1726 г.

Русское посольство в Пекине находилось в тяжелых условиях. Переговоры, проходившие при постоянном моральном давлении с китайской стороны, были изнурительными. Состоялось 48 конференций, на которых в жарких спорах обсуждалось 20 проектов. Рагузинский, твердо отстаивая интересы России, на заседании Высшего совета китайского двора заявил: «Российская империя дружбы богдыхана желает, но и недружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому». В апреле 1727 г. посольство выехало из Пекина. Переговоры продолжились на границе. Рагузинский действовал не только путем убеждений, но также с помощью денег и демонстрации вооруженной силы. Понимая важность для политики правильного представления о Китае, российский посланник изложил свои впечатления и знания о нем в пространном описании этой страны.

Во время пребывания в Бурятии в ходе переговоров Рагузинский занимался также упорядочением отношений между коронной администрацией и населением. С его именем связана закладка города Кяхты, ставшего вскоре центром русской торговли с Китаем.

В августе 1727 г. на р. Буре был подписан договор, разрешивший спорные вопросы о границе между Россией и Китаем. Буринский договор лег в основу всеобъемлющего трактата, ратифицированного 21 октября 1727 г. в Кяхте. Он определил российско-китайскую границу в районе Монголии в соответствии с принципом «*uti possidetis*» (каждый владеет тем, чем владеет теперь). Российское правительство сохранило право отправки раз в три года казенных караванов в Пекин. Кроме того, были установлены три пункта для пограничной

торговли купцов. Договор вводил систему особых паспортов для переезда из одного государства в другое. Кяхтинский договор стал важной вехой в истории отношений России и Китая. Вплоть до середины XIX в. он служил их юридической основой.

Главная роль в заключении договора, закрепившего интересы России, принадлежала Рагузинскому. Государственная значимость Кяхтинского договора и трудности его заключения поставили Рагузинского в ряд выдающихся дипломатов XVIII в. За заслуги на дипломатическом поприще он получил чин тайного советника и был награжден орденом Александра Невского⁷³.

Но по возвращении в Россию Рагузинского ожидало одиночество. Жена вернулась в Венецию. Рагузинский умер в 1738 г., завещав свои богатства племяннику.

Человек широких интересов и безудержной энергии, с талантом коммерсанта и государственного деятеля Савва Лукич Владиславич-Рагузинский вошел в историю сербского народа и России как деятель, стоявший у истоков и оказавший влияние на формирование балканской политики России, как один из инициаторов идеи освобождения угнетенных народов Балкан путем совместных действий российской армии и повстанцев на местах, наконец, как дипломат, которому Россия была обязана юридическим оформлением цивилизованных отношений с Китаем.

Примечания

- 1 Орфелин З. Житие и славныя дела государя императора Петра Великого. В Венеции, 1772. Ч. II. С. 78.
- 2 Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887. Т. I. С. 275.
- 3 *Бантыш-Камёнский Н. Н.* Обзор внешних сношений России (по 1800 год). М., 1896. Ч. II. С. 242.
- 4 Письма и бумаги... СПб., 1889. Т. II. С. 152, 524.
- 5 Там же. С. 512.
- 6 Там же. С. 525.
- 7 Там же. С. 204.
- 8 Там же. С. 207–209.
- 9 Там же. С. 617; *Бантыш-Каменский Н. Н.* Обзор внешних сношений... С. 243.
- 10 Цит. по кн.: *Павленко Н. И.* Птенцы гнезда Петрова. М., 1994. С. 217.
- 11 *Крылова Т. К.* Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические записки. М., 1940. Т. 10. С. 263.

- 12 *Крылова Т. К.* Русская дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700–1709 гг.) // Исторические записки. М., 1959. Т. 65. С. 259, 261, 269, 270, 274.
- 13 Письма и бумаги... СПб., 1893. Т. III. С. 1065.
- 14 Там же. С. 80, 85.
- 15 Там же. Т. I. С. 194.
- 16 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1867. Т. VIII. С. 1372–1373.
- 17 Там же. СПб., 1868. Т. IX. С. 312.
- 18 Русский посол в Стамбуле. Петр Андреевич Толстой и его описание Османской империи начала XVIII в. М., 1985. С. 145.
- 19 Письма и бумаги... Т. III. С. 79–81.
- 20 *Крылова Т. К.* Русско-турецкие отношения... С. 265; Русский посол в Стамбуле. С. 145.
- 21 *Бантыш-Каменский Н. Н.* Обзор внешних сношений... Ч. II. С. 243; Письма и бумаги... Т. III. С. 804; СПб., 1900. Т. IV. С. 468.
- 22 Письма и бумаги... Т. III. С. 307–310.
- 23 Там же. Т. III. С. 1019; СПб., 1907. Т. V. С. 197.
- 24 Там же. Т. V. С. 611. См. также: *Крылова Т. К.* Русская дипломатия на Босфоре... С. 260.
- 25 *Крылова Т. К.* Русская дипломатия на Босфоре... С. 250.
- 26 *Козинцева Р. И.* Участие казны во внешней торговле России в первой четверти XVIII в. // Исторические записки. М., 1973. Т. 91. С. 322, 323.
- 27 Письма и бумаги... М., 1956. Т. X. С. 422; Доклады и приговоры состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого. СПб., 1887. Т. III. Кн. 1. С. 309; СПб., 1888. Т. III. Кн. 2. С. 509, 511, 910; СПб., 1888. Т. IV. Кн. 1. С. 229.
- 28 Письма и бумаги... М., 1964. Т. XI. Вып. 2. С. 68; *Козинцева Р. И.* Участие казны во внешней торговле... С. 324, 331. Курс ефимка колебался 80–90 коп. за ефимок.
- 29 Доклады и приговоры Сената... СПб., 1882. Т. II. Кн. 1. С. 207–208; Письма и бумаги... М., 1975. Т. XII. Вып. 1. С. 123.
- 30 *Козинцева Р. И.* Участие казны во внешней торговле... С. 302; *Шаркова И. С.* Россия и Италия: торговые отношения XV — первой четверти XVIII в. Л., 1981. С. 137, 138, 168.
- 31 Доклады и приговоры Сената... СПб., 1883. Т. II. Кн. 2. С. 64.
- 32 Письма и бумаги... М., 1977. Т. XII. Вып. 2. С. 181; Доклады и приговоры Сената... Т. III. Кн. 2. С. 692
- 33 *Козинцева Р. И.* Участие казны во внешней торговле... С. 287.
- 34 Сборник Русского исторического общества. СПб., 1873. Т. XI. С. 352; *Голых И. И.* Деяния Петра Великого. М., 1788. Ч. V. С. 331, 335.

- 35 Доклады и приговоры Сената... СПб., 1888. Т. IV. Кн. 1. С. 505, 506; СПб., 1892. Т. V. Кн. 1. С. 243.
- 36 *Козинцева Р. И.* Участие казны во внешней торговле... С. 311–312.
- 37 Доклады и приговоры Сената... Т. I. С. 300–301; Т. II. Кн. 2. С. 416–419; Письма и бумаги... Т. XI. Вып. 2. С. 75, 400, 546.
- 38 Письма и бумаги... СПб., 1900. Т. IV. Вып. 2. С. 769; М., 1951. Т. VIII. Вып. 2. С. 916; М., 1956. Т. X. С. 230; М., 1962. Т. XI. Вып. 1. С. 299; Доклады и приговоры Сената... Т. III. Кн. 1. С. 117.
- 39 Письма и бумаги... М., 1951. Т. IX. Вып. 2. С. 692.
- 40 Там же. М., 1951. Т. IX. Вып. 1. С. 54; Вып. 2. С. 635, 636.
- 41 Письма и бумаги... СПб., 1912. Т. VI. С. 447; Т. IX. Вып. 2. С. 1151; Т. X. С. 359, 360, 727.
- 42 Там же. М., 1977. Т. XII. Вып. 2. С. 425; Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. М., 1954. С. 98.
- 43 Письма и бумаги... М., 1951. Т. VIII. Вып. 2. С. 916.
- 44 См. там же. Т. V. С. 611; Петроград, 1918. Т. VII. Вып. 1. С. 197, 453; Т. IX. Вып. 1. С. 90, 99.
- 45 Там же. Т. X. С. 411.
- 46 См. там же. Т. IX. Вып. 1. С. 90; Вып. 2. С. 692, 1361.
- 47 Сборник РИО. СПб, 1888. Т. 61. С. 104.
- 48 *Пааленко Н. И.* Птенцы гнезда Петрова. С. 214.
- 49 Письма и бумаги... Т. IX. Вып. 2. С. 1001.
- 50 Письма и бумаги... Т. X. С. 770; Т. XI. Вып. 1. С. 568, 569, 577, 605–606; Т. XI. Вып. 2. С. 453; Т. XII. Вып. 1. С. 293, 294, 324; Т. XII. Вып. 2. С. 443 и др.
- 51 Письма и бумаги... Т. VIII. Вып. 2. С. 917.
- 52 Дубровачка акта и повеље. Објавио Ј. Радонић. Београд, 1951. Књ. V. С. XIX, 70–71.
- 53 *Макушев В. В.* Материалы для истории дипломатических сношений России с Рагузской республикой. М., 1865. С. 15, 16, приложение IV.
- 54 *Н. Г. Петр Великий на берегах Прута // Журнал Министерства народного просвещения. 1847. Ч. LIII. № 1. С. 61. Из Летописи Иоанна Некульче, гетмана, командующего молдавскими войсками, сподвижника Кантемира. См. также: Кочубинский А.* Сношения России при Петре Первом с южными славянами и румунами // ЧОИДР. М., 1872. Кн. 2. С. 43.
- 55 Письма и бумаги... Т. XI. Вып. 1. С. 339.
- 56 *Орфелин З.* Житие и славные дела... Ч. II. С. 22.
- 57 Сборник РИО. Т. 61. С. 16.
- 58 Письма и бумаги... Т. XI. Вып. 1. С. 153, 225–227.
- 59 Там же. С. 222.

- 60 Там же. С. 278, 539.
- 61 Там же. С. 285.
- 62 Там же. С. 538; *Н. Г. Петр Великий на берегах Прута*. С. 61.
- 63 Письма и бумаги... Т. XI. Вып. 1. С. 298–299, 303.
- 64 Там же. С. 556–557.
- 65 Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII веке. М., 1984. С. 31–32, 34–35.
- 66 Письма и бумаги... Т. XI. Вып. 1. С. 577.
- 67 Там же. Т. XII. Вып. 1. С. 424; *Кочубинский А.* Сношения России при Петре Первом... С. 43, 53; *Павленко Н. И.* Птенцы гнезда Петрова. С. 342.
- 68 Сб. РИО. Т. 61. С. 178–181, 199.
- 69 Письма и бумаги... Т. XII. Вып. 1. С. 151, 160, 207, 264, 300; Вып. 2. С. 392.
- 70 *Шаркова И. С.* Россия и Италия: торговые отношения... С. 94, 129, 168.
- 71 Там же. С. 156–159.
- 72 *Бантыш-Каменский Н. Н.* Обзор внешних сношений России... Ч. II. С. 217, 239; Политические и культурные отношения России... С. 53, 56.
- 73 *Силин Е. П.* Кяхта в XVIII веке. Иркутск, 1947. С. 26 и сл.; *Павленко Н. И.* Птенцы гнезда Петрова. С. 351 и сл.

С. С. Беляков
(Екатеринбург)

Южные славяне глазами московского славянофила: Путешествие И. С. Аксакова по славянским землям: май–август 1860

Летом 1860 г. выдающийся русский общественный деятель, видный представитель славянофильства Иван Сергеевич Аксаков совершил поездку по землям южных славян — Краине, Далмации, Черногории, Хорватии и Сербии. Впечатления Аксакова от данного путешествия интересны не только сами по себе. Эти впечатления не могли не оказать влияние на представления Аксакова о славянском вопросе, об идее славянского единства, что в свою очередь не могло не наложить отпечаток на его деятельность.

Вторая половина 50-х гг. XIX в. стала одним из наиболее интересных и значительных периодов в деятельности русских славянофилов. Основные постулаты славянофильства были заложены еще в 1840-е (учение об особом предназначении России, о православии как истинной религии всех славян, об общине как особой форме организации славянских народов, теория «земли» и «государства» и т. д.)¹. Однако эти идеи оставались достоянием сравнительно узкого круга московских интеллектуалов. И. Аксаков в 1856 г. с горечью писал о том, что о славянофилах «в провинции и слыхом не слыхать, а если и слышат, так от людей, враждебных направлению»². Подобное положение дел ни в коей мере не устраивало славянофилов: «Все наши слова, все наши толки имеют одну цель педагогическую», — писал А. С. Хомяков, имея в виду необходимость «воспитания» общества в славянофильском духе³. Однако возможности для популяризации своих идей у славянофилов были крайне ограничены: к началу 1850-х в связи с новым ужесточением цензуры они практически потеряли возможность печататься⁴. Положение начало меняться после смерти императора Николая I и особенно после окончания Крымской войны. Ослабление цензурного гнета, обстановка ожидания преобразований и подготовка самих реформ создали относительно благоприятные условия для активизации общественной деятельности славянофилов. Уже в 1855 г. К. Аксаков и А. Кошелев направляют императору «записки», где излагают собственные взгляды на положение страны, на особенности развития русского народа, указы-

вают на необходимые, с их точки зрения, преобразования. А. Кошелев, Ю. Самарин и князь В. Черкасский составляют собственные проекты освобождения крестьян от крепостной зависимости. Двое последних принимают участие в работе Редакционных комиссий⁵.

Другим, не менее важным, направлением деятельности славянофилов стала популяризация собственных идей. В 1857 г. К. Аксаков предпринял попытку издания еженедельной газеты «Молва». К сожалению, под давлением цензуры в январе 1858 г. ее издание пришлось прекратить. В 1856 г. начал выходить журнал «Русская беседа». Однако надежд на распространение и популяризацию славянофильских идей он не оправдал. Подписчиков было мало, журнал издавался в убыток, на деньги его редактора и издателя А. И. Кошелева⁶. «Коллеги по перу» из других литературных журналов устроили настоящую травлю славянофильского издания. А. С. Хомяков писал Ивану Аксакову, который с 1858 г. стал фактически главным редактором журнала: «„Беседа“ не может существовать сама по себе, и причина этому очень грустная. Для нее нет в России читателя!»⁷ Но Иван Аксаков не оставил надежд на популяризацию в России славянофильских идей и с этой целью в 1858 г. приступил к изданию газеты «Парус». Однако цензура запретила ее уже на втором номере. Переговоры об издании новой газеты, подобной «Парусу», завершились неудачей. Эти события, а также смерть отца, известного писателя С. Т. Аксакова, ставшая тяжелым ударом для всей семьи, повлияли на решение И. Аксакова поехать за границу: «В 1860 г. не разрешают мне никакого издания, имея в виду воротиться со временем к редакторской же деятельности, я хочу воспользоваться досугом... Чтоб подготовить себя лучше к этой деятельности... Для этого командирую себя на год в чужие края»⁸.

Выехав из Москвы в начале января 1860 г., Аксаков направился в Германию, где провел более 4-х месяцев, занимаясь подготовкой к переводу и изданию на немецком сочинений ряда славянофилов (в том числе и работ К. Аксакова) и ведя переговоры о переводе на немецкий всех номеров «Русской беседы»⁹. Трудно сказать, когда у Аксакова окончательно сложилось намерение посетить славянские земли. В письме от 14 апреля 1860 г. Аксаков пишет матери о своих планах посетить Далмацию, Сербию, Кроацию (Хорватию)¹⁰. Однако нет сомнения в том, что стремление увидеть славянские земли сложилось у него значительно раньше. Еще в июле 1858 г. он предлагал В. И. Ламанскому «съездить к славянам»: «Мне кажется, это было бы необходимо», — писал Аксаков¹¹. Следует отметить, что собственно славянская тематика привлекала внимание славянофилов едва ли не со времени зарождения их учения. Еще на страницах «Московского литературного и ученого сборника» (1846–1847) и журнала «Моск-

витянин» появлялись статьи, посвященные истории и культуре славянских народов. В 1840-е гг. славянофилами были выдвинуты тезисы, легшие в основу их концепции истории славян: отличия православного греко-славянского мира от романо-германского, о мессианской роли славянства в современной истории Европы и др.¹² В отдельных высказываниях славянофилов можно найти панславистские настроения, особенно заметные в годы Крымской войны¹³. Многие славянофилы (среди них, М. Погодин, Ф. Чижов, А. Гильфердинг и др.) посещали земли южных и западных славян. Важное место заняла славянская тематика в журнале «Русская беседа», где публиковались как посвященные ей произведения русских славянофилов и ученых-славистов, так и работы авторов из Сербии, Польши, Болгарии и других славянских земель. Особый интерес к славянской проблематике проявлял И. Аксаков, стремившийся популяризировать ее в русском обществе. Достижению этой цели призвано было способствовать издание газеты «Парус», в которой был создан специальный Славянский отдел. Более того, Аксаков планировал часть тиража «Паруса» выпускать на славянских языках, что должно было способствовать улучшению связей со славянскими странами¹⁴. Однако сам Аксаков жаловался, что он очень мало знаком даже «с топографией и историей славянских земель»¹⁵. Ознакомление с ситуацией в славянских землях Габсбургской и Османской империй, безусловно, должно было способствовать подготовке к работе на посту редактора издания, подобного «Парусу» или «Русской беседе», к чему, как мы помним, готовил себя Аксаков. Следовало также завести деловые контакты с деятелями культуры и, по возможности, с политиками в славянских землях. Сам Аксаков писал на этот счет: «...задача моя упрочить дружеские связи со славянами и узнать поближе их дело и обстоятельства»¹⁶. В данной работе мы не будем затрагивать проблемы деловых связей, установленных Аксаковым в ходе поездки, поскольку она заслуживает особого исследования.

Основными источниками по данной теме являются дневник, который Аксаков вел во время поездки, и письма Аксакова к родным, писавшиеся также в ходе путешествия. Определенные сведения о впечатлениях Аксакова от поездки по славянским землям содержатся в его статьях, печатавшихся в газетах «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868) и «Москвич» (1867–1868). Однако они вторичны по отношению к письмам и дневнику и не содержат принципиально новых сведений¹⁷.

Письма из славянских земель и дневник были опубликованы в 1892 г.¹⁸ Дневник Аксакова, при всей ценности источника, предполагающего откровенность автора, имеет ряд недостатков. Дневник начинается с описания пути от Вены до Марбурга, т. е. с приближе-

ния Аксакова к южнославянским землям. Однако до конца путешествия он доведен не был. Последняя запись, относящаяся приблизительно к 17–18 июня, была сделана в Фиуме. Таким образом, пребывание Аксакова в Хорватии (2-я половина июня) и в Сербии (июль – начало августа) в дневнике не описаны. Дневниковые записи велись непоследовательно: сам Аксаков жаловался, что никак не может приучить себя записывать каждый день¹⁹. Структура дневника довольно хаотична: путевые заметки, этнографические зарисовки соседствуют с рассуждениями автора. В одних случаях описания быта, одежды и т. п. подробны (Черногория), в других практически отсутствуют (Хорватия). В дневнике только один заголовок «Хорватия», под которым описан визит Аксакова в Фиуме.

Письма Аксакова в откровенности не многим уступают дневнику, хотя в одном из писем Аксаков прямо указывает на то, что «многое и самое интересное» он не решается писать, опасаясь цензуры²⁰. В ряде случаев (например, в оценке черногорского двора) суждения Аксакова куда менее резки в письмах, чем в дневнике. Следует отметить, что в письмах из Белграда содержится гораздо меньше информации о стране, чем в других письмах из славянских земель. В них, в частности, полностью отсутствуют этнографические описания. Во многом это связано с тем, что Аксакова все больше отвлекали от описания страны неутешительные известия о болезни брата, Константина Аксакова, и сообщения А. И. Кошелева, окончательно решившего прекратить издание «Русской беседы».

Знакомясь с суждениями Аксакова о славянах, следует учитывать незнание им славянских языков. Хотя еще 10 мая 1860 г. Аксаков сообщал, что начал учить сербский²¹, однако времени на его изучение не хватало. Сам Аксаков писал: «С Сербами говоря медленно и поддельваясь друг под друга объясняемся кое-как»²². Со словенскими интеллектуалами он предпочитал объясняться на немецком, с черногорским князем Данилой и с графом Поццо («горячим славянином»), по словам Аксакова, – на французском. Во время путешествия Аксаков, очевидно, говорил по-сербски и по-словенски, но лишь на уровне элементарных деловых фраз. Лишь в Хорватии он стал объясняться по-сербски «довольно свободно», так как местные патриотически настроенные интеллектуалы категорически отказывались общаться на немецком²³. Однако читать на славянских языках он так и не научился и впоследствии не мог прочесть ни одной славянской газеты без перевода²⁴.

Помимо языкового барьера для московского славянофила во многих случаях возникал и культурный барьер, отделявший интеллектуала Аксакова от «простого» человека. Так, Аксаков сетовал, что

в Черногории «не с кем слова сказать, да и не о чем, разве о прошлых подвигах, о том, сколько каждый убил турок на своем веку»²⁵. Таким образом, круг общения Аксакова ограничивался в основном местной интеллигенцией, относительно многочисленной в Хорватии, малочисленной в Далмации²⁶ и вовсе отсутствовавшей в Черногории.

Однако все это не уменьшает ценности данных источников, ведь для нас важно не столько соответствие действительности впечатлений Аксакова, сколько сложившийся в его сознании образ южнославянских народов.

В письме к родным от 15 мая Аксаков сообщает о маршруте своей поездки, который выглядел так: Вена — Лайбах — Клагенфурт — Триест — поездка по Черногории — Рагуза — Фиуме — Загреб — Белград²⁷. Хотя с самого же начала поездки Аксаков начал вносить в свой маршрут изменения, в целом, как мы увидим, он стремился не отклоняться от него. 18 мая Аксаков выехал из Вены и к вечеру прибыл в Марбург (Марибор)²⁸, где провел 2 дня. 21 мая он прибыл дилижансом в Клагенфурт, а оттуда 22 мая в Лайбах (Любляну), побывав, таким образом, в столицах Штирии, Каринтии и Краины. Из Лайбаха Аксаков направился в Триест, где пробыл с вечера 24 по 27 мая. Впечатление от словенских земель у Аксакова сложилось, скорее, благоприятное. Правда, население Марбурга, за исключением нескольких словенских интеллектуалов (среди них были такие достаточно известные деятели словенского национального возрождения, как О. Цаф, Б. Раич, Д. Терстеняк), оказавших теплый прием московскому гостю²⁹, было большей частью онемечено, а сельское население Штирии и Каринтии, хотя и сохраняло «славянский отпечаток», говорило на немецком³⁰. Зато в Краине население не поддавалось германизации: «Краина вся славянская, сплошь, так что народ почти не понимает немецкого языка, сохранил свою одежду и обычаи»³¹.

Радовало Аксакова и сходство словенской и русской женской одежды, и языковая близость (верхне-краинское наречие показалось ему ближе к русскому, чем сербский и чешский языки)³².

Из Триеста 27 мая Аксаков пароходом направляется в Рагузу (Дубровник), по пути делая остановки в портах далматинского побережья. Прибыв в Рагузу 30 мая, Аксаков встретился там с русским консулом К. Д. Петковичем и, воспользовавшись тем, что последний собирался с визитом в Черногорию, отправился вместе с ним. В тот же день они прибыли в принадлежавший Австрии Каттаро (Котор), а 31 мая — в Цетинье, где их принял тогдашний правитель Черногории князь Данило. Через день, 2 июня, Аксаков совершил поездку в Риеку-Црновича, вернувшись к вечеру в Цетинье.

Черногория после битвы при Грахово (1 мая 1858 г.) укрепила свое положение фактически независимого государства. Впечатления Аксакова от этой страны заслуживают особого описания. В середине XIX в. Аксаков попал в Раннее Средневековье. Глядя на князя, вершившего суд в простой рубашке, сидя на пне или камне, под деревом, в окружении толпы вооруженных черногорцев; на его неграмотных «сенаторов», на полное отсутствие документации, Аксаков представил себе «двор Ярослава»³³. Традиционный уклад жизни черногорцев, отсутствие социального неравенства, моральный авторитет князя, чьи решения добровольно и беспрекословно (но не раболепно) принимались черногорцами, произвели благоприятное впечатление на Аксакова³⁴. Отсутствие письменной литературы компенсировалось в Черногории развитием жанра героической песни. Аксакова поразило, что даже по мотивам современных ему событий черногорцы сочиняли песни, исполнявшиеся под аккомпанемент гуслей. Примечательно, что из всех слышанных Аксаковым в Черногории песен только одна была любовной, прочие — исторические и героические³⁵. С симпатией относясь к традиционному укладу черногорцев (даже к тому, что все население страны, включая президента сената, воеводу Мирко и министра иностранных дел Иво Ракова, было неграмотным), Аксаков прохладно отнесся к появлению в стране элементов цивилизации: гвардии, административному делению, зачаткам бюрократического аппарата³⁶, и резко враждебно — к элементам европеизации (см. ниже).

3 июня Аксаков вернулся в Каттаро, а затем — в Рагузу, где провел неделю (5–11 июня), после чего направился на пароходе в Триест, делая остановки в Сполато (Сплите) 12 июня, Себенико (Шибенике) 13 июня, Заре (Задаре) 14 июня. Несмотря на кратковременность своего визита, Аксаков успел заметить глубокий экономический упадок Далмации, самой отсталой части империи Габсбургов. В некогда богатом Дубровнике Аксаков не увидел ни одного нового здания — «только развалины и развалины»³⁷. К тому же страна была в значительной степени италянизирована: так, в Заре даже одежда жителей показалась Аксакову похожей на «итальянско-неополитанскую»³⁸. В городах господствовал итальянский язык.

15 июня Аксаков вернулся в Триест и в тот же день направился оттуда в Фиуме (Риеку). С этого времени датировка становится более затруднительной. Можно лишь с уверенностью сказать, что 16–25 июля Аксаков провел в Фиуме и Карловаце, с 26 июня по 4 июля он находился в Аграме (Загребе). В Хорватии местные интеллектуалы оказали Аксакову столь восторженный прием, что тому пришлось почти вдвое продлить свое пребывание в хорватских землях. Из За-

греба Аксаков направился в Белград, где пробыл с 6 по 20 июля. В период с 21 по 28 июля он совершил поездку по Сербии, посетив, в частности, Смедерево и Крагуевац. 28 июля — 7 августа Аксакова вновь в Белграде. Аксаков посетил Сербию спустя два года после того, как Свято-Андреевская скупщина покончила с олигархическим режимом уставобранителей и вновь призвала на престол «последнего юнака» Милоша Обреновича. Впечатления Аксакова от поездки в Сербию противоречивы. Он отмечает установившуюся в стране атмосферу страха, интриг: «...ссоры, вражды, наговоры, клеветы — здесь ежедневное явление», — пишет Аксаков³⁹. Он также пишет об установлении цензуры, отсутствии в Сербии нормальной общественной жизни⁴⁰. Вместе с тем обстановка последних месяцев правления Милоша Обреновича связывается Аксаковым не с внутренними причинами, а с интригами европейских держав и просчетами русской дипломатии⁴¹. Поездка по Сербии (за пределами Белграда) произвела на московского славянофила весьма благоприятное впечатление. Отсутствие сословного деления, социальный мир и особенно характер отношений между народом и властью, когда власть была органично связана с народом, не являясь чем-то чуждым, навязанным ему извне, понравились московскому гостю: «Тут нет ни вражды, ни рабства, а свободное признание власти и отдавание ей почета»⁴². Надо сказать, что сербские дела имели для Аксакова, равно как и для других славянофилов, особое значение. Славянская православная страна, где к тому же не было ни аристократии, ни жесткой социальной стратификации, ни крепостничества, стояла несравненно ближе к славянофильскому идеалу, нежели Россия. Деятельность той же Свято-Андреевской скупщины они приводили в качестве примера образцовых взаимоотношений народа и государства, когда народ не входит «в чуждые ему подробности управления и внешнего устройства», но в случае необходимости может «повернуть руль», сменив старое правительство, и указать путь новому⁴³. Как видим, Аксаков отнюдь не разочаровался в Сербии. Не исключено, что «сербские впечатления» впоследствии повлияли на возникновение у Аксакова идеи самоликвидации дворянства как сословия, что стало бы шагом в направлении слияния сословий в земстве⁴⁴.

7 августа Аксаков покинул Белград, 9 августа он прибыл в Нейзатц (Нови Сад), последний крупный город, посещенный им в славянских землях, оттуда вскоре он направился в Пешт, затем — в Вену. Так завершилось путешествие Аксакова по землям южных славян.

Главный вопрос, интересовавший Аксакова во время его поездки по землям южных славян — состояние славянского дела на Балка-

нах: уровень развития славянского самосознания, наличие представлений о славянском единстве, степень лояльности населения Габсбургам, отношение к России. Особое место занимала проблема славян-католиков.

Интересно отметить, в Черногории и Сербии Аксаков, очевидно, практически не задавался подобными вопросами. Тема славянского единства и отношения славян к России практически отсутствует в письмах из Сербии, и она очень слабо отражена в записях о Черногории. Думается, что это связано с тем, что в моноэтничных, православных странах, обладавших уже фактической независимостью (Черногория) или широкой автономией (Сербия), существование славянской солидарности не вызывало сомнений, а потому сама тема утратила здесь для Аксакова свою актуальность. Иное дело полиэтничные земли Габсбургов, где славянское население подвергалось к тому же германизации или италянизации.

Процесс славянского возрождения развивался неравномерно, что не мог не заметить Аксаков. Наиболее медленно этот процесс шел в Далмации. К началу 1860-х многие далматинцы не имели ясного представления о своей национальной принадлежности⁴⁵. Интересно, что даже слов «серб» и «хорват» применительно к далматинцам Аксаков не употребляет. Очевидно, в Далмации он их даже не слышал. «Сознание славянской народности [здесь все еще] слабо», — отмечает Аксаков⁴⁶. На пароходе, курсировавшем между Триестом и Дубровником, Аксаков не услышал «ни звука славянского», при том, что и пассажиры, и экипаж — все были далматинские славяне⁴⁷. Сербский господствовал лишь в Каттаро и в Дубровнике⁴⁸. Аксакова возмущала политическая индифферентность населения (особенно православного). Православных далматинцев он упрекает в «раболепии» и «трусости», возмущаясь тем, что они боялись даже построить новую церковь, опасаясь, что «Австрия косо посмотрит»⁴⁹. Отмечает он и большое число «изменников» (славян, служивших Австрии) в стране. «Далмации следует принять баню славянского духа», — заключает Аксаков⁵⁰.

Положение в Словении, особенно в Краине, где словенский язык преподавался в большинстве начальных школ и население знало словенскую грамоту, показалось Аксакову относительно благополучным⁵¹. Однако сочувствие идеям славянского единства и антиавстрийские настроения он нашел лишь в узком кругу интеллектуалов, не составляющих большинства даже в духовной элите, значительная часть которой была настроена проавстрийски⁵². У Аксакова сложилось впечатление, что словенцы, в целом, лояльны Австрии. Показателен следующий эпизод: один крестьянин, чей дом посетил Акса-

ков, желая угодить «господину», но, плохо разобравшись в том, кто перед ним, «уговорил баб» (очевидно, домочадцев) спеть для гостя песню... про императора Франца Иосифа, чем неприятно удивил австрофоба Аксакова⁵³.

Сознавая необходимость активизации деятельности словенских интеллектуалов, распространения влияния идей словенского возрождения Аксаков в разговоре с Терстеньяком и Цафом, в ответ на их жалобы на невозможность опубликовать свои труды, предложил организовать Матицу Словенскую, наподобие уже действовавших чешской и хорватской⁵⁴. Предложение Аксакова было с энтузиазмом встречено его собеседниками в Марбурге и Лайбахе (но не в Клагенфурте). Позднее Б. Раич подтверждал, что Аксаков «горячо агитировал за Матицу». Матица Словенская была создана четыре года спустя, в 1864 г. И. В. Чуркина полагает, что Аксаков оказал несомненное влияние на создание Матицы⁵⁵.

В отличие от Словении, в Хорватии Аксаков нашел не только развитое славянское самосознание («славянский дух»), но и выраженные панславянские и антиавстрийские настроения⁵⁶. В 1859 г. монархия Габсбургов потерпела поражение в войне с Францией и Пьемонтом. Как это нередко случается, поражение в сочетании с охватившим страну финансовым кризисом побудило правительство к реформам, начался так называемый «период конституционных маневров». Одновременно в стране начался новый подъем национальных движений. Малозаметный в Далмации, он всюду проявился в Хорватии. Именно в это время А. Старчевич и Э. Квартерник начали печатать свои первые брошюры, где обосновывали идею хорватского суверенитета⁵⁷. Неприязнь хорватов к Австрии показала Аксакову (человеку экспансивному) столь сильной, что в дневнике и в одном из писем он неопределенно намекает на возможность восстания в Хорватии⁵⁸. Но основное место в деле освобождения и возможного объединения славян хорваты уделяли России. Аксаков не раз слышал подобные высказывания: «Не можем терпеть долее, приходите поскорее освободить нас. Вся наша надежда на Русь, на великую православную державу. Зачем Россия не возьмет всех славян под свое покровительство <...> мы (т. е. хорваты. — С. Б.) русские, мы хотим единства славянского, — хотим ввести кириллицу, готовы все сделаться православными»⁵⁹. Надо сказать, что определенные прорусские настроения существовали у многих хорватских интеллектуалов (главным образом, в среде представителей иллирийского движения) еще 1840-е⁶⁰. В 1860-м в Хорватии Аксакова окружила уже воистину русофильская атмосфера. На дружеских попойках, которые хорваты чуть не ежедневно устраивали в честь русского гостя,

беспрерывно звучало «Живео Рус», «Живео Москва»; пелись песни о русском царе («северним стрици» — северном дяде) и о Москве⁶¹. В последней, частично записанной Аксаковым с характерными русизмами, не меняющимися, однако, смысл песни, примечательны следующие строки:

Москва, свята Москва,
<.....>
Славянство те чека,
Да ты всем нам будешь
Медина и Мекка!⁶²

Симпатии к России проявлялись, в частности, в необыкновенном интересе к газете «Парус», что не могло не польстить Аксакову. Успех газеты был необыкновенный. Хотя до славянских земель дошла не сама газета, а лишь объявление о ее программе и содержании⁶³. По словам Аксакова, с номером «Паруса» в руках он мог бы беспечно путешествовать по всей Хорватии⁶⁴; слова — уредник (редактор) «Паруса» служили ему лучшей визитной карточкой⁶⁵.

Отношение к России, как к дружественной всем славянам державе, где живет братский русский народ, существовало как в Хорватии и Черногории⁶⁶, так и в Словении⁶⁷ и даже в среде православных жителей Далмации⁶⁸. А встреченные Аксаковым в Черногории представители герцеговинских повстанцев, направлявшихся за поддержкой к черногорскому князю, сочли своей обязанностью посоветоваться с русским консулом, хотя, очевидно, и не ожидали от него поддержки⁶⁹.

Вместе с тем у многих хорватов-собеседников Аксакова проглядывало удивление и недовольство по поводу того, что Россия пренебрегала своими «обязанностями» по защите славян⁷⁰. Кроме того, сведения о России, получаемые из немецкой прессы и доходившего до Балкан герценского «Колокола», создавали у образованных хорватов весьма неблагоприятное впечатление о порядках в России, равно как и известия о закрытии «Паруса», о запрете носить традиционную русскую одежду и т. д.⁷¹. Надо сказать, что Аксаков в целом разделял недовольство своих хорватских собеседников. Через его письма и дневник красной нитью проходит идея о том, что Россия, по его мнению, проявляет преступное равнодушие к славянскому делу.

Пассивность русской внешней политики на Балканах (результат сложного внешнеполитического положения России, в котором она находилась после Парижского мира 1856 г.) особенно остро ощущалась Аксаковым в связи с усиливавшимся там французским влияни-

ем. Аксаков отмечал, что политика Наполеона III, его «слава освободителя народов» вызывали у славянских народов надежду на то, что Франция поможет им избавиться от австрийского господства. Подобные настроения были распространены даже в Хорватии⁷². В Словении Аксакову прямо говорили о том, что желают «стать французскими подданными»⁷³. Помимо политического Аксакова беспокоило и культурное влияние Запада. Наиболее заметно оно проявлялось при дворе черногорского князя Данило, где элементы европеизации резко контрастировали с традиционным укладом черногорцев. При дворе разговаривали на французском, несмотря на то, что сам князь, по мнению Аксакова, «плоховато» владел этим языком⁷⁴. Европейское влияние распространялось через княгиню (сербку из Триеста), ее наперсницу англичанку, которую Аксаков считал английской шпионкой, воспитанного во Франции племянника князя (будущего короля Черногории Николая) и особенно через придворного доктора, француза Годески, исполнявшего (как Аксаков, очевидно, узнал от К. Д. Петковича) фактически роль министра иностранных дел и советника князя⁷⁵. «„Ах, Франция — нет в мире лучше края“ — вот что чувствуется при дворе», — писал Аксаков⁷⁶. Французский вице-консул в Шкодере, одна из ключевых фигур в продвижении французского влияния в этих землях, был частым и желанным гостем в Цетинье⁷⁷. Зато русский консул, по замечанию Аксакова, был принят князем довольно холодно⁷⁸. Европейский уклад жизни двора (Аксакову пришлось, идя на прием, надеть фрак и белые перчатки, что показалось ему неуместным в Черногории), княжеский дворец, обставленный по-европейски, вызвали возмущение у славянофила: «Цивилизация, перенесенная на спинах черногорок!» — восклицает он, имея в виду, что мебель, ковры и т. п. были перенесены в Цетинье на плечах женщин, обычного в то время в Черногории транспортного средства, дополнявшего мулов и ослов⁷⁹. В своем дневнике Аксаков осуждает и «неблагодарность» Данило, который в середине 1850-х отошел от традиционной прорусской внешнеполитической ориентации, установив контакты с Австрией и Францией⁸⁰. Сложное положение Черногории, стремление добиться признания своей независимости у европейских держав Аксаков не считает достаточным основанием для оправдания подобной «измены».

Усиление европейского влияния, по мнению Аксакова, могло привести к разрыву между народом и властью (зачатки этого разрыва он увидел в Черногории). Оно же несло угрозу славянскому единству. На страницах дневника и писем практически отсутствуют упоминания о существовании противоречий между славянскими народами. Однако из этого вовсе не следует, что Аксаков их не заметил. В письмах

Аксаков дважды упоминает статью А. Гильфердинга «Историческое право Хорватского народа», подчеркивая ее необыкновенную важность для «здесьнего славянства»⁸¹. По инициативе Аксакова статья была переведена на сербский и отпечатана в 1000 экземпляров⁸². Эта статья представляет собой рецензию на книгу Эугена Квартерника «La Croatie et la confédération italienne», изданную им анонимно в 1858 г. в Париже. Книга Квартерника стала первым манифестом хорватских националистов, будущих основателей Хорватской партии права. В связи с этим реакция на нее русских славянофилов представляет особый интерес⁸³. В статье Гильфердинга выражено его несогласие с панхорватскими идеями Квартерника о включении в состав будущего хорватского государства словенских земель, а также Боснии и Герцеговины. Не соглашался он и с проевропейскими настроениями автора. Гильфердинг предостерегал хорватский народ от ссоры с «братьями-сербам» и от положения слуги, охраняющего чуждые, с точки зрения Гильфердинга, славянам интересы Европы. Пророчески звучат слова Гильфердинга о том, что осуществление планов воссоздания хорватского государства на основе т. н. «исторического права» и включение в его состав Боснии и Герцеговины поведет к неизбежному кровопролитию между сербами и хорватами. Гильфердинг осуждал надежды автора на помощь Европы в деле освобождения Хорватии, доказывая, что «спасения своего раздробленные славянские народы могут ожидать только от славянского единения и братолюбия»⁸⁴. Значение, которое Аксаков придавал этой статье, показывает не только его опасения по поводу европеизации хорватов, но и свидетельствует о том, что от внимания Аксакова не укрылось зарождение хорватских ультранационалистических идей и что он правильно оценил их опасность для славянского дела. Помимо статьи Гильфердинга, Аксаков принял решение перевести и отпечатать послание «К сербам» А. С. Хомякова, под которым подписались почти все видные славянофилы, в том числе и братья Аксаковы. Это послание считается своеобразным духовным завещанием Хомякова, в нем в сжатом виде изложены многие славянофильские идеи⁸⁵. Интересно, что в послании «К сербам» содержится, в частности, предостережение от «гордыни» перед другими южнославянскими народами, которая может овладеть сербами, первыми завоевавшими независимость и восстановившими свою государственность. Увы, развитие в будущем идей великосербского национализма показало, что и на этот раз предостережение славянофилов было оправданным. Послание Хомякова, по словам Аксакова, было с восторгом встречено теми сербами, которых он с ним ознакомил, однако из-за местной цензуры отпечатать его непосредственно в Сербии не удалось⁸⁶. Послание

было опубликовано Аксаковым уже в Лейпциге, в том же 1860 г. на русском и сербском языках.

В заключение необходимо коснуться еще одной проблемы, занимавшей Аксакова во время его путешествия по землям южных славян, — проблемы славян-католиков. В соответствии с одним из ключевых положений в мировоззрении большинства славянофилов православие является главным стержнем не только духовной, но и общественной жизни славянских народов. «Славянин вполне славянином вне православия быть не может»⁸⁷. Пример «изменившей славянскому делу» Польши служил лучшим доказательством. В этом отношении понятно беспокойство Аксакова по поводу сильных, на его взгляд, позиций католицизма в Далмации, где к тому же он отмечает антагонизм между православными и католиками⁸⁸. Аналогичные опасения высказывал Аксаков по поводу ситуации в словенских землях, где дело славянского возрождения находилось в руках католического духовенства: «Здесь поддерживают народность славянскую католические аббаты, которые все славяне, говорят проповеди по-славянски, издают книги на славянском местном наречии, но эти друзья народности в то же время... ее злейшие враги, потому что подрывают существенные, внутренние начала славянства»⁸⁹. «Стоит ли поддерживать язык народа, чтобы сделать его совершенным латинянином по духу. Разве в этом народность?»⁹⁰ Хотя словенские собеседники Аксакова и соглашались с его аргументами против латинства, он вынужден был признать, что большинство словенского католического духовенства составляют «искренние католики»⁹¹. Однако хорватские впечатления Аксакова дали ему основания полагать, что проблема славян-католиков может быть успешно решена. В Хорватии Аксаков отметил не только отсутствие вражды между православными и католиками, преданность тех и других славянскому делу⁹², но у него сложилось впечатление, что православие даже в среде католиков пользовалось большим уважением, нежели католицизм: «...в некоторые праздники [православная] церковь бывает полна католиками из простого народа. По их мнению, греческое благочестие выше католического и святые наши могущественнее католических, молитвы попов сильнее»⁹³. Встретившиеся Аксакову католические священники были, по его мнению, «горячие славяне»⁹⁴. Почтения к папе, преданности престолу Св. Петра Аксаков в Хорватии не заметил. Напротив, авторитет католицизма показался ему слабым в сравнении с панславистско-проправославными симпатиями населения: «...все готовы быть православными для того, чтобы соединиться славянам всем вместе», — отмечал он⁹⁵. Очевидно, превращение Хорватии в православную страну Аксаков считал вполне реальным.

Надо сказать, что еще в 1840 г. известный деятель хорватского национального возрождения, признанный лидер иллирийского движения Людевит Гай во время своего визита в Россию в записке, направленной М. П. Погодину, «выражал свою горячую приверженность православной церкви и кириллице и подчеркивал свое стремление объединить всех иллирийских славян на основе православия». Считается, что Гай писал подобные вещи из прагматических соображений — с целью получить помощь от России. Этим же объясняют некоторые его панславистские и отчасти прорусские высказывания⁹⁶. Однако прием, оказанный Аксакову, широкое распространение русофильских настроений, о котором московский гость пишет в своем дневнике, на мой взгляд, не могут быть отнесены исключительно на прагматический расчет. Думается, что проблема отношения хорватов к России (отношение элиты, с одной стороны, и народа — с другой), динамика этого отношения требуют специальных исследований.

Как видим, в ходе своей поездки по южнославянским землям Аксаков не только получил веские доказательства в пользу идеи славянского единства, но и имел основания прийти к заключению о возможной мессианской роли России в деле освобождения славянских народов. Однако серьезные опасения вызывали у Аксакова, с одной стороны, сильные позиции католицизма в ряде славянских земель, с другой — растущее в них влияние Запада. Противовесом ему могло бы стать усиление политического и культурного влияния России в славянских землях. А для этого необходимо было, по мнению Аксакова, во-первых, популяризировать славянский вопрос в самой России, где этот вопрос, как сетовал тот же Аксаков, интересовал в то время лишь узкий кружок славянофилов⁹⁷. Во-вторых, следовало всеми силами способствовать развитию культурных связей России со славянскими народами. Имея в виду решение обеих задач, Аксаков окончательно решает вернуться к изданию славянофильской газеты. Уже после посещения Краины Аксаков писал о необходимости «живого слова» из России для «здешних славян»⁹⁸. Позднее, 26 июня 1860 г. он пишет из Загреба: «Газету ради славян издавать необходимо, грешно не издавать. И я к тому всеми обстоятельствами призван теперь: я дал им честное слово, что буду всеми силами хлопотать о газете»⁹⁹. Вскоре после возвращения из поездки (зимой-весной 1861 г.) Аксаков приступает к хлопотам по организации новой газеты. К осени 1861 г. ему удается добиться разрешения издавать еженедельную газету «День», важное место в ней было отведено славянскому отделу. «День» стал поступать и в славянские страны, где быстро завоевал высокую репутацию и стал пользоваться устойчивым спросом¹⁰⁰. К этому же периоду относится активизация деятельности

Московского славянского комитета, который, также во многом благодаря Аксакову, начал превращаться из небольшого кружка в достаточно многочисленную организацию¹⁰¹.

Таким образом, мы можем заключить, что поездка Аксакова по южнославянским землям не только оказала существенное влияние на его деятельность, но и в определенной степени способствовала дальнейшему развитию связей России с южнославянскими народами.

Примечания

- 1 *Досталь М. Ю.* Основные проблемы истории славян в журнале «Русская беседа» (1856–1860) // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. С. 26.
- 2 *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 457.
- 3 *Хомяков А. С.* Полное собрание сочинений. М., 1911. Т. III. С. 212.
- 4 *Досталь М. Ю.* Основные проблемы истории славян... С. 27.
- 5 См.: *Дудзинская Е. А.* Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983. С. 84–98, 199–215.
- 6 *Кошелев В.* Алексей Степанович Хомяков. Жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С. 424.
- 7 Там же. С. 431.
- 8 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах (далее — Письма. Т. III). М., 1892. Т. III. С. 347–348.
- 9 См.: Там же. С. 379–427.
- 10 Там же. С. 417.
- 11 Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 9. С. 28. Впоследствии Ламанский воспользовался советом Аксакова и в 1862–1864 гг. совершил путешествие по славянским землям.
- 12 *Досталь М. Ю.* Основные проблемы истории славян... С. 26–27.
- 13 *Досталь М. Ю.* Славянский мир и славянская идея в философских построениях и практике ранних славянофилов // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 89–94.
- 14 См.: Письма. Т. IV. С. 2–6.
- 15 Письма. Т. III. С. 437.
- 16 Там же. С. 459.
- 17 См.: *Аксаков И. С.* Сочинения. М., 1886. Т. I.
- 18 См. Письма. Т. III. С. 433–478. Приложение. С. 107–153.
- 19 Письма. Т. III. С. 448.
- 20 Там же. С. 464.
- 21 Там же. С. 437.
- 22 Там же.

- 23 Там же. С. 458.
- 24 *Цимбаев Н. И.* И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 78.
- 25 Письма Т. III. С. 442.
- 26 Письма Т. III. Приложение. С. 143.
- 27 Там же. С. 433.
- 28 При наличии двойных названий здесь и далее славянские названия будут даваться в скобках.
- 29 Письма. Т. III. Приложение. С. 108–110.
- 30 Там же. С. 111.
- 31 Письма. Т. III. С. 436.
- 32 Письма. Т. III. Приложение. С. 113–114.
- 33 Там же. С. 128–129.
- 34 Там же. С. 129.
- 35 Там же.
- 36 Там же. С. 128.
- 37 Там же. С. 137.
- 38 Там же. С. 121.
- 39 Письма. Т. III. С. 463.
- 40 Там же. С. 467–468.
- 41 Там же. С. 466–467.
- 42 Там же. С. 474.
- 43 См.: Русская беседа. 1859. Кн. 14. С. 145.
- 44 *Цимбаев Н. И.* Славянофильство (из истории общественно-политической мысли XIX века). М., 1986. С. 214–215.
- 45 *Фрейдзон В. И.* История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). СПб., 2001. С. 177.
- 46 Письма. Т. III. Приложение. С. 121.
- 47 Там же. С. 120.
- 48 Там же. С. 137.
- 49 Письма. Т. III. С. 450.
- 50 Письма. Т. III. Приложение. С. 138.
- 51 Там же. С. 113, 116.
- 52 Там же. С. 116.
- 53 Письма. Т. III. С. 436.
- 54 Письма. Т. III. Приложение. С. 116–117.
- 55 *Чуркина И. В.* Русские и словенцы: Научные связи конца XVIII в. – 1914 г. М., 1986. С. 70–71.
- 56 Письма. Т. III. Приложение. С. 140, 141, 143.

- 57 Фрейдзон В. И. История Хорватии... С. 142.
- 58 Там же. С. 141.
- 59 Там же. С. 140.
- 60 Лециловская И. И. Иллиризм: К истории хорватского национального возрождения. М., 1968. С. 178–180.
- 61 Письма. Т. III. С. 455, 456.
- 62 Там же. С. 455.
- 63 Там же. С. 434.
- 64 Там же. С. 453.
- 65 Аналогичное отношение к «Парусу», правда, в гораздо более узком кругу, Аксаков встретил и в Словении (см.: Письма. Т. III. С. 434–435).
- 66 Там же. С. 442.
- 67 Письма. Т. III. Приложение. С. 109–110.
- 68 Письма. Т. III. С. 446.
- 69 Там же. С. 444–445.
- 70 Письма. Т. III. Приложение. С. 140–141.
- 71 Там же. С. 141, 142.
- 72 Там же. С. 142.
- 73 Там же. С. 110.
- 74 Письма. Т. III. С. 441.
- 75 Там же. С. 127.
- 76 Там же. С. 442.
- 77 Хитрова Н. И. Черногория в национально-освободительном движении на Балканах и русско-черногорские отношения в 50–70-х годах XIX века. М., 1979. С. 121.
- 78 Письма. Т. III. С. 131.
- 79 Письма. Т. III. Приложение. С. 128. Правда, самому Аксакову чемоданы также несли черногорки.
- 80 Там же. С. 126.
- 81 Письма. Т. III. С. 464, 469.
- 82 Там же. С. 469.
- 83 См.: Гильфердинг А. Собрание сочинений. СПб., 1868. Т. II. С. 153–165.
- 84 Там же. С. 165.
- 85 См.: Хомяков А. С. Полное собрание сочинений... Т. I. С. 373–404.
- 86 Письма. Т. III. С. 477.
- 87 Хомяков А. С. Полное собрание сочинений... Т. I. С. 382.
- 88 Письма. Т. III. С. 446, 449.
- 89 Там же. С. 434.
- 90 Письма. Т. III. Приложение. С. 116.

- 91 Там же.
- 92 Письма. Т. III. С. 454.
- 93 Письма. Т. III. Приложение. С. 143.
- 94 Письма. Т. III. С. 454.
- 95 Письма. Т. III. Приложение. С. 145.
- 96 *Лещиловская И. И.* Иллиризм... С. 178.
- 97 Переписка двух славянофилов. С. 3, 28.
- 98 Письма. Т. III. С. 446.
- 99 Там же. С. 458.
- 100 *Цимбаев Н. И.* И. С. Аксаков в общественной жизни... С. 79.
- 101 См.: *Никитин С. А.* Славянские комитеты. М., 1960. С. 43.

А. Л. Шемякин
(Москва)

Митрополит Михаил в эмиграции (вместе с Николой Пашичем против Милана Обреновича)

Митрополит Сербский и Белградский Михаил (в миру — Милое Йованович (1826–1898)) — фигура в истории Сербии второй половины XIX в. весьма заметная. Он родился в 1826 г. в местечке Соко-Баня, что на востоке страны. Получив среднее образование в провинциальных городках Неготине и Заечаре (где впоследствии, кстати, учился и Никола Пашич), Милое Йованович в 1842 г. поступил в Белградскую богословскую школу, которую с успехом закончил четыре года спустя. Именно здесь на него обратил внимание тогдашний глава Сербской православной церкви влиятельный митрополит Петр Йованович, очень рано узревший в юном провинциале незаурядные способности. Природный ум и покровительство митрополита Петра позволили его молодому однофамильцу сделать блестящую и поистине головокружительную карьеру.

В 1846 г. двадцатилетний Милое по рекомендации митрополита приехал в Россию и стал студентом Киевской духовной семинарии. Через три года, с отличием завершив семинарский курс, он поступил в духовную академию, где обучался до 1853 г. Получив академическое богословское образование и степень кандидата за диссертацию «Обзор истории сербской Церкви», Милое Йованович 29 марта 1853 г. принял монашество под именем Михаила. В апреле того же года он был рукоположен в иеродиакон, а чуть позже стал иеромонахом.

Вернувшись год спустя на родину, Михаил ступил было на стезю теологической науки, заняв должность профессора Белградской богословской школы. Однако судьба распорядилась иначе. В октябре 1854 г. он был произведен в архимандриты монастыря Студеница, а вскоре после этого рукоположен в епископы Шабацкой епархии. Всего пять лет спустя, 25 июля 1859 г. епископ Шабацкий Михаил был избран на сербский митрополичий престол, ставший вакантным в результате различных политических коллизий — бывший митрополит Петр был вынужден переехать в Австро-Венгрию, где стал епископом одной из сербских епархий в Воеводине. Новому сербскому владыке было тогда неполных 33 года. До самой своей смерти, с одним лишь перерывом, он бессменно возглавлял Сербскую православную церковь¹.

В своем внешнеполитическом определении митрополит Михаил всегда оставался русофилом. Политическую и культурную связь с единокровной, единой верной Россией он полагал неременным условием самого существования Сербии как славянского православного государства, сохранения ее самобытности в условиях мусульманско-католического окружения. Не удивительно поэтому, что среди русской интеллигенции, церковных деятелей и политиков владыка имел огромное число почитателей. В фондах Азиатского департамента российского МИД, Священного Синода, С.-Петербургского славянского благотворительного общества, как и в личных коллекциях И. С. Аксакова, графа Н. П. Игнатьева, генерала М. Г. Черняева, профессоров В. И. Ламанского, Ап. А. Майкова, Н. А. Попова, И. С. Пальмова, П. А. Кулаковского, священника М. Ф. Раевского, высших государственных чиновников К. П. Победоносцева и Т. И. Филиппова во множестве сохранились его автографы...

Как известно, после Берлинского конгресса (не без влияния проболгарского курса России) произошла переориентация внешней политики Белграда с Петербурга на Вену. Вдохновителем ее стал князь (с 1882 г. — король) Милан Обренович. Воинствующее, как у всякого неопфита, австрофильство монарха, особо сильно проявившееся с 1880 г., не могло не вызвать серьезных кадровых перемен на сербском политическом Олимпе. Осенью 1880 г. получил отставку лидер либералов-националистов Йован Ристич, чья антиавстрийская позиция ни для кого не была секретом.

Митрополит Михаил — этот самый последовательный русофил во всей Сербии и близкий соратник Ристича — вполне естественно оказался для князя и поддержавшего его «новый курс» правительства напредняков во главе с Миланом Пирочанцем весьма опасным потенциальным противником, учитывая его немалый авторитет в церковных и политических кругах, в народе. На желательность детронизации митрополита князь недвусмысленно намекнули и в Вене. На него началась настоящая атака. Внешний повод для смещения найти было нетрудно. Воспользовавшись несогласием владыки и всего высшего клира с принятым скупщиной «Законом о церковных таксах», каковым предусматривалось введение особого налога на рукоположение в церковные чины, Милан Обренович 18 октября 1881 г. издал указ о лишении Михаила митрополичьего сана. Иерарх, которого при избрании предстоятелем Сербской православной церкви Милош Обренович назвал «человеком, посланным нам самим Богом»², был изгнан его внучатым племянником без сожаления.

В Вене аплодировали находчивости и решительности белградского правителя. В Петербурге же недовольно хмурили брови: здесь не-

каноническое смещение Михаила вызвало взрыв негодования в общественных и политических кругах. Сам император Александр III почувствовал себя оскорбленным, когда маститого владыку и верного друга России, к тому же совсем недавно награжденного престижным русским орденом св. Александра Невского, выгнали из митрополичьего дворца без пенсии, как проштрафившегося чиновника. Оставлять без последствий этот откровенный демарш сербского монарха в высших сферах Петербурга не могли и не желали. Официальные отношения с Сербией, бывшие и до того весьма прохладными, но все же корректными, почти полностью замерли. Россия напроць отстранилась от белградского режима. Все попытки последнего восстановить с ней нормальные межгосударственные отношения наталкивались на упорно выдвигаемое условие — вернуть на митрополичью кафедру свергнутого Михаила. На долгие восемь лет — вплоть до отречения теперь уже Милана Обреновича от королевского престола — так наз. «церковный вопрос», превратившийся из чисто религиозного в острополитический и принципиальный, отбросил российско-сербские отношения к точке почти полного замерзания...

Лишившись сана и подвергаясь травле со стороны властей, опальный митрополит решил покинуть Сербию. 11 апреля 1883 г. он выехал в Константинополь. Деньгами на вынужденное «путешествие» его снабдил дипломатический представитель России в Белграде А. И. Персиани³. Начиналась долгая шестилетняя эмиграция.

После недолгого пребывания на Босфоре Михаил отправился в Палестину, обойдя, по стопам Святого Саввы, все христианские святыни. Затем два месяца провел на Святой горе, в монастыре Хиландар. Оттуда прибыл в Болгарию, где задержался на несколько месяцев — сначала в Варне, а потом в Рушуке. Такая «охота к перемене мест» объясняется отнюдь не его желанием. И Константинополь, и Хиландарский монастырь он был вынужден покинуть по требованию сербского правительства, внимательно следившего за всеми его передвижениям. И в Болгарии, в конечном счете, он оказался нежелательным гостем из-за противодействия белградских властей. Попытки выехать в Румынию или в одно из австро-венгерских курортных местечек также результата не дали⁴.

В конце концов, летом 1884 г. митрополит Михаил, давно уже желавший посетить Россию, где он провел восемь лучших лет своей молодости, получил из Петербурга разрешение на такую поездку. 28 августа он выехал в Киев, где по приезде поселился в той самой келье Киево-Печерской лавры, в которой молодым монахом жил и молился богу 30 лет назад. Его душа, наконец, обрела долгожданный покой. Все последующие годы эмиграции вплоть до возвращения в

Сербию в мае 1889 г. владыка оставался в России, проживая то в Киеве, то в Москве — в сербском подворье на Солянке*, то в Петербурге. Чем же занимался опальный иерарх в течение этих пяти лет?

* * *

В деятельности митрополита Михаила в России можно, пожалуй, выделить три аспекта: чисто церковный, культурно-просветительский и политический. Не беря во внимание первые два, подробнее остановимся на третьем, который с полным правом можно также охарактеризовать как конспираторский и заговорщицкий. Ни больше, ни меньше.

Все исследователи сходятся во мнении, что в конце 1883 г. сербские эмигранты во главе с Николой Пашичем, вынужденные бежать в Болгарию после неудавшегося Тимокского восстания, вошли в контакт с опальным сербским владыкой, проживавшим в то время в Рушукe, с целью склонить его к продолжению борьбы против Милана Обреновича. Средства этой борьбы не скрывались — подготовка нового вооруженного бунта. Митрополит, как известно, согласился с замыслом радикальной эмиграции⁵. Также не является секретом, что по приезде в Россию он, используя свои многочисленные связи в российских общественно-политических кругах, смог добиться поддержки планов переворота в Сербии со стороны руководителей С.-Петербургского славянского благотворительного общества, а также московских славянофилов, и даже получить от них некоторую субсидию для проведения этой акции⁶.

Однако важнейшим итогом такого рода деятельности изгнанного иерарха явилось то, что, во многом благодаря именно его посредничеству и рекомендациям, лидеры российских славянофилов и целый ряд влиятельных политиков теперь уже совсем по-иному смотрели на вождя сербских эмигрантов Н. Пашича. Былой его лик («нигилиста» и бунтовщика), вызывавший ранее немалую настороженность, сменялся постепенно в их представлениях образом борца за общеславянское дело. Прежняя идеологическая нетерпимость уступала место более трезвому, прагматическому подходу. Когда в конце 1885 г. Пашич впервые объявился в Петербурге, в нем уже видели союзника. Подобная трансформация его имиджа — несомненный результат дипломатических способностей митрополита.

* Подворье Сербской православной церкви в Москве располагалось в храме свв. Кира и Иоанна, построенном в 1768 г. по проекту архитектора К. И. Бланка на средства Екатерины II, в честь ее вступления на престол.

Все эти факты известны историкам, однако, далее их констатации дело не идет — не хватает источников. Используя «хрестоматийную» канву и привлекая новые данные из российских и сербских архивов, попытаемся детально проследить конспиративные деяния сербского владыки в период его эмиграции.

* * *

О встрече митрополита с Н. Пашичем и другими лидерами эмиграции в Болгарии исследователи осведомлены. Мы это уже видели. Однако новые материалы проливают на нее дополнительный свет. Мало того, оказалось, что таких встреч было *две*. Первая — та самая, о которой уже писалось: в декабре 1883 г. Пашич и его давний знакомый со времен их совместного обучения в Цюрихе Владимир Милоевич пригласили владыку к сотрудничеству, с чем он и согласился. О том, первом, контакте, кстати, проговорился сам Михаил. В письме Т. И. Филиппову, по приезде в Киев, он сообщал: «Я воротился в Болгарию, куда потом наехало довольно эмигрантов, но их я не видел, потому что они остановились на границе Сербии, а видел только двух, которые явились ко мне на пути в Силистрию и Цариград»⁷.

Но куда больший интерес представляет второе совещание митрополита с Пашичем — предыдущее ограничилось одной лишь принципиальной договоренностью. Теперь же его участники разработали детальный план операции по свержению монарха. Согласно попавшей в руки сербского правительства достоверной информации, на этой встрече, состоявшейся в мае-июне 1884 г. в Софии, было принято решение поднять восстание в Сербии в августе того же года. На случай неудачи был разработан «запасной вариант» — организовать с помощью «бомбистов» покушение на короля. Акт был назначен на 15 августа. По словам Пашича, для успеха восстания было необходимо минимум три тысячи ружей. Найти денег и обеспечить их закупку и транспортировку в Болгарию вызвался присутствовавший на совещании Николай Александрович Нотович — бывший русский доброволец Сербско-турецкой войны 1876 г., — предложивший свои услуги Пашичу в деле свержения Милана Обреновича. Он же согласился отправиться в Париж для организации покушения и установления связей и координации действий с князем Петром Карагеоргиевичем. На том и порешили.

Однако из этой затеи митрополита и Пашича (а в совещании, кроме них, приняли участие Аца Станоевич и Стеван Петранович) ничего не вышло. «Задержавшись» на пути в Париж в Белграде, Нотович раскрыл все детали разработанного эмигрантами плана... непо-

средственно министру внутренних дел Сербии Стояну Новаковичу, чья собственноручная запись беседы с ним и является нашим источником⁸. Сербское правительство, таким образом, оказалось вовремя информированным о готовившемся в соседней стране преступлении. По-видимому, именно это обстоятельство и заставило его в достаточно нервозной форме потребовать от болгарских властей выдворения митрополита из страны и удаления Пашича вкупе с другими заговорщиками подальше от болгаро-сербской границы⁹. Кстати, 13 июля, находясь в Париже, Нотович посетил сербскую миссию, сообщив посланнику Йовану Мариновичу о своем «тайном» задании и повторив дату 15 августа¹⁰...

Дальнейшее известно. Потерпев первое фиаско, митрополит и Пашич расстались. Опальный владыка в конце лета 1884 г. выехал в Россию; лидер же эмигрантов остался в Болгарии и на время затаился, окруженный шпионами короля Милана и агентами австро-венгерских спецслужб. Однако ни один, ни другой не собирались отказываться от своей «идеи фикс» — организации переворота в Сербии. Причем в новых условиях между ними произошло своеобразное разделение обязанностей. Митрополит должен был обеспечить их совместному предприятию финансовую и политическую поддержку со стороны русских; Пашич же брал на себя всю организационно-техническую сторону дела.

И здесь уместно задать вопрос: каковы же были шансы митрополита Михаила в его стремлении найти в России «спонсоров» и покровителей сербского эмигрантского движения? Что касается российского правительства, то попытка Михаила и Пашича привлечь его на свою сторону успеха не имела. Отношение официального Петербурга к сербской радикальной эмиграции и ее планам организации восстания в Сербии и свержения короля Милана отличалось холодностью и недоверием. Главной причиной такого недоверия являлось то обстоятельство, что петербургский кабинет, занятый в середине 1880-х гг. болгарскими делами, совсем не желал ввязываться в рискованное и сомнительное предприятие сербских эмигрантов. «Как бы неполитично не вел себя король Милан, — высказывал „взгляд императорского правительства“ А. И. Персиани, — Россия не будет сочувствовать революции»¹¹. В условиях нестабильных отношений с Софией оно было весьма заинтересовано в сохранении относительного спокойствия в сопредельной стране, о чем тот же А. И. Персиани недвусмысленно заявил радикалам в сентябре 1886 г.: «Готовящееся в Сербии движение кажется мне несвоевременным, так как императорское правительство в настоящее время занято улучшением болгарского вопроса... и всякое новое осложнение на Балканском полу-

острове могло бы лишь затруднить решение в желательном смысле»¹². Что касается последствий возможной акции сербских эмигрантов, то в Петербурге прекрасно отдавали себе отчет в том, что очередное, инспирированное на сей раз извне, восстание в Сербии привело бы к немедленной оккупации последней войсками Австро-Венгрии¹³.

Таким образом, своим отказом от прямой помощи российское правительство ясно давало понять митрополиту и Пашичу, что оно нисколько не симпатизирует их планам вооруженного вторжения в Сербию, грозящим вылиться в серьезный международный конфликт. Именно поэтому их неоднократные апелляции к официальным властям так и остались без ответа.

Мало того, как выясняется, российский МИД, прекрасно осведомленный о том, чем занимается в Болгарии митрополит по каналам «коллег» из МВД, отнюдь не горел желанием, чтобы его деятельность была перенесена в Россию. В секретном отношении директора Азиатского департамента И. А. Зиновьева российскому генеральному консулу в Русуке от 4 мая 1884 г. прямо подчеркивалось, что «по разным политическим соображениям нам крайне желательно, насколько возможно, отклонить митрополита Михаила от своего намерения поселиться в Империи»¹⁴. Митрополит, однако, не хотел отказываться от своих намерений и продолжал настаивать на выезде в Россию. В этих условиях руководство МИД, после консультаций с министром внутренних дел графом Д. А. Толстым, нашло соломоново решение. Не считая целесообразным откровенно отталкивать опального сербского владыку, оно, скрепя сердце, согласилось выдать ему въездную визу, но местом пребывания избрало не Москву — этот признанный центр славянофильского движения, — как того желал высокопреосвященный, а Киев, где, по мнению российских властей, тому сложнее было бы продолжать свою конспиративную деятельность.

В общем контексте негативного отношения Петербурга к планам насильственного устранения сербского монарха с престола крайне показательным является тот факт, что, по свидетельству самого Нотовича, провалившего первую попытку заговорщиков поднять восстание в Сербии, его шпионская деятельность в их среде координировалась... дипломатическим представителем России в Софии А. И. Кояндером и военным министром Болгарии генералом М. А. Кантакузеном. Кроме того, российский дипломат предложил Нотовичу «присматривать» — назовем это так — за не в меру активным и неосторожным митрополитом в бытность того в Софии¹⁵.

Как видим, российские власти не только проявили нежелание поддержать акцию сербских эмигрантов, они прямо способствовали

неудаче их авантюры, по крайней мере на первом этапе ее подготовки. Последние же, естественно, и не догадывались о подобном раскладе. И хотя Пашич в конечном итоге потерял доверие к Нотовичу*, заметив в одном из писем, что тот, «вместо того, чтобы подействовать в получении нами денежных средств, решил использовать нас, дабы извлечь выгоду для себя»¹⁶, его продолжала вдохновлять вера в бога и в Россию... Что ж, эта вера не была абсолютно беспочвенной. Митрополиту удалось-таки отыскать союзников в России, и немалое расстояние от Киева до Москвы не смогло ему в этом помешать.

* * *

Приехав в Россию и поселившись в Киеве, митрополит, не мешкая, вступил в связь со своими старыми друзьями. Он обратился к вождю московских славянофилов И. С. Аксакову, профессорам В. И. Ламанскому, А. Л. Петрову и Ап. А. Майкову, секретарю С.-Петербургского славянского благотворительного общества В. И. Аристову. Во всех его посланиях рефреном звучит мысль: «Несчастную Сербию злодеи ведут к пропасти, от которой нужно ее спасти и возвратить православному славянству»¹⁷. Для большей убедительности митрополит отправил Ламанскому и Майкову полученные им письма Пашича, в которых тот анализировал ситуацию в Болгарии, Сербии и Боснии, сообщал последние новости с болгаро-сербской границы и писал о тяжелых условиях жизни беглецов, прося помощи¹⁸. Письма эти, которые сам владыка оценивал как «точные и правдивые»¹⁹, становились известными в кругу славянофилов, соответственно росла и известность их автора.

Здесь должно заметить, что В. И. Ламанский был выбран митрополитом в качестве «ретранслятора» мыслей Николы Пашича совсем не случайно. Русский ученый и вожак сербских эмигрантов познакомились при его содействии еще летом 1884 г. в Софии. Тогда, в обществе профессора А. Л. Петрова, Ламанский совершал научную поездку по славянским странам. Правда, Пашич в болгарской столи-

* Сей персонаж был профессиональным интриганом (причем не только в Сербии). А. С. Суворин, к примеру, окрестив Нотовича в дневнике «негодяем», привел далее слова М. Т. Лорис-Меликова, что тот приходил к нему «проситься в шпионы», но ему было отказано, ибо «надует, пожалуй, подлец» (Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М., 1999. С. 135). Сохранился и ответ министра иностранных дел России графа В. Н. Ламздорфа своему товарищу — Н. П. Шишкину, относительно одной из многочисленных «идей» Нотовича: «Возвращая при сем письмо г. Нотовича, смею думать, что нам едва ли возможно и удобно войти с ним в сношение...» (Архив внешней политики Российской империи. Ф. «Личный архив Н. П. Шишкина». Оп. 810. Д. 10. Л. 1).

це говорил с ним совсем не о науке, но о Сербии и перевороте²⁰. Личный контакт с русскими, таким образом, был установлен. По ходатайству своего нового знакомого Пашич уже в сентябре получил от С.-Петербургского славянского благотворительного общества помощь в размере 200 рублей²¹... Но вернемся к поселившемуся в Киеве митрополиту.

Его просьбы и увещевания не остались без ответа. Славянское общество обратило внимание на сербскую эмиграцию. Причем не только на ее бедственное положение, но и на планы переворота в Сербии. Сыграли в этом свою роль и письма Пашича. 18 июня 1885 г. владыка писал ему: «Письмо ваше я получил в мае и сразу же передал кому следует для информации. Братья хотят помочь, хотя и не согласны с предложенным вами способом. Несколько здешних патриотов и друзей шлют к вам этого человека, чтобы вы договорились с ним о главном — что надо сделать, дабы помочь нашей родине»²². «Этим человеком», передавшим послание, был Никандр Васильевич Зюсман — русский доброволец Сербско-турецкой войны 1876 г. и давний знакомец митрополита, которого еще в сентябре 1884 г. тот рекомендовал Т. И. Филиппову: «Никандра Васильевича прошу покровительствовать, он человек деловой и ревностный»²³. К Филиппову (влиятельному русскому чиновнику, занимавшему пост Государственного контролера, т. е. министра) владыка обратился и с просьбой помочь обеспечить поездку своего протеже на Балканы. «Никандру Васильевичу Зюсману полезно будет возвратиться в Софию, — писал он в мае 1885 г. — ...Но нужно ему там иметь вид занятий общих, вроде корреспондента... Не найдете ли возможным пособить ему в сем деле и пристроить при редакции газет: „Нового времени“ или „Новости“?»²⁴. Третий Иванович нашел возможным «пособить», и Зюсман отправился в Болгарию под видом корреспондента «Нового времени». Первым делом он передал Пашичу на нужды эмигрантов еще 300 рублей.

Гонец из Петербурга прибыл в стан сербских заговорщиков вовремя — всю весну и лето 1885 г. они серьезно готовились к нападению на начало сентября вторжению в Сербию. В своем шифрованном письме на имя В. И. Аристова Зюсман сообщал о своих впечатлениях: «На 300 рублей сделано больше, чем можно было требовать. Пятая часть Сербии объявлена на осадном положении. Пашич получил сообщение, что надо ожидать скорого наступления народных всплшек. Вам известно, что Пашич осужден на смерть. Тем не менее, он готов с 12 человеками отправиться в Сербию. Для этого в самой крайнеи мере надо 300 рублей. Пашич настаивает, чтобы и я отправился на границу Сербии. Я готов, но у меня нет ни копейки.

Напишите митрополиту, Черняеву и дайте знать другим. Если получите от меня телеграмму, что я должен возвратиться домой или нечто подобное, знайте, что наступило время...»²⁵

Аристов сразу же переправил это донесение в Москву — Аксакову, который, кстати, постепенно становился центральной фигурой в деле помощи сербским беженцам и поддержки их предприятия. Не зря ведь секретарь Общества писал ему: «От Вас буду ожидать указаний, что делать. На Дурново (председателя Общества и, следовательно, его непосредственного начальника. — А. Ш.) надежды никакой»²⁶. Москва, куда в конце августа 1885 г. перебрался митрополит, в своей активности и желании помочь ему и Пашичу явно обходила Петербург, и тому были свои причины. Любопытно в связи с этим заметить, что и сам Зюсман сразу же по возвращении из Болгарии в Петербург счел необходимым списаться с Аксаковым: «Вы ожидаете моего письма из Сербии. Именно и исключительно ради изложения хода дел в Сербии прибыл я сюда лично. Но о том дня через два, три...»²⁷. Но, к сожалению, больше не удалось обнаружить ни слова и ни следа, касающихся его миссии на болгаро-сербскую границу. Видимо, дело было слишком серьезным, раз тайну хранили так хорошо.

В конечном итоге, запланированная на сентябрь 1885 г. акция сербских эмигрантов снова сорвалась. На сей раз карты заговорщиков спутали Пловдивский переворот и воссоединение с Болгарским княжеством Восточной Румелии, а особенно мобилизация в ответ на это сербской армии...

Дальнейшие события известны. В ноябре вспыхнула спровоцированная Миланом Обреновичем Сербско-болгарская война, завершившаяся сокрушительным разгромом сербов под Сливницей. Пашич и остальные сербские беженцы в Болгарии оказались в весьма драматичной и двусмысленной ситуации. Оставляя в стороне его маневры в тех нелегких условиях²⁸, отметим, что в октябре эмигранты были изгнаны болгарскими властями в Румынию, где им пришлось влачить еще более жалкое существование, что, однако, никак не отразилось на их решимости в очередной раз попытаться свергнуть Милана. На сей раз, в ноябре 1885 г., Пашич сам отправился в Россию. Это была его первая поездка туда. Ее результаты показали, что семена, посеянные митрополитом Михаилом, уродились добрыми плодами. В Петербурге Пашич близко познакомился с В. И. Аристовым, который надолго стал одним из его ближайших конфиденгов. Тот, в свою очередь, представил вождя сербских эмигрантов генералам П. П. Дурново, М. А. Домонтовичу, графу Н. П. Игнатьеву, а самое главное — выдал ему, наряду с очередным вспомоществованием в 400 рублей, рекомендательное письмо в Москву, к Аксакову²⁹.

В Москве и состоялось заседание расширенного штаба заговорщиков — назовем его так, — в составе митрополита Михаила, Пашича, Аксакова и генерала М. Г. Черняева. На нем был окончательно согласован очередной план вторжения в Сербию, который, судя по всему, начал разрабатываться еще в октябре. Причем перебравшийся незадолго до того в Москву владыка играл в этом деле связующую роль³⁰. Должно заметить, что Аксаков был куда более серьезным партнером для эмиграции, чем С.-Петербургское славянское благотворительное общество. Последнее, являясь как бы неофициальным филиалом МИД, не решалось открыто вмешиваться в сербские дела, ограничиваясь гуманитарной поддержкой беженцев. Аксаков же обладал значительно большей независимостью, а кроме того, и немалыми средствами. По просьбе Аристову он выдал гостю еще 400 рублей³¹. Не остался в стороне и митрополит. Располагая, по-видимому, каким-то оперативным фондом, предоставленным ему Обществом, он снабдил Пашича такой же суммой³².

С самого начала дело было поставлено на широкую ногу — Аксаков сдержал свое слово. Как писал Пашич, вернувшийся в конце декабря в Румынию, Аристову, «товар получил»³³. Речь, думается, шла о доставке первой партии необходимого эмигрантам оружия... Однако удача и на сей раз отвернулась от заговорщиков. 1 января 1886 г. король Милан Обренович объявил амнистию всем арестованным по делу о Тимокском восстании. Узнав об этом, многие эмигранты, особенно из крестьян, решили вернуться в Сербию, несмотря на то, что на них высочайшее прощение не распространялось. Пашичу с большим трудом удалось отговорить их от такого шага. Но надолго ли? Тем более, что и в отношении него начали распускаться «капитулянтские» слухи, которые докатились до Москвы. В связи с чем митрополит писал ему: «Господин, который дал обещание, спрашивает — правда ли, что вы послали письмо с выражением лояльности, как об этом сообщают газеты? Он сомневается... и желает, чтобы вы, или через меня, или каким-то иным способом ему поскорее ответили... Объясните же ему, что никаких колебаний с вашей стороны нет»³⁴.

Пашич отреагировал мгновенно. «Считаю излишним напоминать, — отвечал он владыке, — что из Белграда и Софии обо мне совершенно ложные слухи распускают с целью осрамить меня и моих друзей». И теперь уже он торопит своих московских подельников: «Прошу вас уверить Ивана Сергеевича и Михаила Григорьевича, что новейшие явления в Сербии нисколько не могут переменить ничего от того, о чем мы с ними говорили. Новые явления утверждают то, что нужно скорее действовать и приготовить все то, что может обеспечить успех нашего предприятия»³⁵.

Аксаков мог быть доволен — ответ Пашича, переведенный владкой на русский язык, он получил и даже успел прочесть... Но повороты судьбы часто непредсказуемы — через несколько дней Иван Сергеевич скончался. Удар был сокрушительным: человека, с которым, по словам Пашича, эмигранты связывали все свои надежды³⁶, не стало. Они потеряли самого верного, а главное — решительного союзника и покровителя. Это предопределило очередную неудачу. Однако складывать оружие никто не собирался. И митрополит пишет Пашичу из Москвы: «Друзья желают, чтобы вы их чаще извещали о ситуации»³⁷.

А ситуация складывалась критическая. Смерть И. С. Аксакова, державшего все нити помощи сербским беженцам в своих руках, прервала налаженные связи. В результате чего Пашич так и не смог получить обещанные им 3000 рублей. Оказавшись в суровых зимних условиях практически без средств, многие эмигранты снова заколебались (а не вернуться ли им в Сербию и пусть будет, что будет), ведь все обещания их прибывшего из России предводителя на поверку оказались блефом. Осознавая грозящую опасность, Пашич 19 февраля писал митрополиту: «Нам необходима немедленная помощь. Ежели дело затянется, то будет поздно, пусть даже тогда бы и дали во сто крат больше, чем могут послать сейчас. Момент решающий: или — или»³⁸. Владыка принял меры, и уже 19 марта на имя секретаря российского консула в Рушук Б. П. Шатохина ушла бумага за подписью Аристова: «Препровождая при сем письмо за Райча (один из псевдонимов Н. Пашича. — А. Ш.) с вложением пятисот рублей по поручению Совета Слав. Общества, имею честь покорнейше просить Вас передать его по назначению»³⁹... Ситуация, таким образом, на время разрядилась, и неугомные соратники тут же стали плести паутину нового заговора.

* * *

На этот раз надежды на успех переворота в Сербии эмигранты, как и радикальные функционеры внутри страны, вышедшие к тому времени на свободу, связывали с черногорским князем Николаем и его зятем Петром Карагеоргиевичем. Будучи хорошо осведомлен о глубине тупика, в который загнал себя король Милан после поражения в Сербско-болгарской войне, и движимый при этом своими собственными интересами, князь Николай вступил в тайный сговор с сербскими радикалами. Ему казалось, что достаточно одного легкого толчка, чтобы полностью дискредитировавший себя режим Обреновичей рухнул. Потому-то и пообещал он предоставить в распоряже-

ние заговорщиков немалые средства и даже военные отряды для вторжения в Сербию с тыла (со стороны Санджака). Для переговоров с черногорским монархом и князем Петром о деталях предстоящей акции в Цетинье выезжал один из вождей радикалов Йован Джая. Там же постоянно находился другой влиятельный радикальный деятель — священник Милан Джурич. Летом 1886 г. Черногорию посетил и сам Пашич⁴⁰.

К осени все было готово. По крайней мере, с черногорской стороны — немалые силы отряжались для вторжения в Сербию. А 22 сентября князь Петр Карагеоргиевич, как легитимный претендент на сербский престол, обратился к митрополиту Михаилу с письмом, в котором просил того освятить его акцию своим именем и помочь добиться благосклонного отношения к ней со стороны русских. Михаил немедленно переправил это письмо К. П. Победоносцеву, тот — Н. К. Гирсу, и, наконец, 1 ноября в Цетинье ушел ответ владыки, «отредактированный» дипломатами. В нем идея перемен в Сербии в принципе одобрялась, но самому претенденту при этом недвусмысленно намекалось о нежелательности участия в заговоре: актуализация династического вопроса при живых Обреновичах могла вызвать крупные международные неприятности. «Между прочим, — писал митрополит князю Петру, — я просил бы Вашу Светлость, дабы Вы благоволили рассудить: не отягчит ли дело Ваш приезд и не заставит ли вероломную соседку (т. е. Вену. — А. Ш.) помешать предприятию? Не лучше ли было бы, чтобы друзья народа взяли на себя дело освобождения, а Ваша Светлость доставили бы материальную и нравственную помощь, которая приободрит народ»⁴¹.

«Сепаратная» акция черногорцев по вторжению в Сербию была, таким образом, отложена — Россия выступила против. Однако в ответе митрополита обращает на себя внимание упоминание о «друзьях народа», должных взять «дело освобождения» в свои руки. Кто бы это мог быть? И не связано ли такое упоминание с тем, что как раз в ноябре 1886 г. Россию вновь посетил Никола Пашич? На наш взгляд, связь здесь самая прямая — в Петербурге и Москве вожак сербских эмигрантов утрясал детали нового, на сей раз *синхронного*, плана «освобождения» Сербии. Неизвестные ранее материалы позволяют реконструировать его достаточно полно.

Во-первых, сама идея очередного переворота была одобрена русскими. Во-вторых, во время переговоров с Аристовым в Петербурге Пашичу было обещано оружие. В-третьих, по ходатайству генерала Черняева и профессора А. И. Чупрова он получил тысячу рублей от «добрых и щедрых московских купцов», которые «готовы и большую помощь дать, если бы убеждены были, что правительство с этим со-

гласно»⁴². И, наконец, самое главное. Вторжение в Сербию — как из Румынии боевиков Пашича, так и со стороны Черногории, было обусловлено «развязкой болгарского спора»⁴³. То есть, русские советовали «подождать, пока ситуация в Болгарии полностью не определится, пока не станет ясным — начнется ли война, или Болгария сама выполнит то, что Россия от нее требует»⁴⁴. Кстати, большую войну тогда ожидали многие, причем уже весной 1887 г. На это время Пашич и ориентировался. «Все живое ожидает весны, — писал он Аристову 16 декабря, — и упоает на громогласное слово православного славянского царя, которое возвестит новую жизнь славянскому миру...»⁴⁵

На пути из России, Пашич встретился в Киеве с митрополитом (тот вернулся туда весной 1886 г.), с которым «поговорил об нашем деле»⁴⁶.

Прибыв в Румынию, он первым делом раздал полученную в Москве гуманитарную помощь — каждый эмигрант получил по 30 динаров, вступил в контакт с находившимся в Цетинье священником М. Джуричем с целью предотвратить его отдельную вылазку — тому не терпелось прорваться в Сербию⁴⁷, — а затем тайно отправился в Русук.

Именно там, а также в Силистрии, в феврале 1887 г. вспыхнул офицерский мятеж против режима Стевана Стамбулова, который готовился не без участия русских — по свидетельству хорошо информированного издателя А. С. Суворина, «на подготовку болгарского восстания дано по ходатайству Мих. Ник. (Каткова) болгарским офицерам 100 000 рублей»⁴⁸... Пашич знал этих офицеров-русофилов (Косту Паницу, например), а потому можно предположить, что каким-то образом и он участвовал в их движении, тем более, что «развязка болгарского спора», как мы уже видели, являлась отмашкой для столь желанного вторжения в Сербию. Но мятеж был Ст. Стамбуловым подавлен, соответственно и вторжение провалилось. А 24 февраля Аристов писал митрополиту: «Пашич собирается снова в Россию. Нового о болгарских деньгах сообщить ничего не могу. Ужас, ужас, ужас»⁴⁹.

Вернувшись в Россию в конце февраля, Никола Пашич провел в ней около четырех месяцев, до 20 июня. Обретаясь в Петербурге, он находился в постоянном контакте с митрополитом — через того поддерживалась связь с Румынией и Константинополем⁵⁰. Причем теперь уже дважды беглец отнюдь не сидел сложа руки. Напротив, 21 марта он направил директору Азиатского департамента МИД России И. А. Зиновьеву обширный меморандум, в котором, на этот раз от имени «Объединенной сербской оппозиции», просил предоставить ей помощь в размере 100 тысяч рублей для подготовки нового заговора⁵¹.

Нам думается, что сумма совсем не случайно совпала с той, какая была выделена болгарским офицерам. Тем более, что 5 апреля отрывок из меморандума, в виде отдельного документа, был передан Пашичем именно М. Н. Каткову, которого он давно и хорошо знал⁵². Но фиаско следует за фиаско — летом умер Катков, а российское правительство оставалось по-прежнему непреклонным: в МИД Пашичу дали ясно понять, чтобы он «не обманывался в своих несбыточных надеждах»⁵³. После провала болгарской авантюры такая позиция выглядит особенно логичной. Дело ограничилось выдачей Пашичу петербургскими благотворителями очередных 500 рублей помощи⁵⁴.

По всей видимости, это была последняя попытка Пашича найти союзников в деле свержения сербского короля. К тому времени и в Белграде задули новые ветры — летом 1887 г. напредняцкое правительство Милутина Гарашанина ушло в отставку, а к власти был призван коалиционный либерально-радикальный кабинет во главе с Й. Ристичем. Однако ни этот давний соратник владыки, ни сменивший его вскоре на посту премьера радикал Сава Груич так и не смогли обеспечить возвращение митрополита на кафедру — монарх согласился лишь на предоставление пенсии, что, по понятным причинам, было отвергнуто. Не смогли они добиться и амнистии Пашича, хотя остальных эмигрантов король помиловал. Еще более года — вплоть до отречения самого Милана Обреновича — им предстояло есть горький эмигрантский хлеб.

На эту откровенную слабость, проявленную сербскими премьерами, В. И. Аристов отреагировал характерной репликой. «По общему мнению, — писал он Михаилу, — новое правительство (С. Груича. — А. Ш.) долго не протянет... Поэтому надо начать все сначала и вернуться к плану, разработанному два года назад»⁵⁵.

* * *

Последний период эмиграции (до весны 1889 г.) митрополит провел в Москве и Киеве. Невозможность вернуться на родину даже тогда, когда там у власти находились друзья, подорвала его дух. Он часто болел, пессимистических нот в его письмах стало больше. Никола Пашич тоже угомонился — готовить новые заговоры ему было уже не с кем. Проживая в Петербурге, Бухаресте и Одессе, он консультировал С.-Петербургское славянское благотворительное общество по балканским проблемам, а также занимался самообразованием, переводил своего любимого Н. Я. Данилевского на сербский язык и внимательно следил за развитием ситуации в Сербии, о чем регулярно обменивался мыслями с владыкой. Тот же, в продолжение

своей гуманитарной миссии, выхлопотал Пашичу единовременное пособие от Общества в 200 рублей, а затем и ежемесячную помощь в размере 25 рублей⁵⁶...

Так и шло время. До тех пор, пока 22 февраля 1889 г. Милан Обренович не отрекся от престола. Путь домой для изгнанников был открыт.

Примечания

- ¹ Биографические данные о митрополите Михаиле почерпнуты из сочинения: *Митрополит Скопски Иосиф*. Митрополит Михаило // Гласник Српске Православне Цркве. 1948. Бр. 1–2. С. 8–13.
- ² Там же. С. 9.
- ³ Архив Внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. Политархив (1883 г.). Д. 425. Л. 16.
- ⁴ Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 1099. Оп. 1. Д. 2199. Л. 19–20 (митрополит Михаил — Т. И. Филиппову. Киев, 12 сентября 1884 г.); *Димитријевић Ст.* Михајло. Архиепископ Београдски и Митрополит Србије, као православног јерарха, Србин, Словен и немар Југословенства. Београд, 1933. С. 36–37.
- ⁵ См.: *Јевић А.* Никола Пашић у емиграцији 1884. године. По документима државне архиве у Бечу // Споменица Николе П. Пашића. Београд, 1926. С. 78; *Казимировић В.* Никола Пашић и његово доба. Београд, 1990. Књ. 1. С. 443–444.
- ⁶ *Слијенчевић Ђ.* Михајло, архиепископ Београдски и митрополит Србије. Минхен, 1980. С. 324.
- ⁷ ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 2199. Л. 19 об. (митрополит Михаил — Т. И. Филиппову. Киев, 12 сентября 1884 г.).
- ⁸ Архив Србије (далее — АС). Ф. Стојана Новаковића. Бр. 104.
- ⁹ Милутин Гарашанин — Ђорђе Симићу. Ниш, 24. маја 1884 // Тимочка буна 1883. Грађа. Београд, 1989. Књ. VII. С. 92–93.
- ¹⁰ АС. МИД. ПО. II. 3-3/1884. Л. 171–172 (Јован Мариновић — Милутину Гарашанину. Париз, 13 јула 1884.).
- ¹¹ АВПРИ. Ф. Политархив (1884 г.). Д. 428. Л. 87 об.
- ¹² Там же (1886 г.). Д. 434. Л. 207–207 об.
- ¹³ Там же. Л. 204.
- ¹⁴ Оккупационный фонд, основанный для устройства русско-дунайской области. Документы из секретного архива русского правительства. София; Берлин, 1893. С. 117.
- ¹⁵ АС. Ф. Ст. Новаковића. Бр. 104. Л. 1, 3.
- ¹⁶ Архив Српске Академије Наука и Уметности (далее — АСАНУ). «Pasic Collection». Бр. 14924/98 (Никола Пашић — неидентификованој особи. Софија, 1 септембра 1884.).

- 17 Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 14. Д. 219. Л. 10 об. (митрополит Михаил — И. С. Аксакову. Киев, 19 мая 1885 г.).
- 18 См.: Писма Николе Пашића митрополиту Михаилу // *Никола П. Пашић. Писма, чланци и говори (1872–1891)*. Приредили Л. Перовић и А. Шемякин. Београд, 1995. С. 165–182.
- 19 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/136 (митрополит Михаил — Николи Пашићу. Кијево, 17. јануара 1885.). См. также: Архив Југославије. Ф. 143 (Заоставштина Николе Пашића). Фасцикла 3 (митрополит Михаил — Николи Пашићу. Без места (Рушчук) и датума (1884)).
- 20 См.: *Шемякин А.* Нова писма Николе Пашића митрополиту Михаилу // Токови историје. Београд, 1995. Бр. 1–2. С. 239–244 (письмо из Софии от 22 августа 1884 г.).
- 21 Народна Библиотека «Кирил и Методий» — Български Исторически Архив (София). Ф. 395. Арх. ед. 44. Л. 1–1 об. (М. А. Домонтович — Петко Каравелову. С.-Петербург, 15 септембра 1884 г.).
- 22 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/137.
- 23 ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 2199. Л. 20 (митрополит Михаил — Т. И. Филиппову. Киев, 12 септембра 1884 г.).
- 24 Там же. Л. 30 об. (митрополит Михаил — Т. И. Филиппову. Киев. 2 мая 1885 г.).
- 25 ОР РНБ. Ф. 14. Д. 55. Л. 2 об. (В. И. Аристов — И. С. Аксакову. С.-Петербург, 19 августа 1885 г.).
- 26 Там же.
- 27 Там же. Д. 143. Л. 7 об. (Н. В. Зюсман — И. С. Аксакову. С.-Петербург, 30 августа 1885 г.).
- 28 Подробнее об этом сюжете см.: *Шемякин А. Л.* Никола Пашић и Балканска криза 1885 године // *Историјски гласник*. Београд, 1996. Бр. 1–2.
- 29 ОР РНБ. Ф. 14. Д. 55. Л. 3–3 об. (В. И. Аристов — И. С. Аксакову. С.-Петербург, 10 децембра 1885 г.).
- 30 См.: АС. Ф. Ст. Новаковића. Бр. 105.
- 31 Отдел рукописей Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома). Ф. 3. Оп. 5. Д. 38. Л. 12.
- 32 ОР РНБ. Ф. 14. Д. 55. Л. 3–3 об.; Кратки поглед на борбу, стање и тежње народа српског у Краљевини Србији од Берлинског конгреса па до данашњег дана // *Никола П. Пашић. Писма, чланци и говори... С. 246*.
- 33 АСАНУ. Заоставштина Николе Пашића. Бр. 11762 (Никола Пашич — неизвестному (В. И. Аристову). Б/м., б/д. (февраль 1886 г.). Рус. яз.).
- 34 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/160 (митрополит Михаил — Николи Пашићу. Москва, 12. јануара 1886.).
- 35 ОР РНБ. Ф. 14. Д. 219. Л. 11 об. (Никола Пашич — митрополиту Михаилу. Б/м., 19 јануара 1886 г. Рус. яз.).

- 36 Писмо Николе Пашића Митрополиту Михаилу. Без места. 19. фебруара 1886. // *Никола П. Пашић*. Писма, чланци и говори... С. 211.
- 37 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/139 (митрополит Михаил – Николи Пашићу. Без места (Москва), 22. јануара 1886.).
- 38 Писмо Николе Пашића митрополиту Михаилу. Без места, 19. фебруара 1886. // *Никола П. Пашић*. Писма, чланци и говори... С. 212.
- 39 Централный Государственный исторический архив С.-Петербурга (далее – ЦГИАСПб). Ф. 400. Оп. 1. Д. 587. Л. 42.
- 40 Подробнее об этом сюжете см.: *Ражнатовић Н.* О раду радикалске опозиције, кнеза Петра Карађорђевића и књаза Николе против режима краља Милана у Србији 1883–1889. године // *Историјски записи*. Титоград, 1966. Књ. XXII. Св. 1; *Живојиновић Др.* Краљ Петар I Карађорђевић. Београд, 1988. Књ. 1. С. 270–315; *Шемякин А. Л.* Идеологија Николе Пашича. Формирање и еволуција (1868–1891). М., 1998. С. 239–243.
- 41 АВПРИ. Ф. Политархив (1886 г.). Д. 434. Л. 234–234 об.
- 42 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/64 (Никола Пашич – В. И. Аристову. Б/м., 16 децембра 1886 г. Рус. јаз.).
- 43 Там же.
- 44 Там же. Бр. 14924/85 (Никола Пашић – неидентификованој особи. Без места, 23. новембра 1886.).
- 45 Там же. Бр. 14924/64 (Никола Пашич – В. И. Аристову. Б/м., 16 децембра 1886 г. Рус. јаз.).
- 46 Там же.
- 47 Там же. Бр. 14924/71 (Никола Пашић – Влатку (Милану Ђурићу). Без места, 22. децембра 1886.).
- 48 Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М., 1999. С. 306.
- 49 ЦГИАСПб. Ф. 400. Оп. 1. Д. 616. Л. 2.
- 50 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/140; 14924/141.
- 51 «Обзор деятельности сербской оппозиции». Записка Н. Пашича директору Азиатского департамента МИД России И. А. Зиновьеву. 1887 г. // *Исторический архив*. 1994. № 5.
- 52 АСАНУ. Заоставштина Николе Пашића. Бр. 11847.
- 53 Сава Грујић – Милутину Гарашанину. Петроград, 20. марта 1887. // *Раденић А.* Радикална странка и Тимочка буна. Зајечар, 1988. Т. 2. С. 969.
- 54 ЦГИАСПб. Ф. 400. Оп. 1. Д. 410. Л. 1.
- 55 Цит. по: *Смијетчевић Ђ.* Михајло, архиепископ Београдски и митрополит Србије... С. 340.
- 56 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/142 (митрополит Михаил – Николи Пашићу. Без места (Москва), 27. октобра 1887.); ЦГИАСПб. Ф. 400. Оп. 1. Д. 632. Л. 1; *Раденић А.* Прогони политичких противника у режиму Александра Обреновића. 1893–1903. Београд, 1973. С. 738.

А. А. Турилов
(Москва)

К истории второй (македонской) рукописной коллекции А. Ф. Гильфердинга

К 60-летию Уильяма Р. Федерера

Путешествие А. Ф. Гильфердинга в 1868 г. в Болгарию и Македонию, необыкновенно результативное в собирательском плане¹, продолжает оставаться самой загадочной из научных поездок русских исследователей на Балканы в середине XIX — начале XX вв.² Сам ученый, очевидно, не торопился с обнародованием своих впечатлений по этому поводу, и причиной этому явно не только последовавшая в 1872 г. злополучная смерть от холеры во время фольклорной экспедиции в Олонецкую губернию. Вспомним, что для публикации очерка путешествий по северо-западной части Балканского полуострова ученому понадобилось менее двух лет³, между тем о путешествии 1868 г. в его архиве нет и черновиков. Ключ к разгадке тайны лежит явно вне научной сферы (К. М. Куев не без оснований предполагает, что исследователь путешествовал инкогнито)⁴, и отчет Гильфердинга, оставившего к тому времени службу в Азиатском департаменте МИД, но, несомненно, сохранившего связи во внешнеполитическом ведомстве и авторитет знатока по вопросам балканских славян, следует искать, вероятнее всего, в фондах Архива внешней политики России. Косвенно в пользу не только научного характера поездки свидетельствуют и размеры привезенной коллекции, состоящей в основном не из отрывков, а из целых кодексов достаточно большого объема (не будет преувеличением сказать, что Гильфердинг за эту поездку приобрел значительно больше книг, чем архимандриту Антонину (Капустину), путешествовавшему по тем же местам тремя годами ранее, удалось их просто увидеть)⁵. «Привоз» 1868 г. ни в количественном, ни в качественном отношении нисколько не уступает коллекции, собранной Гильфердингом за 11 лет до этого⁶, когда он был официальным лицом с хорошим жалованием, обладавшим дипломатическим иммунитетом и выступавшим в глазах местного населения представителем и олицетворением державы, покровительствующей всем православным (и в особенности славянским) народам. Судя по всему, этот ореол продолжал окружать исследователя, несмотря на неофициальный на сей раз характер миссии, и во втором его путешествии на Балканы, и это, в частности,

сильно облегчало ему возможность приобретения рукописей (в данном случае не важно — за деньги, или же бесплатно).

К слову, именно рукописи (точнее, пометы, сделанные на них Гильфердингом) позволяют, за неимением иных источников, представить в общих чертах географию этого путешествия (хотя и не дают полного представления о маршруте и направлении движения) — по крайней мере, от Софии на северо-востоке (помета на Прологе стихном ГИМ, Хлуд. 190⁷) до Охрида на юго-западе (пометы на ряде отрывков сборника РНБ, F. I. 488⁸). Однако и эта, предельно ограниченная, информация заведомо неполна по двум причинам. Первая состоит в том, что пометы сообщают лишь место, но не дату приобретения рукописей. Вторая существеннее — более чем на половине привезенных кодексов⁹ пометы не сохранились вследствие самых лучших побуждений следующего за Гильфердингом владельца собрания — А. И. Хлудова. Судя по сохранным экземплярам, пометы могли ставиться в рукописи либо на обороте верхней крышки (иногда даже наклеивался ярлычок), либо на первом листе (дублирование информации не наблюдается). Наиболее разбитые из доставленных в Москву кодексов были облощены по заказу Хлудова в щегольские переплеты старообрядческого типа (доски в светлой коже с богатым слепым тиснением)¹⁰, приобретааясь словами незабвенного Сэмуэля Уэллера, «вид приятный и аккуратный», и лишившись попутно драгоценных для исследователей помет Гильфердинга (не говоря уже о более старых записях)¹¹.

Далее в статье будут рассмотрены два возможных направления поисков, оба по-своему небезынтересные для судьбы коллекции. Первое — установление происхождения отдельных рукописей македонской коллекции Гильфердинга на основании неучтенных в исследовательской литературе независимых свидетельств. Второе (основанное в первую очередь на атрибуции почерков) — выяснение происхождения и истории отрывков рукописей коллекции Гильфердинга–Хлудова в других собраниях, и, наоборот, отрывков Гильфердинга, связанных с кодексами других коллекций.

Македония на протяжении трех четвертей века (со второй четверти XIX столетия и, по крайней мере, до конца Первой мировой войны) была своего рода землей обетованной для коллекционеров древних славянских рукописей. Из наиболее известных Гильфердингу здесь предшествовали А. Миханович, В. И. Григорович, С. Веркович, архимандрит Антонин (Капустин). Они в разной степени фиксировали происхождение своих приобретений, но в одном были достаточно единодушны — весьма мало сообщали о составе монастырских и церковных библиотек, служивших источником пополнения их собраний. И это обстоятельство трудно вменить в вину исключительно им. И как кол-

лекционеры, и как бескорыстные исследователи (грань между двумя этими ипостасями обычно прослеживается с трудом) они целиком зависели от владельцев и священников. Хотя постепенно рукописный фонд, сохранявшийся *in situ*, неуклонно сокращался, из описаний и отчетов о научных путешествиях рисуется отнюдь не прямолинейная картина — одним удавалось увидеть одно, другим — другое.

Вероятно, одним из самых подробных (при всей его краткости) и информативных обзоров славянского рукописного фонда Македонии во второй половине XIX в., увиденного на месте, являются заметки в «Поездке в Румелию» архимандрита Антонина. Рассказ об этом путешествии, предпринятом в 1865 г., увидел свет почти полтора десятилетия спустя — в 1879 — т. е. не только после поездки А. Ф. Гильфердинга (1868–1869), но и после выхода в свет описания собрания А. И. Хлудова (1872)¹². Разумеется, не все из книг, упомянутых ученым и словоохотливым архимандритом (палестинская слава которого была еще впереди), отождествляются с легкостью с сохранившимися до наших дней (особенно это касается богослужебных рукописей, не имеющих даты написания и не обладающих индивидуальными приметами в виде записей или славянских статей, отмечавшихся исследователем), но все-таки судьбу значительного их числа удастся проследить¹³. Применительно к собранию Гильфердинга-Хлудова интерес представляют два сообщения Антонина по поводу чрезвычайно важных памятников письменности. Первое относится к пергаменному Евангелию из Слепенского монастыря, содержащему запись о смерти короля Владислава Альбертовича. В момент знакомства с рукописью из правителей с таким именем Антонину был известен только второй сын Стефана Первовенчанного, и архимандрит никак не мог понять происхождения прозвища и разобраться с датой¹⁴, но позднее выяснил, что речь идет о венгерском короле Владиславе Постуме, сыне Альбрехта Габсбурга, умершем в декабре 1457 г.¹⁵. Упоминание процитированной архимандритом записи не оставляет сомнений, что речь идет о пергаменном Евангелии тетр начала XIV в. (ГИМ, Хлудов 13), одной из трех сербских рукописей, содержащих «Проглас» Константина Философа¹⁶. Второе касается находившегося в том же собрании «Синаксария на бомбицине», в котором «недостает сентября и 10 чисел октября»¹⁷. Объем утрат в сочетании с писчим материалом достаточно определенно указывает на болгарскую рукопись Пролога конца XIII — начала XIV вв.¹⁸ (ГИМ, Хлудов 191), начинающуюся именно с 11 октября¹⁹. Единственное различие между хлудовской рукописью и кодексом, упомянутым Антонином, заключается в том, что в первой из них последние листы (191–218) написаны на пергамене; понятно, однако, что от кратких путевых заметок

нельзя требовать всесторонних кодикологических характеристик. Так устанавливается, что и Евангелие и Пролог были получены Гильфердингом в Слепенском монастыре.

Местонахождение до 1868 г. еще одной рукописи хлудовского собрания устанавливается совсем уж обходным путем. Речь идет о бумажном списке XIV в. сербского перевода Хроники Георгия Амартола (ГИМ, Хлудов 183), бытовавшего в окружении эфирского деспота Карла Теопии²⁰. Исследователям (как древнерусской, так и южнославянской книжности) остается практически неизвестным (несмотря на существование печатного описания) своеобразный палеографический альбом, составленный председателем Общества любителей древней письменности кн. П. П. Вяземским ок. 1879 г. (РНБ, собр. Вяземского. Ф. IX. Ч. 1–2)²¹. Особенность этого альбома заключается в том, что он состоит не из репродукций, а из отрывков подлинных рукописей, заключенных в паспарту и снабженных палеографическими наблюдениями владельца на чистых листах, помещенных между палеографическими образцами²². Четыре включенных в ч. 1 отрывка (сведения ни об одном из которых не вошли в ПС XI–XIV²³) — 4 (л. 14), 5 (л. 16, 17), 11 (л. 27) и 12 (л. 28) — происходят из южнославянских рукописей XIV в., при этом три последние, как можно судить по надписям на них, были приобретены П. П. Вяземским у С. Верковича. Л. 28 (№ 12) представляет собой отрывок Хроники Георгия Амартола в переводе XIV в. (содержит окончание собственно хроники и начало статьи «О мирсцем творении Симеона магистра и логофета»²⁴), снабженный, в частности, на л. XV следующим указанием: «Приобретен Верковичем в монастыре Леснове в 1857 г.». Это лист бумаги размером 274 на 202 мм²⁵ с водяным знаком «скрещенные ключи с латинской буквой G над ними, на перевязи»²⁶. При мелких механических дефектах (бумага искрошилась по краям, потрескалась по разлиновке, утрачен (без повреждения текста) правый верхний угол, лист сильно измят и покороблен) сохранность отрывка достаточно хорошая — на нем нет пятен влаги и плесени, чернила не выгорели. Текст написан в два столбца красивым мелким уставом, практически без полууставных элементов, характерной особенностью писца, редко встречающейся в четких рукописях, является употребление им в качестве знака пунктуации крупных киноварных точек. Еще более индивидуальную деталь представляют тильдообразные киноварные титла над именами собственными.

Сохранившаяся рукописная традиция XIV в. Хроники Георгия Амартола («Летовника») представляет широкое поле для поисков кодекса, из которого происходит отрывок Вяземского. Известно 9 кодексов этого столетия (все сербского извода), содержащих памятник целиком или (при делении текста на два тома) его половину:

1) Москва, ГИМ, Син. 148. 1386 г., бумага²⁷; 2) Афон, монастырь св. Пантелеймона (Русик), Слав. 17. 1387 г., бумага²⁸; 3) Прага, Народный музей, IX D 32 (Шафарик 30), 1389 г., пергамен²⁹; 4) Вена, Австрийская Национальная библиотека, Слав. 10. Сер. (?) XIV в., пергамен, ч. 2³⁰; 5) Цетинье, монастырская библиотека, № 79 (Вуксан 83) Третья четверть XIV в., бумага, ч. 1³¹ (не исключено, что это первая часть следующего номера); 6) Бухарест, БАН Румынии, Слав. 320. Третья четверть XIV в., бумага³², ч. 2 (возможно, это продолжение предшествующего номера); 7) ГИМ, Хлуд. 183. Третья четверть XIV в., бумага³³; 8) Афон, Хиландарь, № 381. Третья четверть XIV в., бумага³⁴; 9) Бухарест, БАН Румынии, Слав. 321. Посл. четверть XIV в., бумага, ч. 1³⁵.

Из перечня сразу можно исключить списки, содержащие только первую часть хроники (№ 4, 5, 9), все точно датированные рукописи (в которых текст, соответствующий отрывку Вяземского, находится на своем месте — № 1–3), а также списки, местонахождение которых в 1857 г. известно (№ 1–3, 8). О первом бухарестском списке (БАН Румынии, Слав. 320) я располагаю лишь сведениями описаний, но ГИМ, Хлуд. 183, несомненно, является искомым. Между основной частью кодекса и отрывком Вяземского значительная утрата (примерно одна тетрадь), однако у них совпадают размеры, водяные знаки (филигрань фрагмента Верковича имеется и в Хлуд. 183 — см. выше), почерк³⁶ с характерными киноварными точками и титлами над именами собственными. Существенное отличие состоит лишь в том, что эти части рукописи значительное время хранились в разных условиях — текст в Хлуд. 183 сильно выцвел под воздействием влаги. Тем не менее с достаточной уверенностью можно полагать, что кодекс был найден А. Ф. Гильфердингом в 1868 г. там же, где за 11 лет до этого его видел С. Веркович, т. е. в Лесновском монастыре.

Следующий пример на первый взгляд в определении происхождения вовсе не нуждается. Речь идет об отрывке пергаменной служебной Минеи на октябрь с проложными житиями первой половины XIV в.³⁷ Этот фрагмент из двух листов размером 242 на 149 мм, написанный в два столбца, также находится в собрании П. П. Вяземского (№ F 124/7), к которому попал от того же С. Верковича, и имеет владельческую помету: «Два листа из Слепченского монастыря близ Крушева, приобретены Верковичем в 1857 г.». Однако, руководствуясь сообщенными сведениями, мы напрасно стали бы искать основную часть этой Минеи в хранилищах Сербии, Болгарии, самой Македонии или даже России — в настоящее время она, скорее всего, просто не существует. Ситуация разъясняется при обращении к уже упоминавшемуся Евангелию тетр (ГИМ, Хлуд. 13). Л. 293 и 294 в нем являются защитными, происходящими, несомненно, из той же

октябрьской Минеи служебной, и содержат отрывки служб на 28 и 29 октября³⁸. Почерк отрывков идентичен, а некоторая разница в размерах (хлудовская часть имеет размер 260 на 185 мм) объясняется, по всей видимости, тем, что листки Вяземского были обрезаны при переплетении в XIX в. (Евангелие Хлуд. 13 принадлежит к числу немногочисленных рукописей собрания, сохранивших древний переплет). Скорее всего, до 1857 г. отрывок Вяземского служил начальными защитными листами того же самого кодекса.

В 1979 г. сербская исследовательница Л. Цернич установила³⁹, что пергаменный лист из рукописи первой половины XIV в. (до 1346 г.) сербского извода РНБ, Ф. п. I. 62, долгое время считавшийся отрывком Октоиха⁴⁰ и имеющий помету Гильфердинга о приобретении в Охриде, происходит из Минеи служебной на январь⁴¹, хранящейся ныне в Библиотеке АН Болгарии, куда она поступила из софийского Археологического музея. Вероятно, судьба основной части кодекса в последней трети XIX — первой четверти XX вв. сходна с примерами, упомянутыми в примечании 6.

Два следующих примера связаны с темой статьи до некоторой степени условно, поскольку ни отрывки, о которых пойдет речь, ни кодексы, из которых они происходят, не имеют указания на место их приобретения последними владельцами. Известной (хотя и не стопроцентной) гарантией связи этих отрывков с путешествием Гильфердинга 1868–1869 гг. служит их включение в уже упоминавшийся конволют РНБ, Ф. I. 488, в котором 12 фрагментов из 21 имеют несомненные указания на происхождение из монастырей и храмов Македонии⁴². Это дает определенное основание связывать бытование и оставшихся рукописей в XIX в. с центральной частью Балканского полуострова.

Отрывки 17 (л. 57) и 19 (л. 60–62) в составе конволюта, описанные Б. Ст. Ангеловым соответственно как части сборника и просто «рукописи» сербского извода (в обоих случаях с датой XVI в.)⁴³, происходят из одного кодекса, содержавшего 1-ю редакцию славянского перевода Слов постнических Исаака Сирина и датируемого серединой — третьей четвертью XIV в. (датировка, атрибуция текста и отождествление частей рукописи выполнены в первой половине 1980-х гг. В. М. Загребиным)⁴⁴. Соответственно, л. 61 содержит окончание «слова» 11 и начало «слова» 12, л. 62 — отрывок «слова» 35, л. 60 — отрывок «слова» 42, л. 57 — окончание «слова» 53 и начало «слова» 54. Почти одновременно с этим Л. Цернич также отождествила между собой эти отрывки, установив, кроме того, что из той же рукописи происходит один лист (содержащий отрывок «слова» 71), поступивший в 1949 г. в Народную библиотеку Сербии (Рс 14)⁴⁶ путем сличения почерка с воспроизведением страницы белградского отрывка⁴⁷.

Отрывок № 18 (л. 59) того же конволюта происходит из среднеболгарской рукописи середины XIV в.⁴⁸, получившей в наше время известность благодаря исследованиям Х. Микласа⁴⁹. Уже Б. Ст. Ангелов (датировавший этот поврежденный листок XIV–XV в.) в своем обзоре-исследовании сборника высказал предположение о том, что он содержит отрывок Диоптры Филиппа Монотропа⁵⁰. В процессе работы над СК XIV автору этих строк удалось отождествить текст отрывка с 5-м «словом» Диоптры⁵¹ и установить, что он происходит из древнейшего списка славянского перевода этого сочинения, основная часть которого разделена в настоящее время между хранилищами Москвы (РГБ, собр. А. Н. Попова, ф. 236, № 76) и Софии (НБКМ, № 1025, 39 л.)⁵².

Отрывки ряда рукописей хлудовского собрания (= македонской коллекции А. Ф. Гильфердинга) обнаруживаются по крайней мере в трех московских собраниях второй половины XIX в. — Ф. Ф. Мазурина (РГАДА, ф. 196)⁵³, Н. Н. Попова (РГБ)⁵⁴, П. П. Щукина (ГИМ)⁵⁵. Однако их изучение практически ничего не дает для истории складывания южнославянского собрания рукописей Гильфердинга, их появление отражает, по всей вероятности, уже этап дробления (вплоть до физического разделения «кодексов») фонда в России, вполне заслуживающий самостоятельного изучения⁵⁶.

Примечания

1. Всего из этой поездки Гильфердингом было привезено не менее 121 рукописной книги [Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българско средновековно културно наследство в сбирката на А. Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. София, 1999. С. 11], большая часть которых еще при жизни исследователя была продана им А. И. Хлудову, а 11 рукописей (в том числе сборник отрывков F. I. 488, содержащий фрагменты 20 рукописей XIV–XVII вв. под 21 номером) поступило в 1873 г. в Публичную библиотеку [Отчет имп. Публичной библиотеки за 1873 г. СПб., 1875. С. 12–19].
2. Достаточно сказать, что в советской справочной литературе [Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979. С. 121–125] это путешествие даже не упоминается; возможно, причина такого умолчания объясняется западнославянскими по преимуществу научными интересами автора статьи — Л. П. Лаптевой. В более ранних обзорах и описаниях собрания А. И. Хлудова (ГИМ), куда поступила основная часть рукописей, привезенных Гильфердингом, это его поездка смешивается с путешествием 1857–1858 гг. по Боснии, Герцеговине и Старой Сербии [Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Гольшешко В. С. Описание пергаментных рукописей Государст-

венного Исторического музея. Ч. 2. Рукописи болгарские, сербские, молдавские // Археографический ежегодник за 1965 год. М., 1966. С. 273; см. также: В. М. (= Мошин В.). Предговор // Словенски ракописи во Македонија / Подготвил В. Мошин во соработка со Л. Славева, С. Кронева и Ј. Јакимова. Скопје, 1971. Кн. 1. С. 11]. Изучение проблемы началось на рубеже 1070–1980-х гг. трудами болгарских филологов, в первую очередь К. М. Куева [Куев К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. София, 1979. (С. 75–76 (Изд. 2 (1986) – С. 85–86); Кирило-Методиевска енциклопедия (КМЕ). София, 1985. Т. 1. С. 488; Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българско средновековно културно наследство... С. 10–11].

³ Гильфердинг А. Ф. Поездка по Герцеговине, Боснии и Старой Сербии. Босния в начале 1858 г. СПб., 1859 (= Записки имп. Русского географического общества. Кн. 13).

Куев К. Съдбата... Изд. 2. С. 85.

См.: Антонин, архим. (Капустин). Поездка в Румелию. СПб., 1879. С. 280–282, 288–298, 300, 338–341, 353, 358–360.

Из поездки 1858 г. Гильфердинг привез 101 рукопись, эта коллекция поступила (в год его второго путешествия) в Публичную библиотеку [Отчет имп. Публичной библиотеки за 1868 г. СПб., 1869. С. 10–159; Мошин В. А. К датировке рукописей из собрания А. Ф. Гильфердинга Государственной публичной библиотеки // ТОРДЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 409–417].

См.: Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българско средновековно културно наследство... С. 72. № 65.

Ангелов Б. Ст. Южнославянските ръкописни листове // Ангелов Б. Ст. Из историята на старобългарската и възражденската литература. София, 1977. С. 162–163. № 11, 15.

Современные описатели южнославянских (и в первую очередь болгарских) рукописей хлудовской коллекции указывают 17 кодексов, принадлежавших Гильфердингу, место приобретения которых известно [Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българско средновековно културно наследство... № 7 (Хлуд. 28), 12 (15), 30–34 (168, 147, 148, 152, 156), 41 (165), 42 (166), 45 (136), 47 (129), 49 (138), 51 (133), 60 (122), 65 (190), 83 (66), 87 (123)] (при этом для Струмицкого Октоиха (Хлуд. 136) сведения, не сохранившиеся на кодексе, зафиксированы благодаря архим. Амфилохию); для 19 рукописей зафиксирована лишь их принадлежность собранию Гильфердинга [Там же. № 2 (Хлуд. 7), 8 (31), 14 (11), 17 (24), 20 (35), 23 (39), 25, 29 (42), 35 (158), 38 (162), 40 (164), 43 (171), 52 (134), 53 (139), 56 (135), 63 (191), 66 (188), 72 (192), 84 (238)] (из них Сборник Хлуд. 188 не принадлежит к македонской части собрания Гильфердинга, так как известен в русской исследовательской литературе с первой половины 1860-х гг.); наконец, еще для 26 рукописей (в их число не входит Лобковский паремейник, привезенный В. И. Григоровичем, а также кодексы молдавского происхождения) не имеют признаков принадлежности Гильфердингу и сведений о месте приобретения [Там же.

- № 6 (Хлуд. 1), 9–12 (13, 16, 17, 15), 15 (12), 16 (21), 21 (36), 22 (40), 24 (38), 27 (143), 28 (144), 36 (161), 39 (163), 44 (169), 46 (140), 48 (23д), 50 (20д), 54 (117), 57 (126), 58 (180), 64 (189), 74 (237), 75 (76), 77 (195), 78 (55), 80 (241)], при том, что значительное число среди них имеет записи XIV–XIX вв. о создании или бытовании в Македонии [Там же. № 6, 15, 16, 21, 22, 27, 39, 64, 77].
- ¹⁰ Переплеты являются старообрядческими именно по типу и характеру переплетного материала и техники — доски, кожа, латунные застёжки, слепое тиснение. В то же время орнаментальный стиль большинства из них — зоо- и орнитоморфное тиснение с изображением птиц — со старообрядческой традицией никак не связан, находясь в русле эклектических тенденций второй половины XIX в. Вопрос о переплетной мастерской (или переплетчике), обслуживавшей А. И. Хлудова, заслуживает специального изучения, поскольку она, возможно, сыграла определенную роль в истории дробления коллекции (см. ниже). Параллельно с Хлудовым ее услугами пользовался, вероятно, и другой московский коллекционер — Ф. Ф. Мазурин: см., например, типичный «хлудовский» переплет с орнитоморфным тиснением на пергаменных Пандектах Никона Черногорца рубежа XIII–XIV вв. из собрания последнего (РГАДА, ф. 196, оп. 1, № 1697) [Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР / Сост.: О. А. Князевская, Н. С. Коваль, О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова. М., 1988. Ч. 1. С. 110. № 43; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XIV в., хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. М., 2002. Вып. 1 (СК XIV). Приложение 2. С. 636. № д46].
- ¹¹ Разумеется, если на утраченных ныне крышках древних переплетов были большие древние (не позднее XVII в.) записи (в особенности с точными датами, они были бы зафиксированы в описании А. Н. Попова, работавшего явно до приведения разбитых кодексов «в порядок». Однако это не столь очевидно в отношении записей XVIII–XIX вв., в особенности небольших, которым исследователь явно не уделял должного внимания и не публиковал их в описании (показателен пример с автографами Кирилла Пейчиновича и его учеников в сборнике рубежа XVI–XVII вв. Хлуд. 123 [*Селищев А. М.* Полог и его болгарское население. София, 1929. С. 141–142, 145, 159, 180; *Турилов А. А.* Кичевский сборник с «Болгарской апокрифической летописью» // *Palaeobulgarica*, 1995, № 4. С. 4–6]).
- ¹² Отзывы на эту книгу (или, точнее, обзоры ее содержания) см.: *Сыр-ку П. А.* [Рец. на *Антонин, архим.* Поездка...] // *ЖМНП*, 1879. Кн. 209, 210; *Новаковић С.* Српске старине по Македоније. Белешке са путовања архимандрита Антонина од год. 1865 // *Споменик Српске Краљевске Академије.* Београд, 1891. Т. 9.
- ¹³ Наибольшее число их обнаруживается в софийских собраниях, точнее, в собрании НБКМ, куда они поступили по преимуществу в 1939 г. из софийского же Археологического музея [*Стоянов М., Кодов Х.* Опис на славянските ръкописи в Софийската Народна библиотека. София, 1964. Т. 3. С. 3]; предыстория их появления в болгарской столице нуждается в

дополнительном исследовании, но (судя по времени) она, скорее всего, связана либо с Первой Балканской, либо с Первой мировой войной. Соответственно это рукописи, находившиеся в 1865 г. в монастыре Слечпе: 1) сербское Евангелие тетр XIV в. на бумаге (НБКМ, № 852), отождествляемое с упоминаемым Антонином Евангелием Слечпенского монастыря на основании вкладной записи 1549 г. с упоминанием безымянной «рабы Божией», приложившей книгу «святому Николе и святому Феодору и святой Петке» [Антонин. Поездка... С. 281; ср.: Стоянов М., Кодов Х. Опис... С. 24]; 2) сербский Апостол 1407–1408 г. (НБКМ, № 885), отождествляемый на основании «прогностической» Пасхалии на 1408–1434 гг., помещенной в конце кодекса и начинающейся колоритными словами: «Блуди (что, разумеется, означает: „блуди“ – смотри, наблюдай), блуди, иноче, блуди, блуди, брате, и паки реку ти – блуди» [Антонин. Поездка... С. 290, 296–297; Стоянов М., Кодов Х. Опис... С. 57]; 3) сербский Апостол XV в. (НБКМ, № 891), отождествляемый на основании записи писца – попа Николы [Антонин. Поездка... С. 290; Стоянов М., Кодов Х. Опис... С. 61]; 4) Минья служебная на июнь 1546–1547 г. (НБКМ, № 914) – отождествляется по записи писца, иеромонаха Пахомия [Антонин. Поездка... С. 293; Стоянов М., Кодов Х. Опис... С. 79]; 5) то же, на июль, 1549 г. (НБКМ, № 915); отождествляется по записи писца – иеромонаха Виссариона (Дебрского) [Антонин. Поездка... С. 293; Стоянов М., Кодов Х. Опис... С. 80]; 6) сербский Служебник с Апостол-Евангелием XV в. (НБКМ, № 941) – отождествляется по писцовой записи иеромонаха Евфимия, создавшего книгу для попа Дмитра [Антонин. Поездка... С. 291; Стоянов М., Кодов Х. Опис... С. 104]. Несколько рукописей поступили в собрание значительно раньше, поскольку описаны уже в первом каталоге Б. Цонева. Это, в частности, Златоуст 1548 г. (НБКМ, № 306 [Антонин. Поездка... С. 294; Цонев Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги в Народната библиотека в София. София, 1910. С. 247–249]) и Сборник богословских сочинений ок. 1565 г. (НБКМ, № 312 [Цонев Б. Опис... С. 258–259]).

¹⁴ Запись сделана, скорее всего, в Боснии или в Далмации. Дата написана кириллицей от Рождества Христова, при этом (вероятно, под влиянием глаголической традиции) число тысяч передано буквой Ч (Ч и У и НЗ). По этой причине (а также из-за недостаточного знания реалий) трудности с прочтением даты испытывали и позднейшие описатели (см., например: [Щеткина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Гольищенко В. С. Описание... С. 290] – начало записи прочтено как «На 400 иуни (?) 57 лета». Л. Стоянович, которому запись была известна по копии, сделанной Д. Костичем, сомневался в написании цифры тысяч [Стојановић Љ. Стари спрски записи и натписи. Сремски Карловци, 1923 (репринт – Београд, 1986). Књ. 4. С. 32. № 6156]. В одном из новейших описаний рукописи [Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българско средновековно културно наследство... С. 21. № 29] Владислав ошибочно отождествлен с соименным ему польским королем из династии Ягеллонов, павшим в 1444 г. в битве под Варной (ср. СК XIV. С. 369. № 230).

- 15 *Антонин*. Поездка... С. 288–289.
- 16 См.: *Попов А. Н.* Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. С. 12–13; *Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Гольищенко В. С.* Описание... С. 290; *Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л.* Българско средновековно културно наследство... С. 21; СК XIV. С. 368–370. № 230].
- 17 *Антонин*. Поездка... С. 293–294.
- 18 Такую датировку рукопись получила относительно недавно (см. СК XIV. Приложение 2. С. 649–651. № д57), поэтому она не была включена в СК XI–XIII. Т. В. Дианова на основании особенностей бумажной сетки (филиграней бумага не имеет) датирует кодекс 1330-ми гг. [*Дианова Т. В.* Особенности бумаги рукописей XIV в. // Историческому музею — 125 лет. Материалы юбилейной научной конференции. М., 1998. С. 118. № 46]. Н. П. Лихачев определял бумагу рукописи как «бомбицину последнего периода», с датировкой XIV (?) в. [*Лихачев Н. П.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч. 1. С. XVIII. Примеч. 1].
- 19 *Попов А. Н.* Описание... С. 381; *Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Гольищенко В. С.* Описание... С. 280; *Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л.* Българско средновековно културно наследство... С. 68–69; СК XIV. Приложение 2. С. 649–651. № д57.
- 20 *Попов А. Н.* Описание... С. 370–371; *Стојановић Љ.* Стари спрски записи... С. 14. №№ 6050–6052; *Тихомиров М. Н.* Южнославянские и молдавано-валашские записи на рукописях Государственного исторического музея // *Тихомиров М. Н.* Исторические связи России. 1968. С. 290–291.
- 21 *Вяземский П. П.* Описание рукописей кн. П. П. Вяземского. СПб., 1902 (= ПДП. Т. 119). С. XII–XVI).
- 22 О раритетности этих последних свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что среди них имеется фрагмент (нижняя половина листа с частью миниатюры) Лицевого летописного свода, не упомянутый ни в одном из исследований, посвященных этому памятнику.
- 23 Сведения об отрывках 7 рукописей XV в. (южнославянских среди них нет) учтены в ПС XV доп. (№ Д 38, 71, 147, 151, 162, 241, 265). В настоящее время все отрывки рукописей XIV в. описаны автором этих строк для «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XIV в. в хранилищах России, стран СНГ и Балтии» (далее — СК XIV).
- 24 Содержание отрывка, названного и Верковичем, и Вяземским, естественно, просто «хронографом», определено по изданию: «Летовник съкращен от различных летописць же и поведателей избранъ и съставленъ отъ Георгия грешнаго инока». СПб., 1880 (изд. ОЛДП. Вып. 69). Л. 427–428 об. Текст начинается в столбце А словами: «...пакы сего имѣше [яко] пѣчальмь оутѣшение. и скръбемь оутѣшноу лѣчбоу», обрывается в столбце Г на словах: «вса оубо бише по б(о)жию съвѣтоу. понеже правдою сѣни н(е)бо ѡбло...».
- 25 Приводится максимальный размер в середине листа, по краям бумага

довольно сильно обкрошилась (без утраты текста).

- 26 Близкие знаки в альбоме филиграней Мошина–Тралича датируются 1365–1380 (№ 2757) и 1374 (№ 2758) гг. Попутно небезынтересно отметить, что исследованием филигрании отрывка занимался (как явствует из помет на листах альбома-конволюта) уже сам П. П. Вяземский (Веркович датировал фрагмент XV в.), нашедший ему аналогию (правда, более отдаленную) в справочнике Ж. Жансена (Т. 1. Табл. XII, 47) под 1358 г., и консультировавшийся по поводу датировки с И. В. Ягичем. Последний, разумеется, отнес листок к XIV в.
- 27 Описание см.: *Протасьева Т. Н.* Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева). М., 1973. Ч. 2 (№ 820–1051). С. 122–133. № 1032.
- 28 См.: *Tachiaos A.-E. N.* The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos. Thessaloniki; Los Angeles, 1981. P. 47–49.
- 29 См.: *Vašica J., Vajs J.* Soupis staroslovanských rukopisů Národního muzea v Praze. Praha, 1957. S. 140–142. № 72.
- 30 См.: *Birkfellner G.* Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich. Wien, 1974. S. 174–176. № II-62. Предложенная в описании датировка рукописи концом XIV в. неприемлема. Уставной почерк рукописи (см. табл. 7 при описании) весьма близок (если не идентичен) письму сербского Евангелия тетр 1342 г. (София, НБКМ, № 470) — образцы почерка см.: *Цонев Б.* Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. София, 1923. Т. 2; *Стоянов М.* Украса на славянските ръкописи в България. София, 1972. С. 72. № 56). На сегодняшний день это, вероятно, древнейший список Летовника, terminus ante quem для установления времени перевода.
- 31 См.: *Момировић П., Васиљев Љ.* Тириличке рукописне књиге Цетињског манастира. XIV–XVIII в. Цетиње, 1991. С. 269–270. Содержание определено здесь как «История до царя Константина Великого (возможно, История Евсевия Памфила)»!
- 32 См.: *Яцимирский А. И.* Славянские и русские рукописи румынских библиотек. СПб., 1905 (= Сборник ОРЯС. Т. 79). III, № 166. Рукопись здесь датирована ошибочно началом XV в. О филигранях рукописи см.: *Васиљев Љ., Гроздановић М., Јовановић Б.* Ново датирање српских рукописа у библиотеци Румунске Академије наука // Археографски прилози. Београд, 1980. [Књ.] 2. С. 58. № 72.
- 33 См.: *Попов А. Н.* Описание... С. 370–371. Рукопись датирована здесь концом XIV в. О филигранях рукописи см.: *Лихачев Н. П.* Палеографическое значение... Ч. 1. С. 229–231, № 2279–2287; *Панкова М. М.* Письмо сербских рукописей XIV в. // Русская книжность: Вопросы источниковедения и палеографии. М., 1998. С. 149. № 18.
- 34 См.: *Богдановић Д.* Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978. С. 370.
- 35 См.: *Яцимирский А. И.* Славянские и русские рукописи... III, № 167. Ру-

- копись здесь датирована ошибочно второй половиной XVII в. (о филигранях см.: *Васьев Л., Гроздановић М., Јовановић Б.* Ново датирање... С. 58. № 73).
- 36 Начертания отдельных букв этого писца, сведенные в таблицу, см.: *Панкова М. М.* Письмо... С. 145, графа 4. Они, однако, не дают, к сожалению, представления об общем облике письма.
- 37 Листы в настоящее время переплетены в обратном порядке и содержат часть службы св. Аверкию, епископу Иерапольскому (22 октября), начиная с ирмоса песни 4-й канона; после кондака и икоса по 6-й песни помещены все полагающиеся на этот день проложные жития (пользуясь в данном случае описанием отрывка, сделанным Н. А. Кобяк для СК XIV).
- 38 Защитные листы из Минеи служебной на октябрь при Евангелии Хлуд. 13 упоминаются в самой общей форме (с датой XIV в.) в печатных описаниях [*Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костохина Л. М., Гольщенко В. С.* Описание... С. 290; *Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л.* Българско средновековно културно наследство... С. 21. № 9]. Отрывок представляет собой двойной лист (вероятно, листы 3 и 6 восьмиллистной тетради). Столбцы 293А-194Б занимают отрывки службы Арсению, архиепископу сербскому (28 октября) особой редакции, отличной от опубликованной, атрибутируемой архиепископу Даниилу (ср.: Сербляк: Службе, канони, акатисти. Београд, 1970. Књ. 2. С. 8-46; *Штавьанин-Ђорђевић Љ.* Један нови (непотпуни) препис службе српском архиепископу Арсенију // Археографски прилози. Београд, 1979. [Књ.] 1. С. 109-114); общими для них являются лишь стихиры гласа 4 после канона (в настоящее время памятник готовится мною к изданию). Столбцы 194Б-Г занимает начало службы преп. Авраамия Затворнику (29 октября), текст обрывается первым тропарем третьей песни канона.
- 39 *Цернић Л.* Нека запажања о спрским рукописима у збиркама Лењинграда // Археографски прилози. Београд, 1980. [Књ.] 2. С. 362. № 9. Принадлежность отрывка к Минеи служебной на январь или Минеи праздничной (без отождествления с определенным кодексом) была установлена еще ранее Д. Богдановичем [*Богдановић Д.* Лењинградски одломак Службе светом Сави // Библиотекар, 1968. Бр. 1-2. С. 84-87].
- 40 См.: *Лавров П. А.* Палеографическое обозрение кирилловского письма. Пг., 1914 (= Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4. 1). С. 217; ПС XI-XIV, № 500 (воспроизведение лицевой стороны листа см.: Альбом снимков с юго-славянских рукописей болгарского и сербского письма. Пг., 1916. Табл. 56; оборотной — *Мошин В.* Палеографски албум на јужнословенското кирилско писмо. Скопје, 1966. Табл. 96).
- 41 Описание рукописи с образцом почерка см.: *Кодов Х.* Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на Българската Академия на науките. София, 1969. С. 39-40. Табл. 10.
- 42 Отчет имп. Публичной библиотеки за 1873. С. 12-19; *Ангелов Б. Ст.* Южнославянските ръкописни листове... С. 164.

- 43 По случайности, ни на один из этих листов не пришлись водяные знаки. В датировке болгарский исследователь повторяет своих предшественников — см.: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1873. С. 16; *Мошин В. А.* К датировке... С. 417.
- 44 Сведения взяты из неопубликованной статьи Е. Э. Гранстрем и Н. Б. Тихомирова «Сочинения Исаака Сирина в славяно-русской письменности», написанной в 1980-х гг. для вып. 4 «Методических рекомендаций по описанию славяно-русских рукописных книг» и хранящейся в архиве Археографической комиссии РАН. Датировка рукописи второй (а не третьей) четвертью XIV в. обоснована Т. В. Диановой, более точно определившей филигрань (две разновидности одного знака во всем кодексе) по основной части рукописи — ГИМ, ЕдинOVERCH. 216 (см. ниже).
- 45 *Штавьанин-Ђорђевић Љ., Гроздановић-Пајић М., Цернић Л.* Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Београд, 1986. С. 25–26. № 15.
- 46 О филигранях и почерке рукописи см.: [*Дианова Т. В.* Особенности... С. 117, 131. № 3; *Панкова М. М.* Письмо... С. 144, 148. № 2]. К сожалению, образцы начерков отдельных букв, сведенные в таблицу в статье М. М. Панковой, дают слабое представление об общем облике письма.
- 47 Образец почерка белградского отрывка см.: Палеографски албум / Припремила Л. Цернић (приложение к *Штавьанин-Ђорђевић Љ., Гроздановић-Пајић М., Цернић Л.* Опис ћирилских рукописа...). Београд, 1990. Сл. 54.
- 48 Описание рукописи см.: СК XIV. С. 202. № 92.
- 49 См.: *Миклас Х.* Към въпроса за славянския превод на Филипвата «Дипотра» // Старобългарска литература. София, 1977. Кн. 2. С. 179–181.
- 50 *Ангелов Б. Ст.* Южнославянските ръкописни листове... С. 164.
- 51 См.: СК XIV. С. 202. № 92.
- 52 Отождествление московской и софийской частей — Х. Микласа.
- 53 Отрывок (6 л.) сербского пергаменного Евангелия тетр середины XIV в. (РГАДА, ф. 196, оп. 3, № 117) происходит из рукописи ГИМ, Хлуд. 19 [Каталог славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в РГАДА / Сост.: Жучкова И. Л., Мошкова Л. В., Турилов А. А. М., 2000. Приложение. С. 365. № 2; СК XIV. С. 407. № 268].
- 54 О южнославянских рукописях собрания и их соотношениях с кодексами других фондов см.: Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина: Указатель. М., 1983. Т. 1. Вып. 1. С. 185–186.
- 55 Кроме отрывка сербской пергаменной Минеи служебной рубежа XIII–XIV вв. (Шук. 48), происходящего из кодекса Хлуд. 156, приобретенного Гильфердингом в Лешке [СК XIV. Приложение 2. С. 628. № д41] (запись об этом имеется и на тетради шукинского собрания — см.: Там же. Приложение 1. С. 575. № 279), это отрывок (5 л.) сербского же пергаменного Евангелия тетр середины XIV в. (Шук. 8), являющийся частью рукописи Хлуд. 19 [СК XIV. С. 407. № 267].
- 56 Некоторые соображения по этому поводу см.: [Каталог славяно-русских рукописных книг XV в.... С. 29–30. Примеч. 45].

Е. П. Аксенова
(Москва)

«Я не сделался славистом» (К 170-летию со дня рождения А. Н. Пыпина)

Научные интересы А. Н. Пыпина (1833–1904) были широки и разнообразны. Среди его работ исследования, связанные со славянской тематикой, занимают одно из важнейших мест. История российского славяноведения второй половины XIX в. немыслима без имени Пыпина, которого с полным основанием можно поставить в один ряд с крупными славистами того времени, хотя сам ученый не считал себя славистом.

О том, как формировался интерес юноши из провинциального Саратова к изучению славянства и как шла его профессиональная подготовка в этой области, мы узнаем прежде всего из воспоминаний самого Пыпина¹ и некоторых других источников. Вероятно, самым ранним обращением Пыпина к славянской тематике было его гимназическое сочинение «О влиянии варягов на быт славян» (1848), представленное в учебный округ и признанное лучшим «по мыслям, изложению, подробности и трудолюбию»².

Через год, став студентом историко-филологического факультета Казанского университета, Пыпин начал слушать лекции одного из первых русских славистов В. И. Григоровича. Профессор произвел на молодого студента «большое впечатление». Он давал, вспоминал Пыпин, «слушателям первого курса самое общее понятие о славянстве, его племенах и указывал прямо на опытах переводов образцы наречий с грамматическими объяснениями». Гимназический курс не предоставлял знаний о славянах, и первые лекции Григоровича были для студентов настоящим открытием родственных народов, о которых они до тех пор не имели понятия³. Он сообщал студентам сведения по истории и географии славянских земель, давал им книги славянских авторов из своей библиотеки (поскольку в университетской библиотеке их почти не было). Таким образом Пыпин познакомился «с некоторыми главнейшими произведениями славянской литературы и учености» – трудами В. С. Караджича, Я. Коллара, П. Шафарика, Й. Добровского, В. Копитара; прочитал «Путешествие» Григоровича⁴ в славянские земли⁵.

Пыпин оказался одним из немногих «охотников изучать «славянские наречия», но Григоровичу «с его преданностью науке, с его энтузиазмом... с его любящим... отношением к родственным племенам,

ожидавшим своего народного развития», с его «непосредственным, живым и научным изучением славянства» удалось заинтересовать Пыпина своим предметом, хотя он, по собственному признанию, не собирался быть славистом⁶. Позже Пыпин вспоминал, что Григорович «был идеалист и мечтатель, из тех, которые никогда не расстаются с своей идеей, полагают на нее всю свою преданную любовь». О славянах он говорил «в выражениях самого теплого сочувствия». По словам Пыпина, у Григоровича «не было предпочтений; каждое племя равно вызывало его внимание». Но вместе с тем наименее известные или слабые и малочисленные народы (болгары, «хорутане», лужичане) вызывали у него особое сочувствие⁷. Несмотря на то, что Пыпин изучал «славянские наречия» под руководством Григоровича всего несколько месяцев, он считал этого профессора одним из тех, кому был «особенно обязан»⁸.

Углублению интереса Пыпина к изучению славянства способствовал его двоюродный брат Н. Г. Чернышевский. Он окончил Петербургский университет; из профессоров, у которых учился, «особенно высоко ставил Срезневского», благодаря которому серьезно занялся изучением славянства. Чернышевский делился с Пыпиным «сочувственными отзывами» об И. И. Срезневском, который занимал кафедру славянских наречий. В его лекциях на исторические и филологические темы «находили место эпизоды из его собственных наблюдений за время его странствований по славянским землям», где он «видел развитие народного возрождения у разных племен, знал лично наиболее видных деятелей времени, близко наблюдал народную жизнь». По личным впечатлениям Пыпина, Срезневский, по сравнению с Григоровичем, был человеком другого склада — характера «подвижного, но ума точного, даже холодного». Он начинал изучение славянства в эпоху романтизма и включил в это изучение «всю свою энергию и поэтические влечения». «Славянские увлечения» составляли в то время «главный его научный интерес, которому он отдавался со всей живостью своего характера», вследствие чего его лекции привлекали всех, кто интересовался славянским миром⁹.

Вспоминая своих профессоров, «под впечатлением чтений» которых начались его «первые занятия славянскими предметами», Пыпин в то же время подчеркивал, что их «взгляды не совпадали с исключительными теориями славянофильской школы, — быть может, именно потому, что [они] подходили к славянству не теоретически, а по прямому изучению живых обществ и народов. Во все течение своей деятельности наши ученые слависты первого поколения не слились со славянофилами»¹⁰.

Н. Г. Чернышевский убедил Пыпина перевестись в Петербургский университет, и во время их совместной поездки из Саратова в столицу

Пыпин «с большим любопытством слушал отрывки из Мицкевича», которые читал Чернышевский, давая необходимые пояснения, а также из «Краледворской рукописи» и «Суда Любуши», о которых Пыпин, имевший еще «смутные» сведения о славянстве, «пока только слышал»¹¹. Чернышевский, который был безусловным авторитетом для Пыпина, несомненно, оказал влияние на выбор и формирование приоритетных направлений будущих исследований ученого.

В университетские годы Пыпин увлекался различными предметами, в результате чего его «научные интересы складывались в разных направлениях, впрочем, тесно одно с другим связанных». Прежде всего это были русская литература (древняя и новая) и славянская литература (вначале — церковнославянская). В начале 1850-х гг. специальной литературы по этим предметам было не так много, и Пыпин хорошо знал работы А. Х. Востокова, К. Ф. Калайдовича, П. М. Строева, О. М. Бодянского, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского, Ф. И. Буслаева, Е. П. Новикова и др.¹²

В то же время, вспоминал Пыпин, книги славянских авторов были менее известны и менее доступны. Однако по рассказам Срезневского студентам были хорошо известны имена Й. Добровского, П. Шафарика, Е. Копитара, В. Ганки, Ф. Палацкого, Я. Коллара, Л. Челаковского, В. Караджича, В. Мацевского¹³.

Интерес Пыпина к славянству разделяли его товарищи по университету Д. Л. Мордовцев и В. И. Ламанский (втроем они составили небольшой кружок)¹⁴. Как отмечал Пыпин, они хорошо были знакомы со взглядами славянофилов на славянский вопрос. При этом личные позиции членов кружка не совпадали. Ламанский был «горячим приверженцем» славянофильской точки зрения. Пыпин, хорошо знакомый по журналам с полемикой славянофилов и западников, был, по собственному признанию, «довольно равнодушен» к славянофильству¹⁵. Мордовцев был «проводником малорусской литературы»¹⁶ и «начатков украинофильства». К этому движению кружковцы относились «с симпатией». Не соглашаясь с позицией В. Г. Белинского в вопросе о «малорусской литературе», его молодые оппоненты взглянули на дело с «точки зрения славянского возрождения», которое предполагало развитие родного языка каждого славянского народа и создание на нем своей литературы. В этом отношении «малорусская литература» имела такое же право на существование, тем более, что с конца XVIII в., как отмечал Пыпин, имела уже немалый «запас произведений», написанных на родном языке и пользовавшихся у читателей «большой славой или известностью»¹⁷.

И после окончания университета Пыпин продолжал бывать у Срезневского, где собирался научный круг, «больше археологический, люди,

прикосновенные к славянской старине и народности, обыкновенно довольно чуждые или даже враждебные новейшим общественным интересам». Посещал Пыпин и другие «профессорские кружки» — у Н. М. Благовещенского, Н. И. Костомарова, хорошо знал литературный круг «Современника»¹⁸. Таким образом, у Пыпина был достаточно широкий круг общения с учеными и литераторами, придерживавшимися различных взглядов, что также способствовало формированию его научных и общественных позиций, в том числе и отношения к славянскому вопросу.

В конце 50-х гг. у Пыпина появилась возможность пополнить свои чисто теоретические, книжные знания о славянском мире практическим знакомством с жизнью славянских народов. После защиты магистерской диссертации он был послан на два года за границу, чтобы подготовиться к профессорской деятельности на вновь созданной в университете кафедре западноевропейских литератур. «Командировка» больше напоминала туристическую поездку, наполненную интересными экскурсиями, перемежавшимися посещением отдельных лекций известных западноевропейских ученых. Так, в Германии Пыпин наряду с другими слушал лекцию «знаменитого филолога и слависта Августа Шлейхера»¹⁹. Вообще же путешествие по странам Европы Пыпин считал «драгоценным образовательным поучением... привлекательным дополнением к университетскому... высшему курсу»²⁰.

Во время своей командировки Пыпин дважды побывал в славянских землях, большую часть времени проведя в Праге. Там он наилучшим образом мог закрепить свой «интерес к литературе и общественному быту славянства», возникший еще в студенческие годы. Благодаря полученной в университете подготовке, для Пыпина «была уже отчасти открыта завеса, скрывавшая этот мир от большинства профанов». Он знал имена многих славянских деятелей «новейшего славянского движения и науки», читал их работы. «Славистика не была моей специальностью..., — вспоминал Пыпин, — но славянское возрождение представляло такой широкий интерес, притом столь близкий русской национальности по разным отношениям, что значительную часть времени я отдал на изучения славянские»²¹. При этом молодой ученый решительно отмежевался от славянофильских воззрений, которые и раньше представлялись ему исключительными, а после «непосредственного знакомства с славянским движением» он еще больше убедился в своей правоте²². Тем не менее Пыпин, отнюдь не вставая на точку зрения славянофилов, понимал, что славянский мир вступает в историю, требуя «своего места в этой истории, мир отчасти таинственный по своей малой известности, обещавший какие-то неведомые откровения, и тем больше привлекательный для нас, потому что

чувствовалось какое-то близкое, инстинктивное родство с этим миром»²³. Пыпин был готов к встрече с ним, однако, на его предварительных представлениях о славянстве, «о стремлениях славянского общества», сказались влияние взглядов Срезневского, который был в славянских землях в начале 1840-х гг.

В Праге Пыпин перезнакомился с большинством чешских литературных и общественных деятелей, в чем ему особенно помог В. Ганка²⁴. Пыпин встречался со многими литераторами, учеными, политиками, посещал Чешский музей и Чешский театр, музыкальные концерты и клуб «Чешская беседа», где обычно по вечерам собирались молодые чешские патриоты²⁵ (в своих национальных стремлениях далеко не всегда согласные со «стариками»), вспоминая с «заметным одушевлением» «патриотическое возбуждение конца 40-х годов» (т. е. прежде всего революционный 1848 год). Чешские знакомые старались достать Пыпину литературу тех лет, чтобы он мог лучше понять происходившие тогда события.

Именно в свой первый приезд в Прагу Пыпин задумал создание славянской историко-литературной энциклопедии и начал сбор материала для этой работы²⁶. Такие «памятники древней чешской литературы», как Краледворская и Зеленогорская рукописи и «Суд Любуши», казались Пыпину, убежденному Срезневским, в то время (да и многие годы спустя) подлинными произведениями старины, хотя, по его признанию, уже и тогда западными учеными высказывались предположения об их поддельности²⁷.

Чешские знакомые Пыпина в основном с симпатией относились к России и русским, но при этом он сделал неожиданное для себя открытие, что они «не имели понятия о новейшей русской литературе»²⁸. И Пыпин охотно занялся просветительской деятельностью, опубликовав в 1858–1859 гг. в «Часописе чешского музея» несколько заметок (на чешском языке) о русской литературе, с характеристикой течений общественной мысли и литературных направлений в России²⁹.

Пыпин был в Праге в конце 50-х гг. и в то время, по его наблюдениям, был спад славянского движения, «борьбы не предвиделось», так как преобладало «реакционное настроение, при котором чешскому патриотизму оставалось только беречь свои предания и запастись силами на будущее»³⁰.

Ближе познакомившись с бытом чехов, Пыпин вынес впечатление, что их жизнь — «очень скромная, очень провинциальная и патриархальная», зачастую бедная³¹. «Романтические представления о славянском возрождении», с которыми он приехал в Прагу, «на месте» постепенно «видоизменились»³². Молодому ученому стало ясно, что самоотверженных «патриотических усилий», с которыми чешские де-

ители возрождения старшего поколения отстаивали раньше «права своей народности путем скромной литературы, скромной и аккуратной народной школы», в новых общественно-политических условиях «слишком мало» для решения тех вопросов, «которые уже восставали для чешского (и вообще для западнославянского) возрождения». Старшее и молодое поколения деятелей национального движения не находили общего языка. Борьба с «австрийской государственностью» требовала от «национального патриотизма» иных средств — «не романтического, а реально-политического возрождения». Пыпин понимал, что добиться этого парламентскими средствами (в надежде «на славянское большинство в пестром австрийском государстве») вряд ли удастся, так как «разноплеменное» славянство Австрийской империи не проявляло солидарности³³.

Таким образом, пребывание Пыпина в Праге помогло ему существенно пополнить свои знания о славянах и в какой-то мере скорректировать свое отношение к проблемам, стоявшим перед национальным движением славянских народов.

Вернувшись в Россию, Пыпин, вооруженный не только теоретическими знаниями, но и реальными впечатлениями от посещения славянских земель, начал выступать на страницах самого популярного в то время журнала — «Современника» со статьями, посвященными славянским народам. К этому времени у него уже вполне сформировались взгляды на славянство, которые он сохранил и впоследствии. В этой связи нельзя не сказать о влиянии на Пыпина идей А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, которые признавали за славянами право на независимое национальное и культурное развитие, но не противопоставляли, как славянофилы, славянский мир западной цивилизации, а в основе славянской солидарности видели прежде всего единство «социальных интересов». В 1862 г. Пыпин снова побывал в Праге после очередного всплеска общественно-политической активности в Австрийской империи в 1861 г. В письмах родным Пыпин отмечал некоторое оживление политической жизни в городе, хотя в целом ситуация почти не изменилась³⁴. Он вынес из этой поездки новые впечатления, впрочем, не изменившие его отношения к славянскому вопросу.

Таков, в общих чертах, путь Пыпина в славистику. Мысленно возвращаясь к тем годам, Пыпин писал: «При таком пути изучения и опыте, и под впечатлениями нашей общественности с половины 50-х гг. — ожиданий обновления и наступивших разочарований — сложились мои представления о славянстве»³⁵. Эти представления легли в основу его обширных, глубоких, разнообразных по содержанию статей в «Современнике», затем в «Вестнике Европы» и в книгах — «Обзор ис-

тории славянских литератур», «История славянских литератур», «Панславизм в прошлом и настоящем».

Вспоминая прожитое, Пыпин писал: «В свое время я занимался славянскими предметами вероятно не меньше других своих товарищей-современников; но я не сделался славистом, т. е. не сделал славянских предметов своей специальностью»³⁶. Но в то же время Пыпин сохранил приверженность славянской проблематике в течение всей жизни, о чем красноречиво свидетельствуют его многочисленные «славянские» статьи и книги. Большой вклад ученого в русское славяноведение XIX в. позволяет нам не согласиться с его скромной самооценкой. В истории науки о славянах Пыпин, безусловно, крупная фигура. Его наследие в этой области науки еще ждет всестороннего изучения.

Примечания

- 1 Пытин А. Н. Мои заметки. Саратов, 1996.
- 2 См.: Бальжин Д. А. А. Н. Пыпин как исследователь течений русской общественной мысли. Брянск, 1996. С. 19.
- 3 Пытин А. Н. Мои заметки. С. 85.
- 4 Григорович В. И. Очерк ученого путешествия по Европейской Турции // Ученые записки Казанского университета. 1848. Кн. 3.
- 5 Пытин А. Н. Мои заметки. С. 86.
- 6 Там же. С. 86–88.
- 7 Пытин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. СПб., 1881. Т. 2. С. IX.
- 8 Пытин А. Н. Мои заметки. С. 87.
- 9 Там же. С. 72–73; Пытин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Т. 2. С. IX.
- 10 Пытин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Т. 2. С. IX.
- 11 Пытин А. Н. Мои заметки. С. 96–97.
- 12 Там же. С. 112.
- 13 Там же. С. 113.
- 14 Там же. С. 112.
- 15 Пыпин, объясняя, почему не стал славянофилом, писал: «...я все-таки (хотя мало, но достаточно) видел подлинный народ — и мне трудно было идеализировать его так, как необходимо было для славянофильства, т. е. до фантастики». Делать этот народ — преимущественно крепостной и неграмотный — «готовым носителем возвышенной „народной идеи“», по мнению Пыпина, можно было «только при большом запасе веры», которую славянофилы переносили также на западное и южное славянство.

И хотя Пыпина еще с университетской скамьи привлекало «внероссийское славянство», он не разделял славянофильские взгляды и увлечения, с самых первых шагов в науке отстаивая принципы «исторической критики» и «фактического наблюдения» (Пытин А. Н. Мои заметки. С. 200).

¹⁶ Пытин А. Н. Мои заметки. С. 113.

¹⁷ Там же. С. 114–115.

¹⁸ Там же. С. 159.

¹⁹ Там же. С. 175.

²⁰ Там же. С. 194.

²¹ Пытин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Т. 2. С. IX.

²² Там же. С. XI.

²³ Пытин А. Н. Мои заметки. С. 200–201.

²⁴ Там же. С. 202.

²⁵ Там же. С. 203.

²⁶ См.: Балыкин Д. А. А. Н. Пыпин как исследователь течений русской общественной мысли. С. 31.

²⁷ Пытин А. Н. Мои заметки. С. 207.

²⁸ Там же.

²⁹ См., например, статьи Пыпина: Listy o ruské literatuře // Časopis Musea Království Českého. Roč. 32. Sv. 3. S. 583–599; Listy o nejnovější ruské literatuře. II // ČMKČ, Roč. 33. Sv. 1. S. 119–127; Listy o nynější ruské literatuře. III // ČMKČ, Roč. 33. Sv. 2. S. 255–263.

³⁰ Пытин А. Н. Мои заметки. С. 204.

³¹ Там же. С. 204–205.

³² Там же. С. 205.

³³ Там же. С. 206.

³⁴ См.: Балыкин Д. А. А. Н. Пыпин как исследователь течений русской общественной мысли. С. 35.

³⁵ Пытин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Т. 2. С. XI.

³⁶ Пытин А. Н. Мои заметки. С. 200.

Казанский славист Мемнон Петрович Петровский (1833–1912)

Среди русских славистов второй половины XIX в. М. П. Петровскому принадлежит почетное место, но написано о нем мало¹. На наш взгляд, это обстоятельство объясняется рядом факторов, но прежде всего местом жизни и деятельности М. П. Петровского. В Казани, в отличие от столиц, научная жизнь проходила вяло, интерес к славянству выражался в более чем скромной форме. Но все же в Казанском университете существовала кафедра славяноведения, которую в свое время занимал известный русский славист В. И. Григорович, а с 1859 по 1885 г. здесь работал его ученик М. П. Петровский, воспринявший и перенявший методику и концепции учителя. На этом основании один из биографов Петровского назвал его представителем славистики «в том ее виде, который она получила в первый момент ее возникновения как предмета университетского преподавания»².

М. П. Петровский был сторонником славянофильства, но только того его варианта, который свойствен пореформенному периоду. Характеризуя его мировоззрение, бывший слушатель его лекций Д. Корсаков писал: «Петровский не имел ни религиозных, ни исторических предубеждений, ни тем паче шовинистических инстинктов... Он ясно сознавал значение русского народа и русской культуры среди других славянских народностей, но всегда стоял за свободное развитие культуры всех славян... Он был славянофилом в том смысле, что любил славян, но далеко не всецело разделял доктрины московских славянофилов 1830–1840-х гг. Петровский исповедовал различие мира германо-романского и славянского, различие, выражавшееся в культурном складе и в исторической судьбе того и другого, отдавал должное заслугам Хомякова, братьев Киреевских и Аксаковых, Самарина, но не разделял их исключительной, вероисповедной точки зрения и тех излишеств, в которые впадали иные из них, определяя верховенство России над всеми славянами и руководящую роль Москвы в их судьбах и судьбах русского народа»³.

Взгляды М. П. Петровского подвергались резкой критике со стороны его современников из антиславянофильского лагеря, группировавшихся вокруг журналов «Современник», «Отечественные Записки», а также в рецензиях А. Н. Пыпина в «Вестнике Европы». По-

сколько в пореформенный период истории России славянофильство уже уходило с исторической сцены, личность М. П. Петровского оказалась в тени. Что касается оценки его вклада в славяноведение, то в дореволюционной литературе она в целом положительна. Отмечалось, что он обогатил науку целым рядом серьезных трудов по многим ее областям. Особенно высоко оценивались труды Петровского о В. И. Григоровиче, превозносился также его талант переводчика. Подчеркивалось, что Петровский обладал несомненным поэтическим дарованием, переводил произведения славянских поэтов «прекрасным стихом, точно передавая мысль оригинала»⁴.

После Октябрьской революции о Петровском долго ничего не писали, и только после окончания Второй мировой войны, с возрождением интереса к русско-славянским связям, изучению творчества Петровского стали уделять внимание в первую очередь русские литераторы и филологи. В конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. был издан ряд сборников и монографий о русско-славянских литературных связях, где М. П. Петровскому уделено большее или меньшее внимание в связи с его переводами ряда произведений со славянских языков.

Так, ленинградский исследователь К. И. Ровда несколько раз обращался к оценке творчества М. П. Петровского. В статье «Чешская литература в русских переводах (50–60-х годов XIX в.)» автор приводит краткие данные о казанском профессоре, отмечает его знания в области славянских языков и литератур, эрудицию не только в славянских, но и в античных сюжетах. Констатируя политический консерватизм М. П. Петровского, выражавшийся в приверженности к славянофильству, Ровда отмечает, что «крайности славянофильской доктрины» были ему чужды, что «ни в его публицистических статьях, ни в переписке мы не найдем утверждения мысли о необходимости присоединения западных славян к православию и к русской государственности. Он не верил в осуществление „славянофильских идеалов“ и признавался в письме к одному из своих чешских друзей: „Будущее принадлежит не нам“»⁵. Изложив материал о переводах М. П. Петровским славянской поэзии на русский язык, автор статьи не соглашается с их высокой оценкой, высказанной в некрологах, и считает, что такая оценка не опирается на анализ этих переводов, а является декларативной⁶. В целом, по мнению Ровды, переводы М. П. Петровского не могут быть признаны талантливыми, однако сам факт ознакомления русского читателя с чешской литературой имел важное культурное значение⁷. В другой статье⁸ К. И. Ровда тоже обращается к переводческой деятельности и политическому мировоззрению казанского слависта, замечая, что пропаганда Петровским произведений чешских писателей, например, К. Гавличка,

К. Я. Эрбена и Б. Немцовой, не всегда согласовывалась с его политическими и литературными взглядами. «В нем, как и вообще у славянофилов, — пишет Ровда, — с коренными консервативными убеждениями совмещались элементы протеста против общественных зол и неурядиц; рядом с враждебностью к революции выступала ненависть к существующим порядкам и властям предрежущим, о чем свидетельствует его переписка»⁹.

В этом замечании советского литературоведа много справедливого. Действительно, у многих русских славистов наблюдается негативное отношение к некоторым сторонам русской действительности при полной преданности самодержавному режиму Российской империи.

К. И. Ровда еще не раз обращался к творчеству М. П. Петровского, главным образом — к его переводам чешской литературы на русский язык и связям с чешскими филологами и другими учеными¹⁰. Отметим, что в разработке последнего вопроса Ровда широко использовал письма Петровского, хранящиеся в различных чешских архивах. Эпистолярное наследие казанского профессора используется Ровдой и при освещении взаимоотношений Петровского с русскими учеными, издателями, деятелями культуры.

Кроме К. И. Ровды, переводческую деятельность М. П. Петровского оценивал советский литературовед Ю. Д. Левин. В 1968 г., в статье «Н. В. Гербель и его антология „Поэзия славян“»¹¹ автор коснулся некоторых фактов биографии почти забытого тогда казанского ученого, перечислил его переводы, включенные в антологию «Поэзия славян» и, сравнивая их с переводами Н. Берга и самого Н. В. Гербеля, констатировал: «По своему переводческому мастерству Петровский уступал не только Бергу, но и Гербелю»¹². Впрочем, Ю. Д. Левин считал, что указанный сборник вообще отличается невысоким поэтическим уровнем, и хотя в нем «содержится немало превосходных переводов Пушкина, Тютчева, Михайлова, Фета, Мея, Майкова, Щербины и других поэтов, они тонут в общей серой массе рифмованных и нерифмованных строк, лишенных истинной поэтичности»¹³.

Таким образом, если дореволюционные авторы работ о Петровском высоко оценивали его переводы, подчеркивали его поэтическое дарование (при этом даже его идейные противники Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин находили переводы удовлетворительными), то советские литературоведы Петровскому в этом отказывают. Представляется, что за сто лет, прошедших со времени появления переводов Петровского, изменились критерии подхода к поэзии, и едва ли правомерно судить о качестве его творчества с позиций XX в.

Как филолог-славист М. П. Петровский охарактеризован в слове: *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды¹⁴. Общая, хотя и

краткая характеристика педагогической и научной деятельности казанского профессора имеется в синтетическом труде о славяноведении в дореволюционной России¹⁵. Имя М. П. Петровского упоминается в работах советских историков, освещавших контакты южных славян с Россией¹⁶.

Советский литературовед Ю. Д. Беляева в книге «Литература народов Югославии в России» отмечает, что крупнейший словенский национальный поэт Франце Прешерн стал известен в России с 60-х гг. XIX в. именно по переводам М. П. Петровского¹⁷. Казанский славист был также популяризатором в России хорватского писателя К. Ш. Джальского, которого называют «хорватским Тургеневым». Его творчество, по мнению Беляевой, «привлекало Петровского глубокой правдивостью в изображении национального протеста хорватского народа, распада дворянских гнезд, психологии мелкого дворянства и нарождавшейся буржуазии. Умеренно-либеральные позиции К. Джальского были близки к взглядам самого М. П. Петровского»¹⁸. Автор книги констатирует далее, что Петровский перевел произведения и многих других хорватских писателей.

Из изложенного ясно, что в советской историографии главное внимание в творчестве М. П. Петровского обращалось на его переводческую деятельность, которая имела важное значение для ознакомления русской читающей среды со славянскими литературами. Нередко М. П. Петровский был первым переводчиком на русский язык наиболее важных произведений поэзии и прозы зарубежных славянских народов.

Заключая краткую характеристику литературы о Петровском, следует также указать, что в его неопубликованном литературном наследии большой интерес представляет переписка. Петровский поддерживал широкие научные связи, любил писать своим друзьям и знакомым. Во многих фондах ученых России и зарубежных славян имеются письма казанского ученого. По ним можно проследить детали жизни и деятельности Петровского, особенности его мировоззрения, политических симпатий и антипатий. Так, например, по его письмам к чешскому филологу А. Патере можно определить маршруты его путешествий по славянским землям в 1861–1862 гг., способы формирования его впоследствии знаменитой библиотеки по славяноведению, а также узнать о его суждениях, не подлежавших опубликованию. В архиве А. Патеры имеется биографическая справка о Петровском на чешском языке с приложением списка литературы о нем на русском¹⁹. Писем Патеры к Петровскому сохранилось значительно меньше.

Мемнон Петрович Петровский родился в семье помещика в Васильсурске, уездном городке Нижегородской губернии. Он окончил

Александровский дворянский институт в Нижнем Новгороде и в 1850 г. поступил на историко-филологический факультет Казанского университета. В это время славянские дисциплины в Казанском университете преподавал профессор В. И. Григорович, оказавший на Петровского большое влияние.

В 1855 г. М. П. Петровский окончил университет, в котором за 4 года отлично изучил славянские языки и литературы. По окончании университета он поступил учителем латинского языка в Первую казанскую гимназию, где проработал до 1859 г.; в 1860 г. сдал магистерский экзамен, и В. И. Григорович рекомендовал его для приготовления к профессорскому званию. В 1861 г. Петровский был утвержден сверхштатным преподавателем по кафедре истории и литературы славянских наречий и в том же году был послан в командировку «с ученой целью в европейские славянские земли» — Пруссии, Австрии и Венгрии — для дальнейшего совершенствования в избранной им специальности²⁰. Командировка продолжалась два года, во время которых ученый посетил западных и южных славян. Он работал в архивах и библиотеках Праги, Вены, Прессбурга (Братиславы); побывал в Будине, откуда перебрался в Нови Сад, посетил монастыри Фрушкой горы, город Карловцы, работал в Загребе, Фиуме, Задаре, Сплите, Цетинье, осматривал материалы по литературе в Дубровнике (Рагузе), некоторое время провел в Триесте, на несколько недель задержался в Любляне, затем вновь вернулся в Вену, съездил в Лемберг (Львов) и вернулся в Россию — через Варшаву, Петербург, Москву, а 17 апреля 1863 г. прибыл в Казань. В славянских землях Петровский разыскивал и изучал древнеславянские письменные памятники, интересовался литературой славянских народов, совершенствовал знание языков. Он еще в России, до отъезда, свободно говорил на всех славянских языках, так что не имел никаких проблем при контактах с сербами, хорватами, словенцами, не говоря уж о чехах и словаках. Хорошо знал он и другие языки — немецкий, французский, итальянский. Все это помогало ему устанавливать контакты с местными учеными, литераторами, политиками, проникать в нужные ему архивы, библиотеки, частные собрания, беседовать с местной интеллигенцией и обогащать свои знания в области как славянских древностей, так и современной литературы и науки. По пути следования из пункта в пункт Петровский приобретал и нужные ему славянские памятники и книги, подготавливая источниковую базу для будущих исследований. О своем путешествии он, как и предписывалось министерством народного просвещения, писал отчеты в Казанский университет и в само министерство. Один такой отчет Петровского был опубликован в Казани в 1862 г.²¹ Подробный отчет прислал Пет-

ровский и о своем пребывании в Праге, сообщив в нем не только о своих занятиях, но и затронув ряд общих вопросов. Он характеризовал уровень развития филологической славистики²², а также деятельность отдельных ученых, например, К. Я. Эрбена, Я. Вртятко и др. Сравнительно подробно описана в отчете деятельность Эрбена и подготовка им издания собрания чешских сказок. «Этому почтенному представителю чешской науки и литературы я очень многим обязан за его указания в моих занятиях старым и новым языком чехов», — писал Петровский²³. Он также перечислил некоторые важные работы чешских ученых и культурных деятелей, вышедшие в свет в период его пребывания в Праге. Указаны в частности последний том «Истории чехов» Ф. Палацкого, труды В. Томека, Йозефа и Герменегильда Иречков, М. Гатталы. Автор отчета говорит и о подлинности Краледворской рукописи, упоминая о начавшейся полемике по этому поводу. Затем Петровский перечисляет издающиеся в Чехии научные журналы, характеризует в целом чешскую журналистику, главным образом газету «Глас». Славист сообщает, что в газету «День», выходящую в России, он написал несколько писем о чешской журналистике, преимущественно по поводу переселения чехов в пределы Российской империи и «вредных стремлений» клерикальной партии, «к сожалению, еще существующей в отечестве Гуса»²⁴.

Далее Петровский пишет, что в Праге он посещал лекции лужицких наречий в Лужицком отделении Пражской семинарии. Затем казанский стажер докладывает о своем изучении истории Венгрии, характеризует литературу словаков и сообщает, что для газеты «День» написал статью «Мадьяризм и словаки». Далее речь идет о работе в библиотеках Францисци и Паулини, об осмотре библиотеки Сербской Матицы в Нови Саде и просмотре «Сербской Летописи» (там же). Петровский совершил несколько экскурсий в близлежащие сербские колонии. Далее в отчете говорится о его пребывании в Нови Саде, на Фрушковой горе, где он обозрел монастырские библиотеки и рукописи. Затем в отчете указано, что стажер познакомился с трудами Даничича и Янко Шафарика по истории Сербии, говорится о возможности приобретения славянских книг за границей для библиотеки Казанского университета, на что он получил от последнего 500 рублей. — Весьма интересно в отчете Петровского сообщение об изучении им словацкого языка и литературы. Он пишет: «Из Праги через Брно, Вену и Прешпорк (т. е. Прессбург, Братиславу. — Л.Л.) ...я прибыл в Пешт Будин, где положил себе задачей не только ближе познакомиться с языком словаков (до сих пор не установившимся в своих литературных формах благодаря множеству различных оттенков — смотря по соседству с теми или другими неславянскими

наречиями), но и познакомиться с литературною деятельностью словаков, преимущественно со времен Л. Штура... принявших за разработку своего книжного языка. В новой литературе словаков, как и других славянских племен за исключением русского и польского, я заметил то же самое явление: патриотизм всюду заменяет талант (за исключением произведений Сладковича и Калинчака) и эрудицию. Но от словаков трудно было и ожидать большего — и по молодости их литературных стремлений, и по исключительному политическому положению». Отметив далее, что он изучал историю Венгрии и написал для газеты «День» статью «Мадьяризм и словаки»²⁵, Петровский продолжает: «Моим занятиям в изучении новорожденной литературы словаков предстояло бы неодолимое препятствие, заключающееся в отсутствии публичных библиотек и кабинетов для чтения, содержащих в себе произведения словацких писателей, если бы внимательность вождей современного движения словаков не устранила этого неудобства: редактор „Пешт-Будинских ведомостей“ (весьма серьезной политической газеты) г. Франциски (известный в литературе более под именем Я. Римаковского) и г. Паулини, редактор беллетристического журнала „Сокол“, дали мне право вполне располагать их библиотеками, заключающими в себе полное собрание всего вышедшего на словацком языке, а равно и всего напечатанного (к сожалению, очень немногочисленного) на южно-русском языке в пределах Угрии», — сообщает он²⁶.

Из «Пешт-Будина» М. П. Петровский переехал в Нови Сад — центр литературно-ученого движения австрийских сербов, где имел возможность сойтись с деятелями старого и нового поколения сербского культурно-национального движения и немногочисленными «учено-литературными произведениями» австрийских славян. И в других городах австрийских южных славян Петровский изучал их духовную культуру. Так, в словенской газете «Клатийске инроканденске Новицы» была напечатана заметка о пребывании в октябре — ноябре 1862 г. ученика В. И. Григоровича, русского ученого из Казани М. П. Петровского в Любляне, где он провел много дней в библиотеке и поставил ее по богатству славянскими книгами и рукописями на второе место в Австрийской монархии после Пражской библиотеки. Вместе с тем он выразил сожаление, что в лицейской библиотеке Любляны имеются не все словенские книги, выпущенные за последнее время²⁷.

Путешествие Петровского практически подготовило его к преподаванию славистических дисциплин в Казанском университете. Приобретенные знания, знакомство и связи со славянским миром способствовали впоследствии тому, что Петровский всегда был в курсе событий литературной жизни славян.

Особенно тесные контакты сложились у казанского слависта с чешскими учеными — А. Патерой, Й. Коларжем, Й. Первольфом и др. (всего около полутора десятков). Дальнейшая научная и публицистическая деятельность Петровского сосредоточилась в значительной мере вокруг чешских сюжетов. Уже в 50-е гг. он публиковал в русских периодических изданиях, например, в «Русской беседе», переводы народных песен и стихов ряда славянских поэтов. Это были образцы чешского и словацкого народного творчества, произведения Я. Коллара, Ф. Л. Челаковского и др. Чехия вообще привлекала Петровского больше всего, он очень высоко оценивал ее культуру. «Личные сношения с ее обитателями всегда поддерживали мои слабые силы и прочную веру и уверенность в возможности обновления Руси единственно воздействием ученого талантливой элемента Австрии», — писал он²⁸.

В 1861 г. вышел в свет первый сборник стихотворных переводов Петровского — «Отголоски славянской поэзии». Сразу же русская демократическая печать напала на книгу Петровского. А. Н. Пыпин в журнале «Современник» высмеял изложенные в предисловии к сборнику мысли М. П. Петровского как панславистские, а подбор произведений славянской литературы для перевода М. П. Петровским квалифицировал как односторонне славянофильский²⁹.

Несовпадение позиций «Современника» и Петровского по славянскому вопросу было по существу продолжением идейной борьбы между «западниками» и «славянофилами». Приведем некоторые ее образцы. В предисловии к «Отголоскам» Петровский пишет: «В настоящую пору, когда славянский мир начинает пробуждать сочувствие в русском обществе (в Европе уже давно интересуются славянами), может быть нелишним и появление настоящей книжки. В Австрии очень нередко выходят подобные сборники немецких переводов из славянских поэтов. В этом отношении не стыдно было бы хоть не отстать даже и от австрийских славянофилов». Рецензент «Современника» усмотрел в этих словах проявление панславизма, адепты которого даже поэзию обращают в оружие этого течения; «отголосками песней славянской музыки они хотят растрогать наши каменные сердца, исторгнуть (т. е. удалить. — Л. Л.) из них ненависть к славянам и пробудить сочувствие и любовь к ним», — писал он. Но это сочувствие, по мнению рецензента, вовсе не нужно «вызывать», так как оно и без того имеется в русском обществе. Что же касается австрийцев, продолжает Пыпин, то они стремятся удержать славян в единой австрийской семье; славяне же желают прервать с ними «семейные связи» и начать самостоятельную жизнь. «Русские панслависты стремятся возбудить в нас австрийскую любовь, чтобы мы выражали желание быть со славянами в одной общей семье. Таким об-

разом, из одной семьи славяне попадут в другую, и им не удастся пожить своим домом и насладиться собственным хозяйствованием. Теперь панслависты, вопреки австрийцам, любят поэзию, но когда все славянство соединится „в единую великую семью“, они будут ко-со поглядывать на попечение славян о своей поэзии, и славянам придется жить не припеваючи и самостоятельно, а с покорностью и подчинением», — говорится далее в рецензии. Этого не понимают славянские поэты и все вообще славяне, поэтому они и сочувствуют панславистам, видя в них своих благодетелей. Таким образом, дружба и любовь славянских поэтов основывается на недоразумении, — так заключает Пыпин свой отзыв. В рецензии есть еще следующие слова: «Какова бы ни был цель панславизма, посмотрим, как достигают этой цели „Отголоски славянской поэзии“, способны ли они пробудить в русском обществе сочувствие к славянскому миру и его поэзии. Если в славянской поэзии нет произведений лучше тех, какие приведены в „Отголосках“, и если переведенные так же хороши и в оригинале, как в переводе, то действительно славянская поэзия достойна жалости, и „Отголоски“ ее способны возбудить сострадание к ней, а не то что сочувствие»³⁰.

Следует констатировать, что первая часть этой рецензии имеет мало отношения к взглядам Петровского — он не был панславистом такого типа, против которого автор рецензии направлял свой сарказм. Ни в публицистических работах, ни в научных сочинениях, ни в переписке М. П. Петровский никогда не высказывал мысли об объединении славян под главенством России. Он был сторонником славянской литературной и культурной взаимности в духе первых славистов дореформенного периода. Воспитанный В. И. Григоровичем, Петровский до конца жизни благоговел перед своим учителем, разделял его романтическое отношение к славянскому литературному и умственному сотрудничеству, а в своих работах о Григоровиче подчеркивал именно эти черты его мировоззрения как главные и позитивные. Один из биографов Петровского отмечал, что этот ученый был человеком 50-х гг.: «Люди этого времени, столь же пламенные идеалисты, как и их учителя (люди 40-х годов), отличаются от последних меньшим теоретизмом и абстракцией в мышлении и более фактическим изучением культуры и общественности в прошлом и настоящем русского народа и его взаимных отношений к западным романо-германским племенам и соплеменным нам славянам. Это были новые „западники“ и „неославянофилы“»³¹. Таким образом, публицистический пафос рецензента Пыпина был направлен не по адресу; он просто воспользовался очередной возможностью выступить против своих идейных противников. Что же касается второй

части рецензии Пыпина, где говорится об одностороннем наборе произведений славянских поэтов, то это замечание вполне справедливо. В рецензии на «Отголоски», помещенной в журнале «Отечественные записки», также отмечалось, что выбор произведений для перевода оказался непродуманным и случайным; но сами переводы признавались удовлетворительными, а издание сборника — «полезным и необходимым»³². Впрочем, у читающей публики сборник успеха не имел, о втором его издании не могло быть и речи³³.

М. П. Петровский учел критику и стал обращать более серьезное внимание на отбор произведений для перевода. В 1861 г. появляется перевод «Тирольских элегий» К. Гавличка³⁴, а позднее и находившейся под запретом сатирической поэмы того же автора «Крещение св. Владимира». Переводами произведений славянских писателей Петровский занимался практически до конца жизни, в их числе были сочинения К. Я. Эрбена и Божены Немцовой, Ивана Неруды, Яна Коллара и др. К концу своего творчества Петровский обратился к переводам прозы чешского беллетриста К. В. Райса. В 1899 г. он опубликовал в Казани его роман «В чешской школе», а затем еще два его рассказа — «Один из многих» («Русская мысль», 1901, № 12) и «Брулька» (Там же, 1903, № 5).

Петровский перевел на русский язык произведения не только чешской, но также и польской, сербохорватской, болгарской литературы, как и литературы неславянских народов. Болгарские и словенские народные песни, стихотворения сербских поэтов (Мажуранича, Боговича, Прерадовича и др.), словенских (Прешерна, Цангара) и чешского поэта Тупы (Яблонского) были помещены в переводе Петровского в сборнике «Поэзия славян» (1871). Славянофильская «Беседа», выходявшая в Москве, встретила появление антологии самым положительным отзывом. Рецензент «Беседы» считал, что собранные в антологии образцы славянской поэзии свидетельствуют об идеалах славян, об их патриотизме и любви к своему народу.

М. П. Петровский подошел к этому сборнику не только как переводчик, но и как ученый-славист. В письме к Гербелю от 27 ноября 1871 г. он писал: «Главный недостаток книги — это известного рода „полнота“, с одной стороны, и неполнота, с другой. Многие имена, Бог весть зачем, появляются в Вашей книге, а некоторых необходимых нет; или из некоторых замечательных поэтов приведены до того незначительные отрывки, что они не могут дать никакого понятия о писателе, или дают превратное. <...> В выборе писателей и их произведений редакция, конечно, руководствовалась мнением самих славян, но, говоря откровенно, составители всех славянских хрестоматий — плохие судьи в этом деле. Мне не только известны все подоб-

ные хрестоматии, но и все составители их лично. Для того, чтобы выбор поэтических произведений имел объективное художественное значение, составителю нужно быть поэтом, а посему только известная русская хрестоматия Щербины³⁵ и удовлетворяет предположенной цели. У других славян нет ничего подобного; везде благодаря их незавидному политическому положению (их пресловутому конституционному животу³⁶), везде погоня за патриотической фразой, иногда прикрытой неглубокой таинственностью, а чаще и ничем не прикрытой, бесформенной, неуклюжей. <...> Пусть восхищается известная доля чехов какой-нибудь „коваржской“ песнью Ригера, но для русской публики в ней ровно ничего нет! <...> А стихотворения Шафарика, Палацкого, Кагельца? Нет, лучше бы их именам вовсе не появляться в Вашем сборнике! А то пожалуй просвещенная Русь вообразит, что они первостепенные поэты и будет судить о них по переводам их стихков! Не говоря уже о легионе имен, без которых, право, обошлась бы Ваша книга³⁷».

Публицистическая деятельность Петровского тоже началась еще до его командировки за границу. В 1859 г. он опубликовал статью «Библиографический обзор современной журналистики в Австрии»³⁸. В ней автор рассматривает периодические славянские издания — журналы, газеты, альманахи, — в которых звучит «струя славянской взаимности». О науке славян Петровский был невысокого мнения, он говорил: «Среди криков желанной свободы и мнимого торжества над чуждым гнетом редко слышится здоровый единоспасительный голос науки, долженствовавший в так называемых интеллигентных классах направлять движения народных идей. Почти все живое и деятельное ударило в политику, не замечая, что среди разрозненных славянских интересов, среди центробежных и центростремительных теорий их вождей нет выхода на вольный свет. Сознание славянами их настоящих сил должно состояться в науке, сделавшейся единственным сосудом, хранящим все залогом будущности славянина; в науке, дающей широкое понятие о славянской народности онемечаемых поколений, — в науке, сделавшейся синонимом самосознания, на единственно верном пути к сближению и умственной взаимности с братьями, разделенными историей³⁹». Поэтому Петровский выделяет те органы печати, которые «увлекаются» изучением старины, археологией, древним бытом, а не настоящим положением народных масс. Самой живой идеей современности Петровский считает обращение к старине, что было характерно вообще для славянофильской публицистики.

Статьи в российские славянофильские издания Петровский писал и находясь в ученой командировке за границей. Так, в газете «День» были в 1862 г. опубликованы его «Письма о Чехии»⁴⁰.

Как уже упоминалось, в период своего пребывания в Пеште и Прессбурге М. П. Петровский основательно изучал положение словаков и состояние их литературы. По этим вопросам он посылал в газету «День» свои «Письма из Песта», опубликованные в 1862 г. под названием «Магьяризм и словаки»⁴¹.

Возвратившись в 1863 г. из заграничной командировки, Петровский стал единственным преподавателем славяноведения в Казани, поскольку В. И. Григорович ушел в отставку. Петровский занял кафедру, оставленную Григоровичем, в должности «преподавателя», так как не имел еще магистерской степени. В 1866–1867 гг. он опубликовал в «Ученых Записках Казанского университета» свою магистерскую диссертацию «Материалы для славянской диалектологии», которую однако не закончил и к защите не представил⁴². Для этой работы автор использовал громадный материал, пересмотрел массу сборников и периодических изданий и дал очень ценный для своего времени свод характерных черт каждого рассматриваемого «наречия»: болгарского, сербохорватского, словинско-хорватского, чешско-моравского, верхнелужицкого, нижнелужицкого. «Образцы живой славянской речи», составленные Петровским⁴³, являлись интересной хрестоматией, которой можно было пользоваться как для перевода, так и для изучения диалектических особенностей славянских языков.

Впрочем, самого Петровского работа не удовлетворила, и 6 ноября 1866 г. он писал А. Патере: «В Ученых Записках Казанского университета печатается моя работа „Материалы для славянской диалектологии“, которая так мне не нравится, что я даже не хочу пускать в свет отдельные ее оттиски. Только для приятелей оттисну несколько экземпляров. Немедленно по окончании печатания примусь за разработку своей работы»⁴⁴. Но ни переделки, ни нового издания не последовало.

В качестве преподавателя славистики Петровский читал в университете следующие курсы: характеристика славянских наречий; история славянских литератур; введение в изучение славянской филологии; обозрение церковнославянского, новоболгарского и сербского языков; особенности хорутанского и сербского языков; особенности чешского, польского, верхне- и нижнелужицкого и русских наречий. На 3 и 4 курсах Петровский давал обзор польской письменности, а также письменности сербов и хорутан. Об объеме и содержании этих курсов сведений найти не удалось, но сам Петровский в 1863 г. писал А. Патере: «Я читаю в университете курс истории и литературы славян и обозрение славянских наречий. О том, в каком объеме читается сие последнее в Казани, Вы можете судить по литографированным лекциям Григоровича, завезенным мне в Прагу Масловым»⁴⁵.

Студентов у Петровского было мало, что объясняется трудностью специализации по читавшимся им дисциплинам. Рекомендую одного из своих учеников — И. А. Снегирева — для приготовления к профессорскому званию, Петровский отмечал, что трудно рассчитывать на появление человека, который посвятил бы себя столь сложной дисциплине, обнимающей и сравнительную грамматику всех славянских наречий, и историю литературы всех славянских племен, и славянские древности или «первобытную историю всех славян»⁴⁶. В 1872 г. Петровский по семейным обстоятельствам (болезнь отца) оставил службу в университете и уехал из Казани. Историю славянских литератур читал в это время его бывший слушатель С. Булич.

В 1874 г. М. П. Петровский стал преподавателем Казанского университета по кафедре славянской филологии. Об этом свидетельствуют официальные документы⁴⁷, а также письмо Петровского Патере от 16 января 1875 г. из Казани, в котором читаем: «Я приглашен снова в университет и читаю лекции частным преподавателем. Это предложение принято мною только потому, что зиму я должен прожить в Казани».

Но Петровский задержался в университете на целых 9 лет. В 1875 г. совет Казанского университета «за ученые труды и многолетнюю деятельность» возвел Петровского в степень доктора славянской филологии *honoris causa* и 27 мая избрал его ординарным профессором по кафедре истории и литературы славянских наречий. Как указывают его биографы, в этот период своей педагогической деятельности профессор М. П. Петровский сосредоточился на истории славянских литератур, а славянские языки преподавал с 1877 г. вернувшийся из-за границы И. А. Снегирев (на положении приват-доцента).

М. П. Петровский читал литературу польскую и серболужицкую, далматинскую, сербскую (с начала XVIII в.), болгарскую, а также хорватскую и словенскую. Преподавал он также славянские древности, читал историю болгар, историю чехов до 1620 г. и историю польского народа до конца XVI в. — наряду с курсом польской историографии⁴⁸. Уделяя много времени подготовке лекций, Петровский стремился приобретать новейшую литературу и постоянно просил А. Патеру присылать ему свежие издания. В своей преподавательской практике Петровский уделял большое внимание серболужицкому языку и литературе. Они характеризовались в его лекциях; а в одной из статей о Петровском встречается известие, что студент Булич даже написал работу на тему «История языка и литературы лужицан»⁴⁹. Заметим, что в преподавании славянских языков и литератур Петровский точно следовал программе учебного процесса кафедры славянских наречий.

Наряду с работой в университете Петровский преподавал славянские языки и в других учебных заведениях. Таким образом, он стремился помогать распространению знаний о славянах.

В Казанском университете Петровский проработал до 1885 г., а 6 октября этого года был по собственному прошению уволен. Биографы начала XX в. полагают, что причиной раннего ухода Петровского было введение в 1884 г. нового устава, по которому — при небольшом числе студентов историко-филологического факультета в Казани — невозможно было нормально поставить преподавание славяноведения⁵⁰.

Ко времени отставки Петровский был уже известным ученым. Особенно усиленно он разрабатывал сюжеты по древней церковнославянской литературе. Это — отдельные мелкие исследования и заметки, а также издания произведений церковнославянской литературы в переводах, преимущественно по сербским спискам. К изучению памятников письменности Петровский подходил весьма тщательно и работал над ними подолгу. Свидетельством тому служит, например, обращение казанского слависта к Патере за рядом уточнений. Так, в июне 1883 г. Петровский обсуждает с Патерой качество текста о Брунцвике — присланный его не устраивает (он «плоховат»); далее он пишет: «Дивлюсь только тому, что многократные мои поиски в Праге изделий (т. е. изданий. — Л.Л.) Ганки постоянно встречали неудачу. Почти все труды Ганки удобоприобретаемы и у меня имеются, а Брунцвика никак не попадалось. Я уже просил О. И. Коларя поискать для меня эту вещь (т. е. редкость. — Л.Л.). Русский текст Брунцвика по рукописи, мне принадлежащей, я обработал тщательно, но не мог придти к положительному выводу — с какого текста оригинала сделан перевод, хотя и доказано, что несомненно с чешского подлинника, а не с польской переделки или перевода, как привыкли у нас думать о позднейших литературных явлениях светского характера»⁵¹.

Для истории славянского языкознания и литературоведения представляет также интерес — кроме «Материалов для славянской диалектологии» — и перевод «Истории сербо-хорватской литературы» И. В. Ягича (1871), а также рецензия Петровского на издание собрания сочинений П. Й. Шафарика⁵².

Для истории славяноведения в России весьма ценными, не утрачившими научного значения и в настоящее время, являются работы М. П. Петровского о жизни и трудах его учителя В. И. Григоровича. Благодарный ученик проявил не очень часто встречающееся благородство, осветив деятельность одного из основателей славяноведения в России на материале источников и в соответствии со своими взглядами на историю науки о славянах в целом.

Первой работой Петровского о В. И. Григоровиче явилась рецензия на вышедшее в 1877 г. второе издание труда последнего «Очерк путешествия по Европейской Турции»⁵³. Главное место в рецензии занимают сведения о жизни Григоровича, которая представляется Петровскому достаточно драматичной, ибо его труды «ценимы были по достоинству только незначительным числом лиц», понимавших значение идей и открытий ученого⁵⁴. Автор рецензии констатирует, что Григорович трудился вдали от центров ученой деятельности, а это было не только несправедливо, но и отрицательно влияло на развитие науки, так как Григорович не успел обнародовать «может быть и десятой доли своих открытий». — «Пока он жил и действовал, — подчеркивается далее в рецензии, — его игнорировали собратья по оружию. Изредка, в общих выражениях, почтительно отзывались о нем по поводу какого-нибудь его открытия, а затем снова усердно отмалчивались до нового труда, о котором нельзя же было все-таки не сказать двух слов, чтобы пополнить какой-либо красноречивый отчет о своей деятельности»⁵⁵.

М. П. Петровский отмечает, что лучшие свои труды Григорович опубликовал в Казани. К ним принадлежит и «Путешествие по Европейской Турции». Книга составлена по отчетам, которые представлялись Совету Казанского университета, и содержит материал высокой степени достоверности. Петровский подчеркивает, что книга открыла ученому миру массу «дотоле неизвестных древнеславянских памятников болгарской и сербской редакции, которым суждено было впоследствии занять много страниц в истории древней письменности южных славян»⁵⁶. Между тем, хотя книга Григоровича и вносила в науку славяноведения массу нового материала, без усвоения которого немыслима история литературы восточных славян, она была в 1848 г. издана мизерным тиражом и «читать ее могли лишь несколько десятков лиц; но публике, привыкшей глотать пережеванную пищу, книга Григоровича, переполненная библиографическими указаниями неведомых миру славянских и греческих рукописей, представляла тяжелый неудобоваримый материал»⁵⁷.

В этой оценке книги Григоровича М. П. Петровский уловил главное ее значение: стать справочником и источником для всех, кто интересуется древнеславянской письменностью, литературой, языком; это действует и до настоящего времени.

В следующей статье о Григоровиче, опубликованной в 1883 г.⁵⁸, Петровский рисует картину подготовки Григоровича к ученому путешествию и разбирает его наметки этого мероприятия. Освещая деятельность Григоровича в ее казанский период⁵⁹, Петровский наиболее ярко зарекомендовал себя как сторонник теории славянской

взаимности при российском первенстве в культурном процессе и при большой антипатии к немцам. Очерк начинается с утверждения, что славянский мир стал поглощаться миром немецким, но чехи и моравы восстали на защиту славянства; они стали также и изучать славян. Автор характеризует деятельность Добровского, который, по его мнению, затронул все вопросы славянского языкознания и подал последующим ученым пример того, как следует подходить к пересмотру всех данных науки. Кратко остановившись на главных трудах большинства зарубежных и русских ученых, которые были распространителями новых идей в области науки, Петровский далее замечает, что материал древнеславянской литературы «...был не только не обследован, но и не приведен в известность; не ясно было дело и со славянским алфавитом. Для нового исследования этих вопросов нужны были новые материалы. За ними и отправился Григорович»⁶⁰.

Изложив на основании документов ныне хорошо известные, но в то время в значительной мере новые факты биографии Григоровича, Петровский останавливается на двух его работах раннего периода — на «Кратком обозрении славянских литератур» (Казань, 1841) и на «Опыте изложения литературы славян в ее замечательных эпохах» (Казань, 1842). «Краткое обозрение...» Петровский называет «прекрасным трудом» и отмечает: «В живой картине, яркой и вполне оригинальной, автор представил судьбы славянской литературы эпохи ее процветания и времени ее упадка у различных народностей и заключил мысль о взаимности — иногда рациональной, иногда случайной — между славянскими явлениями в мире слова»⁶¹.

Что касается «Опыта изложения литературы славян...», представлявшего собой магистерскую диссертацию Григоровича, то Петровский подчеркивает: «В труде этом, обнимающем литературные явления у славян с IX до начала XV в., Григорович дал образец того, как следует излагать судьбы литературы при той взаимности между ними, которая громко говорит о солидарности духовных интересов всего славянского племени»⁶². Далее автор подробно разбирает содержание диссертации. В качестве ее недостатка он отмечает, что диссертант напрасно не воспользовался трудами ни Мацеевского, ни Шафарика. Заключая свою оценку, Петровский констатирует, что «труд Григоровича при жизни его прошел незамеченным в ученой литературе. Его ставили даже на одну доску с жалкой компиляцией Тальви», но после смерти ученого эту работу оценил Котляревский⁶³.

Отзыв Петровского о диссертации Григоровича явно необъективен. Современникам, да и славистам более позднего времени, была хорошо известна отрицательная оценка П. И. Прейсом диссертации Григоровича, так что едва ли прав его ученик, обращая внимание

только на идею славянской взаимности, красной нитью проходящую через труд Григоровича, и умалчивая о тех промахах, которые подметил Прейс. Заметим, что в 1897 г. Петровский опубликовал рецензию Прейса на диссертацию Григоровича⁶⁴. К этой публикации он добавил также ответ Григоровича Прейсу в виде «Донесения» казанского профессора от 2 июля 1843 г., которое было представлено попечителю Казанского учебного округа Мусину-Пушкину; здесь Григорович не соглашается с критикой Прейса.

Петровский обнаружил также письма Прейса к Срезневскому и статью последнего «На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе». Рецензия Прейса и ответ Григоровича взяты были Петровским, как он указывает, из актов Казанского университета. Своих комментариев к документам Петровский не приводит.

Представляется, что уже в противоположности взглядов Прейса и Григоровича на развитие литературы у славян до середины 40-х гг. XIX в. можно усмотреть начало той борьбы между «западниками» и «славянофилами», которую продолжали в пореформенный период А. Н. Пыпин, с одной стороны, и В. И. Ламанский, с другой. Петровский был в том лагере, который возглавлялся Ламанским, хотя между этими учеными и существовали разногласия по ряду принципиальных вопросов.

Что касается статьи М. П. Петровского «В. И. Григорович в Казани», то кроме изложения материала о ранних работах Григоровича в ней автор подробно освещает его путешествие в Европейскую Турцию и открытие им древнеславянских памятников, в результате чего, по мнению Петровского, «мысль о древности глагольского алфавита, поддержанная открытием глаголических памятников на юго-западе Болгарии, все более и более приобретала вероятность у Григоровича; но несмотря на свои открытия и находки, вполне уже опровергавшие мысль Добровского и его последователей о позднейшем изобретении глаголицы, наш ученый еще не решался тогда высказать мысль о древности глаголицы сравнительно с кириллицей»⁶⁵. Осветив вопрос о том, какие рукописи нашел Григорович в Румынии, в Любляне, в архиве Венеции, какую работу выполнил в Загребе, М. П. Петровский констатировал, что в Праге «вместе с Шафариком, в трудах которого сошлись все лучи света славянской науки, Григорович проштудировал все свои рукописные драгоценности, вывезенные из-за Дуная. В последующих трудах своих Шафарик уже не мог обойтись без открытий Григоровича»⁶⁶.

Полностью соглашаясь с последним утверждением Петровского (ибо аналогичные данные имеются, в частности, также и в переписке между Шафариком и Григоровичем⁶⁷), подчеркнем, однако, что Гри-

Григоревич большую часть открытых им рукописей переправил в Россию еще до посещения им Праги, так что с Шафариком они штудировали далеко не все памятники, которыми располагал Григоревич.

Оценивая сочинение Григоревича «Очерк путешествия по Европейской Турции», Петровский констатировал, что оно «открыло новый материк с неизвестными до того обитателями. Вся история древнеславянской письменности, все исследования об языке восточной половины Балканского полуострова должны были принять новый вид. Постройка их должна была производиться из того вновь открытого материала, который лежал в забросе до прибытия туда нашего ученого славянина»⁶⁸.

Затем Петровский освещает деятельность Григоревича по возвращении из путешествия в Казань. Эта деятельность выражалась в чтении лекций не только в университете, но и в «Казанском обществе любителей отечественной словесности», действительным членом которого Григоревич был избран в 1847 г. В 1861 г. Григоревич прочитал «Речь о значении церковно-славянского языка», где выразил мысль о более древнем происхождении глаголицы в сравнении с кириллицей и высказал свою аргументацию по этому поводу. Кроме того, Григоревич, по сведениям М. П. Петровского, читал публичные лекции, и в 1861 г. напечатал программу трех из них: О возникновении славянской письменности у болгар; О сочувствии южных славян к преобразованиям Петра Великого, выраженном в их словесности; О Яне Амосе Коменском. «Чтения Григоревича посещались очень немногими. Восточный город относился равнодушно к славянским штудиям ученого», — констатирует Петровский⁶⁹. Остановившись на работах Григоревича по древнеславянскому и церковнославянскому языку, Петровский заключает: «Последним произведением Григоревича была его речь, произнесенная на древнеславянском языке во время празднования 1000-летия Руси. В 1863 г. Казанский университет поднес ему диплом на степень доктора славянской филологии»⁷⁰; а в 1865 г. Григоревич уже работал в Новороссийском университете.

В своих работах о В. И. Григоревиче М. П. Петровский создал идеальный образ ученого, человека, учителя, «тихого гения», непризнанного и гонимого при жизни. Не соглашаться с этой панегирической характеристикой побуждают нас несколько причин. Из других источников видно, что непопулярность лекций Григоревича объясняется не только малым интересом общества Казани к славянским предметам, но и личными качествами ученого, не располагавшими к тому, чтобы он мог иметь много учеников. Безусловная высокая ученость и фанатичная преданность науке не могли быть оценены по достоинству молодыми студентами, которые всегда первоначально

оценивают внешнюю сторону лекций профессора, их занимательность, и лишь со временем — их глубину и значение. В. И. Григорович, по воспоминаниям современников, не отличался большими ораторскими способностями. Его личные психологические качества — робость, застенчивость, самоуничижение, скрытность — не располагали к общению. Известности открытий и идей Григоровича не благоприятствовали общественные условия в России: господство цензуры — в том числе церковной, малое количество научных изданий, консервативность провинциальных нравов и т. п. Специалистами отмечались и недостатки в работах Григоровича. Всего этого М. П. Петровский решил не касаться, для своего очерка он подобрал соответствующие его взглядам источники и нарисовал односторонне идеальный образ учителя. Однако значение новаторской деятельности Григоровича в науке о славянах, его научные подвиги М. П. Петровский оценил правомерно, что и подтвердило дальнейшее развитие славяноведения, особенно в XX в.

В 1893 г. М. П. Петровский опубликовал еще одну статью о Григоровиче⁷¹. Писал он и о других славистах⁷².

Уйдя в отставку в 1885 г., М. П. Петровский еще 46 лет работал в области славяноведения. Биографы насчитывают 68 названий его работ, включающих научные и публицистические труды, а также переводы. В декабре 1895 г. М. П. Петровский был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук, а в 1900 г. — заграничным членом Чешской Академии наук и искусств в Праге⁷³.

В научной и педагогической деятельности Петровского большую роль играли его контакты со славянскими учеными и работа в библиотеках и архивах славянских стран. Выше отмечалось, что Петровский не раз выезжал за границу. Но чаще всего он посещал Прагу, подолгу живя в этом городе, считая его самым высоким по культуре славянским центром. В Праге Петровский был 8 раз. Много лет он вел переписку с целым рядом славянских деятелей. Наиболее интересными представляются его письма к А. Патере, охватывающие период более чем в 40 лет. Основным содержанием писем являются заказы на приобретение книг по славяноведению, которые Петровский получал через Патеру практически из всех славянских стран. Казанский славист посылал чешскому ученому обширные списки изданий, в которых нуждался; в значительной мере благодаря именно услугам Патеры Петровский сформировал свою славянскую библиотеку, а также пополнил библиотеку Казанского университета славистической литературой.

Петровский регулярно информировал общественность о новинках литературы о славянах, выходящей в России. Так, в письме от

23 декабря 1865 г. он сообщает: «На Руси — по обыкновению — трудов по славянщине весьма мало; недавно только вышли в свет: 1) Обзорение югославянских (древнейших) памятников Срезневского, 2) Кирило-Мефодиевский сборник (под редакцией Погодина). Это последнее издание лучше всех книжек, изданных под тем же названием у Вас в Австрии. В него вошли материалы и исследования и прежде изданные, и новые. Словаря Даля вышел 12-й выпуск, которым оканчивается второй том издания. В „Чтениях“ (Бодянского) печатается превосходное собрание песен Галицкой и Угорской Руси, собранное Головацким». — А 15 февраля 1867 г. Петровский извещает Патеру, что «Срезневский помещает в приложении к Ученым Запискам Академии „Сведения о малоизвестных памятниках старославянской письменности“, — заметки очень любопытны. Интересна и его статья „По поводу издания всеславянского словаря“, в которой он высказывает следующую важную мысль, не имеющую шансов понравиться многим филологам, особенно Миклошичу: „Надобно иметь под руками возможно полный набор слов чисто старославянских, древних, не смешанно с теми словами, которые употреблены в памятниках, сохраняющих труды писателей и переводчиков болгарских, сербских, русских. Если основателем общеславянского словаря будет пренебрежено это условие, то в старославянском наречии скроются и смешаются наречия: болгарское, сербское и русское“. — Остается желать, чтобы сам Срезневский выполнил такую задачу».

Сообщая о выходе в свет книг своих идейных противников, М. П. Петровский дает волю своей неприязни к ним. Так, об «Очерке истории славянских литератур» А. Н. Пыпина он 13 мая 1866 г. пишет: «Удивляюсь мирному, даже лестному отзыву Národa (чешская газета. — Л. Л.) о книге Пыпина; ведь сей ученый муж, не говоря уже о воззрениях на славянские цуштенда (т. е. нем. Zustände — обстоятельства, условия. — Л. Л.) даже со стороны фактической не смыслит дѣла! Даже не знает, к какому веку относятся наличные древнейшие памятники славянской письменности! — Почтенная редакция „Современника“, в которой такое почетное место занимает г. Пыпин, была и есть тем апостолическим нунцием нигилизма, о котором писал даже Ваш Národ».

Враждебный тон ученого славянофильской ориентации по отношению в Пыпину вполне объясним. Однако, что касается фактических ошибок в книге Пыпина, то на них указывал не один славянский рецензент. Так, при переводе на немецкий язык материала о серболужицкой литературе было внесено столько исправлений по фактическому содержанию раздела, что возник по существу новый текст. Ошибки отмечались также чешскими и югославянскими ре-

цензентами и переводчиками. Следует подчеркнуть, что Петровский значительно превосходил Пыпина в знании фактического материала славянских литератур. А в тексте представления М. П. Петровского для его избрания в Чешскую академию он характеризуется как лучший знаток чешской литературы в России⁷⁴. Весьма глубоко был осведомлен Петровский и в вопросах о древнеславянских памятниках.

Наряду с информацией о новых книгах по славистике казанский ученый рассуждал в письмах и о политических событиях в России; так, 6 ноября 1866 г. он пишет: «На Руси так много нового, что сами русские еще не сознают многого, не знают даже о многом. Бесперывные преобразования сбивают с толку многих реакционеров, и, как прежде обвиняли Русь в застое, так теперь многие с неудовольствием смотрят на реформы, которые шевелят ленивыми мозгами некоторых господ. Заграничная пресса не в состоянии уразуметь много в этом роде, что дает, вероятно, простор „всяким хлюстам“ известного рода чесать языки с той стороны, с которой им это выгодно».

Весьма любопытны известия Петровского о новостях в области высшего образования в России. 1 сентября 1865 г. он пишет: «В Одесском университете нет пока ни одного студента на филологическом факультете» и не упускает случая побраниться: «Вот до чего довели возгласы русских прогрессистов о реальном образовании, забывающих о соединенной с ним неграмотности». И далее он сообщает, что в Казани «кипит сильная ученая (II) деятельность, в доказательство чего в конце сего года пришлем к Вам в музей шесть книжек Ученых Записок университета за текущий год. В Москве тоже предпринимается университетом подобное издание. В Киевских Университетских известиях переводится *Vergleichende Lautlehre* (сравнительная фонетика. — Л. Л.) Миклошича с отсутствием церковного шрифта».

Весьма скептически оценил Петровский перспективы одного из новых учебных заведений в России: «В Петербурге открыт филологический институт, — сообщает он 28 августа 1867 г. — Насколько я радуюсь этому, настолько же мне грустно, что Институт открыт в Петербурге. По моим соображениям ему лучше было бы быть в Москве, как центре государства. Пока еще ничего не известно, кто будет назначен в преподаватели. Директором назначен Штейнман. Если профессорами будут профессора университета, то проку в этом не будет, потому что дробление сил одного человека не ведет к добру, что и было на деле при осуществлении знаменитого Педагогического института. Многие пожилые деятели Петербургского университета ничего не делали в Педагогическом институте. <...> Русскую литературу будет преподавать в Институте г. Галахов, известный сочинитель истории литературы». Но были у Петровского для Патеры и ра-

достные вести, связанные с успехами лиц славянофильской ориентации. 29 ноября 1867 г. казанский ученый сообщает: «Лавровский издал весьма интересное исследование „Коренное значение в названиях родства у славян“. <...> Филология делает заметные успехи на Руси. Стоит только сличить какую угодно газету в настоящее время с тою же газетою, взятою шесть лет тому назад! Разница громадная! „Русская беседа“ и „День“ оказали громадную заслугу по уяснению вопросов славянской филологии». И хотя в пореформенный период уже многие издания неславянофильского направления публиковали материалы на славянские темы, Петровский присваивает пальму первенства именно славянофильским органам.

А 13 апреля 1871 г. Петровский информирует чешскую сторону, что «...вся грамотная Русь разделилась теперь на два лагеря: французский и немецкий. Первый лагерь, если и не отличается качеством, зато берет верх количеством, и оба забывают о своих задачах, о русском житье-бытье, а толкуют себе о Берлине и Париже. В числе защитников немецкого элемента встречаются и такие негодяи, как, например, какой-то сотрудник Петербургских Ведомостей (русских), недавно разрушавший в передовой статье панславистов, желающих покорить и обрусить всех славян! Хоть Вы и далеко живете от них, но, конечно, знаете, что таких идей завоевательных ни у кого и никогда на Руси не было, но тем не менее, думаю, и у Вас найдутся люди, которые поверят такому пошлому лжецу, получающему за свои писания по пятаку за строчку! Такие безотрадные выходки только у нас, на Святой Руси, и возможны. Желательно было бы, чтобы чехи не подумали так дурно о русских по одному негодному субъекту <...>. — Недавно вышла в свет книга Ламанского „Об изучении славянского мира на Западе“ (название не вполне точно. — Л.Л.) и книга Данилевского „Россия и Европа“, в которых весьма хорошо изложены взгляды чисто русских людей на славянство. Но западники петербургские не хотят серьезно относиться к таким серьезным трудам и пишут опровержения на ими самими выдуманные клеветы! Нет, не немцы опасны России, а те петербургские пролетарии, которые выдают себя за русских людей и носят к стыду нашему русские фамилии». Что же касается «чисто русского» направления, то Петровский видит его в журналах «Заря» и «Беседа».

По приведенным примерам из писем Петровского ясно, что казанский славист высказывал своему чешскому приятелю более откровенные суждения, чем мог себе позволить в публицистических статьях и устных выступлениях. Правда, А. Патера большинство оценок русского ученого не разделял, что видно из его корреспонденции с другими учеными, склонными к славянофильству. Дипломатичный

Патера считал возможным доброжелательно относиться к представителям разных направлений в русском славяноведении. Он рано разуверился в подлинности Краледворской и Зеленогорской рукописей, которую защищали большинство его русских корреспондентов, критически относился к Ганке, т. е. своему предшественнику в библиотеке Национального музея, наконец, был австрославистом в вопросах о будущем Чехии. Между Патерой и учеными славянофильствующего толка были расхождения; откровенные высказывания типа тех, которые позволял себе Петровский, не находили отклика у чешского ученого. Патера не высказывал своих мнений по политическим вопросам. Зато он всем русским друзьям помогал в приобретении книг, предоставлял возможность работать в библиотеке музея, а некоторым помогал и прочитывать рукописи, делая и библиографические справки. Каждый русский славист, работавший в Праге, считал Патеру своим другом, приписывая его «ученый энтузиазм» славянскому чувству.

Петровский имел как личные, так и письменные контакты также и с другими учеными славянами. Эти связи были ему необходимы для организации изучения славян в Казанском университете, для участия в развитии русского славяноведения вообще. В то же время письма Петровского (в частности к Патере) дорисовывают его облик как ученого, весьма эрудированного в вопросах славянской культуры, имеющего представление о современной жизни славян, но оценивающего все эти явления с позиций романтика-идеалиста.

В целом же казанский славист внес большой вклад — прежде всего в ознакомление русской общественности со славянскими литературами — благодаря своим переводам поэзии и прозы. Многие из этих произведений были ранее неизвестны в России. Весьма полезными были и публикации древнеславянских письменных памятников и других источников, осуществленные Петровским. Особенно важны для истории русского славяноведения его работы о Григоровиче, публично признавшие значение деятельности одного из родоначальников русского славяноведения не только для отечественной, но и для европейской науки о славянах.

Примечания

- ¹ Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Казанского университета. Казань, 1904. Ч. 1. С. 149–152; Корсаков Д. А. М. П. Петровский // Исторический вестник. 1912. № 7. С. 262–270; Францев В. А. М. П. Петровский [некролог] // Русский филологический вестник. Варшава, 1912. Т. 68. № 3–4. С. 241–243; Харлампиев К. М. П. Петровский // Ученые Записки Имп. Казанского университета. 1912. Кн. 8. С. 1–23; По-

- пруженко М. М. П. Петровский [некролог] // ЖМНП. 1913. № 1. Разд. «Современная летопись». С. 24–41; Отчет о деятельности ОРЯС АН за 1912 г. СПб., 1912. С. 28–29.*
- ² *Попруженко М. М. П. Петровский. С. 24.*
- ³ *Корсаков Д. А. М. П. Петровский. С. 264.*
- ⁴ *Попруженко М. М. П. Петровский. С. 26.*
- ⁵ *Ровда К. И. Чешская литература в русских переводах (50–60-е годы XIX в.) // Славянские страны и русская литература. Л., 1973. С. 141.*
- ⁶ Там же. С. 143.
- ⁷ Там же. С. 156.
- ⁸ *Ровда К. И. Русские славянофилы и чешская литература (50–60-е годы XIX в.) // Славянские литературные связи. Л., 1958. С. 29–71.*
- ⁹ Там же. С. 52.
- ¹⁰ В работах: *Ровда К. И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50–60-е годы XIX в. Л., 1968; Он же. Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур. 1870–1890 гг. Л., 1978; Он же. Поэзия Эрбена в русских переводах // Из истории русско-славянских литературных связей. М.; Л., 1963; Он же. Петровский Мемнон Петрович // Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиграфический словарь. М., 1979. С. 267–268.*
- ¹¹ *Левин Ю. Д. Н. В. Гербель и его антология «Поэзия славян» // Славянские литературные связи. Л., 1968. С. 95–123.*
- ¹² Там же. С. 117.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ *Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиграфический словарь. Минск, 1976. Т. 1. С. 184–185.*
- ¹⁵ *Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 222–223, 272.*
- ¹⁶ Напр.: *Чуркина И. В. Словенское национально-освободительное движение в XIX в. и Россия. М., 1978. С. 373; Она же. Россия и словенцы. Научные связи конца XVIII в. — 1914 г. М., 1986.*
- ¹⁷ *Беляева Ю. Д. Литература народов Югославии в России. Восприятие, изучение, оценка. Последняя четверть XIX — начало XX вв. М., 1979. С. 199.*
- ¹⁸ Там же. С. 350–251.
- ¹⁹ *Биографическая справка написана для представления М. П. Петровского в члены Чешской Академии наук и искусств в 1899 г.*
- ²⁰ РГИА. Ф. 733. Оп. 48. Д. 95. Л. 19–21, 30, 49, 66–77.
- ²¹ *Петровский М. П. Отчет о путешествии по славянским землям // Ученые Записки Имп. Казанского университета по отделению историко-филологических и политико-юридических наук. 1862. Вып. 2. С. 93–102.*
- ²² РГИА. Ф. 733. Оп. 48. Д. 95. Л. 66–77.
- ²³ Там же. Л. 70 об.

- 24 Там же. Л. 72.
- 25 Там же. Л. 73 об.
- 26 Там же. Л. 74.
- 27 Цит. по: *Чуркина И. В.* Россия и словенцы. С. 72.
- 28 Цит. по: *Ровда К. И.* Чешская литература в русских переводах... С. 142.
- 29 [*Пытин А. Н.* Рец. на кн.:] Отголоски славянской поэзии. М., 1861 // Современник. 1862. № 1. Разд. «Современное обозрение — Русская литература». С. 38–45. Статья не подписана, авторство установлено по материалам библиографии М. П. Петровского.
- 30 Там же. С. 38–44.
- 31 *Корсаков Д. А.* М. П. Петровский. С. 270.
- 32 Отечественные Записки. 1862. № 1. Разд. «Современное обозрение». С. 44.
- 33 Второе издание все же было осуществлено Нестором Петровским (сыном) в кн.: Отголоски славянской поэзии. Предисловие и комментарии Н. М. Петровского. Казань, 1913. 212 с.
- 34 День. 1861. № 11.
- 35 Имеется в виду: Пчела. Сборник, сост. Н. Ф. Щербиной. Изд. 2. СПб., 1866.
- 36 То есть «конституционной жизни».
- 37 Цит. по: *Левин Ю. Д.* Н. В. Гербель... С. 121. Письмо цитируется также в кн.: *Ровда К. И.* Россия и Чехия. С. 96–98.
- 38 *М.П-ий* [т. е. Петровский М. П.]. Библиографический обзор современной славянской журналистики в Австрии // Русская Беседа. 1859. Кн. 3. Разд. «Обозрение». С. 67–100.
- 39 Там же. С. 100.
- 40 ...ий [т. е. Петровский М. П.]. Письма о Чехии // День. 1862. № 22. С. 14–16; № 23. С. 14–16; № 24. С. 14–15; № 26. С. 14–15; № 27. С. 15–16 (от 10, 17, 24 марта, 5 и 7 апреля).
- 41 ...ский [т. е. Петровский М. П.]. Мадыаризм и словаки // День. 1862. № 48. С. 10–14; № 49. С. 12–16 (от 1 и 8 декабря).
- 42 *Петровский М. П.* Материалы для славянской диалектологии // Ученые Записки Имп. Казанского университета. 1866. №№ 4 и 5; 1867. № 2.
- 43 *Петровский М. П.* Образцы живой славянской речи. Материалы для славянской диалектологии // Ученые Записки Имп. Казанского университета по отделению историко-филологических и политико-юридических наук. 1864. № 2.
- 44 М. П. Петровский — А. Патере, 6 ноября 1866 г. из Казани // Literární Archiv Pamatníků Národního Písemnictví (Praha). Другие письма М. П. Петровского к А. Патере в этом же фонде.
- 45 М. П. Петровский — А. Патере, 17 октября (год не указан, вероятно, 1863).
- 46 Дело. 1872. № 30.
- 47 РГИА. Ф. 733. Оп. 149. Д. 91. Л. 68–71, 79.
- 48 *Харлампиев К. М.* П. Петровский. С. 11, 13–14.

- 49 Там же. С. 15.
- 50 Там же. С. 17.
- 51 М. П. Петровский — А. Патере, 19 июня 1883 г.
- 52 Вестник Европы. 1866. Т. 2 (июнь). Отд. 3. С. 76–90.
- 53 *М. П.-ий* [т. е. Петровский М. П.]. Письменные донесения В. И. Григоровича из Константинополя и его книга: Очерк путешествия по Европейской Турции. Виктора Григоровича. Изд. 2. М., 1877 // Вестник Европы. 1878. Т. 1. С. 896–906.
- 54 Там же. С. 896.
- 55 Там же. С. 896.
- 56 Там же. С. 904.
- 57 Там же. С. 897.
- 58 *Петровский М. П.* План путешествия по славянским землям В. Григоровича // Русский филологический вестник. 1883. № 3. С. 36–47.
- 59 *М. П.-ий* [т. е. Петровский М. П.]. Виктор Иванович Григорович в Казани (Библиографический очерк) // Славянское обозрение. СПб., 1892. Т. 2 (май — август). С. 229–264; Т. 3 (сентябрь — декабрь). С. 51–78.
- 60 Там же. Т. 2. С. 238.
- 61 Там же. С. 244.
- 62 Там же. С. 247.
- 63 Там же. С. 250.
- 64 *Петровский М. Григорович* и Прейс. К истории славяноведения на Руси // Известия ОРЯС АН. СПб., 1897. Т. 2. Кн. 3. С. 722–744.
- 65 Славянское обозрение. 1892. Т. 2. С. 256.
- 66 Там же. С. 261.
- 67 См. об этом: *Лантева Л. П.* Связи В. И. Григоровича с П. Й. Шафариком (по данным переписки) // *Studia bohemica*. К 70-летию Сергея Васильевича Никольского. М., 1992. С. 73–83.
- 68 Славянское обозрение. 1892. Т. 2. С. 263.
- 69 Там же. Т. 3. С. 73.
- 70 Там же. С. 74.
- 71 *Петровский М.* Первый ученый труд В. И. Григоровича // Русский филологический вестник. 1893. № 2. С. 208–228.
- 72 *Петровский М. П.* М. И. Касторский (1809–1866) // Там же. 1900. № 3–4. С. 279–290; *Он же.* Памяти И. С. Аксакова // Волжский вестник. 30 января 1886 г. № 24.
- 73 См.: *Ustředni Archiv České Akademie věd a umění v Praze*. 2463 Praes 17/12 900: 2661. 4/21.11.900. (документы, подтверждающие избрание М. П. Петровского 25 октября 1900 г. заграничным членом III отделения Чешской Академии наук и искусств).
- 74 *Ibid.* III tř. 18 listopadu 1899.

М. А. Робинсон
(Москва)

Академик В. Н. Перетц — ученик и учитель *

К 75-летию О. В. Творогова

Роль В. Н. Перетца как организатора науки широко известна. Нет ни одного специалиста по славяно-русским древностям, кто не слышал бы о его знаменитом Семинарии.

Материалы о деятельности этого научного сообщества публиковались самими его членами в период существования Семинария¹, присутствуют они и в статьях мемуарного характера². Известны достижения учеников Перетца В. П. Адриановой-Перетц, Н. К. Гудзия, И. П. Еремина (а также уже и их учеников), благодаря научной и организационной деятельности которых изучение древнерусской литературы не пресеклось в годы наиболее откровенного идеологического и политического давления и смогло постепенно освобождаться от навязывавшихся ему идеологических схем, по мере ослабления этого давления³. Однако за рамками научных хроник и исследований остается материал, характеризующий личные взаимоотношения учителя с учениками, те отношения, которые во многом формируют личность ученика и позволяют говорить о передаче не только собственно научных, но и продолжении общегуманитарных традиций в целом.

В связи с этим стоит обратить внимание на отношения самого В. Н. Перетца с его учителем А. И. Соболевским. Нельзя сказать, что мы располагаем большим и разнообразным материалом, касающимся столь специальной темы. Однако сохранилась более чем 30-летняя переписка ученых со времени окончания Перетцем Петербургского университета и до кончины Соболевского, переписка, охватывающая период с воцарения последнего русского императора и до начала сталинского «великого перелома», период нескольких войн и революций, крушения всего уклада жизни научной элиты, к которой, несомненно, относились оба академика Императорской Академии наук. За это время сам Перетц из «оставленного» Соболевским в 1893 г. при кафедре русского языка и словесности превратился в мэтра филологической науки.

Не получавший в это время стипендии и вынужденный преподавать в школе⁴, Перетц, однако не остался без внимания и поддержки

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ. Проект № 03-03-00075а.

своего учителя. Через два года, сдав магистерские экзамены, молодой ученый, увлекавшийся в то время славянским фольклором, еще не мог определиться с темой своей магистерской диссертации. Этот период совпал с длительной командировкой его учителя в славянские земли, которая, однако, не прервала общения Перетца и Соболевского. Писем Перетца не сохранилось, но весьма обстоятельные ответы Соболевского дают нам достаточно полное представление о проблемах беспокоивших молодого ученого. Причем Соболевский интересовался заботами ученика и поощрял его к их обсуждению. Так, 9 декабря 1895 г. он писал Перетцу из Праги: «Вы напрасно думаете, что я очень занят. Главная цель моей поездки за границу — отдых, и я занимаюсь здесь всего по три-четыре часа в день, и то не подряд. [...] Ввиду этого я отнюдь не прочь поболтать о каких-нибудь пустяках, не только побеседовать о серьезных материях, которыми интересуетесь Вы». Соболевский выражал готовность помочь Перетцу в приобретении необходимой литературы. «Вы желаете, — писал он, — иметь сборники сказок. Постараюсь приобрести для вас, что есть новейшего»⁵. Сообщал Соболевский ученику и о своих поисках и находках интересных рукописей во время своего пребывания в Львове и уже в Праге, делился соображениями об интересовавшем Перетца персонаже кукольного театра, Петрушке. Здесь же он информировал и о плане дальнейшего путешествия: «Последнее имеет быть по следующему маршруту (если не помешают политичес[еские] события и если я сам не передумаю): Вена, Загреб, Белград, София, Филиппополь, Константинополь, отечество»⁶.

Перетц отправил в Прагу только что вышедшую свою работу о кукольном театре⁷. Соболевский сразу же откликнулся и дал краткую принципиальную и строгую оценку работы. В письме от 26 декабря 1895 г. он писал Перетцу: «Книгу Вашу прочитал. Составлена аккуратно и интересно, но имеет большой недостаток: нет личного знакомства. У Вас Петрушка лишь то, что у Ровинского (и еще что у Алферова в Р[усских] Вед[омостях]); но можно б[ыло] бы сказать — право в десять раз больше»⁸. Далее ученый делился своими соображениями о принципах постановки кукольных пьес в вертепах, рекомендовал Перетцу книги для рецензирования. «Мужайтесь и держите!»⁹ — подбадривал Соболевский ученика. Как следует из дальнейшей переписки, Перетц посылал свою работу учителю не просто для ознакомления. Он был озабочен поисками подходящей темы для магистерской диссертации, кроме того, его интересовали возможности получения приват-доцентства. Ответ Соболевского содержал, с одной стороны, весьма строгие и трезвые оценки достижений ученика, а с другой — был полон абсолютной уверенности в его научных

возможностях. Итак, уже 9 января 1896 г. ученый писал: «Отвечаю на Ваши вопросы. Из „Кук[ольного] т[еатра]“ можно сделать диссертацию, но лишь такую, которая может пройти тихо, но может и вызвать шум и встретить препятствия. Ведь материала у вас немного и он весь чужой, а исследование не дает других выводов, кроме очень мелких»¹⁰. Здесь Перетц не только подчеркнул фразу в письме, но и сделал примечание на полях: «Верно!» Соболевский не напрасно подчеркивал уже во втором письме необходимость для ученого заниматься самостоятельными поисками новых источников. Это принципиальное положение Перетц поставил во главу угла в работе своего Семинария. Оно было четко сформулировано от имени его учеников в книге, отмечавшей пятилетие существования Семинария: «Главное, чего мы стремимся избегать — тем, где можно отделаться компиляцией по готовым пособиям, не обращаясь к источникам. Каждый должен научиться работать над сырым материалом, на „черном дворе науки“, как говорят некоторые ученые-белоручки; ибо без „черного двора“ — нельзя попасть в блестящие чертоги подлинного, прочного знания»¹¹.

Основным в письме Соболевского, однако, была не критика, а желание внушить ученику больше уверенности в своих силах: «А главное: Вы можете написать нечто гораздо лучшее: и более самостоятельное, и более скоро. Нужно лишь выбрать тему получше». Далее ученый не только разбирал предложения Перетца, но и предлагал наиболее перспективное, с его точки зрения, направление исследований. «Боюсь, — размышлял Соболевский, — что Ваша тема об отражениях Вел[икого] Зерц[ала] в нашей народной словесности с течением времени Вам самим покажется неудачной (трудно определить, что от Вел[икого] Зерц[ала], что от его источников и т. п.). Я бы вам посоветовал взять тему из той же области, но другую: о фациях и вообще мелких повестях светск[ого] характера. Мы до сих пор не знаем, к[а]к[ие] повести мы имеем, какова их история у нас, влияние на нар[одную] словесность и т. п. Эта область совершенно свежая, результаты, те или другие, будут интересны, Вы к ней имеете достаточно интереса и подготовки». Но ученый никак не навязывал ученику своего мнения. «Впрочем, — заключал он, — Вам самим лучше знать, что для Вас более подходяще»¹². Соболевский предлагал Перетцу форсировать процедуру, необходимую для получения приват-доцентства. «Немедленно, — рекомендовал он, — обратитесь к начальству (вер[оятно], к ректору) с просьбой о допущении Вас к пробн[ым] лекциям. Одна из них — на Вашу тему, другая — на тему факультета. Когда вы сбудете эту обузу и получите право прив[ат]-доцентуры, прочтите в одно ближайшее полугодие к[акой]-нибудь курсик (1 ч[ас] в неделю) и затем только числитесь в числе прив[ат]-до-

центов». Последнюю рекомендацию Соболевский мотивировал следующим образом: «Дело в том, что чтение лекций, увы, вещь совсем нелегкая, и занимаясь лекциями, Вы не имеете возможности, при других своих занятиях, работать над диссертацией. Иначе: что-ниб[удь] одно — работа над лекц[иями], или раб[ота] над диссертацией.[...] Само собой разумеется, против Ваших курсов я решительно ничего [не] имею. [...] Мне их высылать не трудитесь; мы лучше поговорим при встрече. Вы, конечно, должны взять себе курс по народной словесности». Завершал Соболевский свое письмо следующим пожеланием: «Вот Вам мои советы. Насчет формальностей справьтесь у людей бывалых. Я был в разных университетах, и у меня часто путаются в голове их порядки (здесь что город, то норы)»¹³.

Судя по следующему письму Соболевского, Перетц выполнил его указание начать дело с оформлением приват-доцентства, но при этом продолжал проявлять нерешительность относительно предстоящих пробных лекций. Не был он, по-видимому, и достаточно уверен в предложенной учителем диссертационной проблематике. Отвечая на вопросы ученика, Соболевский старался развеять его сомнения, поддержать и настроить на решительные действия. В небольшой открытке из Праги от 25 февраля 1896 г. Соболевский сумел ответить на все вопросы ученика. Прежде всего, ученый сообщал, о том, что выполнил некоторые книжные заказы Перетца: «Как-ниб[удь] побеседу пообстоятельнее, а пока след[едующее]. Знайте, что я Вам закупил довольно много сказок и, мож[ет] б[ыть], закуплю еще у словаков, но имейте терпение: мне не хочется платить несколько рублей на почт[овую] пересылку Ваших книжек». Далее, остановившись на проблемах Перетца с публикациями, Соболевский давал наставления ученику по тактике поведения при чтении пробной лекции. «Затем, — писал ученый, — не особ[енно] тоскуйте о „Библиографе“. Правда, окт[ябрь] близко. Р[усский] Фил[илологический] В[естник] может его заменить, он напечатает, что хотите, и собств[енно] статью, и заметку. Направляйтесь смело туда. Затем, Б[ули]ч на пр[обной] лекции быть не должен, есть Лам[анский]. А если будет, смело спорьте и не церемоньтесь: он знает очень мало, а думал еще меньше». И, наконец, Соболевский старался раскрыть перспективность рекомендуемой им темы для исследования: «Насчет фац[еций] не робейте: [нрзб.] ничего не опубликовал, а указал лишь №, и тема совершенно открыта. Сверх сборников фацец[еций] имеются отдельн[ые] повести, на них похожие, вроде повести о бражнике в раю, о Шем[якином] суде (о последней одной можно написать диссертаци[ю]). Если хотите, к ним можно присоедин[ить] мелк[ие] повести (отдельн[ые], вне сборник[ов]) не юмористич[еского] содерж[ания]». «Во-

обще, — завершал свои наставления Соболевский, — займитесь и увидите, что унывать нет нужды»¹⁴.

Соболевский просил Перетца выслать свою работу и некоторым чешским коллегам. Уже из Оломоуца он сообщал ученику: «Получил „Кук[ольный] театр“ и передал Зибрту, к[о]т[орый] принял с велик[ой] радостью и обязался в рецензии поместить библиографические указания на кук[ольный] театр у чехов (у них совсем не то, что у нас Петрушка)»¹⁵. Организуя Перетцу рецензии, Соболевский, однако, не скрывал от ученика и несколько скептическое отношение как к личным качествам Зибрта¹⁶, так и к его работам, одну из которых он охарактеризовал как «чудовищное произведение чешской учености»¹⁷. И вновь учитель подбадривал ученика: «Мужайтесь и дерзайте!»¹⁸

Известие о первой пробной лекции Перетца застало Соболевского уже в Белграде. Судя по содержанию его ответного письма и по тем пометкам, которые сделал на письме Перетц («Утешил! Спасибо!»), последний пребывал в состоянии крайней неуверенности в успехе своей лекции. Дело в том, что после лекции произошло некое, неизвестное нам выступление академика А. Н. Веселовского, которое Соболевский прокомментировал, опираясь на сообщение Перетца, чрезвычайно резко и эмоционально: «Что до глупой сцены, которую перед Вами разыграл Веселовский, то она Вас нимало не касается и если кому не приносит чести, так это самому актеру»¹⁹. В остальном ответ Соболевского должен был внушить ученику уверенность в полном успехе его лекции. «Все, что Вы сообщаете о своей пробной лекции, — писал Соболевский 12 марта, — свидетельствует лишь одно: что факультет относительно Вас не имеет никаких сомнений». Далее шло объяснение тех университетских традиций, которые могли быть неизвестны Перетцу: «Лекция выслушивается вся или почти вся, когда факультет колеблется, следует ли дать прив[ат]-доцентское звание или не следует. Она сводится к простой формальности, если факультет против дарования прив[ат]-доц[ентского] звания ничего не имеет. Итак, в этом отношении будьте спокойны»²⁰. Кстати, волнения Перетца действительно были напрасны, в 1896 г. он получил желаемое звание приват-доцента и начал читать лекции в Петербургском университете²¹. Как всегда, Соболевский интересовался у Перетца о необходимых ему книгах, которые возможно приобрести в Белграде.

Уже в следующем письме от 27 марта ученый подробно сообщает о состоянии книжной торговли, ее репертуаре, сопровождая информацию своими рекомендациями. Так, Соболевский отмечал: «Книжная торговля в Белграде такого рода, что я никак не могу Вам обе-

щать многого. [...] Можно наверное найти одни белградские издания, из новых и особенно из правительственных и академических; что до сараевских, новосадских, панчевских, то, пожалуй, кое-что, немного, найдется; а загребских нет нигде, также как и болгарских. Ввиду этого я могу Вам купить 3 (2–4) тома песен Вука и, помнится, 4 тома собрания сочинений Вука; только действительно ли желаете Вы иметь это последнее? Оно Вам едва ли особенно интересно в своем целом (спор об орфографии и т. п.)». «Впрочем, — продолжал Соболевский, — я еще осмотрю несколько магазинов»²². Кроме собственно деловой информации Соболевский дает очень колоритное описание этих магазинов и самого процесса книготорговли: «Если вы желаете представить себе белградский книжный магазин, зайдите на своем Екатерининском проспекте в какую-нибудь табачную лавочку и полюбуйте на нее. Впрочем, я уверен, что Ваша табачная лавочка лучше отделана, и что в ней нет надобности торговаться как на толкучем рынке. Вообразите, что книгопродавец, «поставщик королевского двора», один из лучших, запросил 12 динаров за то, что отдал за 3. Один книжный магазин особенно интересен. Это лавка с двумя дверями; над одной вывеска: колониальный магазин; над другой: книжный магазин. А лавка одна, колониальная, в которой одна стенка занята полками с книгами»²³. Так же как обстановку в чешских научных кругах и слабое знакомство русской науки с чешской литературой²⁴, Соболевский описывал и встречи с сербскими коллегами. И если относительно чехов ученый отмечал их активность, то сербы произвели на него противоположное впечатление. «Я расспрашивал здешних знакомых, — замечал Соболевский, — о разных разностях, меня интересующих, но успех невелик. Сербские ученые — какие-то сонные, апатичные, и я не ручаюсь за результат расспросов о кукол[ьном] театре. Думаю, что статей у сербов никаких нет и в этом отношении Вам поживиться нечем»²⁵. Поиски интересовавшей Перетца литературы в Белграде все же приносили некоторые плоды. «Нечто Вам закупил, — писал Соболевский 8 апреля, — и песен, и сказок, и осенью привезу. Ищу еще, но добыча вообще невелика»²⁶.

Помогая своему ученику книгами, научными рекомендациями и практическими советами, Соболевский думал и о введении его в более широкий научный круг. В 1896 г. в Риге планировалось проведение 10-го Археологического съезда. Фактически Археологические съезды, начало проведения которых относится к 1869 г., представляли все гуманитарные науки и привлекали сотни участников. «Я думаю, что Вам съездить в Ригу небесполезно, — писал Соболевский, — людей посмотреть и — главное — себя показать. Было бы не худо, если б Вы запаслись одним-двумя рефератами». Ученый рекомендовал

поподробнее разузнать о рижском съезде у кого-нибудь из членов Археологического общества²⁷.

Перетц в выборе темы для диссертационной работы проявил самостоятельность, не вняв рекомендациям учителя, хотя изучение фацетий его очень привлекало²⁸. Во второй половине 90-х гг. он одновременно занимался разными темами, в частности переводной древнерусской литературой, апокрифами и легендами и готовил несколько изданий. Но сосредоточился ученый на изучении истории украинской и русской виршевой и песенной поэзии XVI–XVIII вв. Результаты первого этапа исследований Перетц подготовил в виде издания²⁹ и магистерской диссертации, которую успешно защитил 5 ноября 1900³⁰. В следующем, 1901 г. выходит в свет второй выпуск «Материалов к истории апокрифов и легенд» («К истории Лунника»³¹), первый увидел в свет в 1899 г. («К истории Громника»³²). Окрыленный успехом, Перетц решил предложить эти работы в виде докторской диссертации. Здесь он не мог обойтись без совета учителя, и Соболевский выразил готовность поддержать смелое предложение ученика, сразу предвидя, однако, что дело будет непростым. В письме от 17 сентября 1901 г.³³ он предупреждал ученика: «Я лично не прочь дать Вам докторство за Гр[омника] и Лунн[ика] вместе, но, как Вы знаете сами, дело не во мне одном. Если бы Вы повидались с Шл[япкиным]³⁴ и потолковали, и всего лучше по возможности скоро? Ответ его сообщите мне немедленно!»³⁵ Судя по всему, обсуждение перспектив защиты Перетца продолжалось, и Соболевский, хорошо представлявший себе внутрифакультетский расклад сил, реально оценивал и пределы своих возможностей в поддержке ученика. Обо всем этом прямо и откровенно он писал Перетцу 31 октября 1901³⁶ г., дабы несколько остудить пыл ученика. Соболевский писал: «Я говорил Вам не раз и весьма ясно, что протащить Громн[ика] и Лунн[ика] через факультет возможно, хотя мой союзник Лавров сказал мне: я пойду за Вами, но уж Вы за все отвечайте. Но я никак не могу обеспечить Вам приличный диспут; здесь (помните диспут Погодина) всякий, не читавший диссертацию, может наговорить дерзостей диспутанту, благодаря выгоде своей позиции — безопасно, и пустить скверную молву; тем более Шляпкин, который кое-что смыслит и который может вздуть в громадный пузырь слабость исследования». «Итак, — спрашивал Соболевский, — есть риск. Есть ли надобность рисковать?» Соболевский пытался просчитать и дальнейшие перспективы научной карьеры ученика. Все свои соображения он излагал в том же письме: «Ваше желание — попасть в Киев. Но шансов у Вас мало, так как в Киеве уже имеется кандидат — Сперанский³⁷. [...] Итак, у Вас — Нежин. Туда берут свободно магистров. Стоит ли под-

вергаться опасностям скандала, когда для Неж[ина] докторство Вам не нужно?»³⁸ Несмотря на все эти предостережения, Соболевский все же не настаивал на их безоговорочном принятии и обещал свою поддержку в любом случае, оставляя окончательное принятие решения Перетцу. Он писал: «Вот мое рассуждение. Теперь: 1) если Вы желаете во что бы то ни стало рискнуть, представляйте Гр[омника] и Лунн[ика]; мой отзыв будет для Вас самый благожелательный; 2) если Вы хотите без скандала добиться скорого докторства, пишите в Юрьев Петухову; я к Вашему письму присоединю свою приписку или напишу свое письмо». Еще как один из вариантов действий Соболевский предлагал обращение в министерство народного просвещения. Но этот путь он полагал сопряженным с обязательными для ученика сложностями. «Если Вы вообще хотите попытать счастья, не боясь неудач и мелких неприятностей; вот Вам мой совет; — писал Соболевский, — немедленно составьте прошение или докладную записку к Ванновскому и проситесь в Киев. Я имею нек[от]орый опыт в писании деловых бумаг и готов Вам помочь; нужно кратко и ясно»³⁹.

Столь явное предостережение не торопиться и подготовиться основательнее, а также напоминание о защите А. Л. Погодина, судя по письму Соболевского, сопровождавшейся неприятными эксцессами, по-видимому, подействовали на Перетца. Он не стал спешить, дождался выхода в свет в 1902 г. третьего тома своих историко-литературных исследований и материалов, посвященных развитию русской поэзии в XVIII в.⁴⁰, и уже их защитил как докторскую диссертацию.

Даже материал процитированных писем дает определенный материал для понимания взаимоотношений учителя и ученика. Соболевский готов добывать необходимые для ученика книги, даже путешествуя за границей, не скрывает предстоящих трудностей и, с одной стороны, призывает ученика при уверенности в своих силах смело отстаивать свои взгляды, а с другой, не давать повода оппонентам использовать малейшую слабость работы и не всегда спешить с реализацией некоторых своих планов. Откровенно Соболевский судит и о научных возможностях и поведении своих коллег, вводя ученика в курс непростых отношений внутри научного сообщества. Мы полагаем, что, создавая свою школу, Перетц не забыл и уроки, полученные от своего учителя.

В 1903 г. уже в качестве экстраординарного профессора Университета св. Владимира Перетц переехал в Киев⁴¹. И если в 1901 г., еще до защиты диссертации, ученый сам стремился в Киев, то после успешной защиты в Петербурге это уже его не радовало. Вскоре после обоснования на новом месте ученый остро ощутил отрыв от своего петербургского круга друзей и знакомых, к тому же обострилась,

как он писал его, «чахотка». В самом начале октября 1903 г. Перетц жаловался Яцимирскому на то, что его забывают, что ни П. А. Лавров, ни Д. И. Абрамович не шлют так нужных ему книг. Он и старого друга просил: «Пособите и по части книг!» «Не удивляйтесь, — писал Перетц, — что я опять воссылаю Вам „слезное моление“ из этой окаянной дыры». Его теперешнее положение: «Просто горе»⁴². Далее он подкреплял свое мнение отсылкой к авторитету: «Вижу, как прав был один из величайших русских славистов — В. И. Григорович, не без злой иронии говоривший о забытых судьбой, заброшенных в провинции ученых!»⁴³ Однако внутренняя жизнь провинциального университета была достаточно бурной, и Перетц явно ощущал себя к ней причастным. Описывая выборы нового проректора, он отмечал: «Наш прогрессивный кандидат не прошел. Собрал из 60 всего голос[ов] 25. Но и черносотенный — около 12». Прошедшего кандидата он язвительно охарактеризовал — «ни богу свечка, ни черту кочерга». Заканчивал свое письмо Перетц весьма эмоционально: «Здоровье мое все хромает. Боюсь, что если не выберусь из Киева, то придется подыхать»⁴⁴. Интересно, что именно в эти же дни А. А. Шахматов, осведомленный о настроениях Перетца, писал ему: «Не печалуйтесь по поводу отсутствия из П[етербур]га. Вы забываете, что киевский климат лучше для Вашего здоровья, чем здешний. Кроме того, у Вас теперь досуг для составления цельных систематических курсов. Ученики, наверное, найдутся со временем»⁴⁵. Последнее предположение Шахматова оказалось удивительно точным: успехи Перетца, учителя и воспитателя нового поколения ученых, не заставили себя ждать.

Перетц, конечно, был не прав, полагая, что его стали в Петербурге забывать, прежде всего, это относилось к его учителю. «Скучно без Вас», — писал ученому Яцимирский в ноябре того же года. И продолжал далее: «У Алексея Ивановича всегда вспоминаем о Вас и жалею о Вашем отсутствии»⁴⁶. Именно Соболевский подробно и с комментариями информировал Перетца о делах в Петербургского университете, которыми его ученик продолжал живо интересоваться. Уже в сентябре в ироничной и даже несколько язвительной манере ученый описывал Перетцу состояние научных дел у своих учеников: «Ваши знакомые все заняты. Яц[имирский] усиленно печатает Цамблака; не важен, как-то смахивает по манере на труды Сырку. Козмин только что принес мне свое произведение о Полевом; тоже не в моем вкусе. Сип[овский] печатает свои списки; не видел еще, хотя я — редактор, говорит, конец — скоро. Каринского и Васильева я толкаю в спины, чтобы не мямлили; как будто К[аринский] подается, впрочем, я как-ниб[удь] потолкую с его женой; она — особа рас судительная»⁴⁷. Продолжала учителя заботить и оценка научных

успехов ученика со стороны Академии наук. Соболевский рекомендовал докторскую диссертацию Перетца на Ломоносовскую премию⁴⁸. О двойном успехе своих начинаний и материальном его выражении ученый сообщал Перетцу в краткой открытке в ноябре 1903 г.: «Поздравляю с Ломоносовской премией в 500 и толстовской медалью в 250. Хотели было медаль побольше, но нашли, что довольно!»⁴⁹ В мае 1904 г. Соболевский вновь сообщал Перетцу об университетских делах: «Сегодня А. Л. Погодин получил докторскую. Прошло более благополучно, чем я ожидал. Лавров сказал пустяки. Бодуэн тоже, только в заключение обругал; затем обругал Булич, наконец, поговорил с похвалой Жаков. Сев в начале 2-го, встали почти в 5. Никто из оппонентов главного не заметил; возились с опечатками, описками, критических талантов нам не хватает. Остальное — по-старому». Далее Соболевский сетовал на подрастающее поколение: «Комиссионный экзамен меня огорчил до зела, было так много глупых, что пришлось спрашивать даже о смягчении гортанных, и тут пришлось почти половине поставить неудовлетворительно. По-видимому, и у других тоже. Удивительно: куда-то исчезли у нас умные люди!»⁵⁰ Любопытно отметить, что Перетц «с осени 1904 г. начал организацию специального семинария»⁵¹, успешно доказывая, что умные люди среди студенчества отнюдь не перевелись.

Первая русская революция и общественно-политические изменения в обществе, которые она вызвала, сильно повлияли и на научное сообщество. Многие из деятелей науки открыто проявили свои политические пристрастия, вступив в различные партии, спектр которых был весьма широк, от крайне правых до леволиберальных. Перетц, еще со студенческой поры отличавшийся «неблагонадежностью»⁵², оказавшись в Киеве, увлекся украинофильством, отношение властей к которому колебалось от запретительного до умеренно разрешительного. Резко негативно украинофильство своих коллег воспринимали и ученые право-националистических убеждений, к которым принадлежал и Соболевский.

Начало профессиональной деятельности Перетца в Киевском университете, совпавшее с предреволюционными годами, вызвало пристальное внимание как местной, так и зарубежной прессы, за материалами которой по общественно-научной проблематике в Петербурге следил Соболевский. Ученый, проявив прекрасную осведомленность о состоянии дел с украинским вопросом, счел своим долгом в мягкой форме пожурить своего ученика. В марте 1904 г. Соболевский писал Перетцу: «А тут еще что-то странное в газетах о Ваших лекциях по малорусской литературе древнего периода (или XI в., не помню). *Slovanský Přehled* в последнем № сообщает как о перемене направ-

ления в политике министерства внутр[енних] дел, об этом обстоятельстве Галичанин полемизирует с кем-то (с Дилом) о значении этих ваших лекций. Полагаю, что Вы никакой малорусской литературы XI в. не нашли, что все старое остается пока по-старому, что Вы можете говорить о принадлежности Слова Иларiona и т. п. малорусской литературе только как о гипотезе; зачем же писать об этом в заглавии лекций? Ведь достаточно бы было сказать где-нибудь в самих лекциях, во введении, в заключение, разве затем, чтобы подразнить Флоринского, попечителя и еще кого-нибудь из местных не-украинофилов?»⁵³ В строках письма явно звучит даже не столько несогласие с постановкой вопроса Перетцем, сколько забота о нем, желание оградить его от возможных неприятностей по службе. Но увещевания на Перетца не подействовали. Он остался верен выбранной общественно-политической позиции, приобретя, кстати, в лице Т. Д. Флоринского непримиримого противника. Перетц видел в этом противостоянии моменты личной неприязни, что, однако, не мешало ему признавать за последним компетентность в научной области. Так, он спрашивал Яцимирского в письме от 30 июня 1905 г.: «Как Ваша дисс[ертация]? Удивляюсь, отчего Вы весною на всякий случай не сунули ее нашему Тимошке Флор[инскому]! У нас бы она прошла бы, т[ак] к[ак] личных мотивов — не встретила бы»⁵⁴. Не помешали Перетцу стойкие неприязненные отношения и выразить впоследствии свое негодование по поводу расстрела Флоринского большевиками⁵⁵.

Политика начала постепенно оказывать влияние и на внутреннюю жизнь научного сообщества. Активная политическая деятельность ученого могла послужить помехой его научной карьере, встречая не только неудовольствие властей, но и ученых коллег. И здесь Перетц и Флоринский, не ведая того, оказались конкурентами при выборах в Академию наук, правда, не сталкиваясь при баллотировке. Научные успехи Перетца были столь очевидны, что мысль о возможности его избрания возникла уже в 1909 г. В июле этого года А. И. Яцимирский, петербургский товарищ ученого, писал ему: «Недавно я говорил с П. К. Симионом о невозможности выборов Фл[оринского] в академики, и он сказал: „Вот Владимир Николаевич Перетц скорее может быть академиком. Почему ему не быть им? — Все данные“. В самом деле. Дай Бог!»⁵⁶

К этому времени «Семинарий русской филологии», с 1907 г. переросший рамки «обычного университетского „спецсеминара“, превратился в своеобразный научный кружок»⁵⁷, уже готовился к ставшим знаменитыми выездам «за пределы Киева для занятий и в крупнейших собраниях Петербурга и Москвы», начавшимся в 1910 г.⁵⁸ Одной из первоочередных задач Перетц полагал познакомить со своими

учениками Соболевского. В последних числах февраля, перед началом Великого поста (первая экскурсия в Петербург проходила с 20 февраля по 6 марта⁵⁹), он писал учителю: «Вот я уже со своими птенцами в Петербурге, они — в восторге от Петерб[урга]. Семеро сидят в Публ[ичной] б[иблиотеке], один в Синод[альном] Архиве. Прочие посещают музеи. Я все-таки в надежде, что Вы будете уже на первой неделе в Петербурге, и я смогу Вам представить мою молодежь. Я этого очень, очень хочу. И если Вам не очень трудно — исполните мою просьбу: сообщите то, когда позволите нагрянуть к Вам»⁶⁰. Еще в середине месяца Соболевский сообщал, что на первой неделе Великого поста он должен отправиться в Москву, там в Археологическом институте он «прочел небольшой курсик истории р[усской] литер[атуры]». На первую неделю планировалось провести экзамен, но приглашение запаздывало, и ученый находился «в недоумении»⁶¹. Письмо Перетца о приезде его Семинария в Петербург Соболевский получил уже в Москве. Дело с экзаменами передвинулось, и отвечал ученый: «[...] теперь просят остаться на первые дни 2-й недели. Сверх того, у меня есть и другие обязательства относительно 2-й недели и, между ними, публичная лекция для рабочих об славянской азбуке, в воскресенье 7 марта. Одним словом, при всем желании вырваться к текущим делам в Петербург на 1-й неделе, это мне, несомненно, не удастся. Итак, прошу о снисходительном извинении»⁶². В первое посещение Перетцу так и не удалось представить своих учеников Соболевскому, но состоявшиеся встречи с другими ведущими филологами, на которых его воспитанники демонстрировали свои достижения, добавили ему авторитета в ученом сообществе. В марте 1910 г. А. А. Шахматов, председательствующий в ОРЯС Академии наук, считал долгом специально сообщить о своих впечатлениях Перетцу: «Все не успевал Вам написать несколько благодарственных строк по поводу того удовольствия, которое Вы доставили нам, ознакомив нас с Вашими учениками. Честь Вам и слава! Некоторые из них, несомненно, станут скоро украшением которого-нибудь из наших университетов»⁶³.

Второе посещение Петербурга Семинарием также состоялось в начале Великого поста с 13 февраля по 1 марта 1911 г.⁶⁴ На этот раз Соболевский уже ждал встречи и с учеником, и с учениками ученика. Ученый в ожидании встречи 16 февраля с радостью писал: «С приездом! Я дома каждое утро до половины 12-го всегда и до 1 ч[аса] часто. Если Вам нельзя будет заглянуть ко мне завтра, в пятницу, пожалуйста хотя бы в субботу вечером, часов в 10. Встретите старых знакомых. А на 1-й неделе я постараюсь выбрать удобный вечер и соорудить у себя маленькую вечеринку для Вас и Вашей компании»⁶⁵.

Для быстроты связи Соболевский указывал в письме и номер своего домашнего телефона. В этот раз воспитанники Перетца выступали не только в Обществе любителей древней письменности, но в Неофилологическом обществе при Петербургском университете⁶⁶. Шахматов очень высоко оценил успехи Семинария. Своими впечатлениями он поделился 7 марта 1911 г. с Яцимирским: «Был здесь недели две тому назад В. Н. Перетц со своею молодежью; как в прошлом году, его ученики и ученицы прочли несколько рефератов в Неофил[ологическом] обществе и в Обществе д[ревней] п[исьменности]; впечатление они произвели великолепное»⁶⁷. Яцимирский с явным удовольствием передал это мнение своему товарищу. В письме от 24 апреля 1911 г. кроме оценок Шахматова приводится и оценка известного польского слависта А. Брюкнера. Итак, Яцимирский сообщал: «О Ваших учениках хорошо отзываются, и Шахматов хвалил их в письме мне за границу. Проф А. Брюкнер остроумный человек, он дал вашему семинарию кличку *fliegende seminarium*⁶⁸. Ловко? Теперь пойдет гулять это определение»⁶⁹. О высокой оценке в научных кругах выступления учеников Перетца свидетельствует и письмо Н. К. Никольского. «Поздравляю весь Ваш семинарий, — писал Никольский ученому 4 мая 1911 г. — избранный почти *in cogroge* в члены-корреспонденты ОЛДП»⁷⁰. Конечно, это было некоторым преувеличением, в действительности в члены ОЛДП были избраны 8 постоянных и наиболее активных членов экскурсий Семинария⁷¹. Письмо Никольского от 15 февраля 1913 г. вновь подтверждало успешность избранной Перетцем формы демонстрации достижений своих учеников. Коллеги уже ждали очередного появления в Петербурге Семинария. «Как Вам сообщил Владимир Владимирович, — писал Никольский, — члены комитета ОЛДП будут очень рады выслушать рефераты Ваши и Вашей академии. — Ваш приезд всегда вносит так много оживления в монотонную жизнь нашего болота, что известие об этом приезде уже приподняло здешнее настроение. Жду с нетерпением»⁷². В декабре того же года Никольский называл членов Семинария «сподвижниками»⁷³ Перетца.

Много позже, в 1926 г., когда исполнилось 30 лет профессорской деятельности Перетца, своими впечатлениями от Семинария поделился с ним П. Н. Сакулин. Кроме высокой оценки научных трудов, Сакулин специально отмечал: «В качестве организатора и руководителя научных исследований Вы не имеете соперников среди университетских преподавателей. Я живо помню, как много лет тому назад Вы приехали из Киева в Петербург с группой своих учеников, и как все вы выступили с докладами в Обществе Л[юбителей] Др[евней] Письм[енности]. На меня эта „научная экскурсия“ произвела неза-

бываемое впечатление. С тех пор я особенно внимательно стал следить за тем, как работает школа Перетца»⁷⁴. Авторитет Семинария Перетца сохранялся и в дальнейшем, когда ученый после избрания академиком в 1914 г. переехал в Петербург. В марте 1916 г. Шахматова писал ученому: «С удовольствием посету Ваш семинарий, если окажусь свободным в указанные Вами дни»⁷⁵.

В период столь успешного развертывания деятельности Семинария не прекращалась и переписка Перетца с Соболевским, касавшаяся самых разных научных и научно-организационных вопросов. Так, например, Соболевский сообщал Перетцу свое не всегда лестное мнение о разных ученых коллегах, делился соображениями по проблемам палеографии⁷⁶ и т. д. Между учителем и учеником оставались добрые и доверительные коллегиальные отношения в то время, когда их политические воззрения все радикализировались, причем в противоположных направлениях. В декабре 1909 г. Яцимирский, сам ученик Соболевского, человек весьма левых убеждений, сообщал Перетцу: «Как видите по адресу, я переехал, живу недалеко от Никол[аевского] вокзала, около Лиговского пер[еул]ка, близко от Соболевского, к которому боюсь пойти после того, как он обозвал всех приват-доцентов „сволочью“. Вообще, с правой компанией стараюсь — быть подальше. „Н[овое] Вр[емя]“ меня обвинило в сочувствии экспроприации (!?), по поводу моей юбил[ейной] заметки о Кольцове, и теперь попечитель назначит следствие. Могут уволить со службы, хотя я дал, по-моему, убедительные объяснения. Но, ведь времена-то теперь! А „Н[овое] Вр[емя]“, делая эту низость, думало помочь Соболевскому, и меня уверяют, что это так. Бог с ними!»⁷⁷ Все большее вовлечение Соболевского в политику на крайне правом, националистическом фланге, вызывало у его учеников не осуждение его взглядов, а сожаление о том, что ученый может лишиться привычной для него среды общения. Уже в ноябре 1911 г. Яцимирский писал Перетцу: «Соболевский избран товарищем Дубровина по союзу, и мне до слез жаль его во всех отношениях. Публика у него по субботам бывает отчаянная, и людей, причастных к науке, становится меньше»⁷⁸. И если официальные общественные институты вполне сочувственно относились к крайне правым, то быть заместителем председателя «Союза русского народа» А. И. Дубровина для либеральной научной интеллигенции было не лучшей рекомендацией.

Вполне можно допустить, что в такой тонкой процедуре, как выборы на ту или иную должность, связанную с научными достижениями испытуемого, его политические взгляды могли иметь определенное значение. Именно их считал причиной своей неудачи в Киевском университете, например, Ю. А. Яворский. Он жаловался в нояб-

ре 1910 г. М. Н. Сперанскому: «Вопрос о моей доцентуре в здешнем ун[иверсите]те, наконец, после почти двухгодичной канители, разрешился, и именно так, как можно было — по существующему в нашем факультете „соотношению“ партийных сил — предвидеть: кадето-„украинский“ блок, с обер-украинцем Перетцом во главе, дружно провалил ее 7-ю голосами против 5-ти»⁷⁹. Отметим, что в научной среде подобные столкновения происходили и на самом высоком уровне. Так, в январе этого же 1910 г. одним из участников острейшего внутриакадемического конфликта стал Соболевский. Вопрос касался избрания в академики Флоринского. Шахматов подробнейшим образом описывал своей сестре Е. А. Масальской не только результаты собственно академической баллотировки, но и всю предысторию дела, связанного с определенными договоренностями между заинтересованными в разных кандидатах сторонами. Так, он сообщал: «Когда в декабре 1908 года был поднят вопрос об избрании Котляревского (Нестора Алекс[андровича]) в члены Отделения, Соболевский заявил мне, что согласится на его избрание только в том случае, если я положу направо Флоринскому, проф[ессору] Киевского университета, которого он желает предложить в академики. Крепя сердце я согласился на это условие. В феврале 1909 года Соболевский и Кондаков с тревогой сообщили мне слух, что Флоринский принимает место цензора в Киеве. Кондаков просил меня написать Флоринскому и указать, что принятие им должности цензора может помешать нам провести его в академики (т. к., конечно, в Академию проходят только за ученые, а не за какие-либо другие заслуги). Флоринский ответил мне, что письмо мое запоздало, что он уже принял должность. Скоро я узнал, что Флоринский всецело отдался политике, стал во главе союза русского народа в Киеве. А в декабре мне сообщили об его записке генерал-губернатору, в которой он требует полного изгнания малор[усского] языка из печати. Конечно, я с тревогой думал о предстоящем избрании, тем более, что ученые заслуги его вообще очень невелики; вот уже много лет, что он ничего основательного не издал. Тем не менее, я не мог считать себя свободным от обязательства и решил класть Флоринскому направо; вместе с тем, однако, я счел необходимым, в случае, он будет избран, уйти из председательствующих, так как предвидел, что Отделение превратится из ученого учреждения в политическое. Соболевский и Флоринский, один в Москве и П[етербур]ге, другой в Киеве, все время выступают в разных организациях крайне правых партий с речами, докладами и т. п. — Сегодня происходили выборы, я положил направо вместе с четырьмя другими академиками, а налево было положено троими. А так как для избрания требуется 2/3 голосов, то Флорин-

ский оказался неизбранным. Инцидент этим исчерпан, хотя, конечно, можно предвидеть и неприятности. Но совесть моя покойна. Сделать больше того, что я сделал, я не мог, т. е. не мог я против своей совести уговаривать Корша и Фортунатова класть Флоринскому направо, достаточно и того, что я клал сам не с ними, а с Соболевским. [...] Беспокоит меня мысль, не ушел бы Соболевский в виде протеста из Академии. Что-то скажет завтрашний день?»⁸⁰ Шахматов, по-видимому, зная характер Соболевского, не ошибся, предчувствуя осложнения с проведенными выборами. Эти осложнения проявились в виде официального протеста Соболевского и Кондакова на имя президента Академии К. К. Романова, опиравшегося на толкование процедуры выборов. «И все это, — как отмечал Шахматов в следующем письме сестре, — чтобы сделать неприятное не ему, а мне. И это несмотря на то, что я при протоколе приложил копию с Правил о выборах, где сказано, кто участвует в баллотировке»⁸¹. Протест, однако, последствий не имел, хотя разговоры о перспективах Флоринского продолжались еще и в начале 1912 г. О них Перетцу писал Яцимирский: «Недавно Истрин серьезно говорил о возможности избрания Флоринского»⁸².

Но отнюдь не Флоринский стал кандидатом на ближайших выборах в ОРЯС, а Перетц. 21 марта 1913 г. Шахматов в конфиденциальном письме сообщал ученому: «Мне хочется поделиться с Вами своею радостью. Вполне уверен, что все то, что пишу, останется между нами. Во всяком случае, прошу Вас об этом. Сегодня после заседания Отделения мы (Фортунатов, Котляревский, Миллер и я) остались четвером и подняли вопрос о новых членах. Н. А. Котляревский назвал Вас и только Вас в качестве желательного кандидата. Миллер поддержал его. Горячо поддержал, конечно, и я. Вопрос поднимем в ближ[айшем] осеннем заседании. Весной мы уже не соберемся в полном составе. Итак, дело только за Истриным и Соболевским. Корш будет за Вас. Радуюсь возможности видеть осуществление того, что я давно желаю. Радуюсь и за Отделение, в которое Вы внесете, конечно, оживление». В *post scriptum* Шахматов специально отмечал: «Быть может, мне не следовало бы писать Вам это письмо. Но делаю это для того, чтобы Вы видели просвет: — возможность вырваться из Киева, попасть в П[етербург]»⁸³.

Переговоры с остальными членами Отделения уже весной дали, по-видимому, положительный результат. Дело представлялось решенным, и Яцимирский сразу же поздравил Перетца. «Я узнал об избрании вчера у А. И. Соболевского», — писал он в апреле 1913 г. В том же письме он напоминал Перетцу о своем разговоре с Симони, ситуацию, его вызвавшую, и те подробности, которые он в письме дру-

гу от второго июля 1909 г. не упоминал, дабы не огорчать его. И так, писал Яцимирский: «Вчера же я напомнил добрейшему Павлу Константиновичу разговор в моем присутствии. Некто гнусный, года четыре назад, когда речь шла о кандидате в академики, со злобой сказал, „что же, неужели выбирать Перетца?“ А П. К. спокойно ответил: „а почему и не Перетца?“ и прибавил хорошую характеристику. Мне очень понравились слова кроткого П. К.»⁸⁴.

Стоит отметить, что обсуждение кандидатуры Перетца повлияло на деятельность его Семинария. Много лет спустя, в марте 1927 г., в период ожесточенного сопротивления ученого выдвижению в академики П. Н. Сакулина⁸⁵, Перетц писал Соболевскому: «Перед выборами он приехал в Питер, читал всюду доклады, забегал ко всем, кто мог быть полезен. Такой ambitus — не к лицу будущему академику. Я, по крайней мере, когда возникла идея моего избрания — нарочно отложил обычную экскурсию в Петр[оград], чтобы кто-ниб[удь] не подумал, что я нарочно лезу на глаза! Надо же иметь деликатность!»⁸⁶

Состоявшееся осенью заседание ОРЯС подтвердило предварительное решение. По существовавшей традиции Шахматов обратился к Перетцу с официальным запросом: «Отделение русского языка и словесности Императорской Академии Наук поручило мне спросить Вас, согласны ли Вы подвергнуться баллотировке на одну из свободных вакансий ординарного академика по названному Отделению». Шахматов информировал ученого о процедуре избрания. «Ваш ответ, — писал он, — желательно получить, возможно, скорее, так как баллотировку в Отделении предположено назначить на 12 декабря. Окончательное же избрание (в Общем Собрании) последует не раньше начала февраля»⁸⁷.

Научные достоинства Перетца были столь очевидны, что его кандидатура встретила всеобщую поддержку. В день, когда состоялись выборы, Шахматов поспешил обрадовать Перетца, дать ему несколько советов и наметить дальнейший план действий. Здесь же ученый упомянул и самую последнюю инстанцию в процессе выборов. Шахматов советовал, прежде всего, написать благодарность Котляревскому как инициатору его выдвижения, Истрину, который специально приехал проголосовать за него, и, конечно, Соболевскому. «Разумеется, — предупреждал Шахматов, — трения могут быть. Но надо подготовить Вашу кандидатуру в Общем собрании». Особо упоминал он о заявленной уже позиции К. К. Романова и возможной реакции Николая II: «Не думаю, чтобы вышли затруднения при Высоч[айшем] утверждении. Президент дал свое согласие»⁸⁸. Тогда же, информируя Кондакова об успешных результатах баллотировки, Шахматов все же выражал беспокойство о возможных внеакадемических осложне-

ниях у бесспорной, по его мнению, кандидатуры Перетца: «Сообщаю Вам, что выборы прошли хорошо 12 декабря. Единогласно избраны в Отделение и Иконников, и Перетц. Присутствовали: Истрин, Котляревский, Фортунатов, Соболевский и я. Оба кандидата заявили о своем согласии переехать в П[етербург]г. Кандидатура Перетца вызывает на стороне много толков. Но, право, не знаю, кого мы могли бы ему предпочесть»⁸⁹. А толки были, по-видимому, серьезные, откровенная оппозиционность Перетца сильно раздражала не только представителей власти, но и идейно близких к ней коллег ученого. Эти настроения были хорошо известны и Яцимирскому, который, спеша в начале февраля 1914 г. «поздравить с окончательным избранием в академики» своего друга, писал: «Значит происки „некоторых“ успеха не имели, что, впрочем, я предвидел еще в Петербурге, когда говорили о Вашем избрании Отделением и возможной воркотне „недовольных“. В каком деле их не бывает? Мне особенно было приятно, что Вы не придавали значения их агитации, — и поступили правильно. Ибо знать себе цену — великое достоинство, которое в конце концов покоряет всякие препятствия». С особенным удовольствием Яцимирский отмечал полный провал идейных противников Перетца, всячески осложнявших жизнь ученого в Киеве, и радовался столь блистательному его возвращению в Петербург. «Помните, — писал Яцимирский, — много раз эти десять лет нашей переписки Вы говорили о своей ссылке в Киев. Теперь многие позавидуют Вашему возвращению из „ссылки“ и, наверное, пожелали бы претерпеть временно и то, что преподносили Вам „враги света“ в Киеве, и затем въезжать триумфатором»⁹⁰.

Но более опытные в делах Академии старшие коллеги не спешили считать дело выборов окончательно завершенным. Обсуждая с Перетцем возможности его профессуры в Петербургском университете, Шахматов писал 1 марта 1914 г.: «Я уверен, что все хорошо для Вас устроится; устроилось бы главное — Ваше утверждение. Меня сильно тревожит неизвестность. Неясны размеры кампании, ведущейся из Киева. Время мы переживаем тяжелое. Очень уж обнагтели те враги русского народа, которые присвоили себе преимущественно звание его друзей»⁹¹. Прямым подтверждением того, что для беспокойства Шахматова были основания, и что фигура Перетца вызвала не просто раздражение, но и прямой интерес у органов правопорядка, является то, что цитировавшееся письмо было перлюстрировано и отложено в делах Департамента полиции. После февральской революции 1917 г. Перетц получил эту копию⁹², на которой в специальной приписке была отмечена политическая ориентация, как Шахматова, так и Перетца: напротив обеих фамилий значи-

лось — «левый». Ученый не удержался и тут же приписал свое мнение: «Интересно, какими письмами интересовались жандармы — и их безграмотность, зачисляя меня — в кадеты! Для них „левее“ не было?»⁹³ Из этого следует, что Перетц считал свою позицию более радикальной, чем у кадетов, ведь «левый» Шахматов был одним из весьма уважаемых членов Конституционно-демократической партии. Своими опасениями Шахматов в том же марте делился и с В. М. Истриным: «Заботит меня вопрос о Перетце: ну, как его не утвердят!»⁹⁴ Но все обошлось, Перетц был утвержден в звании академиком, хотя отношение властей к нему не улучшилось. Все тот же Шахматов в начале 1915 г. в письме филологу-востоковеду академику К. Г. Залеману, обращавшемуся по каким-то вопросам в Министерство просвещения, советовал: «В разговоре лучше, думаю, не ссылаться Вам на В. Н. Перетца, которого в Министерстве недолюбливают»⁹⁵.

Все эти академические и политические перипетии не мешали активной деятельности Перетца и его Семинария. Кроме собственно научного руководства, для Перетца было очень важно в наибольшей степени облегчить своим ученикам исследовательскую работу, а также обеспечить материальные условия для возможности спокойно заниматься наукой. И здесь он широко использовал возможности ОРЯС и его председательствующего. Шахматов после благоприятного впечатления, которое оказали на него участники первого выезда Семинария в Петербург в 1910 г., охотно шел навстречу хлопотам Перетца о своих учениках и широко раскрыл двери академического книжного склада. Уже весной 1911 г. последовали первые просьбы о помощи в получении книг. Как правило, обращения имели формулировки, схожие с той, которую мы находим в прошении «преподавательницы Вечерних Высших женских курсов в г. Киеве Варвары Павловны Адриановой»: «Живя в Киеве, городе крайне скудном книгами по истории древнерусской литературы, и имея весьма ограниченные средства, позволяю себе обратиться к Академии наук с ходатайством о бесплатной выдаче мне тех трудов ее, которые имеют наибольшее отношение к предметам моих занятий — истории русского языка и древнерусской литературы, преимущественно XI–XV и XVII вв.»⁹⁶ Иногда на Перетца прямо ссылались как на инициатора обращения за помощью, как, например, в письме Н. К. Гудзия Шахматову: «По совету Вл[адимира] Ник[олаевича] Перетца, я, вслед за некоторыми другими членами его семинария, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой [...]. Решаюсь Вас беспокоить своей просьбой именно теперь потому, что просимые мной книги необходимы мне для подготовки к магистерскому экзамену и не могут быть в данное время приобретены мной на собственный счет»⁹⁷. А С. А. Бугославский в своем прошении

подчеркивал: «Эти книги мне нужны для занятий по истории древнерусской литературы под руководством профессора В. Н. Перетца»⁹⁸.

Той же весной с просьбой о бесплатном получении книг обратились С. А. Бугославский, А. А. Назаревский, они же уже осенью это сделали еще раз⁹⁹, а Бугославский и в 1915 г.¹⁰⁰ В 1911 г. книги просили также А. С. Грузинский, Н. К. Гудзий, С. А. Щеголева¹⁰¹ и И. И. Огиенко. В последующие годы с такими же просьбами обращались, например, в 1912 г. С. И. Маслов, В. И. Маслов дважды, С. Ф. Шевченко, вновь Огиенко, Ф. П. Сушицкий, Б. А. Ларин¹⁰², в 1915 г. — Ларин, в 1916 — Гудзий и Е. А. Рыхлик. В 1917 г. книги просили Л. Т. Белецкий¹⁰³ и С. Д. Балухатый, причем просьбу и список книг за последнего написал сам Перетц¹⁰⁴. Точно так же Перетц сам обращался в конце 1916 г. с просьбой выдать несколько книг Адриановой, Щеголовой и Сушицкому¹⁰⁵. Не было случая, чтобы все эти просьбы были не выполнены, единственной причиной невыдачи некоторых книг было их отсутствие на складе Академии. Только в 1911 г. члены Семинария получили по несколько десятков книг, изданных Академией наук: Щеглова — 12, Адрианова-Перетц — 24, Назаревский — 32. Список рассылаемых книг был весьма обширен, до сентября 1911 г. он включал в себя 46 названий, с октября — 70, к 1916 г. — 76 названий, начиная с середины XIX в. Прежде всего это были академические серии, такие, как: Известия ОРЯС, Сборники ОРЯС, многочисленные словари, начиная с И. И. Срезневского, отдельные труды и собрания сочинений как ученых (А. Х. Востоков, Я. Грот, А. А. Шахматов, Ф. И. Буслаев, И. Н. Жданов, А. Н. Веселовский и др.), так и писателей (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, А. С. Пушкин и др.)

Кроме обеспечения своих учеников книгами Перетц активно действовал в получении ими всяческих академических пособий и стипендий, первыми в этом ряду стояли Адрианова и Щеглова. Документ от 7 марта 1913 г., подписанный Шахматовым, гласил: «М[илостивая] г[осударыня] Варвара Павловна. Имею честь уведомить Вас, что Отделение р[усского] яз[ыка] и слов[есности] в последнем заседании постановило высылать вам в течение настоящего года ежемесячно, по 50 руб[лей], начиная с марта, на поддержание Вашей научной деятельности»¹⁰⁶. Нам неизвестно, сама ли Адрианова обращалась в ОРЯС или за нее ходатайствовал Перетц. Возможно, обращение за стипендией было и вынужденной мерой в связи с невозможностью получить ее в университете. Активные хлопоты Перетца за предоставление стипендии Адриановой в Киевском университете произвели обратный эффект. Об этом писал ученому его коллега по университету и работе в Семинарии А. М. Лобода¹⁰⁷. Он сообщал, что дело «относительно Варвары Павловны» переслано попечителю

учебного округа, что, по его предположению, заключение по делу будет отрицательное. «Напрасно вы муссировали это дело — писал Лобода, — Ваши письма [...] по-видимому, производили как раз нежелательное впечатление»¹⁰⁸.

Безусловно, что некоей «особой», которая упоминается в ходатайстве Щегловой в Отделение как пострадавшая от ретроградных настроений начальства, была Адрианова. Итак, ученый счел своим долгом лично обратиться в Академию наук 2 ноября 1913 г. В развернутом ходатайстве-характеристике он писал: «Моя ученица, хорошо мне известная, Софья Алексеевна Щеглова по окончании гимназии с медалью обучалась на Высш[их] ж[енских] курсах в Киеве; преимущественно занимаясь историей др[евне]русской литературы в семинарии проф[ессора] Перетца, опубликовала несколько работ. В мае 1913 г. Историко-филологической испытательной комиссией при Университете св. Владимира удостоена диплома 1-й степени по отделению славянорусской филологии и в заседании 30 мая 1913 г. представлена Истор[ико]-фил[ологическим] факультетом к оставлению при Университете по каф[едре] р[усского] яз[ыка] и слов[есности]; это представление одобрено Советом Университета; но если г[оспо]жа Щеглова и будет оставлена при Университете, то все же стипендии не получит, ибо попечитель учебного округа толкует § 135 Устава лишь в пользу студентов, успешно окончивших Университет, а не лиц женского пола, о чем гласит прецедент с другой особой, оставленной при Киев[ском] Университете. Г[оспо]жа Щеглова обнаруживает серьезные способности к занятиям историей литературы. [...] На основании всего выше изложенного, прошу Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук оказать материальную поддержку г[оспо]же Щегловой на время подготовки ее к магистерскому экзамену, дабы она, вынужденная зарабатывать себе на существование уроками, — могла на указанное время быть отчасти свободной от преподавания в средних учебных заведениях»¹⁰⁹. В прошении приводился и список работ Щегловой.

Перетц так активно отстаивал интересы своих учеников, что даже иногда ставил Шахматова в затруднительное положение. В декабре 1915 г. Шахматов сообщал Перетцу: «Насчет Бугосл[авского], Сушицкого, [...] Розанова у меня сомнений нет. Но в отношении В. П. Адриановой и С. А. Щегловой, если они получали уже два года, возможны будут разговоры. Подумайте, не дать ли им работу, хорошо оплаченную. Но если это может помешать им в их занятиях, то я поддержку Ваше ходатайство»¹¹⁰. Бугославский, например, обратился к Шахматову за материальной поддержкой в сентябре 1915 г. «Снова, — писал он, — решаюсь обратиться к Вам с просьбой, беру на себя

большую смелость подать в Отделение русск[ого] яз[ыка] прошение о стипендии (о ней я имею представление по рассказам В. П. Адриановой и А. С. Щегловой, бывших стипендиатками)»¹¹¹. Прошение было связано и с тем, что Киевский университет в связи с условиями военного времени был переведен в Саратов, а сам Бугославский по семейным обстоятельствам был вынужден обосноваться в Пензе. Но для продолжения работы «над окончанием исследования о произведениях на тему о Св. Борисе и Глебе» ему необходимо будет выезжать в Москву¹¹². В следующем году Бугославский горячо благодарил Шахматова «за субсидию от Академии»¹¹³. В конце декабря 1915 г. за поддержкой обратился в ОРЯС Гудзий, и эта просьба также была мотивирована причинами, вызванными войной. В официальном прошении он писал: «Ввиду эвакуации из Киева университетской библиотеки и всех крупных книгохранилищ, я должен буду провести летние каникулы в столицах, с тем, чтобы там заняться научной работой, главным образом, собиранием материалов для диссертации»¹¹⁴. В личном письме Шахматову Гудзий подчеркивал: «Не только для крупной по размерам работы, но и для небольшой статьи здесь не хватает материала и даже пособий»¹¹⁵. И на этом письме Шахматов сделал пометку: «Гуд[зю] 200 р[ублей]». Уже 28 января 1916 г. Гудзю было направлено официальное уведомление в том, что ему выделено «двести рублей на поездку в столицы с ученою целью»¹¹⁶.

Несколько ранее, в мае 1915 г. в ОРЯС обратился А. В. Багрий с просьбой походатайствовать перед Министерством народного просвещения о продлении ему стипендии на второе полугодие. Он также просил Академию помочь получить ему «доступ в район военных действий». «Располагая свободным временем, — писал Багрий, — я намерен летом ехать в Галицию и мог бы быть полезен при охране древних памятников письма и печати, почему предлагаю свои услуги Академии наук, которая могла бы командировать меня в распоряжение профессора Шмурло¹¹⁷»¹¹⁸. Шахматов сразу же в мае обратился от лица Отделения в министерство, но никакого решения не последовало. Тогда к делу подключился Перетц, и 10 сентября было составлено новое обращение к министру, в котором сообщалось: «Академик В. Н. Перетц вошел в Отделение русского языка и словесности И[мператорской] Академии наук с прилагаемым при сем представлением об исходатайствовании бывшему стипендиату И[мператорского] Университета св. Владимира для приготовления к профессорскому званию магистранту А. В. Багрию пособия на второе полугодие 1915 г. для поддержания его научных занятий»¹¹⁹. Теперь положительное решение министерства последовало быстро, и уже 29 сентября в Отделение был направлен документ, в котором уведомлялось, что Баг-

рию назначено «пособие в шестьсот рублей из сумм Министерства, каковые деньги будут переведены в Правление университета св. Владимира»¹²⁰. Осенью следующего 1916 г. Назаревский обратился в Отделение и получил в конце года академическую стипендию¹²¹. Адрианова также не осталась без серьезной поддержки, последовавшей в конце 1916 г. «Имею честь уведомить Вас, — писал Шахматов, — что Отд[еление] р[усского] яз[ыка] и слов[есности] в заседании своем 12 сего декабря постановило выдать Вам 1000 р[ублей] на оплату расходов по печатанию Вашей диссертации о Житии Алексея человека Божия»¹²². Это решение не могло не порадовать Перетца, следившего и всячески способствовавшего публикации работ своих учеников. Так, например, еще в ноябре 1913 г. он обращался к Шахматову: «Посылаю Вам статью моего юноши Н. Гудзия — о любопытной переделке легенды о папе Григории — и прошу напечатать в Известиях. Юноша — плодовит, одна его статья лежит уже в ЖМНПр., другая — в РФВ, третья — в наших Несторовских „чтениях“. Самое интересное для меня я выбрал для Известий: примыкает к моим работам по истории стиля Петров[ской] эпохи»¹²³.

Большинство учеников Перетца, участников его Семинария, оставалось связанными с Киевским университетом. Но это не мешало Перетцу из Петербурга внимательно следить за их успехами и быть в курсе их проблем. В этом ему помогали своего рода отчеты Лободы, который старался как можно подробнее и с комментариями сообщать о наиболее активных участниках Семинария. В письме, полученном Перетцем согласно его пометке 1 декабря 1916 г.¹²⁴, Лобода на фоне общего состояния дел в Киевском университете после его возвращения из эвакуации в Саратов описывал и положение учеников Перетца. «Хуже всего, — сообщал Лобода, — конечно, приходится приват-доцентам; у некоторых из них курсы, пожалуй, не состоятся. Прочнее других братья Масловы, Назаревский, Гудзий; по-видимому, наладится дело у Сушицкого, благодаря его ретивости и ловкости». Сообщал Лобода и о только начинающих карьеру преподавателях. Так, он отмечал: «Искренне жаль мне Сашу Грузинского: рвения у него много, но от бестолковости своей никак он не может избавиться и, например, даже к вступительной лекции не сумел он, как следует, подготовиться». В отличие от него: «Огиенко прочел пробные лекции, в общем, недурно». Писал Лобода и об успехах членов Семинария, профессорских стипендиатов: «Начал держать экзамены Отроковский, русскую литературу сдал прекрасно; отчет тоже очень хорош»¹²⁵. Особой заботой Лободы, занимавшего должность секретаря факультета, было продвижение в печать готовых работ учеников Перетца. Он подробно информировал ученого о возникавших пробле-

мах: «Диссертацию Софьи Алексеевны (Щегловой. — М.Р.) постараюсь провести в Ун[иверситетских] Известиях; и надо, чтобы текст ее был прислан; не ручаюсь только за скорость печатания: наборщиков очень мало осталось. Оттисков за счет Университета, можно не свыше 300. Особенно трудно с ц[ерковно]-слав[янским] шрифтом: сейчас печатаются приложения Бугославского и сданы приложения С. Маслова, а шрифта в обрез». Тут же Лобода просил оказать помощь оставшемуся в Киеве ученику: «Дайте, Бога ради, экземпляр Ваших театральных текстов Рыхлику: он пришел к выводу, что Сумароков помимо Мольер[овских] комедий, пользовался тем театром, к[о]т[о]рый Вы издаете, и отделить Мольер[овские] черты можно, только учтя Ваши тексты»¹²⁶.

Перетца кроме общей информации интересовали и конкретные вопросы, связанные с делами его воспитанников. Уже в следующем письме Лобода сообщал: «Хорошо, что Вы написали мне относительно Варвары Павловны. Дело в том, что прошения ее в канцелярии не оказалось вовсе: не дошло ли оно, затеряли его в канцелярии ректора — Господь ведает! Чтобы не было лишней волокиты, я написал соответствующее удостоверение от нашего факультета, Н. М. Бубнов подписал, и, вероятно, он будет в Петрограде вместе с этим письмом; послал его я на Ваше имя, так как адреса В. П. не знаю». Специально Лобода останавливался и на продвижении работы с публикацией диссертации Щегловой, текст которой он уже получил, «в ближайшие дни пушу». «К сожалению, — продолжал он, — не ручаюсь за быстроту: нет наборщиков, универс[итетские] Известия обслуживаются только 2 лицами. Что можно, однако, все сделаю»¹²⁷. Далее описывались успехи других учеников Перетца: «Назаревский и Вас. Маслов получили практические занятия на курсах и начали их, дело, по-видимому, пойдет хорошо. Рыхлик закончил магистерские экзамены; на экзамене по русскому языку была сплошная чепуха — он и Грунский никак не могли приспособиться друг к другу: черт его знает, этого Грунского!» Но «тнюдь не у всех членов Семинария дела обстояли благополучно. Некоторых отвлекала от науки необходимость поиска дополнительного заработка. «С. Ф. (Шевченко. — М.Р.) глаз не кажет, — писал Лобода, — боюсь, что кооператив, куда он попал, окончательно подрежет его. Ведь он сдал только русскую литературу и далее ни с места»¹²⁸.

Условия военного времени, безусловно, создавали трудности, нарушавшие привычный ритм научной и педагогической деятельности, как ученых старшего поколения, так и их молодых учеников. Но наступавшая эпоха революций и Гражданской войны полностью сломала весь сложившийся уклад жизни научного сообщества. Начало

1917 г. еще не предвещало тех потрясений, которые обрушатся и на жизнь Соболевского, Перетца и его учеников. Первого января 1917 г. Соболевский распоряжением Николаем II был назначен членом Государственного совета. Ученый вошел в число новых членов Государственного совета вместе с генералом, попечителем учебного округа и губернским предводителем дворянства со специальной формулировкой. В царском указе относительно всех вышеперечисленных говорилось: «[...] Всемилоостивейше повелеваем быть Членами Государственного Совета, с оставлением Соболевского Ординарным Академиком»¹²⁹.

События Февральской революции были встречены большинством либерального научного сообщества с сочувствием и даже сопровождались выражениями восторга. Особенно они распространялись на сферу университетской жизни, в которой восстанавливалась справедливость по отношению к уволенным и добровольно ушедшим в отставку в 1911–1912 гг. профессорам и преподавателям¹³⁰. В этом смысле характерны письма М. Н. Розанова и М. Н. Сперанского Сакулину марта 1917 г. «Сегодня, — писал Розанов второго числа, — в экстренном заседании Совета университета единогласно постановлено ходатайствовать о возвращении А. А. Мануйлова, М. А. Мензбира и П. А. Милюкова. Таким образом, стена, стоящая между Вами и университетом, пала. Всем, ушедшим в 1911 г., вновь открываются двери родного университета. [...] Очень приятно, что давно желанный момент нашей академической жизни совпадает с великим днем освобождения России. Пусть едва вспыхнувшая заря свободы обратится скорее в яркий солнечный день»¹³¹. Вскоре, 14 марта, уже Сперанский не скрывал своих эмоций: «Ждем с распростертыми объятиями, ждем Вашей помощи в общем строительстве новой жизни в нашем родном Университете!»¹³²

Некоторым ученым, за которыми в той или иной форме велось наблюдение правоохранительных органов, стали доступны свидетельства этого наблюдения. Так, Перетц получил уже упоминавшуюся перлюстрированную копию письма к нему Шахматова. В свою очередь сам Перетц, всегда слышавший «неблагонадежным», решил, по-видимому, удивить своего учителя, недавно даже не избранного, а назначенного царем в Государственный совет. Он сообщал Соболевскому 15 мая: «Посылаю вам любопытный документ, доставшийся мне при обозрении помещений б[ывшего] Департ[амента] полиции после погрома первых дней революции. Это карточки из каталога неблагонадежных, по мнению Деп[артамента], лиц. Таких карточек много было разбросано по полу. Цифры обозначают папку и дело, где есть и о Вас упоминание. Когда Архив Деп[артамента] пол[иции] будет разо-

бран Щеголевым (это дело поручено ему), можно навести справки, что именно инкриминировалось Вам...»¹³³. На прилагавшейся к письму карточке значилось: «А. И. Соболевский Академик», там же были три каталожных шифра. Ответ ученого, по шифрам легко определившего то время, когда он попал в поле зрения полиции, был полон язвительных замечаний в ее адрес. Уже 18 мая Соболевский писал Перетцу: «Получил и приношу глубокую благодарность. Разочаровываюсь в Д[епартаменте] п[олиции]. Три указания на меня и все относятся только к 1915 г.; когда я б[ыл] выбран в председатели Славянск[ого] о[бществ]а. Как будто раньше 1915 г. меня не существовало!»¹³⁴ Кстати, деятельность возглавлявшегося Соболевским Общества, особенно в провинции, после февраля стала встречать осложнения из-за изменяющихся настроений в обществе. Так, коллега ученого, К. В. Харлампович с горечью сообщал Соболевскому 31 мая из Казани о бесперспективности мероприятия по сбору средств в пользу сербов: «Что нам до славян, когда масса отреклась от собствен[ного] славянства и даже от русского имени! Захотелось быть интернационалистами...»¹³⁵

Постепенно, летом и в начале осени общее настроение в ученой среде становилось все более тревожным. Радикализация настроений в обществе, неудачи на фронтах вселяли в ученых самые худшие ожидания. Живший летом в своем имении Шахматов, констатируя в своем письме в июле 1917 г. А. Ф. Кони «добрососедские отношения» с крестьянами, отмечал хрупкость такого положения: «Но я живо сознаю, что все это благополучие может сразу оборваться: стоит докатиться до нас какой-нибудь волне и сбить с толку бедных русских граждан. Но, конечно, несмотря на все эти внешние хорошие условия, мы все страдаем нравственно. Каждая газета приносит ряд ужасных известий о разложении, распадении, развращении России»¹³⁶. С «особенным ужасом» ученый отмечал сепаратизм «украинцев во главе с Грушевским»¹³⁷. В этом письме впервые проявилось то психологически угнетенное состояние, которое после Октябрьской революции стало доминирующим у ученого до его кончины¹³⁸. Он отмечал, что только занятия наукой спасают его, «а то иначе я попал бы в такой тупик, из которого едва ли увидел бы иной выход, кроме смерти»¹³⁹. Тогда же Шахматов писал и Перетцу: «Мы живем здесь хорошо. Страшную тревогу и смущение приносят только газеты. Украина с Грушевским, бегство с фронта, переход власти к социалистам, все это действует подавляющим образом. Забываюсь в работе, но сейчас произошел досадный перерыв, и я нравственно чувствую себя отвратительно»¹⁴⁰.

Но происходившие в обществе перемены открывали и новые перспективы в сфере высшего образования. Ученики Перетца оказались

вполне готовыми к либерализации высшего образования на Украине, связанной с допущением использования украинского языка в преподавании и с введением преподавания истории собственно украинской литературы и украинского языка. О том, «как обстоят у нас дела с украиноведением» в Киевском университете, и о новом положении учеников Перетца, ученому сообщал Лобода. «Курсы по истории укр[аинской] нар[одной] слов[есности] и литературы выразил желание читать Сушицкий, — писал Лобода, — и факультет уже санкционировал это; вначале Сушицкий будет читать их на правах пр[иват]-доц[ента], так как кафедры еще не установлены официально, и штаты на них не проведены, но по установлении кафедр он же, вероятно, явится и первым кандидатом на каф[едру] литературы; с этой кандидатурой придется считаться тем серьезнее, что у Сушицкого почти готова диссертация и как раз из области укр[инской] литературы». Далее Лобода отмечал и вненаучный, но важный общественно-политический аспект дела: «Наконец, в пользу Сушицкого и то, что его кандидатура наиболее желанна и с точки зрения местных укр[аинских] кругов»¹⁴¹. Возможным сильным конкурентом Сушицкого мог бы, по мнению Лободы, оказаться другой ученик Перетца, С. И. Маслов. Маслов собирался в тот момент перебраться или в Саратов или в Пермь, но, как отмечалось в письме, он «пошел бы лишь на место профессора, ибо доцентура ему обеспечена и в Киеве». «Если же С. И. Маслов останется в Киеве, — продолжал Лобода, — то м[ожет] б[ыть], не откажется и от кафедры укр[аинской] литературы, а согласись он, никто другой с ним бы не мог конкурировать; настолько бесспорны шансы С. И. в факультете»¹⁴². Если эта часть письма касалась в основном планов членов Семинария, то далее шла информация и оценки уже их определенных достижений. «Украинский яз[ык], — писал Лобода, — за Огиенко, к[ото]рый, к слову сказать, вполне поладил с Грунским и теперь пользуется его полной поддержкой»¹⁴³. Обсуждалась в письме и проблема успешного завершения публикации диссертации Щегловой¹⁴⁴. «Попросите ее, — обращался Лобода к Перетцу, — тщательнее проверить оригинал и по возможности избегать дополнений в корректурах или поправок, связанных с переверсткой»¹⁴⁵. Он же делился с ученым слухами, связанными с Щегловой: «Говорили здесь, будто С. А. в октябре собирается вернуться в Киев: очень было бы хорошо в смысле печатания!» И завершал письмо Лобода, безусловно, приятным для Перетца мнением о работе его любимой ученицы, Адриановой: «Прочел диссертацию В[арвары] Павл[о]вны»¹⁴⁶ — на редкость хорошая работа, немного таких появляется»¹⁴⁷.

В октябре 1917 г. Щеглова в Киев не вернулась, а страну потрясли события, разрушившие весь сложившийся уклад жизни научного

сообщества, и Перетцу, и Соболевскому, и ученикам Перетца предстояли жизненные испытания, не шедшие ни в какое сравнение с прежними проблемами. В октябре же Перетц отправился в командировку от Академии наук для обследования и научного описания старопечатных книг и рукописей Заволжья¹⁴⁸. Сам Перетц обстоятельства своего путешествия описывал в письме Истрину от 8 марта 1918 г. более прозаично: «Я закинут судьбою в Самару — к счастью, что не один. Здесь двое моих учеников, кроме В. П. Адриановой. Директор Педаг[огического] Инст[итута] Нечаев — мой университет[етский] товарищ оказал мне великую услугу, вытащив в октябре из Петрогр[ада]. Я питаюсь нормально, а там бы пропал»¹⁴⁹. Как мы видим, ученый позаботился перетянуть из начавшего голодать Петрограда и некоторых своих учеников, состав которых во время его пребывания в Самаре то пополнялся, то сокращался. В том же письме Перетц весьма эмоционально сообщал о неудаче постигшей его рецензию в Журнале министерства народного просвещения на книгу-диссертацию его любимой ученицы, Адриановой. Он уже прочитал корректуру, «но в печати в двойном № ноябрь-декабрьском рец[ензия] не появилась». «Вероятно, — продолжал Перетц, — и ее „нарком“ Луначарский нашел „лакейской и ханжеской“, как он выразился о статьях, набранных, но не вошедших в последнюю (увы!) книжку ЖМНПр. Теперь наука взята под сомнение — и что дальше будет — трудно сказать. Разве нужно чему-нибудь учиться, когда можно штыками достать „всё“?»¹⁵⁰

В Самаре Перетц занял должность помощника директора Педагогического института и активно включился в работу по доведению его уровня до университетского. «Кроме того, — сообщал ученый Истрину, — за квартиру — имею на плечах обязанности декана и вожусь по части учебной, и организую факультет. До сих пор мне удалось составить его не хуже, а даже гораздо лучше, чем в Перми и Саратове: у нас хорошо поставл[ены] классич[еская] филол[огия], философ[ия] и [нрзб.] и русская филология. Недурна и ср[авнительная] грамм[атика]. Подгуляло только историч[еское] отделение. Единств[енный] историк известный Вам Е. И. Тарасов; теперь только выбираем по средней и нов[ой] истории. Слависта с 1 мая будем иметь из Киева, если его там не укокошили в междуусобной брани»¹⁵¹. Уже в августе 1918 г. институт был преобразован в Самарский университет¹⁵², и с 1 сентября 1918 г. Перетц возглавил в нем историко-филологический факультет¹⁵³.

Прекрасно осведомленный о продовольственном положении в Петрограде, в частности и от своих учеников, приезжавших из Петрограда, ученый сразу же организовал помощь своим коллегам, при-

влекая к этой работе бывших членов своего Семинария. Седьмого марта 1919 г. Шахматов писал Перетцу: «Ваше внимание очень меня тронуло. Благодарю за первую посылку, я не имел оснований думать, что она послана Вами, и благодарил Е. А. Рыхлика; благодарю теперь за вторую, как дорого ее содержание для нас, изнуждавшихся в масле и в жирах. Передайте, пожалуйста, мою признательность Варваре Павловне за ее хлопоты по упаковке и отправке. [...] Мы пока держимся и не очень слабеем, но боюсь, что настанет кризис»¹⁵⁴. В мае Шахматов просил Перетца «кланяться В.П. Адриановой, А. В. Багрию, С. Д. Балухатому и С. А. Щегловой»¹⁵⁵. Кстати, именно Балухатый был одним из информаторов Перетца о жизни в Петрограде. Это становится ясным из письма ученого Никольскому от 11 июля 1919 г. «Читаю, — писал Перетц, — что Вы ухитряетесь во время страшной голодовки — работать! Мой питомец, Балухатый, сбежавший в Самару из Питера, рассказывал, что там все заняты мыслью — получать, числясь номинально в разн[ых] местах — и приобретать за бешеные деньги продукты, и работа — научная — стоит, или только имеет видимость существования»¹⁵⁶. Привлекал Перетц к этой работе и новых своих студентов. В апреле 1920 г. он предупреждал Никольского: «Одновременно с этим письмом мои слушатели, поклонники Ваших трудов, Лукин и Пресман, посылают Вам посылочку с сухарями. Если на почте спросят от кого — ждете (это у нас заведено, м[ожет] б[ыть] и в Питере?) скажите, что от Пресмана из Сам[ары]»¹⁵⁷.

Как же складывалась в эти годы судьба Соболевского? Заслуженный ученый к началу 1920 г. успел пережить арест¹⁵⁸, была экспроприрована его петроградская квартира. Информацию об этом Перетц получил от Шахматова, писавшего в феврале 1920 г.: «Встревожены за квартиру и библиотеку Соболевского, которым грозит опасность, в нее уже вселили какую-то женщину»¹⁵⁹. О тех условиях, в которых он оказался в Москве, ученый в начале апреля 1920 г. сообщал Б. М. Ляпунову, жившему в Одессе. Описывая общую ситуацию в Москве, Соболевский отмечал: «Смертность в интеллигентских кругах большая, всего больше от недоедания и сыпного тифа». О своем же положении, которое он считал не самым худшим, ученый сообщал со свойственной ему иронией: «Мои владения без заборов, без ворот и т. п. В саду резвится соседская молодежь, 5–17 лет. У сараев все замки давно сбиты, и мне приходится хранить все, даже старые доски, в квартире, почему квартира имеет вид скорее склада á la Плюшкин, чем профессорского кабинета. Я порядком одряхлел (64-й год идет!); ноги работают лениво, уши слабеют, но чувствую себя бодрым и работаю в множестве (верно!) направлений: пилю, рублю, копаю, покупаю, продаю, делаю доклады, пишу, читаю и т. д. Когда был

снег, возил на санках всякие тяжести. Питание обычное для москвичей, в основании которого ржаной хлеб и теплая вода, прибавьте жиров, немного сахара, некоторое количество капусты, морковь, свекла. Не все москвичи так питаются...» «А послезавтра, — продолжал Соболевский, — будет заседание Слав[янской] Комиссии того же Археол[огического] О[бществ]а. Доклад делаю я — о некоторых племенных и местных названиях у балт[ийских] славян. Не жду слушателей в большом числе [...] При отсутствии трамв[айного] движения, в будни, трудно ожидать прихода членов более 5 человек, живущих поблизости»¹⁶⁰. Ожидание малого количества слушателей не смущало активности академика. Еще в начале февраля того же года, возобновляя переписку с Перетцем, Соболевский писал: «Я слава богу, жив и здоров. Этого мало: 29/II буду читать в здешн[ем] Археол[огическом] О[бществ]е об истории моды в России. Конечно, не надеюсь, что слушателей соберется много»¹⁶¹.

Перетц продолжал отдавать много сил организации нового университета и гордился успехами в этом деле. «Унив[ерситет] у нас „старого образца“, не нижегородского типа» — писал он Никольскому в июле 1919. Из этого же письма следует, что из 16 сотрудников Историко-филологического факультета пятеро были Перетц и его ученики, причем из шести человек со степенью они составляли половину¹⁶². Живо заинтересовался новой деятельностью своего ученика и Соболевский и, оценив ее успешность, сразу же снабдил Перетца информацией о возможностях приобретения столь необходимых в Самаре книг. «Здешний „книжный центр“, — писал Соболевский, — усиленно покупает книги „для новых ун[иверсите]тов“. Цены, в сущности, стоят дешевые. Рубль здесь упал в своей покупательной стоимости более чем в 10.000 раз. Но обаяние слова рубль сохраняется, и хотя 100 р[ублей] нынешними бумажками равносильны недавней медной копейке, тем не менее эта сумма считается отличною ценою; ниже 40 р[ублей], 60 р[ублей] — обычно. Итак, примите все возможные меры, чтобы притянуть в Самару побольше купленного „кн[ижным] центром“ добра. Ваш ун[иверсите]т — несомненный ун[иверситет] и если не может ожидать скорого расцвета, то существовать может не хуже ун[иверсите]тов сарат[овского] и воронежского. А другие ун[иверсите]ты наших дней имеют лишь название ун[иверсите]та, и доставленные им книги обречены на гибель»¹⁶³. И в Самаре у Перетца начали появляться новые ученики среди студентов и начинающих ученых, одним из них стал будущий академик М. Н. Тихомиров. Именно его отправил Перетц в апреле 1921 г. к своему учителю с поручениями как личного, так и общественного характера. Он извещал Соболевского: «Сейчас едет наш ас-

систент по палеографии, (оконч[ивший] Моск[овский] Ун[иверситет] и немного доучивавшийся у меня) Мих[аил] Ник[олаевич] Тихомиров. Он вручит Вам коробку с печеньем — изделие ученой женщины, Варвары Павловны. [...] Прошу от лица Археол[огического] Общ[ества] содействия по приобретению книг, главное Палеогр[афию] Щепкина, неск[олько] экз[емпляров] и полн[ое] собр[ание] изданий Моск[овского] Археол[огического] Института». В этом же письме Перетц упоминал и о занятиях, хорошо знакомых и Соболевскому: «Я впрочем, и здесь по утрам рублю дрова и колю, ибо дворников нет, а наемный труд доступен лишь комиссарам да спекулянтам»¹⁶⁴. О том, что Перетц скромно охарактеризовал, как «доучивание», Тихомиров сохранил благодарные воспоминания на всю жизнь. Так, в своих мемуарах, называя Перетца своим учителем, Тихомиров на примере его деятельности создал образ идеального педагога. «Это был не просто крупный ученый, а преподаватель „Божьей Милостью“. Не все знают, — продолжает Тихомиров, что такое воспитывать студенческие и вообще научные кадры. Большинству кажется это явление довольно простым и легким. На самом деле для этого надо обладать и своего рода способностями и, в первую очередь, определенной сердечностью к людям для того, чтобы видеть ростки их новых знаний, вовремя помочь. Ведь без помощи очень трудно бывает для всякого начинающего ученого. Тут и вопросы чисто бытового характера, и вопросы о том, где поместить ту или иную статью, к кому обратиться за помощью, и т. п. и т. д. В. Н. Перетц был очень строгим преподавателем и в то же время довольно любящим учителем. Для меня он на всю жизнь остался незабвенным учителем и другом»¹⁶⁵.

Во время своего пребывания в Самаре Перетц переживал многочисленные неприятности, связанные с идеологическим и политическим контролем властей, и даже опасался ареста, из-за доносов на него, как он писал, «в „Чеку“»¹⁶⁶. Только очень тяжелое положение в Петрограде удерживало ученого в Самаре, о чем он неоднократно писал своим коллегам. Уже в июле 1919 г. Перетц писал Никольскому: «Если бы Вы знали, как мне хочется в Питер, — но даже самый ярый оптимист, мнение которого я всегда ценил и ценю — и тот пишет мне, чтобы я сидел смиренно в Самаре, потому что еще неизвестно, что ждет питерцев зимою. [...] Думаю, что все же учреждению дадут хоть сотни две сажень и мы, живущие на казенных квартирах, проскрипим. В Питере я был бы вынужден замерзнуть в моей кв[артире], а академической — не дают. [...] Но я не способен к передвиж[ению] при нынешних обстоятельствах и буду сидеть в Самаре»¹⁶⁷.

К концу 1920 г. Перетц окончательно решил возвращаться в Петроград, а с начала января 1921 г. перевел это решение в практиче-

скую плоскость. Переезд Перетц планировал очень основательно, он не только хотел вывезти из Самары для передачи в Академию наук собранные им коллекции рукописей, старопечатных книг и икон медного литья¹⁶⁸, но и старался заранее найти и для себя и для своих учеников работу в Петрограде. К этому времени ученый женился на своей первой ученице, Адриановой и считал своим важнейшим делом найти ей достойную работу в университете, но обращаться туда с просьбами ученый считал неудобным. «Мне самому, — писал он Истрину, — это очень трудно хотя бы потому, что, м[ожет] б[ыть] Вам еще не известно — соединился с В[арварой] П[авловной] „под обоими видами“, а за жену просить у малознакомых лиц, хотя бы и за полноправную (магистр, 5 или 6 лет преподав[ала] в высш[ей] школе) — все-таки неловко: интеллигентский предрассудок». Поэтому Перетц просил «через уважаемую Евгению Самсоновну (Истрину. — М. Р.) справиться» о возможности Адриановой-Перетц «устроиться в Унив[ерситет] по язычной части (истор[ия] литерат[урного] яз[ыка], ст[аро]слав[янского], исто[рии] рус[ского] актового яз[ыка]»¹⁶⁹. Но вопрос у устройством на работу оказался весьма непрост. Коллеги предупреждали, что возможные сложности могут ожидать и самого Перетца. Второго апреля 1921 г. Никольский, поздравив его «и Варвару Павловну с началом новой жизни»¹⁷⁰, подробнейшим образом описывал особенности нового порядка вещей в Петроградском университете. «На днях только, — сообщал Никольский, — я имел возможность повидать Е. Ф. Карского, который принял от меня обязанности председателя Предметной Комиссии, и сообщил ему о Ваших пожеланиях. Как выяснилось из переговоров с ним, для Вас найдется вакансия в У[ниверсите]те. Надо полагать, что удастся удержать ее за Вами. В единогласном мнении всех членов Предметной Комиссии о желательности возвращения Вашего в П[етроград]ский У[ниверсите]т, сомневаться, конечно, нельзя. Что же касается дальнейшего движения дела, то в настоящее время — судя по недавним примерам, ручаться за несомненный успех едва ли возможно, ввиду затруднений, которые приходится преодолевать. Лично я почти не сомневаюсь, что Вам удастся их осилить, и пишу о них не для того, чтобы разочаровать Вас, но потому, что нахожусь под свежим впечатлением недавних выборов на кафедру [...]. Впервые в этих выборах приняли участие представители от студенчества, это значительно осложнило процедуру замещения вакансии. Чем кончится или уже кончилось избрание, мне пока неизвестно, но, во всяком случае, оно показало, что в настоящее время трудно предвидеть, встретит или и не встретит каких-либо неожиданных препятствий общее желание членов Предметной Комиссии снова видеть Вас в своей среде»¹⁷¹.

С переездом в Петроград оживилась переписка Перетца с Соболевским. Теперь ученый регулярно и весьма откровенно писал своему учителю и о своих научных планах, и о многочисленных проблемах, с которыми он столкнулся после трех с половиной лет отсутствия в Петрограде. Именно в Соболевском Перетц видел коллегу, у которого он всегда может рассчитывать на понимание, встретит сочувствие, получит поддержку. Однако не все коллеги радушно встретили ученого, уже осенью у Перетца возникли трения и из-за некоторых его начинаний в рамках ОРЯС, очень осложнял его жизнь нерешенный квартирный вопрос. Обо всем этом ученый с грустью писал 21 октября Соболевскому: «Вообще вижу, что я что-то не ко двору в Питере — меня явно выживает наш уважаемый коллега. Конечно, я выяснил это достаточно — охотно до лучших времен уеду куда-ниб[удь]. В Киев усиленно зовут. Даже прислали и мне, и Варв[аре] Павл[овне] бесплатные билеты на переезд... Неужели у Вас[илия] Мих[айловича] (Истрина. — М. Р.) нет соображения, что своей политикой он может разогнать тех членов Отд[еления], которым приходится зависеть от его каприза? Много много раз я жалел, что у нас в Отд[елении] председательствует не старший по обычаю¹⁷². Ни при Ал[ексее] Ал[ександровиче] (Шахматове. — М. Р.), ни при Вас, напр[имер], я уверен — не встретил бы такого своеобразного (скажу так) отношения к себе. В этих-то обстоятельствах, ожидая, что меня, и без того разоренного переездом — снова погонят куда-ниб[удь] — само собою и работа пока идет вяло. А хотелось бы многое сделать, пока время не ушло совсем»¹⁷³. И питерская погода угнетала ученого: «Вообще в Питере — осень, слякоть и нет ничего отрадного. Мы совсем приуныли». Огорчала Перетца и возобновленная работа в университете: «Я начал лекции, слушат[елей] — много. Но все — зеленая молодежь, им еще гимназия нужна, начитанность = 0. Одно утешение — своя работа, но и ее-то делать не дает сознание полной необеспеченности! Напишите хоть два словечка, а то мы совсем тут закисаем: жена еще ничего, держится, а я — прямо в черную меланхолию впал»¹⁷⁴. Тем не менее ученый восстановил «деятельность „Семинария русской филологии“, состав которого пополнился студенческой молодежью»¹⁷⁵.

Главной же заботой Перетца в это время оставалось устройство его старших учеников, неудачи в этом деле вызывали у ученого нарекания, прежде всего на своих коллег. В марте 1922 г. он сообщал Соболевскому о рецидиве своей тяжелой болезни, «легочном кровотечении». «Это — история, — писал Перетц, — подобная той, кот[орую] я перенес в 1899 г., но — тогда я был моложе и сильнее». Далее ученый повторял содержание письма, ранее им отправленного, но не полученного Соболевским. «В том письме, — не без сарказма отме-

чал Перетц, — я делился с вами некоторыми огорчениями, которые и свалили меня окончательно: в Инст[итуте] им. Весел[овского] мои коллеги мудро забаллотировали всех моих учеников, не исключая и магистров; зато набрали в аспиранты разной шушеры. Вероятно — так надо для того, чтобы придать вес новому учреждению. От питерского шкурничества и интриганства я отвык и был очень огорчен поведением коллег — славистов и словесников». Собственное положение ученый считал более-менее приемлемым, «а вот кто помоложе — за тех досадно, что остались без поддержки»¹⁷⁶. Далее Перетц обрушивал гнев на главных, по его мнению, виновников неустройства Петроградского университета: «Г[оспода] „профессора“ вроде названного (Долобко. — М.Р.) ропщут, что-де, мол, „большевики“ губят унив[ерситет]. Присмотревшись к Питеру, вижу, что главное зло — в недрах самого Университета. Будь люди почестней, люби науку, а не интриганство, живи в согласии — и „врата адовы“ не одолели бы цитадели науки»¹⁷⁷. В конце ноября того же года Перетц вновь писал Соболевскому и о делах Института, и о положении Этнолингвистического отделения, который «ожидает реформы — опять!» «Говорят, — сообщал Перетц, — об устранении старых проф[ессоров] и замене их молодыми силами — из недр „левой профессуры“. К сожалению — там по нашей части нет никого с какой-либо серьезной квалификацией, не говоря уже о талантах, которых и вообще-то встречается не много. Сейчас по яз[ыку] — действует Карский, по литер[атуре] — я и Абрамович, но прочее — совсем мелко, прямо некем заменить и по доброй воле! А извне — хоть и есть люди — но не пустят сами же Университетские деятели...»¹⁷⁸. В последней фразе Перетц имел в виду, прежде всего, Адрианову-Перетц и Щеглову.

Ученый продолжал следить и за судьбой своих учеников, оказавшихся в других городах, был в курсе их дел и стремился оказать сильную помощь. В том же письме Перетц интересовался у Соболевского: «Кстати — не видели ли Вы моего Киевского питомца, Бугославского? Он переехал в Москву, но живется ему несладко: если бы не поддержали его музыканты (он и тут кое-что понимает), то хоть зубы на полку. Если что-ниб[удь] подвернется — имейте в виду, способный малый. [...] Он обосновался еще в 1915 г. в Москве и был пр[иват]-доц[ентом]. Не думает ли О[бщество] И[стории] и Др[евностей] Р[оссийских] возрождаться? Если да, то имейте в виду Бугосл[авского], у него великолепная работа о Бор[исе] и Гл[ебе] и еще есть кое-что. Вот другой мой ученик Гудзий — прилично устроился в Гос[ударственном] Изд[ательстве], а этому — не везет»¹⁷⁹. Не оставлял Перетц без внимания и положение вернувшегося из Самары в Москву Тихомирова. В конце декабря 1923 г. он с благодарно-

стью писал Сперанскому: «Спасибо, что приютили Мишу Тих[омирова]: его самоуверенность объясняется тем, что в Самаре два последн[их] года он был „сам себе голова“, — ну а это кружит голову». В том же письме вспоминал и осевших в Москве учеников. «Жалею от всей души, — сетовал ученый, — что не могут работать под Вашим руководством мои киевляне: Гудзий и Богуславский: в погоне за куском хлеба zelo „страстями житейскими подавляються“»¹⁸⁰. Очевидно, что вскоре Перетц получил вполне удовлетворительные известия об успехах своего самарского ученика. Уже через месяц, второго февраля 1924 г. он писал Сперанскому: «Радуюсь за М. Тихомирова: держите его в узде — и действительно выйдет хороший работник»¹⁸¹.

Появились у Перетца во вновь открытом Семинарии и перспективные ученики, и первым и любимым среди них стал И. П. Еремин. Когда в декабре 1922 г. Еремин направился в Москву для работы в архивах, Перетц просил своего учителя оказать начинающему ученому всяческую поддержку. «Пользуясь оказией, — писал он Соболевскому 17 декабря, — в Москву едет мой студентик Игорь Петр[ович] Еремин, который и принесет это письмо. Ежели нужно будет — поможете юноше советом, где и как найти ему то, что нужно. Он занимается Кирилл[ом] Тур[овским], написал — прямо скажу — хорошую работу о притче про хромца и слепца (лучше, чем гадания Франка и Сухомлинова), а это для меня хороший показатель. У него собрана и библиогр[афия] списков. Н. К. Никольский проверит ее, ежели не надует. Прошу Вас, помогите ему ориентироваться в местонахождении рукописей, потому что теперь произошла такая их мобилизация, что по старым описаниям и не найти. Вы же, как старый москвич, уже знаете, где что»¹⁸². Но неожиданный приезд друга молодости побуждает Перетца уже на следующий день вновь писать Соболевскому: «Мой юноша еще не уехал, а тут подоспели именины Варв[ары] Павл[овны], приехал А. И. Яцим[ирский]. Много вспоминали о Вас и жалели, что Вас нет в Петрограде! Варв[ара] Павл[овна] и Соф[ья] Ал[ексеевна] Щегл[ова], кот[орая] живет у нас, посылают Вам образцы своих кулинарных, точнее кондитерских талантов, и просят принять их благосклонно». Перетц искренне сочувствовал другу, вынужденному преподавать в провинции, хотя в отношении к новым порядкам вообще и к делам в высшей школе их взгляды резко расходились¹⁸³. «Жаль Яц[имирского], — писал Перетц их общему учителю, — ведь славист знающий, а едва ли устроится в Питере, не зирая на его „марксизм“»¹⁸⁴.

В начале февраля 1923 г. Перетц вновь отмечал успехи своего ученика. Он сообщал Соболевскому, что собирается предложить в «Сборник» Публичной библиотеки работы Адриановой-Перетц, свою

«и моего малыша Еремина, кот[орый] вернулся из Москвы в восторге, хотя сильно позеленел и похудел»¹⁸⁵. В том же феврале Перетц писал Соболевскому и об одной своей ученице, судьба которой в будущем доставит ему столько волнений: «У меня занимается сейчас студентка, дочь Б. В. Никольского, способная девушка. Вот была бы радость отцу! Я вспомнил наши студ[енческие] годы — ведь я был в Ун[иверситете] одновр[еменно] с ним, с ним же и [нрзб.] на 1-м курсе... Но жизнь развела нас. И теперь вижу его дочь, унаследовавшую от него большие способности. Мы с В[арварой] Павл[овной] натаскиваем ее по русск[ой] и слав[янской] части»¹⁸⁶. Следует отметить, что у Перетца были особые причины сообщать Соболевскому об успехах Никольской. Ее отец, профессор-классик был не только однокашником Перетца, но и человеком близким Соболевскому по политическим убеждениям. Судя по всему, ученый высоко ценил и научные работы Никольского. Так, по его просьбе М. Фасмер выяснял судьбу трудов Б. В. Никольского в типографиях Юрьева (Тарту). В декабре 1920 г. об итогах этой работы тот информировал Соболевского и, в частности, сообщал, что обнаружил «рукопись „Памятник: Гораций — Державин — Пушкин“ — 217 стр. в 8^о». «Эту рукопись, — писал Фасмер, — я взял из типографии себе на квартиру и перешлю при первой возможности в Академию П[етер]б[ург]»¹⁸⁷. Необходимость заняться научным наследием Никольского была вызвана его трагической гибелью. З. Н. Гиппиус отмечала в своем дневнике летом 1919 г.: «Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь — 18 лет и сын 17-ти»¹⁸⁸.

Перетц старался возродить традиционные для его Семинария научные экскурсии. В конце мая 1923 г. он предупреждал и обращался за содействием к Сперанскому: «Между 12 июня и 10 июля я намерен с женою и 10-ю молодыми людьми, в числе коих две девицы, побывать в Москве [...] можно ли членам моей экспедиции надеяться, что мы сможем воспользоваться рукописями Исторического музея». Среди собиравшихся приехать были и Еремин с Никольской¹⁸⁹. Но большой замысел по каким-то причинам осуществлен не был. И 10 июня того же года Перетц уже специально писал Сперанскому: «Мой ученик, Игорь Петрович Еремин, снова едет в Москву для занятий. Прошу оказать ему содействие. Он закончил свою первую работу — о хромце и слепце, и если Ваше Историко-литер[атурное] общество действует, он мог бы сообщить результаты своей работы, совершенно новые»¹⁹⁰.

Если успехи новых учеников радовали Перетца, то и его положение в университете, и положение в нем его учеников старшего поколения продолжали огорчать и, более того, раздражать ученого. В на-

чале лета 1925 г. он писал Сперанскому: «У нас с замещением штатов в Унив[ерситете] произошло нечто высоко-комическое: велено было руководствоваться старой классификацией, т[о] е[сть] для профессоров — требуется ст[епень] доктора, или хоть магистра. Начали в Ф[акультете] судить — и оказалось, что только мы с Сиповским можем претендовать на штатн[ую] профессуру: и из лет еще не вышли, и степень есть — но нас „отвели“: мы-де штатны по другим службам (я в Ак[адемии] н[аук], он — в Морех[одном] учил[ище]). Остались же — „красные“ проф[ессора], но беда — у них нет не только никакой квалификации, но и вообще даже грамотности, как, напр[имер], у Назаренка. Решили — оставить кафедру вакантной. При этом нарочно или случайно — забыли, что в составе Исслед[овательского] инст[итута], входящего в Унив[ерситет], — есть магистры — именно Варв[ара] Павл[овна] и Соф[ья] Ал[ексеевна]. Тут не без „антифеминистич[еского]“ движения, которым отличались тут давно: один видный ун[иверситетский] деятель при рассмотрении заявления одной особы женского звания года два тому назад выразился: „довольно с нас бабья“. Хорош стиль! А мужеск пол у нас — весьма малограмотен»¹⁹¹. Но худшее еще ожидало Перетца, на фоне обострения его болезни («сердце порою очень беспокоит»), чему способствовали волнения, вызывавшиеся кампанией по уничтожению ОРЯС как самостоятельного второго Отделения Академии наук; стало очевидно, что и его деятельность в университете завершается не вполне добровольно. С горечью обо всем этом он писал 7 августа Соболевскому «Из Унив[ерситета] я вылетел, как по болезни, так и по воле начальства, не поручившего мне обя[зательного] курса. Все это скверно. Но довольно об этом»¹⁹².

Создавшееся положение не мешало, однако, ученому продолжать хлопотать о научном и материальном положении своих учеников. Не без гордости Перетц сообщал Соболевскому в октябре 1920 г. о серьезной научной работе Адрианой-Перетц: «Варвара Павловна работает сейчас над большущей задачей: пишет о пародиях в др[евне]рус[ской] лит[ературе]. Не могу перетащить ее на более хлебное = новое!»¹⁹³ В это время Соболевский решил возродить Словарную комиссию Академии наук, о чем сообщал Перетцу, прося его содействия¹⁹⁴. Сам Перетц готов был по мере сил поспособствовать этому делу. «А вот насчет сотрудников, — продолжал ученый, — у меня надежд нет: все молодые люди, сколько-ниб[удь] квалифицированные, — в погоне за куском хлеба. Я наводил у Вас[илия] Мих[айловича] (Истрина. — М. Р.) справки, будет ли оплачиваться словарная работа по д[ревне]р[усскому] словарю, но ничего утешительного от него не услышал. Могу ли я требовать, чтобы голодная молодежь отдавала свои силы и вре-

мя на словарь д[ревне]р[усского] яз[ыка]? Надо бы упрочнить его финансовое положение. Ведь Тимченко, редактор Историч[еского] украинск[ого] словаря, — платит (из средств Киев[ской] Акад[емии]) сотрудникам. Почему «Всесоюзная» не может на сие раскошелиться?»¹⁹⁵ Старался Перетц помогать и просто студентам, посещавшим его лекции, о чем свидетельствует его письмо А. Ф. Кони от 11 ноября 1925 г. В письме он просит «помочь добрым советом» «моему слушателю по Университету». «Он, — сообщал Перетц, — пострадал в одном деле — по-моему, незаслуженно. Но вследствие болезни сердца я лишен возможности лично быть ему полезным. К тому же я не обладаю сотою долею того авторитета, который имеете Вы»¹⁹⁶. Этим слушателем был М. К. Каргер, впоследствии известный археолог и искусствовед.

Несмотря на слабое здоровье, Перетц очень надеялся на продолжение активной педагогической деятельности. В июне 1926 г. он писал Соболевскому: «Меня просили вернуться в Унив[ерситет]. Я поставил условием „приличный антураж“, и вот жду, пройдет мой „номер“ или нет...»¹⁹⁷ Но номер не прошел, в университет ученый уже не вернулся, что сузило работу его Семинария¹⁹⁸. Кроме собственного здоровья Перетца очень волновало здоровье жены и беды, обрушившиеся на Никольскую. Все свои переживания ученый доверял письмам к учителю, который не только вникал в его проблемы, но и старался оказать посильную помощь. В конце декабря Перетц писал Соболевскому: «Варвара Павловна просит передать Вам ее искреннюю благодарность за книги, она последние дни хворает: возобновились сердечные припадки, беспокоившие ее летом [...] Судите сами, — да это видно и по моему писанию — в каком виде и мои нервы»¹⁹⁹. Не способствовала спокойствию ученого и ситуация с Никольской. В этом же он сообщал: «У нас кончился погром аспирантов, почему-то называемый экзаменом. Выдержали из 40 чел[овек] едва 10. Но и те не уверены в судьбе; отметки не окончательны, их будут „обрабатывать“ в Москве в зависимости от посторонних вейний... Так покровительствуют молодым ученым. Ваша „правнучка“ А. Никольская, ученица Варв[ары] Павл[овны] — прошла благополучно, на 4-ках, но ведь она — единственная аспирантка по ист[ории] др[евне]р[усской] лит[ературы]!! Не влечет к себе эта наука»²⁰⁰. Тревожные предчувствия Перетца вскоре оправдались. 30 марта 1927 г. ученый вновь сообщал о ее судьбе Соболевскому: «А вот с 3-м членом нашей семьи, с дочкой, доставшейся от † Бор. В. Ник[ольско]го — совсем плохо. Так хорошо занималась, мы с В[арварой] П[авловной] ее поддерживали. А тут присланные хулиганы из Москвы производили „экзамен“ по марксизму: сначала ей поставили 4, а через неделю... эта четверка чудом

(вот и говорите, что у материалистов чудес не бывает!) обратилась в... 2, что привело к лишению стипендии. Это страшно раздергало бедняжку, она захирела, а две нед[ели] тому назад заболела так, что пришлось поместить для клинического иссл[едования] в лечебницу [...] Я смотрю уныло на ее судьбу. Никогда я не думал, что придется нянчить дочку Б[ориса] Вл[адимировича], а еще меньше, — что наши заботы с В[арварой] П[авловной] и мои прервутся вторжением какой-то злой силы»²⁰¹. При этих обстоятельствах Соболевский старался морально поддержать Перетца. Через два дня, второго апреля Перетц благодарил своего учителя «за пожелание душевного спокойствия». «Его-то, — продолжал ученый, — мне и не хватает. А не хватает потому, что и дома все неладно, да и в Акад[емии] тоже. [...] Птенцы наши — тоже едва дышат: одного, безработного Еремина (что писал о Кир[илле] Тур[овском] в Изв[естиях] Отд[еления] недавно) я снабдил деньжатами и отправил в Москву заниматься в рукописн[ых] собраниях. Его приютит у себя Несторыч (Сперанский. — М. Р.). А другое наше дитя совсем плохо: Никольскую 1) лишили стипендии (80 р[ублей]) за то, что она „хотя и формально ответила на все вопросы по марксизму правильно, но не чувствовалось, что она разделяет маркс[истскую] идеологию“: так было сказано одному из ее заступников, кот[орый] удивлялся, как из 4-х четверок — в итоге вывели двойку. 2) От всех этих неприятностей она захворала: у нее, как говорят врачи — в лучшей из соврем[енных] лечебниц — обнаружилась язва желудка нервного происхождения. [...] вот уже 3-я неделя как в больнице [...] О работе надолго не может быть и речи: осталась одна тень»²⁰².

Отправляя Еремина в Москву, Перетц и Сперанскому сообщал о тяжелом состоянии своей ученицы в письме от четвертого апреля: «Пользуюсь случаем написать Вам несколько строк с Игорем (Петровичем, не Святославичем!). Большое Вам спасибо за то, что согласились приютить его. Но другой наш птенец, которого я имел намерение подкинуть Вам в мае — Анечка Никольская. Совсем расхворалась: лежит в лечебнице»²⁰³. Через три недели ученый вновь писал Сперанскому: «Я совершенно измотался с больными. Милая — Никольская — у нас почти при смерти. Добили окаянные налетчики из Москвы. А девочка так хорошо работала, со вкусом. Вот „жертва времени“ — и вероятно таких есть и будет еще немало. [...] Спасибо, что приютили парнишку. Вернулся в восторге»²⁰⁴. Перетц был так доволен успехами своего любимца, что уже через два дня, 26 апреля, сообщал Сперанскому: «Я уже Вам писал, с каким восторгом вернулся наш „молачек в штанах“ от Вас. Мы его сразу засадили протирать творог и мешать пасху, что он исполнил с такой же добросовестностью, что и поиски в рукописях. Жду от него детального отчета о

работе»²⁰⁵. Перетц и далее старался оказывать своему ученику всевозможную поддержку. В августе 1927 г. он писал Сперанскому: «Игорь гостил лето у меня»²⁰⁶.

Похоже, что успешная работа Еремина была единственной радостью для Перетца в 1927 г. Этот год был знаменателен в жизни ученого двумя важными начинаниями, характеризующими его как учителя и ученика. В январе 1927 г. Соболевскому исполнилось 70 лет, и Перетц выступил инициатором подготовки юбилейного сборника. В том же году ученый посчитал возможным способствовать выдвижению своей ученицы и жены Адриановой-Перетц в члены-корреспонденты АН СССР. Оба эти начинания, особенно второе, вызывали у Перетца сильнейшие душевные переживания. В начале ноября 1927 г. ученый писал Соболевскому: «Обращаюсь к Вам по весьма деликатному делу. Мы беседовали с М. Н. Сперанским о том, чтобы предложить Варв[ару] Павл[овну] в члены-корр[еспонденты] по нашему Отделению. Вы сами понимаете, что я в этом деле не могу принимать участия. М. Н., как всем известно в Питере, — в дружественных со мною отношениях и ему не хотелось бы подчеркивать это, выступая „в первую голову“ с предложением. Мы оба обращаемся к Вам с просьбою, — если Вы не имеете серьезных возражений — взять инициативу на себя, т. е. первым подписать записку, которую составит М. Нест., у которого уже все для этого имеется. Я долго думал, прежде чем написать Вам об этом. Но М. Н. полагает, что лучше мне написать об этом Вам, так как давние наши отношения м[ожет] б[ыть] позволяют Вам — как бы Вы не отнеслись к нашей просьбе — ответить на нее без всяких церемоний.

В. П. из-за болезни приходится оставить службу в Ак[адемической] библи[отеке]. М[ожет] б[ыть] — придется со временем хлопотать тоже о пенсии, так как „служебная“, чиновничья ее работоспособность в зависимости от астмы значительно понизилась. Я же с каждым днем убеждаюсь, что мое сердце „сдает“, хотя я бодрюсь и виду не показываю, как мне порой трудно. Я был бы очень счастлив, если бы Ваш ответ был положительным. Но если Вы найдете, что работы В[арвары] П[авловны] ниже работ Абрамовича, [...] и др. — я в обиде не буду. Она содержания моего письма не знает и не узнает. Т[аким] обр[азом] все будет без огласки и огорчений»²⁰⁷. Соболевский поддержал предложение своего ученика. До голосования по кандидатуре Адриановой-Перетц, однако, дело не дошло вследствие процедурных нарушений, в которых было повинно руководство Отделения. Перетц был чрезвычайно раздосадован таким исходом дела, в раздражении он весьма нелестно отозвался в письме Сперанскому о поведении своих коллег, не пожелавших исправить явную оплошность

и довести дело до голосования (так, характеристика «идиот» была еще не самой суровой)²⁰⁸. Сложившейся ситуацией явно воспользовались недоброжелатели Перетца, о чем свидетельствует письмо Истрина Сперанскому от 10 декабря. Оно в очень несимпатичном виде выставляет его автора, известного ученого, хотя Истрин сам старается представить свою позицию исключительно как высококонрастную. Итак, он писал: «Чрезвычайно дурное впечатление произвело на всех выступление москвичей в деле В. П. Адриановой-Перетц. Третье Отделение прямо-таки взъелось на б[ывшее] второе, обвиняя нас, что мы занимаемся кумовством. А мы ни телом, ни душой не виноваты. Предложение москвичей для всех нас было полной неожиданностью. Хорошо, что кандидатура была снята по формальным основаниям, иначе был бы ей единоголосный провал (кроме, разумеется, супружеского голоса). С педагогической стороны это было бы полезнее и поучительнее, но на бестактного и назойливого Перетца это не подействовало бы, а для кандидатки это было бы неудобно и конфузно. Перетц, конечно, не уразумел бы, что кандидатура его супруги в действительности устранена не по формальным, а по моральным. Ведь четыре года тому назад он обходил [нрзб.] прося представить В[арвару] П[авловну] в чл[ены]-корр[еспонденты], но получил отпор. С тех пор он молчал, дожидаясь удобного случая. Случай этот представился, и дело вышло так: Перетц устраивает Соболевскому честь в виде Сборника, а Соболевский как будто в оплату устраивает супруге Перетца честь в виде почетного звания. Получилось нечто скандальное. Ну, а Вы-то с Матв[еем] Ник[аноровичем] (Розановым. — М.Р.) зачем впутались в эту историю?»²⁰⁹ Как видно, Истрина вообще не интересует оценка научных достоинств работ Адриановой-Перетц, он во всем усматривает только хитроумную интригу ее мужа. Заметим, кстати, что отношения Истрина и Соболевского находились в это время на грани полного разрыва. Соболевский негативно относился к поддерживаемой Истриным кандидатуре П. Н. Сакулина в выборах в Академию. Еще в ноябре 1925 г. Соболевский весьма резко писал Истрину: «Позволяю себе откликнуться на Ваш призыв и высказать свое мнение о кандидатах в качестве старшего по возрасту и избранию.

Сакулин, Пиксанов (!!! Господи !!!), Сиповский настолько себя скомпрометировали по части элементарной порядочности, что об введении их в Ак[адемию] Наук не может быть речи. Академии Наук нужны члены не только ученые, но и приличные, не подлецы. [...] Извините за резкие высказывания: пожалейте Академию Наук и ее 2-е отделение и подумайте о будущем возмездии за грехи против этики и науки. [...] Интересно знать, кто выставил кандидатуры Пиксанова и Сакулина»²¹⁰.

По-видимому, только к концу декабря Перетц смог достаточно успокоиться, чтобы вновь взяться за перо, 29 числа он очень коротко сообщал Сперанскому: «Варв[аре] П[авловне] лучше. О неприятности со стор[оны] Никольск[ого] и Карского — пока ничего не знает, и я молю бога, чтобы ког[да]-ниб[удь] об их гадости она не узнала»²¹¹. На следующий день он пишет письмо Соболевскому. Ученый подробно описывает ситуацию, пытается определить подлинные причины неудачности выдвижения. Поздравляя Соболевского с наступающим Новым годом, Перетц писал: «Вы, вероятно, слышали от М[ихаила] Нестор[овича], какую шутку устроили наши милые сочлены: придравшиеся к ротозейству и.о. секретаря Бартольда, отвели выборы В[арвары] П[авловны] в чл[ены]-корр[еспонденты]. Я, конечно, понимаю, в чем дело; свели со мною счеты за мою оппозицию при неудавшихся выборах Сакулина. Это все ужасно „благородно“. Но хуже всего то, что (видимо возмущенные этой травлей) некот[орые] члены б[ывшего] III отд[еления] — навалили черняков И. И. Замотину, которого представляли в чл[ены]-к[орреспонденты] Карский и я. А м[ожет] б[ыть] и свои же, вырвавшись из-под авторитета К[арско]го, опять сделали мне гадость... [...] У нас весь декабрь был лазарет. Со 2-го у Варв[ары] П[авловны] до 18-го не было дня без припадка. Я измотался так, что пришлось взять сестру милосердия, кот[орая] пробыла у нас 12 дней. Я немного отдышался. В. П. оч[ень] страдала. Сейчас — с 18 по сей день, не повторялись припадки. Она ползает по комнатам, а сегодня взялась даже за продолжение работы о „Кабацком празднике“. К счастью, она не знает ничего об наших академических хулиганах, и я стараюсь уберечь ее от всяких слухов, чтобы не растревожить ей снова сердца»²¹². И все это происходило на фоне явного наступления на изучение национальных древностей. «У нас еще новость, — продолжал Перетц, — РАНИОН — есть такое учреждение, которому подведомственны Исследов[ательские] Институты — „вычистил“ из здешнего — меня, Соф[ью] Ал[ексеевну], Бельченка, а если вычесть Дм[итрия] Ив[ановича] (Абрамовича. — М. Р.), находящегося за пределами достигаемости²¹³, то древняя литература, т[о] е[сть] наша группа — оказалась упраздненной: В[арвара] Павл[овна] подала заявление с просьбой освободить ее от звания сверхшт[атного] д[ействительного] члена, ибо в пустоте „коллективной“ работы вести нельзя. Вчера на юбилее Общ[ества] Др[евней] Письм[енности] Державин красноречиво ораторствовал о необходимости изучения др[евней] письм[енности], но он в РАНИОН'е, видимо, голоса не имеет и вопли его о разорении целой специальности — вотще. В остальном у нас все по-старому. Как-то Вы в Вашем домике? Боюсь, что очень зябнете!»²¹⁴ Время показало, сколь не правы были коллеги Перетца,

поставившие свое желание досадить ученому за его общественную активность и принципиальность в вопросе пополнения рядов Академии выше интересов науки в очень тяжелое для нее время. Во многом благодаря именно всей последующей деятельности члена-корреспондента АН СССР Адриановой-Перетц удалось сохранить и продолжить изучение древнерусской литературы.

Что же касается сборника статей, посвященного 70-летию Соболевского, то история его выхода в свет тоже была полна сложностей ненаучного характера. Накануне юбилея, еще в конце декабря 1926 г. Перетц писал Соболевскому: «Не сердитесь на меня за затею, кот[ора] явилась не столько плодом моей выдумки, сколько товарищеского кружка Ваших Петерб[ургских] учеников. Думаю, что ни один ученый нашего времени не собрал бы около себя столько лиц, как это вышло теперь с Вами. Это — оправдание нашей затеи»²¹⁵. К этому времени весь сборник был уже фактически собран, следует отметить стремительность, с какой было подготовлено это издание. Все статьи сборника имеют даты завершения работы, первая — 20 ноября 1926, последняя 31 декабря 1926 г., всего же статей — 109. В этом же письме Перетц сообщал: «Ваши портреты дошли благополучно. Новый — великолепен; жаль только, что поля малы»²¹⁶. Некоторые коллеги обоих ученых предпочли, однако, в сборнике не участвовать, как, например, Истрин. Никольский же выступил автономно, «Написанная мною, — писал он Соболевскому 10 февраля 1927 г., — в ознаменование Вашего юбилея и прочитанная в Заседании Славянской Комиссии заметка о Кирилле-Философе, как писателе, предназначена мною для Известий, так как объем ее превышает 4–5 страниц, уделенных для каждой статьи в сборнике, предпринятом В. Н. Перетцем»²¹⁷.

Сам Перетц, по-видимому, считал излишним информировать Соболевского о сложностях подготовки сборника к печати. Но тот был в курсе дела благодаря письмам Д. К. Зеленина, который состоял с Соболевским в активной переписке. «Я сегодня был очень обрадован, — сообщал Зеленин 22 ноября 1926 г. — получив циркулярное письмо за подписями шести лиц: П. Н. Шефнера, В. Н. Перетца, А. И. Лященко, В. В. Сиповского, Н. К. Козмина и П. К. Симони. Из письма узнал, что наконец-то близка к осуществлению давняя мысль издать научный сборник Вашего имени». Однако тут же он не преминул посоветовать на организаторов: «К сожалению, места дают мало — всего 4 страницы (10 тыс. знаков). Придется дать лишь резюме, так как для полного изложения потребовалось бы 2 листа»²¹⁸. Прошло немногим более трех недель, и Зеленин информировал Соболевского об очевидном успехе в заполнении сборника. Одновременно он и сочувствовал трудностям Перетца, но и полагал, что тот упускает воз-

возможность добиться большего объема для труда. «В. Н. Перетц получил очень много статей для Вашего сборника и требует сокращения у всех, — отмечал Зеленин, — кто вышел за пределы 4-х страниц, в частности у меня». «Впрочем, — отмечал он далее, — положение редактора тут очень тяжелое. Но я не сомневаюсь, что при известной дипломатичности всегда можно выйти за пределы той нормы в 15 листов, которую ему дали. Обычно многие академические учреждения (хотя бы наш Музей, наша Словарная комиссия) не выполняют своей нормы, так что всегда бывают остатки. В. Н. Перетц и тут, как всегда, оказывается слишком прямолинейным. — Успех сборника даже превзошел ожидания. Статьи целого ряда моих харьковских учеников не попали за недостатком места»²¹⁹. Зеленин вскоре убедился в том, что явно недооценил организаторских способностей Перетца. Уже через неделю, 26 декабря он писал Соболевскому: «Сейчас я беседовал с В. Н. Перетцем. Опасения мои оказались совершенно напрасными. И моя рукопись, и рукопись Бескровного сданы в типографию без всяких сокращений. В. Н. П. оказался тонким дипломатом; в марте выпустит книгу в 23 листа (вместо данных 15-ти). Все 70 статей — исследования; небывалый случай, ибо в подобных сборниках чаще всего видим информационные заметки. Несколько рукописей В. Н. П. вернул авторам, найдя их непригодными»²²⁰. Как показали дальнейшие события, подготовить сборник к весне 1927 г. оказалось невозможным, однако в окончательном виде он содержал уже не 70, а 109 статей, и объем его вырос до 38 листов.

Перетц придавал делу издания сборника большое значение, поэтому всячески старался ускорить дело. Уже в начале апреля 1927 г. он писал Сперанскому: «Сборник в честь А. И. Соболевского печатая: уже 8 листов готово!»²²¹ Ему же 10 августа: «Я подгоняю сборн[ик] Соболевского], хочу его кончить в нач[але] сент[ября], чтобы потом отвезти лично ему»²²². Но тут в деле появились непредвиденные обстоятельства. Препятствием в деле выпуска издания в свет оказался Непременный секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург, сыгравший заметную роль в уничтожении самостоятельности ОРЯС. Неприязнь к нему объединяла практически всех академиков, бывших членов этого отделения. Чтобы преодолеть это сопротивление, Перетц пытался организовать сочувствующих делу академиков. «Сб[орник] Соболевского], — писал он Сперанскому 16 ноября, — выйдет только тогда, когда на Ольденбурга будет давление: надо, чтобы Вы и М[атвей] Никанорович порознь написали о необходимости ускорить. А что Алексей Иванович?»²²³ Перетца поддерживали, но, как писал Соболевскому Б. М. Ляпунов в конце декабря: «Очень сожалею, что сборник статей, посвященный Вам, до сих пор не выпущен

цензурой. [...] Мы тщетно пристаем к Ольденбургу, добиваясь скорейшего выпуска, но он обещает лишь в январе 1928 г.»²²⁴. А 30 декабря, вместе с поздравлениями, уже сам Перетц сеговал в письме Соболевскому: «Мне очень горько и обидно, что из-за какой-то нелепой дипломатии Ольд[енбург] не выпускает Сборника, издаваемого в Вашу честь: уже 2 октября я подписал к печати последнюю корректуру и до с[ей] пор[ы] не могу добиться, чтобы его подписал к выпуску в свет наш диктатор»²²⁵. Ольденбург своих обещаний не выполнил, дело затягивалось. Удивлялись сложившейся ситуации и коллеги, жившие в провинции. Так, А. И. Томсон писал в марте 1928 г. Ляпунову: «Судьба Сбор[ника] Соболевскому меня поражает! Пропасть он не может, т. к. работа уже сделана, фактически расход произведен»²²⁶. В марте же, строя планы будущих поездок, очень надеялся на успешное разрешение дела сам Перетц. В письме Сперанскому от 18 числа он предполагал: «Если бы Ольд[енбург] подписал и выпустил Сб[орник] Соболевского, я бы сам его повез Ал[ексею] Ив[ановичу] и заодно заглянул бы в Ист[орический] Муз[ей]»²²⁷. Но в апреле по Академии поползли нехорошие слухи, о которых Перетц тут же сообщил Сперанскому: «Слышал от Майковой, а она — от Платонова, что будто бы Ольд[енбург] вообще не хочет выпускать в свет сборник Соболевского. Я не знаю, как бороться с этим самодурством. Теперь все бюджетные разговоры кончились и дипломатич[еские] причины отпали. А дело — стоит. Хоть бы кто-ниб[удь] извне подействовал на него! М[ожет] б[ыть] собрать петицию участников? Не знаю»²²⁸. Но летом дело разрешилось благополучно²²⁹, хотя и тут не обошлось без пренебрежительного отношения к организатору издания. Так, 30 июня 1928 г. Перетц сообщал Соболевскому: «На днях только я узнал, что подарок Вам от Ваших учеников и почитателей готов и — с большим запозданием все же рассылается. Сделалось это даже без моего ведома, как редактора; я хотел самостоятельно привезти Вам сборник. Но наш Н[епременный] Секр[етарь] или его заместитель распорядились иначе, и я неожиданно узнал, что экземпляры уже пошли к авторам, в учреждения и — конечно, думать надлежит — и виновнику появления этой книги — которую я прошу Вас принять милостиво: каждый старался сообразно силам и способностям.

Многих авторов Вы не знаете — это молодежь, и меня радует, что среди молодежи есть еще интересующиеся тем, чему Вы — и я отчасти отдали свою жизнь. Варвара Павловна просит Вас принять ее наилучшие пожелания и долго еще вдохновлять на работу целый ряд представителей нового поколения»²³⁰. Соболевский сразу же, второго августа, ответил Перетцу: «Вот уже десять дней, как я получил

свой сборник в количестве 25 экз[емпляров]. Внешность — прекрасная, статьи — не хуже, чем в других однородных сборниках. Спасибо Вам за хлопоты и еще большее спасибо за внимание к моей деятельности»²³¹. Благодарил Соболевский и других участников сборника, но настроение у него было явно нерадостное. Первого октября он писал Ляпунову: «Спасибо и за письмо, и за хлопоты об „моем“ сборнике, и за оттиск Вашей из него статьи. Слава Богу, как-нибудь живем в нашей тревожной жизни, среди забот о хлебе, масле, сахаре, среди вестей о комиссиях и банкетах... Бедная русская наука! Так ее втягивают в политику, без всякого основания и без всякой надобности»²³².

Выход сборника в честь Соболевского был, безусловно, заметным явлением в русской науке. Участие в чествовании такого количества ученых, филологов и историков, от академиков до аспирантов, было демонстрацией сил и потенциала академической науки. Отметим, что 51 том сборника ОРЯС появился, когда само отделение после длительного, но безуспешного сопротивления уже прекратило свое существование летом 1927 г.²³³. Сборник появился в период активного идеологического, политического и организационного наступления властей на Академию наук. В марте 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) уже утвердило под грифом «Совершенно секретно» свой список кандидатов в академики²³⁴. Особо поощрялись такие «марксистские» направления в науке, как социологическое и яфегидология (марризм)²³⁵. Возможно предположить, что сама идея подобного издания несла в себе и своеобразный вызов официальному руководству Академии наук, откровенно искавшему расположения властей. Да и само объединение ученых вокруг фигуры Соболевского, с его политическим прошлым, с его нескрываемой неприязнью к новым властям не могло не вызывать раздражения руководства Академии. Сразу же после выхода сборника Ольденбург позволил себе публичные высказывания, в которых называл участников сборника контрреволюционерами и врагами народа. Подобное поведение Перетц оценил как «гнусность»²³⁶. Тем не менее сборник увидел свет, и в нем приняли участие почти полтора десятка учеников Перетца, участвовавших в разное время в его Семинарии.

В этом году ученый придавал особое значение успешному завершению работы Еремина над диссертацией, оказывая ему самую разнообразную помощь. Перетц и заказывал через Сперанского, и оплачивал изготовление копий материалов, необходимых Еремину²³⁷. Когда у Сперанского возникли планы издания древнерусских повестей, Перетц сразу же предложил кандидатуру своего ученика и его работу «Повесть о посаднике Щиле»²³⁸. Летом 1928 г., как и весной 1927 г., Еремин воспользовался протекцией учителя и останавливал-

ся в Москве у его друга. Так, 9 августа Перетц описывал Сперанскому состояние дел ученика: «Спасибо за то, что приютили Игоря. Он сделал оч[ень] много. Жаль, что из-за уроков должен засесть на зиму в Л[ени]нгр[аде]»²³⁹. Казалось, что дело благополучно шло к защите, но в обстановке нараставшей травли Академии наук и ее научных традиций со стороны властей и таких организаций, как «Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству» (ВАРНITCO)²⁴⁰, непреодолимым препятствием стал отзыв на диссертацию известного приверженца социологического метода В. А. Келтуялы. Сложившаяся ситуация буквально вывела Перетца из себя. Для своего идейного и научного противника он не пожалел самых резких слов. В ноябре Перетц писал Сперанскому: «С Игорем — чепуха: Келтуяла, ровно ничего не нашедший сказать о его дисс[ертации] о Шиле — придирается к тому, что «мало марксизма», и что вся работа сделана «по-буржуазному». Вот дурак! И это — лицо стоящее во главе специальности в когда-то славном Л[е]н[ин]гр[а]д[с]к[ом] ун[иверситете]». Был недоволен Перетц и позицией своего ученика, но решил придерживаться тех принципов свободы выбора, которых придерживался его собственный учитель. «Если бы я был на месте автора дисс[ертации], — продолжал письмо Перетц, — я бы не стал колебаться и предпочел бы защитить ее в более приятном обществе. Но — И[горь] человек современный и с большою угнетенностью психики и потому намерен переделывать «ad usum delphini [нрзб.]»²⁴¹ свою работу. Я хоть и предложил ему защищать в друг[ом] месте — сейчас никакого совета ему не даю. Чтобы не оказывать давления: пусть сам несет последствия своего решения, ибо честь была предложена. Боюсь только, что он будет наказан теми, к кому хочет прислужиться, ибо там „своим“ его не считают и не будут считать, и ГУС не утвердит его защиты, если учтет отзыв Келтуялы»²⁴². В результате защита диссертации была отодвинута почти на шесть лет.

Временная размолвка не могла нарушить отношений учителя и ученика. Еремин остался любимым из «младших» учеников Перетца, недаром, как вспоминала Адрианова-Перетц, ученый называл его именем младшего любимого сына библейского Иакова — «мой Вениамин»²⁴³. Еремин в наступавшие мрачные времена идеологической цензуры оставался рядом с учителем. Даже на заседаниях в Институте славяноведения в начале 1930-х годов они, как правило, и присутствовали вместе, и выступали с сообщениями на одних и тех же заседаниях. Так, например, восьмого мая 1932 г. Еремин докладывал о ходе работ по теме «Иван Вишенский и его деятельность»²⁴⁴. «В настоящий момент, — сообщал Еремин, — издание сочинен[ий]

Вишенского уже полностью подготовлено к печати; работа полностью будет окончена к 1 января 1933 г.»²⁴⁵ На том же заседании Перетц делал сообщение о работе по теме «Сборники украинских пословиц XVII–XVIII вв. в марксистском освещении»²⁴⁶. Кстати, собственно работой по этой теме занималась Адрианова-Перетц, ее отчет об исследовании сборника пословиц иеромонаха Климентия (конец XVII в.) приложен к протоколу заседания²⁴⁷. В неосуществленных планах Института славяноведения «на вторую пятилетку» (1933–1937) Перетц вместе с Ереминым значатся исполнителями проекта с соответствующим наступившей эпохе названием: «Отражение классовой борьбы в украинской литературе XVI–XVII вв.»²⁴⁸

Выборы в Академию конца 1928 г. проводились под сильным давлением властей, с ними фактически завершилась ее советизация. Слабая попытка сопротивления Академии — были забаллотированы три кандидата-коммуниста — привела к проведению повторных и успешных для них выборов в феврале 1929 г. В прессе была развернута травля Академии передовой «общественностью», раздавались в ее адрес неприкрытые угрозы и со стороны властей²⁴⁹. Вполне возможно, что эта гнетущая обстановка вполне могла ускорить кончину Соболевского, последовавшую 24 мая 1928 г. Известие о смерти учителя стало для Перетца тяжелым ударом, 26 мая он писал Сперанскому: «Как громом поразило меня известие о смерти Ал. Ив. Соб[олевского], хотя, принимая во внимание его годы и утомление — этого можно было ожидать не сегодня — завтра. Но я так долго был связан с ним узами более чем уважения ученика к учителю, что очень тяжело переношу это несчастье. В сентябрьском засед[ании] 24-го, прочту в Ак[адемии] некролог — соотв[етствующую] характеристику его научной деят[ельности], чтобы наши [нрзб.] услышали об Ал[ексее] И[вановиче] то, чего не хотели знать, а академическая «молодежь» — пусть поучится на этом примере — научной работе и изумительной любви к науке.

Это известие мне передал Карский. Если бы не взятый билет в Минск, где я должен сделать доклад в назнач[енном] для этого засед[ании] — я бы приехал на похороны. Но это дела «внешние», погребут и без меня... А вот много ли найдется людей, кот[орые] наберутся смелости отдать дань покойному иным способом? Ведь А. И. — это целая эпоха в ист[ории] р[усской] науки. М[ожет] б[ыть], не все это сознают. Но и история скажет свое веское слово со временем...» Не мог Перетц не вспомнить те жизненные тяготы, которые переносил Соболевский в последнее десятилетие своей жизни. Он «был единственной силой дома. Из-за этого, может быть, и не выдержал... Дрова колол, воду носил — и это с большим сердцем!» Свежи были и

воспоминания о поведении академического руководства, чуть не сорвавшего появления юбилейного сборника. «Не без чудачеств был он, — писал Перетц, — но все ж — как горька доля русского ученого. Надеюсь, что теперь «смерть велит умолкнуть злобе», и гг. Ольд[енбург] и Ко уже не будут злопыхательствовать по адресу почившего?»²⁵⁰ Однако написание некролога оказалось для Перетца психологически непростым делом. Десятого августа он сетовал тому же Сперанскому: «К 10 сен[тября] я должен составить некролог Ал. Ив. Соб[олевского], но до сих пор рука не поднимается на такое дело, а это — мое заветное желание и — если хотите — мой долг ученика»²⁵¹. Но ученый свой долг выполнил, и составленный им некролог был представлен «в заседании Отделения Гуманитарных наук 19 декабря 1929 года». Перетц сам лидер целой научной школы, выросшей из его Семинария, отмечал у Соболевского в его отношении к ученикам те принципы, которые были созвучны и его убеждениям. «Ученики его, — писал Перетц, — не испытывали никогда никакого давления его авторитета; терпимость его была беспримерна и воспитывала в нас такую же. Он требовал одного: любви к научной работе и истине и честного отношения к фактам, не насилуя их, во имя предвзятых теорий». И далее: «[...] его организующая сила большого ученого сказалась в том, с каким вниманием и уважением к его научным заветам ученики его и ученики этих учеников разрабатывают темы, выдвинутые им»²⁵². Все сказанное можно с абсолютной уверенностью отнести и к самому Перетцу.

Почти за десятилетие до кончины своего учителя Перетц также остро реагировал на неожиданную смерть своего близкого друга и во многом единомышленника, Шахматова. Тогда, в начале сентября 1920 г. он писал Истрину: «Как безжалостна наша жизнь, наше время, как безумно расточительно оно, давая гибнуть таким ученым! ...И таким праведникам. Не потому говорю так, что был близок к покойному и любил его, а потому, что вряд ли кто-ниб[удь] встречал другого, кого можно было бы назвать более этим словом. Я всегда бесконечно изумлялся его удивительному дару делать жизнь всем, кто с ним соприкасался — легче»²⁵³. Нам представляется вполне закономерным, что, вспоминая своего учителя, Тихомиров в письме Адриановой-Перетц в очень близких и даже совпадающих словах описал важнейшие качества Перетца как учителя. «Теперь прошло много лет, — писал Тихомиров в марте 1954 г. — и пора вспомнить о покойном со словами древнерусских памятников: „праведники во веки живут и строение им от Вышнего“. И хотя слово „праведник“ употребляется очень узко, я вспоминаю эти слова всякий раз, когда думаю о людях, заботившихся о других, потому что в этом и есть, вероятно, праведность»²⁵⁴.

Примечания

- 1 Семинарий русской филологии при императорском Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. Первое пятилетие. Киев, 1912; Семинарий русской филологии акад. В. Н. Перетца. Участники Семинария своему руководителю. Л., 1929.
- 2 См., например: *Гудзий Н.* Памяти учителя // *Русская литература*. 1965. № 4. С. 169; *Назаревский А. А.* Из далекого и недавнего прошлого // *Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии*. М., 1968; *Назаревский А. А.* Из воспоминаний о молодых годах В. П. Адриановой-Перетц // *ТОДРЛ*. Л., 1974. Т. 29; *Колпакова Н. П.* Двадцатые годы // Там же; *Бялый Г. А.* Варвара Павловна Адрианова-Перетц // Там же.
- 3 *Сазонова Л. И., Робинсон М. А.* Изучение литературы русского средневековья и идеологизированная методология // *Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и перспективы изучения*. М., 1997. Т. 1. С. 159–178.
- 4 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935) // *Перетц В. Н.* Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. М.; Л., 1962. С. 212.
- 5 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 2.
- 6 Там же. Л. 2 об.
- 7 *Перетц В. Н.* Кукольный театр на Руси. Исторический очерк // *Ежегодник императорских театров. Сезон 1894–1895 г.* 1895. Кн. 1. Приложения.
- 8 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 4.
- 9 Там же. Л. 4 об.
- 10 Там же. Л. 6.
- 11 Семинарий русской филологии при императорском Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. Первое пятилетие. Киев, 1912.
- 12 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 6–6 об.
- 13 Там же. Л. 6 об.–6а.
- 14 Там же. Л. 69.
- 15 Там же. Л. 67.
- 16 Соболевский передал работы Перетца чешским коллегам Поливке и Зибрту, прося их послать в ответ свои работы. О слабой реализации этих договоренностей Перетц, по-видимому, сообщил учителю. На это Соболевский заметил: «Поливка — человек добрый; если теперь Вам мало выслал, вышлет потом, и Вы не будете в убытке. Но Зибрт — иного рода. Он мне так положительно утверждал, что Вам высылает — что Вам дожидаться уже нечего» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 11 об.).
- 17 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 2.

- 18 Там же. Л. 67.
- 19 Там же. Л. 8.
- 20 Там же. Л. 8.
- 21 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 213.
- 22 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 11 об.–11а.
- 23 Там же. Л. 11.
- 24 Там же. Л. 4 об.–5.
- 25 Там же. Л. 11а об.
- 26 Там же. Л. 70.
- 27 Там же.
- 28 О. А. Державина в своем исследовании о фацециях специально отмечала: «Проф. В. Н. Перетц посвятил фацециям много труда. В архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда и Киева им собран большой и очень ценный материал, где раскрываются источники сюжетов фацеций, дается описание одного из польских изданий, изучаются и сопоставляются русские списки. К сожалению, В. Н. Перетц не успел обработать собранный им материал, и широко задуманная работа осталась ненаписанной». Она также выражала благодарность В. П. Адриановой-Перетц за возможность познакомиться с этими материалами и использовать их (*Державина О. А.* Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XII века. М., 1962. С. 6).
- 29 *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. Т. I. Из истории русской песни. Ч. 1, 2. СПб., 1900.
- 30 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 215, 216.
- 31 *Перетц В. Н.* Материалы к истории апокрифа и легенды, II. К истории Лунника. Введение и славянские тексты. Дополнения к истории Громника и указатели к вып. I и II // ИОРЯС. 1901. Т. VI. Кн. 3. Кн. 4.
- 32 *Перетц В. Н.* Материалы к истории апокрифа и легенды, I. К истории Громника. Введение. Славянские и еврейские тексты // Записки Историко-филологического факультета СПб. Университета. 1899. Т. LIV.
- 33 Письмо датировано только числом и месяцем и отнесено при архивном описании к 1900 г., что мы считаем ошибочным. Работа о Луннике еще не была опубликована.
- 34 У Соболевского были сложные отношения с И. А. Шляпкиным.
- 35 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 14.
- 36 Письмо датировано только числом и месяцем и отнесено при архивном описании к 1898 г., что мы считаем ошибочным. В письме упомянут П. С. Ванновский, ставший министром народного просвещения весной 1901 г.
- 37 М. Н. Сперанский оставался профессором в Нежине до 1906 г.
- 38 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 12–12 об.

- 39 Там же. Л. 12 об.—13.
- 40 *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. Т. III. Из истории развития русской поэзии. XVIII в. Ч. 1. СПб., 1902.
- 41 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 217.
- 42 РГАЛИ. Ф. 584. Оп. 1. Д. 184. Л. 4.
- 43 Там же. Л. 4 об.
- 44 Там же. Л. 4 об., 5.
- 45 Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 4.
- 46 Там же. Д. 97. Л. 21 об.
- 47 Там же. Д. 78. Л. 18.
- 48 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 217.
- 49 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 63.
- 50 Там же. Л. 25–25 об.
- 51 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 218.
- 52 Там же. С. 213.
- 53 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 23–23 об.
- 54 Там же. Ф. 584. Оп. 1. Д. 184. Л. 2.
- 55 В июле 1919 г. Перетц писал Н. К. Никольскому: «С горечью прочел я в газетах о судьбе моего Киевского антагониста, Тимофея Дмитриевича. Что он мог сделать теперь? Ярые шовинисты (украинские. — *М. Р.*) — и те на него не обращали внимания, и тут — ! Ведь он событиями был совершенно обезврежен [...]» (ПФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 63 об.).
- 56 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 34–34 об.
- 57 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 218.
- 58 Там же. С. 220.
- 59 Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. Первое пятилетие. Киев, 1912. С. 13.
- 60 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 1–3.
- 61 Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 38–38 об.
- 62 Там же. Л. 46–46 об.
- 63 Там же. Д. 91. Л. 7.
- 64 Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. С. 13.
- 65 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 47.
- 66 Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. С. 15.
- 67 РГАЛИ. Ф. 584. Оп. 1. Д. 258. Л. 21.
- 68 Летучий семинар (*нем.*).
- 69 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 43 об.—44.

- 70 Там же. Д. 59. Л. 3.
- 71 Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. С. 15.
- 72 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 59. Л. 6.
- 73 Там же. Л. 5 об.
- 74 Там же. Д. 75. Л. 7–8.
- 75 Там же. Д. 91. Л. 23.
- 76 Там же. Д. 78. Л. 15–17, 18, 22 об.
- 77 Там же. Д. 97. Л. 51–51 об.
- 78 Там же. Л. 46 об.
- 79 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 336. Л. 51–51 об.
- 80 Там же. Ф. 134. Оп. 4. Д. 57. Л. 66–67 об.
- 81 Там же. Л. 68 об.
- 82 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 47 об.
- 83 Там же. Д. 91. Л. 10–10 об.
- 84 Там же. Д. 97. Л. 53 об.–54.
- 85 См.: Робинсон М. А., Сазонова Л. И. О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы (По письмам В. Н. Перетца М. Н. Сперанскому) // ТОДРЛ. 1993. Т. 48; Робинсон М. А. Русская академическая элита: советский опыт (1910-е – 1920-е годы) // Новое литературное обозрение. 2002. № 53; Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности в период реформирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славянский альманах 2001. М., 2002.
- 86 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 82.
- 87 Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 11 об.
- 88 Там же. Л. 12–12 об.
- 89 ПФА РАН. Ф. 115. Оп. 2. Д. 440. Л. 17.
- 90 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 55, 55 об.
- 91 Там же. Д. 91. Л. 13–13 об.
- 92 На обороте копии Перетц специально отметил: «NB из перлюстрации!» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 44 об.)
- 93 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 44.
- 94 ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 181. Л. 46 об.
- 95 Там же. Ф. 87. Оп. 3. Д. 380. Л. 12.
- 96 Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 963. Л. 155.
- 97 Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 436. Л. 1.
- 98 Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 963. Л. 187.
- 99 Там же. Л. 95, 276; Л. 187, 381.

- ¹⁰⁰ Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 194. Л. 11.
- ¹⁰¹ Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 963. Л. 92–93, 112–112 об., 143.
- ¹⁰² Там же. Д. 979. Л. 68, 69, 95, 88–89, 113–113 об., 180–180 об.
- ¹⁰³ Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 104. Л. 1.
- ¹⁰⁴ Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1062. Л. 2–2 об.
- ¹⁰⁵ Там же. Д. 1045. Л. 269.
- ¹⁰⁶ Там же. Д. 992. Л. 1.
- ¹⁰⁷ Занятия Семинария в 1905–1906 гг. проводились на дому у Перетца и у Лободы (Семинарий русской филологии при императ. Университете св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. С. 9).
- ¹⁰⁸ РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 7 об.–8.
- ¹⁰⁹ ПФА РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 992. Л. 40–40 об.
- ¹¹⁰ РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 20–20 об.
- ¹¹¹ ПФА РАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 194. Л. 12.
- ¹¹² Там же. Л. 13.
- ¹¹³ Там же. Л. 15.
- ¹¹⁴ Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1.
- ¹¹⁵ Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 436. Л. 3.
- ¹¹⁶ Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1043. Л. 12.
- ¹¹⁷ Е. Ф. Шмурло был командирован в район военных действий для спасения памятников истории и искусства Академией наук. Первоначально предполагалось поручить эту миссию В. А. Францеву. Но, как писал 9 января 1915 г. Шахматов Яцимирскому: «Командировка В. А. Францева не состоялась. Он отказался. Командировку принял Е. Ф. Шмурло. На днях он отправляется в Галицию. Какие ужасы мы от него скоро узнаем!» (РГАЛИ. Ф. 584. Оп. 1. Д. 258. Л. 33 об.) В организации содействия Шмурло со стороны военных принимал участие Президент Академии К. К. Романов, действия которого инициировал Шахматов (*Соболев В. С.* Августейший президент. Великий князь Константин Константинович во главе Императорской академии наук. 1889–1915 годы. СПб., 1993. С. 161).
- ¹¹⁸ ПФА РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1025. Л. 7.
- ¹¹⁹ Там же. Л. 5.
- ¹²⁰ Там же. Л. 6.
- ¹²¹ Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1027. Л. 8, 10.
- ¹²² Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1043. Л. 54.
- ¹²³ Там же. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1140. Л. 196–196 об.
- ¹²⁴ Большинство писем Лободы не датированы.
- ¹²⁵ РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 13–13 об.
- ¹²⁶ Там же. Л. 14–14 об.

- 127 Там же. Л. 16–16 об.
- 128 Там же. Л. 16 об.–17.
- 129 Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 42. Л. 2.
- 130 Увольнения и массовые отставки профессоров Московского и Петербургского университетов были следствием жесткой политики министра народного просвещения Л. А. Кассо.
- 131 РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Д. 737. Л. 7–7 об.
- 132 Там же. Д. 848. Л. 10–11 об.
- 133 Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 7–7 об.
- 134 Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 72.
- 135 Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 392. Л. 14.
- 136 ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 203.
- 137 См.: *Robinson M. A. M. S. Hrusevs'kyj, la «questione ucraina» e l'elite accademica Russa* // *Pagine di ucraïnistica europea*. Alessandria, 2001.
- 138 См. подробнее: *Робинсон М. А. Академик А. А. Шахматов: последние годы жизни (К биографии ученого)* // *Славянский альманах 1999*. М., 2000.
- 139 ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 14. Д. 1. Л. 203 об.
- 140 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 30.
- 141 Там же. Д. 46. Л. 25–25 об.
- 142 Там же. Л. 25 об.–27.
- 143 Там же. Л. 27.
- 144 *Щеглова С. А.* Богогласник. Историко-литературное исследование. Киев, 1918.
- 145 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 27 об.
- 146 *Адрианова В. П.* Житие Алексея человека Божия в Древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917.
- 147 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 27 об.
- 148 *Лебедева Е. В.* Общественная и научная деятельность академика В. Н. Перетца в Самарском государственной университете (1918–1921 гг.) // Самарский государственный университет. 1969–1999 г. Самара, 1999. С. 24.
- 149 ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 19–19 об.
- 150 Там же. Л. 20 об. В конце концов, рецензия попала в том 26-й Известий ОРЯС, помеченный 1921 г. Реально она появилась еще позже. Шестого января 1923 г. тот же Истрин, отношения которого с Перетцем к этому времени уже основательно испортились, писал Сперанскому: «Вышла книжка Известий — содержание интересное. Прочитайте рецензию Влад[имира] Ник[олаевича] на книгу своей супруги: вот страстное изъяснение горячей любви. Я противился помещению такой рецензии, особенно введению и заключению ее. Называют иные это любовной рецензией» (ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 135. Л. 70 об.).
- 151 ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 19 об.–20.

- 152 *Лебедева Е. В.* Профессорско-преподавательский состав Самарского государственного университета. 1918–1927 гг. // Самарский край в контексте российской истории: II Международная научно практическая конференция «Самарский край в контексте мировой культуры», 11–14 июня 2002 г. Самара, 2002. С. 225.
- 153 *Лебедева Е. В.* Общественная и научная деятельность академика В. Н. Перетца... С. 24–25.
- 154 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 42.
- 155 Там же. Л. 33 об.
- 156 ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 62.
- 157 Там же. Л. 65.
- 158 *Робинсон М. А.* Академик А. А. Шахматов... С. 191.
- 159 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 91. Л. 45 об.
- 160 ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 10, 11, 12.
- 161 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 59 об.
- 162 ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 62 об.–63.
- 163 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 59–59 об.
- 164 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 10 об., 12.
- 165 Цит. по: *Шмидт С. О.* Письма В. П. Адриановой-Перетц М. Н. Тихомирову // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 473.
- 166 *Робинсон М. А.* Русская академическая элита: советский опыт... С. 167.
- 167 ПФА РАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 62 об.
- 168 *Робинсон М. А.* Русская академическая элита: советский опыт... С. 164–165.
- 169 ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 48.
- 170 РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 59. Л. 28.
- 171 Там же. Л. 27.
- 172 После смерти Шахматова председательствующим в ОРЯС стал Истрин, хотя старшим по срокам избрания был Соболевский.
- 173 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 13–15.
- 174 Там же. Л. 15 об.
- 175 *Адрианова-Перетц В. П.* Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). С. 229.
- 176 РГАЛИ. Ф. 443. Оп. 1. Д. 290. Л. 17–17 об.
- 177 Там же. Л. 17 об.
- 178 Там же. Л. 23.
- 179 Там же. Л. 23–23 об.
- 180 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 24 об.
- 181 Там же. Л. 28 об.
- 182 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 26.

- 183 Так Перетц гордился, что Самарский университет задумывался как «старый», а деятельность Луначарского у него симпатий не вызывала. Яцимирский же, наоборот, возлагал большие надежды на приезд в Ростов-на-Дону, куда был ранее переведен Варшавский университет, Луначарского. Последний благосклонно отнесся к преобразованию Археологического института, организатором ректором которого был Яцимирский, в Институт культуры. Но отношение Луначарского к делам университета Яцимирского разочаровало, о чем он писал Перетцу в августе 1920 г.: «Реформа нашего ун[иверсите]та идет вяло. Луначарский дал возможность сохранить все старое, и сделал это напрасно, наш ун[иверсите]т и без того склонен к „консервации“ во всех отношениях» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 72 об.). Кстати, в этом же письме Яцимирский сетовал: «Завидую Вам, что есть ученики, а мне не везет. Единственный, оставленный мною, отставлен фак[ультето]м за склонность к экономическому материализму и уважение к Марксу. Мерзавцы..., но я не борец с черной сотней и думаю, что так почему-л[и]б[о] лучше для оставленного мною. Юноша хороший и дельный» (РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 97. Л. 4 об.–5).
- 184 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 21.
- 185 Там же. Л. 30–30 об.
- 186 Там же. Л. 33 об.
- 187 Д. 387. Л. 1–2 об.
- 188 *Гитлис* Э. Петербургские дневники. 1914–1919. Нью-Йорк; М., 1990. С. 265. Благодарю за указание на эту книгу А. И. Рудзичко.
- 189 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 17 об.
- 190 Там же. Л. 21.
- 191 Там же. Л. 63–64.
- 192 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 52.
- 193 Там же. Л. 56 об.
- 194 Робинсон М. А. Русская академическая элита: советский опыт... С. 179.
- 195 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 54 об.–56 (сбой в пагинации).
- 196 ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1284. Л. 1.
- 197 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 70.
- 198 *Гудзий* Н. Памяти учителя // Русская литература. 1965. № 4. С. 169.
- 199 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 71–71 об.
- 200 Там же. Л. 73 об.
- 201 Там же. Л. 86 об.–88 об.
- 202 Там же. Л. 89–89 об.
- 203 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 134.
- 204 Там же. Л. 140 об.–141.
- 205 Там же. Л. 142.

- 206 Там же. Л. 149 об.
- 207 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 93–95 об.
- 208 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 172–173.
- 209 Там же. Д. 135. Л. 119–120.
- 210 Там же. Ф. 332. Оп. 2. Д. 151. Л. 59, 60.
- 211 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 180 об.
- 212 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 96 об.–96 (сбой в пагинации).
- 213 Д. И. Абрамович находился в это время в заключении на Соловках.
- 214 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 96–98 об.
- 215 Там же. Л. 71 об.–73.
- 216 Там же. Л. 71.
- 217 Там же. Д. 267. Л. 13 об.
- 218 Там же. Д. 161. Л. 103, 104.
- 219 Там же. Л. 107–107 об.
- 220 Там же. Л. 109.
- 221 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 135 об.
- 222 Там же. Л. 148.
- 223 Там же. Л. 165 об.
- 224 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 30.
- 225 Там же. Д. 290. Л. 96 об.
- 226 ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 74–75 об.
- 227 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 188–188 об.
- 228 Там же. Л. 194.
- 229 Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского. Статьи по славянской филологии и русской словесности. Сборник ОРЯС. 1928. Т. 51. № 3. На сборнике помечено: «Напечатано [...] июнь 1928».
- 230 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 102–102 об.
- 231 Там же. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 78. Л. 57.
- 232 ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 27.
- 233 Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности... С. 259.
- 234 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1991 / 1922–1952. М., 2000. С. 53–54.
- 235 См.: Робинсон М. А. Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение 20-х годов // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Робинсон М. А. Перелом в довоенном советском славяноведении. Идеолого-теоретические аспекты // L'idea dell'unita e reciprocita slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Roma, 1994.

- 236 Робинсон М. А., Сазонова Л. И. О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы... С. 464.
- 237 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 188.
- 238 Там же. Л. 197 об.
- 239 Там же. Л. 208 об.
- 240 См.: Робинсон М. А. Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение 20-х годов; Тугаринов И. А. ВАРНИТСО и идеологизация науки // Философские исследования. Наука и тоталитарная власть. М., 1993. № 3.
- 241 Латинское изречение, характеризующее тексты, подвергшиеся цензуре.
- 242 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 217–217 об.
- 243 Бялый Г. А. Варвара Павловна Адрианова-Перетц. С. 46.
- 244 ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 15. Л. 53 об.
- 245 Там же. Л. 51 об. Осуществить это издание Еремину удалось только через двадцать лет (*Иван Вишенский. Сочинения / Подготовка текста, статья и комментарий И. П. Еремина. М.; Л., 1955*).
- 246 Там же. Л. 51.
- 247 Там же. Л. 52–52 об.
- 248 Там же. Д. 32. Л. 4 об.
- 249 Тугаринов И. А. ВАРНИТСО и идеологизация науки. С. 144–146.
- 250 ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 232–233 об.
- 251 Там же. Л. 237 об.
- 252 Академик А. И. Соболевский. Некролог и очерки научной деятельности // Известия Академии наук СССР. Отделение гуманитарных наук. 1930. С. 23, 24.
- 253 ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 118. Л. 32 об.–33.
- 254 Цит. по: Шмидт С. О. Письма В. П. Адриановой-Перетц М. Н. Тихомирову. С. 482. --

А. Н. Горяинов
(Москва)

Всеволод Измайлович Срезневский — археограф, славяновед и общественный деятель

В конце XIX и начале XX вв. среди традиционных для отечественного славяноведения направлений исследовательской деятельности весьма существенных успехов достигли такие вспомогательные дисциплины, как археография, библиография, критика текста. Выдающийся вклад в их развитие внес Всеволод Измайлович Срезневский, сын замечательного отечественного слависта академика И. И. Срезневского.

Младший ребенок в многочисленной семье, он родился 29 мая (по старому стилю) 1867 г.¹ в Санкт-Петербурге, учился сначала на восточном, а затем на юридическом факультетах Петербургского университета, который и окончил по первому разряду в 1891 г. По воспоминаниям одной из сестер В. И. Срезневского Веры Измайловны, Всеволод, как младший, был центром семьи, за его образованием следила сестра Надежда, действовавшая «по поручению и предписаниям» самого Измаила Ивановича, семейный авторитет которого был непререкаем².

После кончины старшего Срезневского члены его семьи провели огромную работу по окончанию важнейшего словарного труда отца. В ней принял участие и Всеволод — со студенчества он на протяжении 25 лет помогал своей сестре Ольге³ в подготовке к изданию «Материалов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского⁴. Видимо, и общая атмосфера в семье, и, в частности, словарная работа оказали решающее воздействие на интересы Всеволода Измайловича. Уже свое кандидатское сочинение (по теперешней терминологии — дипломную работу) он написал на историко-правовую тему, посвятив его исследованию юридических терминов «Русской Правды»⁵. После получения университетского образования В. И. Срезневский избрал своей профессией книжное дело. В 1891 г. он поступил на работу в Публичную библиотеку, а спустя полтора года перешел в Библиотеку Академии наук, где проработал с 1893 по 1931 г.⁶

Библиотека Академии к моменту прихода в нее Всеволода Измайловича представляла собой огромное по тем временам собрание (в ней в 1893 г. числилось около 385 000 томов)⁷, уже многие годы находившееся в тяжелом состоянии ввиду хронического недостатка места, малочисленности штатного состава и устаревшей структуры: достаточно сказать, что еще в 1877 г. книги приходилось расставлять на полу⁸, а новые штаты, которых добилась библиотека в год поступления

туда младшего Срезневского, составляли всего 10 человек⁹. Библиотека состояла из двух отделений — русского и иностранного, совершенно независимых друг от друга и возглавлявшихся двумя директорами, каждый из которых по-разному организовывал все библиотечные процессы — от комплектования до каталогизации и хранения книг.

Всеволод Измайлович был зачислен в первое отделение библиотеки, где хранились книги на русском и других славянских языках. Некоторое время он работал там «приватно», т. е. на внештатной работе¹⁰. Отделение в это время находилось в процессе реорганизации — в связи с необходимостью улучшения обслуживания читателей из общего массива фондов выделялись книги на южных и западных славянских языках, периодические издания, рукописи и старопечатные книги. В 1894 г. Срезневский был назначен старшим помощником библиотекаря и ему было поручено заведывание Журнальным отделом и рукописным собранием отделения¹¹. За сравнительно короткое время Всеволоду Измайловичу удалось выделить из общего массива русских изданий периодику и осуществить ее каталогизацию. Результатом работы Срезневского стал изданный в виде корректурных листов «Список русских повременных изданий»¹². При подготовке «Списка» к печати Срезневский дополнил его сведениями о периодических изданиях Публичной библиотеки и данными библиографической литературы, превратив, по сути, в первую подробную библиографию русских журналов и газет.

Меньших результатов в первые годы достиг Всеволод Измайлович в работе с рукописями, которыми вынужден был заниматься лишь урывками. Все же он сумел упорядочить и зашифровать почти половину рукописного фонда, выделив из него старопечатные книги. Работа эта была одобрена пришедшим в марте 1899 г. к руководству первым (русским) отделением библиотеки академиком А. А. Шахматовым. По представлению Шахматова В. И. Срезневский был назначен на вновь учрежденную в 1900 г. должность Ученого хранителя Рукописного отделения, которым он и руководил бесценно до выхода на пенсию.

По предложению А. А. Шахматова Всеволод Измайлович начал руководство отделением с составления плана научного описания рукописей. Он рассчитывал организовать работу таким образом, чтобы параллельно описывать новые поступления и ранее накопленные в библиотеке рукописи¹³.

В работе по составлению описаний В. И. Срезневский принял самое активное личное участие. Вместе с тем он постоянно заботился о комплектовании Рукописного отделения, оказав содействие поступлению в его фонды ряда коллекций рукописных книг, и среди них ценнейшей коллекции рукописей своего знаменитого родителя¹⁴. Для пополне-

ния Библиотеки Академии наук рукописями Всеволод Измайлович в 1901–1905 гг. при финансовой поддержке Отделения русского языка и словесности Академии регулярно совершал в летние месяцы археографические экспедиции на север России. Он объездил Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую и Пермскую губернии, где знакомился с местной стариной и сумел получить для Библиотеки Академии наук ряд ценных памятников письменности¹⁵. В. И. Срезневским была разработана специальная методика контактов с частными лицами, которых он рассматривал как главный источник пополнения фондов академической библиотеки. Наряду с отдельными рукописями Всеволод Измайлович сумел пополнить библиотеку крупными частными собраниями, например у петрозаводского священника А. П. Воскресенского при его посредничестве было приобретено ценнейшее собрание рукописей епископа Олонецкого Павла Доброхотова, которое А. А. Шахматов считал «неоценимым» в научном отношении¹⁶. Срезневский обследовал также имевшиеся в северных губерниях рукописные собрания государственных и церковных учреждений, и благодаря ему эти собрания были введены в научный оборот.

Археографические находки В. И. Срезневского укрепляли авторитет Библиотеки Академии наук и вызывали приток в нее новых рукописей. Видимо, именно на этой почве начались контакты Всеволода Измайловича с видным деятелем большевистской партии В. Д. Бонч-Бруевичем. Их становление относится, по всей вероятности, к самому началу 1900-х гг., когда Бонч-Бруевич, находившийся в эмиграции, «с головой ушел в изучение истории революционных движений, принимавших религиозную оболочку»¹⁷. В 1899–1900 гг. чета Бонч-Бруевичей фактически жила среди сектантов-духоборов, сопровождая их партию из почти 7000 человек при переселении в Канаду. За неполный год Бонч-Бруевичу и его жене удалось собрать огромное число сектантских рукописей, сделать ценнейшие наблюдения и записи о жизни, быте и верованиях духоборов. Эти материалы легли в основу предпринятого Бончем серийного издания «Материалы к истории и изучению русского сектантства», тома которого под разными незначительно меняющимися названиями выходили с 1900 по 1916 г.

Материалы Бонч-Бруевича по сектантству и его научная деятельность в этой области вызвали интерес в Библиотеке Академии наук. С 1901 г. исследование им религиозно-общественных движений было тесно связано с Академией¹⁸. В личном фонде А. А. Шахматова сохранилось 22 письма Бонч-Бруевича за 1901–1916 гг., некоторые из них свидетельствуют о содействии Шахматова своему адресату в работе над избранной им темой¹⁹. Сектантские материалы, собранные Бонч-Бруевичем, со временем были переданы в ака-

демическую библиотеку. Они составили основу коллекции, пополнение которой осуществлял В. И. Срезневский²⁰.

Контакты В. Д. Бонч-Бруевича и В. И. Срезневского оказались, как будет выяснено ниже, имеющими далеко идущие последствия как для Библиотеки Академии наук в целом, так и лично для Всеволода Измайловича. Здесь же отметим, что они свидетельствовали не только о демократических убеждениях сына замечательного русского слависта, но и о его интересе, наряду со старинными манускриптами, к документам новейшей истории, особенно в области отечественных общественных и идейных течений. Наряду с материалами В. Д. Бонч-Бруевича благодаря усилиям Срезневского в начале 1900-х гг. Рукописное отделение получило интересные архивы декабристов, ряда политических и общественных организаций, крупных русских писателей.

Особенно значительными оказались поступления материалов Л. Н. Толстого. Еще при жизни писателя его двоюродная тетка Александра Андреевна Толстая (1817–1904) завещала Библиотеке Академии наук 117 писем Льва Николаевича с условием не издавать их до смерти Толстого (по этому поводу сам Толстой шутил, что если так, то он примет смерть «с большим удовольствием»)²¹. В 1912 г. дочь писателя Александра Львовна передала на вечное хранение в библиотеку рукописи Л. Н. Толстого, опубликованные в первом посмертном издании собрания его художественных произведений²². От зарубежных книготорговых фирм поступали запрещенные в России издания произведений Л. Н. Толстого и его последователя В. Г. Черткова²³. Разумеется, собирались в фондах Библиотеки Академии наук и выходившие в России толстовские издания. Это позволило академической библиотеке принять в 1908 г. участие в проходившей в Москве в связи с 80-летием Л. Н. Толстого Толстовской выставке, а в 1909 г. она внесла значительный вклад в организацию «Выставки для устройства Музея имени Л. Н. Толстого в Петербурге»²⁴.

Выставки 1908 и 1909 гг. представляли собой крупное событие в общественной жизни России. В их создании приняли участие выдающиеся писатели, художники, ученые. Для сбора средств и экспонатов в Петербурге, Москве и ряде других городов были созданы т. н. «комитеты почина», объединявшие представителей прогрессивных сил России без различия политических убеждений. После упорной борьбы руководителям комитетов удалось добиться разрешения учредить «Общество имени Льва Толстого», ставшее организационной основой, на которой вскоре после кончины писателя был открыт Толстовский музей; этот музей получил в дар ряд ценных в научном и художественном отношении материалов, в том числе рукописи Л. Н. Толстого²⁵.

В. И. Срезневский принял в движении по созданию Музея Толстого активнейшее участие. Он вошел в Совет Общества (членом Совета состоял также В. Д. Бонч-Бруевич), неоднократно жертвовал музею различные экспонаты, организовал передачу в состав музейных фондов из Библиотеки Академии наук дублетных экземпляров произведений Л. Н. Толстого, книг и газет с материалами о нем²⁶. Всеволод Измайлович стоял у истоков издательской деятельности музея, выпустив в 1911 г. со своим предисловием в виде первого тома серии «Толстовский музей» переписку Л. Н. Толстого с А. А. Толстой из фондов Рукописного отделения²⁷.

В конце 1911 или начале 1912 г. Срезневский возглавил Толстовский музей в Петербурге (подобный музей был создан к тому времени и в Москве). Он выступал за создание такого музея Толстого, в котором получили бы воплощение замыслы «устроить не только хранилище предметов, связанных с его именем», но и «создать Толстому памятник живой и деятельный..., культурный центр с рядом просветительных учреждений, библиотекой, читальней, аудиторией для собраний и чтений по литературно-общественным вопросам»²⁸. Ввиду недостатка средств планы развития музея могли быть осуществлены лишь в небольшой мере, но все же Толстовскому музею в Петербурге удалось переехать в более обширное помещение, а на его базе благодаря усилиям В. И. Срезневского и привлеченных им к работе сотрудников была развернута значительная исследовательская и публикаторская работа. Согласно данным, содержащимся в отчете за 1912–1913 гг., при музее действовали издательская, библиографическая и художественно-музейная комиссии, вели работу пять групп музейных сотрудников. Всеволод Измайлович, несмотря на свою занятость, сам водил по музею экскурсии, ему помогал знакомить экскурсантов с музеем выдающийся скульптор И. Я. Гинцбург²⁹.

К публикаторской и библиографической работе в музее Срезневский привлек способных молодых исследователей А. Л. Бема и В. Н. Тукалевского (после октября 1917 г. они оказались в эмиграции в Праге, где получили значительную известность)³⁰. Вместе с Тукалевским он выпустил в 1912 г. путеводитель по музею³¹. Годом раньше начали выходить «Известия Общества Толстовского музея», преобразованные вскоре в «Толстовские ежегодники»³². В этих изданиях публиковались материалы Л. Н. Толстого, статьи о нем, библиография, имелся большой отдел хроникальных заметок о событиях, связанных с именем Толстого. Как видно из писем Тукалевского к Всеволоду Измайловичу за 1913 г., последний принимал в подготовке «Известий» и «Ежегодников» самое деятельное участие. Тукалевский писал ему о привлечении к работе над библиографической

частью А. Л. Бема, о бумаге для «Ежегодников», о состоянии дел с печатанием «Толстовского ежегодника» за 1913 г.³³

Чутко улавливая общественные настроения, А. А. Шахматов и В. И. Срезневский еще в 1899 г. пришли к выводу о необходимости максимально широко собирать материалы, отражающие взгляды сторонников различных общественных сил и политических направлений российского общества. Библиотека Академии наук становилась вследствие такого решения хранилищем не только древних рукописей, но и средоточием памятников общественной мысли новейшего времени. Эти материалы представляли собой преимущественно запрещенные и нелегальные издания. Хранить такую литературу Библиотеке Академии наук было официально разрешено в соответствии с ее статусом хранилища центрального научного учреждения страны. Однако до конца XIX в. запрещенные издания поступали в Библиотеку Академии наук более или менее случайно, главным образом от зарубежных книгопродавцов и хранились в одном месте, но в общем хранилище³⁴. В. И. Срезневский, по его собственным словам, «положил начало собиранию революционной литературы», сосредоточив ее в Рукописном отделении³⁵. В. Д. Бонч-Бруевич свидетельствует, что в отделении, руководимом Всеволодом Измайловичем, были собраны материалы всех партий и политических групп. В то же время в его воспоминаниях подробно рассказано о деятельности Срезневского по собиранию социал-демократических изданий, присылку которых в Библиотеку Академии наук Бонч-Бруевич помогал налаживать, вернувшись в 1905 г. из эмиграции. Бонч пишет также, что Срезневский охотно принимал в Рукописное отделение и архивы революционных организаций, например дал согласие на присылку туда архива Латышской социал-демократической партии и собранных Бонч-Бруевичем архивных материалов³⁶. Широко известно, наконец, использование Бонч-Бруевичем в целях пополнения коллекции социал-демократических изданий Рукописного отделения авторитета В. И. Ленина, который дал указание большевистским организациям о присылке в Библиотеку Академии наук выпускаемой в России и за границей социал-демократической литературы³⁷.

С В. И. Лениным связано еще одно свидетельство В. Д. Бонч-Бруевича в его воспоминаниях о В. И. Срезневском и Библиотеке Академии наук. Он пишет о посещении В. И. Лениным в апреле 1917 библиотеки, его знакомстве там со Срезневским и восхищении собранными в библиотеке книжными богатствами³⁸. Однако это утверждение Бонча, как это показал А. И. Копанев³⁹, представляется мало достоверным, поскольку ни в одном из документов самого Срезневского, в которых он рассказывает о своем вкладе в хранение революционной литературы и заслугах перед Советской властью, например

в «*Curriculum vitae*»⁴⁰, написанном в конце жизни в качестве материала для ходатайства Бонч-Бруевича о закреплении за Срезневским его жилой площади, о встрече с В. И. Лениным не упоминается.

Собирание В. И. Срезневским нелегальной литературы было бы невозможным без установления тесных контактов с деятелями революционного подполья. При этом логика сотрудничества ученого с революционерами зачастую вела его к таким действиям, которые грозили преследованиями со стороны властей. В. Д. Бонч-Бруевич свидетельствует, что в годы после подавления первой русской революции Срезневский не только широко пользовался помощью подпольщиков для «скапливания нелегальных ценностей-социалистической литературы», но и, в свою очередь, помогал укрывать в Библиотеке Академии наук «целые транспорты литературы», а затем передавал ее распространителям. «Охранное отделение... — продолжает Бонч-Бруевич, — несколько раз налетало на Рукописное отделение [Библиотеки] Академии наук и на квартиру Всеволода Измайловича Срезневского, где делало тщательные обыски, при чем известный деятель Охранного отделения Статковский грозил Всеволоду Измайловичу, что... он будет арестован и выслан из Петербурга»⁴¹.

Вопрос об обыске у В. И. Срезневского в начале июля 1910 г. и о реакции на нее непосредственного начальника Срезневского А. А. Шахматова подробно освещен в статье М. А. Робинсона, основанной на материалах Петербургского филиала Архива Российской Академии наук и Российского государственного архива литературы и искусства⁴². Как выясняется из статьи, ни на рабочем месте, ни на квартире, ни на даче у Всеволода Измайловича не было найдено ничего предосудительного, но обыск был направлен на раскрытие личных связей ученого с революционным подпольем. Жандармская акция имела определенные основания: в одном из писем к своему учителю академику Ф. Ф. Фортунатову Шахматов ставит в вину Срезневскому то, что он нелегальную литературу собирал слишком открыто и привлек к разборке лиц «неблагонадежных»⁴³, а в письме Срезневского Шахматову с объяснением причин обыска высказано предположение, что искали документы о связях Всеволода Измайловича с неким лицом, фамилия которого нарочито написана неразборчиво⁴⁴.

Таким образом, В. И. Срезневский с полным основанием может быть охарактеризован как человек, отличавшийся терпимостью к инакомыслию и широтой взгляда на общественную жизнь России, который прилагал все усилия для собирания нелегальной литературы, несмотря на опасность такой деятельности в годы реакции.

В годы Первой мировой войны проявились такие качества В. И. Срезневского, как патриотизм и гуманизм. В 1916 г. в построенном еще до

начала войны, но не оборудованном ввиду трудностей военного времени для хранения книг новом здании Библиотеки Академии наук был открыт военный лазарет, которому было присвоено имя Л. Н. Толстого. Во главе его встал по совместительству с выполнением работы хранителя Рукописного отделения Срезневский, заведывавший лазаретом до конца войны с Германией. Впоследствии Всеволод Измайлович считал работу в лазарете одним из важнейших своих достижений⁴⁵.

Результаты научного творчества В. И. Срезневского проявились в его довольно многочисленных и разнообразных по тематике трудах. Всего, как сообщает сам Всеволод Измайлович, «научных работ он напечатал до 165»⁴⁶. Он составил план и принял активное личное участие в создании научных описаний хранившихся в Библиотеке Академии наук рукописей. Новые их поступления описывались Всеволодом Измайловичем в ежегодниках «Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение» (отдельно или в «Известиях Академии наук» были напечатаны выпуски за 1900/1901, 1902, 1903 и 1904 гг.) а ранее поступившие рукописи он планировал описывать сначала в «Охранной описи рукописей Библиотеки Академии наук», первая часть которой была напечатана в 1904 г. в виде отдельного выпуска 5-й серии «Известий Академии наук», а затем в систематическом «Описании рукописного отделения Библиотеки Академии наук» (в 1910–1915 гг. вышли два первые тома этого многотомного издания, подготовленные В. И. Срезневским совместно с сотрудником Рукописного отделения Ф. И. Покровским). К сожалению, и описания новых поступлений, и издание описаний старых рукописей вскоре были прекращены — эта работа оказалась не по силам Срезневскому и его немногочисленным помощникам ввиду их большой загруженности.

Из других печатных работ В. И. Срезневского следует отметить труды по истории славяноведения, прежде всего работы, посвященные отцу. Всеволод Измайлович опубликовал биографические очерки о своем знаменитом родителе в «Русском биографическом словаре» и в сборнике памяти И. И. Срезневского⁴⁷, выступил со статьями об истории редактировавшихся отцом «Известий» и «Ученых записок» Отделения русского языка и словесности Академии наук⁴⁸, о составлении Измаилом Ивановичем словаря древнерусского языка⁴⁹, о его встречах с И. П. Котляревским⁵⁰, отношении к творчеству Л. Н. Толстого⁵¹ и т. д. Младший Срезневский напечатал также несколько статей, в которых исследовал ранний период жизни и деятельности А. Х. Востокова; важным вкладом в изучение жизни и деятельности этого выдающегося слависта стала осуществленная Всеволодом Измайловичем публикация его автобиографических заметок⁵². На-

конец, Всеволодом Срезневским были изданы древнеславянский перевод византийской хроники Симеона Логофета⁵³ и некоторые памятники древнерусской литературы.

Публикации Всеволода Измайловича снабжены, как правило, обстоятельными примечаниями, указателями и приложениями. В приложениях он напечатал, в частности, ценные указатели литературы, например капитальный указатель работ о И. И. Срезневском⁵⁴.

В. Д. Бонч-Бруевич неоднократно характеризовал Всеволода Измайловича как ученого «стойких демократических убеждений», который, «рискуя своим собственным существованием»⁵⁵, помогал революционерам в сокрытии от полиции их архивов и в распространении нелегальной литературы. Известна высокая оценка им работы В. И. Срезневского по спасению в февральские дни 1917 г. выброшенных на улицу при пожаре в Охранном отделении и Департаменте полиции жандармских архивов⁵⁶. (Сам Срезневский отмечал в «Curriculum vitae», что «в первые дни революции, под выстрелами, с риском для жизни... вывез документы и книги из горящего Охранного отделения, а затем обширное собрание бумаг, принадлежащих Департаменту полиции»⁵⁷, что несколько расходится с описанием этого эпизода Бонч-Бруевичем.)

После октября 1917 г. В. Д. Бонч-Бруевич, входивший в ближайшее окружение В. И. Ленина и сохранивший некоторое влияние после его кончины, неизменно поддерживал Всеволода Измайловича. Он, в частности, добился, по просьбе Срезневского, личного распоряжения Ленина о содействии местных властей в реэвакуации в Петроград вывезенных ранее в Саратов рукописей академической библиотеки⁵⁸, писал о его заслугах в различных вариантах своих воспоминаний, составил по просьбе Срезневского несколько справок-характеристик о личности ученого и о его содействии большевикам, а в самые тревожные для Всеволода Измайловича месяцы, о которых речь пойдет ниже, писал ему, что рассказывает о его «прекрасных делах 1905–6 гг. и в следующих годах» «решительно везде»⁵⁹.

Казалось, признанные большевистскими властями революционные заслуги и поддержка Бонч-Бруевича должны были обеспечить Всеволоду Измайловичу спокойное существование и плодотворную работу в Рукописном отделении. Однако этого не случилось. Сначала Срезневский не нашел общего языка с назначенным в 1925 г. директором Библиотеки Академии наук (с 1921 г. эта должность стала единой для всей библиотеки) академиком С. Ф. Платоновым⁶⁰, стиля руководства которого Всеволод Измайлович не принимал, которого упрекал в плохом отношении к Рукописному отделению и которому не мог простить отстранения от руководства Толстовским

музеем в Петербурге, перешедшим после революции в ведение Библиотеки Академии наук⁶¹. Однако подлинной трагедией для ученого стала «перестройка» библиотеки, последовавшая за разгромом, учиненным в ней властями в связи с так называемым «Академическим делом» и вынужденной отставкой Платонова, вскоре арестованного. Интересные подробности работы комиссий, фабриковавших на основании «раскопок» «во всех хранилищах Академии»⁶² политическое «дело» о хранении там неизвестных, якобы, властям важнейших документов царской семьи (в действительности, как теперь выяснено, в Москву об этих документах было сообщено задолго до «Академического дела»)⁶³ и о трагическом восприятии Всеволодом Измайловичем следовавших затем мер свидетельствует переписка с Бонч-Бруевичем его и его многолетней подруги (Всеволод Измайлович не состоял в зарегистрированном браке), заведующей Отделом периодической печати библиотеки Н. А. Вукотич. 22 октября 1929 г. Вукотич писала, что Комиссия по чистке Академии наук (ее возглавлял член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции и президиума Центральной контрольной комиссии партии Фигатнер) предложила руководству Академии отправить неугодного властям ученого на пенсию⁶⁴. Вскоре по просьбе Бонч-Бруевича рассказать о подробностях «чистки» в библиотеке она сообщила, что о наличии в Рукописном отделении «криминальных» документов Срезневский неоднократно информировал начальство, причем заявил о них и только что назначенному в Библиотеку будущему ее директору И. И. Яковкину, который «сообщил комиссии». После этого начался разгром Рукописного отделения. Хотя руководителя Рукописного отделения оставили на свободе, а Фигатнер, по свидетельству Вукотич, «очень хорошо к нему отнесся, оберегая от могущих быть неприятностей»⁶⁵ и даже предложил ученому обращаться «в известном случае» за помощью⁶⁶ (ему, видимо, посчастливилось как недоброжелателю объявленного главой антисоветской организации Платонова), но 5 из 12 сотрудников отделения, в том числе и основной помощник Всеволода Измайловича Ф. И. Покровский, были арестованы⁶⁷, в отношении же самого В. И. Срезневского были применены меры запугивания и вытеснения из библиотеки. Власти обвинили его в собирании белогвардейских изданий, вновь, как жандармы в июле 1910 г., произвели в его столе обыск в присутствии одного из подчиненных⁶⁸. Руководство библиотеки совершенно не считалось с мнением Срезневского. «У нас в библиотеке трудно и тяжело, — писал Всеволод Измайлович Бонч-Бруевичу 8 января 1930 г. — Многие новые люди, и между ними далеко не все удовлетворительны. Ф. И. Покровского..., честного и достойного, очень знающего человека..., сменил человек мало

знакомый с делом, обладающий самомнением, стремящийся к власти... Сменивший Платонова — помощник директ[ора] Публ[ичной] б[иблиоте]ки Яковкин, — не лучше своего предшественника, даже, пожалуй, хуже... я все время жду удара из-за угла... Вы знаете, как дорого мне Рукоп[исное] отд[еление], мною созданное, ведь это плод моей жизни»⁶⁹. В другом письме Срезневский отмечал, что «здесь все делается шито-крыто, почему-то необычайно поспешно, без проверки»⁷⁰.

Стиль работы нового директора библиотеки Яковкина, отмеченный Срезневским, объяснялся, видимо, поставленными перед ним задачами: от него ждали немедленного выполнения указаний Политбюро, принявшего 5 ноября 1929 г. специальное решение в связи с т. н. «обнаружением» в Библиотеке Академии наук «политических» документов. Пункт «г» постановления Политбюро предлагал «направить все документы, обнаруженные в Академии наук, по принадлежности...»⁷¹. В соответствии с ним был разработан план перераспределения рукописных материалов и создана комиссия Президиума Академии наук (Всеволод Измайлович с обидой писал Бонч-Бруевичу, что его в эту комиссию не включили),⁷² занимавшаяся практическим осуществлением плана. Комиссия определила Рукописное отделение как хранилище преимущественно рукописной книги. Личные фонды ученых, писателей и общественных деятелей передавались в Архив Академии наук и Пушкинский Дом, фонды государственных учреждений, политических, партийных и государственных деятелей — в государственные архивы, акты и хозяйственные книги XVI–XVII вв. — во вновь создаваемый Историко-археографический институт⁷³. Богатейшая коллекция подпольных революционных изданий (по подсчетам Срезневского, только листовок в ней насчитывалось около 40 тысяч)⁷⁴ должна была быть, по свидетельству Бонч-Бруевича, «передвинута» в Институт Ленина⁷⁵.

Разумеется, о решении политбюро Срезневский знать не мог, а поэтому оценивал все происходящее как неразумные инициативы Яковкина и его окружения. Он подал Общему собранию докладную записку в защиту Рукописного отделения⁷⁶, просил Бонч-Бруевича помочь ему «своим веским словом»⁷⁷, надеялся на помощь Фигатнера и Луначарского...⁷⁸ Лишь летом 1931 г. Всеволод Измайлович окончательно понял невозможность сохранить Отделение хоть сколько-нибудь похожим на ту «жемчужину», какой она, по его словам, считалась ранее⁷⁹. 20 июня он обратился к Бонч-Бруевичу с письмом, в котором, вновь сообщая о шаткости своего положения, отстранении от всех работ, связанных с преобразованием отделения, выдвижении на первые роли дирекцией своей сотрудницы С. А. Щеголовой⁸⁰, хотел получить совет «подчиниться ли судьбе или воевать»⁸¹, а

16 августа просил своего адресата дать о нем отзыв, поскольку хочет «начать хлопоты о персональной пенсии...»⁸². Бонч-Бруевич одобрил намерение Всеволода Измайловича⁸³ и 2 октября 1931 г. выслал ему просимый документ. Пространное изложение заслуг младшего Срезневского заканчивалось в нем выводом, что «Советская власть должна наградить этого высокоценного ученого и общественного деятеля наибольшей персональной пенсией...»⁸⁴. Впрочем, справка не понадобилась: 5 октября Срезневский сообщил, что «пенсия неожиданно скоро мне назначена»⁸⁵.

Дальнейшая переписка Срезневского и Бонч-Бруевича связана с подготовкой Срезневским публикаций для издаваемых В. Д. Бонч-Бруевичем сборников «Звенья»⁸⁶ и содержит просьбы Всеволода Измайловича о помощи репрессированным сотрудникам Рукописного отделения. Она свидетельствует не только о продолжении Срезневским своей научной деятельности, но и о его настойчивых попытках использовать малейшую возможность для изменения тяжелой участи бывших подчиненных. Последние три письма Срезневского датированы 6 апреля, 17 апреля и 24 мая 1936 г.⁸⁷ Они содержат просьбу о вмешательстве Бонч-Бруевича с тем, чтобы не допустить передачи в Пушкинский Дом архива скончавшегося академика Н. К. Никольского, который «выражал, умирая, это свое желание» и сообщение, что «Никольский спасен... Вас благодарить надо, без Вас ничего бы не вышло» (архив Никольского был передан в Архив Академии наук).

Всеволод Измайлович Срезневский скончался 29 июня 1936 г. В научной литературе о нем не было опубликовано даже некролога. Впервые о Срезневском как о создателе фонда революционных изданий библиотеки напомнил В. Д. Бонч-Бруевич в 1946 г. во втором варианте воспоминаний «В. И. Ленин и Библиотека Академии наук», которые в первый раз были опубликованы еще при жизни Срезневского, а в последующие годы неоднократно переиздавались с различными дополнениями и изменениями. Первая статья о Всеволоде Измайловиче, написанная ныне покойным сотрудником Библиотеки Академии наук А. И. Копаневым, была напечатана в 1973 г., позже появлялись только краткие заметки о нем в энциклопедиях. В мае 2002 г. автором настоящей статьи (которому принадлежит также заметка о Всеволоде Измайловиче в библиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России»⁸⁸) был сделан о В. И. Срезневском краткий доклад в Рязани на международной научно-практической конференции «Славянские языки, письменность и культура»; доклад этот был опубликован в сборнике научных трудов, подготовленных к конференции⁸⁹. Дальнейшее исследование жизни и деятельности В. И. Срезневского может быть очень плодот-

творным как ввиду обилия материалов о нем в огромном фонде Срезневских⁹⁰, фонде В. Д. Бонч-Бруевича, в других архивах, так и в силу широкого диапазона деятельности ученого, связанного со многими научными, общественными и культурными начинаниями.

Примечания

- 1 Год рождения указан по собственноручному «Curticulum vitae» В. И. Срезневского (ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55), в энциклопедиях годом рождения В. И. Срезневского обычно считается 1869.
- 2 *Копанев А. И.* Всеволод Измайлович Срезневский — библиотекарь Библиотеки Академии наук // Сборник статей и материалов по книговедению / Б-ка АН СССР. Л., 1973. Вып. 3. С. 214–215.
- 3 Срезневская Ольга Измайловна (1845–1930), провела основную работу по подготовке «Материалов для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского (Т. 1–3. СПб., 1893–1912), в 1895 г. была избрана членом-корреспондентом Академии наук.
- 4 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55–56 об.
- 5 Там же. Л. 55.
- 6 Там же. Л. 55–56 об.
- 7 История Библиотеки Академии наук СССР, 1714–1964. М.; Л., 1964. С. 230.
- 8 Там же. С. 232.
- 9 Там же. С. 230.
- 10 Там же. С. 232.
- 11 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55–56 об.
- 12 Список русских повременных изданий 1703–1899 гг. со сведениями об экземплярах, принадлежащих Библиотеке Академии наук. СПб., 1901.
- 13 *Копанев А. И.* Всеволод Измайлович Срезневский... С. 214, 220.
- 14 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 56 об.
- 15 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 285.
- 16 *Копанев А. И.* Всеволод Измайлович Срезневский... С. 222–225.
- 17 *Демиденко Г. Г.* Дел у революции немало... Очерк жизни и деятельности В. Д. Бонч-Бруевича. М., 1976. С. 40.
- 18 *Клибанов А. И. и др.* [В. Д. Бонч-Бруевич]: Краткий очерк общественно-политической и научной деятельности // Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич: [Библиография]. М., 1958. С. 22.
- 19 Благодарю М. А. Робинсона, сообщившего сведения о письмах В. Д. Бонч-Бруевича А. А. Шахматову. См также: *Робинсон М. А.* Академик А. А. Шахматов: Последние годы жизни: (К биографии ученого) // Славянский альманах 1999. М., 2000. С. 189–203.

- 20 В письме от 18 марта 1911 г. из Киева «вольнорабочий» сотрудник Рукописного отделения А. Л. Бем сообщал Срезневскому, что высылает ему брошюру для пополнения «Вашей сектантской коллекции» (РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 2580. Л. 2).
- 21 *Маковицкий Д. П.* У Толстого, 1904–1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., 1979. Т. 4. С. 172.
- 22 Отчет о деятельности Императорской Академии наук по Физико-математическому и Историко-филологическому отделениям за 1912 г. СПб., 1913. С. 39–40.
- 23 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 274.
- 24 Толстовский музей: Основан в 1911 году. Л., 1925. С. 3–4.
- 25 Там же.
- 26 См. напр.: Отчет Совета Общества Толстовского музея Годичному общему собранию 1 мая 1911 года о деятельности Общества за 1910–1911 гг. // Известия Общества Толстовского музея. СПб., 1911. №1. С. 69–76.
- 27 Толстовский музей. СПб., 1911. Т. 1. Переписка Л. Н. Толстого с графиней А. А. Толстой (1857–1903).
- 28 *Срезневский В. И.* Толстовский музей в Петербурге // Солнце России. СПб., 1912. № 145. С. 23.
- 29 См.: Отчет Общества Толстовского музея в Санкт-Петербурге, 1912–1913. СПб., 1914. С. 3, 7–8.
- 30 Альфред Людвигович Бем (1886 – не ранее 1945), один из крупнейших литературоведов русской эмиграции, наиболее известен своими работами о Ф. М. Достоевском, его труды издаются до настоящего времени; Владимир Николаевич Тукалевский (1881–1936), историк литературы и библиограф, один из создателей и первый директор Славянской библиотеки в Праге.
- 31 *Срезневский В. И., Тукалевский В. Н.* Толстовский музей в Санкт-Петербурге. I. Описание музея. СПб., 1912.
- 32 Толстовский ежегодник 1911... 1913. СПб., 1911–[1914].
- 33 РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 2991. Л. 2–12 об.
- 34 История Библиотеки Академии наук СССР... С. 273–275.
- 35 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55.
- 36 *Бонч-Бруевич В. Д.* Нелегальный отдел Библиотеки Академии наук (по личным воспоминаниям) // Известия. М., 1925. 6 ноября. С. 6.
- 37 *Бонч-Бруевич В. Д.* В. И. Ленин и Библиотека Академии наук // Ленин и Академия наук: Сборник документов. М., 1969. С. 276–283.
- 38 Там же.
- 39 *Копанев А. И.* Об одной легенде // Книга в России XVIII – середины XIX в.: Из истории Библиотеки Академии наук. Л., 1989. С. 75–83.
- 40 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55–56 об.

- 41 Там же. Карт. 206. Ед. хр. 7. Л. 42.
- 42 *Робинсон М. А.* А. А. Шахматов и обыск в Библиотеке Академии наук // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. М., 1974. Т. 33. № 2. С. 107–113.
- 43 Там же. С. 108.
- 44 Там же. С. 111.
- 45 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55 об.
- 46 Там же. Л. 56 об.
- 47 *Срезневский В. И.* Срезневский Измаил Иванович // Русский биографический словарь. СПб., 1909. [Т. 19]. С. 276–298; *Он же.* Краткий очерк жизни и деятельности И. И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1916. Кн. 1. С. 1–68.
- 48 *Срезневский В. И.* К истории издания Известий и Ученых записок Второго отделения Императорской Академии наук. СПб., 1905.
- 49 *Срезневский В. И.* Об истории составления словаря древнерусского языка И. И. Срезневского // Известия Академии наук СССР. VII сер. Отделение общественных наук. Л., 1933. № 9. С. 705–728.
- 50 *Срезневский В. И.* Знакомство И. И. Срезневского с И. П. Котляревским // Киевская старина. Киев, 1899. № 1. С. 1–4.
- 51 *Срезневский В. И.* И. И. Срезневский о Л. Н. Толстом: («Война и мир» и «Азбука») // Сборник статей в честь Алексея Ивановича Соболевского. Л., 1928. С. 53–56.
- 52 *Востоков А. Х.* Заметки Востокова о его жизни. СПб., 1901.
- 53 *Срезневский В. И.* Симеона Метафраста и Логофета списание мира от бытия и летописи собран от различных летописей. СПб., 1905.
- 54 *Срезневский В. И.* Материалы для биографии И. И. Срезневского: (Печатные источники) // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1916. Кн. 1. С. 333–406.
- 55 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 206. Ед. хр. 7. Л. 41.
- 56 *Бонч-Бруевич В. Д.* В. И. Ленин и Библиотека Академии наук // *Бонч-Бруевич В. Д.* Избр. соч. М., 1961. Т. 2. С. 453–461.
- 57 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 56 об.
- 58 *Бонч-Бруевич В. Д.* Владимир Ильич и Всесоюзная Академия наук // Ленин и Академия наук: Сб. документов. М., 1969. С. 23–26.
- 59 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 206. Ед. хр. 7. Л. 2.
- 60 Близкие В. И. Срезневского называли Платонова его «постоянным врагом» (ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 252. Ед. хр. 51. Л. 4).
- 61 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 9–10 об.
- 62 Там же. Карт. 252. Ед. хр. 51. Л. 14–15 об.; Ф. 345. Карт. 2. Ед. хр. 4. Л. 4.
- 63 Академическое дело, 1929–1931 гг. СПб, 1993. Вып. 1. С. XXVI–XXVII.

- 64 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 252. Ед. хр. 51. Л. 1.
- 65 Там же. Л. 14–15.
- 66 РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 2533. Л. 4.
- 67 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 252. Ед. хр. 51. Л. 14–15; Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 4.
- 68 РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Д. 2533. Л. 4.
- 69 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 17. Л. 103–104.
- 70 Там же. Л. 115–116.
- 71 Академическое дело 1929–1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1. С. XXIX.
- 72 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 1.
- 73 *Копанев А. И.* Всеволод Измайлович Срезневский... С. 140.
- 74 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 9–10 об.
- 75 Там же. Карт. 252. Ед. хр. 7. Л. 4 об.
- 76 Там же. Карт. 338. Ед. хр. 17. Л. 115–116.
- 77 Там же. Л. 108.
- 78 Там же. Л. 119.
- 79 Там же. Л. 108.
- 80 Щеглова Софья Алексеевна (1887–1965), специалист по истории украинского стихосложения XVI–XVII вв. и по истории русского театра XVIII в. работала в Библиотеке АН с 1922 по 1934 г.
- 81 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 10.
- 82 Там же. Л. 12.
- 83 Там же. Карт. 206. Ед. хр. 7. Л. 41.
- 84 Там же. Л. 42–43 об.
- 85 Там же. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 13.
- 86 В этом сборнике, 6 выпусков которого вышли в 1932–1936 гг. в издательстве «Academia», В. Д. Бонч-Бруевич почти в каждом номере печатал подготовленные В. И. Срезневским публикации писем И. С. Тургенева, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова и другие материалы, большей частью сохранившиеся в архиве И. И. Срезневского.
- 87 ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 82, 84, 87.
- 88 *Горяинов А. Н.* Срезневский Всеволод Измайлович // Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979. С. 317–318.
- 89 *Горяинов А. Н.* Всеволод Измайлович Срезневский и Библиотека Академии наук // И. И. Срезневский и современная славистика: Наука и образование: Сборник научных трудов. Рязань, 2002. С. 50–57.
- 90 Этот фонд хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства, куда поступил в результате усилий В. Д. Бонч-Бруевича (см. его письмо Вере Измайловне Срезневской от 16 августа 1936 г. ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 206. Ед. хр. 8. Л. 40).

М. Ю. Досталь
(Москва)

Сектор славяноведения Института истории АН СССР

Октябрьская революция и последующая большевизация страны привела к ломке всех сложившихся в науке организационных структур, постепенной смене методологических ориентиров (борьба с учеными «старой школы», борьба в стане марксистов). Если рубеж 20–30-х гг. можно считать главной вехой в процессе ликвидации университетских и академических центров славяноведения, так или иначе сложившихся еще в дореволюционной России и потом несколько модернизированных, то для «выкорчевывания» немарксистских кадров славистов необходимо было более длительное время. В первом случае обошлись административными мерами при помощи коммунистов-«активистов» в Академии и университетах. Во втором случае шли двумя путями. Принуждали к добровольному принятию марксизма или того, что им объявлялось в вульгаризаторском варианте (в виде «покровщины», «переверзевщины», марризма и пр.) «проработками», травлей в печати и пр.¹ После «великого перелома» 1929 г., знаменовавшего в том числе «усмирение» непокорной Академии наук, всеми силами защищавшей свою автономность², был дан курс на изоляцию и искоренение славистических кадров путем арестов, ссылок, расстрелов. Было начато и т.н. «дело славистов»³. Внедрение марксистской методологии во все славистические дисциплины — процесс разновременный. Синхронизировать его взялся академик Н. С. Державин, благодаря усилиям которого в начале 30-х гг. на короткий период удалось создать комплексный Институт славяноведения АН СССР в Ленинграде. Было заявлено о переходе славяноведения на рельсы марксизма-ленинизма. Но то ли рельсы оказались ненадежными, то ли развернувшийся маховик репрессий ненароком подавил все слабые ростки новой науки (по известному сталинскому принципу — «лес рубят — щепки летят»), но к середине 30-х гг. славяноведение как наука в СССР фактически перестала существовать.

В 1939 г., полагаем, начался новый период в истории отечественного славяноведения — его постепенное возрождение. Этому способствовал ряд объективных и субъективных факторов, внешнеполитическая ситуация, изменения в идеологии. Более готовой к этому оказалась историческая славистика. Со второй половины 30-х гг. в связи с угрозой новой мировой войны, с оккупацией фашистской Германи-

ей и ее сателлитами славянских стран ощущается поворот в сталинской идеологии от жестко классово-доктрины пролетарского интернационализма к патриотизму имперского типа, поворот советского руководства «лицом» к славянским проблемам, осознание необходимости их надлежащего освещения. Этому направлению больше не отвечала «школа М. Н. Покровского», жарко разоблачавшая внутри- и внешнеполитические «аферы» царизма и реакционный панславизм⁴. В 1939 г. начался разгром этой школы⁵, способствующий некоторому очищению марксистской исторической науки от вульгаризаторства и догматизма (утверждались, правда, другие догмы). К этому времени были восстановлены исторические факультеты в университетах (1934), создан Институт истории АН СССР (1936). Таким образом, сложились благоприятные предпосылки к принятию решения об организации славистических центров. Однако ничто не дается без борьбы. Многократные обращения академика Н. С. Державина к руководству страны с обоснованием необходимости возрождения славяноведения в целом⁶, включая скомпрометированную в глазах общественности славянскую филологию, ожидаемых результатов не дали, но показали политическую важность задачи. Обращение к партийному руководству академика Б. Д. Грекова, членов-корреспондентов А. Д. Удальцова и В. И. Пичеты попали на подготовленную Державиным почву. Было принято дальновидное решение об организации Сектора славяноведения в Институте истории АН СССР и одновременно для обеспечения его кадрами — о создании кафедры истории южных и западных славян в МГУ.

Сектор славяноведения в Институте истории АН СССР официально начал свою работу, по всей вероятности, в апреле 1939 г.⁷ Самы «отцы-основатели» сектора никогда точную дату не называли, ограничиваясь указанием года. О намерении создать этот сектор первый раз, в известных нам источниках, было упомянуто в протоколе закрытого партсобрании института от 3 января 1939 г. в выступлениях А. Д. Удальцова и Н. С. Лебедева. Последний, в частности, сказал: «Много труда затрачено, чтобы ликвидировать последствия так наз. «вредительства». Следует выполнить поставленные задачи по созданию центра по изучению славянства и Византии на марксистско-ленинских основах»⁸. Не случайно возрождение славяноведения связывалось с ликвидацией «вредительства» в исторической науке, «учиненного» школой М. Н. Покровского. Только так было тогда возможно возрождение новой науки. 4 апреля 1939 г. в «Известиях» (№ 79) была напечатана статья «Сектор славяноведения в Институте истории», где в интервью с директором института Б. Д. Грековым о создании Сектора говорилось как о свершившемся факте. На парт-

собрании 21 апреля 1939 г. указывалось на необходимость предоставления ранее подвергавшемся критике философом академиком А. М. Дебориным новому Сектору двух-трех комнат⁹. Созданию Сектора предшествовала, как уже указывалось, длительная борьба. В Институте истории дело усугублялось тем, что как раз в апреле 1939 г. многие коммунисты этого учреждения выступали за то, чтобы его директором был назначен авторитетный партиец, борец с религией, академик Е. М. Ярославский, а не временно исполняющий обязанности директора академик Б. Д. Греков, покровительствующий планам славистов, ученым «старой школы» и развитию ленинградского филиала института. В связи с этим административная деятельность Грекова, была подвергнута резкой критике¹⁰. Неизвестно, как сказало бы на реализации этих планов назначение нового директора, но гроза, нависшая над Грековым, миновала. Высшие партийные и академические инстанции не поддержали требования местных партийцев, отдав предпочтение историку, профессионалу высокого класса.

Нам пока не удалось найти «учредительных» документов по организации Сектора славяноведения. Безрезультатными оказались поиски в Архиве РАН, архиве бывшего Института истории. А в РЦИДНИ (ныне в РГАСПИ) и в бывшем московском партархиве (ЦГАОДМ) многие нужные фонды еще закрыты для исследователей. Одним из таких документов, по всей видимости, можно считать докладную записку о развитии славяноведения в СССР, составленную директором Института истории АН СССР, академиком Б. Д. Грековым и членом-корреспондентом А. Д. Удальцовым, видимо, хранившуюся некогда в Архиве Института славяноведения АН СССР (документы Сектора славяноведения из указанного архива были опрометчиво уничтожены в начале 1970-х гг.). Об этой записке упоминается в неопубликованной статье Б. М. Руколь. По всей видимости, она была направлена в директивные органы (ЦК ВКП(б) и Президиум АН СССР). В ней указывалось на «целесообразность и необходимость поднять эту отрасль знания (славяноведение. – М. Д.) именно в нашей стране, в центре развития единственно научной исторической мысли, своей политикой привлекающей симпатии всех прогрессивных слоев славянских стран». Записку дополняло «Приложение» под названием «Задачи советского славяноведения», в котором определялись тематические направления исследований: изучение межславянских связей, национально-освободительного движения, развития капитализма, рабочего движения и революционной борьбы, борьбы с немецкой агрессией, внешнеполитических вопросов, которые не разрабатывались в «буржуазной» историографии¹¹. В упомянутом выше интервью Б. Д. Грекова указывалось, что в задачу Сектора «входит изуче-

ние славянства и его роли в мировой истории. До сих пор проблемы, связанные с ролью славян в историческом процессе, недооценивались. Тематика охватит вопросы борьбы славян с германской агрессией в XIII и XV веках, историю гуситских войн, историю Болгарии и т. д. Часть работ уже в этом году будет подготовлена к печати»¹².

К сожалению, каких-либо других подробностей об этой записке в статье не имеется. Но и они показывают, в каком направлении должно было развиваться советское славяноведение, а именно — по пути расширения исследований по новейшей истории. Более подробную информацию о направлении работы Сектора можно найти в статье «Изучение истории славянства», опубликованной в газете «Известия» от 21 апреля 1939 г. (№ 93). В ней сообщалось о предстоящем 26–27 апреля собрании Отделения истории и философии с докладами Н. С. Державина «Проблема происхождения южных славян», Б. А. Рыбакова «Анты и Киевская Русь», П. Н. Третьякова «Восточнославянские племена». В. И. Пичета говорил о том, что создание Сектора славяноведения «полностью отвечает требованиям советской науки», подчеркивал необходимость изучать историю славян в тесной связи с историей России. Он не упустил возможности также упомянуть об отрицательном отношении идейно «разоблаченного» М. Н. Покровского к славяноведению, объявил его инициатором ликвидации Византийской комиссии при Академии наук. В заключение В. И. Пичета заметил: «Исходя из основ марксистско-ленинской методологии, мы должны дать историю славянства на фоне общеевропейской истории в современном научном освещении. Сектор славяноведения разрабатывает программы для составления отдельных историй всех славянских народов. Их целями являются: изучение происхождения этих народов, в частности, происхождение южных славян, а также его роль в уничтожении рабовладельческого строя в Византийской империи. Мы хотим выявить и пересмотреть историю политики царизма в отношении всех славянских народов. Сектор сосредоточит свое внимание на изучении революционного движения славянских народов, совершенно замалчиваемого буржуазной историографией. Большое внимание будет отведено гуситским войнам — важнейшему моменту в истории возрождения чешского народа»¹³. Пичета упомянул также о том, что в распоряжение Сектора будут переданы свыше 10 тыс. томов из библиотеки бывшей Славянской комиссии, находящиеся в Ленинграде, а также о том, что Сектор намерен выпускать сборник научных трудов советских ученых, занимающихся изучением славянства.

Г. Э. Санчук (бывший аспирант и сотрудник Сектора) выделил в его работе три главных периода: 1939 — октябрь 1941 г. (формирование штата научных сотрудников, разработка первого перспек-

тивного плана), 1941 — июнь 1943 г. (работа в условиях эвакуации) и 1943 — январь 1947 г. (написание монографических исследований по истории Польши, Чехии, коллективных очерков по истории этих государств и истории борьбы славянских народов против германской агрессии и пр.)¹⁴ Соглашаясь в целом с этой периодизацией, считаем, что следует выделить, однако, еще один период: май 1945 — сентябрь 1946 г. Окончание войны внесло свои коррективы в направление исследований. А с сентября 1946 г. началось формирование кадров и структур нового Института славяноведения.

Первый период работы Сектора славяноведения детально рассмотрен в монографии Е. П. Аксеновой¹⁵. Потому подведем некоторые его итоги, внося свои дополнения, и сосредоточим внимание на последующих этапах.

Первым делом руководства Сектора было формирование его кадрового состава. Его заведующим был назначен член-корреспондент АН СССР В. И. Пичета (1878–1947). Он был тогда одним из ведущих в СССР специалистов по истории славяноведения. В 30-е гг. пережил тяготы ссылки¹⁶. В состав Сектора вошел академик Ю. В. Готье (1873–1943), старшие научные сотрудники Х. С. Кабакчиев (1878–1940), А. А. Савич (1890–1957), З. Р. Нееды (1878–1962), младший научный сотрудник Е. И. Кондрашова. В ленинградской группе Сектора, приказ о создании которой под руководством академика Н. С. Державина (1877–1953) последовал 27 апреля 1940 г.¹⁷, начали свою работу старшие научные сотрудники М. В. Джервис-Бродский (1899–1942), У. А. Шустер (1907–?), младший научный сотрудник Л. В. Разумовская (1897–1969). Таким образом, среди сотрудников сектора преобладали ученые старшего поколения, многим из которых перевалило за 60. Нехватка необходимых молодых кадров долгое время была узким местом в работе сектора. Об этом был поставлен вопрос даже на партсобрании Института истории от 15 мая 1939 г.¹⁸

Борьба представителей старшего и младшего поколений за степень овладения марксистско-ленинской методологией, обуревавшая парторганизацию Института истории и больно задевшая представителей «старой школы», видимо, обошла молодой сектор стороной. И все благодаря непререкаемому авторитету В. И. Пичеты, еще до создания Сектора, организовавшего специальный кружок по изучению политических и научных проблем, с охотой посещаемый специалистами разного уровня¹⁹.

23 июня 1939 г. состоялось заседание Ученого совета Института истории, на котором был заслушан доклад профессора В. И. Пичеты «О плане работы сектора истории славяноведения» (название сектора тогда еще не устоялось) на 1939 и 1940 гг. Доклад примечателен

тем, что вводит нас в «производственную кухню» начальной работы Сектора. Последний начал ее с обсуждения программ намечаемых трудов по истории отдельных славянских стран. За два первых месяца была написана и обсуждена программа «по истории Болгарии с начала XIX века до наших дней». Предполагалось, что разработку истории Болгарии до XVIII в. возьмет на себя академик Н. С. Державин, а более позднего времени — профессор Х. С. Кабакчиев. Профессор З. Р. Неядлы успел подготовить программу изучения истории Чехии на чешском языке, которая была переведена на русский язык, и ее в ближайшую неделю планировалось обсудить на заседании Сектора. «Такому авторитетному автору», как З. Неядлы, поручалась разработка истории Чехии в полном объеме. Программу по истории Польши при согласовании с ленинградской группой (где полонисты были лучше представлены) намечалось начать с конца XVIII в. с охватом всего XIX в. «Вопрос о более древнем периоде истории Польши, — сказал Пичета, — оставим до другого раза, ввиду того, что у нас нет под руками сейчас литературы», которая вышла в Польше в последнее время. «По истории Польши XIX в., — продолжил он, — там материалов вышло не очень много, и ничего сокрушительного нет, и потому дать историю Польши XIX и XX вв. мы можем»²⁰. Намечалось также составить программу по истории Сербии и поручить ее «такому опытному знатоку по истории славянства», каким является академик Ю. В. Готье.

В ближайшие планы Сектора входила также подготовка сборника по истории славянства, чтобы «как-нибудь заявить изданием этого сборника о своем существовании». В сборник должны были войти статьи сотрудников Сектора (его Московской и Ленинградской групп) по древнейшей истории славян и их законодательных памятниках, истории Болгарии, Чехии, Польши.

Распределение тематики между членами Сектора, учитывая их научные интересы, Пичета представлял себе в то время следующим образом. Академик Готье будет разрабатывать историю Сербии до конца XIV в., профессор Неядлы историю Чехии и Словакии в полном объеме, академик Державин историю Болгарии до конца XVIII в., профессор Кабакчиев — XIX–XX вв. Шустер будет заниматься изучением польского восстания 1863–1864 гг., Пичета — польским восстанием 1830–1831 гг., Кондрашова напишет о крестьянской реформе в Польше 1864 г., Савич — о польско-литовской интервенции в Россию в начале XVII в., Разумовская — о немецкой колонизации Польши в XIII–XVI вв.²¹

Узким местом в работе Сектора являлось отсутствие необходимой литературы, не только марксистской, которую еще предстояло

создать, но и «буржуазной». Кроме того, как сотрудники Института истории, многие члены Сектора участвовали в начатых многотомных изданиях института по всемирной истории, истории СССР и пр.²² Много сил отнимало преподавание на кафедре южных и западных славян, выступление с разнообразными лекциями и докладами перед широкой аудиторией. Но все это было необходимо для возрождения и утверждения славяноведения в стране в качестве полноценной научной дисциплины и его «реабилитации» в глазах общественного мнения.

О работе Ленинградской группы Сектора известно мало. В. И. Пичета не раз пытался согласовать работу двух частей Сектора с Н. С. Державиным, но это не всегда удавалось из-за научных и организационных амбиций последнего. Из некоторых сохранившихся разбросанных материалов о работе группы за 1940 г. следует, что здесь также практиковалось обсуждение докладов на заседаниях, причем темы докладов позднее повторялись на заседаниях возрожденной Славянской комиссии во главе с Н. С. Державиным²³.

Как показано в монографии Аксеновой, Сектор стремился выполнить и кое в чем перевыполнил намеченные планы. Некоторые работы были вставлены в план редподготовки на 1940 г. Запланированному сборнику и этим трудам помешала выйти в свет начавшаяся война. Некоторые подготовленные статьи были опубликованы в других изданиях. Часто заслушивались научные доклады²⁴, вышли из печати некоторые работы отдельных сотрудников²⁵ и пр.

Таким образом, если бы ни война, то Сектор славяноведения мог постепенно, накапливая силы, реализовать то, что было сделано советскими славистами в 50-е гг., а именно, написание трудов по истории славянских народов, на что он был нацелен с самого начала. При этом в то время упор делался на маститых ученых, которые индивидуально могли поднимать и решать большие проблемы. Время создания коллективных трудов еще не пришло.

* * *

Великая Отечественная война во многом изменила тематику и условия работы советских ученых. 23 июня 1941 г. состоялось расширенное заседание Президиума АН СССР. Среди многих выступавших только академик А. М. Деборин сформулировал задачи гуманитарных наук. «Очевидно, по гуманитарной линии необходимо развить работу в двух направлениях. С одной стороны, в направлении разоблачения фашизма, начиная с разоблачения главарей и кончая разоблачением всего кровавого режима, который они установили

в порабощенных странах. Наши обращения с такими листовками или небольшими брошюрами к нашему народу и к порабощенным фашизмом народам Франции, Юго-Славии, Польши и т. д., несомненно, будут иметь огромное агитационное значение. Мне кажется, что гуманитарные институты должны совершенно перестроиться именно в смысле создания такой агитационной литературы, создания специальной организации, которая занималась бы таким вопросом. Затем необходимо поднять на щит героев гражданской войны. Необходимо по линии истории [осветить] борьбу русского народа с германской агрессией на протяжении всей истории соседнего существования, начиная с Ледового побоища и кончая последним нападением, дать специальную популярную работу, которая бы освещала роль агрессора. Теперь ясно для всех, не только для нашей страны, [что необходимо] объединение и сплочение вокруг нашей коммунистической партии и вокруг нашего вождя тов. Сталина, но ясно для всех трудящихся и интеллигенции всего мира, что именно на рубеже нашего Союза решаются судьбы цивилизации, решаются судьбы культуры, и что только Советский Союз несет освобождение порабощенным фашизмом народам»²⁶.

Слависты института приняли посильное участие во Всеславянском радиомитинге в августе 1941 г., который положил начало организации Всеславянского комитета, на которой были возложены широкие задачи агитации и пропаганды идеи славянской солидарности как необходимой составляющей общего антифашистского движения²⁷. В дальнейшем они охотно печатали свои статьи на страницах журнала ВСК «Славяне», выходявшего с середины 1942 г.

23 сентября 1941 г. состоялась научная сессия Отделения истории и философии АН СССР, посвященная истории борьбы славянских народов против германской агрессии и вопросам общности культуры славян под председательством члена-корреспондента А. Д. Удальцова. С докладами выступил В. И. Пичета («Вековая борьба славянских народов с германизацией»), З. Р. Неядлы («Общность исторического развития славянских народов»), Д. С. Густинчич («Югославия и гитлеровская Германия»), Б. А. Рыбаков («Влияние русской культуры X–XIII вв. на другие славянские народы»), М. Н. Тихомиров («Культурные связи русского народа с южными славянами в XIV–XVI вв.»). Уже темы докладов свидетельствовали об общей идеологической направленности выступлений. Следует отметить, что они во многом определили дальнейшую тональность, подход и установки советских славистов к освещению славистической проблематики в период Великой Отечественной войны. Цели научной пропаганды были определены во вступительном слове А. Д. Удаль-

цова. Во-первых, как и А. М. Деборин, он отметил, что советская историческая наука должна разоблачать «фашистскую фальсификацию истории человечества, которую проводит гитлеровская банда лакеев для тщетного оправдания попыток завоевания мира». Для этого она «развертывает перед нами картину славных дел нашего великого советского народа и др. народов и показывает нам, как свободолюбивые народы боролись за свою независимость». При этом подчеркивалось, что славянские народы вели «вековую борьбу» против немецкой агрессии и «в этой борьбе отдельные славянские народы теснее спланивались и устанавливали взаимные между собой культурные связи»²⁸. Во-вторых, предлагалось разоблачить другой лозунг фашистской пропаганды, вытекающий из идеологического кредо фашистов, выраженного в книге «Mein Kampf» А. Гитлера, что «немцы — раса, а славяне это только масса рабов», и «нужно, чтобы иерархия господ поработила массу рабов». Для этого следовало показать, «какой отпор давали всегда славяне этой агрессии..., что славянские народы не были рабами и не будут рабами»²⁹. Следующий лозунг фашистской пропаганды, подлежащий опровержению: «Есть одна немецкая культура... Признать за чехами или другими славянскими лакеями право на культуру, значит признать расовый хаос». «Мы покажем в своих докладах, — продолжал А. Д. Удадьцов, — что славяне имели свою высокую культуру, что славянские народы внесли ценный вклад в историю человечества». Таким образом, история славян признавалась важным и наиболее показательным объектом антифашистской пропаганды.

Н. С. Державин в своем докладе с пафосом рассказал о вкладе в сокровищницу мировой культуры всех славянских народов, назвав их культурных гениев. Заключение он выступление следующими словами: «Но что общего с этим культурным человечеством имеют взбесившиеся животные, именуемые фашистами? Они — враги культуры и враги человечества. Они, как примитивные варвары, стремятся уничтожить и плоды культуры и ее творцов, потому что людоеду-палачу и садисту нужна, прежде всего, человеческая кровь. Но близок день, когда объединенными силами всего передового человечества, в том числе и всех славянских народов, кровавый фашизм будет стерт с лица земли. Героическая Красная армия нанесет ему сокрушительный, смертельный удар. Освобожденные от фашистского кошмара, от коричневой чумы народы мира радостно вздохнут и вернуться к своему свободному мирному труду, к своему культурному творчеству — во имя интересов своей национальной жизни, во имя общего прогресса всего человечества»³⁰. Доклад сопровождался бурными аплодисментами.

Советские слависты чутко восприняли социальный заказ общества. Но выполнение его было связано теперь с большими трудностями. В октябре 1941 г., когда германские войска подступали к Москве, началась эвакуация многих учреждений и промышленных предприятий. Для Института истории местом эвакуации определили Ташкент. Туда последовали некоторые члены московской группы Сектора вместе с В. И. Пичетой. Н. С. Державин вместе с Президиумом Академии наук, членом которого он был, оказался в Свердловске. Политэмигранты, включившиеся в работу Сектора, напротив, остались в Москве. З. Неедлы лишь на короткое время по делам агитпропа уезжал в Куйбышев. Судьба ленинградской группы сложилась более трагически. М. В. Джервис умер в блокаду от голода. У. А. Шустер ушел на фронт. Л. В. Разумовская сумела с большими трудностями добраться до Ташкента. О судьбе Е. И. Кондрашовой нам ничего неизвестно. Ученым приходилось работать на новом месте в трудных бытовых условиях, полуголодными, получая скудные пайки, при отсутствии собственных и публичных библиотек, не говоря уже об архивах.

Тем более нельзя не удивляться результатам проделанной сотрудниками Сектора работы. Об этом периоде его существования мы располагаем лишь одним документом — отчетом В. И. Пичеты, опубликованным в «Историческом журнале» (1942. № 11). Думается, даже его составление потребовало от ученого немалых усилий, так как он попытался объединить отчеты, находящихся в разных местах сотрудников, и представил работу Сектора как единого коллектива.

Прежде всего, обращает внимание тот факт, что состав Сектора заметно расширился. В его работу включились политэмигранты, работавшие в Институте истории — болгарин Р. К. Караколов, хорват Д. С. Густинчич, македонец Д. И. Влахов, серб Н. П. Франич, а также византинисты Б. Т. Горянов, Н. С. Лебедев, специалисты по истории отдельных славянских стран — Сербии С. К. Богоявленский, — Польши А. Л. Попов, Чехии — А. К. Целовальникова, а также Молдавии — Н. А. Нарцов. В работе Сектора продолжали принимать участие Б. Д. Греков, З. Р. Неедлы, Н. С. Державин. Вероятно, не все указанные ученые действительно входили в состав Сектора, но так или иначе принимали участие в его работе.

Прежде всего, Пичета стремился выделить приоритетные направления работы сотрудников Сектора. Было подчеркнуто, что «ведя борьбу с фашистскими извращениями истории славян», Сектор подготовил к печати сборник статей по проблеме образования славянских государств. О формировании русского государства особый очерк написал академик Б. Д. Греков, который «уже много лет вел борьбу против норманизма, господствовавшего в русской буржу-

азной историографии». Об образовании чешского государства писал профессор З. Р. Неедлы, болгарского — академик Н. С. Державин, сербского и польского — академик Ю. В. Готье³¹. Все очерки, как мы видим, подготовили маститые ученые, немногие оставшиеся в СССР знатоки истории славянства. В них с особой силой подчеркивалось, что славяне были способны **самостоятельно**, без внешней помощи создавать свои государства. Другой особенностью советской исторической славистики было утверждение о феодальном и классовом характере возникающих государств. В начале 60-х гг. эти работы оценивались следующим образом: «Заслугой советских историков является решительное опровержение норманнской теории и всякой иной теории завоевания. Отметив самобытные истоки славянской цивилизации, вскрыв классовый характер древнеславянских государств, объяснив социально-экономические причины появления у славян государственности, советские историки лишили какой бы то ни было почвы всякие теории об иноземном происхождении государства у славян. Вместе с тем была проанализирована раннефеодальная структура возникших славянских государств, обоснован тезис о том, что в своем историческом развитии славянские народы миновали рабовладение как социально-экономическую формацию»³².

Другим направлением работы Сектора продолжала оставаться разработка общих вопросов истории отдельных славянских народов. Поэтому, «стремясь познакомить советскую общественность с основными моментами истории южных и западных славян», Сектор готовил к печати ряд исторических очерков, под общей редакцией З. Р. Неедлы и В. И. Пичеты. Это было продолжением работы над нереализованными до войны темами. Н. С. Державину и Р. К. Караколову было поручено написание очерка истории болгарского народа с древнейших времен до наших дней, Д. С. Густинчич писал очерк истории хорватского и словенского народов, З. Р. Неедлы — словацкого, Д. И. Влахов — македонского, В. И. Пичета — польского, С. К. Богоявленский — сербского народов. Л. В. Разумовская работала над очерком об истории прибалтийских славян, Б. Т. Горянов — об истории Черногории. Сборник планировалось подготовить к концу 1942 г.

Помимо этого каждый из сотрудников Сектора работал над специальными темами и проблемами, причем разрабатывал их большей частью монографически. Их диапазон был достаточно широк: от времен Византии до XIX в. Так, Б. Т. Горянов готовил к печати работу «Революция зелотов в Фессалониках», Н. С. Лебедев писал монографию «Византия и монголы». Н. С. Державин планировал написание двухтомной «Истории Болгарии» с древности до XIX в. Л. С. Разумовская готовила к защите диссертацию «Немецкая колонизация в

Польше», С. К. Богоявленский — монографию «Дипломатические отношения России и Сербии в XVIII в.», В. И. Пичета продолжал работать над монографией «История польского восстания 1830–1831 гг.» (в развитие плана 1939 г.). Новым веянием было также то, что Н. С. Лебедев взялся за написание историографической статьи «Работы В. Г. Васильевского по изучению истории Византии и славян», открывавшей путь для частичной реабилитации дореволюционного византиноведения, и эта тема была одобрена Сектором.

Научная работа Сектора осуществлялась и путем заслушивания на его заседаниях научных докладов. Пичета не уточнил, где именно (в эвакуации или в Москве) они читались, но отметил, что в качестве докладчиков выступали не только сотрудники Сектора. Следует отметить, что тематика докладов была тесно связана с плановыми научными исследованиями и была своего рода формой публичной отчетности о проделанной работе. В. И. Пичета прочитал доклад «Польские славянофилы в начале XIX в.», Н. С. Лебедев «Византия и монголы», Б. Т. Горянов сделал доклады по темам своих плановых работ, Л. В. Разумовская «Работы польских историков о городском строе Польши в период раннего средневековья», Д. С. Густинчич «Развитие феодального строя в Хорватии», «Борьба хорватского народа за национальную свободу», Р. К. Караколов «Историко-философские взгляды Д. Благоева», А. Л. Попов «Политика царского правительства накануне русско-турецкой войны 1877–1878 гг.», Н. П. Франич «Сербия во время оккупации германским фашизмом», Ю. В. Готье «Законодательство Стефана Душана», Н. А. Нарцов «Происхождение молдавского государства», А. К. Целовальникова «Начало чешского возрождения»³³.

Первая половина 1943 г. была ознаменована большим «урожаем» защит кандидатских диссертаций сотрудников сектора. Искомые степени получили: Д. С. Густинчич («Балканский союз»), Л. В. Разумовская («Хроника славян Гельмгольда как исторический источник»), Б. Т. Горянов («Очерки по истории Византии в эпоху Палеологов»), Н. С. Лебедев («В. Г. Васильевский об истории византийско-русских отношений»).

Помимо этого сотрудники сектора читали доклады в других научных учреждениях и общественных аудиториях, публиковали публицистические статьи в газетах и журналах³⁴.

В середине июня 1943 г. ташкентская группа Сектора славяноведения во главе с В. И. Пичетой возвратилась в Москву, и со времени объединения ее с московской (во главе с З. Р. Неудлы) можно говорить о новом периоде его деятельности в других условиях. Работа ленинградской группы в то время не возобновилась.

В своем отчете за 1943 г. В. И. Пичета представил новый, расширенный состав сектора. Помимо заведующего и академика З. Р. Нееды, который был назначен заместителем В. И. Пичеты, в него входили политэмигранты Д. С. Густинчич, Р. К. Караколов, Д. И. Влахов, Ж. М. Корман, а также византилисты Б. Т. Горянов, Н. С. Лебедев, полонист Л. В. Разумовская. Обращает на себя внимание тот факт, что Сектор взялся за подготовку довольно большого числа аспирантов. В их числе: полонист В. Д. Королюк, богемисты Г. Э. Санчук и А. К. Целовальникова, специалист по истории южных славян, сербист Н. П. Франич, болгарист С. Ш. Гринберг, историограф и историк общественной мысли Ф. Т. Константинов, также докторант С. И. Зинич. В работе Сектора активное участие принимали академик Ю. В. Готье, члены-корреспонденты С. К. Богоявленский, Е. А. Косминский, профессор М. Н. Тихомиров, а также к. и. н. М. А. Тихонова и «действительный член научно-исследовательского института в Молдавии» Н. А. Нарцов. Уже в этом отчете Пичета был обеспокоен кадровым составом сектора: «Кадры Сектора Славяноведения совершенно недостаточны. В случае отъезда на родину ряда товарищей — З. Р. Нееды, Д. С. Густинчича, Д. И. Влахова Сектор лишится крупных специалистов, а молодых заместителей по их специальности в Секторе, к сожалению, не имеется. Необходимо увеличить кадры аспирантов по истории южных славян. Последние представлены в Секторе крайне недостаточно»³⁵. Опасения Пичеты имели веские основания. Уже в отчете за 1944 г. отмечалось, что на родину в Югославию уехал македонец Д. И. Влахов и польский профессор из Люблина Ж. М. Корман. На их место были взяты в качестве младших научных сотрудников В. Н. Кондратьева (1908–1981), М. В. Миско (1904–1972) и Б. М. Руколь (1917–2000). В аспирантуру были приняты Ф. А. Грекул и Н. Д. Ратнер. Прогноз Пичеты осуществился — в первом полугодии 1945 г. Сектор покинули «ценные работники» З. Р. Нееды, Д. С. Густинчич и мало принимавшие участие в работе Сектора Р. К. Караколов и Н. П. Франич. Умер докторант С. И. Зинич. На освободившиеся вакансии с 1 мая 1945 г. младшим научным сотрудником был назначен С. Ш. Гринберг, старшим научным сотрудником — М. В. Миско.

Воссоединение Сектора было ознаменовано новыми планами. Была начата работа над двумя перспективными темами: «Балканские государства между двумя войнами» (другой вариант «накануне Второй мировой войны») и «Южные славяне и Россия в их культурных и политических отношениях» или другой вариант названия «Россия и южные славяне в их культурных и политических связях».

Темы сборников, совершенно новые в советской исторической науке, определялись, видимо, прежде всего с учетом специализации

наличного состава сотрудников Сектора, а также тогдашнего понимания научной актуальности. Первый сборник готовила московская группа политэмигрантов под руководством З. Р. Неедлы. Как можно судить по отчетам, последний писал вступительную статью к сборнику, статью о Румынии и очерк «Попытки организации балканских государств». Н. П. Франич написал статью о Югославии, Р. К. Караколов о Болгарии, Д. И. Влахов — о Греции и Албании (их перерабатывал потом З. Р. Неедлы), единственный «ташкентец» востоковед А. Ф. Миллер готовил статью о Турции. К концу 1943 г. все статьи, за исключением статьи Миллера, уже были написаны и редактировались З. Р. Неедлы. Авторы сборника стремились показать, к каким пагубным последствиям для балканских государств привели включение их в орбиту фашистской Германии и отказ от сотрудничества с СССР. Примечательно, что сборник по тематике выходил за рамки славяноведения. Если бы он увидел свет, то это был бы первый труд Сектора по балканистике.

«Второй сборник, — писал Пичета, — был начат в Ташкенте. Его план... был пересмотрен и дополнен в июле 1943 г. после состоявшегося объединения обеих групп»³⁶. Сборник предполагал показать положительные примеры исторической и культурной близости славянских государств с Россией и СССР. Особо отмечалось, что последний раздел сборника — «СССР и южные славяне» — пополнит нашу историографию в области истории современного славянства. Особого интереса заслуживает разработанный здесь вопрос о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на общественно-политическую жизнь южнославянских государств»³⁷. Раздел писался коллективными усилиями сотрудников В. И. Пичеты, Д. Густинича, Р. Караколова, С. Зинича и аспирантов Н. Франича, С. Гринберга и В. Королюка. Статьи в сборнике носили не популярно-пропагандистский, а научно-исследовательский характер, в написании ряда статей использовались архивные материалы. Все это не исключало актуализации их содержания. В сборнике были задействованы все наличные силы Сектора, к участию в нем приглашались также С. К. Богоявленский, М. Н. Тихомиров, докторант С. А. Никитин и академик Н. С. Державин. Таким образом, в сборнике должны были найти отражение как новые идеи (проблема влияния ВОСР на образование славянских государств долгое время была одной из ведущих в советском славяноведении), так и опыт написания коллективной работы. Отчет Пичеты позволяет частично реконструировать содержание сборника. От написания коллективного раздела, судя по всему отказались. Сборник получил название «Южные славяне и Россия в их культурных и политических отношениях». С. Ш. Гринберг

готовил статью «Россия и Болгария после Берлинского конгресса», В. И. Пичета — «Светозар Маркович и русские просветители», Н. П. Франич «Россия и Сербия в Первой мировой войне» и «Взаимоотношения России и южных славян во Второй мировой войне», С. К. Богоявленский «Россия и Сербия во второй половине XVII в.», «Россия и Сербия в XVIII в.», Д. С. Густинчич «Балканский союз и Россия», Р. К. Караколов «Болгария и СССР», М. Н. Тихомиров «Иван Грозный и Сербия». Хотя завершение сборника планировалось к концу декабря 1943 г., работа над ним продолжалась и в 1944 г. Обращает внимание на себя тот факт, что Н. С. Державин своих статей не представил и по существу не принимал участия в работе Сектора. Никаких сведений о сотрудничестве в работе Сектора С. А. Никитина также нет. Названные статьи, так или иначе, были представлены на Секторе в виде докладов. В первом полугодии 1944 г. Сектор также готовил конференцию «Россия и южные славяне», которая «по независящим от него обстоятельствам не могла состояться»³⁸, точно так же, как не был издан и указанный сборник. Однако в 1947 г. ряд статей названных авторов по указанной тематике был опубликован в «Славянском сборнике». Причем В. И. Пичета и М. Н. Тихомиров представили новые статьи. Первый — «Юрий Крижанич и его отношение к Русскому государству», второй — «Культурные связи русского народа с южными славянами». Была издана и статья С. А. Никитина «Дипломатические отношения Сербии с Россией в 60-х годах XIX в.».

Третьей большой плановой темой Сектора стала двухтомная «История Польши» объемом в 26 п. л., охватывающая период с 1799 по 1863 г. Ее готовил персонально В. И. Пичета. Он предполагал закончить ее вторую часть к концу 1943 г.³⁹, но в действительности работал над ее отдельными главами вплоть до самой смерти в 1947 г. Полностью работа в свет не вышла, кое-что издано в виде статей. Многие остались в рукописи. В 1947 г. по ней был опубликован реферат⁴⁰, излагавший основную концепцию труда.

В. И. Пичета осуществлял оригинальные методы в профессиональной подготовке научной молодежи. Его семинары в теплой домашней обстановке были прозваны «пичетниками». Они проходили с ноября 1943 г. по июнь 1947 г. В них участвовали многие молодые историки, составившие впоследствии кадровое ядро историков-славистов в СССР. Среди них: И. М. Белявская, Ц. С. Бобинская, М. А. Бирман, И. А. Воронков, И. Б. Греков, Ф. А. Грекул, С. Ш. Гринберг, И. С. Достян, В. Г. Карасев, К. А. Козырина, И. В. Козьменко, В. Д. Корольюк, Б. М. Руколь, Г. Э. Санчук, И. И. Удальцов, Н. П. Франич, А. К. Целовальникова⁴¹. Сама обстановка уютного профессорского дома несомненно располагала к доверительности, раскрепощенности, которую

нельзя было себе позволить в государственном учреждении сталинской эпохи. Недаром именно здесь позволялись некоторые «вольности», отступления от канонизированных высказываний классиков марксизма-ленинизма, о чем вспоминали Г. Э. Санчук и Б. М. Руколь. Руколь писала по этому поводу: «Мы, только входящие в науку, ценили смелость его (Пичеты. — М. Д.) научных дерзаний, когда он поставил вопрос о необходимости критического пересмотра оценок славянских народов, данных в 1848 году К. Марксом и Ф. Энгельсом»⁴². Таким образом, участники семинара В. И. Пичеты имели редкую в те времена возможность творческого постижения основ марксизма-ленинизма.

По воспоминаниям участников «пичетников» вырисовывается также продуманная схема научного руководства работой аспирантов: заслушивание и обсуждение в виде докладов и сообщений, рефератов и обзоров отдельных частей, подготавливаемых молодым автором работ (диссертаций, статей, монографий). Как правило, внимание акцентировалось на критическом анализе источников, историографическом обзоре, которые прорисовывали новую постановку проблемы, возможность введения в научный оборот нового архивного материала. Если речь шла о средневековой проблематике, то часто заслушивался предлагаемый докладчиком русский перевод оригинального текста (с латыни или одного из славянских языков) с научным комментарием, предлагалось новое прочтение определенного места из хорошо известных изданий. Большинство докладов и материалов, обсужденных на семинаре и получивших одобрение к печати, было вскоре опубликовано⁴³.

«Эти семинары, — как верно отметила исследователь творчества В. И. Пичеты Л. И. Уткина, — сыграли большую роль в подготовке и формировании кадров советских историков-славистов, способствовали развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы аспирантов, расширяли их кругозор, учили ориентироваться в наиболее сложных вопросах истории славянских народов. В. И. Пичета считал такой метод работы с аспирантами наиболее продуктивным и действенным»⁴⁴.

Пробой сил молодых специалистов, воспитываемых В. И. Пичетой, стала аспирантская научная сессия, проведенная в ноябре 1944 г. На трех ее заседаниях были прочитаны 5 докладов: Г. Э. Санчук «Хроника Козьмы Пражского и раннее чешское средневековье», В. Д. Королюк «Грамота Пражского архиепископа 1180 г.», Ц. С. Телицына (Бобинская) «С. Сташиц и польско-пруссский союз», И. М. Белявская «М. Бакунин и польский вопрос», Н. П. Франич «Сербия в период Первой мировой войны»⁴⁵. Все доклады носили научно-ис-

следовательский характер и были связаны с темами кандидатских диссертаций. И хотя темы давали мало точек соприкосновения для общего обсуждения, они несомненно способствовали расширению кругозора участников конференции, помогали не замыкаться только в рамках своих исследований. Опыт конференции был признан удачным.

Ввиду трудностей опубликования работ Сектора в нем по-прежнему практиковалось широкое обсуждение научных докладов сотрудников и ученых, приглашенных участвовать в разрабатываемой тематике. Доклады стимулировали работу сотрудников, заставляли их соблюдать плановые сроки, помогали доработке материалов, способствовали повышению общей информированности и образованию молодых историков. Тематика докладов свидетельствовала не только о ходе работы над плановыми темами, но и более широких научных интересах сотрудников Сектора и о тогдашнем военном времени понимании актуальности научных проблем.

Посмотрим с этой точки зрения на тематику докладов, прочитанных на заседаниях Сектора в 1943–1945 гг. В 1943 г. на заседаниях Сектора было прочитано 28 докладов. Их проблематика была весьма разнообразна. Средневековой истории славян и Византии было посвящено три доклада. Н. В. Пигулевская осветила классовую борьбу в Византии в VII в., а также положение Византии в XI в. Историографическое освещение эпохи представлено Н. С. Лебедевым в докладе «В. Г. Васильевский как историк южнославянско-византийских отношений». По тематике XIX в. было прочитано несколько докладов: В. И. Пичеты «Пруссия и польское восстание 1832–1834 гг.», А. К. Целовальниковой «Карел Гавличек», С. К. Богоявленского «Сербия во второй половине XIX в.», Ю. В. Готье «Бисмарк и польский вопрос». Начало XX в. представлено в докладах Д. И. Влахова «Македония и македонский вопрос», Н. П. Франича «Образование Югославии», Д. С. Густинчича «Балканский союз». С. Ш. Гринберг прочитал доклад на актуальную тему «Немецкая агрессия в славянском фольклоре».

Значительное число заседаний было посвящено обсуждению диссертаций Б. Т. Горянова, Н. С. Лебедева, С. И. Зинича. Детально обсуждались статьи к сборнику «Балканские государства между двумя империалистическими войнами». З. Р. Нееды «Вступительная статья» к сборнику, Н. П. Франич «Происхождение Югославии», «Югославы», Д. С. Густинчич «История Хорватии», Д. И. Влахов «Албания», «Греция», Р. К. Караколов «Болгария».

Несколько докладов было посвящено историографическим и методологическим вопросам. Кроме указанного выше доклада Н. С. Ле-

бедева, Ф. Т. Константинов прочитал доклад «Грюнвальдский бой. (Обзор историографии и источников)», В. И. Пичета «Развитие польской исторической науки», Ц. С. Телицына (Бобинская) «Аграрный вопрос по Сталину» и др.⁴⁶

В 1944 г. в Секторе было проведено, судя по отчету, 41 заседание (среди них 8 производственных), где были зачитано и обсуждено свыше 30 докладов и сообщений. Это свидетельствовало о большой интенсивности научной работы сектора. Заседания проходили почти каждую неделю (из 52 в году), за исключением, видимо, летнего отпускного времени, если таковое было в годы войны.

Новым веянием было то, что несколько докладов аспирантов и молодых сотрудников Сектора посвящалось анализу средневековых источников (В. Д. Королук. «Мартин Галл как источник для изучения раннего польского средневековья», Н. Д. Ратнер «Отношение гуситов и королевской власти по хронике Лаврентия из Бржезовой», Г. Э. Санчук «„Majestas Carolina“ как источник изучения земского чешского права») и источников более позднего времени (Г. Э. Санчук. «План „направы“ Польского государства Фрыча Моджевского»). Ряд докладов историков старшего поколения освещали историю славянских стран периода средневековья (В. И. Пичета «Юрий Крижанич и его отношение к русскому государству», М. Н. Тихомиров «Иван Грозный и Сербия») и нового времени (В. И. Пичета «Т. Костюшко», «Австрия и польское восстание 1863 г.»). «Издательская деятельность Иосафата Огрызко» была представлена в докладе Г. И. Шкроба. История славянских народов XIX в. освещалась в докладах И. Топалова «Германский империализм в Болгарии XVIII–XIX вв.», З. Р. Нееды «Краледворская рукопись», А. К. Целовальниковой «Отчет о командировке в Ленинград по теме о чешском национальном возрождении», С. И. Зинича «Происхождение иллирийского движения в 30–40-е годы XIX в.», С. И. Никитина «Балканский вопрос в 30–50-е гг.», В. Н. Кондратьевой «Крестьянский вопрос в Литве и Белоруссии во время польского восстания 1863 г.», С. И. Шкроба «Материалы для биографии А. А. Потební, участника восстания 1863 г.» и «Революционная деятельность Иосафата Огрызко», Р. К. Караколова «Болгария и освободительная русско-турецкая война 1877–1878 гг.». Несколькими докладами была представлена новейшая история первой половины XX в.: Н. П. Франич «Происхождение Югославии», Ж. М. Корман «Метод библиографии истории рабочего класса в Польше в первой половине XX в.», Ф. И. Нотович «Вступление Италии в войну», С. Ш. Гринберг «Вступление Болгарии в войну», Д. С. Густинчич «Балканский союз и Россия», Р. К. Караколов «Октябрьская революция и Болгария» Д. С. Густинчич «Италья-

янского-югославская граница». Было проведено заседание, посвященное годовщине нападения гитлеровцев на Югославию. Примечательно также, что несколько докладов посвящалось методологическим и историографическим проблемам. З. Р. Неedly прочитал доклад «Задачи советского славяноведения», Б. Т. Горянов «Русское византиноведение»⁴⁷. Отметим, что тематика докладов 1944 г. по сравнению с предыдущим заметно расширилась. Больше внимание стало уделяться проблемам национального возрождения славян, их национально-освободительным движениям, истории славянских народов XX столетия.

В первом полугодии 1945 г. на заседаниях Сектора славяноведения было прочитано 14 докладов. В отчете указывалось, что «Сектор придает огромное значение научным докладам, поскольку они отражают научное лицо Сектора и показывают способности его сотрудников к научно-исследовательской работе»⁴⁸. Тематический диапазон докладов по-прежнему был довольно широк. К периоду раннего средневековья относились доклады В. Д. Королюка «Русско-польские отношения в X веке», Г. Э. Санчука «Феодалное землевладение в Сербии (Законник Стефана Душана)» и Н. А. Нарцова «Источники молдавской истории». Наибольшее число докладов по-прежнему касалось истории XIX в. В. И. Пичета прочитал доклад «Россия и польский вопрос (1799–1807)», «Россия, Франция и польский вопрос (1777–1812)», и «Австрия и польское восстание 1830–1831 гг» З. Р. Неedly — «Чехия в 1848 г.», М. В. Миско — «Восстание 1863 г.», В. Д. Королюк — «Борьба за власть в восстании 1863 г.», Н. Д. Ратнер — «Борьба Австрии и Чехии в 60-х годах XIX ст.», А. К. Целовальникова — «Политические взгляды Голяховского». По истории XX в. прочитали доклады: С. Ш. Гринберг «Попытка держав Антанты втянуть Болгарию в войну» и «Вступление Болгарии в Первую мировую войну»⁴⁹. Историографическим проблемам посвящен доклад Пичеты «Академия наук и славяноведение», опубликованный в Вестнике Академии наук и журнале «Славяне»⁵⁰, а также «Академия наук и византиноведение в советское время»⁵¹. Доклады были прочтены на Юбилейной научной сессии по случаю широко отмечаемого в СССР в июне 1945 г. 220-летия со дня основания Академии наук с приглашением иностранных ученых. Впервые было позволено положительно писать о достижениях дореволюционной академической науки, в том числе, и в области славяноведения и византиноведения. Положительным моментом было и общение с иностранными коллегами, прежде всего из славянских стран⁵².

Встречи с зарубежными славистами составили важное событие в жизни Сектора. 30 июня 1945 г. высоких гостей принимал Институт

истории и Сектор славяноведения. На заседании присутствовали президенты Сербской (А. Белич), Словенской (Ф. Кидрич), Болгарской (Д. Михалчев), Польской (С. Кутшеба) Академий наук, ректоры Пражского (И. Горак), Варшавского (Т. Котарбинский), Краковского (Т. Лер-Сплавинский), Братиславского (Д. Рапант) университетов, а также известный французский историк К. Брок, президент Славянского института Парижского университета А. Мазон, министр народного просвещения ЧСР З. Нееды и др. Советскую сторону представляли кроме рядовых сотрудников института академики В. П. Волгин и Б. Д. Греков, члены-корреспонденты В. И. Пичета, С. В. Бахрушин, А. Д. Удальцов, С. К. Богоявленский, А. М. Панкратова, профессора М. Н. Тихомиров, С. П. Толстов и др. Помимо прочего здесь впервые был публично оглашен академиком В. П. Волгиным проект организации в СССР Института славяноведения АН СССР для комплексного изучения славянских стран и народов. В развитие этой идеи И. Горак предложил создать «Союз славянских академий», а Б. Д. Греков подчеркнул важность продолжения работы над «Славянской энциклопедией», начатой В. Ягичем до революции⁵³. Все эти проекты получили единодушное одобрение участников заседания.

Возвращаясь к делам Сектора, отметим, что В. И. Пичета намечал также провести здесь в первой половине 1945 г. две научные сессии. На первой из них «Славянские народы и Энгельс», в которой должны были участвовать Королюк, Кондратьева, Миско, Целовальникова, Ратнер, Грекул, Санчук, предусматривалось обсудить некоторые некорректные высказывания Ф. Энгельса по славянскому вопросу. Вторую предполагалось посвятить теме «Русско-польские отношения в освещении С. М. Соловьева», где в докладах Пичеты, Санчука, Миско, Королюка было намечено объективно представить позицию дореволюционного историка по польскому вопросу XVIII — начала XIX вв.⁵⁴. В известных нам отчетах Сектора не сохранилось упоминания, что эти действительно конференции состоялись. Но отдельные доклады были все же прочитаны на заседаниях Сектора. Так, судя по описи несохранившихся дел Сектора славяноведения (1940–1946), некогда хранившихся в Институте славяноведения, 8 декабря 1945 г. В. Н. Кондратьева прочитала доклад «Энгельс и южные славяне», а 22 декабря эту тему продолжили Ф. А. Грекул в докладе «Маркс–Энгельс о Молдавии», В. Д. Королюк в докладе — «Фридрих Энгельс о Польше до конца XVIII века», М. В. Миско в докладе — «Энгельс о польском вопросе в XIX в.». По теме второй научной сессии зафиксирован только один доклад М. В. Миско «С. М. Соловьев и русско-польские отношения в период разделов Польши», состоявшийся 5 января 1946 г.

И дружеские встречи в Академии наук, и названные доклады могли состояться потому, что Великая Отечественная война внесла некоторые идеологические коррективы в подходе к историческим явлениям. Понимая, что подъем массового патриотизма — один из залогов грядущей победы, партийное руководство не препятствовало выходу работ, где был ослаблен классовый подход в интерпретации исторических явлений в пользу их национальной составляющей. Стало возможно не отрещиваться, а находить нечто положительное в истории дореволюционной России и ее научном наследии. Более того, в 1944 г., после ряда публикаций в печати⁵⁵, особенно поощрялось возвеличивание роли русского народа в истории России и СССР. В этом плане показательным совещание историков в ЦК ВКП(б) в мае-июне 1944 г., созванное по инициативе А. М. Панкратовой, подспудно стремившейся разобраться в том, почему она не получила Сталинскую премию за выполненный под ее руководством капитальный труд «История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней» (Алма-Ата, 1943), но прикрывшей свои намерения идейными соображениями. Историк считала, что этот труд, в духе разоблаченного еще до войны М. Н. Покровского, обличающий колониальную политику русского царизма и положительно оценивающий лидеров национального движения, выступающих против России, выполнен по канонам истинного марксизма-ленинизма. И потому обратилась за содействием к лидерам партии, обращая их внимание, что «среди работников идеологического фронта появились тенденции, с которыми никак нельзя согласиться, ибо в основе их лежит полный отказ от марксизма-ленинизма и протаскивание под флагом патриотизма самых реакционных и отсталых теорий, уступок всякого рода кадетским и еще более устарелым и реакционным представлениям и оценкам в области истории, отказ от классового подхода в области истории»⁵⁶. А. М. Панкратова, видимо, рассчитывала, что ее позиция получит одобрение в ЦК ВКП(б) и справедливость в отношении ее работы будет восстановлена. Но случилось иначе. Присутствующие на совещании партийные лидеры А. С. Щербаков, А. А. Андреев, Г. М. Маленков и др. позволили историкам развернуть оживленную дискуссию и высказывать мнения как в поддержку Панкратовой (М. В. Нечкина, Н. С. Державин, А. Л. Сидоров, И. И. Минц, А. В. Ефимов, Е. Н. Городецкий и др.), так и против нее (Е. В. Тарле, С. К. Бушуев, Х. Г. Аджемян, С. В. Бахрушин, Н. Л. Рубинштейн, В. И. Пичета, Б. Д. Греков, А. И. Яковлев и др.), но сами устранились от каких-либо комментариев и указаний. Надлежащих оргвыводов, на которые рассчитывала Панкратова, также не последовало. По-видимому, они получили инструкции от И. В. Сталина не вмешиваться в

дискуссию, которая должна была выявить спектр имеющихся по проблеме российского колониализма мнений с учетом для будущего. (И действительно эта дискуссия по-своему аукнулась в период разворачивания кампании по борьбе с космополитизмом.) Для нас важно, что в этой дискуссии В. И. Пичета и Б. Д. Греков, с одной стороны, и Н. С. Державин, с другой — оказались, что называется, по разную сторону баррикад.

В. И. Пичета, в частности, поставил на обсуждение вопрос о необходимости пересмотра оценки роли западников и славянофилов в советской историографии. «Он заявил, — писала Панкратова, — что нельзя считать славянофилов реакционерами, а западников прогрессивным течением, что были различные течения среди них». В тенденциозной интерпретации Панкратовой, «когда он стал конкретизировать их теории, то у него получились западники реакционным, а славянофилы прогрессивным течением, так как западники недооценивали народ, переоценивали государство, а славянофилы боролись с гегельянскими теориями»⁵⁷. В. И. Пичета также пытался «пересмотреть характер восточных войн, которые он объявляет прогрессивными, т. к. они способствовали освобождению Сербии, Болгарии от турок». Кроме того, «он остановился также на взаимных влияниях славянства на запад и обратно и на роли Киевского государства как общей основы русского, белорусского и украинского народа»⁵⁸. Интересно также мнение В. И. Пичеты о польском вопросе в XIX в. и о характере восстаний 1830 и 1863 гг., приведенное Панкратовой: «Поляки требовали границ 1772 г., т. е. присоединения Литвы, Украины и Белоруссии. Говорят, что требования демократов и аристократов в этих восстаниях были различны. Это верно, но в данном случае было единство их точек зрения. Говорят, что лучшие русские люди, в том числе Герцен, сочувствовали польскому восстанию. Но, анализируя переговоры Герцена с польским революционером Жондом, мы видим, что Герцен требовал, для всех неполяков национально-культурной автономии. В 1943 г. вышел очередной том «Литературного наследия», в котором мы находим письмо Герцена к Огареву, в котором он пишет, что, если поляки не пойдут на эти требования, то мы мешать их восстанию не будем, но и поддерживать его не будем»⁵⁹. Как видим, мнения В. И. Пичеты, высказанные в далеком 1944 г., представляются более чем актуальными, а тогда вызвали негодование сторонницы сугубо классового подхода А. М. Панкратовой: «Выступление Пичеты было несколько сумбурно и внутренне противоречиво, а главное, в нем не было четкой классовой марксистской позиции. Все время говорится о славянстве вообще, без малейшей попытки конкретно показать это движение и в классовом, а не только в

национальном разрезе»⁶⁰. В то же время и Б. Д. Греков, отвечая на критику Е. Н. Городецкого, что он «перенес единство Советского государства и советского народа на всю историю», а это «антиисторично», заявил, что «Городецкий не убедил его, и он продолжает думать, что государство и народ нельзя противопоставлять. Народ без государства — это хаос. Карамзин и другие историки этот факт справедливо подчеркивали». Возражая Городецкому, он также выразил новый подход к норманнской теории, дружно и однозначно осуждаемой тогда советскими историками: «Бороться с варяжским вопросом нужно, но нельзя искажать факты. Северная Русь была связана со Скандинавией, — надо этот факт объяснить, а не зачеркивать. Мы давно показали, что до варягов славяне имели свои государственные образования и этим самым опровергли норманнские теории о происхождении государства от варягов-норманнов»⁶¹. Наконец, Греков выразил совсем крамольное с точки зрения сторонников классового подхода к истории мнение: «Наше спасение в единстве. Это единство всегда спасало русский народ. Кто стремится отклониться от этого единства, тот гибнет. В борьбе за единство русскому народу принадлежало первое место. Первая строфа гимна о том, что Великая Русь «навек сплотила наши народы», говорит об объединяющей роли русского народа. Чтобы ее понять, надо конкретно исследовать, когда и как вошли народы нашей страны в состав России, что заставило их вместе бороться. Надо сказать правду и том, как строилось наше государство, какие переживало этапы, какое положение занимало в истории»⁶².

Как никогда актуально звучит призыв Грекова к историкам: «В частности, надо показать и роль Киевского государства как общей государственной колыбели русских и украинцев. Даже Грушевский, враждебно относившийся к Москве, не отрывал Украину от Руси. Родство русского, украинского и белорусского народов надо показать конкретно»⁶³.

Напротив, в лице Н. С. Державина А. М. Панкратова нашла горячего защитника своей классовой позиции. Советский академик призывал различать интересы народа и русского царизма. Он подчеркнул, что «борьбу народов против аннексионистской колонизаторской политики царизма передовые люди всегда приветствовали. Они солидаризировались с национальным движением, а не с царизмом, который подавлял это движение. Поэтому он, Державин, как русский человек не может согласиться с Яковлевым и другими, которые упрекают прекрасную книгу «История Казахской ССР» и объявляют ее антирусской только потому, что в ней отрицательно обрисована колонизаторская политика царизма и положительно — национальные восстания. Иначе и не должно быть. Советский патриотизм

нельзя смешивать с патриотизмом Союза русского народа»⁶⁴. В то же время есть свои резоны в утверждении Державина: «Нельзя также по-одному оценивать борьбу за свободу славянских народов, которые угнетались австро-венгерской или германской монархией, и по-другому относиться к борьбе за свободу и независимость народов царской России. Это и исторически неверно, и политически нельзя оправдать ни с какой стороны»⁶⁵.

Подводя свои итоги дискуссии, А. М. Панкратова разделила своих противников на три категории. Е. В. Тарле и его прямых сторонников она обвинила в фактической реставрации основ «дворянско-буржуазной историографии», не исключавшей политического умысла. Грекова и Пичету она отнесла к числу тех «заслуженных, честных и искренних историков», которые «все же показали себя еще не вполне овладевшими марксизмом в истории... Их ошибки скорее проистекают от «чувства» (они хорошие патриоты) и недостатка знаний в области теории». Наконец, третью категорию, по ее мнению, составляли беспринципные «конъюнктурщики», постоянно ожидающие «новых установок» и потому работающие «на два фронта»⁶⁶.

Представляется, что дискуссия показала «разброд и шатания» в стане советских историков в момент исторического перепутья в конце войны, когда партийные власти еще окончательно не утвердились в выработке нового послевоенного курса. Жесткий классовый подход мог бы отпугнуть союзников и не соответствовал нуждам патриотической пропаганды, но и полный отказ от него противоречил бы принципам системы. Поэтому допускалась тонкая балансировка между классовым и национальным подходами к анализу исторических явлений.

Такое положение отразилось и в подготовке перспективного плана исторических исследований.

Незадолго до окончания Великой Отечественной войны в главном печатном органе советской исторической науки — «Историческом журнале» было опубликовано изложение доклада вице-президента АН СССР, академика В. П. Волгина «О перспективном плане в области исторической науки», прочитанного им в президиуме АН СССР в связи с обсуждением перспективных планов работы в области исторических наук. Доклад содержал новые директивы партийного руководства для ориентации советских историков в послевоенный период. Здесь, в частности, говорилось: «При составлении перспективного плана работ в области истории на ближайшие годы необходимо учитывать ту общую историческую обстановку, в которой эта работа будет протекать. Разгром фашизма поведет: 1) к колоссальному усилению всемирно-исторической роли СССР как ре-

шающей силы в борьбе с фашизмом, 2) к ясному осознанию морально-политического и военного превосходства стран демократических над странами фашистскими. Во всем мире резко возрастает интерес к СССР, к истории русского народа и других народов Советского Союза, к истории развития демократических идей и учреждений, к международным отношениям, в частности, к истории отношений между странами, участвующими в антифашистской коалиции, к истории войн и военного дела. К голосу советской науки в зарубежных странах будут прислушиваться больше, чем когда бы то ни было»⁶⁷. Примечательно, в данной установке СССР не противопоставлялся другим странам антифашистской коалиции как страна, принадлежащая к демократическому лагерю. Но вопрос о превосходстве марксизма над другими методологиями не мог быть упущен руководящими идеологией органами. Поэтому В. П. Волгин должен был подчеркнуть: «С другой стороны, в зарубежной исторической науке — как реакция на рост влияния СССР — могут вновь оживиться антимарксистские тенденции и группировки. Известно, что в предвоенные годы многие проблемы потому только и выдвигались в западноевропейской и американской исторической науке, что их разрешение, по мнению соответствующих кругов, должно было нанести удар марксистскому пониманию истории. Не надо также преуменьшать значение фашистских и профашистских фальсификаторских тенденций в исторической науке. Эти тенденции могут кое-где сохраниться и после разгрома фашизма, если против них не будет вестись настойчивой борьбы, в которой советской науке также должна принадлежать ведущая роль. Таким образом, перед нашей исторической наукой стоят задачи исключительной ответственности. Между тем в ряде отраслей исследования советская историческая наука при всем своем методологическом превосходстве значительно отстает по количеству работ, по публикации материалов и т. д. Ряд проблем недостаточно разработан с точки зрения марксизма-ленинизма»⁶⁸.

В перспективном плане специально выделялся круг проблем, касающихся исторического славяноведения:

«В области истории славянских народов. Связанный с Великой Отечественной войной подъем интереса к жизни и истории славянских народов требует выделения проблем славяноведения в особую группу. Русское славяноведение в прошлом имело немало заслуг, русские слависты разрешили много важных проблем во всех областях славяноведения. Однако наше старое славяноведение имело также ряд недостатков методологического и политического характера. Советское славяноведение, несмотря на наличие отдельных выдающихся исследователей и исследований, несомненно, отстает от

предъявляемых ему жизнью требований. Настоятельно необходимо объединение всех сил славистов, привлечение ряда молодых работников, восстановление и укрепление связей с зарубежными славяноведами. Задача советских славистов — использовав все наследие старого славяноведения, поднять историю славянских народов на новую высоту, осветив ее светом марксистско-ленинской исторической теории»⁶⁹.

Далее был представлен подробный перечень актуальных проблем во всех областях исторической науки. Эта часть доклада, несомненно, была составлена не без участия Н. С. Державина, так большинство указанных тем рассматривалось в виде докладов на руководимой им Славянской комиссии АН СССР⁷⁰, но еще более вероятно, как увидим далее, — и академика Б. Д. Грекова. Здесь, в частности, указывалось: «Среди проблем, выдвигаемых здесь, помимо проблемы „Этногенез славянских народов“ отметим:

I. „Проблема происхождения и развития государства и права у славянских народов“. Несмотря на то что над этой проблемой немало работали, в этой области до сих пор еще весьма широко распространены совершенно ненаучные настроения. Необходимо пересмотреть и критически провести широкие исследовательские работы.

II. „История борьбы славянских народов за свою свободу“. В этой области накоплен большой материал, требующий критического пересмотра в свете событий Великой Отечественной войны. Здесь немало популярных работ, но нам нужно сейчас переходить к углубленным исследованиям.

III. „Культурная общность славянских народов“. Исследование этой проблемы на основе изучения вещевых памятников, языка, фольклора и т. д. составляет актуальную задачу нашего, как и зарубежного славяноведения.

IV. „Русско-славянские отношения“. Эта проблема требует сил историков различных специальностей. Должно исследовать политические, экономические и культурные связи России с западными и южными славянами на различных ступенях исторического развития — с особым вниманием к новому времени (XIX в.)»⁷¹.

В 1945 г. в Секторе был разработан новый план научно-исследовательских работ. При его составлении В. И. Пичета «руководился теми общими соображениями, которые были намечены в общеинститутском плане, рассмотренном в Отделении истории и философии»⁷². Заметим, однако, что руководитель Сектора славяноведения не стал принимать к разработке в своем научном подразделении всех актуальных в тогдашнем понимании проблем, стоящих перед историческим славяноведением, а прежде всего тех, которыми в той или

иной степени занимался сам. Отметим, что ни в одном из рассмотренных планов Сектора не была представлена тема «этногенез славянских народов». Она активно разрабатывалась специалистами других подразделений Академии наук, а из номинальных членов Сектора только Н. С. Державиным. Точно так же он не акцентировал проблему «Культурная общность славянских народов» и пр. В. И. Пичетой было выделено на ближайшую перспективу три главные исследовательские проблемы: история образования славянских государств, история национально-освободительных движений в славянских странах и история дореволюционного славяноведения⁷³. Первая тема должна была продолжить исследования истории возникновения древнерусского государства, начатое директором Института истории Б. Д. Грековым, и завершить, наконец, многолетние разработки Сектора, вторая, сравнительно новая — пересмотреть позиции буржуазной историографии относительно целей и задач, классового состава национально-освободительных движений славянских народов, третья — попытаться частично реабилитировать дореволюционное славяноведение, освободить его от навешанных на него в 30-е гг. ярлыков. Последнее направление было выделено В. И. Пичетой самостоятельно, в дополнение к указанным выше темам. В то же время В. И. Пичета несомненно думал о разработке советскими учеными-славистами вопросов приоритетных для марксистской историографии, которые игнорировались европейской «буржуазной» наукой. «К ним относятся: а) история крестьянства; б) история средневекового города; в) история развития производительных сил; г) развитие капитализма; д) формирование рабочего класса и революционное движение»⁷⁴. Таким образом, в далеком 1945 г. впервые были сформулированы проблемы, которые разрабатывало затем не одно поколение советских историков-славистов вплоть до 1991 г.

Первыми «ласточками» этого плана стало несколько работ.

В. И. Пичета намечал закончить третью часть своей «Истории Польши», охватывающей период со второй половины XIX в. до наших дней. Эту работу объемом в 18–20 л. он намеревался написать в соавторстве с уехавшей в Польшу Ж. М. Корман. Актуальность темы он объяснял отсутствием работ по данной тематике в СССР и наличием в польской историографии только двух работ на эту тему: профессора М. Бобжинского, касавшегося образования Польской республики в 1918 г. (1922), и П. Галецкого, в которой представлена история Польши до 1939 г. Эти работы, по мнению Пичеты, «проникнуты идеологией пилсудчикства, враждебного к Советскому Союзу. Оба автора останавливают свое внимание на внутренних и внешних политических факторах, не касаясь развития капиталистических отно-

шений, истории рабочего класса и крестьянства, рабочего и аграрного движения, революционного движения и т. д.»⁷⁵. Восполнить этот пробел с точки зрения марксистской историографии и намеревались названные авторы. Ж. М. Корман должна была написать главы о развитии капитализма и образования рабочего класса и рабочего движения, используя свою большую подготовительную работу, проведенную в СССР. Замысел этой большой работы остался нереализованным⁷⁶. До отъезда в Польшу, она успела представить на Ученый совет свою кандидатскую диссертацию «Иоахим Лелевель, его жизнь, общественная деятельность и научное наследие».

Историю сербского феодализма, его генезис и дальнейшее развитие в XIII в., используя «Законник Стефана Душана», намеревался монографически разработать Б. Т. Горянов. Объем работы — 6–8 п. л. Работа также в свет не вышла.

Д. С. Густинчичу до отъезда на родину была поручена тема «Балканские войны 1912–1913 гг.». Пичета характеризовал эту тему как «важнейший момент в истории политико-экономического развития балканских славян» и обосновывал ее важность тем, что «в советской науке они всесторонне не изучены: не были привлечены фонды бывшего МИД, архив посла Гартвига, русская журналистика. К вопросу оценки балканских войн не раз возвращался В. И. Ленин. Без балканских войн не может быть изучена роль славянских народов в Первой мировой войне»⁷⁷. К сожалению, эта «первостепенной важности» работа не была выполнена.

История сербского национально-политического движения после заключения Парижского мира 1856 г. и до половины 70-х гг. XIX в. стала темой исследовательской работы В. Н. Кондратьевой. Работа не была опубликована.

Историю Чехии в XIX в. с марксистских позиций предполагал написать З. Р. Неедлы. Работа не была реализована в виду его отъезда из СССР. Частично эта тема была раскрыта в коллективной популярной работе «История Чехии», вышедшей в 1947 г. под редакцией В. И. Пичеты. Позднее З. Неедлы опубликовал на русском языке книгу «История чешского народа. Т. 1. Чехия в древнейшие времена» (М., 1952), которую можно рассматривать как подступы к названной теме.

Полностью завершённой работой можно признать лишь кандидатскую диссертацию С. Ш. Гринберга на тему «Вступление Болгарии в Первую мировую войну», которую он успешно защитил в МГУ в 1945 г.

Деятельность любого научного подразделения оценивается прежде всего по выпуску в свет его научной продукции. В этом отноше-

нии Сектору славяноведения в условиях войны не очень повезло. Из нескольких подготовленных к печати сборников в 1944 г. был опубликован только один — «Вековая борьба западных и южных славян против немецкой агрессии» (под редакцией З. Р. Нееды), подготовленный в начале войны и потом расширенный. В нем приняли участие многие сотрудники Сектора: В. И. Пичета⁷⁸, З. Р. Нееды⁷⁹, Н. П. Грацианский⁸⁰, У. А. Шустер⁸¹, С. Зинич⁸², Р. К. Караколов⁸³ и др. В. И. Пичета так сформулировал основную концепцию сборника: «Авторы наглядно показывают, что возникновение славянских государств — результат внутреннего развития славянских племен на базе возникновения классового общества. Конечно, следует отметить, что борьба с внешними врагами, которую приходилось вести всем славянским народам, ускоряла процесс формирования славянских государств и в то же время содействовала их политическому развитию»⁸⁴. В сборнике с понятным для того времени пафосом доказывалось «извечное» противостояние немецких «агрессоров» и миролюбиво-свободолюбивых славянских народов. «Составители показали, как славянские народы боролись за свою национальную и политическую независимость против немецкой агрессии, стремившейся к порабощению и уничтожению славянских народов»⁸⁵. Н. С. Державин в своей рецензии на сборник выразил эту мысль с присущей ему брутальной образностью, сказав, что «сборник представляет собой полезное, общедоступное пособие для ознакомления с историей борьбы западных и южных славянских народов против наглых немецких захватчиков, присосавшихся, как отвратительный паразит, к славянскому народу и в течение свыше тысячи лет непрерывно отравлявших жизнь славянских народов грабежами, насилиями и разбоем»⁸⁶. В этом же ключе написана популярная брошюра Н. С. Державина «Вековая борьба славян с немецкими захватчиками» (М., 1943) и статьи и брошюры Н. П. Грацианского⁸⁷. Тема образования славянских государств также не была реализована в годы войны. Тогда удалось опубликовать в ее развитие несколько статей, например, З. Р. Нееды «История политического формирования словацкого народа» (Исторический журнал, 1942, № 7). После войны вышла в свет 4-томная «История Болгарии» Н. С. Державина (М.; Л., 1945–1948), научно-популярная «История Чехии» (М., 1947). Наконец, в «Славянском сборнике» (М., 1947) были опубликованы ранее подготовленные очерки об образовании чешского, польского, болгарского, словенского, сербского государств. В. И. Пичета начал работу над историографией южных и западных славян, которая осталась в рукописи.

В первой половине 1946 г. Сектор славяноведения продолжал интенсивно работать согласно разработанным планам. Как закон-

ченные работы Сектора В. И. Пичета характеризовал в отчете за этот год два опубликованных тома «Истории Болгарии» Н. С. Державина (хотя последний работал над ними вне рамок Сектора, но по его первоначальному плану 1939 г.), свою двухтомную «Историю Польши с древнейших времен до восстания 1863 г.», «Историю Сербии» С. К. Богоявленского, «Историю Черногории» Б. Т. Горянова, «Историю Хорватии» Д. С. Густинчича. Реально была опубликована лишь работа Н. С. Державина. По остальным темам были опубликованы в разное время отдельные статьи⁸⁸.

Пятилетний план Сектора на 1946–1950-е гг. предусматривал следующие работы. В. И. Пичета собирался написать третий том «Истории Польши» (1863–1914), «Феодальные поместья в Белоруссии в XV–XVIII вв.», «История города Дубровника в XV–XVI вв.». В. Н. Кондратьевой поручалась разработка проблем Боснии и Герцеговины: «Босния и Герцеговина с 1875 по 1909 г.» и «Русская дипломатия и печать в отношении к аннексии Боснии и Герцеговины». М. В. Миско брал на себя изучение темы «Польское государство в 1918–1939 гг.». Б. Т. Горянов запланировал тему «Византийский поздний феодализм», Б. М. Руколь — «Эпоха чешской реформации», С. Ш. Гринберг «Болгария 1878–1923 гг.», А. К. Целовальникова «Чешское возрождение в первой половине XIX века», В. Д. Королюк «Русско-польские отношения при Петре I», Г. Э. Санчук «Феодальные отношения в Чехии в XIV–XV вв.», И. И. Удальцов «Чехия в период феодализма», И. С. Достян «Внешнее положение Сербии в XIV–XVI вв.», И. С. Миллер «Международное положение Польши в XVII веке», А. А. Никольская «Газета „День“ и славянские проблемы». Намечались к изучению темы: «Польша и международное положение в XVIII в.», «Далматинские города», «Хорватское крестьянство в XV–XVI вв. и восстание крестьян», «Аграрный строй Сербии в средние века», «Рабочий класс и рабочее движение в Болгарии, Сербии, Словении, Чехии, Польше»⁸⁹. Вне плана В. И. Пичета, И. И. Удальцов и Д. С. Густинчич заблаговременно к столетнему юбилею начали разработку вопроса «Славянские народы и революция 1848 года»⁹⁰, широко обсуждаемую затем накануне и в дни столетия этого события.

На заседаниях Сектора, как и прежде, читались разнообразные по тематике доклады, показывающие, что научный арсенал сотрудников Сектора не исчерпывался планируемыми темами, и хронологический диапазон их разработок был велик. Б. Т. Горянов прочел доклад «Феодор Метохит — византийский гуманист». Тема славянского средневековья нашла отражение в докладах С. В. Юшкова «К вопросу о дофеодальном варварском государстве», «К проблеме образования феодального государства», Г. Э. Санчука «Majestas Carolina», Ф. А. Гре-

кула «Феодалные отношения в Молдавии при Стефане Великом», Б. М. Руколь «Взгляды Иеронима Пражского и программа таборитов» и «Письмо Поджио Брачиолини», В. Д. Королюка «Польско-русские отношения 1697–1702 гг.». Проблемы истории нового времени рассматривались в докладах И. С. Достян «Политика России и Франции в славянских странах Адриатического побережья 1806–1813 гг. и образование иллирийских провинций Австрии», В. И. Пичеты «Дипломатия кн. Адама Чарторьжского», «Аграрно-крестьянский вопрос в королевстве Польском 1815–1830», Н. Д. Ратнер «Возникновение венгерско-хорватского соглашения 1868 г.», В. Н. Кондратьевой «Аграрный вопрос в Боснии накануне восстания 1875 г.», И. И. Удальцова «К вопросу о возникновении чешской „национально-свободо-мыслящей партии“». Проблемам межвоенного периода был посвящен доклад С. Ш. Гринберга «Болгария в 1918–1939 гг.» Несколько докладов свидетельствовали о серьезном отношении Сектора к историографическим проблемам. В. И. Пичета прочитал доклады «Христо Ботев и его историко-философские взгляды», «Памяти академика Ст. Кутшебы», А. П. Никольская «Польский вопрос в освещении газеты „День“», М. В. Миско «Русско-польские отношения в период разделов Польши в освещении С. М. Соловьева» и «Концепции историков Бобжинского, Дембовского, Кутшебы по вопросу о воссоздании польского государства»⁹¹.

Работы членов Сектора по проблемам образования славянских государств, русско-славянских связей, наконец, нашли место в «Славянском сборнике», т. 1, который был сдан в печать в 1946-м и опубликован в 1947 г. Об образовании чешского государства там была помещена статья З. Р. Нееды, сербского — Ю. В. Готье, польского — В. И. Пичеты. Г. Э. Санчук написал о государстве Готшалка. Кроме того, здесь опубликованы статья В. И. Пичеты «Юрий Крижанич и отношение его к Русскому государству», С. К. Богоявленский «Политические связи сербов с Русским государством в XVII–XVIII вв.», М. Н. Тихомиров «Культурные связи русского народа с южными славянами», С. А. Никитин «Дипломатические сношения Сербии с Россией в 60-х годах XIX в.». Вне указанной проблематики были опубликованы две статьи по темам кандидатских диссертаций Л. В. Разумовской «Крестьянские повинности в Польше в XIII в.» и Г. Э. Санчука «*Majestas Carolina*».

Пичета указал также, что в Секторе сданы в печать краткие истории Польши и Чехии, готовятся к печати сборник «Югославия» и «Славянский сборник», т. II⁹². Из них вышли в свет только последний сборник и «История Чехии». Одной из причин такого положения, кроме недостаточной настойчивости руководства Сектора, мог-

ла быть катастрофическая нехватка бумаги, большая часть которой шла на нужды агитпропаганды. На что указывалось на упомянутом совещании историков 1944 г.⁹³

Узким местом в работе Сектора славяноведения было, как мы видим, отсутствие своего печатного органа, который мог бы решить жгучую проблему публикации трудов его сотрудников. Об этом, кстати, В. И. Пичета говорил на совещании историков в 1944 г.⁹⁴ Кроме того, Сектор не мог взять на себя решение всех актуальных тогда проблем даже исторической части славяноведения, не говоря уже о его филологической составляющей. В то же время в послевоенный период, когда речь шла о создании блока стран народной демократии, в большинстве своем славянских, славянские проблемы не теряли своего политического характера. Понимая это, руководство Института истории и Сектора активно включились в борьбу за создание специального комплексного Института славяноведения, идею воссоздания которого с начала войны активно вынашивал Н. С. Державин. Залогом будущего института он полагал возглавляемую им с 1942 г. Славянскую комиссию АН СССР, что было официально выражено в постановлении Президиума АН СССР. Однако в 1945 г. в период его командировки в Болгарию и постигшей его продолжительной тяжелой болезни инициатива по созданию института перешла в руки историков. Директор Института истории Б. Д. Греков в апреле 1945 г. представил в ЦК ВКП(б) проект создания специального института как комплексного центра славяноведения в СССР на базе трех академических учреждений: Сектора славяноведения Института истории, Славянской комиссии и Сектора славянских языков Института русского языка. В задачи нового института входило решение тех проблем, которые были обрисованы ранее в «перспективном плане в области исторической науки» 1945 г., а именно «изучение происхождения славянских народов и их исконных связей; возникновение славянских государств и их борьба за свою независимость; внешняя политика славянских государств; история русского славяноведения; культурное развитие западных и южных славян в их взаимоотношениях с русской культурой»⁹⁵, а также ряда литературоведческих и лингвистических проблем. Попытки Н. С. Державина, оправившегося от инсульта, убедить партийное руководство, что именно он должен возглавить новый институт, оказались безуспешными. Его директором был назначен академик Б. Д. Греков, заместителями по истории — академик В. И. Пичета, филологии — академик С. П. Обнорский. Многие сотрудники Сектора славяноведения (среди них: С. Ш. Гринберг, К. И. Козырина, В. Н. Кондратьева, В. Д. Королук, М. В. Миско, Г. Э. Санчук, А. К. Целовальникова и др.) вошли

в состав нового института. Н. С. Державин возглавил в конечном итоге небольшой филиал института в Ленинграде.

Таким образом, Сектор славяноведения Института истории АН СССР внес большую лепту в возрождение отечественного славяноведения накануне и в годы Великой Отечественной войны, подготовил необходимые кадры отечественных славистов. В трудные годы военного лихолетья советские слависты самоотверженно трудились на благо отечественной науки. И хотя их работы были не свободны от идеологического социального заказа своего времени, им удалось заложить прочный фундамент разработки большинства проблем исторического славяноведения, успешно исследуемых в последующие годы.

Примечания

- 1 Подробнее см.: *Робинсон М. А.* Государственная политика в сфере науки и отечественного славяноведения 20-х годов // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. С. 111–134; *Он же.* Судьбы отечественного славяноведения глазами ученого (По письмам Г. А. Ильинского) // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX века. М., 1992. С. 78–90; *Досталя М. Ю.* Е. Ф. Карский в годы «советизации» Академии наук // Известия ОЛЯ. М., 1995, Т. 54. № 3. С. 77–82 и др.
- 2 См.: *Кольцов А. В.* Выборы в Академию наук СССР в 1929 г. // Вопросы истории естествознания и техники. 1990. № 3. С. 53–56; Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. Предисловие. С. V–LXII и др.
- 3 *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.
- 4 Подробнее см.: *Чернобаев А. А.* «Профессор с пикой», или Три жизни историка М. Н. Покровского. М., 1992.
- 5 См. сборники: Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сборник статей. М.; Л., 1939. Ч. 1; Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. Сборник статей. М., 1940. Ч. 2.
- 6 *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из стен Академии» (Н. С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69–81.
- 7 *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000. С. 159.
- 8 Центральный архив общественных движений Москвы (далее — ЦАОДМ). Ф. 211. Оп. 1. Д. 16. Л. 1–2.
- 9 Там же. Л. 70.
- 10 Там же. Л. 64–70.

- 11 *Руколь Б. М.* Зденек Неядлы – историк славянства. Неопубликованная статья 1960-х гг. В архиве автора. С. 2–3.
- 12 Известия. 4 апреля 1939. № 79.
- 13 Известия. 21 апреля 1939. № 93.
- 14 *Санчук Г. Э.* Сектор славяноведения Института истории АН СССР (1939–1947) и становление марксистской историографии по истории зарубежных славян // Великий Октябрь и зарубежные славянские страны. XI Все-союзная научная конференция историков славистов 27–29 января 1988 г. Тезисы докладов и сообщений. Минск, 1988. С. 229–230.
- 15 *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения... С. 159–167.
- 16 *Досталь М. Ю.* Пичета Владимир Иванович (1878–1947) // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 571–580; *Иванов Ю. Ф.* Когда и как был освобожден В. И. Пичета // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 174–175.
- 17 С.-Петербургский филиал Архива РАН (далее – ПФА РАН). Ф. 827. Оп. 3. Д. 66.
- 18 ЦАОДМ. Ф. 211. Оп. 1. Д. 16. Л. 81.
- 19 Там же. Л. 47.
- 20 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 22. Л. 58. Стенограмма заседания Ученого совета Института истории АН СССР от 23 июня 1939 г.
- 21 Там же. Л. 59.
- 22 *Пичета В. И., Шустер У. А.* Славяноведение в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. С. 222–235.
- 23 ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 3. Д. 66. Л. 13.
- 24 Подробнее см.: *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения... С. 160–166.
- 25 См.: *Савич А. А.* Борьба русского народа с польской интервенцией в начале XVII века. М., 1939; *Шустер У. А., Джервис М. В.* Германо-фашистские тенденции в современной польской историографии // Против фашистской фальсификации истории. М., 1939. С. 410–445; *Пичета В. И.* Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1940; *Державин Н. С.* Сборник статей и исследований в области славянской филологии. М.; Л., 1941; *Неядлы З.* К истории славяноведения до XVIII в. // Историк-марксист. 1941. № 2. С. 81–96; *Кабакчиев Х., Караколов Р.* Болгария в первой мировой империалистической войне (1915–1918) // Историк-марксист. 1941. № 5. С. 32–46; *Готье Ю. В.* Балтийский вопрос в XI–XIII в. // Историк-марксист. 1941. № 6. С. 87–96; *Караколов Р.* Болгарский народ в кровавых лапах германского фашизма. М., 1941; *Густинич Д.* Словения под игом Гитлера и Муссолини. М., 1941; *Франич Н.* Сербия в войне 1914–1918 гг. // Исторический журнал. 1941. № 12. С. 55–63 и др.
- 26 АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 53. Л. 114.

- 27 Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет в Москве в годы войны // *Славянский альманах* 1999. М., 2000. С. 175–188.
- 28 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 53. Л. 1.
- 29 Там же. Л. 2.
- 30 Там же. Л. 7.
- 31 *Пичета В., Целовальникова А.* Сектор славяноведения Института истории Академии наук СССР (с 22 июня 1941 г. по 1 июля 1942 г.) // *Исторический журнал*. 1942. № 11. С. 100.
- 32 *Королюк В. Д., Толстой Н. И., Хренов И. А., Шептунов И. М., Шерлаимова С. А.* Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945–1963. V Международный съезд славистов. М., 1963. С. 22.
- 33 *Пичета В., Целовальникова А.* Сектор славяноведения Института истории... С. 100.
- 34 Там же. С. 100–101.
- 35 *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в. // *Славистика СССР и русского зарубежья*... С. 101.
- 36 Там же.
- 37 *Королюк В., Санчук Э.* Работа сектора славяноведения Института истории АН СССР (1943–1944) // *Исторический журнал*. 1944. № 10–11. С. 139.
- 38 *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в. // *Славистика СССР и русского зарубежья*... С. 141.
- 39 Там же. С. 101.
- 40 *Пичета В. И.* История Польши. Т. 2. Автореферат // *Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отделение истории и философии*. М.; Л., 1947. С. 34–35.
- 41 *Санчук Г. Э.* Разработка проблем феодализма в научном семинаре академика В. И. Пичеты // *50 лет славистики в Московском университете*. М., 1989. С. 152.
- 42 *Руколь Б. М. В. И. Пичета* — основатель кафедры южных и западных славян // *Ученики об учителях. Воспоминания об ученых Московского университета*. М., 1990. С. 151.
- 43 *Санчук Г. И., Уткина Л. И.* Чтения, посвященные памяти В. И. Пичеты // *Из истории университетского славяноведения в России*. М., 1983. С. 214–215.
- 44 *Уткина Л. И.* Академик В. И. Пичета — организатор кафедры южных и западных славян в Московском университете // *Вопросы историографии и истории зарубежных славянских народов*. М., 1987. С. 40.
- 45 *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в.... С. 114.

- 46 Там же. С. 102–103.
- 47 Там же. С. 112–113.
- 48 Там же. С. 123.
- 49 Там же. С. 123–124.
- 50 См.: Пичета В. И. Академия наук и славяноведение // Вестник Академии наук. 1945. № 5–6. С. 157–175; Он же. Академия наук и славяноведение. Славяне. 1945. № 7. С. 10–19.
- 51 Пичета В. И. Академия наук и византиноведение в советское время // Вестник Академии наук. 1945. № 5–6. С. 189–194.
- 52 Отделение истории и философии. В институтах отделения // Вестник Академии наук. 1945. № 7–8. С. 124–125.
- 53 В Отделении истории и философии АН СССР // Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. 1945. № 4. С. 295–296.
- 54 Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в. ... С. 125–126.
- 55 Подробнее см.: Досталь М. Ю. «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет в годы войны... С. 175–188; Дубровский А. М. «Весь славянский мир должен объединиться»: идея славянского единства в идеологии ВКП(б) в 1930–1940-х гг. // Проблемы славяноведения. Брянск. Вып. 1. С. 195–209.
- 56 Цит. по: Письма Анны Михайловны Панкратовой (Публикация Ю. Ф. Иванова) // Вопросы истории. 1988. № 11. С. 55.
- 57 Там же. С. 63.
- 58 Там же.
- 59 Там же. С. 64. Пичета упомянул 41–42 тт. «Литературного наследства» (М., 1941), в котором была опубликована переписка русских революционных эмигрантов.
- 60 Там же.
- 61 Там же. С. 69–70.
- 62 Там же. С. 70.
- 63 Там же.
- 64 Там же. С. 76.
- 65 Там же.
- 66 Там же. С. 70.
- 67 О перспективном плане в области исторической науки // Исторический журнал. 1945. № 3. С. 68.
- 68 Там же.
- 69 Там же. С. 73.
- 70 Подробнее см. Досталь М. Ю. Славянская комиссия Академии наук СССР (1842–1946) // Славянский альманах 1996. М., 1997. С. 105–129.

- 71 О перспективном плане в области исторической науки... С. 73.
- 72 *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в. ... С. 120.
- 73 Там же.
- 74 Там же.
- 75 Там же. С. 120–121.
- 76 Позднее Ж. Корман опубликовала в СССР часть планируемой работы: *Корманова Ж.* Революция 1905–1907 гг. на польских землях. (Попытка обобщения исторического хода революции) // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1956. Вып. 20. С. 13–24.
- 77 *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в. ... С. 121.
- 78 *Пичета В. И.* Русский народ в борьбе с германской агрессией и освободительное движение западных и южных славян // Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. М., 1944. С. 6–31; *Он же.* Борьба западных славян против германской агрессии до начала X в. // Там же. С. 42–48; *Он же.* Борьба Чехии и Польши против германской агрессии: (X–XII вв.) // Там же. С. 60–67; Наступление Австрии и Пруссии на славянские народы в XVI–XVIII вв. // Там же. С. 80–94.
- 79 *Неедлы З.* Государство Само // Там же. С. 42–43; *Он же.* Национальное движение славян в XIX в. // Там же. С. 94–107; *Он же.* Борьба славянских народов за национальную независимость в Первую мировую войну 1914–1918 гг. // Там же. С. 107–119; *Он же.* Гитлеризм – злейший враг славянства // Там же. С. 119–126; *Он же.* Чехословакия [1938–1944] // Там же. С. 127–150.
- 80 *Грацианский Н. П.* Новое наступление немецких захватчиков на славянские государства с XIII по XV в. // Там же. С. 67–80; *Он же.* Полабские славяне в борьбе с немецкой агрессией в средние века // Там же. С. 48–60.
- 81 *Шустер У. А.* Польша под властью германских оккупантов // Там же. С. 150–179.
- 82 *Зинич С.* Борьба народов Югославии против германских и итальянских оккупантов // Там же. С. 180–198.
- 83 *Караколов Р. К.* Болгария (1938–1944) // Там же. С. 198–222.
- 84 *Пичета В. И.* Академия наук и славяноведение... С. 175.
- 85 *Пичета В. И.* Сектор славяноведения Института истории АН СССР // Вопросы истории. М., 1946. № 10. С. 153.
- 86 *Державин Н. С.* рец. на кн.: Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. Сборник статей, под редакцией проф. З. Р. Неедлы. М., 1944 // Исторический журнал. 1944. № 2. С. 82.
- 87 *Грацианский Н. П.* Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в средние века. М., 1943; *Он же.* Заэльбские славяне и борьба с немецкой агрессией в X–XII вв. // Исторический журнал. 1942. № 8.

- С. 37–42; *Он же*. Славянское царство Само. (К критике известий «Хроники Фредегара») // Исторический журнал. 1943. № 5–6. С. 41–47; *Он же*. Полабские славяне в борьбе с немецкой агрессией в средние века // Вековая борьба западных и южных славян против немецкой агрессии. М., 1944. С. 48–60; *Он же*. Карл Великий и славяне // Исторический журнал. 1945. № 3. С. 21–27; *Он же*. Крестовый поход 1147 г. против славян и его результаты // Вопросы истории. 1946. № 2–3. С. 91–105 и др.
- 88 См.: *Богоявленский С. К.* Из русско-сербских отношений при Петре Первом // Вопросы истории. М., 1946. № 8–9. С. 19–41; *Он же*. Связи между русскими и сербами в XVII–XVIII вв. // Славянский сборник. М., 1947. С. 241–261; *Горянов Б. Т.* Черногория. Стенограмма публичной лекции. М., 1945. 22 с. и др.
- 89 *Пичета В. И.* Сектор славяноведения Института истории Академии наук СССР... С. 153.
- 90 Там же.
- 91 Там же. С. 153–154.
- 92 Там же. С. 154.
- 93 Письма Анны Михайловны Панкратовой (Публикация Ю. Ф. Иванова)... С. 72.
- 94 Там же. С. 64.
- 95 Цит. по.: *Досталь М. Ю.* Институт славяноведения и балканистики РАН (К 50-летию его создания) // Славистичні студії. Т. 1. Матеріали V-го Міжнародного славистичного колоквиуму (Львів 14–16 травня 1996 р.) Львів, 1997. С. 24. Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Неизвестные документы по истории создания Института славяноведения АН СССР // Славяноведение. 1996. № 6. С. 13.

А. А. Плотникова
(Москва)

Славянские культурные диалекты в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» *

О понятии культурного диалекта — аналоге диалекта языка — неоднократно писал в своих работах основоположник московской этнолингвистической школы акад. Н. И. Толстой. По мысли ученого, «...вся народная культура диалектна, ...все ее явления и формы функционируют в виде вариантов, территориальных и внутридиалектных вариантов с неравной степенью различия» (Толстой 1996: 20). Новый подход к изучению славянской лингвогеографии базируется на идее о том, что «диалект (равно как и макро- микродиалект) представляет собой не исключительно лингвистическую территориальную единицу, а одновременно и этнографическую, и культурологическую, если народную духовную культуру выделять из этнографических рамок» (Толстой 1996: 21). Идея славянских культурных диалектов связана с возможностью изучения фактов традиционной народной духовной культуры лингвистическими и, в более широком смысле, семиотическими методами. Это значит, что явления традиционной народной духовной культуры рассматриваются как определенная система знаков, свидетельствующих о скрытой сути культурных смыслов, в результате чего возможно выявление исконного содержания славянских народных представлений и их древних, архаических компонентов. Задача создаваемого в Отделе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН этнолингвистического словаря «Славянские древности» (далее — ЭССД) (на сегодняшний день вышло два тома, третий находится в печати) — «не просто собрать воедино и истолковать эти реликты прошлого, но по возможности воссоздать на их основе целостную традиционную „картину

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ. Проект № 02-04-00067а.

мира“, мировоззрение древних славян, их космологические, мифологические, естественные представления и верования, выявить содержательные категории средневековой славянской народной культуры, отраженные в ней ментальные, моральные, социальные стереотипы и ценности, ее символическую систему» (ЭССД 1: 5).

Изучение феноменов культуры лингвистическими методами дает возможность представить их в виде определенного набора признаков, характерных для того или иного славянского региона, края или более крупного ареального образования. Этнолингвистический словарь, как известно, отражает тот этап в изучении славянских древностей, когда возникло осознание «морфологии» и структуры обрядовых, магических и иных форм народной культуры, разложимости сложных культурных образований на простые элементы, осознание регулярной повторяемости этих элементов или целых их блоков в разных фрагментах такой сложно организованной области, как духовная культура — обычаи, обряды, верования, мифология. При таком парадигматическом подходе в словаре выделяется инвентарь основных значимых элементов языка культуры, затем устанавливаются области функционирования каждого элемента в том или ином обряде, тексте, веровании; определяется его семантика и символика. Соответственно словарные статьи могут строиться либо по функциональным, либо по семантическим признакам. Так, например, статья ВЫКУП (ЭССД 1: 475–477) построена по функциональным особенностям: в преамбуле к статье дается основное значение концепта «выкупа», указываются его связи с другими типами ритуально-магических отношений (дар, жертвоприношение, купля-продажа, обмен, угощение и пр.), а в основной части статьи указываются все возможные сферы функционирования концепта, т. е. его место и роль в родинном, свадебном, погребальном, календарных, сельскохозяйственном и других обрядах и магических практиках. Другой, семантический, принцип принят, например, в статье ДВОР (ЭССД 2: 31–33): после краткого определения в статье следуют рубрики, связанные с основной семантикой описываемой мифологемы: «двор» как объект охранительных ритуалов и вытекающие отсюда запреты выносить, передавать что-либо со двора; «двор» как символ благополучия дома и хозяйства; значение центра, середины двора; «двор» как «чужое», опасное пространство, находящееся вне стен дома; «двор» в роли медиатора между «своим» и «чужим» пространством.

Высокая степень разложимости фрагментов традиционной народной культуры на составляющие ее компоненты предполагает, что каждый из них соответственно снабжается географической пометой, при этом особо отмечаются явления, общие для ряда близких или

удаленных славянских культурных традиций. Большое значение в словаре придается вербальной стороне явлений — лексическим, фразеологическим, паремиологическим данным, которые также определяются с точки зрения географии. В Предисловии к словарю говорится, что ареальная характеристика — необходимое сопровождение толкуемых явлений, «ибо их адекватная интерпретация может быть дана только с учетом всех территориальных разновидностей каждого элемента или фрагмента культуры в пределах славянского мира и их внеславянских связей» (ЭССД 1: 9).

Таким образом, проблема славянских культурных диалектов в словаре решается как на уровне предварительных данных, свидетельствующих об архаических ареальных схождениях и параллелях (1), так и в плане определения явлений, свойственных одному непрерывному, очерченному в языковом отношении ареалу, а также нескольким зонам, образующим крупный ареал на стыке нескольких культурно-языковых традиций (2).

1

Архаические схождения и параллели прослеживаются на всех рассматриваемых в словаре уровнях: акциональном, предметном, вербальном, а также на семантическом и символическом. Любопытным оказывается тот факт, что ряд схождений обнаруживается при анализе структуры текстов — описаний значимых компонентов традиционной народной духовной культуры. По своей прагматике эти тексты могут определяться как предписания, запреты, мотивировки тех или иных магических или ритуальных действий, гадания, приметы и т. д. Наблюдаемые структурные и семантические текстуальные, фразеологические, паремиологические аналогии фиксируются в зонах, достаточно удаленных друг от друга географически, что может служить одним из свидетельств архаичности рассматриваемого явления.

Полесско-восточносербские (и, шире — полесско-восточносербско-западноболгарские, полесско-южнославянские) этнолингвистические параллели приводятся Н. И. и С. М. Толстыми во вступительной статье к «Полесскому этнолингвистическому сборнику» (ПЭС: 10–11); их список в лексикографической интерпретации в десятки раз увеличивает материал статей ЭССД. В качестве примера приведем данные статьи ПЕРЕКРЕСТОК из третьего тома ЭССД (в печати). Перекресток в традиционной народной духовной культуре всех славян считается местом опасным, «нечистым», демоническим. На перекрестке осуществляется целый ряд магических действий, связанных с предполагаемой возможностью контакта с нечистой силой

(гадания, наведение порчи и болезни, обращение к демонологическим персонажам за помощью и др.), как и выпроваживание, изгнание нежелательных объектов и явлений (болезней, насекомых, предметов порчи) на «тот свет», и пр. В отдельных случаях связанная с перекрестком семантика 'скрещивания' (закручивания, верчения), наоборот, реализуется как позитивно воздействующая на плодоношение, «вод», завязь. Дополнительной мотивацией выступает значение множества людей или животных, проходящих через перекресток, что отмечается в текстах, записанных как в Полесье, так и у южных славян на юго-востоке Сербии. В обоих этих регионах фиксируется выбрасывание пустоцвета огурцов до восхода солнца на перекресток, «штаб завязвалис гурки» (ПА, Гомельская обл., Мозырский р-н, с. Барбаров, зап. О. Я. Скибы), «шо як худба ходить, шоб так ужэ и огурбчки рѣдили» (ПА, Киевская область, Чернобыльский р-н, с. Копачи, зап. О. В. Санниковой). В юго-восточной Сербии в районе Сврлига пустоцвет огурцов бросали на перекресток до восхода солнца со словами: «Како там народ што иде тако краставице да врзују» [Как ходит там народ, так пусть огурцы завязываются] (Petrović 1993: 55). Некоторые параллели к этой семантике перекрестка наблюдаются у западных славян. Так, поляки Вармии и Мазур бросают на развилке дорог черенки ошипанных гусиных перьев, чтобы хорошо велись гуси (Гура 1997: 676), однако столь прямых сходжений, как полесско-восточносербские, с западными славянами в этом аспекте пока не обнаружено.

Русско-польско-кашубские параллели (в том числе и сибирско-кашубские) отражены, например, в статье ГОРОХ, в разделе о символике плодovitости: отмечается символическая связь гороха с деторождением, в данном случае получающем коннотации насмешки, что обнаруживает фразеология, связанная с лексемой *горох*. Русскому выражению *покушать горошку* в значении 'забеременеть', сибирскому *гороху объесться* 'забеременеть до замужества' соответствует пол. *grochu się objadła* (букв. «гороху объелась») – 'забеременела вне брака', а также кашубскому выражения «она горохом объелась», «горох ее раздувает» в том же значении 'забеременеть вне брака' и «влезть в гороховую солому» – 'забеременеть'. На уровне символических действий и ритуалов в данном случае прослеживаются аналогии с венком из гороховой соломы: такой венок символизировал утраченную до замужества невинность; его также прикрепляли к повозке отвергнутого при сватовстве кавалера и т. д. (ЭССД 1: 524–525).

Представляется, что во всех случаях, когда исследователь имеет дело с отдельными славянскими этнолингвистическими параллелями и сходжениями, территориально удаленными друг от друга, помимо учета многочисленных факторов, определяющих наблюдаемые

соответствия (см. об этом: ПЭС: 11–12), следует иметь в виду возможную пространственную проекцию данных явлений: при расширении эмпирической базы исследования отдельные соответствия могут образовывать непрерывный географический ареал. Так, рассматривая в общеславянском контексте магические свойства палки, которой разгоняли змею (ужа) и жабу (лягушку, птицу, рыбу), отвращать от села градоносные тучи, обнаруживаем не только польско-польско-карпатские семантические соответствия, но и большое число иных апотропеических, продуцирующих и других функций данного предмета, известных практически всем славянам: останавливать пожар, облегчать роды, служить приворотным (и отворотным) средством, предохранять хлеб от мышей и т. д. (см.: Гура 1997: 96, 360, 409; Толстая 1986: 25–26). Соответственно в преамбуле к словарной статье ПАЛКА указывается, наряду с другими, и этот семантико-символический аспект данного предмета: «Длинная П. <палка> уподобляется змее, поэтому особая мощь приписывается П., бывшей в контакте со змеей, П., которую приняли за змею, и т. д.», а в разделе, посвященному раскрытию символики палки, уподобляемой змее, перечисляются все функции и действия данного магического предмета: «Магическими свойствами наделялась П. <палка>, которой удалось разнять змею (ужа) и лягушку (редко – птицу, рыбу) в момент, когда змея собиралась заглотнуть животное (о.-слав.): считалось, что такая П. становится волшебной (пол. Татры и Подгалье); ею отвращают тучи (бел., укр., пол.), грозу, пургу, буран (гомел.), усмиряют драку (бел.), гасят пожар (укр.); если взять такую П. с собой на суд, то выиграешь дело (словац., морав.); ее используют при заговорах болезни (серб., босн.); ударяют ею роженицу для облегчения родов и корову при отеле (босн., серб., черногор.); супругов, чтобы их разлучить (укр.-карпат.); обладатель такой П. будет иметь успех в купле и продаже (з.-укр.), избежит военной службы и станет начальником (чернигов.) и т. д. На Украине сходные свойства приписываются П., которой разогнали спаривающихся змей, ужа и гадюку, а также борющихся змей, ящериц (закарпат.): ею можно отвести тучи (укр.); способствовать свадьбе парня и девушки, если прикоснуться к ним такой П. (ПА, волын. ратнов.) или, наоборот, разлучить их (закарпат.).

В магических действиях используется также П., бывшая в контакте со змеей в иных ситуациях. В ровенском Полесье полагают, что тучу можно отвести П., которой разогнали змей, собравшихся вместе на Воздвижение, у русинов Буковины – П., через которую переползет змея, а потом ею же будет убита (Гура 1997: 333). Особая мощь приписывалась П., которой убили змею перед днем св. Войцеха (пол.) или днем св. Георгия (серб., хорв.): ею закрещивали и отгоняли тучи,

затыкали в поле от града (пол. келец.); ударяли влюбленных, чтобы разлучить их (пол. келец., новосондец.); в такую палку вставляли змеиную кожу и гнали ею скот на продажу (серб.); охраняли поле от воробьев, трижды обходя его с этой П. и затыкая ее в жите (хорв.)» (статья ПАЛКА: ЭССД 3, в печати).

2

Как известно, ареалы славянских диалектов — лингвистических территориальных единиц — не совпадают с границами национальных литературных языков. То же утверждение в полной мере приложимо к распространению культурных диалектов, изоглоссы которых, как показывает исследование, соотносятся, прежде всего, с собственно языковыми (т. е. фонетическими, морфологическими и лексическими) данными. Так, ареальные исследования традиционной народной духовной культуры в области терминологической лексики и соответствующих культурных контекстов ее функционирования показывают, что на территории южнославянских языков и традиций выделяются такие компактные ареалы, как словенско-западнорватский; центральный южнославянский (охватывающий, прежде всего, Боснию, восточную Хорватию, западную Сербию, отчасти Черногорию); приморский (Далмация и южная Босния и Герцеговина, южная Черногория); восточно-южнославянский (включающий Болгарию, Македонию, восточную Сербию), в рамках которого по разным признакам определяются македонско-восточносербско-западно-болгарский, или балканославянский, «клин»; южный балканославянский пояс (включающий Македонию и южную Болгарию); сербско-болгарское пограничье и др. Например, при картографировании названий и времени возжигания весенне-летнего огня у южных славян обнаруживается, что масленичные костры и факелы (называемые *олашја*, *оратник* и др.) распространены в Болгарии, Македонии, южной, восточной, центральной и северной Сербии при отсутствии таковых на территории иных средне-южнославянских диалектов и традиций, где известен летний обычай возжигания факелов и костров, называемых *лила*, *машала*. При этом определенным своеобразием характеризуется словенско-западнорватский ареал, где бытует обычай возжигания и масленичных (*pustni kres*), и летних костров (*kres*); последние, как и в центральной зоне, приурочены к дням св. Иоанна и св. Петра (подробнее см.: Плотникова 2002).

В словаре «Славянские древности» решение проблемы славянских культурных диалектов «разной величины» (от самых мелких типа, напр., родопского в пределах одной болгарской традиции, по

признаку «мотив защиты от огня» в статье ИГНАТИЙ, до таких масштабных, как, например, западнославянско-восточнославянско-словенского, статья КОЛОДКА, или западнославянско-южнославянского, статья КОРОЛЕВСКИЕ ОБРЯДЫ) заложено уже в самом отборе заглавных слов словаря. Так, выделяются и соответственно интерпретируются в словаре в качестве заглавных слов такие локальные единицы, как «КРЕСТИТЬ КУКУШКУ» (южнорусский весенний обряд) «ЗЕЛЕНЫЙ ЮРИЙ» (словенско-хорватский ареал), БОГИНКА (польско-словацко-украинский ареал) ДОЕНИЕ РИТУАЛЬНОЕ (балканославянский ареал – Сербия, Македония, Болгария), ВЕШТИЦА, ВИЛА (южнославянские мифологические персонажи) и т. д. Сразу следует добавить, что в случае наличия отдельных параллелей в иных областях к выделяемым ареалам таковые обязательно указываются: например, в конце статьи ВЕШТИЦА (южнославянская ведьма) указывается: «За пределами Балкан единичные свидетельства о В. относятся к моравско-словацкой и карпатской традициям, где «вещицей» называли ночную бабочку, либо мифическое существо, либо ведьму, которая лечила болезни, помогала вернуть украденные вещи, по просьбе девушек привораживала к ним женихов и т. п. В районах Урала и южной Сибири «вещицей» называли нечистую силу, ведьму, летающую в виде сороки и вредящую беременным и детям» (ЭССД 1: 368).

Вместе с тем ареалы бытования тех или иных культурных явлений выявляются и в рамках статей общеславянского масштаба, в тех случаях, когда материал предоставляет возможности для определения культурных диалектов. Так, например, в статье ВЕТЕР, имеющей, несомненно, общеславянское значение, выделяются следующие значимые ареальные аспекты: связь ветра с нечистой силой, что характеризует балкано-славянско-карпатский ареал: змеем-драконом *ала*, появляющимся вместе с ветром у сербов и болгар; с «ветерницей», «поветрулей» в украинских Карпатах; антропоморфный облик ветра (восточнославянско-западнославянский ареал) наряду с общеславянскими архаическими чертами, такими, как ритуал вызывания ветра свистом, пением, когда он необходим для веяния жита, работы мельниц, рыбной ловли и пр. (в рамках которого отмечается и локальный македонский обычай приглашения ветра на обед или ужин в первый понедельник Великого поста или на Рождество); общеславянскими представлениями о ветре как о местонахождении душ умерших неестественной смертью и др. (ЭССД 1: 357–361). В статье ПАСТУХ выделяется особая роль пастуха и института пастушества на Русском Севере и в Карпатах, и т. д. (ЭССД 3, в печати). В целом, каждая статья словаря построена таким образом, чтобы подчеркнуть все выявленные общие для ряда культурно-языковых традиций особенности.

В случаях, когда материал, в том числе языковой (лексический) поддается картографированию, в словаре приводятся карты. Так, например, к статье ДОДОЛА прилагается карта названий весенне-летнего окказионального обряда вызывания дождя, которая показывает культурно-диалектное членение внутри южнославянского ареала: преимущественное употребление терминов типа *пеперуга*, *пеперуда* и под. на востоке ареала (Болгария, восточная Сербия), сосуществование обоих типов терминов (*додола* и *пеперуга*) в Македонии, *прпоруша* — на самом западе, в Хорватии (Адриатическое побережье), наличие локального термина *росоманка* (букв. 'выманивающая росу') на юге сербско-болгарского пограничья, что свидетельствует о микроареале внутри более крупной зоны, и т. д. (ЭССД 2: 100–103).

Таким образом, несмотря на тот факт, что в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» напрямую не ставится задача определения славянских культурных диалектов, тем не менее, этот аспект славянских культурных связей на уровне народных традиций освещается в такой мере, что в будущем (по завершении работы над этим лексикографическим трудом) словарь может стать основой и необходимым справочным компендиумом сведений для создания «Атласа славянской народной духовной культуры», охватывающего все славянские традиции.

Литература

- Гура 1997 — Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Толстая 1986 — Толстая С. М. Лягушка, уж и другие животные в обрядах вызывания и остановки дождя // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986.
- Толстой 1996 — Толстой Н. И. Язык и народная культура, М., 1996.
- Petrović 1993 — Petrović S. Mitologija gaskršća. Niš, 1993.
- Плотникова 2002 — Плотникова А. А. Этнолингвистическое картографирование фрагментов масленичной обрядности южных славян // *Balkanica*. Beograd, 2002 (в печати).
- ПЭС — Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.
- ЭССД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1; М., 1999. Т. 2.

Г. П. Мельников
(Москва)

Патриотизм и европейскость в поэзии Богуслава Гасиштейнского из Лобковиц

В научной литературе, преимущественно чешской, утвердилось общее мнение: Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц (около 1461–1510) — крупнейший чешский гуманист и лучший из неолатинских поэтов Чехии эпохи Ренессанса. Такое высокое признание он получил еще у своих современников, в основном за границами Чешского королевства. Несмотря на это его творчество изучено недостаточно. Из чешских исследователей им занимался лишь один Ян Мартинек, еще в 1969 г. поместивший обширную статью о нем в свою известную библиографическую энциклопедию «Пособие по гуманистической поэзии в Чехии и Моравии»¹. В 1996 г. появился том избранных стихотворений Лобковица (латинские оригиналы с чешским переводом), подготовленный также под руководством Я. Мартиника². Ранее в Лейпциге Я. Мартиником было осуществлено двухтомное издание (на латыни) обширного эпистографического наследия Лобковица³. Однако монографическое исследование о выдающемся поэте-гуманисте до сих пор отсутствует. Тем не менее источниковедческие исследования и ряд статей Я. Мартиника⁴ в своей сумме создают целостное представление о жизненном пути и творчестве Лобковица⁵, хотя многие проблемы, связанные, прежде всего, с идейным содержанием его литературно-художественного наследия, нуждаются в специальном освещении.

В чешском литературоведении отношение к Лобковицу, при учете всех его заслуг, весьма сдержанное, что отразилось во всех компендиумах по истории чешской литературы и наиболее ярко проявилось в книге «Чешский гуманизм» известного историка чешской литературы XVI–XVII вв. Милана Копецкого⁶. Чрезвычайно высокая оценка, данная не только литературным достоинствам поэзии Лобковица, но и всей его деятельности в исследованиях Я. Мартиника, стоит в чешской науке особняком, так как Я. Мартинек в строгом смысле слова не принадлежит к числу профессиональных литературоведов (он историк-латинист⁷) и не разделяет их укоренившихся представлений. Большая заслуга в выяснении политической деятельности Лобковица и его влияния на всю культурно-идеологическую атмосферу ягеллонского периода в Чехии принадлежит академику Йозефу Мацеку, посвятившему поэту многие страницы

своего посмертно опубликованного фундаментального труда «Вера и религия ягеллонского века»⁸.

В отечественной науке высокая оценка значения всей деятельности и взглядов Лобковица была задана еще И. Н. Голенищевым-Кутузовым в эпохальной для советского славяноведения книге (хотя и содержащей ряд неточностей и спорных мнений) «Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVI веков»⁹ и продолжена в новейших трудах синтетического характера¹⁰. Также творчество Лобковица частично рассматривалось А. Н. Немиловым в контексте идей немецкого гуманизма¹¹ и автором этих строк¹². Русский читатель может познакомиться с поэзией Лобковица в сборнике «Неолатинская поэзия», где перепечатаны два перевода, сделанные И. Н. Голенищевым-Кутузовым, что, конечно, недостаточно для знакомства с творчеством чешского поэта, помещенного в этой книге в раздел «Венгрия»¹³, что, как будет ясно из биографии Лобковица, абсолютно неверно.

Причина достаточно прохладного отношения к заслугам Лобковица в чешском литературоведении коренится в том, что он противостоял, причем осознанно и программно, тому направлению, которое в чешской науке получило название «национальный гуманизм» и было связано с гуситской традицией, отстаивая приоритет чешского языка перед латынью и гуситской веры перед католицизмом. Культурная программа Лобковица, призывавшего к интеграции в европейскую культуру, в таком контексте выглядела как непатриотичная, консервативная, не соответствующая магистральным путям развития чешской культуры.

Однако дело обстоит гораздо сложнее: дихотомичность патриотизма и европейскости пронизывает всю чешскую культуру эпохи Ренессанса, и Лобковиц здесь может рассматриваться как одна из ключевых фигур.

Сначала обратимся к биографии Лобковица, весьма значимой для всего историко-культурного контекста Чешского королевства конца XV — начала XVI в. Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц происходил из старинного дворянского рода, давшего впоследствии нескольких крупных политических деятелей. В детстве Лобковиц был воспитан в лоне гуситской церкви (как утраквист), но, отправившись в юности в Италию, стал там убежденным католиком. Свою приверженность католицизму он затем горячо отстаивал и на родине. Высшее образование он получил в таких прославленных итальянских университетах, как Болонский и Феррарский. В последнем Лобковиц в 1482 г. получил степень доктора церковного права. Вернувшись в Чешское королевство, он в 1483 г. получил должность пробста Вы-

шеградского капитула — второго по значению церковного католического центра в стране после капитула собора св. Вита на Пражском Граде. Таким образом Лобковиц вступил в ряды католического клира. Жажда познания мира подтолкнула его на грандиозное путешествие, целью которого стало паломничество к христианским святыням Палестины. В 1490–1491 гг. он посетил ряд стран Центральной и Западной Европы, Балканы, Малую Азию и Северную Африку. Наряду с поклонением святым для христианина местам он уделял большое внимание географии, истории и этнографии тех стран и народов, которые посетил в ходе своего путешествия, о чем оставил интереснейшие свидетельства в своем эпистолярном наследии. Лобковица можно по праву причислить к наиболее известным чешским путешественникам второй половины XV–XVI в., осуществлявшим ренессансную по сути программу знакомства чехов с миром и репрезентации чешскости в мире, получившую в науке название по заголовку сочинения одного из таких путешественников «из Чехии аж до конца света». Однако здесь необходимо отметить, что эта программа осуществлялась чехами-гуситами преимущественно с целью доказать ортодоксальность гуситской конфессии и способствовать преодолению культурной и политической изоляции гуситской Чехии. Путешествие, предпринятое чехом-католиком, составляет здесь исключение.

На родине церковная карьера Лобковица складывалась, несмотря на все его таланты и способности, неудачно. Он многие годы мечтал о должности епископа Оломоуцкого, два раза был близок к ее достижению, его кандидатуру поддерживал ряд влиятельных чешских и зарубежных гуманистов и политических деятелей, но каждый раз церковное начальство находило иного кандидата. Неудача Лобковица объясняется его принципиальной позицией, столь нетипичной для нравов римско-католической церкви XV–XVI вв.: он считал неэтичным, недостойным христианина самому лично хлопотать о получении желаемой должности, тем более настойчиво и униженно ее домогаться и давать взятки прелатам. Никто из последних не сомневался в его достоинствах, но коррумпированные нравы делали свое дело, в результате чего Лобковиц разочаровался в католической иерархии (об этом свидетельствует ряд его антипапских эпиграмм) и оставил надежды на духовную карьеру. В 1502 г. он поступил на службу ко двору короля Чехии и Венгрии Владислава II, постоянно пребывавшего в Буде. Там он установил тесные контакты с рядом чешских (точнее, моравских) и венгерских гуманистов, служивших при королевском дворе, среди них, прежде всего, с Августином Оломоуцким — пионером гуманистического движения в чешской куль-

туре. Однако и в Буде у Лобковица карьера не сложилась, очевидно, из-за его нежелания вмешиваться в придворные интриги. Разочаровавшись в политике, он в мае 1503 г. возвратился в свои чешские владения и уединился в родовом замке Гасиштейн у города Хомутова. Лобковиц сосредоточился на литературной работе и воспитании детей своих родственников, создал вокруг себя целую «дружину» молодых гуманистов из Чехии и Германии, собрал огромную библиотеку, состоявшую в основном из сочинений античных и гуманистических авторов, насчитывавшую свыше 750 томов, что сделало ее одной из самых больших частных библиотек Европы начала XVI в.¹⁴ Умер Лобковиц 13 ноября 1510 г. в своем замке. Его смерть вызвала целый поток соболезнований, зачастую облеченных в поэтическую форму. Свою скорбь и признание выдающихся заслуг покойного на ниве гуманизма спешили выразить и соотечественники, и иностранцы, и друзья, и бывшие враги. Так закрепился высокий культурный статус Лобковица, не поколебленный и впоследствии.

По своим взглядам Лобковиц был принципиальным сторонником латинского гуманизма, поэтому он писал только на латинском языке. В этом вопросе он решительно расходился с чешской утраквистской средой, отстаивавшей приоритет чешского языка как главного средства культурно-просветительской деятельности среди чешского народа. Лобковиц был чрезвычайно критичен по отношению к чешскому народу (что отмечали еще современники) и чешским интеллектуалам. Он считал гусизм причиной культурной и исторической отсталости Чехии, а своих коллег — провинциальными и недостаточно образованными, противопоставлял латинский и чешский языки как коммуникативные средства универсальной и, напротив, локальной культуры, полагая, что культивирование родного языка и использование его как лингвистического средства высокой словесности приведет к окончательной изоляции Чехии от путей европейского культурного развития и, таким образом, оставит ее в стороне от гуманизма.

Такие взгляды противоречили программе других чешских гуманистов, называемой в науке «национальным гуманизмом», главным представителем которого был знаменитый чешский юрист того времени Викторин Корнель из Вшегрд (ок. 1460–1520). Он настаивал на приоритетном развитии чешского языка, на придании ему развитых форм литературной речи, считая родной язык ни в чем не уступающим латыни¹⁵. Именно по этому пути пошло развитие чешской словесности в XVI в. Историческая правильность программы Викторина Корнеля из Вшегрд подтвердилась такими выдающимися достижениями в развитии чешского языка, как «Кралицкая Библия»

и сочинения Даниэля Адама из Велеславина, ставшие в свою очередь образцом для возрождения чешского литературного языка в эпоху Национального возрождения в XIX в.

Именно в противоположности концепций развития чешского гуманизма следует видеть сущность конфликта Лобковица с Викторин Корнелем, до того времени его близким другом. По форме же их спор носил религиозный характер, обретая по мере его разрастания личностный характер. В 1493 г. Викторин Корнель написал антипапское патриотическое сатирическое стихотворение «Бич папы» («*Rarae mastix*»), от авторства которого он потом отказывался. Оно представляло собой пародию на стихотворение Лобковица, в котором приветствовалось стремление пражан улучшить отношения с Римом. Лобковиц в ряде посланий в ответ раскритиковал «Бич папы», но не за его содержание, а за несовершенство поэтической формы и латинского языка, перенеся эту критику, высказанную им в грубой и язвительной форме, на все сочинения Викторина Корнеля, своего друга и соратника, писавшего до этого времени на латыни. После этого конфликта Викторин Корнель вступил во второй период своего творчества, отмеченный воплощением им идей «национального гуманизма». Лобковиц же продолжал публично третировать Викторина Корнеля, объясняя его переход на чешский язык недостаточной латинской образованностью. Несмотря на такую позицию Лобковица, Викторин Корнель продолжал объективно очень высоко оценивать вклад своего бывшего друга в становление гуманизма в Чехии.

Конфликт двух ведущих гуманистов Чехии по вопросу о языке позволяет считать, что главной проблемой не только творчества Лобковица, но и становления чешского гуманизма на рубеже XV–XVI вв., было соотношение категорий патриотизма и европейскости.

Лобковиц, отстаивая приоритеты католицизма и латыни, отнюдь не был «национальным нигилистом» и «космополитом». Напротив, он был убежденным чешским патриотом, болеющим за судьбы Родины и чешского народа. Поэтому представляется весьма интересным выявить специфику трактовки в поэзии Лобковица (его эпистолярное наследие я здесь не затрагиваю) таких категорий, как патриотизм и европейскость, поскольку сама эта проблема на протяжении истории развития чешской культуры неоднократно становилась общественно актуальной. Таковой она является и в наши дни.

Как уже отмечалось, современники упрекали Лобковица за чрезмерно критичное отношение к собственному народу. Но, как представляется, избыточный критицизм Лобковица коренится в специфике его патриотизма, которая состоит в приоритете ретроспективного идеала, когда нынешнее состояние чешского общества оценивается,

исходя из его расцвета в прошлом, до общественного катаклизма, вызванного гуситским движением, т. е. в эпоху Карла IV.

В этом отношении особенно показательна «Элегия на смерть Карла, императора Римского и короля Чешского»¹⁶. Хотя тот умер в 1378 г., поэт актуализирует это событие и продолжает скорбеть о великом монархе. Характерен перечень заслуг покойного. С одной стороны, это вклад в развитие Чехии: «Он основал в Праге высшую школу, храмы и грады, / высшим статутом церкви украсил он свою землю» (т. е. повысил статус пражской кафедры на архиепископство). С другой стороны, это военно-государственные успехи в Европе: монарх распространил свою власть на пол-Европы, став владыкой Германии и Италии; он выдающийся полководец, чьи победы стоят выше ратных подвигов античных полководцев. Для поэта Карл IV является олицетворением его идеала, интегрирующего отечественное и европейское, делая чешское частью всеобщего. В «Элегии...» обильно представлены античные персонажи. Это не только государственные деятели и полководцы, с которыми сравнивается Карл IV, но и античные божества, фигурирующие в рассуждениях о бренности жизни. Такая композиция «Элегии...» вводит чешского короля в ренессансный общеевропейский культурный контекст с его возрождением античности, что перебрасывает своеобразный культурный мост между Чехией и высшим проявлением, по мысли Ренессанса, человеческой культуры — античностью. «Элегия...» заканчивается призывом к современному поэту чехам: «За эти великие заслуги просите, <...> чтобы наш славный Карл в вечной памяти жил!» По жанру это произведение скорее не элегия, а панегирик, столь явно стремление автора воспеть и прославить монарха. Чувство скорби вызвано лишь тем, что из жизни ушел именно такой выдающийся государственный деятель. Конечно, в «Элегии...» имеет место преувеличение масштабов власти Карла IV. Это вызвано общей дидактической целью сочинения — создать образ идеального властителя.

Сравнение с античными персонажами или их присутствие, ставшее обычным в ренессансной литературе, используется Лобковицем и в ряде эпитафий, посланий и других стихотворений, посвященных выдающимся чехам, таким, как политический противник «гуситского короля» Иржи из Подебрад Ян Зайиц из Газмбурка¹⁷, вельможа и юрист Пута из Ризенберка¹⁸, канцлер венгерского короля Матьяша Корвина Ярослав из Босковиц, казненный им по навету¹⁹, гуманист, член «дружины» Лобковица Ян Стурнус²⁰, знаменитый гуманист Ян Шлехта²¹, юрист и писатель Рацек Доубравский²², уже упоминавшийся Августин Оломоуцкий²³, пражский пробст Ян из Вартемберка²⁴, юрист Цибор Товачовский²⁵, и, наконец, Викторин Корнель

из Вшегрд²⁶ (написано явно до конфликта с ним). Впечатляет количество и широкий подбор имен, причем среди прославляемых Лобковицем встречаются и утраквисты. Он превозносит их заслуги и способности, часто указывая на то, что они превзошли греков и римлян в их же искусствах. Тем самым Лобковиц не только вводил чехов в общеренессансный культурно-исторический контекст, но и отводил им весьма почетное место на общеевропейском Олимпе культуры.

В отношении к политике Владислава II Ягеллона — короля Чехии и Венгрии — у Лобковица присутствует определенная двойственность, проистекавшая из глубоких государственных убеждений поэта. Она отразилась в стихотворении «К королю Владиславу»²⁷, написанном в самом начале правления монарха, когда он был только королем Чехии, а Матьяш Корвин правил в Венгрии и присоединенной к ней военным путем Моравии, что давало Матьяшу основания титуловаться также королем Чехии. Стихотворение настолько важно для понимания характера патриотизма Лобковица, что стоит привести его целиком (в построчном переводе):

Ты любезен, я это хвалю, ведь любезность идет королям,
 помогает сближаться с народом и приобретать трон.
 Но все же меня берет страх, что нам и нашим потомкам
 эта твоя черта принесет беспокойство.
 Мы жестоковыйное племя и хотим, чтобы
 все делалось так, как судит наше чувство.
 Мы не хотим далее терпеть Владислава. Пусть лучше правит
 Матьяш, если он укрепит нашу родину.

Лобковиц рассматривает характер и деяния монарха, исходя исключительно из того, насколько они полезны чешскому государству и народу, который он считает упрямым, непослушным, своевольным и использует для его характеристики библейское определение «жестоковыйный». Однако последнее обстоятельство амбивалентно: термин, указывая на отрицательную характеристику иудейского народа, напоминает одновременно и о его богоизбранности. Уподобляя чешский народ древнееврейскому, так сказать, в негативе, Лобковиц тем самым намекает и на возможный позитив, так как в Чехии еще не забыли идеологему XIV в., возникшую в придворной хронистике Карла IV, о богоизбранности чешского народа²⁸. Так критика своего народа связывается у Лобковица с надеждами на его возрождение.

С этих позиций оцениваются все поступки Владислава Ягеллона. Так, Лобковиц восхваляет его за издание «Владиславского земского уложения» (1500 г.) — свода законов, предотвратившего назревавшую гражданскую войну между чешским дворянством и городами («На

дело, созданное по приказанию короля Владислава»²⁹). Поэт вообще высокого мнения о короле: «Король Владислав во всем руководствуется справедливостью, он также очень ответственный, одаренный сильным духом» («Эпиграмма о „Диалогах“, подаренных королем Владиславом»³⁰); рассудительность и победоносность короля одинаково полезны Родине («Королю Владиславу»³¹). Однако, когда тот покидает Прагу, в которой нарастает социально-политическое возбуждение, поэт критикует монарха, сравнивая его с головой, покинувшей, бросившей на произвол судьбы больные члены своего тела («На короля Владислава»³²). Также подвергается критике нерешительность короля в антитурецких войнах, его отказ в помощи Польше в сопротивлении «варварскому мечу» («Королю Владиславу»³³). Особо острому осуждению подвергнуто все правление Владислава за его политическую слабость в «Элегии, в которой король Владислав разговаривает с Фортуной»³⁴. Здесь Лобковиц вновь выступает сторонником сильной, централизованной королевской власти, поскольку только такое правление может принести благо чешскому народу.

Чешский патриотизм Лобковица ярко проявился в стихотворении «Сравнение Богемии и Паннонии» (т. е. Чехии и Венгрии)³⁵, где утверждается, что народ (дворянство и крестьянство) в обеих странах одинаковый по своим достоинствам, но Чехия превосходит Венгрию в военном деле, в образовании, в красоте столицы, уступая ей лишь в вере, так как у чехов она «расщепленная» (т. е. наличествуют две конфессии — гусизм и католицизм), у венгров же она «без изъяна». Таким образом патриотическая модель Лобковица включает в себя конфессиональный фактор.

Критика современного общества в творчестве Лобковица достигает своего апогея в «Сатире к святому Вацлаву»³⁶ — самом известном произведении чешского гуманиста. Главным мерилom отношения человека к обществу для Лобковица служит «любовь к родине» («amor patriae»). В современной ему Чехии он ее не находит, потому что «мало кто из первейших людей заботится о благе родины», они предпочитают красивые одежды, пиры, т. е. роскошный образ жизни, погрязая в чувственных удовольствиях. Критика злых нравов, грехов человека и общества всегда была неотъемлемой частью христианской литературы. В этом Лобковиц, как и весь Ренессанс, продолжал средневековую традицию. Однако в отличие от большинства поэтов-гуманистов Лобковиц яростно осуждает плотские утехы любви, ведущие в ад. Новое у Лобковица заключается в том, что злонравие осуждается не только с церковно-христианских, но прежде всего с патриотических позиций, как качество, приводящее к гибели государства (поэт здесь использует образ корабля, попавшего в бурю).

Это, безусловно, возрождение античного понимания патриотичности, поэтому довольно интересно видеть такой синтез государственнической и религиозной мотивировок у Лобковица — яростного сторонника католицизма, с его непризнанием абсолютного государственного суверенитета, а значит и патриотизма, как светской категории. Именно конфессиональная позиция Лобковица, противостоящая чешскому утраквизму, господствовавшему среди бюргерства и среднего дворянства, обусловила критику им чехов-гуситов как еретиков, которые губят родину. Напомним, что утраквизм для Лобковица — это «заблудшая вера» («Сатира к святому Вацлаву»). Таким образом, Лобковиц выступил продолжателем традиции патриотизма чехов-католиков эпохи гуситских войн³⁷.

Его цель — «вновь вознести свою родину к славе и бывалому почету, а также принять новые законы, чтобы от них была польза народу» («Сатира к святому Вацлаву»). Так патриотический идеал Лобковица совмещает в себе приверженность западноевропейской религиозной традиции (католицизму) и, следовательно, консерватизму с инновационностью, направленной на достижение общей пользы, в чем можно видеть элементы демократизма его концепции.

Славу родной страны Лобковиц усматривает в военных успехах, имевших место в прошлом, но ясно, что это не гуситские войны, а, скорее, более ранний период, когда Чехия была целиком католической. В стихотворении «О родине»³⁸ Лобковиц указывает на то, что раньше Чехия «теснила соседей войной», враги за золото выкупали у чехов мир, теперь же все наоборот: Чехия вынуждена платить за мир. В целом такой идеал соответствует средневеково-ренессансной рыцарско-аристократической культуре.

Европейскость Лобковица, помимо конфессиональной сферы, проявляется прежде всего в приверженности гуманизму. Особо ценит Лобковиц приобщение заальпийской, северной Европы к ренессансному гуманизму и неолатинской поэзии. Поэтому он восхваляет итальянского гуманиста, клирика Иеронима Бальба («Элегия к Иерониму Бальбу»³⁹), трудившегося в Центральной Европе, за то, что он «первым из мужей во дворце австрийской Вены тронул звучные струны Арионовой лиры. Он первым принес к нам авзонский вкус, латинские слова, четко разработанное право» («Зоилам о Бальбе»⁴⁰). Также Лобковиц превозносил аналогичные заслуги немца Конрада Цельтиса⁴¹ и итальянца Ермолая Барбаруса⁴².

Лобковиц являет собой пример типичного члена общеевропейского гуманистического сообщества — тип, чрезвычайно распространенный в Европе XVI в. Сознание приобщенности к высшей культуре, не знающей национальной локализации, поскольку она универ-

сальна, создает иерархичность сознания человека эпохи Возрождения. Свое, национально-локальное, рассматривается как низшее, варварское, поэтому нуждающееся в ренессансном просветительстве, т. е. в приобщении к античному наследию. Тем самым возникает связь низшего и высшего звеньев данной иерархической системы, что придает определенную цельность ренессансному заальпийскому культурному сознанию, которое, на первый взгляд, выглядит весьма дихотомично, поскольку категории своего и всеобщего, античного и варварского противостоят друг другу.

Функцию моста между ними также, наряду с просветительством, выполняет категория патриотизма, родины, поскольку patria неизменно входила в число постоянных ценностей античной, особенно древнеримской культуры. В силу этого гуманист не мог не быть патриотом, хотя бы ради подражания античности. Но эта patria оказывалась не «городом на семи холмах», не центром античной культуры, а «варварской провинцией». Поэтому ее надлежало антикизировать, возвысив ее историю и людей, внесших тот или иной вклад в развитие страны.

Патриотизм у Лобковица как общеевропейского гуманиста — это не противопоставление своей национальной обособленности, собственного исторического пути, самобытности тому европейскому течению, которое определяло лицо всей эпохи. Это, наоборот, интеграция своего во всеобщее, причем без растворения своего в универсальном, поскольку опорой патриотизма у него является государственническое сознание. Этой стороной наследие Лобковица весьма неожиданно приобрело актуальность в начале III тысячелетия, когда в процессе глобализации культуры остро встали вопросы, уже решавшиеся европейской мыслью другой переломной эпохи — эпохи Возрождения.

Примечания

- ¹ Rukověť humanistického básnictví v Čechách a n Moravě. Praha, 1969. T. 3. S. 170–203.
- ² Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Carmina selecta. Praha, 1996.
- ³ Bohuslav Hassensteinii a Lobkowicz Epistulae. Leipzig, 1969–1980. T. I–II.
- ⁴ Martinek J. De Bohuslavii Hassensteinii et Augustini Moravi epistulis // Zápisky Jednoty klasických filologů. Praha, 1962. T. 4. S. 1–13, 96–108; *Idem*. Srovnání Přemysla Oráče se Seianem u Bohuslava z Lobkovic // Zápisky... Praha, 1965. T. 7. S. 169–171; *Idem*. Quaestiones ad Bohuslavii Hassensteinii vitam pertinentes // Listy filologické. Praha, 1967. T. 90. S. 317–321; *Idem*. Quo modo Bohuslaus Hassensteiniius in patriam animatus fuerit // Listy

filologické. Praha, 1970. T. 93. S. 37–43; *Idem.* Quod Bohuslaus Hassensteinus a Lobkowicz de Mathia Corvino senserit // Zborník filosofické fakulty University Karlovy. Graecolatina et orientalia. Praha, 1972. T. 4. S. 21–32; *Martínek J., Martinková D.* Quo modo Bohuslaus Hassensteinus a Lobkowicz res a Vladislao rege Hungariae et Bohemiae gestas aestimarit // Zborník... Praha, 1974. T. 6. S. 81–103; *Martínek J.* Bohuslaus Hassensteinus a Lobkowicz meliorne poeta an orator fuerit // Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata (Spisy University Jana Evangelisty Purkině v Brně, filosofická fakulta. 200). Brno, 1975. S. 247–252; *Idem.* K datování listů Bohuslava Hasištejnského y Lobkovic // Strahovská knihovna. Praha, 1979–1980. T. 14–15. S. 75–102; *Martínek J., Martinková D.* Místní jména českých zemí v dopisech Bohuslava z Lobkovic // Zborník Musea Komenského. Praha, 1980. T. 21. S. 459–462; *Martínek J.* Bohoslaus von Lobkowicz und die Antike // Listy filologické. Praha, 1980. T. 103. S. 24–30; *Idem.* Ke kritice a datování básnického díla Bohuslava z Lobkovic // *Ibid.* S. 230–240; *Idem.* Humanistická škola na Hasištejně // Akta Universitatis Carolinae. Praha, 1981. T. 21, fasc. 2 (AUC-HUCP). S. 23–47; *Idem.* Bohuslav Lobkovic a severozápadní Čechy // Zprávy a studie krajského musea v Teplicích. Teplice, 1982. T. 15. S. 55–62; *Idem.* Bohoslaus von Lobkowicz und Konrad Wimpina // Die Oderuniversität Frankfurt. Beiträge zu ihrer Geschichte. Weimar, 1983. S. 239–242.

⁵ K životnímu jubileu Jana Martínka // Folia Historica Bohemica. Praha, 1984. T. 7. S. 473.

⁶ *Kopecký M.* Český humanismus. Praha, 1988. S. 37–43.

⁷ K životnímu jubileu... S. 371.

⁸ *Macek J.* Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha, 2001.

⁹ *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVI веков. М., 1963. С. 160–162, 173–176, 188–192 и др.

¹⁰ История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1. С. 645–650 (автор В. В. Мочалова); История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 2001. С. 358–359 (автор Г. П. Мельников).

¹¹ *Немилов А. Н.* Немецкие гуманисты XV века. Л., 1979. С. 105.

¹² *Мельников Г. П.* «Образы власти» в сочинениях чешских гуманистов // Культура Возрождения и власть. М., 1996. С. 197–198.

¹³ Неолатинская поэзия. М., 1996. С. 349.

¹⁴ Rukověť... S. 202.

¹⁵ *Kopecký M.* Op. cit. S. 49–57.

¹⁶ *Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.* Op. cit. S. 138–141.

¹⁷ *Ibid.* S. 14–17.

¹⁸ *Ibid.* S. 16–17.

¹⁹ *Ibid.* S. 16–19.

²⁰ *Ibid.* S. 28–31, 36–39, 56–57.

- 21 Ibid. S. 36–37, 62–63, 116–117, 144–145.
- 22 Ibid. S. 58–59, 112–113.
- 23 Ibid. S. 60–61.
- 24 Ibid. S. 64–67.
- 25 Ibid. S. 134–135.
- 26 Ibid. S. 146–147.
- 27 Ibid. S. 108–109.
- 28 Мельников Г. П. Этногенетический миф в самосознании чешской знати XIV в. // Элита и этнос средневековья. М., 1995. С. 45–52.
- 29 *Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic*. Op. cit. S. 20–21.
- 30 Ibid. S. 30–31.
- 31 Ibid. S. 34–35.
- 32 Ibid. S. 32–33.
- 33 Ibid. S. 112–115.
- 34 Ibid. S. 68–71.
- 35 Ibid. S. 110–111.
- 36 Ibid. S. 78–81.
- 37 Подробнее о проблеме патриотизма в гуситскую эпоху см.: Мельников Г. П. Этническое самосознание чехов и национальные проблемы в Чехии в гуситскую эпоху (конец XIV века – 1471 год) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 77–112.
- 38 *Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic*. Op. cit. S. 132–133.
- 39 Ibid. S. 74–79.
- 40 Ibid. S. 34–35.
- 41 Ibid. S. 66–67.
- 42 Ibid.

О. Д. Журавель
(Новосибирск)

**«Повесть известная и свидетельствованная
о проявлении честных мощей и отчасти сказание
о чудесех святого и праведнаго Симеона,
новаго Сибирскаго чудотворца»:
модификация агиографического канона***

XVII век, последний в истории древнерусской литературы, стал временем появления и расцвета древнерусской письменной традиции в Сибири. Наряду с прочими жанрами, характерными для литературы Древней Руси, здесь распространяются и агиографические сочинения: византийского, древнерусского и собственно сибирского происхождения. Открытие святых мест и явление чудотворных икон (Абалацкой, Казанской иконы Богородицы в Томске), появление местночтимых святых (блаженного мученика Василия Мангазейского, святого праведного Симеона Верхотурского) сопровождалось письменной фиксацией этих важнейших в религиозной жизни православного населения Сибири событий¹. Авторское творчество испытывало при этом сильнейшее воздействие народной легенды. Демократические тенденции сказывались и на памятниках, созданных в стенах Тобольского Архиерейского Дома: митрополичья резиденция была одновременно центром литературной жизни, причем большой вклад в литературный процесс внесли владыки русской православной церкви в Сибири — архиепископы и митрополиты. Имена архиепископов Нектария, Герасима, Симеона и особенно митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) вошли в историю не только русской церкви, но и словесности².

С именем митрополита Игнатия, известного писателя и публициста последней четверти XVII столетия³, связано начало установления культа св. Симеона Верхотурского, находившееся в русле активной церковной деятельности, предпринятой Игнатием в Сибири после назначения его на Тобольскую кафедру. Ему принадлежит и инициатива составления агиографического сочинения о святом Симеоне Сибирском, связанная с начатой им кампанией по освидетельствованию мощей святого, гробница с чудотворными мощами которого была обретена в с. Меркушине Верхотурского уезда в 1692 г.⁴

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 02-01-00314.

При митрополите Игнатии была создана «Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мощей и отчасти сказание о чудесах святого и праведнаго Симеона, новаго Сибирскаго чудотворца» — сочинение, которое является наиболее ранней литературной обработкой сведений о святом Симеоне Верхотурском⁵. Значительная часть «Повести известной...» написана самим митрополитом: в ряде сюжетов повествование ведется им от первого лица, другие сюжеты логически и композиционно с ними связаны⁶. Этот комплекс, составивший основу ранних редакций Жития, представляет собой смысловое и стилистическое единство, связанное общим замыслом.

Анализ ранних редакций сочинения свидетельствует о его сложной жанровой природе: в первоначальном виде в нем сочетались черты агиографического и церковно-публицистического жанров. История обретения чудотворных мощей поначалу безымянного святого, выяснения его имени и фактов биографии раскрывается в связи с темой христианского просвещения Сибири, важнейшая роль в котором отведена самому автору — Преосвященному Игнатию. Описание деятельности владыки, проповедующего Слово Христово и среди верных (освящая церкви и утверждая церковные «догматы»), и среди язычников (обращая их в истинную веру), вызывает ассоциации с апостольской миссией, а его этикетно преподнесенное путешествие по городам и весям Сибири — с апостольским шествием. «В тоя же время, егда бывшу смиренню моему во граде Верхотурье освящения ради новозданная соборная церкви Верхотурские...»; «благоволением Божиим шествующу моему смиренню з братиею моею, в прехождении моем от града Пельми ко граду Верхотурью ради освящения соборная Верхотурская церкви, уже на Пельми прежде освятившу ми две церкви святые...»⁷ — подобные пассажи не единичны в этом сочинении.

Осознание высокой миссии Игнатия в качестве Сибирского владыки отражено и в своеобразных «лирических отступлениях», постоянно прерывающих агиографический сюжет. В частности, в этих фрагментах подробно излагается содержание проповедей митрополита, произнесенных в том или ином пункте во время «путешествия» по Сибири: «...по сем послание апостольское во всю землю и в концы вселенныя, како первый в царех святой царь Константин крестился святым Селивестром, епископом Римским, и како и за кую вину быша в разная времена седмь святых вселенских соборов. Потом же преложих и о крещении святого великого князя <...> Владимирера, во святом крещении нареченнаго Василия. И по ряду вся бывшая в Российском и в Сибирском царствии православная веления Христовы церкви...»⁸. Церковная деятельность в «Сибирском царствии» осмысливается здесь как этап всемирной истории, христианизация Си-

бирского края, открытие новых святынь увязывается с ветхозаветными событиями.

В других отступлениях психологически убедительно автор передает свои сомнения, касающиеся подлинности мощей, ожидания новых сведений о святом и т. д. Таким образом, личность и деятельность автора, вплетенная в церковно-публицистическую тему христианского просвещения Сибири, представлены в сочинении наиболее полно. Риторичность, этикетность этой основной части сочинения весьма органично соотносятся с церемониальностью изображаемых событий (можно отметить в этой связи, что Игнатий и в годы пребывания в России был участником не одной церковной комиссии — то по расследованию ересей, то в связи с деятельностью раскольников, то в связи с выяснением обстоятельств канонизации Анны Кашинской).

Что же касается самой важной, агиобиографической части сочинения о святом, то она чрезвычайно лаконична. Автор передает только ту информацию, которую, по его словам, удалось получить от местного старожила, некоего Афанасия, почтенного старца, единственного, кто что-то мог вспомнить о человеке, мощи которого оказались чудотворными⁹.

«Сего гроба нас, — рече, — памятухов нет, токмо помню, яко у прежнее церкви новозданныя о таком месте первый положен бысть некоторый христолюбец преставльшийся, прямо иже с полудни под трапезу бывших дверей. Житие же его бяше доброе. Человек той бяше в Сибирскую страну с Руси пришлец, дворянского чина рождением, и жительствоваше у нас в странничестве. Рукоделие же его бяше, еже шити нашивки на одеяние кож овчиих, еже есть хамьянныя нашивки, бывающия на теплых одеждах, сиречь шубах. Бяше же к Богу прилежен и в церковь на молитву непрестанно вхожен. Телом же своим скорбяще чревно яве, яко от воздержания»¹⁰. Имени же святого не помнил и этот единственный оставшийся в живых свидетель, оно, как пишет Игнатий, было вскоре явлено ему самому, а затем еще двум лицам в сонных видениях.

Необходимо отметить, что сочинение о святом Симеоне Верхотурском — не единственный памятник поздней русской агиографии, где собственно житийная часть отсутствует. Тенденция к сокращению диктуемой этикетом агиобиографической части повествований о святых прослеживалась Л. А. Дмитриевым в северно-русских житиях, испытавших сильное воздействие устной легенды¹¹. Как отмечала Е. К. Ромодановская¹², северно-русские жития были весьма популярны в Сибири XVII в. и, очевидно, повлияли на художественную структуру Жития Василия Мангазейского, созданного в Сибири несколько ранее Жития Симеона Верхотурского¹³. Л. А. Дмитриеву

принадлежит парадоксальное утверждение, что «в разрушении житийных канонов... и заключалось развитие житийного жанра как явления литературного»¹⁴. Разумеется, в разрушении этикетности в оформлении образа святого, в отказе от обязательных поначалу (как того требовал агиографический канон) этикетных элементов в описании его земной жизни (упоминание о благочестивых родителях, отстранение от игр в детстве и т. д.) ни в коей мере нельзя видеть разрушение самого жанра, истоки которого лежат слишком глубоко в христианской культуре. Л. А. Дмитриев отмечал в этом процессе тяготение к занимательности, к изложению житейских перипетий, необычной судьбы героя — явления, свойственные демократическим памятникам севернорусской агиографии. В сочинении, посвященном Симеону Верхотурскому, отказ от литературного этикета обусловлен, на наш взгляд, другими причинами. Во-первых, в данном памятнике сказались литературные пристрастия и личные амбиции автора, Игнатия Римского-Корсакова, наиболее плодотворно работавшего именно в публицистическом жанре¹⁵ и «навязавшего» сочинению о святом правила другого жанра. Во-вторых, для автора чрезвычайно была важна *документальная точность* рассказа о вновь явленном святом и он предпочел в раскрытии агиографической темы скудость проверенных сведений литературным штампам¹⁶.

Проблема достоверности, как известно, всегда остро стояла в агиографии. Упоминания о конкретных обстоятельствах чуда, о времени, месте, свидетелях чудесных событий должны были убеждать в реальности происшедшего. Автор Повести об обретении мощей св. Симеона вдвойне был обеспокоен этой проблемой: он был участником комиссии по выяснению правомочности канонизации Анны Кашинской, признанной тогда неправомерной. Ему приписывалось и авторство Жития Анны Кашинской, опровергнутое, правда, последними научными исследованиями¹⁷. Понятно, что Игнатий с большой осторожностью подходил к составлению агиографического сочинения, придавая особое значение документальным подтверждениям и свидетельствам очевидцев. Не имея возможности расширить биографическую часть жития, автор включает в памятник детальнейшее описание святых останков, записанное вначале со слов членов церковной комиссии по освидетельствованию мощей (их имена также зафиксированы в памятнике). Стремление к объективности было в интересах владыки, собиравшегося добиться официальной канонизации Симеона Сибирского.

Интересно, что стремление к строгой документальности, связанное с разрушением литературного канона, не оказалось перспективным в истории почитания святого Симеона Верхотурского¹⁸.

В Верхотурском Николаевском мужском монастыре, куда были перенесены мощи святого Симеона в 1704 г., уже после митрополита Игнатия продолжали собирать рассказы, легенды о святом. Частично они в качестве чудес включены в поздние списки Жития, а в 1857 г. эти народные рассказы были использованы архимандритом Макарием, составившем сводное Житие Симеона — «Сказание о жизни и чудесах святого праведного Симеона, Верхотурского Чудотворца». Оно тогда же, а затем еще не раз на протяжении XIX в. было опубликовано. В этом сочинении частично восстановлены отсутствующие элементы житийного этикета: мы узнаем, что, оказывается, Симеона с молодых лет отличала «любовь к безмолвию и уединению», именно поэтому он оставил город и забрел в сибирскую глушь, что его внешняя жизнь была примером благочестия и трудолюбия, что заработанные деньги он раздавал и предпочитал незаметно исчезать, чтобы не получать благодарности за работу, а его нравственный облик дополняется такими чертами, как присущая ему доброта, послушливость и услужливость и т. д.¹⁹ Подобные поздние версии жития, во многом благодаря печатным тиражам, были намного популярнее «Повести известной и свидетельствованной...», составленной при Игнатии. По наблюдению Е. А. Рыжовой, исследовавшей некоторые северно-русские жития, наиболее популярны и любимы в народе были как раз жития этикетные, — именно они известны в десятках и сотнях списков, тогда как нестандартные жития не получили такого большого распространения²⁰. Возможно, проблема заключается в особенностях восприятия — агиографический этикет каким-то образом отвечает запросам народного читателя. Другой, если не главной причиной малой популярности ранних редакций Жития явилась архаичность слога, свойственная стилю Игнатия, а также упомянутые отступления от сюжета, назначение которых было непонятно поздним книжникам (вторичные редакции, использующие «Повесть...» Игнатия, сокращают эти не оправданные для собственно агиографического повествования длинноты).

В православной традиции Симеон Верхотурский почитается как святой-юродивый. Это отражено в Службе святому²¹, до составления ее Канон святому читался по Общей Минее юродивым. Однако, как видно из приведенной нами цитаты из «Повести известной...», в жизни его следов юродского поведения отмечено не было. Перед нами скорее благочестивый христианин, отличавшийся кротостью и аскетизмом. Даже то, что святой усердно посещал церковь, противоречит юродской парадигме, — как известно, юродивым свойственны были тайные, чаще ночные молитвы, днем же они, «ругаясь» миру, обходили стороной и церковь²².

Тем не менее уже в чудесах, записанных при Игнатии, — а все они посмертные, — поведение святого представлено как юродство²³. Он говорит «смутно», повторяя невразумительные загадочные слова, вполне в манере юродивых²⁴. Он может быть агрессивен, избивая тех, кто смеется над его культам. Так, в одном из чудес повествуется о том, как, услышав недоверчивые насмешки по поводу его почитания, он встал из своей раки и «аки гневаяся на подсмехателей, имея трость в руке своей <...>, начят тростию оною бити оных людей»²⁵. Подобно многим юродивым, Симеон Верхотурский совершает загадочные жесты — гладит по голове того, кого хочет как-то отметить, дарит ему драгоценные предметы. Очевидно, основу трактовки образа св. Симеона как юродивого заложил сам Игнатий, причем, чтобы не нарушить принцип достоверности, включил элементы юродского поведения в посмертные чудеса, отказавшись «достраивать» земную биографию святого. Отчасти, быть может, были использованы сведения о снах, признанных видениями, тем более что их содержание совпадало с тенденцией в оформлении складывавшегося образа святого. А руководствоваться митрополит Игнатий, как и его современники, причастные к агиографическому творчеству, мог известным в агиографии правилом — уподобления героя жития тезоименитому святому, жившему ранее, тому, чье житие уже вошло в традицию. «Ориентация авторов житий на духовные образцы была определяющей в смысле каноничности/неканоничности какого-либо памятника, оказывала влияние на стиль произведения»²⁶. В данном случае определяющую роль мог сыграть византийский святой — Симеон Юродивый (Эмесский). Его краткое житие в переводе на старославянский язык, не включившее подробностей экспансивного поведения этого святого, было включено в Прологи и Четьи Минеи под 21 июля. А на формирование облика св. Симеона Верхотурского мог оказать влияние другой русский святой-юродивый, герой также нестандартного (причем, относящегося к северно-русской традиции) жития — Михаил Клопский.

Таким образом, литературная история Жития Симеона Верхотурского отразила сложный процесс взаимодействия высокой книжной и «низовой» народной традиции, сочетания авторского творчества и устной легенды. Изучение наиболее ранней литературной версии духовного облика и земной жизни Симеона Сибирского, принадлежащей митрополиту Игнатию Римскому-Корсакову, позволяет выявить те первоначальные сведения о святом, что позднее обрастали легендой и донесли до нас в конечном итоге народное представление о праведнике.

Примечания

- ¹ Ромодановская Е. К. Русская литература в Сибири первой половины XVII века. (Истоки русской сибирской литературы). Новосибирск, 1973; Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. Т. 1.
- ² Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века / Издание подготовили Е. К. Ромодановская и О. Д. Журавель. Новосибирск, 2001.
- ³ Белоброва О. А., Богданов А. П. Игнатий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. С. 26–31.
- ⁴ Официальная канонизация св. Симеона Верхотурского произошла только в 1825 г., митрополит Игнатий не смог завершить начатое им дело, возможно, по причине отзыва с Тобольской кафедры в 1700 г. и последующего затем ареста (умер Игнатий в застенках в 1701 г.). Будучи приближенным к патриарху Иоакиму, сочувствуя царевне Софье, Игнатий находился в сложных отношениях с правительством Петра I, и даже в его назначении Тобольским митрополитом можно видеть «почетное» удаление из столицы, от большой политики, в которой прежде владыка активно участвовал (См.: Богданов А. П. Творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1993. Сборник 6. Ч. 1. С. 235).
- ⁵ См. публикацию ранних редакций Жития («Повесть известной и свидетельствованной...»): Литературные памятники Тобольского архиерейского дома... С. 196–271.
- ⁶ Подробнее о проблеме авторства Игнатия см.: Журавель О. Д. Житие Симеона Верхотурского (К изучению литературного творчества Игнатия Римского-Корсакова) // Источники по русской истории и литературе: Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2000. С. 73–91.
- ⁷ Литературные памятники Тобольского архиерейского дома... С. 202, 203.
- ⁸ Там же. С. 206. Поздние редакции Жития сокращают подобные длинноты, лишние для агиографического сюжета.
- ⁹ По предположению В. И. Байдина, существовал реальный прототип Афанасия. См. также исторический комментарий к образу св. Симеона Верхотурского: Святой Симеон Верхотурский — реальный человек: жизнь, житийная легенда, почитание // Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. К 400-летию Верхотурья. Екатеринбург, 1998. С. 114–129.
- ¹⁰ Литературные памятники Тобольского архиерейского дома... С. 208.
- ¹¹ Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973.
- ¹² Ромодановская Е. К. Русская литература в Сибири... С. 17–20.
- ¹³ Ромодановская Е. К. Агиографическая литература // Очерки русской литературы Сибири. С. 93.

- 14 *Дмитриев Л. А.* Жанр севернорусских житий // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27. С. 202.
- 15 Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века: Литературные панегирики / Подгот. текста, предисл. и коммент. А. П. Богданова. М., 1983.
- 16 Мы оставляем за рамками данной статьи вопрос о документальной основе сонного видения владыки, из которого он узнал об имени святого. Этот мотив дублируется в другом сюжете, где визионером является уже другой персонаж: не оставляя возможности проверить этот факт, автор, во всяком случае, умело создает иллюзию достоверности рассказа.
- 17 *Семячко С. А.* Круг агиографических памятников, посвященных Анне Кашинской. II: агиографический цикл // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 229–231.
- 18 Тенденция к строгой документальности, сопровождавшаяся несоблюдением агиографического канона, проявилась в поздней старообрядческой агиографии: в XVIII в. в рамках Выговской традиции (*Гурьянова Н. С.* История и человек в сочинениях старообрядцев XVIII в. Новосибирск, 1996. С. 156–173) и в XX в. в литературе урало-сибирских часовенных (*Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д.* Староверы-часовенные на Востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002. С. 314–394).
- 19 См., например: Сказание о жизни и чудесах святого праведнаго Симеона Верхотурскаго чудотворца. СПб., 1857. С. 5–7.
- 20 *Рыжова Е. А.* Севернорусская агиография: некоторые аспекты проблемы // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Том II. Филология. Этнология. Сыктывкар, 1996. С. 264–265.
- 21 Миня за сентябрь. М., 1978. С. 333.
- 22 *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 81–82.
- 23 Литературные памятники Тобольского архиерейского дома... С. 212–213, 217–220.
- 24 Там же. С. 213.
- 25 Литературные памятники Тобольского архиерейского дома... С. 218.
- 26 *Рыжова Е. А.* Севернорусская агиография... С. 265. О данной проблеме см.: *Плюханова М. Б.* К проблеме генезиса литературной биографии // Ученые записки Тартусского университета. Тарту, 1986. № 683. С. 123.

И. В. Кузнецов
(Новосибирск)

К вопросу об аудитории «полезных повестей» в русской культуре «переходного периода»

Дидактическая направленность была общим показателем письменной культуры XVII в. В европейской литературе она проявилась в характере повестей популярных сборников типа «*Speculum Magnum*» или «*Gesta Romanorum*», где, как писал А. Н. Веселовский, каждая повесть служила «не одним целям развлечения, но и нравоучительным¹». В русской литературе ее свидетельством стала оформившаяся жанровая разновидность «полезной повести», которую Я. С. Лурье характеризовал следующим образом: «светская, но „полезная“, не содействующая „смехотворению“ и лишенная всякой идеологической двусмысленности»². «Полезная повесть» — это малая эпическая форма, осуществлявшая коммуникативную стратегию притчи³, т. е. обладавшая нравоучительным заданием и ставившая героя (и читателя) в ситуацию ценностного выбора. Среди таких текстов — основные редакции повести о Соломонии бесноватой, о Савве Грудцыне, о Горе и Злосчастии.

XVII в., таким образом, обозначился в русской литературе появлением новой жанровой разновидности. Но возникновение литературных жанров и их разновидностей в большой степени зависит от того типа культуры, от тех мировоззренческих обстоятельств, которые сложились на данный момент в данном обществе. О роли социальной среды в становлении жанра говорил А. Н. Веселовский, указывая на «соответствие между данной литературной формой и спросом общественных идеалов»⁴. На это же указывал М. М. Бахтин: «Определенная функция... и определенные, специфические для каждой сферы условия речевого общения порождают определенный жанр»⁵. Тогда есть смысл задуматься об адресате «полезных повестей»: такая работа позволит понять тип мировоззрения, определявший культурный облик эпохи, которая соединяла средневековые и новое время.

Разговор об адресате жанра выходит за пределы «чистого» литературоведения, передвигаясь в культурологическую плоскость. Ведь адресат жанра — социальная аудитория — есть существенный компонент культуры, которую П. И. Сорокин определял как «совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения»⁶. Значит, всякая жанровая раз-

новидность является принадлежностью определенного типа культуры. При этом в культуре видится не столько «совокупность носителей», сколько «значения, ценности и нормы», то есть семиотическая система.

В основе всякой культуры лежит миф; и центральным мифом средневековой русской культуры был миф Православного христианства. Однако это утверждение справедливо относительно «официальной» письменности, создававшейся в околочерковных кругах, проникнутых ортодоксальной идеологией. Между тем существовали и другие культурные пласты, связанные с иными общественными стратами. Художественная проза существенно связана происхождением — а значит, и предметно-ценностно-содержательно — с этими пластами. На ее становление оказывали влияние и фольклор, и апокрифы, и переводные греческие и византийские повести. Вкупе они составляли «эпический», по выражению Я. С. Лурье, пласт словесности, где представление о задачах письменности было иным, нежели в ортодоксальной литературе. «Наряду со своеобразной «антиэстетической эстетикой» дидактической литературы... существовала (пусть в подспудной и неразработанной форме) и иная эстетика»⁷.

Что же за мировоззрение выступило в качестве базы этой «альтернативной» эстетики? Принято различать два основных пласта культурного творчества: академическое искусство и фольклор. Академическое искусство связано с космополитической греко-римской традицией. Напротив, фольклор — явление национальное: это форма культурного самовыражения почвенных слоев общества. Но поскольку до XVIII в. в России греко-романский академизм отсутствовал, то уместнее вести речь не о классическом искусстве и фольклоре, а о различных типах культуры, каждый из которых связан с определенным типом сознания и, соответственно, с определенными письменными практиками.

Литература и в этимологическом смысле есть письменная словесность. При помощи ее господствующий слой общества сакрализует собственные мировоззренческие доминанты. Фольклор же бесписьмен, он не стремится закрепить свои формы. В. Я. Пропп справедливо указывал: «Генетически фольклор должен быть сближаем не с литературой, а с языком»⁸, — который здесь понимается в соответствии с гумбольдтианским представлением: «язык есть как бы внешнее проявление духа народов»⁹. Но, как уже было сказано, наряду с фольклором существовали и письменные источники, не соответствовавшие официальному мировоззрению. Задаваясь вопросом об их аудитории, мы возвращаемся к понятию «пласт культуры», которое дает возможность перейти к типологическим соображениям.

Попытки сфокусировать понимание мировоззрения, легшего в основу «альтернативной» эстетики, предпринимались в XX в. неоднократно. Исследование инверсирования концептуализации христианского мифа средствами народных представлений осуществил Г. Федотов. Его наблюдения опираются на анализ русских духовных стихов, в которых нашло выражение мироощущение части общества, определяемой ученым как «близкий к Церкви слой народной полуинтеллигенции»¹⁰. Источник духовных стихов — книжность, поэтому авторами их должны были быть люди околочные. «Однако свобода обращения с церковными текстами и многочисленные искажения источников ставят их под чертой книжности, ниже среднего уровня древнерусской интеллигенции»¹¹. Федотов приходит к выводу, что носителем духовных стихов выступал слой профессиональных певцов, которые «переводили» ортодоксальное вероучение на язык народных представлений. Естественно, при этом чистота книжного христианства утрачивалась. А вместе с тем обособлялись и взгляды самих певцов, отличавшиеся как от православия социальных верхов и клира, так и от почти языческих взглядов крестьянского населения.

Г. П. Федотов проанализировал ряд текстов и показал, что христианские понятия в них предстают сильно переосмысленными. Так, «анализ народной Троицы приводит нас к неожиданному выводу: в ней за троичным именем скрывается скорее основная религиозная двоица — мужского и женского божественных начал — Христа и Богородицы»¹². Поэтому образ Христа в народной религии отличается от канонического: он стягивает на себя черты мужественности, а Богородица становится началом материнским, милующим, подающим защиту. А с другой стороны, ее нередко попросту отождествляли, на основании грамматического признака женского рода имени, с Троицей. Эта поливалентность концепта Богородицы давала основание Г. П. Федотову говорить о софийности народной религии, интуиция которой проявилась в теоретической рефлексии богословов рубежа XIX и XX вв.: В. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова. «Русская народная вера по духовным стихам... не соответствует многим догматам православия или соответствует им не в полной мере»¹³, — комментировал федотовские исследования Н. И. Толстой.

Типы верования соответствовали социокультурным пластам общества. Г. Федотов выделял три таких крупных пласта: 1) верхи общества и клир, 2) крестьянство, 3) «народная полуинтеллигенция». Эта дифференциация проводилась ученым по содержательно-религиозному признаку. Религиозное верование есть область, которая концентрирует ценностные доминанты, обуславливающие поведение человека —

а следовательно, и его материально оформленные результаты. «Г. Федотов положил начало новому направлению — исследованию религиозной и ценностной модели мира, выраженной в духовных стихах»¹⁴, — комментирует федотовское исследование С. Е. Никитина.

У Н. И. и С. М. Толстых находим перекликающееся с федотовскими наблюдениями свидетельство неоднородности социальной базы и мировоззренческого состава русского православия. «Если говорить обобщенно о генезисе русской духовной культуры до XVIII в. и части ее, называемой не всегда достаточно точно «народной», до XX в., то приходится признать, что эта культура построена... на основе «троеверия», которое в синхронном плане в народной среде воспринималось как единоверие... Это троеверие складывалось на Руси из исконного славянского язычества, христианства, воспринятого в прошлом со стороны, и импортированного вместе с ним ахристианства, преимущественно византийского образца»¹⁵. Речь идет, по сути, о тех же трех пластах, последний из которых прямо характеризуется как «ахристианство». В. В. Мартынов считает источником этого «ахристианства» персидский зороастризм. «К моменту возникновения письменности славяне успели дважды сменить свои сакральные представления. Сначала древнее язычество подверглось сильному влиянию дуализма иранского типа, затем последний, не одержав полной победы, был вытеснен христианством»¹⁶. На реликтах дуалистических верований, по мнению ученого, и построена народная вера.

К мысли о троякой дифференциации пластов в культуре подводят поздние работы М. М. Бахтина, среди которых — «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Бахтин объединял такие явления, как карнавал, жанры «демократической» литературы и площадное просторечие в принадлежности их к пласту «народно-смеховой» культуры, противостоящей культуре официальной, «серьезной». Внимание к «народно-смеховой» культуре Бахтин считал привлеченным впервые: «Проблема этой культуры вовсе и не ставилась»¹⁷, — писал он. А урбанистическое происхождение, по Бахтину, противопоставляет ее также и фольклору.

Музыковед В. Д. Конен в монографии под названием «Третий пласт», размышляя о происхождении джаза и рока и сравнивая их типологически с явлениями более ранних периодов европейской музыки, делала вывод о необходимости относить их к особому культурному пласту. «Этот пласт не укладывается в традиционное деление всей музыки на композиторское творчество оперно-симфонического плана и фольклор»¹⁸. Формулируя проблематику работы, В. Д. Конен, в частности, писала: «В какой среде возникали и развивались массовые жанры, начиная со средневековья; в чем их отличие от профес-

сионального композиторского творчества и фольклора? ...они образуют особый, самостоятельный пласт музыкальной культуры»¹⁹. На общность проблематики исследований Конен и Бахтина указывает единство интереса к адресату изучаемых явлений — провоцирующей их порождение среде. В. Д. Конен ограничивала сферу бытования фольклора только селом. Соответственно, «демократические жанры» третьего культурного пласта, как и у Бахтина, коренятся в урбанистической среде. Примечательно также, что Конен, как и Бахтин, указывала на новизну представления о третьем пласте культуры в науке.

Одним словом, в ряде гуманитарных исследований XX столетия проводилась мысль о существовании в европейской культуре, начиная со средневековья трех различных пластов: сельского фольклора, «официальной» культуры и демократической культуры городов. Субъект культурного сознания в каждом случае специфичен. Именно демократическое мировоззрение проявило себя в XVII в. в ходе процессов, создававших культуру переходного периода. С. Е. Никитина полагает, что демократический менталитет средневековья был результатом ассимиляции христианской культуры народным языческим сознанием и выступил как целостное мировидение, «которое в русской культуре может быть названо народным православием (термин Н. Н. Покровского) ...и которое породило новые фольклорные и нефольклорные жанры (духовные стихи, легенды на христианские темы)»²⁰.

Мы полагаем, что именно демократическая культура явилась средой возникновения и функционирования «полезных повестей». Названная жанровая разновидность сравнительно мало исследована в литературоведческой науке. И эта ограниченность изучения, на наш взгляд, во многом связана с недостаточным пока вниманием к проблемам культуры «третьего пласта». Изложенные в статье соображения показывают, что этот «демократический» пласт — феномен типологический, усматриваемый не только на российском материале, но и на материале иных культур. Его дальнейшее изучение позволит сделать выводы, касающиеся наиболее общих закономерностей развития культуры и в России, и в других славянских и — шире — европейских областях.

Примечания

- ¹ *Веселовский А. Н.* Теория поэтических родов в их историческом развитии. Часть 3-я: Очерки истории романа, новеллы, народной книги и сказки. Курс лекций. СПб., 1883. С. 194.
- ² *Лурье Я. С.* Судьба беллетристики в XVI веке // Истоки русской беллетристики: возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 406.

- ³ О понятии коммуникативной стратегии см.: *Тюпа В. И.* Три стратегии нарративного дискурса // *Дискурс.* 1997. № 3–4. С. 106–108.
- ⁴ *Веселовский А. Н.* Из введения в историческую поэтику // *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. М., 1989. С. 54.
- ⁵ *Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров // *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 254–255.
- ⁶ *Сорокин П. И.* Структурная социология // *Сорокин П. И.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 218.
- ⁷ *Лурье Я. С.* «Повесть о Дракуле» и древнерусская литература // *Повесть о Дракуле.* Иссл. и подг. текстов Я. С. Лурье. М.; Л., 1964. С. 63.
- ⁸ *Пропт В. Я.* Специфика фольклора // *Пропт В. Я.* Фольклор и действительность. М., 1976. С. 22.
- ⁹ См.: *Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества // *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 68.
- ¹⁰ *Федотов Г. П.* Стихи духовные: русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 123.
- ¹¹ Там же. С. 14.
- ¹² Там же. С. 32.
- ¹³ *Толстой Н. И.* Несколько слов о новой серии и книге Г. П. Федотова «Стихи духовные» // *Федотов Г. П.* Стихи духовные: русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 9.
- ¹⁴ *Никитина С. Е.* «Стихи духовные» Г. Федотова и русские духовные стихи // *Федотов Г. П.* Стихи духовные: русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 140.
- ¹⁵ *Толстые Н. И. и С. М.* О целесообразности применения некоторых лингвистических понятий к описанию славянской духовной культуры // *Вторичные моделирующие системы.* Тарту, 1979. С. 53.
- ¹⁶ *Мартынов В. В.* Сакральный мир «Слова о полку Игореве» // *Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы.* М., 1989. С. 61.
- ¹⁷ *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 24.
- ¹⁸ *Копен В. Д.* Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994. С. 4.
- ¹⁹ Там же. С. 10.
- ²⁰ *Никитина С. Е.* О взаимоотношениях устных и письменных форм в народной культуре // *Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы.* М., 1989. С. 151.

Л. А. Софронова
(Москва)

Российский Театрон

Среди деловых записей, египетских и африканских новостей, занимательных повестей в «тетратех» и «зборных книгах» XVIII в., принадлежавших людям разных сословий, которые, как свидетельствуют сделанные на них записи, нельзя было «ни продать, ни заложить», содержались пьесы. Благодаря любителям театра того времени мы можем представить, каким он был в XVIII в., вообразить, какой популярностью пользовался — если пьесы записывались и переписывались, значит, интерес к ним был отнюдь не праздный. Если театр нуждался в письменной фиксации, значит, он был не только неким развлечением, о котором забывали назавтра после представления. Он явно вошел в культурный обиход «мещан, мастеровых, купечества, даже у дворовых, не говоря уже о приказных служителях»¹. В этой среде развивался подлинный интерес к театру, приведший затем ее представителей на сцену, ставших подлинными людьми театра. Они образовали разряд «охотников», которые «компоновали» российские комедии. Своей «охотой» они создали театр, ставший необходимой ступенью в образовании русского профессионального театра. Понятие «охоты» вошло в театральную лексику эпохи. Например, в традиционном обращении к зрителям так была зафиксирована тема любительства: «А сие устроили на утешение ваше / Охотою своею собрание наше»².

Любительский театр занял особое положение в системе культуры XVIII в. Он не колебался между сакральной и светской зонами культуры и относился только к последней. На его представлениях зрителю не предлагалось осмысливать представление в символическом плане, вникать в смысл образов Храбрости или Мудрости, вдумываться в деяния Александра Македонского, чтобы понять, как театр прославляет государя. Зритель не должен был заниматься переводом увиденного в ранг общих смыслов. Теперь он следил за тем, что происходило на сцене и воспринимал все события непосредственно, напрямую, не приписывая им высших значений, не делая выводов относительно картины мира и места человека в ней.

Пьесы старинного театра изображали на сцене жизнь, естественно, под особым углом зрения, представляя ее далекой и экзотичной. Как писал М. М. Бахтин, занимательной «может быть только человеческая жизнь или, во всяком случае, нечто имеющее к ней прямое

отношение. И это человеческое должно быть повернуто хоть сколько-нибудь существенной стороной, то есть должно иметь какую-то степень живой реальности»³. Эти слова М. М. Бахтина относятся к греческому роману, но могут быть приложимы и к русскому искусству сцены XVIII в. Конечно, «степень живой реальности» в любительском театре была невелика. Театр изображал жизнь в условном виде, насыщая ее удивительными метаморфозами. Он переносил действие в заморские страны, избирал своими героями королей и принцесс, храбрых рыцарей, черкесских королевичей, а также злых разбойников, выводил на сцену разных чужеземцев, прибывших на российскую землю в поисках счастья и удачи. Все это привлекало зрителя. В этой череде героев и событий, происходивших с ними, он узнавал приметы своего времени. Жизнь, преломленная по законам искусства, приобрела самоценность и начала составлять основную художественную и этическую ценность на новом витке русского искусства сцены. Как утверждает А. В. Михайлов, в европейской культуре на рубеже XVIII–XIX вв. слово перестает быть единым средоточием знания. Только через него ранее подходили к жизни. Теперь его позиции изменились. Оно становится тонким инструментом познания жизни, значимость которой теперь очевидна. «Теперь слово ведет к жизни и лишь вторично может обретать известную самоценность»⁴.

Очевидно, что, будучи нацеленным на жизнь, театр не стремился к жизнеподобию, в нем была значительная доля условности, но его условность была иной по сравнению с театром школьным. Его тип условности, аллегорико-символический, не представлялся драматургам и постановщикам интересным, так как уводил от самого важного с их точки зрения — от жизни. Они предпочитали принципиальную недостоверность, или вымысел, о чем, например, свидетельствует уже упомянутый эпилог «Действия о короле Гишпанском», где сказано: «Хотя и не подлинная гистория бяша, / Точию пример сей бываше» (5, 81). В неподлинных историях театр был конкретным и непосредственным, даже наивным и выполнял свои художественные задачи с поистине трогательной прямоотой. Он не терпел косвенных описаний и сухих перечислений. Даже ремарки, а не только монологи и действия героев, создают некие микрообразы, в которых просвечивает очаровательное простодушие эпохи: «По окончании сия речи, и повалитца, а Саламону и Вирсавии и Адании плакат, а сенаторам и воинам пети песнь» (4, 126). Из других ремарок мы узнаем, что герой, произнося монолог, держал своего противника за ворот, царь сидел на троне, а сенаторы рядом на стульях.

Во многом данная ситуация связана с тем, что любительский театр развивался в культурном пространстве, где риторика уже не оп-

ределяла его полностью и принадлежность к ее кругу в нем не манифестировалась. Театр не представлял на сцене труды риторического витийства, как панегирический или школьный. Его пьесы уже не назывались риторическим искусством. Конечно, в них можно встретить эмблематические обороты, риторические вопросы, что не означает точного и полного следования риторическим правилам. Уровень риторических приемов построения текста — самый мелкий и поверхностный уровень риторики⁵. Во всем этом можно увидеть недостаточное знакомство с риторикой деятелей любительского театра. Отношения его с ней, действительно, определялись их принадлежностью к срединному уровню культуры и фактором образованности. Они, в основном, не заканчивали духовных школ, не были высокообразованными людьми старого образца и нашли другой путь в культуре своего времени. Их восприятие риторики происходило иным путем — не через школу, а через ряд различных посредников. Любительский театр питался романом, опытом школьных постановок, его деятели не могли не видеть риторически оформленных торжественных въездов, шествий, уличных маскарадов.

Нельзя сказать, что драматурги в поисках новых подходов сознательно отказались от грамматики культуры, какой является риторика, но в частности ее они не входили. «Для русской литературы первой половины XVIII в. риторическая культура была, прежде всего, школой обобщенного мышления, предлагавшего метод упорядочивания эмпирики жизни»⁶; добавим — и также искусства. В любительском театре также происходило это упорядочивание.

Наследуя риторическим традициям, драматурги, пусть неосознанно, осуществляли идею нормы, хотя и в упрощенном и ослабленном виде. Они опирались на свод правил, конечно, не столь четко прописанных, но зато действующих неуклонно и определяющих структуру театра полностью. Этот свод четко выражает тенденцию к формульности, в которой просматривается риторическая тенденция к организации текста на единых основаниях. Формульность пронизывала любительский театр, деятели которого не предполагали полной творческой свободы драматурга, постановщика, исполнителей, что уже не раз было замечено исследователями. Она сдерживала автора, предлагала актеру сходно вести себя в сходных ситуациях в разных пьесах, произносить почти что одинаковые монологи. Драматург заранее знал, к каким способам выражения театральности он может прибегнуть. Например, он представлял на сцене часто повторяющиеся переходные обряды, изначально насыщенные театральностью, естественно, значительно упрощенные. Он не задумывался о том, в какое пространство поместить своих героев. Его различные

локусы были предписаны и определяли характер действий персонажей и их эмоциональное состояние. Построение монологов и диалогов также происходило по определенной программе. Формульность сказывалась в оформлении сцены, реквизите, театральном костюме. Тем не менее, пьесы, создаваемые по ее правилам, не превращались в однообразные построения на заданную тему. Драматурги всегда изыскивали средства добиться разнообразия, что стало целью искусства XVIII в. Этому служило выдвижение на первый план «персонального» действия.

Не только формульность и использование риторических приемов построения текста свидетельствуют об отношениях любительского театра с риторикой. Существует еще один, при этом более важный момент их взаимодействия. В пьесах любительского театра очевидным образом проступают очертания общих риторических задач: убеждать — развлекать — трогать, хотя во многом они видоизменены их ряд перестроен. Эти задачи, следовательно, не ушли из художественного сознания эпохи, но воспринимались они иначе — была создана их новая иерархия. Кроме того, любительский театр не артикулировал их, как этого требовала риторика.

Рассмотрим последовательно те изменения, которые произошли в любительском театре с риторическими задачами. Главная из них, задача убеждать явно отошла на задний план. Театр почти никогда не говорил о необходимости в чем-то убеждать зрителей. Правда, иногда он все же продолжал их воспитывать, но это воспитание проходило уже не столь явно и не так часто, как ранее, так как теперь театр предлагал зрителю увидеть новый мир и нового героя, чья жизнь протекала в страстях и страданиях, в веселии и радости. Конечно, театр все-таки напоминал зрителю о том, что следует «поистинне» остерегаться малой искры раздора, из которой разгорается пламя войны. Но в целом он не ставил своих персонажей в пример зрителю, никогда не пытался объяснить ему, что все, что он видит на сцене, является доказательством того или иного тезиса. Этот театр не учил, а представлял, и эту свою линию он проводил последовательно. Он отказался от нравочений школьного театра, объяснявшего зрителю после представления, что «преславные вещи Бог наш сотворяет, / Иже, его любящих скорбию смиряет» (4, 220). Решившись на этот отказ, он не приблизился к просветительским идеям воспитания общества. Ни один из его персонажей не восклицал нечто похожее на известное: «Вот злонравия достойные плоды!». Обращаясь к историческим хрестоматийным примерам, этот театр не предлагал видеть в них нечто достойное подражания. Он даже выражал почти что пренебрежительное отношение к дидактике, что можно показать на

примере эпилогов пьес «О Сарпиде дуксе ассирийском», «Акт о Калеандре и Неонилде», которые, как это всегда бывает в любительском театре, содержат в себе информации о театре как таковом, а не только об отдельной пьесе.

Первый эпилог можно было бы считать обычной данью прежней традиции и даже пройти мимо него. Но он содержит краткое и очень важное замечание, относящееся ко всему любительскому театру. «Ныне же разсуждать о том оставляем» (5, 129), — заявляет эпилог. Действительно, театр оставил рассуждения о нравоучительном значении пьес, тем самым повышая их самоценность, развивая подлинно театральное слово, перевоплощение и действие. В эпилоге ко второму действию «Акта о Калеандре» Медератор как бы машет рукой на то, о чем сам только что рассказывал, и, вступая со зрителем в доверительные отношения, сообщает: «Что и глаголать, сами видевши, зрители почтеннши» (5, 305). Это высказывание свидетельствует о принципиально новой установке театральных деятелей, не оснащавших свои произведения ни предварительными указаниями, ни выводами дидактического характера. Теперь смысл пьесы был погружен в действие; зритель же должен был научиться извлекать его из художественной ткани, а не из сопровождающих ее комментариев. Если о смысле пьесы и говорилось отдельно, то его не расширяли до космических пределов, как это происходило в школьном театре.

Любительский театр своей главной задачей избрал не убеждение, а развлечение, которое порой трогательно называл утешением: «А сие устроили на утешение ваше» (5, 81). Также представление именовалось прохладой ума. Один эпилог просил поставленную пьесу «в любовь благоприятну во утешение сердца в прохладу ума своего восприяти» (4, 602). Упоминание ума и сердца знаменательно. Театр не желал просто веселить зрителей, как это делал в интермедиях театр школьный. Он, что особенно важно, значительно расширил понятие развлечения, превратив его в занимательность. Таким образом, была существенно видоизменена одна из риторических задач. Конечно, представления о занимательности театрального представления существовали и ранее. Уже автор «Темир-Аксакова действия» был уверен в том, что «комедия человека увеселити может и всю кручину в радость превратить (...) Симеон Полоцкий признавал, что он сочиняет пьесы и «утехи ради», «во утеху сердец»⁷. Но теперь понятие занимательности, заместившее собой понятие развлечения, значительно расширилось.

Занимательность, конечно, включала в себя собственно развлечение, но его позиция в пьесах принципиально изменилась. Любительский театр охотно черпал опыт низового уровня культуры. Его ин-

термидии манифестировали связь с лубком, кукольным театром, фацией. Они веселили зрителя, постепенно из отдельных сцен перерастая в комедии⁸. В них смеховой мир предстал в чистом виде. Театр представлял их зрителю, четко осознавая значимость веселой занимательности. Уже в их названиях значилось: «Интермедия самая курьезная, зрителем забавная, весьма преславная» (5, 697). Кроме того, интермедиаальный персонаж приобрел конкретные характеристики, только ему присущий внешний вид и язык. Он уже не повторял одни и те же действия, как это было в школьной интермедии, а запутывался в невероятных коллизиях и, конечно, отнюдь не всегда выходил из них с честью. Театр и в серьезных пьесах выводил на сцену Арлекина и Гаера, которые вмешивались в судьбы высоких персон. Теперь смешное соседствовало с серьезным; интермедиаальные персонажи, как тот же Гаер, врываются в пьесы, утешая несчастных влюбленных и выполняя их поручения, как всегда, не особенно добросовестно. Эти же персонажи могли выступать в малых частях драм. Гаер открывал пьесы прологом, как «Действие о короле Гишпанском», а не только завершал их в эпилогах.

Новый принцип взаимодействия смешного и серьезного театр манифестировал в малых частях драмы. Вновь обратимся к эпилогу пьесы о Сарпиде, где сказано: «Зависть издревле обыче люди убивати, многи привлече смертию очи закрывати (...) Сию историю, юже вам явихом, конец смертию Зимфона быти возмнихом» (5, 128). Эти рассуждения на первый взгляд отводят театр назад, отсылают к прежним временам. Но на самом деле они участвуют в важнейшей антитезе театрального искусства смеховое/серьезное. Нравоучительная интонация резко обрывается с выходом на сцену Гаера, выступающим со своим эпилогом («антипрологом гарликинским»). Чтобы снять впечатление от монотонного эпилога, драматург завершает «государственную» драму с трагическими эпизодами предательства, пленения и казни веселыми речами Гаера, «неправдивого сказателя», который запутывает все сказанное в серьезном эпилоге: «Как сей говорил, а вы не разумеете. Он сказал, будто и так, ан не так. Знатно тому не бывать» (5, 129). Тут же объясняется в любви к публике, обещая дать калачиков и заодно выпрашивая чарочку. Так смеховое и серьезное сходятся на предельно малом семантическом пространстве. Вхождение смехового мира на любительскую сцену свидетельствует о том, что театр полностью осознал свою светскость и охотно демонстрировал ее, подтверждая изменения позиций смехового начала. Появление комических персонажей внутри серьезной пьесы обогащало ее новой модальностью — и что самое главное — смех и слезы, комические и лирические или торжественные монологи теперь

были рядом. Конечно, это было не повсеместное явление. Смешное и серьезное еще не сомкнулись окончательно, но встречи их происходили все чаще и чаще.

Занимательность любительского театра питалась не только смеховым началом. Драматурги и постановщики обратились к переводным романам и повестям, которые адаптировали для сцены и наполнили театральностью. На сцене были поставлены переложения прозаических произведений, уже вошедших в русский обиход. Зритель следил за приключениями героев «Повести о Петре Златых Ключей»; романа баронессы Д'Онуа об Ипполите и Жулии, вышедшего в 1690 г. во Франции и известного в России во многих списках, а затем изданного в 1801 г. Также была переложена на язык сцены история об Индрикке и Меленде. Ее русский зритель уже знал, так как мог познакомиться с «Гисторией о великомочном рыцаре Гендрике, курфирстре Саксонском и о преизящной Меленде, дочери Людвига, курфирста Бранденбургскаго», переведенной с польского. Воспользовались деятели театра переводом итальянского барочного романа о верном Калеандре пера Дж. Марини. В России его перевели с немецкого. «Акт о преславной палестинских стран царице» восходит к популярной в Западной Европе повести XVII в. «Гистория о римском цезаре Оттоне и о цесаревне Алунде и детех их Леоне и Флоренсе». «Действие о короле Гишпанском» является, как считают исследователи, инсценировкой рыцарского романа.

Встреча театра и романа не представляется случайной. Как и театр, роман пока не вошел в высокое искусство, ему отказывали в четких жанровых признаках и видели в нем развлекательное чтение. Театр и роман выступали на равных основаниях на срединном уровне культуры. Они показывали мир и человека как нечто чрезвычайно увлекательное и интересное само по себе, не настаивая на их амбивалентности. Обратившись к прозаическим произведениям, театр тем самым знакомил зрителей с европейской культурной ситуацией, естественно, не современной, так как драматурги черпали вдохновение из иностранных произведений предыдущих веков, в основном, из рыцарских романов и повестей, в основе которых мог лежать и агиографический сюжет. Тем не менее театр все равно открыл окно в Европу, соучаствуя в общем культурном процессе с другими видами искусств.

Он не только предлагал зрителю обозреть дальние страны, но и относил действие многих пьес к давнему прошлому, утверждая тем самым значимость древних эпох. Отодвинутые во времени события, исторические случаи должны были затронуть воображение зрителя, но не стать параллелью современной жизни. К их восприятию подготавливали прологи, как в «Действии о короле Гишпанском»: «В древ-

ние лета о Гишпанском короле бывшем / И о баталиях с Турецким салтаном имевшем. / Турецкий салтан назло поступить пожелал» (5, 55). Стремясь к занимательности и привлекая исторический материал, театр способствовал развитию такого понятия как память истории. Пролог «Пьесы о воцарении Кира» уверял, что память человеческая «слабка» и непостоянна, что человек забывает и то, что случилось с ним недавно. Что же говорить о том, что было давно. Все предается забвению, и потому исторические события следует «возобновлять»: «Возобновити ю сицевым образом умыслихом» (4, 294).

Театр, деятели которого осознали значение занимательности, придавали ее черты и пьесам на библейские сюжеты. Священная книга перестала быть только сакральным ядром культуры, а стала источником сюжетов, которые обрабатывались уже гораздо более свободно, чем в школьном театре. В прологе «Действия об Есфири», например, выражалась надежда, что «спектатор» может «чюдному промыслу Божию удивитися и прелестной фортуне посмеяться» (4, 238). В этой небольшой фразе таится подлинный взрыв в культурном сознании эпохи. Зритель, как предполагает пролог, не должен был со смирением и почтительным вниманием следить за библейской историей, уже в который раз происходившей на сцене. Ему разрешалось удивляться известным событиям, слышать, видеть и осмыслять заново то, что было освящено великим источником. Он должен был смотреть представление об Есфири сквозь призму нового времени. Библейскими героями в этой пьесе полностью завладела Фортуна, и ее неожиданные перемены должны были радовать и веселить зрителя. Теперь он мог им смеяться и удивляться, но не извлекать урок. Также в прологе к «Гистории о Кире царе перском и о царице Тамире скифской» говорится, что она должна была вызвать у зрителя удивление: «Предложенная весма полезная могущая всякаго во удивление привести повесть» (4, 294). «Сие же воспоминающе восходит нам древле бывшая воспоминания удивлению достойная история о Кире и Тамире» (4, 581), — говорит пролог-предисловие к другой пьесе на тот же сюжет. «Акт о преславной палестинских стран царице» пролог называет «чюдом». Это все неслучайно оброненные слова, в них сквозит принципиально новый подход к театральному представлению.

Любительский театр не только перестроил иерархию основных риторических задач, но наполнил их новым содержанием, что становится очевидным и при обращении к такой риторической задаче как «трогать». Этот театр присвоил своим героям различные чувства, которые на школьной сцене были от них отделены и представляли своеобразный театр страстей, за которым он и наблюдал. Театр ново-

го типа наделил своих персонажей амбициями и чувствами, окунул их в море невероятных событий и заставил зрителя сопереживать им. Теперь зритель видел на сцене человека страдающего и радующегося, побеждающего и терпящего поражения. Например, о смиренной Есфири было сказано, что она «по слезам и стенанию к Богу (...) весь род свой во еже его обратити на милост царя испроси» (4, 274). О Гишпанском короле, что он веселится. Зритель испытывал воздействие эмоций персонажей и заражался ими. Театр, следовательно, предлагал ему не только мыслить, но и переживать, требовал от него эмоционального восприятия. Зрителю предлагалось «чувствами своими осязати» (4, 413) то, что происходит на сцене. Представление должно было вызывать не только интеллектуальную, но и эмоциональную реакцию, неразрывно связанную с интересом к занимательным сюжетам, герои которых были преисполнены самых различных чувств.

Театр добивался того, чтобы зритель давал волю своим чувствам, оплакивал несчастья знатных персон, которые они «восприяли» за истинную правду, претерпев «многая и ужасная бедствия» (5, 404), смеялся над проделками шутов и арлекинов, которые само посещение театра считали весельем: «Жаль мне вас, а не как себя, что вы утрудились зде повеселились» (5, 129). Театр призывал зрителя раскрыть свое сердце любви, внимая речам несчастных влюбленных, слушая выводы Медератора, который говорил, что «Калеандр любовь свою с Неонилдою содержаще и в чистоте заключали, за нечистоту ж Калеандр от Кризанты терпяше» (5, 305). Зритель должен был внимать эпилогу последнего действия этой обширной пьесы, повествующему о бессмертной любви, которая вела по жизни многих героев, и напоминающему: «Сию любовь сами видите» (5, 390). Испытать такое чувство эпилог желает «почтеннейшим спектатором». Маленький трактат о любви представляет предлог, или предисловие, к «Комедии гишпанской о Иполите и Жулии», главный герой которой «всех любовию своею превосходит» (5, 466). В нем говорится о том, что как разные цветы и плоды рождает разные деревья, так и разные люди любят по-разному, что замечательная история любви главного героя, Иполита, представляется на театре. Этот театр, довольно редко выводивший на сцену аллегории, оставил на ней место для Купидона, который восклицал: «Вся видятся предо мной страны и поносны. / Когда я любовию в сердце ударяю, так глубоко оно вскоре уязвляю» (4, 315), и для Венеры, обещавшей распуścić «горящи пламень при ветре великом, / разсыплется оной огонь во свете толиком» (4, 316). Таким образом, театр выражал новое самосознание эпохи, отведшей значительное место индивидуальному чувству.

Рассматривая риторическую задачу *-трогать-*, можно сделать вывод об особой модальности любительского театра. Он был проникнут жизнеутверждающим оптимизмом, который разделяли все его герои. Они, конечно, впадали в отчаяние, но чаще радовались всему тому, что с ними происходило, и всегда надеялись на лучшее. Из их речей, а также из сюжетов, почти всегда разрешающихся благополучно, складывалась модальность нового вида сценического искусства. Хотя на его сцене вершились казни, шли жестокие сражения, погибали герои, он никогда не оплакивал их горько. Например, царь Кир, плененный скифской царицей Тамирой, перед смертью заявляет: «Уже лявр упал и жизнь потеряю, / Поведай, что я как герой умираю. / Моих побед лявр тем не затмится, / Знай, что герой смерти не страшится. / Когда судьба привела меня к тебе под власть, / Не буду оплакивать мою злую часть» (4, 579). В предисловии к другой пьесе на тот же сюжет предвкушается радостное торжество общей победы, к которой стремятся гордые цари и храбрые кавалеры. Эти персонажи одерживают виктории и добиваются славы во всей Европе, идут на сражения с превеликим веселием. Казнь врага они также принимают «с увеселением» (5, 537). Оставляя в родном краю неутешных жен, они советуют им веселиться: «Прости, моя любезная, где веселис» (5, 539). Девушки, сообщая о своей беременности, также думают, что они «увеселяют» этим своих мимолетных возлюбленных. Театральные персоны всегда оставались радостными и уверенными в том, что однажды колесо фортуны остановится там, где нужно, на отметке *счастье* для добрых и на *несчастье* для злых. Для них «фартуна преиде на бесчестие, победа — на смерть, радость — на скорбь вечную» (4, 581). Здесь всегда торжествовало добро, а зло наказывалось, но происходило это в таком калейдоскопе событий, в таком круговороте веселого и печального, в котором мелькали различные персонажи, весело торжествовавшие и никого не боявшиеся, что напряженность основного этического противопоставления добра и зла как бы снималась.

Радость и веселье театр с удовольствием изображал на сцене. Здесь постоянно устраивались пиры и банкеты, звучала веселая музыка. Веселились решительно все, и храбрые кавалеры, и библейские цари. Князь Иефай так начинал свой первый монолог: «Неизреченные утехи мне водруженны / и великии весели к радости возбужденны; / не вем от радости, что чинить пространно» (4, 93). В пьесе о царе Давиде и царе Соломоне коварный Аданий удивлялся, «кто весма радостно так играет» и вопрошал: «Какую же бо радость себе днесь получает?» (4, 121). Радостно играли все приближенные по случаю коронации Соломона. Театр и аллегорий выпускал на сцену

со словами: «Взвеселитца, удивитца то сказую, повествую» (5, 339). Они всегда с удовольствием несли радостные вести. Античные боги сообщали, что они исполнены радости. Театр восхвалял героев, сивших, как солнце, которым все жизненные неудачи были ничем. «Да будем в веселии тако пребывати» (5, 292), — призывают они, постоянно «ликовствуя» и торжествуя, говоря, что если им и придется «потужити», то «маленко». Бедные, но веселые интермедийные персонажи по-своему призывали играть и петь: «Нутетко начните играть, / Повеселите меня, старичка, да и мать» (4, 481). На сцене радуются решительно все, и юные девицы, и гордые цари, и сам дьявол. Предложим взятые наугад ремарки из финалов двух пьес, в которых сквозит радостный, оптимистический настрой театра: «Поставлену столу среди театра. Царь приходит из церкви с царицею и дети с ними, и четыре Сенатора, и сядут вси, и будут веселитца» (5, 435); «Прогоняют Гаера вон, / А он не отдал им поклон. / Побежал, кричит и хохочет, / А сам с ношки на ношку скачет. / И тако ушел» (5, 742). К любительскому театру в целом можно отнести реплику одной из персон: «Ныне бо радость во мне пребывает, / егда бо мой зрак вас zde глядет» (5, 279).

Он разделял оптимизм эпохи, был органической частью умеренного русского барокко, отказавшегося от трагического мироощущения и смягчившего антистетичность барочной поэтики⁹. В этом он был не одинок и соответствовал и направленности жизни того времени, которая стремилась к нарушению границ между ней и искусством и даже к его завоеванию. Она была наполнена радостным ощущением, которое манифестировалось в многочисленных празднествах. «Представление жизни-искусства XVIII века разыгрывается по законам праздника (из стихии которого эмансипировался в эту эпоху и знакомый нам театр)»¹⁰.

Рассматривая старинные пьесы XVIII в., наряду с вопросом о риторике можно поставить вопрос о типе соотношения автора, текста и зрителя, всегда определяющей структуру текста и ее позиции в культурной среде. Автор-драматург по сравнению с поэтом и прозаиком находится в ином положении. Без помощи постановщика он не в состоянии донести текст до потребителя (зрителя). На пути к нему обязательно встает будущий режиссер, постановщик, раскрывающий авторский замысел. Таким образом, оказывается, что автор драматического текста не един. И драматург, и постановщик участвуют в его создании. В любительском театре эти ипостаси автора, кстати, могли совпадать в одном лице. Они не единственны, так как к ним присоединяется еще одна авторская ипостась — актер.

Театр XVIII в., со сцены говоря о себе, никогда не упоминает ни про драматурга, ни про постановщика. Он оставляет их за вообра-

жаемыми кулисами и сосредоточивает зрительское внимание на актере. Слушая традиционные просьбы простить за многочисленные прегрешения, снизойти к неучености, зритель ничего не узнает о драматурге и постановщике. Они не имеются в виду в таких высказываниях как: «Сейчас хотим действие показать» (5, 55). Здесь Гаер, ведущий пролог, говорит от имени участников представления, актеров. Они как бы по умолчанию встают в один ряд с автором и постановщиком и, более того, как непосредственные, очевидные создатели драматического представления, они выходят на первый план в тройственном образе автора любительского театра. Подобная ситуация типична для любительского театра. Эта тенденция просвечивает во многих малых частях драмы, привлекающих зрителей к сценическому действию и подготавливающих их к восприятию сценического искусства, но не упоминающих о создателях пьесы и представления. Итак, актер органически дополняет автора и постановщика. Единство их усилий обеспечивает осуществление театральной постановки.

Она рождается на глазах у зрителя, создается на протяжении времени, отведенного спектаклю. Ее специфика состоит в том, что ее можно рассматривать «не как готовый результат, а как развертывание замысла в единую идейно-смысловую целостность в соответствии с авторскими интенциональными установками»¹¹. Этим театральный текст отличается от текста литературного. Пройдя путь от автора и постановщика через актеров к зрителю, он выстраивается в их присутствии.

Воспринимающий театральный текст зритель в отличие от автора и постановщика фиксируется в театральном сознании эпохи. О нем, в основном, говорится как о любопытном, прилежном, благосклонном. Обилие подобных определений свидетельствует о том, что позиция зрителя по отношению к театральному тексту прекрасно осознала. Только он был главным адресатом художественного сообщения. Его роль подчеркивается многократными включениями в театральный текст. Ремарки свидетельствуют о том, что его вмешательства ожидают, что актеры не раз обращаются непосредственно к нему, а не только к участникам действия. Следует это и из текстов пьес. Ремарки замечали обращение к «спектаторам», «непечальным господам смотрящим». Персонажи адресовали им свои сомнения, делали умозаключения, рассчитывая на взаимопонимание: «Я чаю, что французам либо их отец, либо советник их сказывает!» (3, 385). Они намекали на особенности сюжетной ситуации. Так Жена просит господ зрителей милость показать, «что я здесь говорила, ему (Гаеру. — Л. С.) не сказать» (5, 763). Гаер же возмущается поведением зрителей: «Видное дело, что она вас одарила, / и не объявляет, что про

меня говорила» (5, 764). Персонажи просили у зрителей совета, спрашивали: «Да где ж и сестъ? все заняты места» (5, 708). Трогательно умоляли: «Помолитесь обо мне, господа, / О мне ко спасению дорога ума худа» (5, 700). Порой возмущались: «Нешто запылились с питья глаза» (5, 708) или предупреждали об опасности и просили о защите: «Государи мои, скоро бегите от тестя (...) обороните» (5, 766). Конечно, в основном, это происходило в интермедиях, где зрителей явно вовлекали в контакт, спрашивая: «Почему публика меня не поздравляет?» (5, 761) или предлагая целоваться с супругой некоего персонажа. Интермедийные герои явно налаживали контакт со зрительным залом, вежливо здоровались, прощались: «И тепер изволте оставатся, / а меня впредь дождатся» (5, 748). Эти примеры важны не столько как иллюстрация нарушения рампы в любительском театре, продолжающем в этом отношении традиции народного искусства, сколько как свидетельство положения зрителя в триаде: автор — текст — зритель, которое пока не поддерживается появлением фигуры резонера. По отношению к спектаклю он занимал активную позицию.

Рассмотрев эту триаду, остановимся подробнее на одной из ипостасей автора, на актере. Ему впервые было доверено изображение человека, а не его схемы. Человек перестал быть призмой, через которую преломлялись основные смыслы пьесы. Утратив эту функцию, он значительно обогатился, так как приобрел тело и душу, внешний облик и чувства и имел право ими распоряжаться, не завися от высших сил. На сцену любительского театра вышел человек плотский. Конечно, «театерские платья» помогли ему видоизменяться, но и с ними произошли большие изменения — они индивидуализировались и больше не имели символической нагрузки. Человек на сцене обрел не только телесность, но и чувства, свои собственные, а не универсальные. Теперь он не вглядывался в то, что происходит на театре страстей, которые ему представляли аллегории. Он испытывал душевные переживания, влюбляясь и страдая, испытывая неудачи и вновь обретая счастье. Появление человека на сцене стало значительным достижением любительского театра. Он приобрел динамичность, так как постоянно колебался между счастьем и горем, радостью и печалью, бывал на волосок от смерти и нередко спасался самым чудесным образом. Он постоянно действовал, сражаясь и путешествуя. При этом он всегда был равен самому себе. Человек, активно действующий и настойчиво демонстрирующий свои чувства и переживания, стал центром театрального представления; вокруг него разворачивались события; даже если он был не в силах повернуть их или остановить, он сохранял свою главенствующую позицию, определяя место и время действия.

Он не только выместил со сцены аллегорические фигуры, оказавшись главным героем театрального действия, не только приобрел реальный облик, но и значительно видоизменил главный элемент прежней сцены — художественное пространство, которое ранее было проекцией картины мира. Она, а не человек в ней, по сути дела, всегда оставалась смысловым ядром мистериального представления. Теперь христианский космос был как бы взят в скобки. Вспоминали о нем редко, и если небо и выстраивалось над головами персонажей, оно населялось античными богами. Человек определял очертания художественного пространства, которое уже не совпадало по своим параметрам с картиной мира. Она перестала занимать драматургов. Потеряв к ней интерес, но и никак ей не противореча, они выстраивали новый тип пространства, обнаруживая его разнообразие только на срединном ярусе мира — на земле.

Театр будто сократил объем картины мира; опустившись с небес на землю или поднявшись на нее из ада и больше никогда туда не заглядывая, он сосредоточился на «земном» пространстве и придал ему новые характеристики, сделав конкретным. Он значительно расширил границы этого пространства и детализировал его, уводя русского зрителя из знакомого ему мира, перенося действие в далекие страны, заставляя своих героев путешествовать из одной страны в другую, делая их местом действия, о чем свидетельствуют ремарки: «В королевстве дацком» (5, 499). Так были раздвинуты рамки реальности, расширилось художественное пространство новых русских пьес, которые уже не соприкасались с миром метафизическим.

Не менее, чем персонажу, театр уделял внимание событийности, раскрывая тем самым значимость сюжета, переставшего быть подспорьем для создания назидательного примера. Ее развитию способствовали романские сюжеты, переложенные на язык театра. В них человек еще не был интересен сам по себе, его затмевали события, с ним происходившие. «Именно действие, а не герой; сюжет, а не характер привлекали русского читателя. В «народной книге» он находил подвиги, экзотические путешествия, романтическую любовь»¹². Театр демонстрировал уверенность в том, что та чередой событий, которая проходит перед глазами зрителя, должна быть ему интересна. Он называл ее «историей», предлагая следить за тем, как она представляется действием: «Мы бо ныне почтимся на действии показати» (4, 108), «Сию историю, юже вам действием явихом» (5, 128). Один пролог самым замечательным образом обещает показать «историю» с начала до конца: «И в сей день почтимся историю о царе Давыде и сыне его / Соломоне Премудром комедию начати, / Которую можем до окончания вам показати» (4, 107). Так театр притягивал внимание

зрителя к событийному ряду, уже не подчиняя его какой-либо абстрактной идее. Он вел самостоятельное действие, и его развитие не было предрешено ни заглавием, ни прологом. Раньше зритель твердо знал, чем закончится пьеса, ибо уже из ее распространенного названия было ясно, кто и как будет наказан за грехи. Если он смотрел пьесу на библейский сюжет, то задача восприятия событийного ряда, тем более облегчалась. Зритель видел на сцене знакомый сюжет, и не *что*, а *как* было в центре его внимания. Теперь же перед его глазами шло действие, разрешения которого он не предвидел. Он вынужден был вникать в смысл событий, следить за их последовательностью. Театр держал зрителя в напряжении, и он безотрывно наблюдал «истории», содержание которых тот кратко повторял в эпилогах: «Видесте бо, како за разрыв пароля Полиартес с Тигриной о браке какая между оных брань и кровопролитие во Грецы учинися» (5, 220), «Действие наше zde ста концем украшено, / В нем же предложихом вам гисторию Кира» (4, 313). Театр сделал событие ядром представления и окружил его более мелкими и частными эпизодами. Он вел действие в разных направлениях, тем самым создавая объем и глубину пьесы. События, представляемые в школьных драмах, как и в пьесах-панегириках, обычно выглядели как движущиеся в одной плоскости, развивались только по одной заданной линии.

Настаивая на занимательности и светскости, театр ввел на сцену человека в присущей ему ипостаси и, поселив его на земле, уверенно раскрывал глубинные свойства своей природы, которые ранее сдерживались многочисленными культурными запретами, из-за которых прежнее искусство сцены нельзя назвать в полном смысле слова театральным. Его создатели осознавали значение зрелищности, но с трудом разрешали игру как таковую. В любительском театре зрелищность вплотную подошла к театральности, так как уже было осознано, что человек в полной мере на сцене может играть. Игра как действие и перевоплощение уже не сдерживалась и окончательно завоевала свое место на сцене. Если ранее приходилось наблюдать только ее ростки, предвещавшие дальнейшее развитие сценического искусства, то теперь персоны старинного театра интенсивно действовали и неоднократно перевоплощались, подчиняя свои многочисленные изменения идее идентификации. Стремление определить себя, узнать, кто есть кто, демонстрируют решительно все. Персоны постоянно проверяют свой статус и статус других, равно как и скрывают его друг от друга; решительно не узнают своих друзей и врагов, возлюбленных и родителей.

Новое искусство сцены поддерживало идею театральности, обращаясь к своим истокам, к обряду. Приводило оно на сцену театра-

лизованные формы культуры XVIII в. Он питался этими формами и в свою очередь поддерживал их статус в культуре. То время было насыщено театральностью — по-новому со времен Петра праздновался Новый год; маскарады и фейерверки устраивались по самым различным поводам; определенную долю театральности можно усмотреть в смене русского костюма на европейский. Разлитая в различных формах культурной жизни театральность не могла не оказать влияния на собственно театр, который охотно подтверждал свои связи с ней, представляя ее формы на сцене. Он во всем чувствовал свободу, осознавал самоценность изображаемого им мира. Этот мир в его быстрых изменениях, в котором мелькали персоны, чьи жизни причудливо переплетались и которые легко преображались и менялись, ибо случай играл ими, можно уподобить калейдоскопу, принимая к которому зритель поражался пестроте и запутанности действия, стараясь угадать, чем же закончится представление. Старинный русский театр в полной мере был зрелищным. Ему была свойственна развитая театральность. Он был театром действия и перевоплощения.

«Отверзаецца театр», — сказано в ремарке «Акта комедиального о Калеандре и Неонилде» (5, 223). Это высказывание можно прочесть не только как рекомендацию поднять занавес, но и как оптимистическое утверждение о началах подлинно светского театра. Театр в XVIII в., действительно, «отверзаецца», представляя во всей полноте основные черты своей природы и соответствуя своему времени. «Так называемая «петровская» эпоха (...) поражала умы современников такими внезапными «сценами», которые ближе всего напоминали какое-то феерическое театральное «действие»¹³.

Примечания

- ¹ *Старикова Л. М.* Москва стародавняя. Герои жизни и сцены. М., 2000. С. 156.
- ² Пьесы любительских театров. М., 1976. С. 81 (серия «Ранняя русская драматургия. XVII — первая половина XVIII в.»). В дальнейшем сноска на этот том (5), а также на два других тома серии, обозначенных звездочками: Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974 (3); Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975 (4) даются в тексте в круглых скобках. Первая цифра обозначает том издания, вторая — страницу.
- ³ *Бахтин М. М.* Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 257–258.
- ⁴ *Михайлов А. В.* Стиль и интонация в немецкой романтической лирике // Обратный перевод. М., 2000. С. 66.

- 5 Там же.
- 6 *Автухович Т. В.* Риторика и русский роман XVIII века. Гродно, 1986. С. 14.
- 7 *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 115.
- 8 *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977. С. 9.
- 9 *Панченко А. М.* Литература «переходного» века // История русской литературы в четырех томах. Л., 1980. Т. 1. С. 406.
- 10 *Сиповская Н. В.* Искусство к случаю // Ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000. С.
- 11 *Автухович Т. В.* Риторика и русский роман... С. 8.
- 12 *Панченко А. М.* Литература «переходного» века. С. 349.
- 13 *Державина О. А., Демин А. С., Робинсон А. Н.* Рукописная драматургия и театральная жизнь первой половины XVIII в. // Пьесы любительских театров 1976. С. 33 (серия «Ранняя русская драматургия. XVII — первая половина XVIII в.»).

Н. К. Чернышова
(Новосибирск)

Украинские духовные писатели о святителе Иннокентии, первом епископе Иркутском*

Канонизация первого Иркутского епископа состоялась в 1804 г.¹ Св. Иннокентий был вторым святым, прославленным в синодальный период истории Русской Православной Церкви. Первым был св. Димитрий Ростовский. Эти события положили начало процессу канонизации святых малороссийского происхождения, живших и действовавших в России на рубеже XVII–XVIII столетий.

В отличие от св. Димитрия Ростовского, деятельность и сочинения которого, в целом, были известны православному читателю России, главные события жизни святителя Иннокентия, приведшие к его прославлению, и начало истории почитания связаны с отдаленной окраиной Российской империи и ко времени канонизации о существовании принадлежащих ему сочинений знал лишь узкий круг иркутских почитателей, а первые тексты житий, как созданных в Сибири, так и позднее авторами общерусских сводов, содержали скудные сведения о жизни святителя². Впоследствии — на протяжении второй половины XIX — начала XX в. и уже в советское время — были опубликованы важные документы, освещающие преимущественно историю отправления епископа Иннокентия во главе Пекинской духовной миссии в Китай. Они отражали и некоторые сибирские эпизоды его жизни. Трудami преимущественно сибирского духовенства были разысканы в архивах, а также собраны у частных лиц исторические документы, позволившие восстановить картину пребывания св. Иннокентия в Сибири. Речь идет, прежде всего, об исследовании П. В. Громова «Начало христианства в Иркутске и святой Иннокентий, первый епископ Иркутский. Его служение, управление, кончина, чудеса и прославление» (Иркутск, 1868). Однако малороссийский, московский и петербургский периоды жизни святителя по-прежнему оставались малоизвестными.

Почитание св. Иннокентия было распространено прежде всего в Сибири, однако прослеживается оно и на его родине, проявляясь, в частности, в интересе к личности прославленного церковью земляка со стороны духовных писателей Малороссии. Однако первым среди

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 00-01-00441а.

упомянувших о св. Иннокентии авторов, связанных с украинской культурой, был светский историк, известный мемуарист, автор «Писем о Восточной Сибири» А. И. Мартос.

А. И. Мартос не оставил самостоятельного сочинения, посвященного святителю, однако «Письма...» содержат фрагмент о нем. Сведения, сообщаемые А. И. Мартосом, в целом, восходят к тексту первого жития, с которым писатель мог познакомиться в Иркутске, частности, по книге Н. Семивского. Заклучая повествование о святителе, А. И. Мартос писал: «Малороссия есть отечество Св. Иннокентия из фамилии Кульчицких. Он обучался в Киеве и в Печерской Лавре пострижен в монашество. Кажется, Промысел предоставил сему знаменитому граду образовать людей великих в Церкви и Отечестве. Нестор, отец Российской истории, св. Димитрий Ростовский, бессмертный автор Четьи-Миней, Феофан, Гавриил, Леванда и многие мужи, могущие стать наряду с Боссюэтами, Массильонами, были питомцы Киева...»³ Возможно, на составление данного перечня писателя натолкнуло чтение «Словаря духовных писателей Греко-Российской церкви» Киевского митрополита Евгения (Болховитинова) (СПб., 1818), ссылка на который приводится в «Письмах...»⁴. В сочинении А. И. Мартоса, таким образом, содержится по существу первая в историографии попытка представить святителя Иннокентия как носителя традиций южнорусской культуры и подчеркивается роль этих традиций в формировании культуры общерусской.

Интерес к личности сибирского святого на его родине усилился после выхода в свет сводов житий русских святых, включавших и житие святителя (упомянутого «Словаря о святых...», сочинений А. Н. Муравьева и архиепископа Филарета (Гумилевского))⁵.

Важный вклад в прославление св. Иннокентия принадлежит русскому духовному писателю малороссийского происхождения архим. Модесту (Д. К. Стрельбицкому) (1823–1902). Интерес к святителю у архим. Модеста возник во время служения в Чернигове, где иркутского святого почитали как земляка. Там, как сообщает биограф писателя, он почерпнул «немало сведений из письменных документов и на основании рассказов о жизни апостола Сибири»⁶.

Судьба привела архим. Модеста в Иркутск, куда он был определен ректором духовной семинарии. В своем назначении архимандрит увидел действие Промысла Божия, что побудило его заняться разысканием и собиранием сведений о святителе. Несмотря на то, что незадолго до приезда ректора в Сибирь прот. П. Громов выявил и опубликовал большое количество документов о первом иркутском епископе в упомянутой книге «Начало христианства в Иркутске...», деятельность архим. Модеста также была успешной и плодотворной,

при этом она шла в совершенно ином направлении. Рассмотрим некоторые итоги трудов архим. Модеста.

1. В результате работы в библиотеке Иркутской духовной семинарии им были выявлены книги и рукописи, принадлежавшие святителю Иннокентию, в том числе с собственноручно переписанными им сочинениями, его записями. Рукописные сборники из собрания святителя были описаны архим. Модестом, и результаты этой работы были представлены в книгах «О проповедничестве Св. Иннокентия, первого Иркутского епископа и чудотворца» (Иркутск, 1873) и «Жизнь Св. Иннокентия, первого Иркутского епископа и чудотворца» (1-е изд. Пермь, 1878), преимущественно в обширных примечаниях. Описание библиотеки святителя явилось важным вкладом архим. Модеста в изучение взаимовлияния южно-русской и общерусской культуры.

2. Архим. Модестом были разысканы, собраны и опубликованы в книге «О проповедничестве...» проповеди и поучения святителя Иннокентия (числом 35). Проведя большую исследовательскую работу, публикатор все-таки осторожно формулировал ее итоги: в заглавии книги стояло: «...с присовокуплением поучений и слов известных с именем Св. Иннокентия». Однако, несмотря на то, что именно после публикации архим. Модеста тексты проповедей стали широко использоваться в литературе о святителе Иннокентии, переиздавались⁷, значение издания произведения русской духовной литературы XVIII в. осталось малооцененным филологической и исторической наукой, и дальнейших исследований памятника не было.

3. Архим. Модестом установлены некоторые важные факты биографии святителя. Так, он назвал — хотя и приблизительно — дату рождения св. Иннокентия — 1680 или 1682 г., на страницах рукописей он обнаружил и его мирское имя — Иоанн, а также имя его отца — также Иоанн⁸.

Собственно украинские и даже польские источники, упомянутые архим. Модестом, не слишком много добавили к известным фактам биографии святителя⁹. Основным же источником для ее восстановления, выявления семейных, личных и духовных связей первого Иркутского епископа послужило изучение книг и рукописей его библиотеки. Биограф высказывает предположение о родстве святителя с переводчиком Московского Малороссийского приказа Григорием Колчицким и подтверждает его наличием в библиотеке святителя книг, ранее принадлежавших известному государственному деятелю времени царя Алексея Михайловича Борису Ивановичу Морозову, после смерти которого они достались, как предполагает архим. Модест, Григорию Колчицкому, а от последнего — семье или самому святителю

Иннокентию¹⁰. Сведения же о Григории Колчицком архим. Модест почерпнул, по-видимому, из упоминавшейся книги Н. Маркевича.

Имя еще одного родственника св. Иннокентия — писаря при Кочубее Колчицкого — архимандрит установил на основании изучения другой книги Иркутской семинарии. «В числе разных брошюр на латинском и польском языках, переплетенных вместе, — писал ректор, — находится рукопись на польском языке: *Diagium* сейма избрания Польского короля по смерти Яна III Собесского, 1697 г., почти вся писанная Иннокентием...». Этот диарий, считает биограф, переписал для писаря ученик Киевской академии Иоанн Кульчицкий как родственник¹¹. Эти, хотя и гипотетические, высказывания архим. Модеста, не слишком много добавляя к собственно биографии святителя, являются попыткой показать участие семьи святителя в истории Малороссии и России второй половины XVII в.

4. На наш взгляд, наиболее убедительно архим. Модесту удалось показать влияние на святителя Иннокентия малороссийской духовной литературы XVII в. и его собственный творческий вклад в православную культуру сибирского региона, и здесь писатель также опирался на материалы библиотеки святителя и на анализ содержания его поучений.

Сравнивая проповеди святителя с произведениями проповедников южнорусской школы, архим. Модест проследил их сходство с проповедями Лазаря Барановича, Кирилла Транквиллиона, Антония Радивиловского, Иоанникия Галятовского и др., а также его современников — Дмитрия Ростовского, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича. Обнаружил архим. Модест и прямые заимствования из «Учительного Евангелия» Транквиллиона, «Ключа разумения» Иоанникия Галятовского. Изучение проповедей святителя позволило архим. Модесту подробно проследить влияние на творчество Иркутского епископа митрополита Стефана Яворского, служившего в Киевской и Московской славяно-греко-латинской академиях, где обучался, а затем преподавал святитель. Работа с рукописями библиотеки Иркутской семинарии дала архим. Модесту дополнительные доказательства влияния митрополита Рязанского на св. Иннокентия. Среди приобретенных святителем Иннокентием архим. Модест называет сборник-конволют с сочинениями Иоасафа Кроковского, переписанный Стефаном Яворским. Еще одна рукопись, принадлежавшая святителю, под названием «*Concha novas easque praesentis aevi genio accomodatas, artis oratoriae gemmas continens ad littus boristhenis nata ad exornandos ingeniorum vertices kijowo-mohileanis rhetoribus Collata*». ([Kijoviae], 1698) представляла собой переписанные им собственноручно, как установил архим. Модест, сочинения Сте-

фана Яворского¹². Продолжая работу с рукописями святителя, ректор в 1875 г. опубликовал «Два слова преосв. Стефана Яворского, митрополита Рязанского» из собрания епископа Иннокентия¹³.

5. Важно, наконец, подчеркнуть, что архим. Модест продолжил и развил тенденцию, наметившуюся в произведениях малороссийских авторов, в частности, упомянутого ректором В. И. Аскоченского, рассматривать личность и деятельность святителя Иннокентия в ряду выпускников академии, «прославивших ее своими трудами на пользу церкви и отечеству»¹⁴. В произведениях архим. Модеста святитель Иннокентий представлял и несколько иной ряд, а именно — святых и подвижников благочестия — выпускников академии, таких, как Феодосий Углицкий, Иоанн Максимович, Димитрий Ростовский, Антоний Стаховский¹⁵.

Киевская духовная академия стала духовным центром, где проявилось особое почитание сибирского святого. В 1898 г. здесь была установлено празднование (26 сент.) памяти прославленных церковью святителей-воспитанников Киевской духовной академии — Феодосия Полоницкого-Углицкого, архиепископа Черниговского (канонизирован в 1896 г.), Димитрия Ростовского и Иннокентия Иркутского¹⁶. В связи с этим событием на страницах трудов Киевской духовной академии были опубликованы жития трех святителей — «киево-братских молитвенников»¹⁷. Автор житий пишет о христианских добродетелях каждого из них и подчеркивает существовавшую между ними духовную связь. «Если святитель Феодосий назидал и ныне назидает всех преимущественно примером своей благочестивой жизни, а святитель Димитрий Ростовский учил и учит преимущественно своим словом, <...> то святитель Иннокентий Иркутский являет нам образ истинного подвижника веры, благовестника Евангелия Христа среди язычников, апостола Христова Восточной Сибири»¹⁸.

Киево-Печерская Успенская лавра также принадлежала к числу духовных центров, где почитался св. Иннокентий. Так, на столетний юбилей открытия мощей святого Лавра откликнулась выпуском листов под названием «Просветитель Сибири — святитель Иннокентий» (1905. 4 с.). В листках содержится краткое описание жизни и подвигов святителя, подчеркивается его связь с Феодосием Черниговским, Димитрием Ростовским и их близость Киеву, Киево-Братской академии и Киево-Печерской лавре и значение Киева и лавры, даровавших России «духовных просветителей не только в границах нашего отечества, но и в самых дальних окраинах Руси, какова холодная Сибирь»¹⁹.

Филаретом (Гумилевским) и архим. Модестом упомянуты Черниговская и Волынская епархии как регионы Малороссии, где особо

почитался святитель Иннокентий. К 70-м гг. XIX в. относится появление краткого жития святого, созданного на Волыни. Оно принадлежало перу прот. А. Ф. Хойнацкого и было опубликовано сперва на страницах «Волинских епархиальных ведомостей», а затем в составе «Очерков из истории Православной церкви и благочестия на Волыни» (Житомир, 1878) и, наконец, в Москве в книге под названием «Православие на западе России в своих ближайших представителях, или Патерик Волыно-Почаевский (М., 1888)²⁰. Составление Патерика явилось итогом многолетней деятельности А. Ф. Хойнацкого по укреплению православия на Волыни. Принципы включения святых в состав Патерика были продуманы и изложены во введении. Автор отмечает, что история Волинской церкви богата «обилием святых мужей, самим Господом прославленных за высокие подвиги веры и благочестия на пользу и спасение России»²¹. В Патерике представлены святые, связанные с Волинской землей происхождением и «служением Господу, Церкви и родине»; угодники Божии, происходившие из Волыни и служившие церкви в других регионах России (к их числу принадлежал и св. Иннокентий); «всероссийские первосвятители, архипастыри и другие подобные им лица, по разным обстоятельствам посещавшие Волинские пределы для устройства Волинской церкви»²². Начинается же ряд включенных в Патерик жизнеописаний именами свв. Кирилла и Мефодия и заканчивается последним из святых угодников, «принадлежавших истории Волинской церкви» — святителем Иннокентием Иркутским²³. Тексты о святителе Иннокентии в названных публикациях А. Ф. Хойнацкого, мало отличаются друг от друга. В изложении биографии святителя автор следует преимущественно за Филаретом (Гумилевским), ссылаясь также на «Акафист святителю Иннокентию», «Словарь исторический о святых...» и труды прот. П. В. Громова и архим. Модеста.

Для автора Патерика и его единомышленников важно было подчеркнуть, что «волинский народ» «вовсе не так беден духовным достоянием <...>, что из среды его выходили и среди его подвизались и спасались родные ему святые мужи, почитаемые и признаваемые всею Российской Церковью»²⁴. В память Волинских угодников Божиих был установлен день празднования Собора Всех святых в земле Волинской просиявших. В настоящее время он отмечается 10 окт. В Собор включен и св. Иннокентий, епископ Иркутский. Основа («проект») службы Волинским угодникам принадлежит А. Ф. Хойнацкому²⁵.

В число православных авторов писавших о святителе Иннокентии, входил церковный историк, профессор Казанского университета К. В. Харлампович. Западнорусское происхождение К. В. Харламповича обусловило, по-видимому, включение истории малороссий-

ской церкви в сферу его научных интересов. К празднованию столетнего юбилея открытия мощей святителя в журнале «Православный собеседник» была помещена его статья, посвященная Иркутскому епископу. К. В. Харлампович хорошо был знаком с публикациями о святителе, осуществленными в XIX — начале XX в. Подводя итоги сделанному, К. В. Харлампович отмечал, что «биографические данные о св. Иннокентии скудны и точностью не отличаются»²⁶. Сам ученый также не вводит в оборот новых сведений, но интерпретирует уже известные факты, проявляя интерес ко многим сторонам деятельности епископа Иннокентия, изученным к тому времени, в том числе к его проповедничеству, и активно ссылаясь на работу архим. Модеста «О проповедничестве...».

Биография святителя дала материал и для обобщающей монографии К. В. Харламповича, посвященной проблеме малороссийского влияния на великороссийскую церковную жизнь. Святителя Иннокентия он включает в число активно поддерживавших церковные реформы Петра I архиереев-малороссов, которых характеризует людьми «в большинстве высокообразованными и выдающимися по нравственным качествам», о чем свидетельствует факт канонизации трех из них: Димитрия Ростовского, Иннокентия Иркутского и Иоасафа Белгородского²⁷.

Многие из затронутых в данной работе вопросов нуждаются в дальнейшем, более глубоком изучении. Духовные писатели Малороссии, проявляя интерес к личности и деятельности святителя Иннокентия, прежде всего, стремились включить его в круг выдающихся деятелей Русской Православной Церкви, имевших южнорусское происхождение, подчеркивая значение малороссийского периода его жизни и малороссийских духовных связей. Не случайно, что опубликовал и прокомментировал его проповеди и поучения архим. Модест, глубоко погруженный в судьбы православной церкви в Малороссии.

Деятельность и творчество святителя Иннокентия было для малороссийских писателей еще одним важным свидетельством вклада южнорусской культуры в культуру общероссийскую. Вместе с тем большинство из упомянутых нами авторов были сторонниками концепции единства малороссийской культуры и истории с Россией и ее народом.

Примечания

- ¹ Указ Святейшего Синода // Полное собрание законов. 1-е собрание. Т. XXVIII, 1.12.1804, № 21540. СПб., 1830. С. 724–726. См.: Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 173–176.

- 2 *Семивский Н.* Новейшие любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири. СПб., 1817; Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых / Изд. Яковлева М. Л. и Эрнстова Д. А. СПб., 1836.
- 3 *Мартос А. М.* Письма о Восточной Сибири Алексея Мартоса. М., 1827. С. 25–29.
- 4 Там же. С. 28–29.
- 5 Житие святителя Иннокентия Иркутского // *Муравьев А. Н.* Жития святых Российской церкви, также иверских и славянских. СПб., 1856. Ноябрь. С. 330–362; Преставление св. Иннокентия епископа Иркутского // *Филарет (Гумилевский)*. Русские святые, чтимые всею церковью или местно. Чернигов, 1865. Отд. 3. Сент., окт., нояб., дек. С. 428–466.
- 6 *Левитский К.* Высокопреосвященнейший Модест, архиеп. Волынский и Житомирский. (По поводу пятидесятилетнего юбилея в священном сане). 1849 – 2 февр. 1899 // Волынские епархиальные ведомости. 1899. № 8. Ч. неофиц. С. 268.
- 7 Поучения Святого Иннокентия, первого епископа Иркутского / Вознесен. Св. Иннокентия обитель. Иркутск, 1900. 148 с.
- 8 *Модест*, еп. Екатеринбургский, викарий Пермский. Жизнь Св. Иннокентия, первого Иркутского епископа и чудотворца. Пермь, 1878. С. 7, 8.
- 9 Encyklopedia Powszechna. Т. 16. Warszawa, 1864; *Аскоченский В. И.* Киев с его древним училищем и академией. Ч. 1. Киев, 1856; *Маркевич Н. А.* История Малороссии. Т. 1–5. М., 1842–1843 и др.
- 10 *Модест*, еп. Жизнь... С. 5.
- 11 Там же. С. 6.
- 12 В каталоге «Русские и иностранные рукописи Научной библиотеки Иркутского государственного университета» (Ч. 1–2 / Науч. ред. В. Н. Алексеев. Новосибирск, 1995–2001) названные рукописи значатся под № 351 и 391.
- 13 Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1875. № 48, 49.
- 14 *Аскоченский В. И.* Киев с его древнейшим... Ч. 1. С. 292.
- 15 *Модест*, еп. Жизнь... С. 9.
- 16 ЦГИА Украины (Киев). Ф. 711. Оп. 3. Д. 2416. Л. 1–1 об.
- 17 Жизнь и подвиги святителей Христовых и чудотворцев, киево-братских молитвенников, святых Феодосия Полоницкого-Углицкого, архиеп. Черниговского, Димитрия Туптало, митрополита Ростовского и Иннокентия Кульчицкого, еп. Иркутского // Труды Киевской Духовной Академии. 1899. № 9. С. 3–30. То же: Отд. отт. Киев, 1899.
- 18 Жизнь и подвиги... С. 22.
- 19 Просветитель Сибири... С. 4.
- 20 Переиздан в Житомире в 1997 г. На обороте титульного листа указано: Печатается за изданием: издание книгопродавца Д. И. Преснова. М., 1888.

-
- 21 Православие на западе России... С. 8. Ссылка дается на издание 1997 г.
- 22 Там же. С. 9.
- 23 Там же. С. 233–236.
- 24 Там же. С. 14–15.
- 25 [Хойнацкий А. Ф.]. В память совершившегося пятидесятилетия со дня воссоединения Почаевской Лавры из унии в Православие. 10 окт. 1831–1881 года: Молитвенное обращение к святым угодникам Волынским. [Почаев], 1885. 30 с.
- 26 Харламович К. В. Св. Иннокентий Иркутский // Православный собеседник. 1905. Нояб. С. 513–530.
- 27 Харламович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 505.

Н. Д. Зольникова
(Новосибирск)

Древнерусское наследие и новая литература в творчестве сибирских народных писателей-староверов конца XIX — начала XX вв.*

Творчество староверов всегда считалось ориентированным на древнерусскую традицию с ее давно известным кругом богословской, служебной и четьей литературы. Однако староверию довольно быстро пришлось, с одной стороны, заниматься догматическим и обрядовым творчеством, а с другой — не отставать от переживаемого времени, соответствовать ему. Новая литература стала проникать в сочинения старообрядцев, но способы ее усвоения и использования, как показал еще очень небольшой ряд изысканий, были всегда очень своеобразными. Исследование доли этой новой литературы в творчестве староверов, характер ее симбиоза с древнерусским наследием представляют сейчас одну из самых увлекательных задач для ученых. В особенности это касается XIX–XX вв., когда цивилизация Нового времени стала бурно развиваться в России, интенсивно проникать в быт и сознание старообрядчества — казалось бы, одной из самых консервативных частей общества. Недаром в это время широко разворачивается старообрядческая полемика, в том числе и связанная с обсуждением влияния «внешней» культуры; на эту полемику вскоре начинают работать гектографы, а чуть позже, после указа о веротерпимости — и типографии староверов.

Эти процессы прогрессировали на Урале и в Сибири несколько не менее, чем в европейской России — еще и потому, что общины староверов имели давно и хорошо налаженные связи, охватывавшие одноверцев каждого согласия независимо от географических координат; немалую роль играло и межконфессиональное общение, в том числе и литературное.

Программное сочинение главы уральских и зауральских часовенных В. А. Ласкина, написанное в 1910 г. и посвященное проблеме пришествия антихриста, дает один из образцов сочетания древнерусской и новой литературы в старообрядческом творчестве. В этом большом сочинении 8% всех цитат приходится на Ветхий и Новый завет без толкований. Еще 69% составляют отсылки к патристике и другим толкованиям Священного Писания, богослужебному кругу, а

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 01-01-00426а.

также традиционным четвѣм книгам (Минеям четвѣм, Прологам, древнерусской нравоучительной литературе, повестям и т. п.). При чем отсылки эти в большей степени уже сделаны на книги «гражданской печати», в основном — на синодальные издания. Около 10% — цитаты из различных изданий XIX–XX вв. на русском языке, посвященных истории церкви, старообрядчества и современной религиозной полемике. Чрезвычайно характерно для часовенного писателя, что наряду с традиционной для древней письменности «Христианской топографией» Козьмы Индикоплова и «Церковной историей» Евсевия (последняя — в издании на русском языке) он использует один из учебников Д. И. Иловайского, какой-то Всероссийский словарь и издание 1866 г. под названием «Первые четыре века христианства»¹. Таким образом, при общем преобладании в сочинении В. А. Ласкина источников древнерусского круга можно отметить и заметную долю современной ему литературы, а также изданий патристики XIX — начала XX в., среди которых есть труды и имена, не переводившиеся в Древней Руси. Из современных ему сочинений В. А. Ласкин извлекает не новейшие концепции, а, в основном, необходимые ему факты для подкрепления своих теоретических построений, в целом оставаясь на весьма консервативных позициях. Так, принимая участие во Всероссийском съезде старообрядцев-часовенных в 1911 г., он выразил неудовольствие по поводу того, что в земской школе детям староверов внушают, «что земля вертится, а солнце стоит»².

Использование древнерусской и новой литературы как источника для сочинений в беспоповских согласиях можно проследить на примере комплекса филипповских³ сборников, составленных в самом конце XIX в. в таватуйском скриптории (ныне Тюменская обл.). По замечанию описавших их исследователей, сборники представляют собой «своеобразную антологию крестьянской старообрядческой литературы»⁴. Подсчет цитат осуществлен по упомянутому выше подробному описанию тюменских сборников (некоторое количество цитат осталось неучтенным по разным причинам). Из четырех сборников привлечены лишь три, хранящиеся в Собрании Института истории СО РАН, так как сборник УрГУ в значительной части копирует содержание одного из сборников Собрания ИИ СО РАН. В трех сборниках с единой пагинацией насчитывается 2595 листов, и в целом объем учтенного материала можно считать вполне репрезентативным для суждения о круге чтения тюменских филипповцев.

Прямых, без посредников, цитат из Ветхого и Нового завета без толкований, как и у В. А. Ласкина, немного: в тюменских сборниках их 8% от общего количества. Патристика (включая толкования Священного Писания) и агиография составляют примерно 48,6% цитат.

Еще 7% приходится на книги служебного круга, а нормативная каноническая литература Византии и дониконовской России дает 15%. Исторические и географические сочинения византийского и древнерусского репертуара (включая переводы средневековых западноевропейских сочинений) составляют 3% цитат, средневековая повествовательная и полемическая литература — еще 4%, полемическая литература украинского происхождения (XVI — первой половины XVII вв.) — 6%. Ссылок на церковную литературу официальной церкви синодального периода и антистарообрядческие сочинения несколько больше 1%, на государственные нормативные акты — 0,4%, на светскую литературу нового времени — еще 1%, и, наконец, доля современных сочинений староверов, включенных в сборник, составляет 10% (без учета внутренних цитат, имеющих в каждом из этих сочинений). Таким образом, 87% цитат относится к кругу древнерусской традиции, а остальные — к новой литературе. Результат не отличается кардинально от получившегося при анализе источников сочинения В. А. Ласкина.

Это сходство обнаруживается и в древней, и в новой частях источников труда Ласкина и тюменских книжников. Идентичен состав книг служебного круга, к которым обращаются часовенный и филипповские авторы, традиционной агиографической и четьей литературы (у филипповцев, кстати, есть выписки из Жития свв. Мефодия и Константина!). Правда, в тюменских сборниках, имеющих энциклопедический характер, цитируется более обширный круг памятников каждого типа. Так, к различным житиям филипповцы обращаются 62 раза, причем, как правило, каждое из житий цитируется по одному разу, гораздо реже — по два и более. Если добавить сюда 38 цитат с глухой отсылкой на Четьи минеи и 67 — на патерики, то их окажется 167.

Среди отцов церкви традиционно более всего ссылок на Иоанна Златоуста: обращений к разным сочинениям Иоанна Златоуста, а также приписываемым ему, у филипповцев 141! Доля другой патристики скромнее: цитат из трудов Василия Великого насчитывается 12, Симеона Фессалоникийского — 11, Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника — по 9, Андрея Кесарийского — 7, Ипполита Римского — 4, Иоанна Дамаскина и Исаака Сирина — по 3. Цитируют они и российских писателей-святых: — 22 раза Иосифа Волоцкого, 10 раз — Максима Грека, 1 раз — Нила Сорского. Кроме того, тексты отцов церкви содержатся во многих книгах служебного круга, но в отсылках на них имена не упоминаются. Так, в тюменских сборниках 62 раза цитируются различные типы евангелий с толкованиями, при этом указывается только название самого евангелия без имени толковате-

лей (в частности, 30 раз используется Благовестное евангелие с толкованиями Феофилакта Болгарского). Точно так же упоминаются три вида толковых апокалипсисов: толковый, «трехтолковый» и «седмито́лковый» (в названии последних двух отражено количество толкователей), на которые в сборниках приводится в целом 7 ссылок. Семнадцать цитат приходится на Толковый апостол. Список можно продолжить. Таким образом, количество использованной в тюменских сборниках патристики значительно больше, чем это может показаться по цитированию с упоминанием имен.

Показательно, что и часовенный В. А. Ласкин, и филипповцы на равных правах цитируют отцов церкви и церковных писателей древнерусского круга чтения как по «дониконовским», так и по синодальным изданиям (и XVII в., и позднейшим). Авторитетность последних, по-видимому, не подвергается сомнению. Однако обращает на себя внимание, что вопрос о типе издания или возрасте цитируемой рукописи для филипповцев, как, впрочем, и для часовенных, не безразличен. В тюменских сборниках есть указания, что цитата взята из «древлеписьменной» Кормчей, «древлеписьменного» Устава или «древлепечатной» Псалтири⁵. Там же можно встретить отсылку на Требник «большой Иосифовский»⁶. Из двух Требников, изданных при патриархе Иосифе, большим, видимо следует назвать изданный в 1651 г., так как он насчитывает 688 листов в 2^о, в то время как в требнике 1647 г. — 265 листов в 4^о⁷. В другом случае упомянут Часовник «с переводу Иосифа патриарха», что, очевидно, указывает на позднее переиздание для нужд староверов одного из иосифовских Часовников; подобные переиздания «буква в букву» пользовались у старообрядцев авторитетом наряду с «дониконовскими».

С другой стороны, тюменцы не раз специально отмечают факт «новой печати»: например, Требник «новопечатный» или Евангелие недельное «единоверческой печати»⁸. В последнем случае имелось в виду позднее издание типографии единоверцев, которых, строго говоря, ни официальная церковь не считала старообрядцами, ни последние «своими». Однако книги служебного круга, выходявшие из типографии единоверцев большими тиражами, пользовались у староверов широким спросом именно потому, что тщательно копировали «дониконовские» издания в содержании и оформлении (как известно, единоверцы даже пытались при производстве бумаги для подобных книг копировать водяные знаки XVII в. — в целях придания своей продукции пушей «достоверности»). В ряде случаев термин «новопечатный», сопровождающий ссылку на служебную книгу, прямо указывает на ее «неистинность» с точки зрения составителей тюменских сборников. Так, в одной из цитат из «новопечатной книги

Псалтыри» говорится о том, что «три первыми персты вообразати на лице своем честный крест» есть «древнее от святых апостол и святых отец предание»⁹. Это утверждение помещено рядом с другими цитатами из «никонианской» литературы, и в контексте вся подборка призвана дать представление о главных расхождениях старообрядчества с официальной церковью, о «ложности» никоновских «новин».

Как обычно для староверов всех согласий, в тюменских сборниках большое количество выписок сделано из изданий, появившихся незадолго до реформ патриарха Никона и служивших основой для многих богословских и, в частности, эсхатологических старообрядческих теорий. Это так называемые Книга о вере (34 цитаты) и Кириллова книга (42 цитаты).

И у часовенного В. А. Ласкина, и у филипповцев встречаются общие отсылки к произведениям, содержащим апокрифы — например, к Житию Андрея Юродивого. В значительно более обширных филипповских сборниках цитируется также Слово Палладия мниха, Вопросы и ответы Псевдо-Афанасия ко князю Антиоху, Житие Василия Нового, Слово об антихристе, приписываемое Ипполиту Римскому и помещенное в популярном у всех староверов Большом Соборнике и др. Характерной особенностью творчества писателей-староверов можно назвать заметное присутствие в нем фольклора. Так, в одном из помещенных в филипповских сборниках современных старообрядческих сочинений в ткань полемиического произведения вплетается фрагмент сказки (она зафиксирована Д. К. Зелениным в относительно близких местах — в Пермской губернии)¹⁰. Сильнейший отпечаток фольклора — волшебных сказок, быличек и т. п. носит часовенный Урало-сибирский патерик, основу которого составили рассказы поколения староверов конца XIX — начала XX в.

Состав использованной в рассматриваемых сочинениях религиозной полемики, безусловно, отличается у авторов часовенного и филипповского согласий, но есть и общие авторитетные памятники раннего старообрядчества, к которым постоянно обращаются и те, и другие: труды Аввакума, дьякона Федора, пятая Соловецкая челобитная и в особенности произведения виднейших выговских писателей Семена и Андрея Денисовых.

Описавшие филипповские сборники исследователи отметили в свое время, что одной «из особенностей... сборников является пестрота материала. Составители включают наряду со святоотеческими сочинениями подборки из современных газет, журналов, правительственных указов и постановлений»¹¹. Обращение к новейшим источникам у филипповцев и часовенных Урала и Сибири оказывается во многом сходным и диктуется их собственными прагматическими

целями, независимо от контекста используемого. Из синодальной церковной и современной светской литературы и периодики черпаются факты по истории раскола православной церкви, освещающие учение господствующей церкви или же ее позицию в отношении староверов. В ряде случаев свидетельства «новопечатных», то есть признаваемых официальным православием книг, призваны указать на противоречия противников и невольные свидетельства в пользу староверов. Так, «в новопечатной книге Баронии (имеются в виду Церковные летописи Цезаря Барония. — Н.З.)... скажет тако: Православныя греки не токмо брад не брили, но и не сообщалися з брадобрийцами»¹².

Интерес к современной литературе в ряде случаев прямо диктовался стремлением отстоять древние устои перед напором новой цивилизации; в таком случае речь шла уже о противостоянии современным естественнонаучным теориям и связанному с ними атеизму, который начал широко распространяться в русском обществе. Подобную полемику можно отметить и у часовенных, и у филипповцев. Высказывание В. А. Ласкина по поводу современных астрономических представлений мы уже приводили выше. В филипповских сборниках помещена обширная полемика одного из крестьян-староверов против переведенной на русский язык и не раз переизданной в России книги американского астронома О. М. Митчелла «Небесные светила или планетные и звездные миры...». Исследователь этой полемики А. Г. Мосин пришел к выводу, что автор критического разбора книги Митчелла был озабочен тем, чтобы «наставить на путь истинный заблудших, укрепить тех, кто усомнился в истинности вековых установлений»¹³. Отметим, что по тем же причинам и такое же, как и у филипповского автора, обращение к современности во всеоружии древних текстов, критика новейшей астрономии с точки зрения святоотеческих обличений «лжефилософов» и астрологии были развернуты позже, в первой половине XX в., в трудах игумена сибирских часовенных скитов о. Симеона¹⁴.

Появление в поздней старообрядческой литературе своеобразных энциклопедических сборников (по терминологии староверов — «цветников») большого объема (около и более 1000 листов с сотнями статей) не было особенностью творчества только зауральских народных писателей. На Русском Севере (республика Коми, Удорский район) известна библиотека крестьянского рода Рахмановых — Палевых — Матевых, в которой есть аналогичные обширные сборники, составленные во второй половине XIX — начале XX в. Археографы определили их как «настоящую библиотеку в миниатюре», в которой представлена уставная, богослужебная, догматическая тематика, выписки

четьего характера и т. п. Доступная нам краткая характеристика этих сборников указывает на их типологическое сходство с зауральскими филипповскими сборниками. Более подробное описание библиотеки удорских крестьян фиксирует как большое количество книг служебного круга, патристики, отмеченных выше авторитетных для всех согласий сочинений раннего старообрядчества, так и наличие современной литературы, церковной и светской, в том числе по истории старообрядчества¹⁵.

Сделанные выше наблюдения позволяют выдвинуть предположение, что во второй половине XIX — первой половине XX в. в сибирском старообрядчестве (а возможно, не только сибирском) предпринимались попытки заново осознать и защитить свое мировосприятие, во многом сформированное традиционным древнерусским кругом чтения. Необходимость этого диктовалась и обострившимся соперничеством различных старообрядческих согласий, и ускоряющейся агрессией культуры нового времени, нередко сопряженной с атеизмом. Отдельные произведения, сборники сочинений одного автора, сборники энциклопедического характера демонстрировали преобладающую опору на указанный традиционный круг древнерусской литературы, дополненный старообрядческими сочинениями. Доля новейшей литературы, в особенности светской, оказывается очень небольшой, и используется она скорее в прикладных целях или в целях прямой полемики с цивилизацией Нового времени.

Примечания

- ¹ *Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д.* Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 410.
- ² *Клюкина Ю. В.* Старообрядцы-часовенные Урала в конце XIX — начале XX вв. // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000. С. 95.
- ³ Принадлежность сборников этому согласию староверов определили А. И. Мальцев и Н. С. Гурьянова.
- ⁴ *Беляева О. К., Панич Т. В., Титова Л. В.* Описание тюменских старообрядческих сборников из рукописных собраний ИИФФ СО АН СССР и УрГУ // Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 156–268.
- ⁵ Собрание Института истории СО РАН (далее — ИИ СО РАН). № 13/74. Л. 86 об., 295 об., 373 об.–374, 377 об., 639, 639 об. и др.
- ⁶ Там же. Л. 87 об.–89, 94–98.
- ⁷ *Зернова А. С.* Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный каталог. М., 1958. С. 65 (№ 197), 73 (№ 234).

- 8 Собрание ИИ СО РАН. № 13/74. Л. 86 об., 738.
- 9 Там же. Л. 302.
- 10 Там же. Л. 295 об.–306; Великорусские сказки Пермской губернии / Сост. Д. К. Зеленин. М., 1991. С. 372.
- 11 *Беляева О. К., Панич Т. В., Титова Л. В.* Описание... С. 159.
- 12 Собрание ИИ СО РАН. № 13/74. Л. 302.
- 13 *Мосин А. Г.* «Анти-Митчелл» — памятник полемической мысли крестьян Зауралья конца XIX в. // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 305.
- 14 *Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д.* Староверы-часовенные... С. 261–273.
- 15 *Рыжова Е. А.* Библиотека удорских коми старообрядцев Рахмановых–Палевых–Матевых // Взаимодействие книжных традиций Поморья, Урала и Сибири в XVI–XX вв. Екатеринбург, 2002. С. 152–162.

В. А. Нилова, Ю. И. Штакельберг
(С.-Петербург)

Два польских короля в костеле на Невском проспекте

Станислав Лещинский, сын Рафала, познанского воеводы, и Анны, урожденной Яблоновской, прославился тем, что дважды занимал польский трон, но оба раз его приход к власти происходил под влиянием стран (России, Пруссии, Швеции), утверждавших свои интересы в этой части Европы. В 1699 г. Август II поставил Лещинского познанским воеводой, каковым последний и оставался в период шведской оккупации вплоть до февраля 1704 г., когда Генеральная конфедерация (одним из инициаторов создания которой был сам Лещинский) объявила положение бескорольевья и летом того же года провела выборы, в результате которых Лещинский вззошел на польский трон.

Избрание неполным составом выборщиков, под охраной шведского войска, вызвало противодействие со стороны значительной части польской шляхты, что и явилось причиной гражданской войны между сторонниками Станислава Лещинского и Августа II Саксонского. Двоевластие формально прервалось в 1705 г., когда Август II отказался от претензий на польскую корону, но в 1709 г., после Полтавского сражения, практически прекратилась шведская оккупация Польши, и Лещинский, изгнанный Августом II из страны, скрывался сначала в Щецине, потом в Швеции, а в 1713 г. ринулся в турецкие земли выручать плененного турками Карла XII. После гибели шведского короля в Норвегии в 1718 г. Лещинский поселился в Эльзасе в патрицианском семействе Веберов. В 1721 г. он принимал участие в подготовке Ништадского договора, где пытался добиться восстановления своих королевских полномочий и выплаты Августом II компенсации в миллион талеров за ущерб, понесенный во время войны, но эти претензии не были приняты. В 1725 г., выдав дочь Марию за пятнадцатилетнего французского короля Людовика XV, Лещинский становится королевским тестем и впоследствии дедом десяти детей Марии, в числе которых был дофин Людовик, отец будущего короля Людовика XVI. В 1733 г., получив известие о смерти Августа II, Лещинский скрытым образом пробирается в Польшу, а 9 сентября 1733 г. в Варшаве, на Воле, огромным большинством собранных здесь шляхтичей он провозглашается королем польским. Однако 5 октября на правом берегу Вислы, на Праге, оппозиция избирает Августа III, сына скончавшегося короля. Поддержка саксонца русскими

войсками привела к тому, что Лещинский вынужден был бежать в Гданьск и пробыл в городе, осажденном русскими под командованием генерала-фельдмаршала Миниха, до начала 1734 г. Опасаясь пленения, Лещинский тайно выбрался из города и отправился в Пруссию, но не получив там реальной поддержки, перебрался в Лотарингию, где 26 января 1735 г. навсегда отрекся от претензий на польский трон в обмен на пожизненное правление герцогствами Лотарингия и Бар. В сущности, правил он лишь номинально, полностью подчиняясь своему зятю, французскому королю. Двор Лещинского был небогат, но гостеприимен, его любили посещать деятели науки, культуры, известные политики. В отличие от других дворов Европы, где на первый план волей-неволей выходили политические интересы, здесь предпочитали заниматься искусством, философией, устраивали научные диспуты и концерты, не придавая большого значения соблюдению этикета. Прожив в изгнании 30 лет, Лещинский умер в 1766 г. в результате несчастного случая: 5 февраля, когда 89-летний экс-король находился один в своем кабинете и слишком близко подошел к камину, на нем загорелся халат, и 23 февраля Лещинский скончался от тяжелых ожогов. Его похоронили в соборе Нотр-Дам-де-Бон-Скюр в Нанси. Собор этот, заложенный самим Лещинским в 1738 г., был освящен три года спустя, — в нем предполагалось устроить усыпальницу для членов его семейства. В 1747 г. здесь была погребена супруга экс-короля, Катажина из рода Опалинских, а в 1768 г. рядом с могилами родителей похоронили сердце французской королевы, Марии Лещинской.

После Французской революции начались посмертные приключения короля Станислава. В 1793 г., в разгар революционных событий в Нанси, королевское погребение было разгромлено, и кости экс-короля выброшены из склепа. Два фрагмента скелета подобрал некий садовник Леопольд Ля Марш, а в 1814 г. они были выкуплены генералом Михалом Сокольниковым, который во главе отряда польских легионеров проходил через Нанси по пути на родину. Правда, муниципалитет города, защищая честь Нанси, упорно утверждал впоследствии, что растаскивание королевских останков не имело места. Кроме того, в 1803 г. проводился осмотр королевского погребения. После чего склеп был наглухо замурован, о чем составили соответствующий акт (*Zwłoki królewskie w Nansi // «Kraj». 1884. 6 (16) maja. № 19. S. 19*). Однако, в том же еженедельнике «Kraj» (1884. 7 (19) kwietnia. № 15 и 1884. 27 maja (8 czerwca). № 22) приводятся свидетельства современников, что два фрагмента останков были вывезены генералом Сокольниковым из Нанси. Далее его отряд двигался через Форт-Луи, Вюрцбург, Майнинген и прибыл в Лейпциг, где по странному стечению обстоятельств застал адъютантов князя Юзефа Понятовского,

племянника последнего польского короля Станислава Августа. Князь Юзеф героически погиб во время «битвы народов» под Лейпцигом: прикрывая отход французских войск, он утонул в реке Эльстере. Теперь его тело везли в Польшу, и отряд Сокольников присоединился к траурному кортежу. В начале августа 1814 г. кортеж прибыл в Познань, а 8 августа в городском кафедральном соборе была отслужена панихида в память Станислава Лещинского, по окончании которой каноник Кавецкий произнес проповедь, а затем слово взял генерал Сокольников. Он открыл перед собравшимися останки короля и продемонстрировал штандарт его личной охраны, подаренный гражданами Нанси. Генерал сообщил, что намеревается поместить королевские останки в краковском пантеоне на Вавеле (*Jochowski K. Zwłoki królewskie w Poznaniu // «Kraj». 1884. 6 (8) maja. № 19. S. 21*). Неизвестно, почему его замысел остался неосуществленным: в 1816 г. генерал погиб во время военного парада в Варшаве, а ковчег с фрагментами костей короля оказался в коллекции Варшавского общества друзей науки. После восстания 1831 г., когда из Варшавы вывозились культурные ценности и, в частности, материалы Общества, ковчег с костями Лещинского был отправлен в Санкт-Петербург.

Через 23 года в Императорской Публичной библиотеке сотрудником Антоном Ивановским был обнаружен ящик, происхождение которого вызвало необходимость особого объяснения, за которым обратился к различным учреждениям директор Императорской Публичной библиотеки Модест Андреевич Корф.

В письме от 2 апреля 1855 г. Корф сообщает министру народного образования А. С. Норову, что в фондах подведомственной ему библиотеки имеется «взятый из Варшавского общества любителей наук железный ящик в виде гробницы, а в нем маленький гроб, обитый пунцовым бархатом, заключающий остатки костей Станислава Лещинского». «По встретившейся ныне надобности честь имею обратиться к В. Пр-ву с покорнейшею просьбою доставить мне, сколько возможно, подробных сведений из дел вверенного Вам министерства о помянутом железном ящике», — пишет далее М. А. Корф.

12 мая 1855 г. А. С. Норов отвечает, что «ящик этот при отношении от 10 мая 1834 г. за № 1906 по Высочайшему повелению препровожден был тогдашним министром императорского двора в Министерство народного просвещения для хранения в Публичной библиотеке и передан бывшему директору оной 22 мая».

18 мая М. А. Корф обращается в Министерство Императорского двора к В. И. Панаеву за более подробными сведениями, и 17 июня 1855 г. В. И. Панаев предлагает «обратиться за вопросом по сему предмету к г-ну тайному советнику Красовскому». А. И. Красовский,

с 1833 г. возглавлявший Комитет цензуры иностранной, после подавления польского восстания 1830–1831 гг. руководил вывозом культурных ценностей из Варшавы. 28 июня 1955 г. М. А. Корф просит А. И. Красовского «сообщить... возможно подробные сведения о помянутом ящике с остатками костей Станислава Лещинского».

5 июля 1855 г. М. А. Корф получает ответ от А. И. Красовского, который, просмотрев свои варшавские записи, смог лишь процитировать секретаря и члена Варшавского общества любителей наук г. Голембиовского, «который в описи, составленной им и подбиблиотекарем (впоследствии библиотекарем) Заорским, назвав упомянутый гроб с костями „Monument avec une partie des ossements de Stanislas Lenczyński“ (sic!), сообщил, что он был подарен Обществу генералом Сокольниковым: „Don du général Sokolnicki“».

Полтора года спустя, 4 апреля 1857 г., в письме к министру двора, графу В. Ф. Адлербергу М. А. Корф высказывает следующее мнение: «Принимая во внимание, что предмет этот, как вовсе не принадлежащий к коллекции Публ. библиотеки и имеющий одно только историческое значение, без всякого даже религиозного, был предназначен для оной единственно потому, что в то время не существовало другого места, более приличного для его помещения, я полагаю, что существующий ныне в Вильне музей был бы более приличным местом для хранения упомянутого ящика». 28 апреля 1857 г. министр внутренних дел С. С. Ланской передает М. А. Корфу повеление государя императора, поставленного в известность о сложившейся ситуации: «Предать гробик этот земле там же, где похоронен бывший король польский Станислав Понятовский, если то может быть выполнено без всякой огласки».

Последний польский король был погребен в костеле св. Екатерины 22 февраля 1798 г. После антироссийского восстания 1793–1794 гг. он был сослан Екатериной II в Гродно, а после смерти императрицы немедленно возвращен в Петербург Павлом I. Новый император с удовольствием отменял распоряжения своей венценосной матери.

Экс-монарх прибыл в столицу 10 марта 1797 г. Из предложенных ему резиденций он выбрал Мраморный дворец, с большой пышностью построенный по приказу Екатерины II в подарок очередному фавориту, Григорию Орлову, умершему, впрочем, еще до окончания строительства. Императрица выкупила дворец у его родственников. Но и Станислав Август прожил во дворце всего 11 месяцев. Павел I устроил ему пышные похороны, достойные коронованной особы и потребовавшие немалых затрат.

В подвале костела, в его западном крыле, выгородили нишу для склепа, куда через отверстие в полу опустили гроб с останками короля.

Отверстие закрыли каменной плитой с надписью по-латыни: «Станислав Август, король польский, красноречивый пример переменчивости судьбы, принимавший ее благосклонность с мудростью, а удары с мужеством, умерший в Петербурге 1 февраля 1798 г. в возрасте 66 лет. Павел I, самодержец и император всея Руси, другу и гостю возложил».

Поскольку плиту поместили в проходе от ризницы к боковому алтарю и по ней ежедневно проходили десятки людей, то через несколько лет надпись истерлась настолько, что стала совершенно нечитаемой. В 1821 г. положили новую плиту. Инициатором этого был могилевский митрополит, архиепископ Станислав Бюгуш-Сестженцевич. Он поручил составить новую надпись, в которой был целый ряд ошибок и неточностей, но к середине XIX в. и ее уже невозможно стало прочесть. Плиту заменили еще раз, восстановив первоначальный вариант надписи. Через некоторое время буквы, выбитые в черном граните, снова поистерлись, их отлили из меди и вмонтировали на месте выбитых в камне.

28 апреля 1857 г. М. А. Корф пишет министру императорского двора: «...если бы [министр] внутренних дел и нашел возможным исполнить высочайшую волю, как в ней указано, без всякой огласки, то я с моей стороны никак не могу принять на свою ответственность удержания в тайне того обстоятельства, что ящик вдруг исчез из библиотеки и однако же не попал в музей. О моем представлении все знают, отношение же министра внутренних дел, секретное и по содержанию и по форме, останется в тайне, и непонятная, по неведению о нем, пропажа ящика тотчас породит разные толки и догадки, частью, вероятно, совершенно нелепые, которые не ограничатся одними стенами библиотеки».

3 мая 1857 г. министр двора, граф В. Ф. Адлерберг, сообщает М. А. Корфу мнение Александра II: «Лучше предать Лещинского земле в здешней католической церкви, безгласно, т. е. без какой-либо торжественной церемонии, без опубликования, а не тайно (что было бы конечно невозможно) и повелеть мне сообщить о сем предложении министру внутренних дел, с тем, однако ж, чтобы он предварительно объяснился с римско-католическим митрополитом». М. А. Корфу предлагается самому принять решение и сообщить о нем В. Ф. Адлербергу.

6 мая 1857 г. М. А. Корф передает содержание письма В. Ф. Адлерберга министру внутренних дел и просит изложить свое мнение.

12 мая 1857 г. министр двора уведомляет М. А. Корфа, что министр внутренних дел уже договорился с митрополитом римско-католической церкви о захоронении останков Станислава Лещинского в костеле св. Екатерины.

16 мая 1857 г. М. А. Корф передает министру внутренних дел останки экс-короля, и 20 мая в библиотеку приходит уведомление о том, что «ящик, заключающий в себе гробик с костями бывшего короля польского Станислава Лещинского» министром получен*.

О церемонии захоронения останков Лещинского существует достоверное свидетельство ксендза Адама Станислава Красицкого, впоследствии епископа Виленского и многолетнего ссыльного в Вятке, умершего в Кракове в 1891 г. В своем письме в редакцию газеты «Кгај» (1884, № 17) он вспоминает, что в результате совместных усилий министра Ланского и могилевского митрополита Жилинского, при участии графа Сиверса был составлен акт на латинском языке. «На другой день, — продолжает епископ, — митрополит вместе со мной и графом Сиверсом пришел в костел св. Екатерины, где заранее предупрежденный приор Станевский уже собрал 12 человек, чтобы поднять каменную плиту при закрытых костельных дверях. Плиту подняли, открыв склеп, где покоился прах Понятовского; ступеней там не было, и нам пришлось спускаться по приставной лестнице. Мы положили туда опечатанный ковчежец и акт, составленный по-латыни и подписанный митрополитом, графом Сиверсом, мною и Станевским. Затем плиту вернули на место и приказали никому о том не рассказывать». Таким образом, фрагменты останков Станислава Лещинского, 23 года пролежавшие в коридоре Публичной библиотеки, казалось, обрели место последнего упокоения.

Существует еще несколько описаний этого события, составленных людьми, не принимавшими в нем непосредственного участия. Они изобилуют живописными подробностями, но ни порядок действий, ни список участников не соответствуют данным, приведенным у А. С. Красицкого.

Через сорок восемь лет, в 1905 г., специальная комиссия, прибывшая из Польши, вскрывала саркофаг и проводила освидетельствование захоронения последнего польского короля. В состав комиссии входили: доктор Станислав Томкевич, историк искусств, доктор Антони Хмель, историк, приходской священник ксендз Константы Будкевич, профессор Станислав Пташицкий и епископ К. Годлевский. В протоколах этого осмотра нет никаких упоминаний о ковчежце о останками Лещинского, так же, как нет сведений об обследовании склепа после революции 1917 г., хотя вскрытие

* Все указанные документы со 2 апреля 1855 г. до 2 мая 1857 г. находятся в архиве Российской национальной библиотеки. Ф. 1. 1855. Л. 20. Дублиеты этих документов в русских рукописных копиях хранятся также в собрании рукописей Католического университета в г. Люблине (фонд Б. Уссаса).

захоронения, по всей видимости, все-таки производилось, о чем свидетельствует акт, составленный членами комиссии по реэвакуации польских культурных ценностей в соответствии с пунктами Рижского договора:

«В Петрограде, 31 января 1922 г., в 3 ч. 20 мин. по местному времени, мы, нижеподписавшиеся, прелат Его Святейшества, ксендз Константы Будкевич; ксендз профессор Бронислав Уссас, — глава Петроградского представительства польской делегации в смешанных комиссиях, реэвакуационной и специальной в Москве; Миколай Пиотровский — руководитель музейного отдела Специальной комиссии польской делегации в Москве; Эмиль Вежбицкий, эксперт той же делегации, вошли в склеп короля Станислава Августа при костеле св. Екатерины, Невский 32, с целью исследования состояния захоронения короля, а также ковчежца, содержащего останки короля Станислава Лещинского.

Могила короля Станислава Августа находится в следующем состоянии:

1. Посреди склепа, на каменном постаменте, стоит деревянный, сильно разрушенный, гроб короля Станислава Понятовского, обитый серебряной парчой с польскими орлами, монограммами короля и гербами „Челек“. На крышке гроба стоит маленький, металлический, сильно заржавленный ковчежец с останками короля Станислава Лещинского.
2. В углу склепа в беспорядке свалены обломки бывшего металлического гроба, состоящие из семи фрагментов, рядом стоят две урны из жести, в которых находятся сердце и внутренности короля Станислава Августа.
3. После снятия ковчежца были подняты доски крышки гроба короля Станислава Августа и, по установлении освещения, проведено освидетельствование останков. Труп покрыт тканью кармазинового цвета в очень хорошем состоянии, без каких-либо повреждений. На месте черепа и левой ноги сохранилось небольшое количество белого праха.
4. После осмотра останков гроб был снова накрыт досками и очищен от пыли.
5. Ковчежец короля Станислава Лещинского, сильно заржавленный и с помятой крышкой, был открыт, и в нем оказалась жестяная ковчежец меньшего размера, в котором находилась коробочка, обитая бархатом, а в ней совершенно истлевшие кости. Подобное состояние захоронения и содержащегося в нем гроба следует объяснить сильной влажностью в склепе, заливаемом грунтовыми водами во время наводнений.

6. Ковчежец Лещинского был вынесен из склепа, опечатан и отправлен в Польшу.

кс. Константы Будкевич

кс. Бронислав Уссас

Миколай Пиотровский

Эмиль Вежбицкий».

Члены комиссии долго и безуспешно искали акт на латинском языке, о котором упоминал Адам Станислав Красицкий: документ бесследно исчез. Ковчежец с фрагментами костей Станислава Лещинского был вынесен из склепа Миколаем Пиотровским, который перевез его в Москву, а затем в Польшу. По прибытии в Варшаву Пиотровский передал останки короля польским властям. Ковчежец довольно долго путешествовал по инстанциям, что дало повод известному писателю Ст. Василевскому поместить в одной из газет фельетон «Король в шкафу». Наконец, в 1928 г. ковчежец перевезли в Краков и поместили в часовне Зигмунта III, где он и находится до сих пор.

После визита реэвакуационной комиссии королевский склеп в бывшей столице Российской империи не возбуждал особого интереса у горожан. Лишь в некоторых путеводителях по Ленинграду, где говорится о костеле св. Екатерины, можно встретить лаконичное упоминание о могиле Станислава Августа.

В Варшаве же 30 января 1927 г. был создан негласный комитет по возвращению на родину останков Станислава Августа. Председателем комитета стал архиепископ Эдвард Ропп, а сопредседателями профессор Варшавского политехнического института Антоний Пониковский и граф Эдвард Красинский. На первом организационном заседании присутствовал и Миколай Пиотровский.

Однако дальше организационного заседания дело не двинулось. «Первым шагом по пути реализации планов Комитета я счел обращение за поддержкой к маршалу Пилсудскому, — вспоминал Эдвард Ропп. — Мне удалось получить аудиенцию в Бельведере, но визит сложился неудачно. Маршал неважно себя чувствовал, а потому приняла меня его супруга и, узнав о цели моего визита, заверила меня, что маршал не намерен чинить препятствия нашим инициативам, тем более, что память о Станиславе Августе так тесно связана с Варшавой. Не считая возможным более беспокоить маршала, я некоторое время спустя обратился к вице-премьеру Казимежу Барту, но встретился, однако, с его резко отрицательным отношением к нашей инициативе. Мы время от времени встречали сочувственное отношение к деятельности Комитета, но это не дало конкретных результатов» («Kurier warszawski». 1938. 6 sierpnia. № 214).

Бывший чиновник польского Министерства иностранных дел Станислав Забелло в своей статье «Показания главного свидетеля», опубликованной в журнале «Kierunki» № 24 за 1961 г., так объясняет проволочки с передачей останков последнего польского короля на родину: «Как известно, король Стась умер в Петербурге. Рижский трактат предполагал возвращение всех национальных реликвий, вывезенных из Польши в Россию царским правительством. О передаче останков Станислава Августа особого упоминания не было, и формально это дело не вписывалось в статьи трактата. Поэтому польские члены эвакуационной комиссии, лично убедившись, что гроб Понятовского в подвале костела св. Екатерины находится в сохранном состоянии, обратились к советским властям за разрешением на отправку его в Польшу.

Дело перешло в разряд тех, что требуют решения на дипломатическом уровне.

Прошло несколько лет. Наступил 1938 год, период нового ухудшения советско-польских отношений. Из рапорта консульства Речи Посполитой в Ленинграде я узнал, что один из вариантов перестройки города предполагает взрыв костела св. Екатерины».

Теперь, когда встал вопрос о закрытии костела, было получено разрешение советской власти на отправку останков короля в Польшу. Перед этим вновь был произведен осмотр захоронения и составлен нижеследующий документ:

«Протокол от 27 июня 1938 г. в Ленинграде, в римско-католическом костеле св. Екатерины (пр. 25 Октября, № 32/34) в связи со вскрытием склепа с останками короля Станислава Августа Понятовского в присутствии комиссии:

консула Польской Речи Посполитой Е. К. Вессе
представителя Ленсовета И. И. Ларионова
представителя Куйбышевского райсовета Л. М. Гаврилова
настоятеля костела К. И. Флориана
председателя двадцатки Ф. А. Александровой

При вскрытии склепа обнаружены:

1. Деревянный гроб с открытой поврежденной крышкой. На гробе видны остатки золотой парчи с польскими орлами и монограммами короля. Внутри — разложившиеся останки человеческого тела, корона и орлы на золотой истлевшей материи.
2. Рядом с гробом найдены 2 металлические урны, из которых одна высотой 48 см, диаметром 38 см, а вторая высотой 20 см, а диаметром 12 см.

После осмотра вход в подвал был закрыт, опечатан печатью костела св. Екатерины и сдан под ответственность двадцатке.

Вел протокол сотрудник консульства Стефан Полонский».

Вскоре был составлен и второй протокол:

«4 июля 1938 года в Ленинграде в римско-католическом костеле св. Екатерины (пр. 25 Октября, № 32/34) по случаю подготовки к перевозу останков польского короля Станислава Августа Понятовского в присутствии комиссии:

консула Польской Речи Посполитой Е. К. Вессе
представителя Ленсовета И. И. Ларионова
представителя Куїбышевского райсовета Л. М. Гаврилова
представителя Ленинградского таможенного управления
Ю. П. Солнцева
настоятеля костела К. И. Флориана
представителя похоронного бюро Ю. В. Васильева
секретаря О. К. Полонского

При повторном осмотре склепа установлено соответствие записи акта от 27 июня 1938 г. Наложённые печати на внешних дверях подвала не повреждены. После поднятия каменной плиты гроб и две урны подняты в помещение костела. После таможенного и санитарного освидетельствования останки вместе с гробом были помещены в металлический ящик, а затем в деревянный, а урны после внешнего осмотра помещены в металлический ящик, находящийся внутри деревянного. Гроб и ящик с двумя урнами были заколочены, опечатаны представителем таможенного управления и печатью польского консульства. Во время осмотра соблюдались все санитарные правила и требования дезинфекции как в подвале, так и в той части костела, где производилось обследование.

Гроб и ящик с урнами до отъезда находились внутри костела под присмотром представителя двадцатки Г. И. Александровой».

Как сообщает «Goniec warszawski» от 8 августа 1938 г.: «9 июля на вокзал в Бресте прибыл запломбированный товарный вагон». Возможно, железнодорожники не заинтересовались бы так этим вагоном, если бы не разнесся слух, что содержимое его является «сверхсекретным». Почти всем велено было помнить, что в вагоне содержится некая тайна, о которой не только не следует говорить, но лучше всего вообще забыть. После чего вагон отогнали на запасной путь и оставили там на 4 дня.

Поскольку вскоре стало известно, что советские железнодорожные власти в сопроводительном листе написали «останки», служащие терялись в догадках, чьи же останки могли прибыть в Польшу из России. Ввиду того, что родственники за останками не являлись, кто-то высказал мысль, что, вероятно, это прах некоего человека, умершего много лет назад, а приказ о сохранении тайны был отдан потому, что покойник был важной персоной.

Наконец, 14 июля тяжелый почтовый грузовик забрал содержимое вагона, но шофер этого грузовика на вопрос, куда он направляется, ничего не ответил. Тем не менее, непонятно, каким образом, жителям Бреста все же стало известно, что речь идет об останках короля, и по городу разнесся слух, что «кажется, из России привезли прах Станислава Августа».

Что делать с останками экс-короля, по сути дела, не знал никто. К моменту прибытия «секретного» вагона в Брест не было в живых ни председателя Комитета по возвращению праха Станислава Августа на родину архиепископа Эдварда Роппа, ни Миколая Пиотровского, доставившего в Польшу ковчежец с костями Станислава Лещинского. Станислав Забелло пишет:

«Я обратился к министру иностранных дел Ю. Беку. Бек не хотел принимать решения сам и вынес дело на рассмотрение „большой четверки“, в которую, кроме него, входил президент Мосцицкий, маршал Рыдз-Смиглы и премьер Ставой-Складковский. Ареопак этот постановил, что можно... гроб похоронить где угодно, только не в Кракове и не в Варшаве. Краков исключается, „поскольку Пилсудский не может лежать на Вавеле рядом с любовником Екатерины“, а Варшава — „поскольку это было бы слишком большой честью для торговчанина“. В этих границах я получил от Бека полную свободу действий. Мне казалось, что это не может быть город, с которым Станислава Августа ничто не связывало, а поэтому, с исключением Кракова и Варшавы, отпали и остальные большие города, такие, как Познань, Вильно и Львов. Наконец, я остановился еще на трех вариантах. На первое место я поставил Гродно, город, который король Стась очень любил, на второе — Волчин, где в имени, принадлежавшем семейству матери, родился будущий король Стась. На последнее место я поставил Рыки, в те годы маленький городок, где находится могила королевского родителя, краковского каштеляна Станислава Понятовского».

Впоследствии, при обсуждении этого вопроса, захоронение короля в Гродно было признано неуместным: именно в этом городе произошло одно из самых драматических событий в жизни последнего польского короля — его отречение от трона.

«Между Рыками и Волчиным я выбрал последний, — продолжает Забелло, — поскольку там был прелестный маленький костел в стиле рококо (один из немногих в Польше), который стоило по такому случаю отреставрировать... Как аргумент в пользу Волчина я высказал соображение, что отреставрированная архитектурная жемчужина и могила короля при ней привлекут туристов и разбудят к жизни забытый, но прелестный городок».

Итак, без особых церемоний гроб с останками короля Станислава Августа был помещен в склеп костела в Волчине, а через год с небольшим грянула Вторая мировая война и 17 сентября 1939 г. Волчин отошел к Советской России. Так король вновь оказался на чужбине.

Об этой истории вновь заговорили, когда выяснилось, что можно перевезти останки короля в Польшу. Было это в 50-е гг., когда по решению Фонда польской культуры в Варшаве собрали комиссию для обследования захоронения короля в Волчине. Однако захоронения, как такового, уже не существовало, надмогильная часовня была разрушена, и польской стороне передали лишь фрагменты ткани, металла, кожи, костей и дерева. Так закончилось посмертное путешествие последнего польского короля.

Осталось добавить несколько слов о двоих людях, сыгравших относительно важную роль в осуществлении перемещения останков обоих королей в Польшу. Бронислав Методий Уссас — глава Петроградского представительства польской делегации в смешанных комиссиях, реэвакуационной и специальной в Москве, родился 20 июня 1885 г. в Санкт-Петербурге, в польско-литовской семье. Его отец, Матеуш Уссас, был известным врачом и общественным деятелем, а мать, Алина, в девичестве Савицкая, происходила из семьи землевладельцев, чье имущество было выставлено на принудительную распродажу после восстания 1863 г. Бронислав Уссас закончил классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, параллельно посещая лекции в Археологическом институте. По окончании университета он поступил в Петербургскую духовную семинарию и в возрасте тридцати двух лет, 2 февраля 1917 г., был рукоположен в священники епископом Яном Чепляком. Свое пастырское служение Бронислав Уссас начал в Минске, где в трудных условиях военного времени развил бурную деятельность, являясь одновременно профессором Духовной семинарии, ректором доминиканского костела, хранителем Государственного архива в Минске, председателем Комитета помощи детям, членом городского совета, а также заместителем полномочного представителя Польского Красного Креста. Кроме того, он преподавал закон божий в трех школах, являлся капелланом бенедиктинского монастыря и бесплатно исполнял пастырские обязанности в городской больнице.

В свободное от работы время Б. Уссас занимался разбором архивных дел, касающихся католических храмов и монастырей в Минске и его окрестностях.

В 1919 г., когда в Минске была провозглашена Советская власть, Б. Уссас был арестован и отправлен в концентрационный лагерь. По-

следующие два года выпадают из поля зрения его биографов, — вероятно, из лагеря он был освобожден польскими войсками, занявшими Минск 8 августа 1919 г. Во всяком случае, в 1921 г., когда в Москве начала работать реэвакуационная комиссия, Б. Уссас вначале был приглашен туда в качестве консультанта по архивному и библиотечному делу, а 31 октября 1922 г. стал главой Петроградского представительства комиссии. Помимо основной своей деятельности, он много работал в библиотеках и архивах, вручную скопировал сотни документов, относящихся к истории католической и униатской церкви на территории Польши и Российской империи.

31 марта 1925 г. Б. Уссас был арестован, как и многие другие представители христианских конфессий, по сфабрикованному обвинению. Первоначально планировалось обменять его на двоих польских офицеров, Вечоркевича и Багинского, приговоренных у себя на родине к расстрелу за террористическую деятельность, но еще до ареста Б. Уссаса, 25 марта 1925 г., Вечоркевич и Багинский были застрелены в тюремном вагоне. Тем не менее «делу Уссаса» был дан ход, и процесс, где в роли государственного обвинителя выступил Н. В. Крыленко, состоялся. По приговору советского суда Бронислав Уссас получил шесть лет лишения свободы со строгой изоляцией. В декабре 1925 г. он был реабилитирован и уже 10 февраля 1926 г. прибыл в Польшу, где продолжил душепастьерскую и общественную деятельность, в частности, являлся председателем кооператива «Жилище на Скарпе». В последние годы жизни Б. Уссас занимался приведением в порядок своего архива и передачей его в Католический университет Люблина и Национальную Библиотеку. Умер Б. Уссас 6 декабря 1977 г.

Гораздо меньше известно о руководителе музейного отдела Специальной комиссии польской делегации в Москве Миколае (Грациановиче) Пиотровском. Публикации, появившиеся в польской прессе в связи с возвращением на родину останков двух королей, сообщали, что Миколай Пиотровский — сын польского повстанца 1863 г., родился в сибирской ссылке в конце 60-х гг. XIX в., но Бронислав Уссас, знавший Пиотровского по совместной учебе в Археологическом институте, не подтверждает эту версию. После революции Пиотровский, по свидетельству Б. Уссаса, спас от разграбления многие художественные коллекции дворцов и усадеб Петербурга. Кроме того, Пиотровский занимался розыском собраний Варшавского общества друзей науки, вывезенных из Польши после восстания 1831 г. и находившихся в Санкт-Петербурге в ведении императора Николая I. Известен список, составленный Пиотровским в 1917 г. и содержа-

щий сведения о материалах, являющихся национальным достоянием Польши. К сожалению, не получило документального подтверждения сообщение польской прессы о том, что Пиотровский работал хранителем в Эрмитаже. Доподлинно известно лишь, что после окончания работы в реэвакуационной комиссии Миколай Пиотровский остался в Польше, где поначалу оказался без работы и без средств к существованию, но впоследствии получил должность хранителя музейного собрания князей Сангушко, опубликовал на русском и польском языках следующие книги: Русская икона. Б. м., 1929; Русский некрополь. Варшава, 1929; Ikona ruska: Opis zbioru prywatnego starożytnych ikon ruskich w Warszawie. Warszawa, 1921; Komunikat Związku muzeów polskich. Kraków, 1930; Muzea historyczno-obyczajowe. Kraków, 1930; Pamiętnik I Zjazdu delegatów muzeów w Polsce. Kraków, 1930; Rodowód książąt Sanguszków Olgierdowiczów. Kraków, 1930. S. 1.

Умер Миколай Пиотровский в 1930 г. и был похоронен в Тарнове.

Литература

Дело Уссаса: Стеногр. отчет. Л., 1925.

Крыленко Н. В. Судебные речи. М., 1931.

Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биогр. словарь. СПб., 1995. Т. 1.

Feldman J. Stanisław Leszczyński. Warszawa, 1957.

Hańkowska R. Kościół Św. Katarzyny Panny i Męczenniczki Aleksandryjskiej w Sankt-Petersburgu. Warszawa, 1997.

Jak rozkonspirowała się tajemnica sprowadzenia prochów Stanisława Augusta // Gonicz warszawski. 1938. 8 sierpnia. № 217.

Jochorowski K. Zwłoki królewskie w Poznaniu // Kraj. 1884. 6 (8) maja. № 19. S. 21.

Kirkor E. Jeszcze słówko o szczątkach króla Stanisława // Kraj. 1884. 27 maja (8 czerwca). № 22. S. 15.

Krasicki A. S. O szczątkach króla Leszczyńskiego w Petersburgu // Kraj. 1884. 22 kwietnia (4 maja). № 17. S. 13–14.

Prus-Faszewski T. Szczątki Stanisława Leszczyńskiego // Kronika Polski i świata. 1938. 14 sierpnia.

Ropp E. Komitet sprowadzenia do kraju prochów Stanisława Augusta // Kurier warszawski. 1938. 6.VIII. № 214.

Strzyżewska Z. Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym. Warszawa, 2000.

- Ussas B.* Pośmiertne peregrynacje króla Stanisława Leszczyńskiego (копия рукописного экз. для газеты «Słowo». 1938. 24 sierpnia. № 231).
- Zabelto S.* Zeznanie koronnego świadka // Kierunki. 1961. 18 czerwca. № 24 (261).
- Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks. B. Ussasa Bibliotece uniwersyteckiej KUL. Lublin, 1979.
- Zwłoki dwóch Piastów // Kraj. 1884. 7 (19) kwietnia. № 15. S. 19-20.
- Zwłoki królewskie w Nansi // Kraj. 1884. 6 (16) maja. № 19. S. 19.

Н. В. Шведова
(Москва)

Словацкий и русский символизм: черты сходства и различия

Русский символизм — явление по-своему уникальное. Складывавшаяся в 90-е гг. XIX в., он дал две родственные, но несхожих волны: «старшую» — В. Брюсов, К. Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб и др. — и «младшую», более самобытную, — А. Блок, А. Белый, В. Иванов и др. Он представлен не только во всех родах литературы — поэзия, проза, драматургия, — но и в глубоких теоретических работах, где как раз отличились «младшие». Откликаясь на импульсы французского символизма, находясь в русле общеевропейского движения, русский символизм в начале XX в. стал обретать своеобразные черты. Его младшую ветвь питала философия В. Соловьева, национальные литературные традиции (Пушкин, Тютчев, Некрасов). Ее отличала высокая мера духовности, отход от индивидуализма и сатанизма, унаследованных от романтиков, в сторону «соборности» и «теургии» — «божественной работы», тайного знания, используемого в добрых целях. Русские символисты выдвигали идею жизнестроительства, переустройства мира на основе познанных законов красоты (что не означало превращения жизни в искусство, но на практике оборачивалось именно этим — например, отношения супругов Блок и А. Белого). «Младшие» символисты подчеркивали свою «особость», отделяли себя от предшественников, особенно декадентской окраски, — в том числе и в русском символизме, хотя и считали Брюсова своим учителем. В. Иванов писал в статье «Мысли о символизме» (1912): с французскими символистами «мы не имеем ни исторического, ни идеологического основания соединять свое дело»¹. Сходные мысли были и у его соратников.

В европейском литературоведении славянский символизм, за исключением русского, известен мало. Об этом свидетельствует «Энциклопедия символизма», вышедшая во Франции (1979) и недавно переведенная на русский. Там есть глава о венгерском символизме, но нет символизма польского, чешского, нет даже упоминания об О. Бржезине — поэте, несомненно, европейского уровня. Русский символизм во французской монографии не только представлен достойно — отдельная глава, содержащая необходимые сведения о его своеобразии, — но и признается вторым по значимости после французского².

На этом фоне словацкий символизм — явление довольно скромное как по перечню фигур, так и по объему написанного. Он представлен в рамках более широкого движения — Словацкой Модерны — главным образом поэзией первых двух десятилетий XX в., его ведущая фигура — Иван Краско (1876–1958). Тем не менее, это интересная страница в литературном развитии Европы. Словацкие исследователи традиционно рассматривают словацкий символизм в сопоставлении с французским и чешским, прежде всего. Есть немало работ о связях словацкого символизма с немецким, венгерским и т. д. Своеобразие русского символизма в аспекте связи с ним почти не вызвало интереса (а если и вызывало, то у российских ученых). Да, словацкие символисты знали французских, чешских, немецких, венгерских поэтов, но русский символизм пришел к ним лишь в 30-е гг., в переводах Я. Есенского. Однако нельзя не учитывать, помимо контактно-генетических, еще и типологические связи. Как славянский романтизм имел свои особенности, что хорошо показано российскими учеными³, так и славянский символизм, вероятно, по-своему специфичен. Во всяком случае, есть явные параллели между «младшей» волной русского символизма, «более национальной», и символизмом словацким. По хронологии словацкий символизм близок к русскому: зарождение на рубеже веков, 1907–1912 гг. как взлет творчества, кризисный для Краско 1910 г. (год осознания «антитезы» русского символизма), поиски новых путей во втором десятилетии XX в. Есть совпадения и чисто внешние, но имеющие определенную «магию»: в год смерти Блока (1921) с опозданием выходят два сборника словацкого поэта В. Роя («Росой и терниями», «Когда исчезают туманы»), в которых немало стихов символистского характера (написанных в 1900–1910-х гг.). Это время (1921) — уже рубеж между активно действующим символизмом и иными течениями. В русской литературе, конечно, постсимволистские течения проявились уже в 1910-е гг., а в словацкой символизм задержался на удивление долго — до конца 20-х гг. (Э. Б. Лукач), переходя в неосимволизм (например, у П. Горова). От этого лишь возрастает значимость символизма в национальной литературе.

Говоря о символизме, необходимо прояснить понимание категории символа, которое не всегда совпадает в разных литературоведческих школах. Мы опираемся на работы русских символистов (начало XX в.) и монографию А. Ф. Лосева о символе. На наш взгляд, между ними есть преемственность в понимании символа не только как тропа, но и как инструмента познания действительности, обнаружения сущности явлений, в различении символа и аллегории. А. Белый писал в статье с примечательным названием «Символизм как миропо-

нимание» (1904): «Искусство должно учить видеть Вечное <...>. Образы превращаются в метод познания»⁴. Он же — в статье «Магия слов» (1910): «...В глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мной созданный»⁵.

В определении символа Белый стремился уловить все его составляющие и связь между ними; в «Эмблематике смысла» (1910) он видит символ как «соединение» (от греческого глагола «сьюбалло»), как «предел» постижения⁶. В. Иванов так определял свой «реальный» символ (базовое понятие для его соратников): «1) сознательно выраженный художником параллелизм феноменального и ноуменального; гармонически найденное созвучие того, что искусство изображает, как действительность внешнюю (realia), и того, что оно провидит во внешнем, как внутреннюю и высшую действительность (realioga); ознаменованное соответствий и соотношений между явлением (оно же — «только подобие» <...>) и его умопостигаемую или мистически прозреваемую сущностью, отбрасывающей от себя тень видимого события; 2) признак, присущий собственно символическому искусству и в случаях так называемого «бессознательного» творчества, не осмысливающего метафизической связи изображаемого, — особенная интуиция и энергия слова, каковое непосредственно ощущается поэтом как тайнопись неизреченного <...> — и служит, таким образом, вместе пределом и выходом в запредельное, буквами (общепонятным начертанием) внешнего и иероглифами (иератической записью) внутреннего опыта»⁷. Отсюда формула Иванова: «A realibus ad realioga» («от реального к реальнейшему»), — и мысль о сопряжении в символизме «корней и звезд», земного и небесного⁸. Таким образом, символ у русских теоретиков — не придуманная абстракция, не указание на то, чего реально не существует, а обнаружение связи явлений и сущностей, видимого и «прозреваемого», истинного, заложенного в явлении. У А. Ф. Лосева мы находим такие же пространственные определения символа и его отграничения от аллегории, олицетворения, типа и др. категорий. Важной является мысль ученого о «бесконечности» символа, о заложенной в нем закономерности проявления «единичностей». «К сущности символа относится то, что никогда не является прямой данностью вещи, или действительности, но ее *заданностью*, не самой вещью, или действительностью, как порождением, но ее *порождающим принципом*, не ее предложением, но ее *предположением*, ее полаганием»⁹.

Аллегория для Лосева есть «формально-логическая общность, не могущая охватить единичное целиком <...>. Общность аллегории

бессильна стать принципом для ее картинной стороны, обладающей своим собственным принципом <...>¹⁰. Символ и здесь понимается как связь с реально существующим, ждущим своего «выявления», «называния». Очевидно то, что это не просто троп. Удачно, на наш взгляд, определение словацкой исследовательницы русской литературы Э. Малити в заглавии ее монографии: «Символизм как принцип видения»¹¹.

У словаков теория символа не создавалась самими творцами символизма. Ученые указывают на связь творчества И. Краско с его переводом статьи Р. Демеля «Природа, символ, искусство» (1911). Словацкие специалисты, как выясняется, придерживаются понимания символа как знака вторичной, художественной реальности, существующей в воображении поэта. Символ и аллегория порой понимаются как синонимы. Такие суждения мы находим у крупнейших словацких литературоведов, тонкого аналитика поэзии С. Шматлака и знатока модерна М. Гафрика. В частности, Гафрик пишет, что у Краско в первом сборнике «„замещающая“ реальность (образ, символ) еще не заменяет вещи (реальной действительности)». Во второй книге «переносный смысл абсолютизируется, пока не останется значением единственным»; в определенных стихотворениях «существует уже только „замещающая“ реальность, которая является не аналогией реального мира, а материализацией представления поэта»¹². С. Шматлак в монографии о Краско также сужает понимание символа до некоей сконструированной поэтом реальности, которая может быть синонимически поименована и аллегорией. Краско в более поздних стихах «ставит между субъектом и реальностью объективного мира план действительности фиктивного происхождения. Он создает „замещающую“, „поэтическую“ реальность, сквозь которую надо „вчитаться“ в собственное содержательное ядро стихотворения». Далее автор говорит о «фигурах-символах», «миссией которых является воплощение некоей иной действительности, некоторой нематериальной мысли-идеи <...>»; эти «фигуры» «вносят в поэзию Краско момент аллегоричности, символичности»¹³. Затем «аллегоричность» и «фигуры-символы» употребляются в одном ряду. Таким образом, символ — не выражение реальной сущности вещи, не ее «порождающая модель» (Лосев)¹⁴, а некая идея самого художника, «шифр» содержания произведения. Это сужает не только значение символа, но и круг символических образов, символистских произведений.

Мы пользуемся русским пониманием символа при анализе творчества словацких поэтов, что помогает выявить типологические сходения между русским и словацким символизмом.

У Ивана Краско (1876–1958), ведущего словацкого символиста, своеобразно обозначаются «теза» и «антитеза», обоснованные Ивановым и Блоком. Приблизительно эти фазы символизма можно определить так: «теза» — обещание божественного откровения, стремление к свету и Космосу; «антитеза» — исчезновение священного импульса («золотого меча» у Блока), искушение тьмой и хаосом. Краско, как и его собратья, тоскует по свету, стремится вырваться из тисков «Ночи и одиночества» (лат. «Nox et solitudo», название его первого сборника, 1909). Утро брезжит в финале книги Краско, но во втором сборнике («Стихи», 1912) «сумрак» (блоковский образ) все теснее обступает лирического героя, приводя поэта к духовному и творческому кризису в 1910 г. Выход из кризиса связан с «Прекрасной Дамой» Краско, воплощенной в его невесте Илоне Князовичовой, которой посвящен сборник, — и с темой родины, также наполняющей смыслом жизнь.

В стихотворении «О душа моя...», открывающем сборник «Стихи», показаны искания лирического героя Краско. Из мира темноты и смерти душа лирического героя пыталась выйти к некоей тайне, но она так и не открылась, — приходилось лишь плакать по утраченному «свету», оставшемуся, видимо, в неоромантическом прошлом автора. У Краско нет опасений, что Прекрасная Дама превратится в «Незнакомку», ложную ипостась Вечной Женственности (как это было у Блока — знак «антитезы»). Однако ощущение «предчувствую Тебя» (Блок) у словацкого поэта было, и этому посвящен сонет «Лишь тебе» из того же сборника. Возлюбленной приносятся «в жертву» творения поэта:

А все ж моих трудов колосья золотые
и весь багрянец сердца, рдевший в вышине,
для жертвы лишь тебе росли в пылу¹⁵.

В итоге женщина становится светочем во тьме, путеводной звездой. Символистское расхождение между познаваемым и художественно воплощенным, между запредельным идеалом и его земным явлением у Краско не преодолевается, а сглаживается волевым усилием. Смысл жизни обретается в служении возлюбленной и в служении родине (второе — традиционный мотив словацкой поэзии).

У Ивана Галла (1885–1955), блеснувшего метеором в словацкой поэзии (в основном 1904–1908 гг.), тоже есть Прекрасная Дама, но она равносильна блоковской «Незнакомке» («красавица кукла»¹⁶). Это фарфоровая статуэтка, которая столь же прекрасна, сколь и бесчувственна («Из японского цикла»). Миф о Галатее не доводится до конца, возлюбленная не оживает, — но это не является трагедией для

лирического героя, звуча лишь грустно-ироничной констатацией факта. Со стихотворением «Незнакомка» (1906) перекликается и «Песня пьяницы» Галла — иллюзии опьяненного сознания. Галл, в отличие от Блока, осознает их неистинность — и намеренно заслоняется ими от жестокой жизни.

У русских и словацких поэтов встречаются «маскарадные» сюжеты. Известно, какое значение имели у Блока и Белого персонажи комедии дель арте, образ шута. Жизнь как маскарад дважды представлена у Галла. Словацкий поэт подчеркивает двойственность человеческого облика (лицо и маска), ложность зрительных впечатлений, обманчивость жизни («Маски», «На Пепельную среду»). Образ Арлекина возникает у Владимира Роя (1885–1936) — в «барочном» стихотворении о близящейся смерти и чувственных утех на ее пороге («Арлекино»). Краско видел себя то «странным музыкантом», то человеком из племени «художников, поэтов и гистрионов» (S. 84, 127). Принадлежность к миру музыки и театра выразилась и в первом псевдониме поэта — «Янко Цигань», т. е. скрипач, играющий на народных сборищах «как цыган». Для Краско также характерна стилизация под отшельника, паломника, бродягу, раба — тоже своего рода роли.

Очень важна для русского и словацкого символизма тема родины, имеющая в обоих случаях славную традицию. В русском символизме родина проникновеннее всего, пожалуй, представлена у Блока, подробно и надрывно — у Белого. Эти поэты не могли сказать, подобно молодому Брюсову: «Родину я ненавижу»¹⁷. Брюсов в своем раннем творчестве вообще декларировал эпатажные вещи, — таковы, например, «заветы» о подчеркнутом индивидуализме (эгоизме, «нарциссизме») и «чистом искусстве» в стихотворении «Юному поэту» (1896), строки «И Господа, и Дьявола // Хочу прославить я» («З. Н. Гиппиус», 1901. С. 32). Естественно, что «ненависть» к родине у русского поэта могла быть лишь временной позой; позже Брюсов пишет немало патриотических стихов, но упор делает на политическую роль и государственный статус России:

Да вместе призрак величавый,
Россия горестная, твой
Рыдает над погибшей славой
Твоей затеи мировой!

(«Цусима», 1905. С. 105).

У Блока и Белого Россия — именно родина, родное существо, «жена моя», «Русь моя, жизнь моя» (Блок, «На поле Куликовом», 1908, и «Русь моя, жизнь моя...», 1910), «мать-Россия» (Белый, «Родина», тоже 1908). Родину для этих поэтов характеризовали многочислен-

ные, часто противоречивые эпитеты: «нищая», «в тоске безбрежной», «разбойная краса», «роковая, родная страна», «убогая», «в красе заплаканной и древней» (Блок); «скудная земля», «суровый свинцовый наш край», «роковая страна, ледяная, // Проклятая железной судьбой», «родина злая», «великая Русь», «увидишь и любишь // Твой злой полевой небосклон», «страна моя хмурая», «роковые разрухи», «глухие глубины» (Белый). У Краско нет такого богатства определений, он сдержан в проявлении патриотических чувств. «Родные черные горы», «отцовское поле», горящее в последнем луче солнца, характеристики «наше», «дóма» — вот доминанты его патриотической поэзии, а также автостилизация под «раба» и образ «матери-рабыни» («Раб»), связанные с национальной несвободой Словакии в Австро-Венгрии, и картины славянской древности в стихах 1913 г. Непривычно для словацкой поэзии звучит у Краско стихотворение «Иегова» («Nox et solitudo»), где поэт призывает на собственное племя кару ветхозаветного Бога — за то, что народ роковым образом запаздывает в течении истории. Сходный пафос обнаруживается у Блока — казалось бы, по другому поводу:

Я вижу: ваши девы слепы,
У юношей безогнен взор.
Назад! Во мглу! В глухие склепы!
Вам нужен бич, а не топор!

(«Я вам поведал неземное...», 1905) ¹⁸.

Мотив несвоевременного появления поэта-пророка звучит и у Белого («Слишком рано я встал над низиной, // слишком рано я к спящим воззвал» — «Возмездие-2») ¹⁹, и у В. Роя (в цикле «Tristia» 1910–1911: «...Однако жду, // как птица, с песней вешней на беду // так рано зазвучавшая в пустом саду», — «Tristia-25») ²⁰.

У Блока и Белого интересным представляется онтологическое ощущение «пустоты» миров. Блок:

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.

(1912. С. 254)

У него же: «Жизнь пуста, безумна и бездонна!» («Шаги Командора», 1910–1912. С. 281). Белый:

Бегут года. Летят: планеты,
Гонимые пустой волной,
— Пространства, времена...

(«Маг», 1904, 1908. С. 164)

У него же: «...Провал пространств // Иных, пустых, ночных» («Прости», 1908. С. 177). «Мрак», «ночной» — признаки хаоса, дионисийской стихии. «Пустота» отражает внутреннее мироощущение, сопоставимое о «хаосом» в самосознании лирического героя Краско: стихотворение в прозе «Я», сб. «Стихи». Стихотворение знало несколько вариантов с серьезными различиями; краткий итоговый вариант таков: индивидуум несет в себе разнообразные, часто противоречивые начала. «Мой мозг зажжен удивительным огнем»; он мог бы быть «светильничком невежды», «искрой фанатика», «голубым светом невесты Господней», «мертвенным сиянием покоя брамина», «ужасным спокойствием жреца Шивы» и даже «черным янтарем дьявола», — но выходит «лишь хаос всего этого, душная неопределенность, широко расплзшийся седой туман...» (S. 91). Туман — важный для Краско символ, скрывающий подлинные очертания жизни. Он становится категорией гносеологической. Затруднено не только опознавание внешнего мира, но и самоидентификация.

Несмотря на застигнутость «антитезой», второе поколение русского символизма все же тяготеет к положительным жизненным ценностям, к свету, к созиданию. Блок или Белый не заявляли о желании прославить «и Господа и Дьявола», как Брюсов. Разрушительные мотивы у последнего выражены неоднократно («Грядущие гунны», «Довольным», «Близким»). «Ломать — я буду с вами! строить — нет!» («Близким», 1905. С. 142). У Блока «в ладье — топор» явно для доброго дела («Я вам поведал...»): «Я все сковал в воздушной мгле» (С. 159). Белого бросало в безнадежность «Пепла» (1908) после чистых красок «Золота в лазури» (1904). Блока кружило в «Снежной маске» (1907), «Фаине» (1906–1908), «Плясках смерти» (1912–1914). По словам английской исследовательницы А. Пайман, «Белый и Блок стряхивают с себя безмятежные чаяния софианских «зорь» как раз в тот самый момент, когда оба издают сборники стихов, вдохновленных культом Софии»²¹. «И была роковая отрада // В попираньи заветных святынь», — напишет Блок в 1912 г. («К Музе». С. 234). И все же путь «младших» — не «люциферический», как говорит о пути Брюсова Белый («Маг». С. 164). «Я — просторов рыдающих сторож, // Исходивший великую Русь», — это Белый о себе («Полевой пророк», 1907. С. 142). Наиболее явен светлый полос у Блока.

И я люблю сей мир ужасный:
За ним сквозит мне мир иной,
Обетованный и прекрасный,
И человечески-простой.

(«Да, так велит мне вдохновенье...», 1911. С. 289)

Храню я к людям на безлюдьи
Неразделенную любовь.

(«Земное сердце стынет вновь...», 1911–1914. С. 290)

Но в страстной буре, в долгой скуке —
Я не утратил прежний свет.

(«Благословляю все, что было...», 1912. С. 316)

Но чем полет неукротимей,
Чем ближе веянье конца,
Тем лучезарнее, тем зримей
Сияние Ее лица.

(«Он занесен — сей жезл железный...», 1914. С. 367)

И совсем уж хрестоматийное: «Он весь — дитя добра и света» (1914. С. 285).

Свет (в значении «сияние») — один из основополагающих символов Краско, противовес «тьме» и «туману». Этот свет несут с собой любовь, вера, творчество, он может осознаваться как ушедший, но главное — «дух жаждет света» (стихотворение в прозе «Ночь», сб. «Стихи». S. 90). Поэзия словацкого символизма, говоря о «ночи» и «одиночестве», оценивала их как негативные, хоть и неизбежные явления. Краско предвещал приход «рудокопов», которые прогонят демона-искусителя и откроют «клад» свободы («Рудокопы», сб. «Стихи»). Это созвучно «провидчеству» русских символистов о «последней борьбе мировой» и обновлении мира (Белый. С. 88).

В. Рой видел свое поколение исполненным противоречий, которые мешают действовать. Оно будет уничтожено собственной болью, но из их праха вырастет «красоты нежный колос» («Песня противоречивых душ», 1911. S. 77). У него же — осознание своей души как раздвоенной на добрую и злую половины, но это источник страданий, а не брюсовское желание служить «и Господу и Дьяволу». Стихотворение Роя «Я как бы две души имел» (1909) приравнивает эти «две души» к Дон Кихоту и Каину, но предпочтение в творчестве поэта-священника явно отдается первому. Стихотворение «Нас жизнь зовет» (1910) — призыв к борьбе с неблагоприятными обстоятельствами, к деянию.

Впрочем, у Роя подобные призывы не всегда лежат в плоскости символизма, они тяготеют к тенденции словацкого реалиста Гвездослава (1849–1921). Но это не меняет общей светлой направленности словацкого символизма. Важно в нем также стремление преодолеть одиночество, почувствовать приобщенность к страдальцам, к народу.

Отсутствие выраженного индивидуализма, особенно в период «тезы», характерно и для русского символизма второй волны. Но даже у индивидуалиста Брюсова мы встречаем — уже в названиях стихотворений — выражение «братьям»: «Братьям соблазненным» (1899), «Братья бездомные» (1901), — а также «Близким» (1905), «К согражданам» (1904), «К народу» (1905). «Давно я с тобой, в твоём теченьи, народ», — так писал в последнем стихотворении «эгоист» и «эстет» Брюсов, продолжая характерную для русской поэзии патриотическую линию (С. 140). А В. Иванов (по возрасту — старше Брюсова, по «поколению» — «младший») говорит так:

О, как тебе к лицу, земля моя, убранства
Свободы хоровой!

.....
В живой соборности и Равенство и Братство
Звучат святей, свежей...

(«Тихая воля», 1905)²².

Т. е. «соборность» — органичное качество русского общества.

О тяготении символистов второй волны к национальным истокам говорят и зарубежные исследователи, например П. Брюнель: «Во всяком случае, очевидно, что, начиная с 1900 г., западный образец оказывал менее гипнотическое воздействие и что в качестве компенсации у Блока, Белого, Иванова происходит поворот к народности и появляется стремление продолжить большую традицию национальной поэзии»²³. Словакам аналогичное тяготение было свойственно в меньшей степени: традиции в словацкой литературе только что сложились, и порывать с ними было бы нелепо. Пушкина, Тютчева, Некрасова словацким поэтам заменял Гвездослав — один из самых значительных поэтов национальной литературы. В творчестве Краско и Роя это проявилось со всей очевидностью.

Немногословность собственного творчества, почти оборвавшегося на взлете, в начале 1910-х гг., Краско обосновывал особой «сакральностью» поэзии.

Благословенны те, кто говорил
и больше не сказал, чем мог сказать во дни торжеств.

(«Критика», 1936. С. 114)

Русские поэты не относятся к «смолкнувшим» (как А. Рембо, О. Бржезина, И. Галл и сам Краско), но ощущение творчества как священнодействия было свойственно и им, прежде всего в теоретических работах В. Иванова: «Слово-символ делается магическим

внушением, приобщающим слушателя к мистериям поэзии» («Заветы символизма», 1910)²⁴.

Таким образом, общими для словацкого и русского символизма (преимущественно второй волны) становятся соотношения «тезы» и «антитезы», образ Прекрасной Дамы и «маскарадные» сюжеты, осмысление темы родины, к которой кровно сопричастен лирический герой, ощущение «пустоты» или «хаоса» во внешнем и внутреннем мире, тяготение к положительным ценностям жизни, к светлomu полюсу, «противовесы» индивидуализму, вера в близкое обновление мира, опора на национальные литературные и философские традиции, «сакральность» творчества. В то же время каждой литературе и в этих общих проявлениях свойственна самобытность. Схождения носят типологический характер.

В словацком символизме не было собственных теоретических работ (хотя была своя критика — Ф. Вотруба), не было планов жизнестроительства, не было столь яркого разнообразия индивидуальностей (Рой открыто подражал Краско).

Словацкий символизм в своих особенностях ближе русскому варианту символизма, что необходимо учитывать в сравнительных исследованиях.

Примечания

- 1 *Иванов В. И.* Борозды и межи. М., 1916. С. 157.
- 2 *Брюнель П.* Литература // Энциклопедия символизма. М., 1998. С. 198.
- 3 *Никольский С. В., Соколов А. Н., Стахеев Б. Ф.* Некоторые особенности романтизма в славянских литературах. М., 1958.
- 4 *Бельй А.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 247.
- 5 Там же. С. 141.
- 6 Там же. С. 36, 75.
- 7 *Иванов В. И.* Борозды и межи. С. 134–135.
- 8 Там же. С. 158.
- 9 *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995. С. 9.
- 10 Там же. С. 152.
- 11 *Maliti E.* Symbolizmus ako princíp videnia. Bratislava, 1996.
- 12 *Gáfrík M.* Na pomedzí Moderny. Bratislava, 2001. S. 16–17.
- 13 *Šmatlák S.* Vývin a tvar Kraskovej lyriky. Bratislava, 1976. S. 177, 181.
- 14 *Лосев А. Ф.* Проблема символа... С. 47.
- 15 *Krasko I.* Súborné dielo. Bratislava, 1966. S. 96. Здесь и далее — перевод автора статьи. Далее цитаты по этому изд.

-
- ¹⁶ Блок А. А. Собр. соч. в 6-ти т. М., 1971. Т. 5. С. 330.
- ¹⁷ Брюсов В. Я. Избранное. М., 1983. С. 27. Далее цитаты по этому изданию.
- ¹⁸ Блок А. А. Избранные произведения. Л., 1970. С. 160. Далее цитаты по этому изданию.
- ¹⁹ Белый А. Сочинения. М., 1990. Т. 1. С. 82. Далее цитаты по этому изданию.
- ²⁰ Roy V. Básne. Bratislava, 1963. S. 49.
- ²¹ Пайман А. История русского символизма. М., 1998. С. 330.
- ²² Ежов И. С., Шамурин Е. И. Антология русской лирики первой четверти XX века. М., 1991. (Репринт.) С. 71.
- ²³ Брюнель П. Литература. С. 199.
- ²⁴ Иванов В. И. Борозды и межи. С. 126.

С. В. Никольский
(Москва)

Синтез художественных структур в творчестве М. Булгакова и русско-чешские литературные контакты

Памяти Б. С. Мягкова

Более десяти лет тому назад И. Е. Ерыкалова, комментируя пьесу М. А. Булгакова «Адам и Ева» (1931), высказала предположение, что генезис и творческая история этой пьесы могут в какой-то мере соприкасаться с драмой чешского писателя Карела Чапека «R. U. R.» (той самой, в которой впервые был создан образ робота и появилось само слово «робот»). Булгаков мог познакомиться с этой драмой либо по русскому ее переводу, изданному весной 1924 г. в Ленинграде¹, либо (что казалось более вероятным) посредством пьесы Алексея Толстого «Бунт машин», опубликованной чуть раньше в журнале «Звезда» (1924, № 2), а затем (весной того же года) поставленной на сцене и вышедшей отдельным книжным изданием². Исследовательница напомнила: «В 1924 г. А. Толстой написал по мотивам «R. U. R.» К. Чапека пьесу «Бунт машин», в которой есть герой — робот по имени Адам, обладающий чувствами боли, страха и пола. Возможно, и этот сюжет был использован Булгаковым при создании лишенного нравственной предыстории первого человека Адама, который занят поисками человеческого материала (для осуществления своих идей и планов. — С. Н.)»³.

Надо пояснить, что драма Толстого представляет собой по сути творческие вариации на тему научно-фантастической пьесы Чапека, причем вариации с использованием не только темы в собственном смысле слова, но и сюжета, и многих мотивов, и даже отдельных деталей и подробностей. О заимствовании темы Толстой и сам открыто сообщил в предисловии к пьесе, а позднее в «Краткой автобиографии» назвал ее даже «театральной переработкой»⁴. При всей талантливости осуществленного художественного перевоплощения драма Толстого вторична. Все это означает, что каждый читатель или зритель, знакомясь с нею, знакомится одновременно в основных чертах и с пьесой Чапека. Естественно это относится и к Булгакову, разумеется, если пьесу Толстого он действительно знал. А это как раз вызывало известные сомнения. Настораживало, что у Булгакова мы

не находим ни единого упоминания ни о Чапеке, ни о драме А. Толстого (хотя имя А. Толстого порой и мелькнет в его дневнике). Иными словами, версия о творческом контакте «К. Чапек — А. Толстой — М. Булгаков» нуждалась в проверке и дополнительном исследовании. Попытка такого исследования была предпринята автором этой статьи, и результаты частично были изложены в одной из глав книги об антиутопиях К. Чапека и М. Булгакова, где подробно анализировалась и драма Булгакова «Адам и Ева»⁵. Упомянутый творческий контакт нашел подтверждение. Он оказался даже более широким, чем можно было предполагать, имел отношение не только к драме «Адам и Ева», но и к некоторым другим вещам Булгакова и даже к самому процессу развития и трансформации художественных структур его произведений и его поэтики. Последнему вопросу и посвящена, прежде всего, настоящая статья, которая является суммированием, продолжением и развитием сделанных ранее наблюдений.

Несмотря на то, что у Булгакова нет ни одного упоминания о драме Толстого «Бунт машин», факты показали, что в 1923–1924 гг. он находился в тесном контакте с ее автором. Еще будучи в эмиграции, Толстой знал о Булгакове и был знаком с его творчеством. В Берлине он участвовал в издании русской газеты «Накануне» и редактировал литературное приложение к ней, в котором печатались и рассказы Булгакова. Толстому они особенно нравились, он просил даже московских сотрудников редакции побольше присылать его материалов. В мае 1923 г., когда Толстой на несколько дней появился в Москве, именно Булгаков организовал в связи с его приездом дружеский ужин, пригласив к участию в нем нескольких московских литераторов. Позднее этот вечер был описан в знаменитом «Театральном романе» Булгакова (хотя уже не без юмористических акцентов). Кульминационным периодом встреч двух писателей стали осенние, зимние и весенние месяцы 1923–1924 гг. Толстой еще 1 августа 1923 г. окончательно возвратился из эмиграции на родину, сразу включился в отечественную литературную жизнь и работал как раз над пьесой «Бунт машин». В конце лета и осенью он готовил рукопись к печати и заключал договоры с театрами об инсценировках драмы (в журнальной публикации под текстом пьесы автор поставил дату — 25 ноября 1923 г.). В это время, в этой атмосфере и происходило дальнейшее сближение Булгакова с Толстым, которое облегчалось и тем обстоятельством, что официально поселившийся в Петрограде, Толстой первые месяцы проводил в Москве и жил с женой на подмосковной даче, где у него бывал и Булгаков. По-видимому, нет необходимости цитировать дневниковые записи Булгакова и воспоминания современников, подтверждающие их встречи. Достаточно сказать, что кон-

такты двух писателей не ушли и от внимания осведомителей ГПУ. Их сообщения до наших дней сохранились в архивах госбезопасности (и в данном случае это, конечно, надежный источник). Один из информаторов писал, например, об авторе «Дней Турбиных» (которые он считал «апологией белогвардейцев»): «Он близок с Лежневым и Ал. Толстым <...> Алексей Толстой говорит пишущему эти строки, что „Дни Турбиных“ можно поставить на одну доску с чеховским „Вишневым садом“⁶». (Автору информации подобная оценка пьесы Булгакова казалась, видимо, недопустимой и крамольной.)

С учетом особенностей момента, когда происходило сближение Булгакова с Толстым, и тогдашних литературных интересов Толстого практически исключено чтобы во время встреч и бесед между ними не заходили разговоры и о драме Толстого по мотивам пьесы чешского писателя и о самой этой пьесе, которой Толстой был буквально восхищен. Он называл ее «динамитной по содержанию и динамичной по развитию действия» и находил, что тема ее «мощна, грандиозна и символична»⁷. Необходимо к тому же подчеркнуть, что Толстой не принадлежал к числу писателей, которые не склонны делиться своими творческими планами и сведениями о своих литературных занятиях до их завершения. Напротив, он любил сообщать о них. Менее чем через месяц после его возвращения на родину в журнале «Жизнь искусства», появилось его интервью, в котором он увлеченно и даже, пожалуй, не без упоения рассказал о своей работе над пьесой по мотивам Чапека. (Между прочим, номер журнала с интервью также мог побывать в руках Булгакова. Не лишено интереса, что и в интервью Толстого и в драме Булгакова «Адам и Ева» революционеры называются одинаково — «организаторами» человечества, хотя у Булгакова, предпочитавшего революциям «излюбленную и Великую Эволюцию»⁸, это выражение приобретает иронический оттенок.)

Теперь о самом существе, т. е. о внутреннем содержании творческого контакта Булгакова с Толстым и через него с Чапеком. Что означал этот контакт для него с точки зрения его собственного литературного творчества? Вопрос может быть поставлен и иначе: чем отличались его новые произведения от предшествующих? Ответ, думается, лежит на поверхности. Достаточно беглого взгляда на произведения Булгакова этого времени, чтобы убедиться, что в них появилась новая и притом очень важная составляющая. В поле его зрения и даже в фокусе внимания впервые оказалась научная фантастика, которая стала в середине 20-х гг. неизменным спутником его творческих интересов и поисков. Соприкосновение с литературным опытом Толстого и Чапека явно не прошло даром. В 1924 г. Булгаков

одну за другою пишет повести с использованием научно-фантастического элемента. В течение всего нескольких месяцев из-под его пера выходят «Багровый остров», «Роковые яйца», «Собачье сердце». Правда, в первой из этих повестей научно-фантастическая гипотеза как таковая, строго говоря, отсутствует, а представлены скорее мотивы романа путешествий, описания экзотических островов и туземцев (тоже, впрочем, нередкие в научно-фантастической литературе). Тем не менее, общая ориентация на научно-фантастическую жанровую модель достаточно очевидна. Она отражена и в прямой авторской ссылке уже в подзаголовке повести на Жюль Верна (см. дальше), и в заимствовании из его романов «Дети капитана Гранта» и «Путешествия и приключения капитана Гаттераса» имен героев (превращенных Булгаковым в завоевателей и колонизаторов), и в аллюзии на заглавие романа «Таинственный остров» в самом названии повести «Багровый остров» и т. д. А в следующих двух повестях Булгакова появится уже и развернутая имитация интригующей научной гипотезы.

Однако научная фантастика заинтересовала Булгакова, судя по всему, не только сама по себе. Видимо, еще больше его увлекла возможность сращения ее с другими художественными формами — притчей, параболой, иносказанием, сатирой, и уже далеко не фантастическими темами. Научно-фантастические произведения одновременно приобретают у него, как и у Чапека (в несравненно меньшей мере у Толстого), черты метафорическо-философской притчи. Однако и этим их структура не исчерпывается. В глубоком подтексте научно-фантастическая (например, природоведческая) тема переводится автором в плоскость остро актуальной общественно-исторической и даже политической проблематики, перерастает в потаенную, гротесково-сатирическую аллюзию на конкретные, действительно происходившие или даже еще длящиеся события и их участников. Отсюда в семантике и поэтике произведения наряду с атрибутами научной фантастики и обобщающими символическими акцентами, характерными для притчи, особую роль начинает играть целая система зашифрованных мотивов, двойных (параллельных) смыслов, скрытых реминисценций и намеков, различных видов подтекста. Ничего подобного у Толстого мы не обнаружим. Художественной натуре Чапека такие приемы ближе, фрагментарно они встречаются у него, например, в романах «Фабрика Абсолюта» (1922) и «Кракатит» (1924), иногда в юмористических эссе, но в основном мы все же сталкиваемся с ними в более позднем его творчестве, главным образом в романе «Война с саламандрами» (1936). В пьесе Чапека «R. U. R.» этого элемента как раз нет. Ассоциации с современной действительностью в этой драме касаются общих явлений и тенденций, а не реальных со-

бытий и конкретных фактов. В булгаковских же повестях указанное слагаемое (которое в свою очередь соединяется со стихией комедии, буффонады, фарса и т. д.) — органическая составная часть поэтики уже в середине 1920-х гг.

Направление, в котором шел Булгаков, точно зафиксировано в подзаголовке его повести «Багровый остров», представляющей собой скрытую (хотя и довольно прозрачную) аллерию российской революции, гражданской войны и интервенции. Подзаголовок гласит: «Роман тов. Жюль Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков»⁹. Автор в это время вообще «переводил» свою художественную систему на иной тип кодирования, в котором гораздо большую роль, чем прежде, играло искусство скрытых, завуалированных и зашифрованных значений. Диапазон их простирался от сравнительно простых аллегорических соотношений (конфликт красных эфиопов и белых арапов в «Багровом острове» как шаржированный образ гражданской войны в России), а также метафорического элемента разной степени сложности (характерного для Булгакова и раньше¹⁰) до своего рода «тайнописи» и повествования, напоминающего тип произведения «с ключом», т. е. «с секретом», когда читатель должен уловить тайный авторский «код».

Особенно богата скрытыми мотивами и наслоениями повесть «Роковые яйца» (не случайно многие аспекты ее подспудного смысла и даже целые не подозреваемые ранее тематические пласты были открыты и прочитаны только в последнее время). Научно-фантастическая история с неосторожным биологическим экспериментом, повлекшим за собой бедственные последствия, в метафорическом измерении читается как философская притча (предостережение об опасности опрометчивых вторжений в субстанцию бытия). Но еще глубже повесть таит в себе развернутую иронически-гротесковую аллюзию на реальный революционный эксперимент в России. Само открытие красного луча, обладающего свойством особого воздействия на биологические объекты, во вторичном семантическом поле получает параллельный скрытый смысл.

Представление о технике создания сдвоенных семантических полей может дать кусочек текста, который дальше будет процитирован. Речь идет в нем о колонии амёб, наблюдаемых под микроскопом и случайно оказавшихся в течение некоторого времени под воздействием красного луча, образованного игрой отсветов в оптической системе микроскопа (при чтении отрывка необходимо принимать во внимание символику цвета — прежде всего красного и белого, но также и серого и даже эпитетов типа «мутноватый», «разноцветный», «цветной» и т. п.). Итак, текст: на фоне «мутноватого белого дис-

ка»¹¹ «в разноцветном завитке (лучей. — С. Н.)^{*} особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал как маленькое острие, ну, скажем, в иголку, что ли <...> в то время как в диске вне луча зернистые амебы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный, заостренный меч (1), происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Как-кая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы <...> они почковались <...> с молниеносной быстротой <...> В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны <...> отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами»¹² (курсив мой. — С. Н.).

Достаточно вчитаться в приведенный текст, чтобы убедиться в наличии в нем второго, потаенного семантического поля, в котором все описание получает второй, параллельный смысл, относящейся уже не к области биологии, а к сфере современной социальной истории. Образ крошечного взвихренного клочка цветных лучей (рожденного рефлексам в стеклах микроскопа), в котором выделяется красная полоска, становится основой обобщенного микроизображения социальной смуты, революции и гражданской войны. (Во втором семантическом поле значим и белый «базовый» цвет, на фоне которого разворачиваются события, и закрученный пучок разноцветных лучей как символ пестрой разнородности и разнонаправленности соперничающих сил, и ярко-красная доминанта, и оценочный эпитет «серенькие» и т. д.). Картина происходящего в колонии амеб, находящихся под воздействием красного луча, оказывается аналогией событий в мире людей.

Можно соглашаться или не соглашаться с гротесковой миниатюрой, нарисованной автором повести, но так он видел и воспринимал глазами сатирика разыгравшиеся в России события, о чем спустя не-

^{*} Описывается нечто вроде известных явлений аберрации, возникающих иногда в микроскопе, как и иных оптических устройствах (например, при неточной или незавершенной наводке на фокус), в виде смещений и искривлений изображения, хроматических (цветных) окаймлений, полос, пятен, отсветов и т. п.

сколько лет, в 1930 г., и откровенно заявил в известном письме Правительству, сообщив о своем «великом скептицизме в отношении революционного процесса» в России и о своем «противупоставлении» этому процессу «излюбленной и Великой Эволюции»¹³. Из приведенного «иносказания» видно, что более всего его огорчал и удручал беспощадный, смертоносный и братоубийственный характер борьбы. Недаром в том же письме он сообщал о своих «великих усилиях стать бесстрастно над красными и белыми»¹⁴.

Не только приведенный отрывок, но и последующий текст повести «Роковые яйца» изобилует вкраплениями тайных намеков, реминисценций, ассоциаций, связанных с подлинными событиями и реальными лицами. В самих именах главных героев едва уловимо резонируют звуки имен известных политических деятелей — В. И. Ленина (первооткрыватель красного луча *Владимир И[пат]ь[ев]ич Перси́ков*), Бронштейна-Троцкого (*Бронский*), Сталина (*Степанов*), Розенфельда-Каменева (*Рокк*, в рукописи наборного экземпляра — *Рок*). Речь не идет о непосредственном изображении событий и лиц, а о своего рода резонансах (образы персонажей остаются многогранными и «полисемантическими»). Однако образуют целые комплексы и в конечном счете создают общий подтекст повести. По сути дела, все повествование сопровождается перезвоном таких резонансов. В создании подтекста участвует по воле автора и символика дат и чисел. События повести «Роковые яйца», написанной в 1924 г., отнесены к 1928 г., при этом уже в экспозиции сказано, что Персикову в это время было «ровно 58 лет». Значит, родился он в 1870 г. Это год рождения Ленина. Открытие красного луча совершается 16 апреля. Переведя дату на старый стиль, получим 3 апреля — день приезда В. И. Ленина из эмиграции в Россию, его выступления с броневика и возникновения Апрельских тезисов, провозгласивших курс на революцию¹⁵. В текст повести, помимо всего прочего, вплетено довольно значительное по объему иносказание о гонениях большевистских властей на церковь и духовенство (см. в указ. нашей книге).

Сохранилось собственное признание Булгакова о наличии в его повести «дерзких» мотивов. В ночь на 28 декабря 1924 г. он записал в дневнике: «Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда — ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это — фельетон? Или дерзость? А может быть серьезное? Тогда не выпеченное <...>. Боюсь как бы не саданули меня за все эти подвиги „в места не столь отдаленные“»¹⁶. Научно-фантастическое содержание повести, естественно, не давало ни малейших поводов для подобных опасений. Вместе с тем из дневниковой записи видно, что автор не был вполне удовлетворен своей

повестью и сомневался (надо сказать, не без некоторых оснований), не сбивается ли она местами на фельетон. Существуют и воспоминания современников о том, что он называл эту повесть лишь «пробой пера» и «фельетоном»¹⁷. Судя по всему, упреки в собственный адрес были учтены им только при работе над последующими произведениями. В повести «Собачье сердце» элементы фельетона, если и встречаются, то уже в очень преображенном виде, несмотря на то, что и эта повесть балансирует на грани научно-фантастического повествования, антиутопии-метафоры и актуального аллюзионного построения.

Автор названных повестей создал оригинальную художественную структуру, в возникновении которой, несомненно, имел значение и его контакт с творческим опытом Чапека и Толстого, стимулировавший его интерес к научной фантастике, к литературе научной фантастики. При этом Булгаков, по всей видимости, не только имел общее представление о содержании и структуре названных драм обоих писателей, но и был знаком с текстом по крайней мере одной из них. Об этом свидетельствуют случаи текстуальных переключек, напоминающих реминисценции. Не исключено, что и к самому зарождению замысла повести «Роковые яйца» была причастна пьеса Толстого «Бунт машин». В этой пьесе есть диалог между Еленой и инженером Пулем, главным руководителем производства искусственных людей на комбинате Морейя. Елена удручена сообщением о кровавой социальной войне, разразившейся в мире, и о восстании роботов. Пуль с горькой иронией отвечает на ее смятенные жалобы: «Дорогая мистрис Морейя, займитесь физиологией. Это очень успокаивает нервную систему — например, посмотреть в микроскоп на капельку воды... Вот где вечный бунт. Вот где грызня... Наши пращурцы — инфузории грызут инфузорий»¹⁸. Буквально тем же мотивом, как мы помним, уже открывается повесть Булгакова «Роковые яйца»: профессор Персиков наблюдает под микроскопом бешеное взаимоистребление амёб (которое тоже соотнесено автором с борьбой за существование в человеческом мире). Совпадение поистине поразительное. В обоих случаях картина наблюдается под микроскопом, в обоих случаях речь идет о простейших, там и там взаимное пожирание не особей другого вида, а своих сородичей, там и там аналогия с отношениями в мире людей. Причем у Булгакова это исходный, сюжетослагающий мотив повести, лежащий в ее основе и дающий начало и научно-фантастическому действию, и разворачиванию социально-политического иносказания. Не означает ли все это, что уже в процессе зарождения замысла повести «Роковые яйца» или его развития сыграло какую-то роль соприкосновение творческого воображения Булгакова с

образной мыслью в пьесе Толстого (именно Толстого, так как в драме Чапека этого мотива нет)? Заслуживает внимания и то обстоятельство, что повесть «Роковые яйца» и написана (летом 1924 г.) как раз после периода активного общения Булгакова с Толстым и после выхода в свет «Бунта машин» Толстого (весна 1924 г.).

Что касается повести «Собачье сердце» и пьесы «Адам и Ева», то они созвучны драме «R. U. R.» Чапека и «Бунту машин» у Толстого уже общими своими мотивами: образ псевдочеловека как символ расчеловечивания и дегуманизации бытия, тема острой конфликтности современного мира, обращение к библейским мотивам, связанным с мифом о сотворении мира и об Адаме и Еве. Правда, близость общих мотивов может быть и результатом объективных схождений проблематики¹⁹. Однако встречаются и более конкретные совпадения. Самый наглядный пример с инфузориями и амебами только что приводился. Но можно назвать и другие. Так, в одной из авторских ремарок в пьесе Булгакова «Адам и Ева» содержится яркая образная характеристика профессора Ефросимова (личность которого олицетворяет для автора гуманистический идеал). Писатель обрисовал его словами: «в глазах туман, а в тумане свечки»²⁰. Лаконичная формула явно выполняет не только живописно-портретную функцию (которая, кстати говоря, в данном случае трудно и воспроизводима на сцене), но и содержит более глубокий, символический смысл. Недалеко дальше в пьесе Булгаков дважды возвращается к этому определению. Реакцию Ефросимова на начало катастрофической войны он характеризует (в ремарке) словами: «В глазах у Ефросимова полный туман»²¹. А Ева позднее признается, что и полюбила Ефросимова за «свечки, которые у него в глазах»²². Автор явно акцентировал найденную образную формулу. Она была важна для него. Но нас в данном случае интересует и другое. Вряд ли случайно это образное определение так напоминает рассуждения одного из героев драмы Толстого о людях, которые несут миру добро и самоотверженно противостоят несправедливости и засилию зла. Робот Адам, у которого начинают пробуждаться человеческие чувства, задумывается над тем, что такое совесть, и спрашивает об этом инженера Михаила. Тот отвечает:

М и х а и л: Совесть — это боль. Это страшная боль.

<...>

М и х а и л: Люди идут в тюрьмы и на эшафот и все же делают то, что велит им боль.

Вот — совесть.

А д а м. Эти люди безумные?

М и х а и л. Нет. Совесть раскрывает им глаза на знание судеб человеческих. Их глаза становятся зоркими. Они пронизывают туман

*истории. Знание дает уверенность и силу»*²³ (курсив мой. — С. Н.). Образная формула в драме «Адам и Ева» выглядит как афористическое стяжение мысли из пьесы Толстого. Эта мысль тем более могла всплыть в памяти автора «Адама и Евы» при работе над пьесой, что Ефросимов относится к числу повторяющихся у Булгакова образов искателей истины и провидцев (хотя есть у него и псевдопровидцы), которые пытаются проникнуть взором в пучину времени, приподнять завесу над прошлым и будущим, заглянуть в даль грядущего. Ефросимов — один из булгаковских образов «пророков», как определил их М. Петровский²⁴. Ведь и сам писатель был одержим стремлением «пронизывать» и «пронзать» время. Оба эти выражения, кстати говоря, он употребляет и в произведениях, написанных после «Адама и Евы». В пьесах «Иван Васильевич» и «Блаженство» они используются им для характеристики создателей машины времени — Тимофеева и Рейна²⁵. Но зародилась эта особенность художественного сознания Булгакова намного раньше. Прологом ко всему его литературному творчеству была статья с симптоматичным заглавием «Грядущие перспективы», написанная еще в 1919 г. Принцип «пронзания» времени получил воплощение и в его последнем, вершинном романе — в содержании и самой структуре «Мастера и Маргариты». Этот принцип изначально органичен для него. Булгаков мыслит историческими соотношениями. Поэтому фраза, оброненная Толстым, не только могла, но, думается, и должна была остановить его внимание и отложиться в памяти.

И еще пример. В драме Толстого «Бунт машин» один из руководителей фабрики по производству искусственных людей с возмущением жалуется своему собеседнику на бесцеремонно наглое поведение роботов, несмотря на то, что они, собственно, еще не доросли и до превращения в человека, а скорее представляют собой нечто вроде вещей. Говорящий сопровождает свои сетования таким уподоблением: «— Мы выпускаем с фабрики — я примерно говорю — сюртуки и брюки... И вдруг ко мне приходит сюртук, пустой сюртук и говорит: „Ну-ка посторонись, братец“... Садится у моего камина и пьет пиво»²⁶. Вспомним «пустой костюм» в «Мастере и Маргарите», который сидит за чиновничьим столом и непрерывно что-то строчит: «За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстукке, из кармана костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услышав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником про-

звучал хорошо знакомый бухгалтерский голос Прохора Петровича. — В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю?»²⁷.

Возможно, и этот выразительный символ, воплощенный в фантастическом образе человека, от которого осталась одна оболочка и который полностью превратился в доведенную до абсурда механически исполняемую служебную функцию, возник не без отзвука образной находки Толстого. Тема «псевдочеловека» вообще волновала всех трех писателей. У Булгакова она получила наиболее яркое воплощение в образе Шарикова, сопоставимом в проблемном плане (т. е. с точки зрения вопроса о сущности человека) с образом робота у Чапека — этим гениальным созданием чешского писателя. Афористическое изречение Булгакова в «Собачем сердце» о том, что уметь говорить «еще не значит быть человеком»²⁸, в равной степени передает и смысл образа робота. (Попутно отметим, что все приведенные примеры «созвучий» касаются не периферийных, а ключевых мотивов творчества Булгакова.)

Перечисленные текстуальные переключки позволяют думать — повторим это, — что Булгаков не только был в общем виде знаком с содержанием и структурой пьес Чапека и Толстого о роботах, но и читал по меньшей мере «Бунт машин». Именно на эту пьесу приходится все описанные случаи вероятных текстуальных реминисценций (цитированные фрагменты и связанные с ними мотивы отсутствуют у Чапека). Иное дело, что уже и чтение Булгаковым пьесы Толстого равнозначно, как было сказано, косвенному его знакомству в общих чертах и с драмой Чапека. С другой стороны, обращает на себя внимание, что в пьесе Булгакова «Адам и Ева» встречаются мотивы, совпадающие с драмой Чапека «R. U. R.», но опущенные Толстым. Через пьесы и Чапека и Булгакова проходит, например, тема агрессивности фанатичных идей. В обеих пьесах все герои-мужчины влюблены в главную героиню (хотя у Булгакова это приобретает фарсовую окраску). Ни того, ни другого у Толстого нет. Эти обстоятельства не позволяют полностью отказаться и от варианта с возможным непосредственным знакомством Булгакова и с текстом пьесы чешского писателя.

Таким образом, в числе литературных источников, имеющих отношение к генезису и творческой истории некоторых произведений Булгакова («Роковые яйца», «Адам и Ева») и к самой эволюции его художественной системы и структуры его произведений, следует учитывать и научно-фантастические произведения Карела Чапека и Алексея Толстого. В последующие годы в творчестве Булгакова происходит дальнейшая трансформация, развитие и обогащение описанной структуры. Уже во второй половине 1920-х гг., с началом его

работы над «романом о дьяволе» в его философскую фантастику широко войдет библейско-христианское наследие и демонология. Но это уже другая тема.

Литературный контакт «Чапек — А. Толстой — Булгаков», думается, представляет интерес не только для познания творческого пути, художественной системы и поэтики этих писателей, но и для исследования динамики и взаимодействия определенных художественных структур в литературе XX в. вообще, для постижения процесса их развития, разветвления, синтеза и обогащения, как и для осознания вклада в этот процесс ее крупнейших представителей.

Примечания

- ¹ *Чапек К.* «ВУР». Верстандовы универсальные работари / Пер. И. Мандельштама и Е. Геркена. Л., 1924.
- ² *Толстой А.* Бунт машин. Л., 1924.
- ³ *Ерьюкалова И. Е.* Адам и Ева [комментарии] // *Булгаков М. А.* Пьесы 30-х годов. СПб., 1994. С. 591. Ср. ее же комментарии: *Булгаков М. А.* Собр. соч. в 5-ти т. М., 1990. Т. 3. С. 668.
- ⁴ *Толстой А. Н.* Краткая автобиография // Советские писатели. Автобиографии. М., 1959. Т. 2. С. 452. О мотивах, побудивших Толстого заняться перевоплощением пьесы Чапека, см.: *Миц З. Г., Малевич О. М.* К. Чапек и А. Н. Толстой // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1958, № 65. С. 122–124; *Scheinflug K.* Můj švagr Karel Čapek. Hradec Králové, 1991. S. 100–102.
- ⁵ *Никольский С. В.* Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов). М., 2001. С. 75–116.
- ⁶ Цит. по: Коллективное жизнеописание Михаила Булгакова. Глазами ОГПУ. Публикация *Г. Файмана*. Консультанты: сотрудники ФСК В. Виноградов, В. Гусаченко // Независимая газета. 28 сентября 1994. С. 5. См. также: *Сахаров В. И.* Михаил Булгаков: писатель и власть. По секретным архивам ЦК КПСС и КГБ. М., 2000.
- ⁷ *Злат. П.* О новых работах А. Н. Толстого. Из беседы // Жизнь искусства. Пг., 1923, № 42. С. 9.
- ⁸ *Булгаков М. А.* Собр. соч. в 5-ти т. М., 1990. Т. 5. С. 446.
- ⁹ Там же. Т. 2. С. 411.
- ¹⁰ См., например: *Петровский М.* Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001.
- ¹¹ *Булгаков М. А.* Собр. соч. Т. 2. С. 50.
- ¹² Там же. С. 53–54.
- ¹³ Там же. Т. 5. С. 446.

- 14 Там же. С. 447.
- 15 Ср.: *Соколов Б. В.* Михаил Булгаков // Новое в жизни, науке и технике. Серия: Литература. М., 1991, № 7. С. 23–24. *Он же.* Булгаков. Энциклопедия. М., 2003. С. 274–275, 438–439 и др.; *Никольский С. В.* Научная фантастика и искусство иносказания // Советское славяноведение. 1992. № 1. С. 57–71; *Он же.* На грани метафор и иллюзий (о некоторых зашифрованных мотивах в антиутопиях М. Булгакова // Известия АН. Серия лит. и языка. 1999. Т. 58. № 1. С. 11–19.
- 16 *Булгаков М. А.* Дневник. Письма. 1914–1940. Составление, подготовка текста, комментарии В. И. Лосева. М., 1997. С. 81.
- 17 *Чудакова М. О.* «И книги, книги...». М. А. Булгаков // «Они питали мою музу». Книги в жизни и творчестве писателей. М., 1986. С. 221.
- 18 *Толстой А.* Бунт машин. С. 65.
- 19 Об отзвуках мифопоэтических архетипов у Чапека и Булгакова см.: *Яблоков Е. А.* «Я сыта по горло вашей любовью». Миф о Елене Прекрасной в произведениях К. Чапека и М. Булгакова // Ежегодник Общества братьев Чапек. СПб., 2002. С. 3–7.
- 20 *Булгаков М. А.* Собр. соч. Т. 3. С. 329.
- 21 Там же. С. 343.
- 22 Там же. С. 374.
- 23 *Толстой А.* Бунт машин. С. 52.
- 24 *Петровский М.* Мастер и Город. С. 34–42.
- 25 *Булгаков М. А.* Собр. соч. Т. 3. С. 393, 430, 431.
- 26 *Толстой А.* Бунт машин. С. 57.
- 27 *Булгаков М. А.* Собр. соч. Т. 5. С. 184.
- 28 Там же. Т. 2. С. 206.

Н. Н. Старикова
(Москва)

Исторический роман Словении 1920–1930-х гг. Типологический аспект

В словенской литературе период между двумя мировыми войнами характеризуется атмосферой свободного художественного поиска и значительного художественного плюрализма, следствием которых стали бесспорные достижения в развитии отдельных жанров. Одним из наиболее плодотворно развивавшихся и в количественном отношении доминировавших жанров этого времени стал исторический роман, нашедший воплощение в разнообразных типологических модификациях. Достаточно сказать, что в период с 1918 по 1939 на словенском языке было опубликовано больше исторических романов (около 2-х десятков), чем, начиная с дебюта Юрчича в 1873 г., за все предыдущие полвека его существования в Словении. В следующий раз подобный всплеск исторической прозы будет наблюдаться в словенской литературе в 1970-е гг. на фоне кризисных явлений в сфере политики, экономики и идеологии. Очевидно, что в обоих случаях помимо эстетических потребностей самой литературы важную роль сыграли и внелитературные факторы. В исследуемый нами период это большие потери в первой мировой войне, экономический упадок, эмиграция, духовный кризис общества и реальная угроза территориальной целостности*. Если учесть, что на протяжении всей своей истории важнейшей задачей словенской литературы была самоидентификационная, а важнейшей функцией — национально-охранительная, и, используя формулу М. Ю. Лотмана, вся мощь национальной жизни была сосредоточена в литературе¹, интерес к национальному прошлому был не просто закономерен, он становился инструментом общественной борьбы за национальный суверенитет. Впоследствии, в немалой степени благодаря этому особому положению литературы внутри национальной мифологии, ее «государственному» предназначению амортизировался культурный и идеологический прессинг в период титовской Югославии.

Словенский исторический роман 1920–1930-х гг. — гетерогенная жанровая форма, которая как всякое относительно новое жанровое образование возникла на почве серьезного социокультурного сдвига,

* Словенское Приморье в 1918 г. отошло Италии, большая часть Каринтии по итогам плебисцита 1920 г. оказалась под юрисдикцией Австрии.

на пересечении взаимодействующих тенденций литературно-эстетической эволюции и внелитературных процессов развития общества и общественного сознания. Этот жанр по-своему запечатлел мировые потрясения, войны и революции, упования и разочарования, окрашившие весь период, с его мучительными поисками смысла истории — всеобщей и частной, жизни индивида и масс, стержня национальной идеи. Исторический роман межвоенного периода — важнейший этап становления и развития этого жанра в словенской литературе, отнюдь не исчерпывающий его истории. Многие разработанные им жанровые стратегии входят в структуру различных модификаций исторического романа второй половины XX в.. При этом романическое и историческое в структуре исторического жанра обладает не только общероманной семантикой, но и собственной, специфической. Словенский исторический роман черпает свою топику из топики жанровых модификаций и форм мышления соответствующей воссоздаваемой эпохи, избирательно актуализирует элементы уже сложившихся в литературе и только складывающихся романских структур. Обращаясь к жанровой специфике словенского исторического романа, представляется возможным опираться на жанровую типологию, основанную на типе исторического конфликта, художественно изображенного в романе. В зависимости от характера исторического конфликта, трансформированного в конфликт художественный, в качестве ведущих форм исторического повествования можно различать историко-биографический, историко-философский, а также историко-социальный роман (жанровые черты психологического романа, как правило, поглощаются структурой других типов исторической прозы, поэтому вряд ли стоит его обособлять). Наряду с обширным блоком собственно исторической прозы существует множество достойных произведений, в которых история условна и служит лишь сюжетно-образной почвой для размышлений, далёких от непосредственного философского, социального, этического смысла конкретных эпизодов прошлого. Такие романы можно назвать условно-историческими. Внутри этих обобщающих жанровых понятий в соответствии с основным поэтическим началом, принципами композиционного построения, особенностями типизации и образного строя существует множество разновидностей.

С точки зрения жанровой специфики в словенской прозе исследуемого периода представлены все три основных типа исторической прозы: 1) историко-биографическое произведение, возникающее на стыке биографической и исторической прозы, в котором художественное воссоздание судьбы исторической личности происходит при обязательном исследовании характерных черт эпохи, эту личность

сформировавшей; 2) историко-социальный роман, где социально-аналитическое начало становится главным инструментом преломления общественных коллизий исторического прошлого; 3) историко-философский роман, осмысляющий историю как источник не только социального и нравственного, но и духовного опыта, акцентирующий внимание на всеобщем, на том, что вопреки временным рамкам сближает людей разных эпох.

В своей статье я хочу рассмотреть ключевые с моей точки зрения для типологии жанра произведения словенской исторической прозы межвоенного периода. К историко-социальной прозе на национальном материале обращаются в это время такие крупные прозаики, как И. Тавчар — «Висоцкая хроника» («Хроника села Высокое») (1919) и Ф. Бевк — «Небесные знамения» (1927–30). Основы историко-биографического направления закладываются И. Ваште и А. Слодняком в романах, посвященных Ф. Прешерну («Роман о Прешерне» (1937) и «Нетленное сердце» (1938)). В. Бартол на материале мировой истории создает первый словенский интеллектуальный роман «Аламут» (1938), синтезирующий черты романа исторического, философского, психологического. При этом целый ряд авторов: И. Прегель, Ф. Говекар, И. Лах, Б. Пахор и др. в силу объективных причин останется вне поля моего зрения, что ни в коем случае не умалит достоинств их произведений.

Потребность в исторической прозе существует всегда, поскольку каждый новый этап в развитии общества порождает возможность и потребность нового освоения определенных пластов истории страны, нового проникновения в ее общие закономерности, эта потребность продиктована изменением уровня исторического самосознания. В межвоенный период необходимость сохранения традиций и определения стратегии развития национальной культуры, определила, по сути, интерес прозаиков к художественному освоению национального прошлого. Поиск исторических корней, с одной стороны, и исторических аналогий с современностью, с другой, стал одной из причин обращения авторов к историческому жанру, который в своих поисках прошлой действительности раскрывает культуру и духовный мир, как отдельного человека, так и нации в целом. Важным импульсом развития исторической прозы стал также ее успех у читателей. В каком-то смысле модус «массового» в литературе начинает конституироваться именно в историческом жанре.

Иван Тавчар (1851–1923) в своем романе-хронике «Висоцкая хроника», соединив историю и нравы, рисует частную жизнь и судьбу как выражение и воплощение национальной истории — нравственной и социальной, с документальной точностью воссоздавая эпо-

ху Контрреформации второй половины XVII в. История жизни Изидора Каллана, сына тайного протестанта Поликарпа Каллана, записанная им самим, — это рассказ о том, как «грехи отцов мстят детям»². В то же время проблема религиозности и религиозного фанатизма как одной из составляющих лица нации в условиях общественных противоречий и политических дебатов первого десятилетия XX века была необычайно актуальна и живо интересна Тавчару, который был, как известно видным политическим деятелем либерального толка. Его занимает вопрос о том, где корни этого религиозного мракобесия? Психология героя Тавчара сформирована эпохой — феодальным общественным устройством, социальным положением, конфессиональной принадлежностью, всем «богобоязненным духом XVII века»³, наконец, влиянием на него раздираемой противоречиями личности отца-протестанта. Главной движущей силой этой эпохи писатель видит страх, прежде всего страх перед богом, перед общественным мнением, перед самой жизнью, таящей в себе опасность. Крестьянский быт тяжел и часто безрадостен, наследственные отношения в семье не зависят от желаний, склонностей и талантов детей, система семейных отношений строго иерархическая. Помимо религиозной составляющей национального характера Тавчар акцентирует внимание и на социальной, также детерминирующей личность героя. С изменением социального статуса Изидора Каллана: наследник — хозяин меняется и внутреннее состояние героя. Реалии, быт, обряды, стиль изложения, нарочитую архаичность языка — все Тавчар подчиняет раскрытию своего понимания мировоззрения человека периода контрреформации, когда религиозная догма из нравственной жизненной опоры становилась диктатом. Художественная семантика обыденного и «археологический» элемент делают составляющими исторического колорита эпохи и природы противоречия, лежащего в основе романа, — поисков путей выхода из той логики самоуничтожения, социальной детерминированности и религиозной вражды, которая в тот период в словенском обществе едва ли не перевешивала созидательные тенденции.

Иной, значительно более свободный и «ненаучный» подход к истории обнаруживает Франце Бевк (1890–1970). Уроженец Словенского Приморья, Бевк большую часть своей исторической прозы написал в годы итальянской оккупации родного края (1920–1940-е), в условиях жестокого инонационального прессинга и прямой угрозы италиянизации словенцев, и обращение к историческому прошлому своего народа стало для него средством протеста и возможностью завуалировано говорить о том, о чем нельзя было сказать открыто, поэтому центральной для его произведений становится националь-

но-патриотическая идея. Действие трилогии «Небесные знамения» («Кровавые всадники», 1928, «Скорпионы земли», 1929, «Черные братья и сестры», 1929) охватывает первую половину XIV в., когда распри горичских графов и аквилейских патриархов, эпидемии чумы, стихийные бедствия захватили западные словенские земли. Продолжением трилогии стал, созданный в 1930 г. роман «Человек против человека», повествующий о заговоре против патриарха Бертранда, его убийстве и жестокой расправе нового патриарха Николая с заговорщиками. Исторические факты Бевк черпал из книг Я. В. Вальвазора «Слава герцогства Крайна» (1689) и Симона Рутара «История Толминского края» (1882). На основе хроникальных сведений силой воображения он создает многообразную, насыщенную драматизмом картину жизни той бурной и жестокой эпохи, пытаясь адекватно отразить ее социальную структуру — взаимоотношения между сословиями. Наряду с подлинными историческими лицами — патриархами, знатными рыцарями, инквизиторами — в трилогии Бевка присутствуют вымышленные персонажи — простые крестьяне, на которых обрушиваются все тяготы угнетения, войн и бедствий. Именно эти герои являются носителями идейной концепции автора, выразителями свободолобивых устремлений, мужества и человеческого достоинства. Это в первую очередь сыновья и внуки матери Агаты в «Небесных знамениях». И хотя почти все они трагически гибнут в неравной борьбе или умирают от чумы в финале, конец трилогии оптимистичен: остаются в живых внучка Агаты Живка, ожидающая ребенка, внук Флориан, они продолжают род и борьбу. Писатель сознательно соотносит историю и современность, поэтому многие исторические события приобретают символический смысл, концентрируя в себе ужасы насилия над людьми и человеческих страданий, напрямую ассоциирующихся с положением словенцев в Приморье в 1920–1930 гг. Символический смысл имеют и апокалиптические названия частей трилогии, и вещая песнь матери Агаты. Угрозы страшных предсказаний, впоследствии сбывающихся, неожиданные драматические повороты сюжета создают в прозе Бевка особую напряженную атмосферу и придают ей экспрессионистскую окраску.

Создавая свой «Роман о Прешерне» одна из зачинательниц словенской историко-биографической прозы И. Ваште (1891–1967) в лучших традициях жанра совершила погружение в атмосферу эпохи, которая сформировала личность великого словенского поэта. Образ Прешерна создан ею на основе индивидуального мировосприятия и с учетом всего контекста исторической действительности. Она делает акцент на важнейших событиях не столько национальной, сколько европейской истории, свидетелем которых стал поэт (Наполеонов-

ские походы, провозглашение Иллирийских провинций, Люблян-ский конгресс 1821 г.), тем самым, задавая масштаб личности своего героя. Профессиональная осведомленность в культурно-бытовых реалиях эпохи и артистическое, чувствительное восприятие прошлого — обе эти составляющие «личностно-психологического подхода»⁴ к истории, сформулированного историком и писателем Н. Эйдельманом, присущи ее манере. Ключ к настоящему Прешерну Ваште ищет в его мировоззренческих позициях. Становление поэта происходило в условиях сложной, напряженной и увлекательной борьбы художественных направлений. Юная словенская словесность рождалась в азарте, в спорах, энергия которых была унаследована затем последующими поколениями литераторов. В романе Ваште перед читателем проходит жизненный путь первого национального романтического поэта Словении, путь, трудный в бытовом плане (с борьбой за кусок хлеба), полный жестоких разочарований, борения с собой и с непониманием окружающих, путь трагической личности. Представление о том, что жизнь, судьба и личность поэта сливаются с творчеством, составляя для публики единое целое, принадлежит времени романтизма. В это время творчество поэта стало рассматриваться как огромный автобиографический роман, в котором стихотворения служили главами, а биография — сюжетом. Два гения романтической Европы — Наполеон, разыгравший романтическую поэму своей жизни, и Байрон, превративший поэзию в цепь автобиографических признаний, укрепили эти представления. Бытовая жизнь поэта представлена автором как некая цепь невозполнимых утрат, к которым можно отнести как утрату иллюзий, так и реальные личные потери — ранний и ничем невозполнимый уход из жизни близких друзей сначала Матии Чопа, а затем Андрея Смоле. Прозаическая, а иногда и трагическая повседневность и романтическое жизнеощущение, спасительно обеспечивавшее чувство единства личности — таким предстает поэт в романе. Важной составляющей художественной концепции произведения является попытка создать контекст литературный, что в формальном плане выражается в том, что каждая глава озаглавлена строкой из Прешерна. Автор «Романа о Прешерне», воплощая художественную правду о прошлом, строит свою работу во внутренней полемике с идиллическим представлением о писательских судьбах, восхищаясь великим предшественником, одновременно сострадает ему.

Появление в скромной по европейским меркам словенской литературе в межвоенный период новаторского романа, получившего международное признание, ставшего впоследствии бестселлером и на родине и за границей и оказавшего определенное влияние на всю

послевоенную прозу Словении, — факт из ряда вон выходящий. Таким уникальным явлением стал историко-философский роман Владимира Бартола (1903–1967) «Аламут» (1938). Внимание словенца Бартола привлекли события восьмисотлетней давности, последствия которых не просто повлияли на всю дальнейшую биографию человечества, но остаются актуальными и в XXI в., а именно — история зарождения мирового политического терроризма, вскормленного исламом. Одним из первых в европейской литературе он обратился, с одной стороны, к столь экзотическому для родной культуры, с другой, — абсолютно вневременному, универсальному по своему философскому и этическому смыслу материалу мировой истории, ставшему благодаря общественно-политическим катаклизмам первой половины XX в. необычайно актуальным. При этом писатель, используя античные и европейские философские концепции и учения (материализм, идеализм, релятивизм, субъективизм, нигилизм), через цитаты, парафразы, аллюзии, прямой пересказ ввел в произведение обширный, можно сказать, энциклопедический философский контекст. Его средневековый иранец оперирует понятиями и категориями, сформулированными, главным образом, мыслителями последующих столетий — Декартом, Макиавелли, Ницше, Фрейдом.

Психологическое ядро романа — анализ возникновения и развития религиозного фанатизма, нравственно-философское — проблема правды и лжи во имя высшей идеи и ради обретения власти. Здесь Бартол опирается, с одной стороны, на Коран, как на главный источник мировоззрения своих персонажей, с другой, — на идеи Фридриха Ницше с его «философией жизни», культом «сверхчеловека» и «волей к власти». Центральная фигура «Аламута» исламский философ и по совместительству шеф религиозных фанатиков-смертников Ибн Саббах воплощает в романе известную гипотезу о том, что идеи Ницше — много старше его самого. В романе четко выстраивается иерархическая система ступеней человеческого познания: от безликой людской массы, требующей идола для поклонения, через избранных, отличающих правду от вымысла к «богочеловеку», которому разрешено все, ибо он, объявивший себя «живым пророком» Аллаха на земле, сам есть творец этого миропорядка.

Исследуя механизм захвата власти и его непеременные атрибуты (управление массовым сознанием, развитие культа личности, расправа с политическими противниками и т. д.), Бартол обращает внимание на универсальный «вневременной» характер этого явления. С одной стороны, «Аламут» — это вполне аутентичная картина одного из этапов истории секты исмаилитов, где точны даты и события и дан широкий историко-культурный фон изображаемой эпохи (Фир-

доуси, Низами, Омар Хайям, Касим аль Харир, Мелик-шах), с другой, — налицо живое сопоставление с современным автору временем страшных диктатур XX в. между двумя мировыми войнами.

Роман В. Бартола, названный словенской критикой в 1990-е гг. предтечей словенского модернизма⁵ и постмодернизма⁶, отличается одной из тех новых черт искусства, которую привнес в него XX в. — тяготением к существенному, вторжением в художественную культуру философских и психологических концепций, соприкосновением искусства со всей сферой гуманитарного знания. В его лице словенская литература получила тот особый тип писателя, для которого философские размышления и художественное творчество составляет живое единство, так что философия эстетизируется, а литература пропитывается концептуальным мышлением, и в этом плане В. Бартол достоин соседствовать с В. В. Розановым, Ж. П. Сартром, Т. Манном, Г. Гессе.

Саморазвитие как свойство художественного текста по-разному реализуется в модификациях словенского романа межвоенного периода. Образую системное целое, он трансформирует топику романического, определяющую своеобразие конкретных модификаций жанра. Подводя краткий итог вышесказанному можно констатировать следующее: в словенской литературе 1920–1930-х гг. исторический жанр продуцирует, стимулирует жанровую рефлексию, возникающую на стыке различных национальных модусов и моделей: именно в этот период в Словении впервые заявляют о себе созданные на материале национального прошлого исторический роман-хроника, исторический роман-эпопея, историческая художественная биография и апеллирующий к мировой истории историко-философский интеллектуальный роман.

Примечания

- 1 *Лотман Ю. М.* А. С. Пушкин. Биография писателя // Пушкин. СПб, 1997. С. 27.
- 2 *Kramberger M.* Visoška kronika. Literarnozgodovinska interpretacija. Ljubljana, 1964. S. 279.
- 3 *Paternu B.* Ivan Tavčar // Slovenska proza do moderne. Koper, 1957. S. 143.
- 4 Цит по: *Тартаковский А.* История продолжается // Вопросы литературы. 1992. № 2. С. 138.
- 5 *Kos J.* Na poti v postmoderno. Ljubljana, 1995. S. 88.
- 6 *Juvan M.* Alamut — enciklopedični roman // Vezi besedila. Ljubljana, 2000. S. 234.

Е. И. Жимулева
(Новосибирск)

Обычай рождественского христославения в народной культуре Сибири

Одним из аспектов проблемы взаимоотношений народной и православной культур является процесс перехода отдельных церковных песнопений в фольклорную среду и их функционирование в ней по законам фольклорных произведений. Этот процесс складывался под влиянием различных факторов. Так, например, в XX в. в связи с ограничением возможности совершения богослужения в храме формируется своеобразный обряд отпевания, выполняемый мирянами и включающий молитвы чина панихиды и народные духовные стихи¹. В более ранний период включение богослужебных жанров в народно-песенную традицию происходило в зависимости от других причин: желания крестьян связать православные праздники с сезонными работами, ярким примером чему служит исполнение пасхальных песнопений во время весенних календарных обрядов². Тем же желанием приблизить церковное празднование к частной жизни людей обусловлено появление обычая рождественского христославения — своеобразной народной формы празднования Рождества.

Рождественское христославение представляет собой широко распространенный святочный обычай обхода домов на Рождество для прославления праздничного события, поздравления хозяев и пожелания им благополучия. Этот обычай имеет много общего с обрядом колядования, что проявляется в календарной приуроченности обоих явлений к святочному периоду, особенностях их структуры и поздравительной функции, присутствующей в каждом из них. Отличаются же эти явления народной культуры тем, что традиция рождественского славения сформировалась в значительно более поздний период, чем древний славянский обряд, и не содержит аграрно-магической функции, присущей колядованию.

Точное время происхождения и распространения христославения в России неизвестно, в этом отношении можно предположить влияние польского католического обряда «христианского колядования» (XVI в.), совершаемого служителями церкви с целью искоренения народных магических обычаев и проникновения в крестьянскую среду песен о рождении Христа, сочиненных местными канторами и монахами³. Возможно, в результате усилившихся контактов

со странами Восточной Европы в XVII в. этот обычай распространился и закрепился на территории Украины и России.

О рождественском христославении в европейской части России существует исследование А. Н. Розова⁴, обобщающее значительный массив письменных источников XIX–XX вв. Описания этого обычая в разных областях России присутствуют в книге М. М. Громыко⁵, опирающейся, в основном, на данные дореволюционной этнографической литературы; отдельные сведения о рождественском славении встречаются в современных полевых материалах, публикуемых в журнале «Живая старина»⁶.

Несмотря на широкое распространение святочного обычая за Уралом, на материале сибирской традиции это явление практически не получило своего описания. Целью настоящей работы является рассмотрение рождественского христославения в Сибири на основании письменных источников, опубликованных в XIX–XX вв., с привлечением современных фонозаписей.

Не располагая точной информацией о причинах и путях распространения рождественского славения в различных областях Сибирского региона, можно предположить, что его появление и прочное вхождение в народную среду было связано с деятельностью сибирских церковных иерархов первой половины XVIII в., являвшихся выпускниками Киево-Могилянской академии⁷ и, возможно, привезшими с Украины этот рождественский обычай.

Первые упоминания о христославении присутствуют в самом раннем труде, посвященном сибирской этнографии — «Записках и замечаниях о Сибири» Е. А. Авдеевой-Полевой (1789–1865)⁸. В воспоминаниях иркутской бытописательницы говорится о том, что славение совершалось в первые три дня праздника Рождества, при этом автор называет его «любимым праздником детей» и сообщает интересную подробность об одаривании «славельщиков» фигурками животных, испеченными из ржаной муки специально для данного случая. Более развернутая информация о бытовании святочного обычая содержится в книге И. Т. Калашникова (1797–1865) «Записки иркутского жителя»⁹, написанной в одно время с трудом Е. А. Авдеевой. Сибирский краевед описывает состав участников славения, включающий кроме детей, учащихся младших классов семинарии, перечисляет песнопения, входящие в христославение, в том числе приводит текст псалмы («кантаты») «Нова радость стала», также звучащей во время святочного обхода. Упоминание о христославении завершается размышлениями автора о происхождении этого обычая и путях проникновения его в Сибирь, что в целом совпадает с ранее изложенными предположениями в этом отношении.

Об исполнении рождественского обычая детьми в сельских районах Иркутской области существуют упоминания в книге М. М. Громыко (данные конца XIX в.)¹⁰, а также информация в работе Г. С. Виноградова¹¹, зафиксированная автором в Иркутской и Енисейской губерниях в первой четверти XX в. Материалы Г. С. Виноградова включают описание процесса подготовки и обстоятельств проведения славения, тексты народных приговорок, входящих в заключительную часть обычая, характеристику изменений словесного ряда церковных песнопений детьми, не вполне понимающими смысл канонических текстов.

Сведения о христославении в конце XIX в. на территории Красноярского Приангарья присутствуют в книге А. А. Макаренко¹², который приводит также фольклорные тексты, завершающие славление. Краткие упоминания о бытовании интересующего нас явления на Дальнем Востоке встречаются в труде А. П. Георгиевского¹³.

Достаточно подробная информация о рождественском обычае в старообрядческих поселениях Забайкалья содержится в исследовании Ф. Ф. Болонева¹⁴ и вступительной статье к сборнику Н. И. Дорофеева¹⁵. Здесь присутствуют описания внешнего вида участников поздравительных обходов, охарактеризован исполнительский состав и обстоятельства проведения рождественского христославения, заменяющего у староверов обряд колядования¹⁶. Авторы этих работ не наблюдали бытование рождественского обычая среди семейских, приводимая ими информация составлена по воспоминаниям непосредственных участников обходов и относится к первой трети XX в.

В 90-е гг. XX в. появляются сборники, публикующие этнографические и фольклорные материалы, собранные преимущественно по воспоминаниям в Кемеровской¹⁷, Томской областях¹⁸, Красноярском крае¹⁹; в отдельных случаях присутствует публикация архивных данных, ранее неизвестных²⁰. В этой литературе широко представлены многочисленные рассказы исполнителей, с разной степенью подробности, воспроизводящие святочный обычай, а также тексты произведений, входящих в славление, на некоторые из которых, впрочем, наложила свой отпечаток «собираТЕЛЬская редакция» (Е. В. Гиппиус). Отдельные сведения, словесные и нотированные тексты христославения содержатся в трудах, посвященных фольклору и этнографии Алтайского края²¹, Новосибирской²², Тюменской²³ и Омской областей²⁴; краткие упоминания об интересующем нас явлении присутствуют в диссертационном исследовании Н. В. Леоновой²⁵ и статье О. И. Чариной²⁶.

Таким образом, информацию о христославении можно обнаружить во многих трудах, посвященных фольклору и этнографии Си-

бири, опубликованных как в XIX в., так и в советский, и, особенно, в современный период. Можно предположить, что подобной информации могло быть и больше, отсутствие же ее в некоторых источниках²⁷ можно объяснить тем, что ряд собирателей и исследователей обходят это явление, расценивая его как искусственно привнесенное извне, не считая его истинно народным²⁸, или же не описывают рождественский обычай по идеологическим соображениям²⁹.

Недостаточное число опубликованных текстов восполняет коллекция аудиозаписей и рукописных текстов, основанная на современных полевых материалах. Записи рождественских христославлений (песнопения и комментарии исполнителей об обстоятельствах их исполнения) получены в результате фольклорных экспедиций Новосибирской консерватории и Новосибирского педуниверситета, проходивших с 1975 по 2001 (в основном, в 80-е) гг. В настоящее время звукозаписи хранятся в Архиве традиционной музыки НГК и Государственном архиве Новосибирской области (фонд М. Н. Мельникова). В архивных собраниях присутствуют записи из Новосибирской, Омской, Тюменской областей, а также записи, выполненные на территории Приморского, Алтайского краев и республики Алтай.

Вследствие неполноты паспортных данных не всегда можно точно установить историко-социальную и этническую принадлежность рассматриваемых материалов. Все же по имеющимся сведениям выяснено, что половина образцов (16) относится к новопоселенческим записям (семь украинских, пять русских, четыре белорусских варианта), три образца записаны у старожильческого населения. Присутствует также вариант славления, записанный в Хакасии от исполнительницы, отец которой был хакасом, а мать — русской. Исполнительницами рождественских славлений во всех случаях являются женщины (1885–1930 г. р.), средний возраст которых на момент записи был около 75 лет.

Перечисленные источники, географическая принадлежность доступных нам публикаций и аудиозаписей позволяют сделать вывод об известной популярности и широкой распространенности интересующего нас явления в различных областях Сибирского региона, от Омской области до Дальнего Востока.

В современной этнографии сформулирован метод анализа обряда по самостоятельным линейно-выстраиваемым элементам — кодам, которые являются составляющими частями целостного явления³⁰. Обряд представляет собой сочетание следующих кодов: акционального, отражающего действия участников обряда, темпорального и локативного, обозначающих время и место действия, персонального, характеризующего исполнительский состав участников, предметно-

го, указывающего на использование определенных вещественных реалий, словесного и музыкального кодов, определяющих тексты и напевы произведений, входящих в некий ритуал. Проследим действие этих кодов на материале христославения всех представленных здесь территорий.

Акциональный код во всех географических местностях практически одинаков, это приход христославов в дом, славление, поздравление хозяев, получение вознаграждения. Отличие составляет здесь лишь разная степень подготовки к обходу домов (репетиции, устройство звезды, приготовление специальной одежды и мешков для сбора угощения), особенно организованными в этом отношении проявляют себя казаки Черлакского района Омской области и староверы Забайкалья. В некоторых, довольно редких случаях рождественский обычай сопровождался действиями со стороны хозяев: «первого христославщика садят на шубу, чтобы овцы велись»³¹; очевидно, здесь присутствует факт актуализации аграрно-продуцирующей, традиционной для святочного периода функции.

Темпоральный код также достаточно устойчив. Большинство данных свидетельствует о том, что описываемое действие совершалось в день Рождества Христова, иногда, впрочем, празднование происходило в течение двух-трех дней (сведения по Новосибирской обл., Красноярскому краю). Возможно, в некоторых местностях славление продлевалось еще на несколько дней, так как по свидетельству Н. И. Дорофеева «в течение Святков все партии [славильщиков. — Е. Ж.] обязаны были побывать в каждом семейском доме»³². Начало христославения обычно относят к раннему утру, сразу после рождественского богослужения, называют сроки «6–7 утра», «до восхода солнца». Лишь в одном случае (дальневосточные материалы) славление происходило во второй половине дня праздника. Продолжительность поздравительных обходов зависела от числа групп христославов.

Локативный код. Единственной чертой рассматриваемого обычая, проявляющейся одинаково абсолютно во всех местных традициях является то обстоятельство, что славление всегда совершалось в домах, в отличие от колядования, которое обычно происходило на улице под окнами.

Персональный код. Состав участников рождественских обходов несколько варьируется у различных групп населения. Во всех населенных пунктах, кроме Забайкалья, главными действующими лицами славления являлись дети, довольно часто к ним присоединялась молодежь, в некоторых случаях — взрослые. Встречаются также редкие упоминания о присутствии в обходах священников (Черепановский р-н Новосибирской обл., Казачинский р-н Красноярского края,

Черлакский р-н Омской обл.), читавших или певших рождественские молитвы.

В старообрядческих поселениях Забайкалья христославление проводилось более обстоятельно. В нем участвовали различные группы певчих — начинали славить мальчишки 12–14 лет, вслед за ними появлялись группы молодых мужчин, завершали обходы пожилые певчие во главе с уставщиком.

В отношении *предметов*, используемых при проведении поздравительных обходов нужно указать на почти повсеместное распространение украшенной звезды, довольно часто упоминается икона. Всегда присутствует угощение, дважды зафиксировано наличие специально приготовленной по случаю праздника особой еды — «сырчиков» из творога (Омская обл.) и «ягнят и овечек» из ржаной муки (информация по Иркутску из книги Е. А. Авдеевой). Часто вместе с угощением славильщиков благодарили деньгами. У казаков Омской области для сбора подарков шились специальные сумки из мешковины. В местах, заселенных старообрядцами, для проведения рождественского обхода шилась специальная одежда: халаты из чесучи серого или черного цвета, подпоясанные широкими и длинными шелковыми поясами, украшенными тяжелыми кистями, что вероятно, придавало славильщикам достаточно живописный и яркий вид. У семейских Забайкалья с певчими расплачивались исключительно деньгами, известно, что были приняты определенные суммы для разных возрастных групп участников обходов.

Устойчивым в *словесном коде* является принцип сочетания церковных песнопений и фольклорных текстов. В реальной практике бытования славления наблюдается некое поле вариантов реализации этого принципа. Так, например, самым постоянным каноническим жанром является тропарь — неперенное произведение христославления, кондак зафиксирован в половине рассмотренных образцов, ирмос 1-й песни рождественского канона и многолетие встречаются достаточно редко. Фольклорные тексты представлены христианизированными колядками, псалмами, благопожеланиями, просьбами о вознаграждении, шуточными угрозами в адрес скупых хозяев. В Томской области зафиксированы рождественские духовные стихи, исполнявшиеся после православных песнопений.

По аналогии со словесным рядом *музыкальный код* рождественских песнопений, включает церковные и фольклорные образцы, звучащие во время поздравительных обходов. Богослужбные жанры, как правило, поются, в большинстве случаев напевы ориентированы на канонические версии этих песнопений, на обиходные гласы, представленные в фольклорной практике широким спектром вариантов.

Собственно народные тексты обычно проговариваются, исключение составляют пропеваемые христианизированные колядки (Новосибирская обл.), встречающиеся достаточно редко. Так как записи в большинстве случаев проводились от одиночных исполнителей, в имеющейся коллекции рождественских образцов преобладают одноголосные варианты.

Проследив действие каждой составляющей части рассматриваемого явления, можно охарактеризовать бытование рождественского славения в разных контекстах: региональном, этническом, историческом, социально-конфессиональном.

В различных ареалах Сибирского региона принципиальных отличий в проведении рождественского обычая не обнаружено. В целом наблюдается действие единого канона с некоторыми вариантами, проявившимися, например, во времени исполнения славения — вторая половина дня на Дальнем Востоке, либо касающимися особенностей рождественских обходов в Забайкалье, что вызвано, скорее, не географическими, а конфессиональными причинами. Не выявлено на данный момент особых различий в бытовании христославения у различных этнических и историко-социальных групп. Возможно, это обстоятельство также связано с проявлением единого канона святочного обычая и/или же с ограниченным количеством исследуемого материала.

Рассмотрев рождественский обычай в историческом плане, можно обнаружить, что в целом славение мало изменилось с первой трети XIX в. до конца XX в. Изменились особенности его фиксации. В дореволюционных публикациях присутствует, как правило, более подробное описание рождественских обходов, но не приводятся тексты церковных песнопений, хорошо известных исполнителям, собирателям и читателям того времени. Современные записи реально отражают бытование рождественского христославения в первой трети XX века, позднее этот обычай практически не развивался, являлся результатом пассивного хранения. В его описаниях преобладают краткие конспективные варианты, в большинстве случаев содержащие образцы произведений, поющихся при христославении.

Определенная специфика присутствует в проведении рождественских обходов у отдельных социальных и конфессиональных групп. В социальном плане выделяются казаки (в данном случае мы опираемся только на информацию из Черлакского р-на Омской обл.)³³. Следует отметить серьезную подготовку к рождественским обходам — репетиции (спевки) участников славения, шитье сумок для сбора подарков, со стороны хозяев — приготовление специального угощения и уборка снега перед домами. Обращает на себя внимание обяза-

тельное присутствие священника в поздравительных обходах. О серьезном отношении к рождественскому обычаю у казаков говорит также хорошая сохранность текстов христославлений: в Омской области зафиксирован один из наиболее полных вариантов последования церковных песнопений, звучащих во время поздравительных обходов – ирмос + тропарь + кондак.

Особенности функционирования рождественского обычая в различных конфессиональных условиях ярко проявляются при рассмотрении его бытования в среде семейских Забайкалья. Так же, как у казаков, перед Рождеством проводилась обстоятельная подготовка, включающая обязательные спевки, шитье праздничной одежды, приготовление зажженных свечей хозяевами домов. Благодарили семейских христославщиков исключительно деньгами, что принимало характер своеобразной, достаточно строго регламентированной платы. Особенно выделяется наличие своеобразной социально-воспитательной функции, сообщаемой рождественскому обычаю: христославы (по-семейски «дьячившие») сознательно не входили в дома нарушителей устава, «случайный же пропуск какого-либо дома считался дурным знаком и вызывал тревогу у прихожан»³⁴, что говорит об определенном авторитете этого явления в старообрядческой традиции. В пользу высокого статуса рождественских обходов у староверов говорит и четко продуманная и строго выполняемая последовательность нескольких обходов.

Показательно, что наиболее серьезное отношение к рождественскому обычаю сохранилось именно у казаков и старообрядцев, так как эти группы ощущали себя едиными, крепко сплоченными социумами, объединенными общими системами ценностей, что способствовало хорошей сохранности традиций³⁵.

Обобщая анализ рождественского христославения в его сибирском бытовании, можно сделать предварительный вывод о существовании двух разновидностей данного обычая. Первая, наиболее часто встречающаяся – близка фольклорной практике зимних поздравительных обходов, церковные песнопения носят при этом вставной характер, появляясь вместо колядок. Вторая разновидность славления более близка по смыслу к богослужебному варианту, практически представляет собой перенос фрагмента рождественской службы в светскую обстановку. Эта форма христославения менее распространена, чем первая, и бытует, в основном, в вышеописанных обособленных социальных и конфессиональных группах.

В заключение необходимо сказать несколько слов о соотношении рождественского обычая на территории Сибири и европейской части России. В целом можно отметить наличие общих для обоих регионов

тенденций в практике бытования христославения. Так, зафиксированные в Забайкалье характерные черты рождественских обходов присутствуют и в традиционной культуре староверов Русского Севера (в частности, проведение славения дифференцированными мужскими группами с пением исключительно богослужебных произведений)³⁶. Общей тенденцией в развитии рождественского обычая является его переход в детскую среду, что отмечено в исследовании А. Н. Розова³⁷. Подобный процесс характерен не только для христославения, но и для колядования³⁸. Возможно, нахождение новой информации о рождественском христославении в обоих регионах позволит более подробно охарактеризовать особенности святочного обычая в Сибири в сравнении с его европейской практикой.

Примечания

- ¹ *Похабов В. Ф.* Культурное наследие русских Кузбасса (Семейно-обрядовый фольклор северо-востока Кемеровской обл.). М., 2000. С. 64–76; Данная информация подтверждается также полевыми материалами: ГАНУ, фонд М. Н. Мельникова, Т. 513; записи автора данной работы в Шебалинском р-не Республики Алтай, 2002 г.
- ² *Енговатова М. А.* Пасхальный тропарь «Христос воскрес» в народной песенной традиции западных русских территорий // *Экспедиционные открытия последних лет.* СПб., 1996. С. 72–87; *Подрезова С. В.* Пасхальный тропарь «Христос воскрес» в северо-восточных районах Смоленской области: к проблеме ладоинтонационного анализа // *Антропология. Фольклористика. Лингвистика.* Вып. 1. СПб., 2001. С. 172–210.
- ³ *Виноградова Л. Н.* Конференция в Кракове «Коляды в Польше и в других славянских странах: генезис, развитие, современное состояние» // *Живая старина.* 1998. № 2. С. 56–57.
- ⁴ *Розов А. Н.* Русское рождественское христославение: материалы и исследование // *Русский фольклор.* Т. XXX: Материалы и исследования. СПб., 1999. С. 20–53.
- ⁵ *Громыко М. М.* Мир русской деревни. М., 1991. С. 319–324.
- ⁶ См., например: *Живая старина.* 1996. № 2. С. 55, 58; 1995, № 4. С. 43 и др.
- ⁷ См. *Роменская Т. А.* История музыкальной культуры Сибири от походов Ермака до Крестьянской реформы 1861 года. Томск, 1992. С. 61–68.
- ⁸ *Авдеева Е. А.* Записки и замечания о Сибири. Сочинение ...ы ...ой с приложением старинных русских песен. М., 1837. Переиздание: *Записки иркутских жителей / Сост. тома, прим., послесловие М. Д. Сергеева.* Иркутск, 1990. С. 5–124.
- ⁹ *Калашиников И. Т.* Записки иркутского жителя // *Русская старина.* 1905. Т. 123. С. 205–206. Переиздание: *Записки иркутских жителей...* С. 255–396.

- 10 Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 321.
- 11 Виноградов Г. С. Детский народный календарь // Сибирская живая старина. Иркутск, 1924. Вып. 2. Переиздание: Виноградов Г. С. Детский народный календарь // Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. СПб., 1998. С. 24–25.
- 12 Макаренко А. А. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении // Записки ИРГО по отделению этнографии. СПб., 1913. Т. XXXVI. Переиздание: Макаренко А. А. Сибирский народный календарь. Новосибирск, 1993. С. 88–89.
- 13 Георгиевский А. П. Русские на Дальнем Востоке. Фольклорно-диалектологический очерк. Вып. IV. Фольклор Приморья. Владивосток, 1929.
- 14 Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX — начало XX вв.). Новосибирск, 1978.
- 15 Дорофеев Н. И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. М., 1989.
- 16 Дорофеев Н. И. Русские народные песни Забайкалья... С. 12.
- 17 Народный календарь Кемеровской области / Сост., автор вступ. статьи и прим. Е. И. Лутовинова. Кемерово, 1998.
- 18 Жили да были: фольклор и обряды томских сибиряков / Собр., сост. и автор комм. П. Е. Бардина. Томск, 1997.
- 19 Пришла Коляда накануне Рождества / Сост. Н. А. Новоселова, С. В. Соколова. Красноярск, 1995.
- 20 См. Пришла Коляда накануне Рождества... На с. 40–41 опубликованы материалы М. В. Красноженовой, относящиеся к началу XX в.
- 21 Литинская В. А. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае XVIII — начало XX века. М., 1996; Сигарева М. Н. Зимний календарный фольклор Петропавловского района (по материалам экспедиций 1997–1999 гг.) // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы науч.-практич. конф. / Под ред. Демина М. А., Щегловой Т. К. Вып. 4. Барнаул, 2001. С. 166–175.
- 22 Хрестоматия сибирской русской народной песни. Детский народный календарь / Сост. В. И. Байтуганов, Т. Ю. Мартынова. Новосибирск, 2001.
- 23 Песенная жемчужина Исетского района / Сост., вступ. статья и комм. Л. В. Деминой. Тюмень, 1996.
- 24 Золотова Т. Н. Календарные праздники русских Тоболо-Иртышского региона в к. XIX–XX вв. / Автореф. ...канд. ист. наук. Новосибирск, 1997; Народная культура Муромцевского района. М., 2000.
- 25 Леонова Н. В. Русские календарные песни Сибири. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. искусствоведения. Новосибирск, 1996.
- 26 Чарина О. И. Особенности русского календарно-обрядового цикла в Приленье // Живая старина. 1998. № 1. С. 42–43.
- 27 См., например: Неклепаев И. Поверья и обычаи Сургутского края // Записки Западно-сибирского отдела ИРГО. Т. XXX. Омск, 1903. Переиз-

дание: Традиционные зимние увеселения взрослой молодежи в районах Среднего Приобья // Русская традиционная культура. 1996. № 1–2. С. 5–66; *Бартенева В.* На крайнем северо-западе Сибири. Очерки Обдорского края. СПб., 1896.

28 См. оценку этого явления в книге: *Носова Г. А.* Язычество в православии. М., 1975. С. 50.

29 В качестве характерного примера подобной ситуации можно привести информацию об изъятии значительной части материалов, посвященных христославлению, из книги Ф. Ф. Болонева «Народный календарь семейских Забайкалья...» во время редакционной подготовки рукописи к печати.

Сведения получены от автора в ходе работы круглого стола международной конференции «Славянский мир: общность и многообразие», проходившей 23 мая 2002 г. в г. Новосибирске.

30 См.: *Толстая С. М.* О семантическом единстве обряда // Фольклор: проблемы сохранения, изучения, пропаганды. М., 1988. С. 146–148.

31 Пришла Коляда накануне Рождества... С. 41.

32 *Дорофеев Н. И.* Русские народные песни Забайкалья... С. 12.

33 *Аркин Е. Я.* Запевает казак песнь: Песни казачьих станиц Омской области. Омск, 1999. С. 21.

34 *Дорофеев Н. И.* Русские народные песни Забайкалья... С. 12.

35 См. *Никитина С. Е.* Русскую душу лучше выяснять на русском языке // Живая старина. 1999. № 1. С. 36.

36 *Громыко М. М.* Мир русской деревни... С. 322.

37 *Розов А. Н.* Русское рождественское христославление... С. 52.

38 *Пропт В. Я.* Русские аграрные праздники. СПб., 1995. С. 49. Переиздание: Л., 1965.

Н. А. Урсегова
(Новосибирск)

Жанровый состав украинского фольклора Новосибирской области

Народно-песенная культура украинцев Сибири — одна из богатейших тем сибирской фольклористики — на протяжении не многим более сорока лет привлекает к себе внимание собирателей и исследователей нашего региона. В настоящее время фольклор украинских переселенцев по-прежнему обладает притягательной силой, позволяет сформулировать новые перспективные направления научно-исследовательской работы.

Запись украинского фольклора в Новосибирске активно началась в 60-е гг. XX в., а уже в 80-е гг. появились крупнейшие издания, в которых можно найти тексты и мелодии украинских народных песен¹. В первой публикации был представлен свадебный репертуар украинцев с. Лотошное Краснозерского района Новосибирской области². В 1999 г. вышел в свет нотный сборник «Песни села Белое» (из серии «Традиционная культура Новосибирского Приобья»), представляющий традиционный репертуар одного из сел Карасукского района, расположенного в юго-западной части Новосибирской области (записи были выполнены в 1984 г.). В последующие годы украинский фольклор несомненно записывался, однако большая его часть хранится в ведомственных (архивы учебных заведений), государственных (ГАНО) или личных архивах, не всегда известных и доступных исследователю. Так, в Новосибирском областном колледже культуры и искусства (НОККиИ), в процессе учебной деятельности фольклорно-этнографического отделения (ФЭО), начиная с 1994 г., формировался фольклорный Архив, в котором, к настоящему времени, хранятся свыше одной тысячи фольклорно-этнографических образцов, записанных в 22-х районах и 58 населенных пунктах НСО. Около половины всех архивных песен (541 фонограмма) представляют украинский фольклор (см. таблицу).

Изучение музыкального фольклора украинских переселенцев началось сравнительно недавно: в последние десятилетия XX в. увидели свет значительные труды обобщающего характера. Прежде всего, следует назвать работы Н. В. Леоновой³, Е. В. Тюриковой⁴, и других авторов⁵, специально посвященные изучению музыкальному фольклору украинских переселенцев. Представляется целесообразным рассмотреть доступные опубликованные украинские материалы, а так-

же неопубликованные источники из Архива ФЭО НОККиИ, классифицируя их по фольклорно-этнографическим комплексам и жанрам, что позволит частично отразить динамику украинских фольклорных традиций функционирующих на территории Новосибирской области.

| Шифр кассеты | Населенный пункт | Автор записи | Количество записанных образцов |
|--------------|--|---|--------------------------------|
| О/о № 3 | с. Ирбизино Карасукского района Новосибирской области | Заводенко Д. | 9 |
| Э-6, 7, 8, 9 | с. Ирбизино, с. Грамотино, с. Нестеровка, с. Калиновка Карасукского района Новосибирской области | Урсегова Н. А., Шефер И. А., Карчагина О. П. | 156 |
| З/о № 4 | с. Хорошее Карасукского района Новосибирской области; г. Карасук | Токарева С. | 13 |
| О/о № 5 | с. Черно-Курья Карасукского района Новосибирской области | Гуляева Т. | 35 |
| О/о № 3 | с. Ивановка, с. Подольск Баганского района Новосибирской области | Марченко Н. А. | 67 |
| Э-3, 4, 5 | с. Ивановка, с. А.-Невского, с. Савкино Баганского района Новосибирской области | Урсегова Н. А., Марченко Н. А., Комракова О. Е. | 111 |
| З/о № 20 | с. Очкино Чистоозерного района Новосибирской области | Жирианова О. | 6 |
| З/о № 10 | с. Бурла Бурлинского района Алтайского края, с. Коротояк Хабарского района Алтайского края | Сухачева Л. | 12 |
| З/о № 6 | с. Решеты Кочковского района Новосибирской области | Барон Е. | 11 |
| З/о № 8 | п. Барлак Мошковского района Новосибирской области | Стоякин Н. | 10 |
| З/о № 18 | п. Ташара Мошковского района Новосибирской области | Стадникова Т. Н. | 8 |
| Э-2 | г. Мошково | Урсегова Н. А., Стадникова Т. Н. | 12 |
| О/о № 2 | с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области | Терещенко И. | 13 |
| О/о № 3 | с. Никулино Татарского района Новосибирской области | Кольванова А. | 7 |
| О/о № 4 | с. Первомайка Искитимского района Новосибирской области | Гутова Е. | 5 |
| О/о № 5 | с. Красноглинное Новосибирского сельского района | Алентикова И. | 3 |
| З/о № 18 | с. Ново-Феклино Чановского района Новосибирской области | Слободяник Г. | 4 |
| О/о № 1 | д. Васильевка Купинского района Новосибирской области | Партыко Н. | 7 |
| З/о № 2 | д. Чаинка Купинского района Новосибирской области | Голубенко Б. | 16 |

| Шифр кассеты | Населенный пункт | Автор записи | Количество записанных образцов |
|--------------|---|---------------|--------------------------------|
| З/о № 2 | с. Медяково Купинского района Новосибирской области | Бригинец С. | 2 |
| З/о № 28 | г. Бердск | Левитес Е. Е. | 11 |
| З/о № 29 | г. Новосибирск | Смирнов Н. Б. | 3 |

Наиболее значительные в количественном отношении коллекции украинского фольклора были зафиксированы в юго-западной части Новосибирской области (Карасукском и Баганском районах), а также в прилегающих к ним населенных пунктах Алтайского края. Именно эти записи составляют аналитическую базу настоящего исследования. В качестве дополнительного сравнительного материала будут привлечены опубликованные источники.

Самую многочисленную в количественном отношении группу песен составляют *украинские традиционные лирические песни и баллады*. Почти все украинцы-сибиряки поют «Ой, там на горе», «Шо й у Гали неридная мати», «На вгороди верба рясна», «Шой у поли озеречко», «За туманом ничего не видно», «Посияла огирочки» и другие. Реже записываются такие песни, как «Бросай, Петре, жинку», «Та не ма гирш никому», «Понад яром, яром». К традиционным лирическим песням наиболее близко примыкают поздние лирические песни, песни литературного происхождения, романсы. Наиболее хорошо сохранившимися являются: «Стоит гора высокая» (сл. Л. Глебова), «Цвитэ тэрэн», «Ой у вишневому садочку».

Другую важную группу украинского фольклорного наследия составляют *календарные и семейно-обрядовые песни*. Среди *календарного фольклора* наиболее сохранившимися являются песни зимнего цикла — щедровки, колядки, меланки, посеваия. Так, меланку «Що в Юрусалиме» нам удалось записать только в селах Карасукского района (с. Белое, с. Ирбизино, с. Нестеровка), а щедровки «Щедровочка щедровала до виконца припадала», «Щедрик-ведрик» знают все опрошенные информанты.

В с. Черно-Курья Карасукского района Новосибирской области к зимнему циклу примыкают так называемые «рождественские песни» (всего 14 образцов), представляющие собой церковные молитвы (тропари, кондаки, ирмосы рождественского канона). «Рождественские песни» исполнялись наряду с собственно календарными песнями во время обхода дворов. Объединение церковного и народного репертуара происходило, скорее всего, благодаря наличию в них общей христианской образности: в меланках упоминается святой город Иерусалим

(Юрусалим), дева Мария, Христос, в посеваниях — Господь, Боже, мать Божья и т. д.

Экспедиционные записи свидетельствуют, что и в летнее время украинские переселенцы обращались к христианским святым за помощью. Так, Орендаренко Екатерина Яковлевна (1937 г. р., украинка, родители родом с Полтавы), рассказала, что летом, когда долгое время не было дождей, совершался *обряд вызывания дождя*: все женщины собирались, брали икону с изображением Богородицы и шли за село; ходили по полю и пели «Пресвятая Богородица, помилуй нас» (Э-6, № 11–12).

Календарные песни весенне-летнего цикла (веснянки, троицкие и купальские песни, «петривки», русальные песни) известны нам только по опубликованным источникам. Интересно, что в с. Ирбизино Карасукского района календарную песню «Ой, Петре, Петре, щей Гордие» разучили к одному из смотров-конкурсов, которые проводятся в нашей области: для этого специально приглашали певицу из Белого. К редким находкам относят исследователи и живные песни⁶.

В с. Калиновка Карасукского района церковные молитвы («Святый Боже», «Христос воскрес») называют «песнями» и исполняют их «...громко, на все кладбище...» во время больших церковных праздников (на Пасху, Троицу). Ночью у гроба пели *духовные стихи* — песни с христианскими образами или сюжетами. В мае 2002 г. были записаны два духовных стиха: «Ой, по мосту, мосту» (этот стих исполнялся у гроба отца или матери, у которых остались сиротами не менее трех детей, а также на Пасху и Троицу) и «Я стою же на краю, вижу гибель свою» (Э-9, № 7, 8). В с. Черно-Курья церковные молитвы исполнялись у гроба (О/о 5, № 12, 13).

Семейно-обрядовая сфера украинской песенности является по сути угасающей. Все реже и реже фольклористам удается записать традиционные украинские *свадебные песни*. Нередко информанты «выдают» за свадебные, песни лирического содержания, в которых упоминаются свадебные образы или мотивы («У церкви стояла карета», «Я раз по садику гуляла»).

Довольно подробное описание народной свадьбы, дополненное исполнением свадебных песен с. Ивановка Баганского района, удалось записать студентке 3 курса ФЭО НОККиИ Наталье Марченко. Сейчас ее коллекция насчитывает 30 свадебных песен. В Архиве ФЭО НОККиИ хранится 55 украинских свадебных песен.

Немногочисленна группа колыбельных песен, детских потешек (не более десятка). Эти образцы были записаны в с. Белое Карасукского района и в с. Ивановка Баганского района. На просьбу собира-

теля спеть колыбельную песню информанты отвечают, что «...колыбельных песен не пели, не было времени, работали...».

Украинских песен шуточного содержания, песенно-танцевальных образцов также зафиксировано немного. Так, например, в Карасукском районе, в с. Ирбизино поют «Чоловик пропив индыка», «Як пійду я до кумы»; в с. Нестеровка — шуточную скороговорку «Ехал Ваня понад низом»; в с. Калиновка — «Мэне мати полюбила». Несомненным дополнением к песням шуточного содержания выступают частушки. В с. Ирбизино Карасукского района был записан частушечный спев, в котором исполнение частушек разными исполнительницами чередовалась с ансамблевым рефреном: «Правильно, правильно, правильно пропела. Правильно, неправильно — кому какое дело?» (Э-6, № 37).

О количественном соотношении песен разных жанров в современном репертуаре украинских переселенцев Новосибирской области можно судить, например, по записям, хранящимся в Архиве ФЭО НОККиИ (см. Приложение 1).

Важное место в современном репертуаре украинских переселенцев занимают *русские песни*:

- традиционные лирические песни (Ой, да ты калинушка, размалинушка», «Скакал казак через долину»),
- поздние лирические песни («Раз я выпил с друзьями по привычке», «Понапрасну травушка помята»),
- баллады («В одном прекрасном городе», «Что на берегу крутому разыгралася волна»),
- песни литературного происхождения («Отец мой был природный пахарь», «В островах охотник», «Сяду я за стол, да подумаю»),
- авторские песни («Ой, рябина кудрявая», «Вот уж вечер, а я у порога», «Над полями зорька светлая»).

Особой задушевностью наполнены песни военной тематики («Из-за гор, из-за Карпатских», «Мой платочек с голубой каемкой», «Стэпом, стэпом йшли у бий солдаты», «Прилетала кукушка» и другие. В русском и украинских языковых вариантах/версиях. Отдельную группу современных народных песен, появившихся на свет явно в советское время, составляют песни о парне-агрономе / шофере / трактористе / летчике и т. п. В них воспевается удаля, профессиональное мастерство, смелость, находчивость главного героя песни.

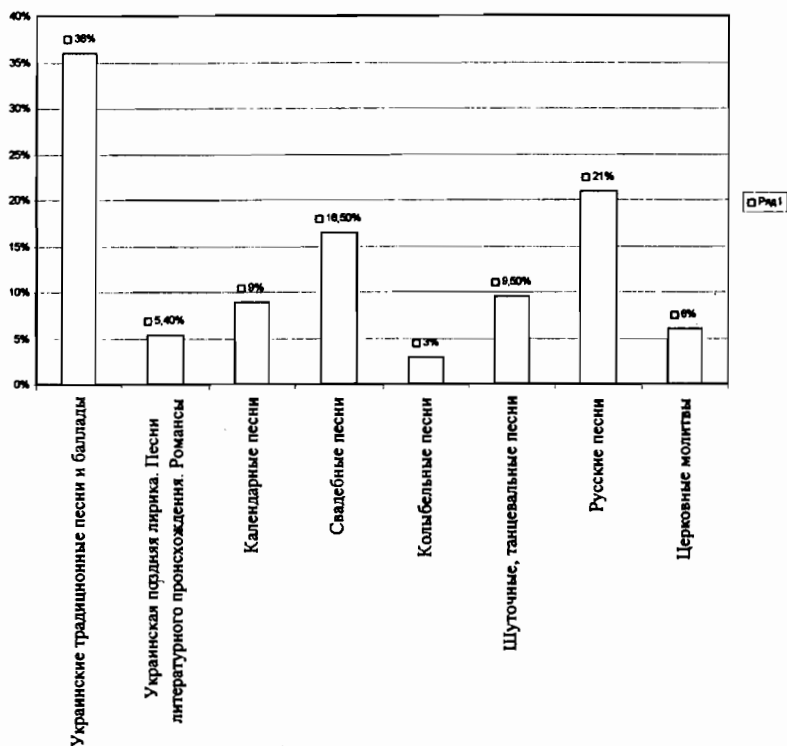
В целом, жанровый состав украинского фольклора Новосибирской области, включая его разграничение по образно-тематическим сферам, жанрово-родовым сферам, обрядовым циклам, можно представить в виде многоуровневой системы (см. Приложение 2).

Украинский традиционный лирический репертуар получил широкое распространение на всей территории Новосибирской области: его записывают в русских старожильческих селах (с. Балман Куйбышевского района), белорусских (д. Колбаса Кыштовского района), а также селах смешанного типа (с. Тебисское Чановского района, пос. Западный Мошковского района). Так, материалы Архива ФЭО НОККиИ свидетельствуют, что лирическая песня «Посяяла огурочки» записана в с. Тебисское Чановского района, д. Макаровка, д. Ново-Майзас, д. Колбаса Кыштовского района, с. Крутишка Черепановского района, пос. Западный Мошковского района, в с. Верх-Ирмень Ордынского района и т. д. Кроме того, широкой известностью в народе пользуются песни: «За туманом», «В огороде верба рясна», «Ой, ты, хмелю», «Как у поля озеречко», «Посадила розу в край викна» и другие.

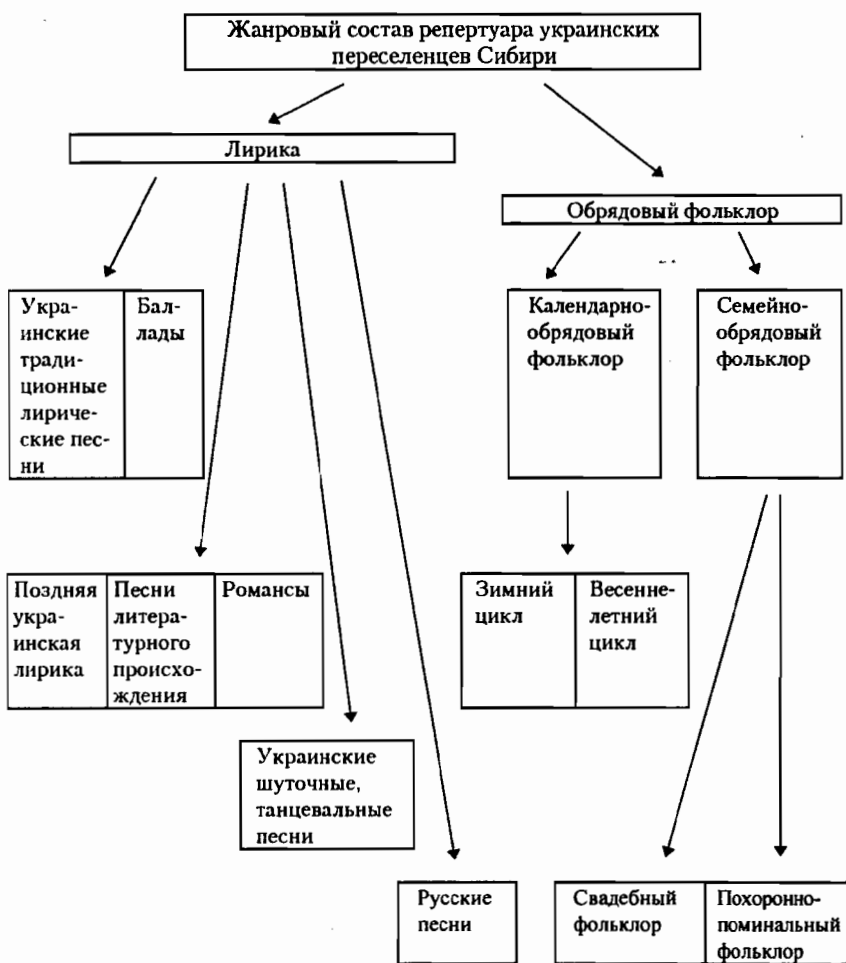
Таким образом, наибольшее распространение в Сибири получила украинская *лирика*. Но не вся лирика, а лирика, широко распространенная, прежде всего, на территории Украины — это украинский общенациональный фонд. Такие песенные образцы легко запоминаются, имеют простую и, в то же время, красивую мелодию, их интонационно-ритмическая структура способна преодолевать национальные барьеры и проникать в репертуар других славянских народов. В то же время, христианские образы и мотивы, а также некоторые церковные жанры, проникая в народную украинскую культуру, становятся составной частью украинской фольклорной традиции, определяют ее своеобразное «лицо», ее особый колорит.

**Процентное соотношение песен разных жанров
в современном репертуаре
украинских переселенцев Новосибирской области**

(по материалам Архива народной музыки фольклорно-этнографического отделения Новосибирского областного колледжа культуры и искусств)



Приложение 2



Примечания

- 1 Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост.: Ф. Болонев, М. Мельников. Новосибирск, 1981; Хороводные и игровые песни Сибири / Сост.: Ф. Ф. Болонев, М. Н. Мельников, 1985.
- 2 Захарченко В., Мельников М. Свадьба Обско-Иртышского Междуречья. М., 1985.

- 3 *Леонова Н. В.* Украинский фольклор // Музыкальная культура Сибири: в 3-х т. Т. 1. Традиционная музыкальная культура народов Сибири. Кн. 2. Традиционная культура сибирских переселенцев. Новосибирск, 1997. С. 52–68.
- 4 *Тюрикова Е. В.* Украинская народная песня на территории Новосибирского Приобья: Дипломная работа. Новосибирск, 1984; Динамика фольклорной традиции (песенный фольклор украинских переселенцев Новосибирского Приобья): Автореф. Дис. ... канд. искусствоведения. Киев, 1994.
- 5 *Марченко Н. А., Урсегова Н. А.* Свадебный обряд и песни украинцев села Ивановка Баганского района Новосибирской области // Народная культура Сибири: поиски молодых исследователей. Омск, 2001. С. 160–165; *Урсегова Н. А., Комракова О. Е., Марченко Н. А.* По итогам фольклорной экспедиции в Баганский район Новосибирской области // Народная культура Сибири: поиски молодых исследователей. Омск, 2001. С. 166–170.
- 6 *Леонова Н. В.* Украинский фольклор // Музыкальная культура Сибири... С. 58.

Н. В. Леонова
(Новосибирск)

Белорусский фольклор в контексте сибирских славянских традиций

Славянский фольклорный комплекс сибирского региона образован традициями позднего формирования, сложившимися после XVI в. на основе различных локальных источников¹. Карта распространения русского, украинского и белорусского фольклора на территории Сибири (и Дальнего Востока) очень сложна по пространственным характеристикам: однородные (по историко-культурным, социальным, конфессиональным и исходно-локальным признакам) культурные элементы редко функционируют в условиях обширных ареалов, чаще они разбросаны отдельными «очагами» по бескрайним зауральским/сибирским просторам, соседствуя, налагаясь, растворяясь среди множества других культурных «очаговых» явлений. Это обстоятельство позволяет говорить о хаотичности синхронного распределения разных по своим локальным истокам фольклорных образований в Сибири, о мозаичности фольклорно-этнографической карты региона в ее современном виде².

Несмотря на то, что все бытующие в Сибири народно-песенные традиции относятся к одному классу музыкально-фольклорных систем, поздних и вторичных³, следует отметить, что фольклор сибирских переселенцев отличается также временной (исторической) многослойностью или полипластовостью, если иметь в виду, что каждый слой или пласт также состоит из некоторого круга локальных и исторических форм. Обобщая накопившийся к настоящему времени фактологический и аналитический материал, в народно-песенной культуре сибирских переселенцев можно выделить три основных пласта: 1) узколокальные замкнутые традиции русских старожилов, начало которым было положено историческими процессами формирования стабильного некоренного населения Сибири в XVII в.; 2) обширные по охватываемым территориям и в связи с этим относительно менее замкнутые традиции социальных (казаки) и конфессиональных (староверы) групп, появившихся в Сибири в XVIII в.; 3) «пестро-миграционный» массив новопоселенческих традиций рубежа XIX–XX вв., определивших культурное содержание поселений, широкой полосой расположившихся вдоль Транссибирской магистрали. Совершенно очевидно, что традиции двух первых пластов обладают чертами местного (в Сибири сформированного) своеобразия, тогда

как традиции третьего пласта в жанровом и стилевом отношении сохраняют все существенные свойства материкового (или материнского) первоисточника.

Белорусский фольклорно-этнографический комплекс, несомненно, принадлежит к явлениям третьего пласта традиционной культуры региона. Однако, несмотря на недостаточную укорененность его в сибирской почве, на неадекватность его для демонстрации жанрово-стилевой специфики народного творчества сибиряков, тем не менее, фольклор белорусов Сибири является привлекательным материалом не только в связи с задачами изучения белорусской диаспоры, но и в процессе исследования собственно сибирской проблематики. Анализ белорусского элемента новопоселенческого пласта позволяет выявить способы функционирования подобных ему фольклорно-этнографических комплексов в условиях нового для них контекста «мозаичной» народно-песенной культуры Сибири. Учитывая, с одной стороны, масштабы развития фольклорных традиций вторичного формирования в духовной практике последних столетий, и, с другой стороны, ограниченность возможностей в вопросах изучения исторического движения устных форм традиционной культуры, следует признать несомненную актуальность исследования явлений *культурной интродукции*.

Под культурной интродукцией автор настоящей статьи понимает проникновение отдельных элементов определенной культуры за пределы естественного ареала распространения и их приспособление, адаптацию к новым условиям. Разные исторические пласты сибирского восточнославянского фольклора демонстрируют разные стадии интродуцирования. Новопоселенческий пласт в целом, как и белорусская его составляющая, находятся в начале этого процесса экстремального включения в новую культурную среду и реформирования регионального фольклорно-этнографического комплекса.

Усложняющими факторами при наблюдении процесса культурной интродукции белорусских традиций в Сибири являются, во-первых, естественная для развития фольклора растянутость во времени, а, во-вторых, многообразие форм и тенденций ее реализации, обусловленных многообразием же конкретных условий бытования белорусского комплекса на территории региона. В качестве наиболее значимых контекстных элементов выделяются наличие (или отсутствие) этнографической однородности среды бытования отдельной интродуцируемой традиции (главная оппозиция данного контекста определяется функционированием белорусского фольклора в условиях «локальных» поселений, образованных по земляческому принципу и способствующих развитию тенденций локализации и консервации

исходной традиции, или в смешанных поселениях, культурная практика которых содействует развитию процессов культурного взаимодействия)⁴, а также характер ее жизнедеятельности, сочетание активных и пассивных форм проявления.

Автору уже приходилось писать о народно-песенной культуре белорусов-сибиряков⁵. Накопленный материал позволяет сделать выводы о том, что обобщенная система жанров белорусского фольклора в ее специфической форме, с значительным преобладанием обрядовой сферы (календарный и свадебный циклы), в достаточном объеме воспроизводится и на сибирском материале. Репрезентативен функциональный, сюжетно-тематический и музыкально-типологический (состав песенных форм и музыкально-ритмических типов) облик сибирской традиции белорусского происхождения. Фонозаписи даже демонстрационных, по просьбе собирателя состоявшихся певческих актов являют особенности самобытной исполнительской манеры белорусских «гуртов» и певцов-солистов. Таким образом, белорусская фольклорная традиция в Сибири жива и узнаваема среди окружающих ее переселенческих комплексов иного происхождения.

Однако на исходе первого столетия бытия белорусской традиционной культуры в условиях сибирского региона можно констатировать, что «белорусский фольклор Сибири» не равняется «фольклору сибирских белорусов», что свидетельствует о вызревании первых результатов культурной интродукции. Главные события ее связаны с взаимодействием параллельно бытующих в Сибири фольклорных традиций, которое во многих случаях ограничивается заимствованием (или обменом) отдельных репертуарных или жанровых единиц.

В результате фольклор белорусов Сибири пополнился целым рядом русских и украинских песен, состав которых в отдельных белорусско-сибирских традициях различен (обращает на себя внимание также значительно отличающиеся тенденции пополнения женского и мужского репертуара), но принципы отбора заимствуемых явлений вполне единообразны. В репертуаре белорусов, как правило, закрепляются образцы русской и украинской лирики, причем в ее поздних, городских и романсовых, формах (*Позабыт-позаброшен с молодых юных лет, Когда б имел золотые горы, Вянет-пропадает молодость моя, Зачем я тебя сполюбила, Солнце всходит и заходит, В огороде верба рясна, Посеяла огурочки, Зеленый дубочек на яр похилился* и др.). Кроме этого репертуар сибиряков-белорусов пополнился типично русскими частушками и инструментальными наигрышами, которые на современном этапе чаще воспроизводятся в певческой практике, нежели образцы традиционной белорусской песенно-танцевальной сферы. Последнему обстоятельству в немалой степени способствовало

постепенное исчезновение из обихода наиболее самобытных белорусских музыкальных инструментов, таких как цимбалы и народная скрипка (упоминание о которых встречается еще в экспедиционных материалах 1980–1990-х гг.)⁶ и замена их общеупотребительными в Сибири гармошками и, особенно, балалайками.

Встречное движение певческих традиций сибирских переселенцев привело также к закреплению песен, привезенных из белорусских губерний, в фольклорном репертуаре русских и, в меньшей степени, украинских жителей Сибири. Обращает на себя внимание тот факт, что заимствование белорусских песен происходит в других жанровых областях, наиболее характерных для белорусского фольклора и зачастую отсутствующих или незначительно представленных в традиции воспринимающей стороны. Так белорусские календарные песни прочно закрепились в обрядовой и праздничной практике русских сибиряков-старожилов Омской области, что в отдельных локальных традициях, таких как Атирка Тарского района, привело к формированию интегрированного русско-белорусского календарного комплекса, при сохранении автономных обрядовых традиций семейно-обрядового цикла⁷. Подобные примеры не единичны, что нашло отражение в календарном «своде» Ф. Ф. Болонева и М. Н. Мельникова⁸. Несколько белорусских песен, главным образом, «летнего» цикла оказались и в текстовом корпусе «русского календарного» тома 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», демонстрируя расширение обрядового репертуара русских сибиряков путем приобщения к культуре белорусов⁹.

В разделе белорусских песен свадебного сборника В. Г. Захарченко и М. Н. Мельникова содержится немало образцов, записанных не от белорусских по происхождению песенниц¹⁰. Наиболее часто в репертуаре русских новопоселенцев (в данном случае – воронежских, орловских) и старожилов закрепляются песни *девичника*, *сиротские*, *встречи поезда жениха и свадебных столов у молодого*. Отдельные русские жительницы полиэтнических сел постепенно становятся естественными и признанными носителями белорусской фольклорной традиции. Так белорусский свадебный обряд д. Ольшанки был записан М. Н. Мельниковым и М. С. Сергеевым не только от белорусок Г. П. Старковой, Т. П. Коноваловой, Х. П. Майоровой, но и от калужанки А. М. Красниковой, которая сохранила в своей памяти большую часть песенного репертуара¹¹.

Смешанный репертуар полиэтнических, т. е. неоднородных по составу переселенцев сел нельзя рассматривать в качестве результативного явления, в большинстве случаев он свидетельствует о том, что сложились условия для «запуска» механизма взаимодействия

традиций. Единицей рассмотрения для определения результативности процесса межтрадиционного заимствования является репертуар отдельных песенников и певческих групп¹². Экспедиционная практика показывает, что в полиэтнических поселениях нередко встречаются исполнители, которые в силу особой открытости и динамичности раньше других аккумулируют в своем творческом «багаже» явления, принадлежащие разным этническим или этнографическим традициям. Фольклорный репертуар таких песенников можно рассматривать как исходную точку в развитии процесса взаимодействия традиций, как мостик, связующий культуры.

Одной из таких незаурядных песенниц, актуализирующих и динамизирующих процесс культурного интродуцирования в условиях сибирского региона, была А. М. Красникова. Родными для нее были калужские песни, но жизнь бок о бок со смоленскими, могилевскими, гомельскими, черниговскими переселенцами (деревни Новогорьевка и Ольшанка Коченевского района Новосибирской области) обогатила ее репертуар белорусскими и украинскими песнями. М. Н. Мельников, «открывший» Красникову, анализируя фольклорный репертуар д. Ольшанки, в которой она жила, отмечал: «четко проступает национальная принадлежность при исполнении обрядовых песен, хранящихся только в памяти пожилых людей, но исчезнувших из повседневной жизни. В то же время сложился единый репертуар лирических необрядовых песен. Его основу составляют традиционные русские, белорусские и украинские песни. Значителен пласт песен тюрьмы и каторги, городских песен и песен литературного происхождения. Русские песельники исполняют белорусские и украинские песни, как правило, в русском переводе»¹³. Идея автора о дифференцировании обрядового репертуара и интегрировании лирического справедлива и подтверждается не только ольшанским примером. Однако песенный репертуар Красниковой не укладывается в эту схему, поскольку белорусские образцы есть и среди исполнявшихся ею календарных и свадебных песен, а наряду с процессом русификации белорусских (и украинских) песен, очевидно воздействие фонетических и лексических особенностей белорусского (и, в меньшей степени, украинского языка) на словесные тексты русского происхождения. О непродолжительности периода бытования смешанного репертуара свидетельствует не только языковая (*дзвчина, ведарица, от приходить, караи ж вочки*; иногда в одной и той же песне, одни и те же слова звучат то в русской, то в белорусской или украинской форме — *настывает* и *наступая, наступайть; лежит* и *ляжит; ходил* и *ходыл* и др.) и стилевая пестрота исполняемых песенницей произведений, но и то обстоятельство, что она хорошо помнит, песни

каких традиций поет: «Эту песню могилёвские привезли... А эту смоленские пели. Точно — смоленские». Для нее же эти песни стали ее собственными¹⁴.

В тех случаях, когда практика заимствования выходит за рамки отдельных исполнительских инициатив и приобретает «всеобщий» (в пределах узколокальной традиции) характер, происходит формирование составных певческих репертуаров, объединяющих песни разных традиций по принципу функциональной и жанрово-тематической дополнительности (комплементарности), и даже интегрированных фольклорно-этнографических комплексов с функциональным и жанровым параллелизмом разных по истокам составляющих песенного репертуара. Примером подобного комплекса является белорусско-русская свадебная традиция, зафиксированная в с. Мошково Новосибирской области, самое подробное описание которой выполнено со слов пензенских по происхождению сестер Давыдовых (М. И. Агеева, Ф. И. Зуева, П. И. Конурина)¹⁵. Интегрированная свадебная традиция представляет собой стройное, драматургически цельное и завершенное действо с устойчивым последованием обрядовых и фольклорных элементов. Певческий репертуар мошковской свадьбы включает более тридцати песен (без учета повторений отдельных величальных, корильных и лирических образцов) и объединяет произведения двух фольклорных традиций — русской и белорусской, с некоторым превалированием последней. Основу эмоциональной и смысловой оппозиции объединенного репертуара выражают два белорусских политекстовых напева цезурированного музыкально-ритмического типа — «праздничный» (координированный с силлабическим стихом структуры 5 + 3) и «драматический» (структура стиха: 5 + 5 + 6/7). Русские песни по стилистическим характеристикам заметно отличаются от белорусских образцов и относятся к разряду сегментированных и смешанных музыкально-ритмических форм, опирающихся на стиховые образования тонического и полиструктурного вида.

До сих пор речь шла о процессе преодоления рамок национального фольклорного репертуара, получившем толчок к развитию в практике уже сибирского бытования, т. е. о новейших тенденциях приспособления поздних сибирских традиций к условиям региональной культурной среды. Однако будет справедливым отметить, что среди сибирской «мозаики» переселенческого фольклора есть синтетические (русско-белорусские) обобщенные фольклорно-этнографические системы сибирского происхождения. Одна из подобных традиций зафиксирована сибирскими собирателями в селах Бергуль, Морозовка, Платоновка Северного, а также в деревне Макаровка Кыштовского района Новосибирской области (в настоящее время Морозовка и Платоновка

исчезли с карты района, жители их разъехались, но «платоновская» традиция продолжает свое развитие в р. ц. Северное)¹⁶.

Жители этих деревень — русские старообрядцы, приехавшие в Сибирь в начале XX в. из Витебской и Виленской губерний, которые стали их местом жительства со второй половины XVIII в. Места их прежнего обитания установлены весьма приблизительно, обычно называются северно-русские (новгородско-псковский регион) и средне-русские («Москва») территории. Староверы Васюганья, называющие себя «кержаками», являются носителями богатейшей фольклорной традиции, до конца XX в. сохранявшейся в активной певческой практике. Основу их певческого репертуара составляют русские песни, белорусский период прибавил к ним несколько волочечных («Идем, брядем вдоль улицы» / «Пойдем, братцы, вдоль улицы», «Хозяюшка, Христос сын Божий воскрес»), «трансформированный обряд „посада“ в свадебной игре»¹⁷ и «крутухи», разновидность песенно-танцевального фольклора. Словесные тексты русских и белорусских песен не противопоставлены — белорусские песни заметно русифицированы, но отдельные фонетические элементы белорусского языка проявляются как в белорусских, так и в русских песнях, что особенно заметно в речевой и певческой практике старейших песенниц. Нередко на протяжении одной песни элементы белорусской и русской фонетики «мерцают», неоднократно сменяя друг друга:

*Все люди живут, как цветы цветут...
Вот как первая акно — во чисто поле,
А другое акно — на синё моря...
Ты вастой, вастой, ой, салавей лясной...¹⁸*

Изучение подобного материала интересно тем, что возраст взаимодействия фольклорных традиций, начавшегося в Белоруссии и нашедшего свое продолжение в Сибири, больший по сравнению с собственно сибирскими явлениями и, следовательно, дает возможность сопоставления двух временных стадий развития процесса.

Завершая описание отдельных фактов интродуцирования (включения) белорусского фольклора в традиционный культурный комплекс сибирского региона, необходимо хотя бы несколькими словами обрисовать контекстный стилевой комплекс по его отношению к рассматриваемой в настоящей статье традиции. Сибирская фольклорная «мозаика» содержит, с одной стороны, большое число близких для белорусской народной певческой культуры явлений, к таким жанрово-стилевым параллелям к белорусским традициям в сибирском фольклорно-этнографическом комплексе относятся западно-русские (прежде всего, смоленские)¹⁹, отдельные (или в некоторой

степени) украинские и южнорусские комплексы. Несомненное глубинное родство отмечает традиции ГБЧ-региона (гомельско-брянско-черниговского), их присутствие в сибирском новопоселенческом фольклоре увеличивает круг типологически однородных по отношению к белорусским традициям культур, взаимно облегчающих совместное функционирование в новых условиях.

С другой стороны, среди сибирских переселенческих фольклорно-этнографических комплексов есть явления, которые по отношению к белорусскому стилевому типу следует рассматривать в качестве жанрово-стилевой оппозиции. К оппозиционному ряду относится старожильческий комплекс, а также в известной степени среднерусские и поволжские новопоселенческие традиции. Включение белорусских певческих образцов в оппозиционные по стилевому устройству системы, более затруднительны, а потому более редки и более заметны, о чем речь шла выше.

Перемещение этнокультурных традиций в новое географическое и культурное пространство — типичное, или, во всяком случае, широко распространенное явление в развитии традиционной культуры. Исследователей при обращении к подобным явлениям в первую очередь привлекают узко локализованные и замкнутые диаспорные традиции. Однако саморегуляция переселенческой культуры не ограничивается рамками диаспорного типа, о чем свидетельствуют процессы, протекающие в экстремальных условиях сибирского региона. Результаты рассмотрения в настоящем выступлении белорусской фольклорной традиции, определение направленности и некоторых механизмов ее интродуцирования в новую, чрезвычайно неустойчивую культурную среду, представляются достаточно актуальными и при изучении других этнокультурных традиций переселенческого типа.

Примечания

- ¹ *Путилов Б. Н.* Фольклор и народная культура. СПб., 1994. С. 149–150; *Леонова Н. В.* Фольклорные традиции сибирских переселенцев // Музыкальная культура Сибири: В 3-х т. Традиционная культура сибирских переселенцев. Новосибирск, 1997. Т. 1. Кн. 2. С. 3–7.
- ² *Мельников М. Н.* Региональное своеобразие фольклора сибиряков // Полевые исследования. Русский фольклор. Л., 1984. Т. XXII. С. 68–76.
- ³ *Дорохова Е., Енговатова М.* Региональные песенные системы как объект структурно-типологического исследования // Россия и Европа: диалог научных направлений: Материалы международной научной конференции (г. Руза, 1999). Рукопись. С. 9–12.

- 4 *Леонова Н. В.* Процессы развития фольклора русского, украинского и белорусского населения Барабы и Верхнего Приобья // Музыкальное творчество народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1986. С. 183–201.
- 5 *Леонова Н. В.* Белорусский фольклор // Музыкальная культура Сибири: В 3-х т. Традиционная культура сибирских переселенцев. Новосибирск, 1997. Т. 1. Кн. 2. С. 34–51; *Леонова Н. В.* Жанровый состав и стилевая типология свадебного фольклора белорусов Сибири // Народная культура Сибири: Материалы IX научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. Омск, 2000. С. 72–74; *Леонова Н. В.* Проблемы изучения фольклора белорусов Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 3. С. 84–87.
- 6 *Леонова Н. В.* Белорусский фольклор // Музыкальная культура Сибири. С. 51.
- 7 Фольклор Западной Сибири / Сост. Т. Г. Леонова. Омск, 1974. Вып. 1. С. 4, № 1, 7, 65, 104.
- 8 Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост. Ф. Ф. Болонев, М. Н. Мельников. Новосибирск, 1981.
- 9 Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. Заговоры / Сост. Ф. Ф. Болонев, М. Н. Мельников, Н. В. Леонова. Новосибирск, 1997. № 302, 324, 325, 330, 334, 347.
- 10 *Захарченко В. Г., Мельников М. Н.* Свадьба Обско-Иртышского Междуречья: Этнографическое описание свадебных обрядов, тексты и напевы песен / Редакция Е. В. Гиппиуса. М., 1983. № 142, 143, 145–148, 152–154, 162, 164, 167.
- 11 Там же. С. 64–71.
- 12 *Леонова Н. В.* К вопросу о взаимодействии восточнославянских песенных традиций в свадебном фольклоре Барабы и Верхнего Приобья // Сибирский фольклор. Новосибирск, 1980. С. 18.
- 13 *Мельников М. Н.* Поиски сокровищ: Записки фольклориста. Новосибирск, 1985. С. 103–114 (раздел «Самородки»).
- 14 *Мельников М. Н., Захарченко В. Г.* Песни сибирской деревни Ольшанки, напетые Анной Мефодьевной Красниковой. Новосибирск, 1971 (1973, 1987). Рукописи.
- 15 Материалы фольклорной экспедиции Новосибирского госпединститута 1977 г. в Мошковский район Новосибирской области (Государственный архив Новосибирской области. Фонд М. Н. Мельникова); Материалы музыкально-этнографической экспедиции Новосибирской госконсерватории 1979 г. (Архив традиционной музыки консерватории: А 009); *Леонова Н. В.* Типология русско-белорусских свадебных напевов села Мошково (среднее Приобье) // Сибирский фольклор. Новосибирск, 1981. С. 138–151.
- 16 *Мельников М. Н.* Село Бергуль // Сибирский фольклор. Новосибирск, 1981. С. 152–155; *Мельников М. Н., Смоленцева С. В., Ляжкин В. В.* Песни

- села Бергуль: Песни, сказания, частушки, детский фольклор. Новосибирск, 1996. Хрестоматия сибирской русской народной песни: Детский народный календарь / Сост. В. И. Байтуганов, Т. Ю. Мартынова. Новосибирск, 2000; *Байтуганов В. И.* Песенно-танцевальный фольклор с. Макаровка Кыштовского района Новосибирской области в народном календаре // Русские Сибири: культура, обычаи, обряды. Новосибирск, 1998. С. 71–96; *Фурсова Е. Ф.* Одежда жизненного пути (по материалам старообрядцев-федосеевцев Васюганья) // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 3. С. 86–87.
- 17 *Мельников М. Н.* Село Бергуль // Сибирский фольклор. Новосибирск, 1981. С. 152.
- 18 Материалы музыкально-этнографической экспедиции Новосибирской консерватории в Северный район Новосибирской области, июль 2002 г., с. Северное. № 78.
- 19 *Леонова Н. В.* Сибирские календарные напевы в контексте европейско-русских вариантов // Вопросы музыковедения. Новосибирск, 1999. С. 179–189.

Л. Н. Будагова
(Москва)

К выходу третьего тома «Истории литератур западных и южных славян»

В конце 2001 г. в Москве, в издательстве «Индрик» вышла завершающая книга фундаментального труда Института славяноведения РАН (при участии славистов других научных центров России), в котором прослеживается развитие литератур западных и южных славян с IX в. до 1945 г. Том первый, как указывается в подзаголовке, охватывает древний период «От истоков до середины XVIII в.», второй — «Формирование и развитие литератур Нового времени. Вторую половину XVIII — 80-е годы XIX века». (Оба тома вышли в 1997 г.). Последний том посвящен «Литературе конца XIX — первой половины XX века. (1890-е годы — 1945 год)».

Этот трехтомник, объединивший усилия нескольких поколений российских славистов, создавался в трудные и в то же время весьма благотворные для науки годы. Трудные из-за скромного материального обеспечения ученых, вынуждавшего молодых и полных сил сотрудников уходить в разгар работы над «Историей...» из Института, и даже уезжать из страны, сочетая написание глав с деятельностью, с наукой не связанной, и общаясь со своими коллегами на расстоянии. Все это лихорадило авторский коллектив, создавало сложности в редактировании текстов, подготовке научного аппарата, составлении библиографии, именного указателя и т. д. Порой возникали поистине драматические моменты и тупиковые ситуации, из которых, вроде бы не было выхода. Но выход находили, трудности преодолевали. И не они были главными. Главным — было горячее желание написать — на основе многолетних (коллективных и индивидуальных) исследований — первую в мире «Историю литератур западных и южных славян». До этого у нас и за рубежом выпускались «Истории» зарубежных литератур, всемирной литературы, славянских литератур. «История литератур западных и южных славян», где они выступили из тени других литератур мира и стали объектом специального анализа, опубликована впервые.

Необходимо вспомнить, что планы создания этого труда далеко не сразу и не у всех встретили поддержку. Некоторые литературоведы опасались и ответственности, и нехватки сил. Здесь решающее слово сказал Никита Ильич Толстой, выступая в конце 80-х гг. на заседании Ученого совета Института, где обсуждался проект. «Если

где-нибудь в мире и может быть написан такой труд, то только в нашем Институте», — задумчиво произнес он, приободрив энтузиастов и утихомирив скептиков. Высказывались и максималистские желания охватить и восточных славян и, выйдя за рамки российского славяноведения, предметом которого по сложившейся традиции является история, язык, культура, литература зарубежных по отношению к России славянских стран, создать очередную «Историю славянских литератур». Но авторы труда решили все же, не расширяя исследовательскую базу (хотя «зарубежных славянских литератур» после распада СССР прибавилось), сосредоточиться на литературе западных и южных славян. К этому побуждал как профиль Института славяноведения, где замышлялся труд (этот профиль стал меняться лишь в последние годы), и отсюда — относительная обеспеченность именно этого проекта специалистами с солидным списком сделанных в этой области исследований, так и научная необходимость всячески содействовать ликвидации диспропорции между большим вкладом этих литератур в художественный прогресс, в мировую культуру, и недостатком интереса к ним со стороны литературоведов и читателей.

Несмотря на упоминавшиеся трудности, общая ситуация в стране благоприятствовала работе. Как накопленные знания, так и идеологическое раскрепощение гуманитарных наук, снятие разного рода запретов увеличили ту меру внутренней свободы в изучении и интерпретации материала, которая необходима не только писателю, но и литературоведу. Работа над «Историей...» в конце XX в., в постсоветский период позволила не только дописать недописанное, восполнить недостающее, ликвидировать «белые пятна», возникавшие либо по незнанию, либо по политическим причинам (основательнее исследовать древний период в литературной истории славян, которому до той поры уделялось мало внимания; осветить историю югославянских литератур, проследить становление македонской литературы, проанализировать творчество запрещенных писателей и т. д.) — но и многое обновить, переосмыслить, скорректировать, что-то опровергнуть, а что-то и подтвердить из уже вошедшего в научный обиход. Накопленные ресурсы и условия позволяли стремиться к созданию более объективной и полной, чем это удавалось прежде, картины литературного процесса (отдельных эпох, направлений, стилей и т. д.) у западных и южных славян.

В результате, появилась работа, которая не только показывает зарождение, становление и развитие литератур, раскрывающих жизнь своих народов как бы изнутри, через их самоидентификацию в конкретной исторической реальности и отражение в слове, но, многое

пересматривая, вступает в своеобразный диалог с прошлым и настоящим. Авторы негласно спорят со своими предшественниками и современниками, а также, порой, и со своими собственными воззрениями.

Появившийся на рубеже тысячелетий трехтомник — это всего лишь вторая в истории русской науки попытка охватить многовековой путь развития литератур сразу нескольких славянских народов. Первая была предпринята Александром Николаевичем Пыпиным и Владимиром Даниловичем Спасовичем, авторами двухтомной «Истории славянских литератур». Она вышла в Санкт-Петербурге более ста лет назад (т. 1 — 1879, т. 2 — 1881). В ней развитие исследуемых литератур могло быть прослежено лишь до 1870-х гг. Тогда для большинства из них (а именно, для чешской, словацкой, сербской, хорватской, словенской, болгарской, серболужицкой) не завершилась эпоха национального возрождения после столетий изнурительного иноземного гнета. В то время эти литературы только пробуждались к жизни, пытаясь наверстать упущенное за время неволи и оставаясь для европейского культурного сознания еще «вещью в себе», закрытой и непознанной. Это в немалой степени способствовало недооценке литературы всего славянского мира, в том числе русской и польской, которые развивались более равномерно и последовательно, чем литературы других народов и не знали таких сбоев в эволюции, как, скажем, чешская литература побелогорского периода (с середины XVII до второй половины XVIII в.) или южнославянские литературы в период Османского владычества. Подчеркивая объективное отношение к своему предмету, авторы двухтомника сочли необходимым выразить солидарность с Гердером, который, несмотря на репутацию «первого защитника славян» (Я. Коллар) отводил им довольно скромное место в культурном пространстве мира. «Славянские литературы с точки зрения всеобщей истории цивилизации не имеют такого важного значения, какое принадлежит главнейшим литературам западной Европы... Славяне играли большую частью роль подчиненную, подражательную, или, занятые своим ближайшим делом, не имели возможности действовать в общечеловеческом интересе мысли, создать здесь что-нибудь самобытное. Уже Гердер... заметил, что „славянские народы занимают больше места на земле, чем в истории“», — писал А. Н. Пыпин в предисловии к труду¹. Первопроходцев русской славистики отделял от немецкого писателя и философа второй половины XVIII в. целый — судьбоносный для славян — этап. Но авторы первой российской «Истории славянских литератур» не обладали еще таким запасом фактов и знаний, которые помогли бы по достоинству оценить их опыт. К тому времени многие славянские народы еще только-только сформировали свои литера-

турные языки. Словацкая литература, к примеру, вплоть до 30–40-х гг. XIX в. общалась с читателями на немецком, венгерском или чешском языках. Так, по-чешски была написана знаменитая лирико-патриотическая поэма словака Яна Коллара «Дочь Славы» (1824, второй вариант в 1831 г.), состоявшая из сонетов. Влюбленный в серболужичанку Мину, поэт выразил там свои чувства не только к будущей жене, но и к родине, и ко всему славянству, истинной дочерью которого виделась Коллару его Мина. В эпоху национального возрождения, отчасти совпавшую с периодом расцвета романтизма, славяне усиленно собирали свой фольклор. Этот процесс в первой половине XIX в. затронул и западноевропейские, а также польскую и русскую литературы, опережавшие литературы других славянских народов. Сам Пушкин собирал в Михайловском, в Болдине и во время путешествий в пугачевские края «простонародные» песни и сказки с перспективой их издания, переводил или имитировал «песни западных славян» (на самом деле, не столько западных, сколько южных, живших просто западнее России), сочинял сказки в стихах, использовал народные песни и мотивы в «Евгении Онегине», «Капитанской дочке», в «Русалке» и т. д. Но функция народного творчества в разных культурах — даже в пределах славянского мира — была различной. У одних народов фольклор служил основой и опорой для литературного творчества, только набиравшего силу. У других, с уже сложившимися литературами, — способствовал формированию романтизма, открывшего новые источники вдохновения в старинных сказаниях, народных поверьях и мифах. В давно сформировавшуюся русскую литературу он еще вносил и свежую струю, помогал преодолевать книжность, сближать литературный язык с разговорной речью, привлекать образованную часть общества, любившую изъясняться по-французски, к родной словесности.

Нехватка древних литературных памятников, на которые могли бы опереться писатели в эпоху национального возрождения, иногда приводила к фальсификациям, к стремлениям самим сочинять эти памятники и вводить их в обиход в виде «находок» и «открытий». Так, в 1817 и 1818 гг. двумя чешскими филологами Вацлавом Ганкой (1791–1861) и Йозефом Линдой (1789–1834) были «открыты», а на самом деле сочинены и записаны на пергаменте «древние» Краледворская и Зеленогорская рукописи. Они состояли из эпических песен и сказов, воспевавших легендарные сюжеты чешской истории и борьбу народа с иноземцами. Рукописи, воспринимавшиеся в течение многих десятилетий как подлинные памятники старины, сыграли большую роль в развитии чешской культуры, вдохновляя многие поколения чешских поэтов, композиторов, художников на ориги-

нальные произведения. Так, образ княгини Либуши, пророчицы и правительницы древнечешского государства (из Зеленогорской рукописи) инициировал создание оперы Б. Сметаны «Либуша». Эти рукописи привлекли внимание других народов к чешской истории и культуре, были переведены на многие европейские языки. Именно с «Рукописей» началась в 1820-е гг. практика переводов чешской литературы на русский язык, и в России появилось большое количество трудов, где анализировались их содержание и язык. О том, что рукописи не «открыты», а сочинены чешскими литераторами, окончательно выяснилось лишь в 1880-е гг., а решающую роль в их разоблачении сыграл Томаш Гаррик Масарик, тогда еще молодой профессор Карлова Университета, а в последствии первый президент независимой Чехословакии. Но рукописи остались в сокровищнице чешской культуры, даже когда лишились ореола древних памятников, т. к. обладали большими художественными достоинствами и верно передавали дух национальной истории, ее легенды и мифы. Воспев героическое сопротивление иноземцам, они обрели особую актуальность в канун Второй мировой войны. Советский журнал «Интернациональная литература» опубликовал в апреле 1939 г., через месяц после гитлеровской оккупации Чехии и Моравии, новый перевод (в России уже седьмой по счету!) «Краледворской рукописи». Ее почетное место в номере подчеркивалось соседством с материалами XVIII съезда ВКП(б) и статьей Сталина о Свердлове. Переводчик Иван Новиков защищал «Рукопись» как неотъемлемую часть чешской культуры, а ее автора В. Ганку как великого национального поэта.

Однако вернемся к двухтомнику Пыпина и Спасовича, которые уже знали и анализировали творчество — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Карела Гинека Махи, Йозефа Каетана Тыла, Божены Немцовой, Янки Краля, Людовита Штура, Вука Караджича, Петара Негоша, Людевита Гая, Франце Прешерна, Софрония Врачанского, Любена Каравелова и многих других выдающихся писателей. Но за пределами их «Истории...» остался плодотворнейший период рубежа XIX–XX вв., когда литературы, отстававшие от европейского литературного процесса, преодолевают отставания, наверстывают упущенное, синхронизируют свое развитие с западноевропейскими и русской литературами, сравниваясь с ними по диапазону течений. Именно в этот период литературы западных и южных славян получают подтверждение мирового признания.

Едва учрежденной Нобелевской премии удостоиваются в 1905 г. великий польский прозаик Генрик Сенкевич (1846–1916) за историческую эпопею «Камо грядеши» («Quo vadis», 1894–1896) о борьбе

ранних христиан с нероновским деспотизмом; в 1924 г. польский же прозаик Владислав Станислав Реймонт (1867–1925) получает ее за четырехтомный роман «Мужики» (1904–1909) о внешне нетеропливой, подчиняющейся природным циклам, но по сути драматичной, раздираемой сословными и нравственными противоречиями жизни польского крестьянства. Поляки, потерявшие независимость только в XVIII в., не знали таких сбоев в развитии своей культуры, как многие другие славянские народы, поэтому неслучайно, что их литература раньше других в регионе получает «нобелевскую» поддержку. В 1892 г. рождается сербский прозаик Иво Андрич (ум. в 1975 г.), получивший Нобелевскую премию в 1961 г. за исторический роман 1942 г. «Травницкая хроника», опубликованный в 1945 г. В начале XX в. рождаются будущие нобелевские лауреаты — чешский поэт Ярослав Сейферт (1902–1986) и польский поэт Чеслав Милош (р. в 1911 г.).

По таланту, мастерству и популярности лауреатам не уступают многие их соотечественники, современники или потомки. Среди них — Ярослав Врхлицкий (1853–1912), покоровший сердце Константина Бальмонта настолько, что он ради него выучил чешский язык, став горячим пропагандистом чешской поэзии. Среди них — выдающийся поэт-символист Отокар Бржезина (1868–1929), который дважды выдвигался на Нобелевскую премию; Карел Чапек (1890–1938), выдвигавшийся шесть раз, но уступавший лидерство Ивану Бунину, Джону Голсуорси и др.; Ярослав Гашек (1883–1923), автор неоконченных «Похождений храброго солдата Швейка», писавший свою знаменитую эпопею в пражских трактирах, чтобы свести концы с концами, и не помышлявший об официальных почестях; сербский драматург Бранислав Нушич (1864–1938), словенский поэт и прозаик Иван Цанкар (1876–1918), болгарский поэт Пейо Яворов (1877–1914), хорватский прозаик и драматург Мирослав Крлежа (1893–1981). Указанными именами когорты великих мастеров слова, которых дали славяне, и которые, не войдя в списки ни нобелевских лауреатов, ни претендентов на премию, вошли в мировую культуру, — не исчерпывается. Его можно продолжать и продолжать, в чем читателя убедит третий том «Истории литератур западных и южных славян». Именно охваченный им материал позволяет авторам всего труда, вступив в негласный диалог с первопроходцами русской славистики, оспорить бытовавшую в XIX в. заниженную оценку славянских литератур. Историческая молодость, связанная с более поздним по сравнению с другими европейскими народами принятием христианства и возникновением письменности, замедление — из-за иноземного гнета — темпов развития, необходимость вслед за этим в ускоренном ритме преодолевать отставания от общеевропейского литературного

процесса, — неоспоримые факты их истории. Они действительно наложили на литературы западных и южных славян свою печать, но печать не отсталости, а своеобразия.

Славянскую специфику таких общеевропейских культурных явлений, литературных направлений и стилей — как Ренессанс и барокко, романтизм и реализм — раскрывают авторы первых двух томов «Истории...». Особенности модернистских, авангардных и революционно-пролетарских течений нашли осмысление в завершающем томе «Истории...». Кратко они сводятся к следующему. Модернистские явления (прежде всего символизм), возникающие в славянских литературах на рубеже XIX–XX вв. в русле славянского «модерна», где происходила и модернизация направлений традиционных (реализма и романтизма), и течения авангарда конца 10-х — 30-х гг. (от футуризма до сюрреализма) носили в славянских литературах более умеренный, чем на Западе, характер. Символизм там, переключая писателей с социально-житейских на экзистенциальные и философские проблемы, не столько обрывал, сколько обновлял, индивидуализировал их связи с общественной проблематикой (творчество А. Совы, И. Краско и др.). Символ, как «основное художественное средство символизма» (В. Брюсов) мог быть не только намеком на «тайное знание» или «тайное действие» (терминология А. Блока), но и традиционной аллегорией, формой обобщения жизненных реалий, что характерно даже для чешского поэта О. Бржезины, одного из самых ярких и последовательных (не в национальном, а мировом контексте) символистов. Символизм в литературах западных и южных славян близок особой «центрально-восточной модели европейского символизма», которую отделяет от «нормативно-канонического, франко-бельгийского» символизма румынский русист А. Ковач, причисляя к ней и символизм в русской, венгерской и румынской литературах. По его мнению, во многом совпадающему с мнением авторов третьего тома «Истории...», «для ортодоксальных французских символистов духовный мир сущностей» есть «нечто противостоящее миру реальному, миру явлений», тогда как центрально-восточная (скажем, более «мягкая») модель допускает помимо этого «и выражение сущностей природно-социальной действительности, предметные образы в их прямом значении и их синтез»².

Умеренность и своего рода «патриархальность» характерна и для авангардных течений в славянских литературах. Они складывались там с опозданием. Продвигаясь в пространстве и во времени (с Запада на Восток, с десятых в 20–30-е гг. — период их активизации в западно- и южнославянском регионах), они теряли свою разрушительную силу. Антитрадиционализм, этот примечательный знак авангар-

да, обусловлен не только пресыщенностью старой культурой, но и ее властью над людьми. Избавиться от этой власти помогает резкий отрыв от нее. И не случайно, что крайние формы антитрадиционализма дала Италия, а именно зачинатель авангардного движения — итальянский футуризм, поскольку есть прямая зависимость между «возрастом», мощью культурного наследия и силой отталкивания от него. В странах с более молодой культурой, еще не успевшей пресытиться своим прошлым, авангардный антитрадиционализм смягчается сопротивлением среды, потребностью сохранять с этим прошлым связь. Об уступках национальным традициям — стихийным или осмысленным — говорит теория и практика польского футуризма, чешского поэтизма и сюрреализма, сербского сюрреализма, словацкого надреализма, болгарского символизма, хорватского и словенского экспрессионизма. «Мои стихи взрыв, дикая разорванность. Дисгармония», — говорил о себе С. Косовел. Но это больше относилось к душевному состоянию поэта, к экспрессивности чувств, воплощенных в стихах, чем к формальному состоянию его поэзии, не взрывававшейся изнутри, а сохранявшей гармоничную структуру, что было характерным, — несмотря на наличие и чисто экспериментальной линии, — для большей части авангардной поэзии славян.

Модернизм и авангардизм в литературах западных и южных славян — явления самобытные, хотя их импульсы пришли с Запада. Но, как заметил еще К. Чапек, «первородность зависит не столько от происхождения, сколько от самобытности восприятия», а «неравнодушное, глубокое восприятие — надежное противоядие против чужого и гарантия самобытности»³.

Определение славянской специфики модернизма и авангарда сочетается в третьем томе со стремлением объективно оценить их значение в целом, включая и такие присущие им идеи и принципы, как «принцип индивидуализма», элитарности и «чистого искусства». Подвергавшиеся критике в работах советского периода, как, казалось бы, одиозные, снобистские, не отвечавшие менталитету славянского писателя-патриота, призванного служить словом народу и отчизне, они сыграли огромную роль в развитии славянских литератур. Защищавший «свободу творческой индивидуальности» (Манифест чешской модерна, 1895), принцип индивидуализма способствовал самоутверждению личности в искусстве, свободе выбора ее пути. И как следствие — дифференциации литературного процесса. Не препятствуя ангажированному творчеству, он менял природу этой ангажированности, придавал ей интимный характер, вызывал не элиминацию, а лиризацию социальной и патриотической тематики. «Эстетство» приверженцев «чистого искусства», популярного среди декадентов

рубежа XIX–XX вв. и сторонников некоторых авангардных течений 1920-х гг. (например, поэтизма) стимулировало то внимание к форме, которого подчас не хватало писателям-демократам, настолько озабоченным общественными проблемами, что «так называемая красота, форма» казались им «вещами маловажными» (Й. Св. Махар). Значение декадентского культа красоты и идей элитарности творчества (особенно ярко выраженных у С. Пшибышевского) для профессионализации и повышения качества литературы, в первую очередь поэзии, рано заметил и оценил Я. Врхлицкий: «Поэзия, как и любое другое искусство, доступное толпе, начинает страдать от разрушительного дилетантизма. Каждый думает, что ему по силам «разгадать» тайну творчества, каждый хочет стать поэтом /.../ И здесь огромное значение приобретает «поэзия упадка», так как требует от поэтов, чтобы они что-то умели, многое знали и ценили искусство превыше всего. Именно благодаря своей исключительности такие поэты могут положить конец банальностям в поэзии, ее оскудению и обмелению» (1886)⁴.

Если модернизм рубежа веков, как явствует из анализа материала, помог литературам западных и южных славян подняться на новую ступень эволюции, синхронизировать свое развитие с «передовыми литературами Европы», обновить связи между искусством и действительностью, сделать их более личными и непредсказуемыми, то авангардизм содействовал их дальнейшему обновлению, был ферментом этого обновления, неуклонно расширявшего пределы допустимого в творчестве. В целом же эти нетрадиционные течения (в своих умеренных и крайних формах), способствовали освобождению славянских литератур от утилитарных служебных функций и развитию функций эстетических, что в конечном итоге помогало писателям более эффективно и плодотворно «служить» своим словом людям.

По достоинству оценивая модернизм и авангард, отдавая должное таким течениям, как католические или «рурализм» (почвенничество), на которые прежде навешивался ярлык «реакционных», авторы тома были не склонны, впадая в новые крайности, редуцировать анализ революционно-пролетарского искусства, особенно громко заявившего о себе после революционных событий в России 1917 г. С ним — в разной степени — было сопряжено творчество многих крупных писателей XX в. (В. Незвала, И. Волькера, М. Крлежи, Б. Ясенского, В. Броневского, Прежихова Воранца, Р. Зоновича, Б. Чосича, Г. Милева, Н. Вапцарова и др.), поскольку оно отражало многие реальные проблемы, настроения и надежды эпохи. К нему тяготели ведущие представители македонской литературы (К. Рацин, К. Неделковский и др.), сформировавшейся в XX в., и потому представленной только в третьем

томе. Народ, который еще не обрел национальной независимости, был особенно отзывчив на такие исходившие от идеологов пролетарской революции лозунги, как социальное равенство и право нации на самоопределение.

Массовые разочарования на склоне тысячелетия в марксистской идеологии, некогда «овладевавшей массами» — не повод применять прием умолчания к связанному с ней соцреализму (понятие обобщающее, т. к. соответствующие или близкие ему явления утверждались в зарубежных странах и под терминами «пролетарская литература», «социальный реализм» и т. д.). Только в новой «Истории...» это явление рассматривается более объективно и трезво, чем прежде, с учетом его специфики в зарубежных странах. Там, в отличие от советского соцреализма, он не навязывался сверху, в качестве «самого прогрессивного метода эпохи», обреченного вроде Агасфера на муки бессмертия, а был результатом свободного выбора. К нему приходили и с ним расставались добровольно. Кроме того, зарубежный «соцреализм» был течением оппозиционным, мятежным по отношению к режимам своих стран. Его представители критиковали и отвергали существующие там порядки и власть, а не обслуживали их, как в СССР, где соцреализм (в его официальной части) стал орудием советской власти, оплотом режима. Замалчивая абсурдность политических процессов 1930–1950-х гг. и ГУЛАГов, выполняя по отношению к своему государству служебно-апологетическую функцию, он искажал действительность, сеял иллюзии, затуманивал реальность. Потакая безнравственности власть имущих, терял неотделимое от подлинного искусства нравственное ядро.

Не замалчивая зарубежный «соцреализм», сильно отличавшийся от советского, авторы третьего тома новой «Истории...» в то же время не склонны рассматривать его как своего рода критерий ценности писательского творчества, как это нередко бывало раньше, когда место писателя в литературе XX в. определялось его отношением к «идеям пролетарской революции». В связи с этим, например, подвергалось ostrакизму творчество чешских писателей-легионеров, которые восприняли Октябрь 1917 г. как величайшую трагедию России, а большевизм как зло. Так, в их число попал и Рудольф Медек (1890–1940), автор пятитомной «Легионерской эпопеи» (1921–1926). Новая «История...» возвращает — среди многих других — доброе имя и этому человеку, чешскому патриоту и русофилу, который был готов «до последнего дыхания» любить Россию, ее «бескрайнюю землю» и «удивительный народ» и во имя этой любви бороться с большевиками.

Если в переоценке многих направлений и писателей авторы третьего тома вступают в диалог с большинством отечественных и зару-

бежных работ «доперестроечных» лет, то в вопросах периодизации, — а именно, выделяя литературу Второй мировой войны в особый раздел, — они полемизируют с современностью. В зарубежном литературоведении наметилась тенденция рассматривать годы Второй мировой войны не как целый этап литературной истории славян, а всего лишь как финальный эпизод 1920–1930-х гг. Официальные основания — продолжение во время войны довоенных литературных процессов. Но ведь и признанные этапы всегда что-то продолжали из предыдущего, начинаясь отнюдь не с чистого листа. Статус этапа или эпизода литературной истории, очевидно, должен определяться не присутствием или отсутствием старых явлений (они есть всегда), и не количеством уместившихся там лет, а степенью кардинальности наступивших перемен. Короткие военные годы существенно изменили облик славянских литератур, внесли новые оттенки и акценты в старые процессы, в систему жанров, поэтику, в представления о функции литературы, дали импульс новым явлениям. Выделение военных лет в особый период объективно отвечает их значимости для судеб славянских литератур, отвечает важности обретенного в годы войны опыта, который будет сказываться и в дальнейшем.

В заключение хотелось бы привести слова одного известного зарубежного литературоведа, который прочитал интересующие его главы третьего тома. Позитивно оценивая их, он увидел в них «огромную разницу» по сравнению с тем, что ему удавалось читать у российских историков славянских литератур прежде. Хотелось бы надеяться, что с его мнением не разойдется и мнение читателей других глав этого тома и всего труда.

Примечания

- 1 Пытин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. СПб., 1879. Т. I. С. 1.
- 2 Ковач А. Центральные-восточные модели европейского символизма. К постановке вопроса. București, 1998. S. 7–8.
- 3 Чапек К. Собрание сочинений в 7-ми томах. М., 1977. Т. 7. С. 394.
- 4 Цит. по: *Česká básnická moderna*. Praha, 1987. S. 109.

Т. И. Вендина
(Москва)

Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской традиционной духовной культуры

Вопрос о роли старославянской стихии в формировании русского литературного языка сегодня, кажется, из разряда дискуссионных перешел в разряд очевидных. И старославянский язык оценивается современной наукой как моделирующий фактор русской культуры, сыгравший огромную роль в ее духовном становлении.

Язык культуры Средневековья, ее ценностные императивы оказались во многом созвучны русской культуре, являясь ее своеобразным «молчаливым наследием». На это в свое время обратил внимание о. П. А. Флоренский, назвавший Кирилла и Мефодия духовными отцами русской культуры. Говоря о взаимодействии русской культуры с культурой древней Эллады, он писал в статье «Троице-Сергиева лавра и Россия»: «Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры». Поэтому вопрос о роли старославянского языка в этнокультурной системе русского языка, его влиянии на формирование системы ценностей русского народа является сегодня чрезвычайно важным, особенно в связи с развернувшимися лингвокультурологическими исследованиями, поисками христианских первооснов отечественной культуры. К сожалению, пока он не привлекал серьезного внимания ученых, интерес которых был сосредоточен в основном на поиске и определении процентного содержания старославянизмов в лексической системе русского языка, на выявлении их фонетических, словообразовательных и грамматических признаков, а также на определении их роли в стилистической дифференциации русской лексики. Между тем, усваивая старославянскую лексику, русский язык адаптировал и ментальные особенности этого сакрального языка. Именно старославянский язык, лексикон которого пронизывала идея противопоставленности божественного и земного, оказал суще-

ственное влияние на формирование концептуальной сферы русского языка, с характерной для нее дихотомией горнего и дольнего.

Средневековая культура, отразившаяся в лексике старославянского языка, вошла в плоть и кровь русского языка, поэтому в языке русской культуры в том или ином виде и сегодня сохраняются представления предшествующих эпох. И хотя они могут быть несколько ослаблены и отодвинуты как бы на второй план, однако все равно остаются ощутимы и сегодня.

В этой связи было бы чрезвычайно интересно выявить эти особенности, оставившие свой след в русской духовности, т. е. ЧТО из христианской этики было усвоено русской культурой и получило отражение в ее языке, КАК в языке культуры нового времени живет старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями христианского гуманизма.

Следует сразу сказать, что ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, он скрывается в глубинных основах концептосферы русского языка, однако ключ к нему дает исследователю сам язык, поскольку установки культуры, лежащие в основе ценностных ориентиров жизненной философии ее носителей, становятся достоянием культурного сообщества благодаря их означиванию. Именно язык позволяет обнаружить связь с мифологическими пластами культуры того или иного народа, с его религиозным опытом, рефлексами эстетического и научного познания мира.

Вместе с тем нельзя забывать, что в каждом языке существует невидимый культурный фильтр, который влияет на то, как мы воспринимаем и оцениваем предметы и явления внешнего мира. Этот культурный фильтр оказывает влияние не только на восприятие вещей, но и на их интерпретацию и осмысление, что особенно хорошо видно при анализе внутренней формы слова, ведь в основе ее лежит интерпретация субъектом действительности, а любая интерпретация есть результат культурного выбора.

«Глубина залегания» этой культурной семантики разная. Иногда она «лежит на поверхности», поскольку легко обнаруживается в самой внутренней форме слова (ср. *праведник*), иногда же она находится в глубине и обнаруживается при изучении денотативной соотнесенности имени, при погружении в этнокультурный контекст (ср., например, интерпретацию прилагательного *безобразный* как без Образа и Подобия Божьего), но чаще всего она прочитывается лишь при условии знаний регулятивных принципов семантической организации всего лексикона языка, когда во внимание принимается не одно слово, а весь массив слов, в котором и проявляется языкотворческая позиция человека, его ориентация в мире духовных сущно-

стей, т. е. для обнаружения этой культурной семантики требуется концептуальная интерпретация имени, позволяющая ответить на вопрос КАК и ПОЧЕМУ оно возникло в языке (ср., например, такие слова, как *совесть*, *стыд*, *убожество* и др.).

Выявлению этой культурной семантики способствует сохраняющиеся еще в русском языке смысловые оппозиции типа *правда* – *истина*, *знать* – *ведать*, *добро* – *благо*, однако чаще всего эти оппозиции уже разрушены временем и процессом секуляризации нашей культуры, поэтому выявить эти сокрытые смыслы позволяет изучение «грамматики» культуры, правил, регулирующих сочетаемость слов и морфем.

Действие этих правил предопределяется смысловыми константами культуры, состоящей из концептов, интерпретационных схем, которые приводятся в движение языкотворческим процессом. Человек живет в пространстве смыслов. И язык, и культура есть результат действия законов смыслообразования. «Именно принадлежность к единому смысловому пространству объединяет повседневную жизнь отдельного человека и историческую практику, интеллектуальную рефлексию и бессознательную память социального коллектива, а также великое множество иных проявлений человеческой активности в сплошной континуум культуры» [Пелипенко 1998: 19]. Поэтому смысл является проводником человека в мире реальном и ирреальном, ибо смысл, как остроумно заметил М. Бахтин, — «это тот или иной ответ на поставленный нами вопрос. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла», а потому, добавим, не номинируется, так как коллективный разум «не видит» того, что не названо словом. Именно поэтому слово представляет собой культурное творение, которое нельзя объяснить не обращаясь к истории народа, его традициям и религии.

Возможно именно поэтому осмысление языка культуры (как, впрочем, и естественного языка) начинается с изучения его словаря и грамматики. Исследователь, обратившийся к изучению языка культуры, неизбежно сталкивается с необходимостью описания мотивационных признаков, актуализируемых в языкотворческом акте, ибо этот признак есть неотъемлемое свойство всякого объекта — реального или ирреального, более того, именно мотивационный признак чаще всего позволяет выявить глубинные бинарные оппозиции архаической картины мира. При этом выбор того или иного мотивационного признака не является случайным, он предопределен языком культуры, той культурной информацией, которая соответствует главному регулятивному принципу эпохи, ее сущностной характеристике.

При описании языка культуры используются разные методологические приемы — исследование глубинной семантики слова через

его концептуальный анализ, изучение синтагматических связей слова, описание ассоциативных полей, на базе которых строится усредненный тип носителя языка той или иной культуры, выявление «ключевых слов» (воплощающих ключевые для данного общества культурные концепты) и «грамматику культуры» — т. е. интуитивные законы, формирующие особенности мышления, речи и взаимодействия людей (Вежбицкая 2001: 123) и др.

В осмыслении языка той или культуры и реконструкции языкового сознания ее носителей чрезвычайно продуктивной является идея внутренней формы слова. Обращение к внутренней форме слова дает исследователю уникальную возможность — проследить движение мысли в акте номинации, услышать голос человеческой личности, познающей и осваивающей мир. Апелляция к внутренней форме слова позволяет понять те субъективные мотивы, которые послужили толчком для языкового словотворчества и вместе с тем выявить общие закономерности мышления людей, принадлежащих одной и той же эпохе, поскольку субъективные мотивы, как правило репрезентируют более общие, объективные закономерности. Во внутренней форме производных имен отчетливо проявляются «следы культурной практики», корни того «коллективного бессознательного», которое лежит в основе архетипа языка любой культуры. Это «бессознательное» отражено часто в мотивационном признаке слова, и чем более оно значимо для человека, тем лучше «проработано» в языке.

Проиллюстрируем эту мысль на примере таких базовых концептов русской культуры, которые во многом определили особый путь русской духовности, как «знание» и «красота».

Концепт «знание»

Начало известного русского причета «Кабы знать да кабы ведать» (который в языке фольклора имеет разные продолжения) отсылает нас к концепту «знание», в частности к идее о том, что истинное знание не доступно человеку, что «человек лишь предполагает, а Бог располагает». В самой синтаксической структуре этого зачина сталкиваются два глагола — *знать* и *ведать*, которые по-разному соотносятся с понятием «высшего, сакрального» и «профанного, человеческого» знания. Какой же из этих глаголов — *знать* или *ведать* — отсылает нас к идее «истинного» знания?

Обратимся сначала к фактам старославянского языка, в недрах которого и родилась идея противопоставленности в жизни человека горнего и дольного.

Материалы словаря старославянского языка (далее СС) говорят нам прежде всего о том, что в языковом сознании средневекового человека отчетливо различалось чувственное и сверхчувственное, «высшее» знание.

Познание человеком мира и осознание себя в этом мире начиналось с его чувственного, визуального восприятия, ибо чувства суть инструменты познания (ср. *чоувъствовати* 'ощущать, сознать' СС, 784; *чоути* 'осознавать, замечать' // 'чувствовать, ощущать' // 'воспринимать, постигать, понимать' СС, 786; *видѣти* 'знать' СС, 114; *знати* 1) 'знать' // 'видеть, замечать'; 2) 'сознавать' СС 238; *съмотрити* 'узнать, осознать' СС, 657), и только позднее оно становилось достоянием разума (ср. *поразоумѣти* 'понять, уразуметь' СС, 480; *разоумѣти* 'понять, постигать' // 'узнать, познать' // 'почувствовать, осознать' СС, 573; *разоумѣвати* 'понимать, постигать' СС, 573; *оумѣти* 1) 'мочь, быть в состоянии'; 2) 'знать' СС, 740).

И здесь обнаруживается следующая интересная особенность средневековой ментальности, на которую указывает старославянский язык.

Христианство, как известно, строго ограничивало пределы человеческого знания, что нашло отражение в широко распространенном сюжете об изгнании из рая Адама и Евы, вкусивших плоды от древа познания, поскольку только Бог является обладателем высшего, истинного знания, для человека же оно зло, грех, потому что противоречит божественному завету, а потому служит причиной человеческого падения (старославянское существительное *знаник* имеет совсем иное значение по сравнению с русским языком – 'близкий знакомый, друг' // собир. 'знакомые' СС, 238).

Понятие «знать» передавалось в старославянском языке глаголами с корнями *вѣд-* (*вѣдѣти* 'знать' СС, 164; *оувѣдѣти* 'узнать, познать' СС, 724; *навѣдѣти* 'знать' СС, 346; *извѣдѣти* 'узнавать' СС, 251; *съвѣдѣти* 'знать, понимать' СС, 644), *вид-* (*видѣти* 'знать' СС, 114), *съмотр-* (*съмотрити* 'узнать, осознать' СС, 657), *зна-* (*знати* 1) 'знать' // 'видеть, замечать'; 2) 'сознавать' СС 238; *познати* 'узнать, познать' СС, 466) и *оум-* (*оумѣти* 'знать' СС, 740; *разоумѣти* 'узнать, познать, осознать' // 'почувствовать' // 'обращать внимание' СС, 573).

Удивляет обилие этих глаголов, которое можно объяснить лишь тем, что в языковом сознании средневекового человека эти глаголы в смысловом отношении были не однозначными. А так как весь лексикон старославянского языка был пронизан идеей противопоставления божественного и земного, то можно предположить, что Кирилл и Мефодий сознательно ввели эти глаголы, пытаясь дифференцировать и по-разному передать понятие «истинного, божественного знания» и «знания ложного, человеческого».

Знание, которым мог обладать человек, — это скорее всего чувственное знание. Оно передавалось, по-видимому, глаголами **вѣдѣти**, **сѣмотрѣти**, **знати**, **оумѣти** и их производными, о чем говорят развивавшиеся у них вторичные значения (ср. **знати** 'видеть, замечать' СС, 238; **знати женѣ, мѣжа** 'быть в интимных отношениях' СС 238; **познати мѣжа** 'быть в интимных отношениях с мужчиной' СС 466; **знаменати** 1) 'обозначать'// 'осенить крестным знамением'; 2) 'давать понять' СС 238; **знаник** 'близкий знакомый'// собир. 'знакомые' СС, 238; **вѣдѣник** 1) 'зрение'; 2) 'зрелище' СС, 114; **сѣмотрѣти** 'заботиться о ком-либо' СС, 657; **разоумѣвати на кого** 'обращать внимание на кого-нибудь, заботиться о ком-либо' СС, 573; **оумѣти кѣннигы** 'быть грамотным' СС, 740).

Сверхчувственное, «божественное» знание связывалось, по-видимому, с глаголами с корнем **вѣд-**, так как только они имеют значение 'предвидеть, предугадать', дар, который не был дан человеку (ср. **вѣдѣти** 'предвидеть' СС, 164; **проувѣдѣти** 'предугадать, предвидеть' СС, 530).

В пользу этого предположения¹ говорят, как представляется, следующие факты.

Из всех рассматриваемых корней только этот корень дает дериваты, отсылающие нас к знанию, учению, сознанию (ср. **вѣдѣ** 'знание, познание' СС 164; **вѣдѣник** 'знание, познание' СС 164; **повѣдѣ** 'учение, наука' СС 164; **сѣвѣсть** 'сознание, мысль' СС 644). Более того, именно этот глагол лежит в основе дериватов, обозначающих субъекта, наделенного знанием (ср. **сѣвѣдѣтель** 'знаток' и **срдѣцевѣдѣць** 'знаток человеческого сердца, души' СС, 621), причем оба слова относятся прежде всего к Богу, который **творѣць ксмѣ дѣшамѣ и срдѣцемѣ сѣвѣдѣтель** СС, 643, а лишь затем к человеку.

Интересно, что и древо познания, плоды которого вкусили Адам и Ева — это **дрѣво вѣдѣнок** (СРЯ XI–XVII, 2: 46).

На этот сакральный компонент семантики глагола **вѣдати** указывает и словообразовательная структура слов **сѣвѣдѣти** 'знать' и **сѣвѣсть** 'сознание, мысль', в которых вычленяется приставка **сѣ-**, передающая значение 'совместности' (ср. **сѣпожити** 'пожить совместно

¹ И здесь мы бы хотели подчеркнуть, что это всего лишь предположение, так как существует и другая точка зрения, согласно которой оппозиция «божественного» и «земного, человеческого» знания формируется именами с корнем **зна-** (< и.-е. *gnō-), передающем идею «высшего, божественного знания, недоступного органам чувств, но доступного разуму», и корнем **вед-** (< и.-е. *weid- // *wid-), «означающего знание земное, человеческое, знание о мире, окружающем человека, доступное органам чувств, зрению и слуху, могущее быть передаваемым от человека к человеку, могущее быть истинным и ложным» (Степанов 2001: 459).

с кем-либо' СС, 666; **съпраздньствовати** 'праздновать совместно' СС, 666; **съвластн** 'властвовать, господствовать над кем-либо совместно с кем-либо' СС, 640) и корень **вѣд-**. Эти дериваты говорят о том, что и (со)знание — это *совместное знание* (с кем? — с Богом), а это значит, что в этом знании присутствует момент оценки, осознания своей жизни, т. е. «сознание не просто *сознает*, но, созная, оно *судит* и *осуждает*. В нем присутствует система норм, с которой человек соотносит свои действия... Приобретая судебскую функцию, сознание становится *совестью*» (Арутюнова 2000: 55), свидетельствуя о том, что человек осознает себя как личность, ср. **съвѣсть** 1) 'сознание, мысль'; 2) 'совесть'; 3) 'свидетельство, подтверждение' СС, 644.

Материал старославянского языка говорит, таким образом, о том, что истинным носителем знания был Бог, ибо «Бог как создатель Жизни и Премудрости не только исполнен мудростью, и разума Его нет числа, но Он и выше всякого слова, разума и премудрости» (Дионисий Ареопагит 1994: 231). Человек же лишь **разоума божнѣ есть съсждъ**. Фома Аквинский позднее так скажет об этом: «...знать, в подлинном смысле этого слова, может только Разум, который единственно и открыт для бесконечности бытия». Не случайно поэтому все приведенные глаголы по отношению к человеку в старославянском языке встречаются, как правило, с отрицательной частицей **не-** (ср. **л не оумѣахъ что виша отъвѣштали емоу** СС, 740; **они же не разоумѣша глагола сего** СС, 573 или **отъче отъпоустн смъ не вѣдатъ бо са что творатъ** СС, 164²), когда же речь идет о Боге, то они употребляются только в утвердительной форме (ср. **вѣдѣ господи разбонника възъпнвша** СС, 164; или **разоумѣвъ нсоусъ доухомъ своимъ** СС, 573).

Судя по тому, как глубоко и детально проработана в старославянском языке отрицательная ментальная характеристика человека (ср. **безоуман** 'неумный, неразумный' СС, 80; **безоумль** 'неразумный, безрассудный' СС, 81; **безоумьнъ** 'неразумный, безрассудный' СС, 81; **хоудооумъ** 'неразумный' СС, 767; **хоудооумьнъ** 'неразумный' СС, 767; **жродивъ** 'глупый, неразумный' СС, 805; **жродьнъ** 'глупый, неразумный' СС, 805; **неразоумичьнъ** 'непонятливый, невосприимчивый' СС, 374; **неразоумьливъ** 'непонимающий, непонятливый' СС, 374; **неразоумьничьнъ** 'непонятливый, неразумный' СС, 374; **неразоумьнъ** 'непонятливый, неразумный' СС, 374; **бесловесьнъ** 'неразумный' СС, 81; **бесловьнъ** 'неразумный' СС, 81; **несловесьнъ** 'неразумный' СС, 375; **гръбъ** 'несведущий, необразованный' СС, 180; **невѣгласъ** 'незнающий, несведущий' СС, 360; **ненскоусьнъ** 'несведущий' СС, 365; **несъмысльнъ**

² Интересно, что и в современном русском языке глагол *ведать* употребляется главным образом в отрицательных контекстах (Апресян 1999 НОСС: 132).

‘неразумный, не одаренный умом’ СС, 376), можно заключить, что старославянский язык оценивал средневекового человека в целом как существо неразумное, безрассудное, не способное к познанию высших истин, ибо *мѣдрость бо чловѣчьска жрѣдство оу бога ксть* СС, 342.

Идея «божественности» знания получила в старославянском языке и чисто метафорическое воплощение в виде света, который проливается на мир (ср. глагол *озарѣти* ‘освещать’ СС 407: *свѣтомь богоразоумиѣ вѣсь миръ озарѣтъ сѧ*) и на человека (ср. глагол *освѣщавати* перен. ‘давать зрение’ СС 416: *заповѣди божиѧ освѣштавишѣтѧ очи срѣдъчѣнѣи*). Образ света лежит и в метафорическом наименовании Бога (ср. *свѣтитель* ‘несущий свет’: *господь свѣтитель мой и съпасъ мой* СС 596), т. е. знания становятся как бы образом и символом Бога.

Следует подчеркнуть, что это противопоставление божественного и земного наблюдается не только в концепте «знание», оно лежит в основе построения всего словарного состава старославянского языка, в лексиконе которого имеется немало синонимов, тончайшие смысловые оттенки которых можно понять, только учитывая этот принцип системной организации старославянской лексики (ср., например, такие концепты, как «путь и дорога», «правда и истина», «любовь и дружба», «великий и малый», «закон и обычай», «свет и тьма», «страдание и спасение» и многие другие, подробнее об этом см.: Вендина 2002).

Формирование этих оппозиций в словарном составе старославянского языка было во многом обусловлено теоцентрическим принципом организации средневековой культуры. Именно этот принцип как главный регулятивный принцип Средневековья оказал влияние на структуризацию всей семантической сферы старославянского языка. Поэтому все имена старославянского языка так или иначе оказываются соотнесены с вечной и всеобъемлющей реальностью — Богом. Именно этот личностный идеал формировал отношение человека к природному космосу (идею своего места в нем), представления о социальном космосе, о нормах средневекового общества, о должном и не должном, об отношении к ближнему своему, а главное — он определял ценностный стержень культуры Средневековья. Он активно присутствовал в жизни средневекового человека, влияя на ее смысл, цели и ценности, ибо человек обитал не только в предметном мире, но и в идеальном, в той картине мира, которую сам же творил (об этом, пожалуй, красноречивее всего говорит внутренняя форма и мотивация многочисленных слов, относящихся к *nomina abstracta*, ср. *свѣдѣ*, *свѣѣсть*, *сѣдѣба*, *благодѣть*, *доброчьстик*, *вѣдѣнник*, *пакыбытик*, *прѣподѣвик*, *полоучан*, *присность*, *чоудѣвник*, *кдиносѣщик* и др.).

. * .

В истории русского языка сакральный компонент семантической структуры глагола **вѣдати** постепенно утрачивается.

В древнерусском языке оба глагола — *знать* и *ведать* — значительно расширяют свой семантический объем. Если в старославянском языке у глагола **вѣдѣти** выделялось значение 'знать' // 'предвидеть', то в древнерусском языке, кроме значения 'знать' у него формируются значения 'уметь, мочь' (СРЯ XI–XVII, 2: 45), а у глагола **вѣдати** — значения 1) 'знать, иметь о чем-либо или о ком-либо сведения'; 2) 'знать, быть в дружбе с кем-либо'; 3) 'иметь в ведении, заведовать чем-либо' // 'иметь в подчинении, распоряжаться кем-либо'; 4) 'относиться куда-либо, к чему-либо в административном отношении' (СРЯ XI–XVII, 2: 43). Особенно разросся в объеме глагол **знати**, который кроме значения 'знать', отмеченного у него в старославянском языке, приобрел значения 1) 'уметь что-либо делать, быть обученным'; 2) 'знать человека, быть знакомым с ним'; 3) 'узнавать, отличать' // 'опознать'; 4) 'признать'; 5) 'распоряжаться, владеть чем-либо'; 6) 'быть подведомственным кому-, чему-либо'; 7) 'иметь что-либо' (СРЯ XI–XVII, 6: 49).

Оба глагола приобретают не только высокую семантическую валентность, но и словообразовательную потенцию, так как активно используются в качестве мотивирующих в многочисленных дериватах, вследствие чего у обоих глаголов формируются довольно обширные словообразовательные гнезда.

Вместе с тем нельзя не отметить, что словообразовательный потенциал обоих глаголов оказался во многом предопределен их семантикой и синтагматикой (что в общем характерно не только для древнерусского языка, но и современного русского). В результате словообразовательное гнездо глагола *знать* стало в полтора раза выше, чем у глагола *ведать*.

При этом в семантической структуре производных с корнем **зна-** настойчиво повторяется семантический компонент профанного, «земного» знания, ср. в связи с этим текст к словарной статье **знатець** 'знающий человек, знаток': **писалъ князь Курлянской о 2 мастерахъ — одинъ мѣдной плавилщикъ, а другой рудной знатець, просятъ по 12 рублевъ на мѣсяць каждой** СРЯ XI–XVII, 6: 48; или **знатникъ** 'тот, кто знает кого-либо, хорошо осведомлен': **а порознь про село и про деревню и про пустоши, про пашню и про сѣно и про всякне угодыя распросити было некого, старожилцовъ и знатниковъ тѣхъ и стороннихъ людей нѣтъ** СРЯ XI–XVII, 6: 50); **знахарь** 1) 'знающий местность, дело человек': и **знахори ведяху его къ Угрѣ рѣцѣ на броды**; 2) 'тот, кто высту-

пает в качестве свидетеля при земельных спорах': приказалъ государь про тѣ рѹбежи, которые рѹбежи въ пословѣ памяти писаны порѹбежныхъ знахарей выпросити и по чертежѹ рѹбежи росписати; 3) 'знахарь, лекарь' СРЯ XI–XVII, 6: 52), знание в собир. знач. 'знакомые' (СРЯ XI–XVII, 6: 48), по старой знати 'по старому знакомству' (СРЯ XI–XVII, 6: 52); знатость 'навык, умение': и в сен лифлянском землѣ о иныхъ уставленнѣяхъ градныхъ и пѹшечныхъ ѹрядствахъ ѹчился и знатость в нихъ имѣю (СРЯ XI–XVII, 6: 52). Судя по многочисленным контекстам, иллюстрирующим употребление дериватов с корнем зна-, можно заключить, что это знание было «земным», свойственным человеку (ср. въпрос: Бѹдетъ ли познание тамо [после смерти] братни съ братнею. Отвѣт: Познание бѹдетъ отъ плоти знатна, а отъ души бесплотни и единнаки сѹт СРЯ XI–XVII, 6: 50).

Что касается дериватов с корнем вѣд-, то в них, как правило, присутствует семантический компонент, указывающий на сакральный характер этого знания (ср. в связи с этим следующий текст, иллюстрирующий словарную статью вѣдецъ 'знающий человек' Словаря древнерусского языка XI–XVII вв.: «не жена зла, но блѹд, ни богатство зло, но сребролюбие, ... ни разум, но мнети себя ведца, яко же и злейши сего, еже не знати свое неразумие» (СРЯ XI–XVII, 2: 46); об этом же говорит и внутренняя форма древнерусского прилагательного вѣгласъ 'знающий', которое этимологизируется М. Фасмером как *ve-gols, т. е. «тот, кто знает голос» (Фасмер I: 283) чей голос? (конечно Богал).

Более того, сама синтагматика производных имен с корнем вѣд- и зна- также указывает на божественный или профанный характер этого знания (ср. текст к словарной статье вѣдь 'провидение, промысел': [Апостол Павел] съсѹдъ изборнѣ... еже посланню носецъ, нже ослѣпъ на пѹти прозрѣвъшю божнею вѣдню, его же явленнѣ хѹо на лица повѣрьже и ежня вѣдь къ вѣрѣ паки поведе СРЯ XI–XVII, 2: 50; или к словарной статье вѣдьменне 'провидение, промысел, чудодейственная сила': бонте же ся ба, могѹщаго и тѣло и дшю погѹвнѣт..., аще ѹбо от него дша, глаю же отъ сѹщества его, чѣто ѹбо хощетъ быти вѣдьменне нѹждное вѣдѣти о божин вѣдьменни, самъ собѣ сѹднтъ бѣ СРЯ XI–XVII, 2: 50).

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на тот факт, что именно глагол вѣдѣти развивает в русском языке значение 'иметь в ведении, заведовать чем-либо' // 'иметь в подчинении, распоряжаться кем-либо', которое, несомненно, является, хотя и слабым, но все-таки продолжением сакральной семантики (так как Бог есть истинный владыка мира), отсюда в русском языке дериваты с корнем вед-, отсылающие нас к сфере управления (ср. ведомство, заведовать) и науки (ср. славяноведение, литературоведение, правоведение,

почвоведение, природоведение, источниковедение, материаловедение, машиноведение, театроведение и др.), в то время как глагол *знать*, приобретает значение 'быть подведомственным кому-, чему-либо' и дериватов с этим значением практически не дает (ср. отмеченные в академическом словаре *языкознание, искусствознание и естествознание*, при этом все три слова в том же академическом словаре имеют синонимы с корнем *вед-*).

Постепенно в семантическую сферу сакрального знания все активнее вторгается глагол *знать*, а сакральная семантика глагола *ведать* уходит на периферию, что и понятно, так как язык репрезентирует тип уже совсем иной культуры — секуляризованной. Однако следы этой сакральной семантики глагола *ведать* сохраняются в его стилистической маркированности: именно глагол *ведать* (а не *знать*) приобретает в русском языке стилистическую окраску возвышенности и приподнятости. Эта тенденция к семантико-стилистическому размежеванию глаголов *знать* и *ведать* отчетливо прослеживается уже в языке А. С. Пушкина: по данным «Словаря языка А. С. Пушкина» глагол *знать* зафиксирован в количестве 1129 употреблений, а глагол *ведать* — лишь в 89, при этом глагол *ведать* воспринимался А. С. Пушкиным как устаревающий, он встречается в основном в исторических повестях и драмах, как правило, в составе устойчивых сочетаний, со стилистической окраской торжественности (Касьянова 2001:76), ср. *Я думал, государь, что ты еще не ведаешь сей тайны; Он стар, он удручен годами, войной, заботами, трудами. Но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь; Наряжены мы вместе город ведать, но кажется нам не за кем смотреть* (СЛЯП, 1: 223).

Осколок этой сакральной семантики глагола *ведать* в современном русском литературном языке присутствует во фразеологическом обороте *Бог весть*, где *весть* (**вѣсть**) представляет собой глагольную форму 3 л. ед. ч. настоящего времени глагола **вѣдѣти**, а также в частице *ведь* (восходящей к древнерусской частице **вѣдѣ**), в дериватах *благовест* и *благовещенье*, сама словообразовательная структура которых отсылает к божественному знанию, ибо Благо есть сущностный атрибут Бога, «Благого Начала всех благ», — как говорит Дионисий Ареопагит (Дионисий Ареопагит 1994: 95). И «хотя Бог сверхблаг, — добавляет Максим Исповедник, — это почетнейшее из имен, поэтому оно первым посвящается Богу» (Дионисий Ареопагит 1994: 337).

Наконец, на это указывает и синтагматика глагола *ведать*, в том смысле «что для него типичны лишь два круга употреблений — истинного знания и уверенности. *Ведать* предпочтительнее в ситуациях, когда предметом знания является нечто, стоящее над человеком и ему неподвластное, когда имеет место сверхчувственное знание, мо-

жет быть, внушенное какой-то высшей силой» (Апресян 1999 НОСС: 132), что до сих пор сохраняется в наречии *известно*, которое предполагает внешний источник знания (ср. также устаревшее *ведомо*).

Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что в русском языке есть глаголы ментального состояния, в толковании которых до сих пор сохраняется идея 'высшей силы'. Это, с одной стороны, глаголы *озарять* и *осенить*, а с другой – глагольные фраземы *знать наперед*, *знать заранее* и др. Описывая эти глаголы, Ю. Д. Апресян указывает на присутствующую в них идею иррационального знания, поскольку у иррационального знания нет никакого конкретного источника (поэтому нелепо спрашивать: *Откуда ты знаешь заранее, что...*). В качестве такого источника иррационального знания в «наивном мировидении» часто выступает какая-то неконкретная и трудно определяемая высшая сила, стоящая над человеком, а само новое знание часто мыслится в виде света, который проливается на него. Аргументом в пользу идеи высшей силы, присутствующей в виде семантического компонента в этих глаголах, является их безличность при абсолютной невозможности назвать какой-нибудь земной источник знания (подробнее см. Апресян 1999: 51). Это тонкое замечание Ю. Д. Апресяна полностью можно отнести и к глаголам *знать* и *ведать*: если глагол *знать* предполагает существование некоего источника информации, то глагол *ведать* не предполагает этого источника знания, поскольку знание это иррационально (поэтому *откуда ты это знаешь?*, но не *откуда ты это ведаешь?*).

Таким образом, глагол *знать* в русском языке постепенно вытеснил из сакральной сферы глагол *ведать*, и сегодня мы говорим *древо познания*, а не *древо ведное*, *Бог его знает* или *черт его знает* (но, заметим, что все-таки не *черт его ведает*). Однако даже в производных *разведка*, *выведать* и др. присутствует семантический компонент знания, которое невозможно получить естественным эмпирическим путем, поскольку оно недоступно человеку, и чтобы получить его, надо приложить определенные усилия.

Такова ситуация в литературном русском языке, репрезентирующем вид элитарной культуры. А что говорит другой язык – диалектный, представляющий культуру народную?

* * *

Интересно, что язык традиционной духовной культуры также испытал влияние старославянского языка, хотя здесь оказались довольно сильны и устойчивы связи с мифологическими пластами русской культуры. Это влияние происходило незаметно и прежде

всего при обучении человека, постижении им первых основ грамотности. В школьной практике в качестве учебных пособий на Руси часто использовались азбуковники, «часословы» — богослужебные руководства, содержащие порядок всех повседневных служб (кроме литургии), псалтыри и, конечно, Евангелие. Основным приемом освоения этих официально принятых текстов был мнемонический, «поскольку решение главной для верующих задачи созидания жизни по Слову Бога требовало прежде всего запоминания Слова Бога» (Запольская 2001: 114). Народ читал, открывал для себя христианские истины, заучивая их наизусть и усваивая таким образом не только новые слова, но и новые смыслы.

Взаимопроникновение народной, фольклорной, дохристианской по своему происхождению традиций с традицией церковной, книжно-религиозной, которое обусловлено их многовековым сосуществованием и взаимодействием, наложило свой отпечаток на интерпретационную схему многих концептов русского языка, в том числе и концепта «знание». Поэтому в русских диалектах, в «наивном мировидении» у глаголов *знать* и *ведать* до сих пор сохраняются следы «иррационального» и «профанного» знания.

Глагол *знать* отсылает нас прежде всего к «чувственному» знанию (ср. *знать* 'чувствовать, ощущать' Ряз., Новосиб., СРНГ 11: 311), а кроме того, к знанию социальному, связанному с признанием и почитанием человека в обществе (ср. *знать* 'признавать, почитать' Олон., Ярослав., СРНГ 11: 311). Следы этого чувственного познания мира сохранились и в наречии *видно* 'знать', ср. *издали знать* (Даль I: 202), и в прилагательном *взорный* 'догадливый, сметливый' (Пск., СРНГ 4: 267), и в существительном *видальщина* 'о том, кто много знает' (Пск., Твер., СРНГ 4: 273), а также в том, что глаголы *видеть* и *знать* в русских диалектах приобрели функцию вводного слова и выступают в значении 'по-видимому' (ср. *видеть, парень сапоги у тебя новые* Олон., СРНГ 4: 274).

Человек, обладающий таким знанием, — это человек, получивший общественное признание, поскольку он знающий, опытный, сведущий в своем ремесле (ср. *знайка* 'тот, кто умеет что-либо делать' Твер., СРНГ 11: 305; *знатливый* 'знающий, умеющий' Арх., СРНГ 11: 310; *знатный* 'знающий, сведущий' Ср. Урал., Ряз., Моск., СРНГ 11: 310; *знакарь* 'человек, много знающий, опытный', Урал., СРНГ 11: 306; *знакомистый* 'много знающий, опытный, сведущий': *я не знакомиста, не могу рассказать* СРНГ 11: 306; *знахарь* 'тот, кто много знает, знаток' Вят., Ср. Урал., Перм., Нижегород., Костром., Смол., Пск., Новг., Арх., Мурман., СРНГ 11: 314), мудрый (ср. *знаемый* 'ученый, мудрый' Онеж., СРНГ 11: 305).

Это знание не имеет какой-либо отрицательной оценки, поскольку оно обращено к людям и призвано помогать им. Именно поэтому дериваты с этим корнем часто имеют положительную аксиологическую оценку (ср. *знакомистый* 'очень хороший' Калуж.// 'такой, который быстро сходиться с людьми' Иван.// 'приветливый, ласковый' Яросл. // 'красивый, приятный на вид' Волог., Костром., СРНГ 11: 306).

Об этой «земной» ориентации имен с корнем *зна-* говорят и производные *знаймоваться* 'целоваться в праздник' Брян., СРНГ 11: 305; *значь* 'лицо' Калуж., СРНГ 11: 314; *знадебка* 'родимое пятно, родинка' Олон., Онеж., СРНГ 11: 305; *зната* 'девственность' Дон., СРНГ 11: 309; *знатный* 'красивый' Волог., Новг., СРНГ 11: 310; *знатьба* 'знак, след от ушиба' Новг., // 'родимое пятно' Волог. // 'болезнь золотуха, от которой остаются на теле знаки, рубцы' Пск., СРНГ 11: 313), *знать* 'знакомые' Ворон., Моск., Яросл., Арх., СРНГ 11: 312; *значка* 'привычка' Петерб., СРНГ 11: 314 и др.).

Производные же с корнем *вед-* имеют более абстрактный характер, причем они так же, как и в старославянском языке, отсылают нас к учению, знанию, сознанию (ср. *ведво* 'знание наука' Волог., СРНГ 4: 90; *веданье* 'сознание, чувство, память' Волог., Новг., СРНГ 4: 90; *вестимо* безл. сказ. 'о наличии сведений о ком-, чем-либо': «Сие наречие по разуму крестьян означает известно, истинно, точно» Казан., Курск., Волог., Новг., СРНГ 4: 188; *ведомо* 'известие, сообщение' СРНГ 4: 92).

Интересно, что глагол *ведать* имеет и в диалектах довольно узкое значение 'знать', причем в словарной статье все примеры приводятся с отрицательной частицей *не* (ср. Не вем 'не знаю': *и глух и нем, греха не вем*; Не весь 'не знаю': *я не весь этого села* Урал., СРНГ, 4: 90), что еще раз наводит на мысль, что обычному человеку это знание не доступно.

И только лишь в том случае, когда человек с помощью различных способов (в том числе и с помощью нечистой силы) «проникает» в демонический мир, он приобретает это «иррациональное» знание, которое позволяет ему прорицать, предсказывать (ср. *вещать* 'предвещать, предсказывать' Калуж., СРНГ 4: 227; *вещевать* 'предсказывать, предвещать' Сев.-Двин., Курск., Смол., Ворон., Волог., Новг., СРНГ 4: 227; *вещить* 'предвещать' Терск., СРНГ: 228; *вещба* 'прорицание, заклинание' Тамб., СРНГ 4: 227; *ведьмовать* 'колдовать' Смол., Пск., СРНГ 4: 94; *ведёма* 'колдунья, чародейка' Новг., Нижегород., СРНГ, 4: 90; *ведуница* 'колдунья' Арх., СРНГ, 4: 94; *ведьмак* 'колдун, оборотень' Курск., Калуж., Смол., Орл., Пск., Юго-Вост., Ср. Урал., СРНГ 4: 94; *ведьмица* 'колдунья' Калуж., СРНГ 4: 94; *вещевременец* 'предсказатель, прорицатель' Волог., СРНГ 4: 228; *вещель* 'гадатель, прорицатель' Пск., Твер., СРНГ, 4: 228; *вещий* 'колдун, кудесник' Костром., Сиб., Южн. Урал., СРНГ 4: 228).

Семантика этих имен указывает на следующее тонкое различие в названиях лиц, образованных от корней *вед-* и *зна-*, на которое обратили внимание и этнолингвисты: субъектные номинации с корнем *вед-* обозначают не просто знающих людей, но обладающих сверхчувственным знанием, полученным ими от нечистой силы (ср.: «ведьма приобрела сверхъестественные способности ... в результате союза со злым духом, чертом, который вселялся в нее... заключал какую-то сделку» — Виноградова Славянская мифология 2002: 63), именно поэтому эти имена нередко называют и саму нечистую силу (ср. *веденница* 'из названий духов' Арх., СРНГ, 4: 91; *вещица* 'колдунья, ведьма, оборотень' Сиб., Перм., Ср. Урал., Tobol. // 'нечистая сила, лесной дух' Перм., Tobol., Свердл., СРНГ 4: 229; *вещун* 1) 'колдун, предсказатель' Ряз., Калуж., Смол., Енис., Сиб., Волог.; 2) 'в суеверных представлениях потусторонний дух в виде птицы, кошки и т. п., который предвещает скорую смерть' Тул., СРНГ 4: 229), т. е. их знание — это «не земное» знание, оно от злых сил, а потому для человека опасное.

Между тем как «*знахарь*, обладая сверхъестественным, магическим знанием, использовал его для лечения людей и скота, охраны от колдовства... В отличие от колдуна и ведьмы знахарь, как правило, не имеет контакта с нечистой силой, а использует силу заговоров, растений, воды и сакральных предметов. В народном сознании знахарство часто сближается с ремеслом, что объединяет знахаря с повитухой, кузнецом, пастухом, музыкантом, мельником и др. обладателями профессионального знания» (Левкиевская Славянская мифология 2002: 189), ср. рус. диал. *знаток* 'род знахаря на свадьбах': обязанность его состоит в том, чтобы охранять свадьбу от порчи Арх., СРНГ, 11: 311).

* * *

Наконец, на разный характер этого знания указывает и этимология глаголов *ведать* и *знать*, согласно которой древняя индоевропейская антитеза этих глаголов, «во многом сглаженная и трудно восстанавливаемая и вместе с тем сохраняющая весьма отчетливые следы своей первоначальной природы: слав. *vědati* 'знать (главным образом — вещь)' < и.-е. **woǵd* 'знать' > 'воспринимать зрением' и слав. *znati* 'знать (главным образом человека)' < и.-е. **gen-, gno-* 'родить, быть в родстве'» (Трубачев 1991: 172), др.-инд. *jānāti* 'знает, понимает, учится' (Черных 1994: 327). Эта этимология снова отсылает нас к идее о том, что знание, которым мог обладать человек, — это знание не вечное, оно рождается и умирает вместе с человеком.

Итак, несмотря на то что «этимологическая память» глаголов *знать* и *ведать* в нашем языковом сознании оказалось во многом выветрена, язык нам все-таки дает хотя и скудные указания на тонкие различия в семантике этих глаголов, различия, которые оказались во многом преопределены культурными императивами старославянского языка.

Концепт «красота»

Красота как христианская ценность входит в вечную триаду ценностей русской культуры — истина, добро, красота.

Будучи долгое время религиозной ценностью, красота осмыслялась прежде всего в категориях этических, о чем красноречиво свидетельствуют факты старославянского языка как моделирующего фактора русской культуры.

В старославянском языке существовало несколько имен со значением «красота» (ср.: *лѣпота* 'красота' СС 314; *благата лѣпота* 'красота' СС 314; *доброта* 'красота' СС 191; *красота* 1) 'красота'; 2) 'наслаждение' СС 293), тогда как имен со значением 'уродство' или 'уродливое', а также 'безобразное' не было. Дериваты с корнем *жрд-* (ср. *жродьнѣ*, *жроднѣ*, *жродьство*, *жродьно* и др.) имели в старославянском языке не эстетическое, а рациональное значение, а именно 'неразумный', 'глупый' или 'глупость' и 'безрассудство' СС, 805–806.

Объяснение этому явлению следует искать, по-видимому, в самих основах языкового сознания средневекового человека, для которого мир, сотворенный Богом, да и сам человек, созданный по образу и подобию Божьему, не могут быть безобразными. Мир для средневекового человека был *чюдимъ* и вызывал восхищение (ср. *чюдимъ* прил.-прич. 'вызывающий восхищение, уважение' *ты бо кси сътвориалъ господи небо и земьж и всѣ чюдимокъ подъ небесемъ* СС, 785). Поэтому он не мог и не смел отрицательно оценивать творение рук Божьих³. Уродливое в душе человека вызывало суеверный страх, и его происхождение приписывалось вмешательству демонических сил.

³ Корни этой евангельской традиции восходят, по наблюдениям С. С. Аверинцева, к притчам назидательной иудейской литературы, ср., например, следующую притчу (машал) из Талмуда: «Случилось, что рабби Елеазар, сын рабби Шимона... ехал на осле вдоль берега реки и радовался великой радостью, и душа его наполнялась гордостью, что он так много выучил из Торы. И встретился ему человек, и был он безобразен, и сказал ему: „Мир тебе, рабби!“. А тот сказал ему: „Глупец, до чего же ты безобразен! Верно, все в твоём городе такие же безобразные?“ А тот сказал ему: „Не знаю, а ты лучше пойдёшь и скажи мастеру, сотворившему меня: «Как безобразно твое изделие»“. И тогда рабби понял, что согрешил...» (Аверинцев 1983: 508).

В то же время нельзя не обратить внимания на тот факт, что понятие «прекрасного» передается в старославянском языке целым синонимическим рядом. Такая богатая синонимика — явление не случайное, а вполне закономерное, если учесть все тот же дихотомический принцип структурной организации лексики старославянского языка, в основе которого лежала идея противопоставленности горнего и дольного т. е. понятие «красоты» (как и многие другие абстрактные понятия старославянского языка) осмыслялось в двух ракурсах одновременно — «божественном» и «земном».

Понятие «божественной красоты» передавалось, по-видимому, словами с корнем *лѣп-*, о чем красноречиво говорят, с одной стороны, имена *великолѣпотик* 'великолепие' СС 110; *вельлѣпота* 'великолепие' СС 110; *вельлѣпъ* 'великолепный' СС 111; *благолѣпнъ* 'красивый, прекрасный' СС 88), а с другой — атрибутивное сочетание *благам лѣпота* 'красота' СС 314 (ср.: *Гѣсподь въцѣсарі сѧ въ лѣпотѣ сѧ об-лѣче* СС 314).

Нетрудно заметить, что корень *лѣп-* в этих словах сочетается лишь с двумя основами — *велик-* и *благ-*, и это наводит на мысль о том, что «красота» в языковом сознании средневекового человека соотносилась не только с категорией «добра» (ср. *доброта* 'красота' СС 191), но и «великого» и «благого». Все эти имена являются, как известно, сущностными атрибутами Бога, а это значит, что красота в христианской средневековой культуре осмыслялась как религиозный идеал. «Это Добро воспевается священными богословами и как Прекрасное, и как Красота, и как Любовь», — говорит Дионисий Ареопагит. А Максим Исповедник комментирует его слова следующим образом: «Красотой Он называется по причине того, что от Него всему придается очарование и потому, что Он все к Себе привлекает» (Дионисий Ареопагит 1994: 107). Красота в сознании средневекового человека — это прежде всего понятие нравственное, выражение духовного в чувственном, поэтому красивый человек — это человек добрый (ср. *добръ* 'красивый' СС 192). Об этом же говорит и прилагательное *воголѣпнъ* 'божеский, богоугодный' СС 96, внутренняя форма которого подсказывает, что это не просто божественная красота, а красота, которая угодна Богу.

Что касается корня *велик-*, представленного в композите *великолѣпотик*, то здесь уместно напомнить, что средневековые представления о «великом» и «величии» были во многом персонифицированы, ибо они также являлись сущностными атрибутами Бога. Дионисий Ареопагит так объясняет величие Бога: «Великим же Бог называется как обладающий Своим особенным величием, которое передается от Него всем великим... Величие это и беспредельно, и неиз-

меримо, и неисчислимо; эта чрезмерность и соответствует абсолютному и сверхпростирающемуся излитию необъятного величия» (Дионисий Ареопагит 1994: 273). А Максим Исповедник дополняет его определение: «Великим Бога называют, так как написано: „Велик Господь наш и велика сила Его“» (Пс. 146: 5, там же). Поэтому понятие «великий» в языковом сознании средневекового человека являлось не столько количественным понятием, сколько сакральным (ср. *днвльѣахъ же сѧ вси о величнѣ божи* СС 111). В связи с этим небезынтересно отметить, что основа *велик-* соединяется в сложных словах только с двумя корнями *лѣп-* и *доуш-*, имеющими непосредственное отношение к Богу, т. е., сочетаясь с красотой и душой, «великое» умножает их (ср. *великолѣпотник* 'великолепие' СС 110; *великодоушнь* 'великодушный' СС 110).

Понятие же «земной красоты» в старославянском языке соотносилось, по-видимому, с корнем *крас-*. Именно с этим корнем связано чувственное восприятие красоты, так как «красота» осмыслялась средневековым человеком как наслаждение в жизни (ср. *красота* 1) 'красота'; 2) 'наслаждение' СС 293; *красити сѧ* 'наслаждаться чем-либо' СС 293; *красовати сѧ* 'наслаждаться чем-либо' СС 293). Красота «украшает» жизнь (ср. *красити* 'украшать' СС 293), благоустраивает ее и тем самым приносит радость (ср. *оукрастити* 1) 'украсить'; 2) 'благоустроить, привести в порядок'; 3) 'доставить радость, обрадовать' СС 733; *красьнь* 'красивый' // 'приятный' СС 293).

Об этом же говорят и факты древнерусского языка, в котором представления о божественной и земной красоте получают свое дальнейшее развитие. Причем здесь прослеживается следующая интересная особенность: развитие значений у слова *красота* идет по линии все большего его «заземления», т. е. кроме тех значений, которые представлены у него в старославянском языке, в древнерусском появляются такие значения, как 'украшения, драгоценности, наряды', 'всевозможные земные блага', а также 'то, что полезно, нужно' (СРЯ XI–XVII, 8: 23); в семантическом развитии лексемы *лѣпота*, наоборот, усиливается духовное начало, появляются такие значения, как 'честь, слава', 'приличие, благопристойность', 'справедливость' (СРЯ XI–XVII, 8: 209).

Обращает на себя внимание и разная словообразовательная валентность корней *крас-* и *лѣп-*: если корень *крас-* активно участвует в образовании композитов и свободно сочетается с самыми разными основами, определяя свойства и качества либо предметных реалий (ср. *красогласованне, красолюбие, красноглаголанне, красногласне, красножитье* и т. д.), либо самого человека (ср. *красовидный, красотописецъ, красноглагольник, краснолицый, красномолвный, красноперсецъ, красно-*

пѣвецъ, краснословецъ и др. СРЯ XI–XVII, 8: 18–23), то корень лѣп- не дает таких образований, более того, он встречается лишь в постопозиции и в сочетаниями только с двумя основами — бог- и благ- (ср. *боголѣпный, боголѣпый, благолѣпство, благолѣпие, благолѣпность, благолѣпость, благолѣпота* и др. СРЯ XI–XVII, I: 204, 261), являясь, по сути дела, определением Бога или его сущностных атрибутов. Такая ситуация в древнерусском языке не могла быть случайной. Совершенно очевидно, что в языке существовал запрет на сочетаемость этого корня с другими основами, что связано было, по-видимому, с сакрализованностью передаваемого им понятия. Интересна и семантика дериватов с корнем лѣп-: и в прилагательных, и в наречиях с этим корнем присутствует значение 'подобающий' (встает вопрос — кому? Богу?) и 'надлежащий' ср. лѣпный 'подобающий, надлежащий', лѣпно 'прилично, достойно, почетно' СРЯ XI–XVII, 8:208; лѣпый 1) 'красивый'; 2) 'хороший'; 3) 'подобающий, надлежащий', лѣпо 1) 'надлежащим образом, красиво, хорошо'; 2) 'прилично, подобает' СРЯ XI–XVII, 8: 208–210, причем этого значения нет у дериватов с корнем крас-. Наконец, об этом прямо говорит и прилагательное *боголѣпный*, имеющее значения 1) 'подобный богу'; 2) 'сияющий божественной красотой' СРЯ XI–XVII, 1: 261.

После длительного, порожденного христианством отождествления понятий «добра» и «красоты» как разных проявлений божественной благодати, языки этики и эстетики нового времени развели эти понятия, однако следы сакрализации «красоты» до сих сохраняются как в языке элитарной, так и в языке народной культуры.

И здесь прежде всего следует отметить процесс дальнейшей дифференциации этих понятий, результаты которого особенно хорошо видны в русском фольклоре, где «добро» как нравственная категория красоты закрепляется за мужчиной (ср. *добрый молодец*), а «красота» в ее чувственном восприятии — за женщиной (ср. *красна девица*).

В литературном русском языке как представителе элитарной культуры это божественное осмысление красоты в имени, в его внутренней форме практически не сохранилось (если не считать прилагательного *безобразный*, которое прочитывается как «без Образа и Подобия Божьего», прилагательного *великолепный*, в котором, учитывая сказанное выше, *лепое* является атрибутом Великого, а также прилагательного *нелепый*, которое отсылает нас скорее к сфере духовного, нежели эстетического, ср. *нелепый* 'лишенный здравого смысла, бессмысленный' СРЯ II: 624), однако следы его остались в синтагматике имени *красота*. Особенно заметна сакрализация красоты в поэзии романтиков, создавших *идеал небесной красоты*. Достаточно обратиться к поэзии В. А. Жуковского, чтобы восчувство-

вать «божественный образ прекрасного». Красота для поэта — идеальная субстанция, символ духовного инобытия — *ангел неземной, сон воздушный*. Опираясь на известный тезис Ж.-Ж. Руссо («прекрасно то, чего нет»), В. А. Жуковский решает его по-своему, считая прекрасным то, что «наш мир животворит», хотя это и не материальная, а духовная субстанция, ср.: *Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты...* (Лалла-Рук)⁴.

Дальнейшее развитие этой идеи наблюдается в поэзии А. С. Пушкина, который, хотя и десакрализирует небесную красоту, спуская ее на землю, однако по-прежнему использует религиозно-мистическую атрибутику, ср. пушкинские сочетания *небесное создание, святыня красоты* или *гений чистой красоты*. В стихотворении А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный», стилизованном под жанр средневековой легенды, перед нами предстает идеал женственности и духовной красоты, олицетворением которой является Богоматерь. Куртуазная преданность бедного рыцаря «прекрасной даме» — избраннице его сердца является отражением средневекового сознания с характерной для него эротической экзальтацией католического культа Богоматери (подробнее об этом см. Купреянова 1981: 317). А в стихотворении «Мадонна», посвященном, как известно, будущей жене А. С. Пушкина, мы наблюдаем слияние «земной» и «небесной» красоты. Поэт говорит о земной женщине, которая для него «чистейшей прелести чистейший образец». Сам идеал Мадонны дехристианизирован, о чем свидетельствует слово «прелесть», связанное с чувственным измерением прекрасного.

Эта сакрализация «красоты» в поэзии романтиков — плод несомненного влияния западноевропейской поэзии, в поэтическом ряду, по-видимому, связанной с именем Петрарки.

Интересно, что в элитарной культуре присутствует и другое восприятие красоты, но красоты «земной», в которой нарушена гармония между внутренним и внешним обликом человека, когда красота соединяется со злом и пороками человека, его необузданными страстями и жестокостью: эту красоту М. Ю. Лермонтов называет «безобразной» (ср. «Но красоты их безобразной я скоро тайнства постиг...»

⁴ Понимание В. А. Жуковским прекрасного как «проявления некоей божественной сущности» особенно четко выражено в его письме к Н. В. Гоголю, ср.: «...в творчестве наиболее полно выражается божественность происхождения души человеческой, которого признак есть сие стремление творить из себя <...> Душа беседует с созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзыв создания? Не голос ли самого создателя? <...> Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою Бога в создании» (Жуковский 1969: 68), см. также: История эстетики: памятники мировой эстетической мысли 1969; Иезуитова 1969; Карташова, Семенов 1997: 103.

(В альбом С. Н. Карамзиной), а Ф. М. Достоевский «демонической красотой» («Тут дьявол с Богом борется и поле битвы — сердца людей», — говорит Дмитрий Карамазов).

В языке русской традиционной духовной культуры в осмыслении красоты сохраняется христианская дихотомия духовного и чувственного, хотя и наблюдается иное понимание божественности красоты, причем оно прослеживается не только в синтагматике, но, что особенно важно, в самой внутренней форме диалектного слова, в тех мотивационных признаках, которые легли в его основу.

— Как же осмысляется понятие «прекрасного» в языке народной культуры, существует ли оно вообще там, ведь абстрактная лексика в диалектах представлена довольно скудно?

— Кто или что становится предметом осмысления «прекрасного», т. е. что атрибутируется в этой категории и закрепляется во внутренней форме слова в языке традиционной духовной культуры?

— Каким предстает «прекрасное» в языковом сознании русского народа, каким оно ему видится?

Прежде всего следует отметить, что в диалектах, произошла своеобразная смысловая нейтрализация оппозиции лексем *лепота* и *красота*, поскольку наибольшее распространение получил корень *крас-*, вобравший в себя сакральную семантику корня *леп-*, благодаря чему он приобрел высокую словообразовательную потенцию (корень *леп-* встречается лишь в единичных дериватах, ср. *лепота* 'красота' Онеж.; *лепно* 'красиво' Краснояр.; *лепоть* 'красота' Арх., Сев.; *лепый* 'красивый, хороший' Перм., Урал., Олон., СРНГ 16: 361–368).

Вместе с тем диалектный материал говорит нам о том, что в языковом сознании русского народа «красота» как христианская этическая ценность не только не умерла (ср. *небесная красота* 'рай' Даль II: 503), но обогатилась новыми смыслами.

О том, что «красота» в традиционной духовной культуре является нравственной ценностью свидетельствует прежде всего тот факт, что именно это имя активно используется в свадебной терминологии, обозначая не только различные свадебные атрибуты (а именно: свадебную ленту, головной убор невесты, свадебный венок, цветы как украшение на голове невесты, бусы, ленты и проч.), но и саму невесту (ср. *красота* 'девушка перед венцом' Волог., СРНГ, 15: 199), которую жених обязан выкупить (ср. *прикрасы* 'в свадебном обряде выкуп деньгами или вещами, который жених платит за невесту' Вят., СРНГ 31: 261). В вологодских говорах красота («дивья красота») является символическим воплощением девичества, образа жизни девушки, ее чести и непорочности (ср. в свадебном причете, записанном М. Б. Едемским: «Моя дивья красота, честная непороч-

ная; у моей дивьи красоты подольчики не ухлюпаны, у пояска-то шелкового да кончики не оступаны, а у шали семишелковы да кисточки не закатаны, мое платьице не ленное, званьица не измятое» (Смольников 2002: 267). Интересно, что в тех же говорах замужество воспринимается как «убожество», «печаль великая» и «большая заботушка» (ср. «Девуцы – лебеди белые, да не оставьте, Христа ради, меня, молодешеньки, во горе да во кручине, в горюшке да в печалюшке, да в большой-то заботушке... Теперь мое убожество от меня не отвяжется...» Смольников 2002: 266).

Корень *крас-* представлен и в словах, соотносящихся с понятием «благого» или чего-то «хорошего» (ср. *краса* в знач. нареч. 'хорошо, благо' Сев.-Двин., СРНГ, 15: 171// 'приятно, хорошо' Новг., НОС 4: 135; *на красоту* 'очень хорошо' Курск., СРНГ 15: 200; *красно солнышко* 'честное слово' Пск., СРНГ 15: 196).

Красота, таким образом, в традиционной духовной культуре предстает как аксиологическая категория со знаком «плюс». Само прилагательное *красивый* (так же, впрочем, как и прилагательное *леньй*) имеет в русских диалектах значение 'хороший' (ср. *красивый* 'хороший, удачный, благоприятный' Олон., СРНГ 15: 174, ср. также *хорошество, хоросьво* 'красота' Ниж.-сем. Даль IV: 562; *красно* 1) 'красиво' Арх., Перм.; 2) 'хорошо' Смол., СРНГ 15: 179; *лепо* 'красиво, хорошо' Калуж., Смол., Пск., СРНГ 16: 365; *леньй* 'красивый, хороший' Перм., Урал., Олон., СРНГ 16: 368; *баско* 'красиво, нарядно, хорошо' Иркут., Урал., Уфим., Арх., Печор., Олон., Вят., СРНГ 2: 131), тогда как *плохой* – это 'некрасивый, невзрачный' Ряз., Ворон.: «*При хорошем-то уборе и плохая будет красивой, а в наше одень – и хорошая будет плохой*» СРНГ, 27: 157; *нехоровитый* 'некрасивый, невидный, непривлекательный' Курск, СРНГ, 21: 204; *некрасивый* 'плохой, неприятный' Арх., СРНГ 21: 64; *небаско* 'некрасиво, неприятно, нехорошо' Пск., Арх., Киров., Урал., СРНГ 20: 315).

Понятие «красоты» в народном сознании осмысляются и как социальная, регулятивная категория, которая определяет нормы человеческого общежития. Социум выносит свой вердикт, оценивая именно через красоту характер отношений между людьми (ср. *лепостный* 'хороший, приличный' Яросл., СРНГ 16: 366; *клюдь* 'красота, порядок, приличие' Костром., Влад.: *Без клюди мы не люди* СРНГ 13: 318; *басить* 'вести себя хорошо' Олон., СРНГ 2: 130; *пригоже* 1) 'красиво' Смол., Пск., Брян.; 2) 'прилично' Волог., Яросл., Пск., СРНГ 31: 166; *безобразица* 1) 'уродливость, отсутствие красоты'; 2) 'дурное поведение' Перм., СРНГ 2: 194; *нехорошество* 'дурное поведение' Даль IV: 562).

Интересно, что понятие «красоты» «работает» даже в коммуникативном регистре, украшая человеческое общение, ср., например, ком-

плиментарное приветствие: «*Ой ты мое, красовитушко*» Олон., Влад., СРНГ 15: 198; или *Приятная, скажи-ка мне, как пройти в магазин* Яросл., ЯОС 8: 96; СРНГ 32: 76; «*Не тужи, красава, что за немилото попала*» Калуж., СРНГ 15: 172; или формулу прощания в костромских говорах: *До приятного виду* 'до свидания' Костром., СРНГ 32: 76.

Красота является необходимой составляющей жизни человека, который не просто «принимает» красоту своим сердцем (ср. *приятно* 'красиво' Ворон., СРНГ 32: 76), но «творит» ее, украшая свой быт и свою жизнь (ср. *басить* 'украшать' Волог., Арх.: *Эту избу хочет басить, резочкой избу басили* СРНГ 2: 130; *красоватъ* 'придавать красивый вид, украшать' Арх., СРНГ 15: 197; *образить* 'придавать красивый вид, украшать' Тамб., Даль II: 613; *хорошить* 'украшать' Даль IV: 562) и в этом смысле красота предстает как прагматическая категория, способствующая эстетизации бытия человека, как то, что «годно», «пригодно» для его жизни (ср. *гожель* 'красота' Нижегород., СРНГ 6: 277; *гожиль* 'добро, все хорошее, красивое' Нижегород.: *В доме гожиль такая* СРНГ 6: 278; *пригожество* 'красота' Влад., Пск., Калуж., СРНГ, 31: 166; *ражестъ* 'красота' < *ражий* 'красивый годный' Даль IV: 12).

При этом субъектом, творящим красоту, может быть не только человек, но и некая высшая (гесп. божественная) сила, которая имеет характер неопределенности, неконкретности, поэтому красота может осмысляться и как категория безличная (ср. *прикрасить* безл. 'приходить чему-либо приятному, везти' Мурман.: *Что-то мне прикрасит сегодня* СРНГ 21: 261).

В связи с этим небезынтересно отметить, что безобразие в языковом сознании русского народа соотносится часто с нечистой силой, ср. *небаской* 'некрасивый, неказистый' Пск., Вят., Урал., Перм., Печор., Костром., Арх., Смол., Новг., Волог. СРНГ 20: 315 и *небаское имя* 'черт, нечистая сила' Волог., СРНГ 20: 315 или дериваты с корнем *дур-*: *дурняк* 'безобразно' Тамб., СРНГ 8: 271; *дурничка* 'некрасивая женщина' и *дурак* 'черт' Смол., СРНГ 8: 263; *дурной* 'злой дух, домовый' Тул., Ворон., СРНГ 8: 270; или *некошной* 1) 'некрасивый' Арх.; 2) в знач. сущ. 'нечистая сила, черт' Киров., Волог., Новг., Костром., Вост., Перм., Ср. Урал., Тобол., Иркут, Якут., СРНГ 21: 63).

Красота привносит в жизнь человека радость, довольство и благополучие (ср. *красованье* 'веселая беззаботная жизнь в довольстве и благополучии' Волог., Сев.-Двин., Арх., Смол. // 'роскошество, нега' Смол., СРНГ 15: 197; *красовка* 'жизнь в довольстве, в неге' Смол.: *Вернулся солдат домой. Теперь кончилась ее красовка* СРНГ 15: 198; *красоваться* 'жить хорошо, в достатке и радости' Волог., СВН 3: 120; *красно* 'хорошо, в достатке, зажиточно' Волог., СВГ 3: 119; *накрасоваться* 'пожить в свое удовольствие' Смол.: *А уж моя душенька на-*

красовалася: напитоков-наедков наскушалася, хорошей одежды наносилася СРНГ 19: 347). Безобразие же, напротив, несет с собой, нужду и печаль (ср. *жить некрасно* 'жить в бедности' Перм., СРНГ 21: 64).

Наконец, красота в традиционной духовной культуре предстает и просто как эстетическая категория, связанная с чувственным измерением «прекрасного», воспринимаемого визуально (ср. *взрачность* 'красота' Даль без указ. места I: 200), отражающая, так сказать, «биологическое цветение жизни» (Н. О. Лосский). Кроме непроизводного севернорусского *баса* (СРНГ 2: 127), у которого М. Фасмер не исключает связь с др.-инд. *bhāsas* 'свет, блеск' (Фасмер I:), а также производных от него *басенька* 'красота' (Новг., СРНГ 2: 129), *басеть* 'красота' Костром., СРНГ 2: 129, *басина* 'красота' (Перм., Тюмен., СРНГ 2: 130), в русских народных говорах представлены слова *лепота*, *лепета*, во внутренней форме которых звучит мотив «притягательной силы» красоты (этимологи восстанавливают следующую цепочку в семантическом развитии этого слова: *лепота*, *лепета* — первоначально 'прилегающий, липнущий', а затем 'подходящий, хороший, красивый' Фасмер II: 485, ЭССЯ 14: 225), красоты, которая «ранит» сердце (ср. такие слова, как *клевость*, *клевета* 'красота' Калуж., СРНГ 13: 272 < *клевый* 'красивый' Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуж., Влад., Тамб., СРНГ 13: 273). Само слово *красота* осмысливается как «цвет жизни», на что указывает его этимология (ср. *красота* < *kga: семантически убедительно реконструируется как 'цвет жизни', откуда затем красный, цвет румянца, цветение, цвет растений и, наконец, более общее 'красота' ЭССЯ 12: 95).

Чувственное восприятие красоты особенно явственно предстает в именах, в которых она осмысливается как вкусовая категория (ср. *приятный* 1) 'красивый' Арх.; 2) 'вкусный' Арх., СРНГ 32: 76; *прикраса* 'приправа к кушанью (сало, сметана и др.)' Смол.: *Щи есть без прикрасы неохота* СРНГ 31: 261; *прикрасить* 'приправить, заправить (о кушанье)' Смол.: *Нечем прикрасить щи // Прикрасить горшок* 'положить в горшок приправу' СРНГ 31: 261; *нескусный* 1) 'невкусный' Волог., Арх., Пск., Смол., Перм.; 2) 'некрасивый' Арх.: «*Фу, какой парень-то нескусный*» СРНГ 21: 154).

Таким образом, понятия «прекрасного» и «безобразного» в традиционной духовной культуре предстают и как этическая, и как социальная, и как прагматическая, и как эстетическая категории. При этом отчетливо видно, что «безобразное» существует не само по себе, а в связи с нравственным злом. Сама словообразовательная структура этих имен (большая часть которых имеет префиксы *не-* и *без-*) говорит о том, что оно является отрицанием «прекрасного», которое пронизывает все бытие человека, в том числе и окружающий его мир.

Что же осмысляется в традиционной духовной культуре в категориях «прекрасного» и «безобразного»? На этот вопрос, пожалуй, можно ответить однозначно — прежде всего человек (ср. *красотость* 'красивая, привлекательная внешность' Смол., СРНГ 15: 201; *нелицой* 'некрасивый, непривлекательный человек' Пенз., СРНГ 21: 72). Макрокосм очень редко атрибутируется с этой точки зрения. При чем здесь прослеживается интересная закономерность: если прекрасное может соотноситься с миром природы, то безобразное — нет, ибо в мире, созданном Богом, все прекрасно и целесообразно.

Среди производных имен, в основе которых лежит эстетический мотивационный признак, связанный с категорией прекрасного, можно привести лишь названия некоторых грибов (ср. *красовик* 'подосиновик': «*Красивый гриб, потому и зовут красовик*» Яросл., Калинин., Моск., СРНГ 15: 198; *красотка* 'гриб сыроежка' Тобол., Тюмен., СРНГ 15: 200; *красавка, красавица, красавичка* 'гриб сыроежка' Волог.: *Красавицы разного цвета бывают, вот красненькие* СВГ 3: 119) и определенного сорта яблок (ср. *красавица* Саратов.; *красавка* Омск, СРНГ 15: 172 'сорт яблок'), а среди зоонимов — чаще всего клички коров (ср. *красотка* 'кличка коровы рыже-красной масти' Ср. Урал, Твер., СРНГ 15: 200).

Это сравнительно редкое обращение к эстетической оценке в номинативном освоении мира природы объясняется, как представляется, спаянностью русского человека с этим миром. Отсутствие дистанции между человеком и природой не позволяет взглянуть на нее как бы «со стороны». Эстетическое любование природой в номинативной сфере уходит на задний план, тогда как на переднем оказываются прагматические цели и прежде всего земледельческие приоритеты. «Привязанный к земле сельским хозяйством, поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу как интегральную часть самого себя» (Гуревич 1984: 58), отсюда внимание к маркированию тех признаков и свойств растений, которые имели для него хозяйственно важное значение.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в сфере эстетической оценки входит ландшафт, о чем свидетельствуют следующие названия: *красуха* 'красивое и хорошее место' Калинин., СРНГ 15: 202; *на краси стоять* 'стоять на красивом месте' Нижегород., Орл., Костром.: *Будто ты, село, на краси стоишь, на краси стоишь, на крутой горе* СРНГ 15: 203; *краса* 'чистая, безлесная местность' Новг., НОС 4: 135; *прекраса* 'красивое место' Том., Кубан., Влад., Яросл., Олон., СРНГ 31: 83; *прикраса* 'красивое место' Смол., Вят., Ворон., Курск., Том.: *Дом выстроен на самой прикрасе* СРНГ 31: 261; Яросл., ЯОС 8: 88; *прикрась* 'то же, что прикраса' Ворон., СРНГ 31: 262; *прикрасье* 'то же, что прикраса' Ряз., СРНГ 31: 262.

Особенно важное значение в этом контексте приобретают имена, обозначающие место, освещенное солнцем (ср.: *красиво* 'место, открытое лучам солнца' Волог., СРНГ 15: 174; *красивушко* 'то же, что красиво' Волог.: *Отойдите от дому-то да идите на красивушко-то* СРНГ 15: 174; *красота* 'освещенная солнцем поверхность воды' Волог.: *Мальки-то на красоту все и выползают* СВГ 3: 12; *красотка* 'место освещенное солнцем' Волог.: *Сядь на красотку-то* СРНГ 15: 200). Все эти имена говорят о том, что красота в языковом сознании русского народа является символом света, своеобразной метафорой солнца, которое, как известно, также являлось сущностным атрибутом Бога (ср. *красить* 'светить (о солнце)' Волог.: *Солнце-то ныне не красит* СВГ 3: 119; Яросл., ЯОС 8: 85; *красавить* 'солнечно, ясно' Волог.: *Хоть красавить на улице, да не тепло* СВГ 3: 121; *краса* 'ясный закат солнца' Новг., НОС 4: 135; *красиво* 'солнечно, ясно' Волог.: *Было бы красиво на улице, подоле бы погостила* СВГ 3: 119; *красно* 1) 'красиво'; 2) 'ясно, солнечно (о погоде)' Яросл., ЯОС 8: 85; 3) 'светло' Орл.: *Как красно становится, так уж и пастухи скотину гонят* СОГ 5: 107; *красный день* 'солнечный, ясный день' Новг., НОС 4: 137), поэтому мир в языковом сознании русского человека пронизан светом и красотой.

Попутно отметим, что эта связь локуса с красотой особенно заметна в названии *красного угла* в крестьянской избе — самого почетного места, в котором вешались иконы и стоял стол (с церковным престолом). Именно в красном углу сажали почетных гостей, головой к красному углу клали на стол или на лавку и покойника.

Эта сакрализация красоты прослеживается и в названии *красная горка* — воскресного дня, которым заканчивается Светлая Седмица, Пасха. Само название произошло от того, что в этот день совершался обряд встречи восхода солнца или «красной весны», который происходил на горе, освещенной солнцем. День этот считался особенно счастливым, поэтому именно в этот день справлялись свадьбы.

Итак, категория «прекрасного» в традиционной духовной культуре «работает» прежде всего в сфере микрокосма, в номинации человека. При этом в эстетическом восприятии человека наблюдается следующая интересная поляризация оценок: эстетическая оценка со знаком «плюс», т. е. признак «красивый» относится чаще всего к женщине (ср. *красава, красавка, красанка, красовитка, краснушка, мазенка, пригожайка, пригожница, славенка, славница, славнуха, хорошава, хорошуля* и др.), само название женщины в тверских говорах является производным от прилагательного *мильй* (ср. *милоха* 'женщина' Твер., СРНГ 18: 163), тогда как оценка со знаком «минус» встречается чаще всего в названиях мужчин (ср. обозначения некра-

сивого мужчины: *вахрюта* 'нескладный, некрасивый человек' Твер., СРНГ 4: 76; *дурносон* 'некрасивый человек' Курск., СРНГ 8: 271; *зауродье* 'урод' Ворон., СРНГ 11: 134; *изродок* 'урод' Пск., Твер., СРНГ 12: 168; *мухорко* 'о некрасивом, невзрачном человеке' Казан., Перм., СРНГ 19: 38; *мухорт* 'некрасивый челрвек' Яросл., СРНГ 19: 38; < *мухортый* 'некрасивый' Ряз., СРНГ 19: 39; *некарь* 'некрасивый человек, человек с корявым лицом' Вят., СРНГ 21: 62; *нехлюдок* 'урод' Арх., СРНГ 21: 202; *неухлюдок* 'урод' Арх., СРНГ 21: 199; *невзора* 'невзрачный, неказистый человек' Горьк., СРНГ 20: 241; *некраса* 'некрасивый, невзрачный человек' СРНГ без указ. места, 21: 64; *нескладыня* 'безобразный человек, урод' Арх., СРНГ 21: 52; *отеребок* 'невзрачный человек' Яросл., СРНГ 24: 176; *ошлепок* 'о невзрачном, некрасивом человеке' Перм., СРНГ 25: 91 и т. д.). Даже в тех редких случаях, когда эстетическая оценка внешности мужчины выступает со знаком «плюс», она все-таки сопровождается отрицательной коннотацией (ср. *пригожник* 'щеголь, кто любит свою красоту' Даль без указ. места, III, с. 408; *басёнка, басёнок* 'красавчик' СРНГ без указ. места, 2: 129; *накрасавец* 'красавчик' *красавец-накрасавец* Влад., СРНГ 19: 346), но к ребенку, в том числе к мальчику, эта оценка вполне применима (ср. *красавёночек* ласк. 'обращение к ребенку' Влад., СРНГ 15: 172; *красавик* 'красавец' Калуж., Моск., Ряз., Костром., Курск., Тул.: *Ешь, ешь, красавик ты мой, расти большой* СРНГ 15: 172).

Интересно, что и в эстетическом восприятии человека выделяется несколько аспектов осмысления красоты — чувственный (визуальный), этический, социальный и даже сакральный.

Чувственное восприятие «прекрасного», пожалуй, лучше всего «проработано» в диалектном лексиконе. Красивый человек в представлении русского народа — это прежде всего «видный» человек, заметный с первого взгляда (ср.: *взглядный* 'видный, красивый' Пск., Твер., СРНГ 4: 254; *взглядистый* 'красивый, представительный' Брян., Смол.: *Парень взглядист* СРНГ 4: 254; *взрачный* 'красивый' Даль без указ. места I: 200; *добровидный* 'миловидный, имеющий приятную наружность' Олон., СРНГ 8: 77; *милозглядный* 'привлекательный, миловидный' Яросл., СРНГ 18: 162; *казимый* 'красивый' Перм., СРНГ 12: 319 (<прич. от глагола *казить* 'иметь вид'); *оказистый* 'видный, красивый' Север., СРНГ 23: 106 < *оказ* 'внешний вид' Олон., СРНГ 26: 106; *позорный* 'видный, красивый' Южн., Зап., Арх.: *позорная девка* СРНГ 28: 338).

Характерно, что названия некрасивого человека также соотносятся с этими корнями, поскольку некрасивый человек — это человек невидный (ср. *безвидный* 'невзрачный, неказистый' Перм., СРНГ 2: 182; *невидкой* 'неказистый, невзрачный' Калуж., СРНГ 20: 343; *не-*

взглядный 'неприглядный, неказистый (о наружности)' Калуж., Тамб., Смол., Влад., Пск., СРНГ 20:338; *невзглядивый* 'невзрачный, неказистый' Калуж., СРНГ 20: 338; *незрачный* 'невзрачный, непривлекательный' Влад., Арх., Перм., Костром.: «По-вашему пусть худенькая, а по-нашему — невзрачная» СРНГ 21: 53; *неприглядчивый* 'некрасивый' Костром., СРНГ 21: 126).

Особо выделяется красота или уродство лица (ср. *наличница* 'красавица' Тул.: *Наличница я была в старину* СРНГ 20: 20; *краснолицкий* 'красивый' СРНГ без указ. места 15: 183; *лицеватый* 'красивый' Яросл., СРНГ 17: 85; *личистый* 'красивый лицом' Пск., Смол.: *Чиста, личиста, да и говорить речиста* СРНГ 17: 88; *милорожий* 'с приятным красивым лицом' Помор.: *Миловидна, милорожа на все стороны глядит* СРНГ 18: 162; *немилорожий* 'некрасивый лицом' Арх., Олон., СРНГ 21:79; *нерожистый* 'некрасивый' СРНГ без указ. места 21: 145; *несурожий* 'некрасивый, безобразный' Курск., Ворон., Казан., СРНГ 21: 168; *нелицей* 'некрасивый, непривлекательный' Пенз., СРНГ 21: 72; *дурнохарий* 'некрасивый, безобразный' Влад., СРНГ 8: 271). При этом отдельно отмечается красота белого лица (ср. *беланушка* 'добрая красивая женщина' Казан., СРНГ 2: 207; *белонега* 'красивая нежная девушка' Оренб., СРНГ 2: 222; *лицевитый* 'с белым чистым лицом, видный красивый' Ряз., Калуж., Тамб., Яросл., СРНГ 17: 85; *личманистый* 'с белым красивым лицом' Ряз., Калуж., Тамб., Тул., Ворон., Яросл., СРНГ 17: 89; *личмяный* 'с красивым чистым белым лицом' Ряз., Калуж., Тамб., Яросл., СРНГ 17: 89), а также светлый цвет волос (ср. *белоголовица* 'красавица' Смол., СРНГ 2: 218), тогда как желтый или темный цвет лица ассоциируется с уродством (ср. *мухортый* 1) 'желтый'; 2) 'некрасивый' Ряз. СРНГ 19: 39; *мухорый* 1) 'невзрачный, некрасивый'; 2) 'гнедой' СРНГ 19: 39; ср. также следующий пример: «У ней рыло-та словно вспахано — рябищая, чернищая, дурнищая» Влад., Тамб., СРНГ 8: 269).

Таким образом, в русском языковом сознании красота входит в семантический спектр не только красного, но и белого цвета, тогда как уродство соотносится с желтым или темным (по-видимому, почерневшим) цветом лица.

Красота человека оцениваются и с витальной точки зрения, так как красивый — это прежде всего здоровый человек (ср. *красёха* 'красивая здоровая женщина' Пск., СРНГ 15: 174; *красень* 'красавец, здоровяк' Арх., СРНГ 15: 174; *красик* 'здоровый, румяный красивый человек' Ряз., Волог., Олон., СРНГ 15: 175; *красавый* 'красивый, здоровый, видный собой' Пск., Твер., СРНГ 15: 173; *красный* 'здоровый, полный сил человек' Волог.: *Ой, она и красна, здорова* СВГ 3: 120; *мазёха* 'красивая здоровая, женщина' Олон., СРНГ 17: 296; *прекрасный*

'здоровый, крепкий' Новосиб.: *Выходит так: жена прекрасная, а он уж износился* СРНГ 31: 83) и кроме того, молодой (ср. *молодица* 'молодая красивая женщина' Твер., СРНГ 18: 224). Некрасивый же человек — это человек хилый, тщедушный, болезненный (ср. *мухрый* 'невзрачный, хилый' Сиб., СРНГ 19: 40; *мухорный* 'невзрачный' // 'хилый, тщедушный, болезненный' Перм., Свердл., СРНГ 19: 38; *небравый* 1) 'некрасивый, неказистый' Перм., Краснояр.; 2) 'нездоровый, болезненный' Перм., СРНГ 20: 322), и к тому же нередко старый (ср. *коржевица* 'безобразный человек (особенно о стариках) < коржить 'смердеть' Даль). Отсюда понятно, почему желтый или темный цвет лица становится символом уродства.

В русском языковом сознании существуют и своеобразные идеалы мужской и женской красоты.

Женская красота ассоциируется с дородностью тела, о чем говорит как внутренняя форма диалектных слов, так и их значения, ср.: *дородница* 'красивая девушка, женщина' Орл., Бахвалова, 1996; Курск., Дон: *Да сама дородница, красивая, как намалевана* СРНГ 8: 133 < *дородный* 'красивый, пригожий, видный' Орл., Олон., Волог., Костром., Пск., Курск., Нижегород., Перм., СРНГ 13: 134; *дородушка* 'полная, красивая девушка, женщина' Курск., СРНГ 8: 134; *красуля* 'красавица, румяная и полная женщина' Твер., Влад., Костром., Калуж., СРНГ 15: 202// Волог.: *Девки-то какие красули* СВГ 3: 122; *лепота* 'красивая внешность, дородность' Арх., Север.: *Да где ж твоя лепота?* СРНГ 16: 366; *ладистый* 'красивый, полный' Краснояр.: *Ладистая у кумы дочка* СРНГ 16: 230; *клевый* 'красивый, статный, дородный' Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуж., Влад., Тамб., СРНГ 13: 273).

Кроме того, при определении женской красоты немаловажным оказывается и такой атрибут женщины, как ее одежда (ср. *кукобна* 'красивая нарядная женщина' Пск., СРНГ, 16: 38; < *кукобиться* 'нарядиться' Брян., СРНГ 16: 38; *басенький* 'красивый, нарядный' Южн.-Сиб., Вят., Арх., Олон., Онеж., Петерб., Волог., Новг., Оренб., Тобол.: *Жона ходит по двору, сама басенькая, сама снаряженькая* СРНГ 2: 129 < *баса* 'нарядная одежда' Перм., Олон., Волог., Сев.-Двин., Свердл., Курган., СРНГ 2: 127; *красочный* 'красивый, нарядный' Орл., СОГ 5: 109). В вологодских говорах само существительное *красота* имеет значение 'одежда, наряд': *Красоты-то у меня еще прежние остались* СВГ 3: 121; ср. также *краса* 'женское украшение' Волог., СВГ 3: 121; *прикраса* 'наряды, украшения' Ярослав., Тул.: *Дочке прикрас накупил* СРНГ 31: 261). У мужчины же этот атрибут оценивается отрицательно (ср. *басана* 'щеголь, франт' Перм., Олон., Волог., Сев.-Двин., Свердл., Курган., СРНГ 2: 127, ср. также *басать* 'нарядиться, франтить' Нижегород., СРНГ 2: 128; *басила* 1) 'щеголь, франт'

Сев.-Вост.; 2) 'беспутный человек' Сев.-Вост., СРНГ 2: 129; *красик* бранно 'щеголь' Даль II: 185).

В соответствии с этим некрасивая женщина – это женщина худая и к тому же плохо одетая (ср. *небаской* 'некрасивый, неказистый' // 'плохо одетый' Волог., СРНГ 20: 315; *незрочный* 1) 'непривлекательный' Влад., Арх., Перм; 2) 'худой, изможденный' Арх., Костром., СРНГ 21: 53; *некошной* 1) 'некрасивый'; 2) 'худой, тощий' СРНГ 21: 63).

Красивый мужчина в языковом сознании русского народа – это прежде всего человек крепкий, здоровый, сильный, ср. *дородный* 'красивый, видный, мужественный' Олон., Арх., Вят.: *Есть ли удалый дородный добрый молодец, сослужил бы мне службу великую* СРНГ 8: 133; *красень* 'красавец, здоровяк, кровь с молоком' Арх., Даль II: 185; *прекрасный* 'красивый, здоровый, крепкий' Новосиб., СРНГ 31: 83; *ражий* 'красивый, крепкий, здоровый' Волог., Олон., Яросл., Твер., Тамб., Яросл., Пенз., Даль IV: 124), к тому же отличающийся высоким ростом (ср. *ладный* 'красивый' Том.; 2) 'большой по росту' Брян., СРНГ 16: 236). Соответственно некрасивый мужчина – это человек тщедушный, слабосильный и к тому же маленького роста (ср. *мухортый* 'некрасивый, непривлекательный' // 'малорослый, невзрачный' Тамб., Калуж., Влад. Ряз.: «А он, мухортый черт, страшный, глаза все пупом выскочили, и как ты, Анна, с ним живешь-то»; / 'хилый, тщедушный, слабосильный' Тамб., Тул., СРНГ 19: 39; *неокуненький* 'невзрачный на вид' / 'небольшой, маленький' Ряз., СРНГ 21: 102; *невзрашный* 1) 'невзрачный, неказистый на вид'; 2) 'маленького роста' СРНГ 20: 341; ср. также следующий текст: «Маленький – негодяй... урод хошь» Ряз., СРНГ 20: 375).

Наряду с созерцательным, чувственным восприятием красоты, в традиционной духовной культуре существует и иное ее восприятие, когда она осмысливается в этических категориях, ср.: *баской* 1) 'красивый, хороший' Олон., Сиб., Кольск.; 2) 'вежливый приветливый' Яросл., СРНГ 2: 133; *добристый* 'красивый' Олон., СРНГ 8: 76; Волог., СВГ 2: 30; *гожий* 'пригожий' // 'порядочный' СРНГ 6: 278; *погожий* 'красивый' // 'хороший, добрый' СРНГ 27: 301; *клевыи* 'красивый, статный, дородный' Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуг., Тамб. // 'хороший, стоящий о человеке' Тул., СРНГ 13: 273; *кляжий* 'статный, красивый, видный' // 'честный, порядочный' СРНГ 13: 318; *пристойный* 'красивый' Калуж.: *Какая у вашего Вовки пристойная барышня, любо-дорого глянуть, и вежливая такая, пройдет, поздоровется, улыбнется и вся зардеется, ай, какая хорошая.* СРНГ 31: 418). Причем если красота связывается с добротой, честностью, порядочностью человека, то безобразие – с его глупостью, неуживчивостью, беспутностью (ср. *дурносон* 1) 'некрасивый человек' Курск; 2) 'глупый, бестолковый человек,

дурак' Яросл., СРНГ 8: 271; *неловкий* 1) 'некрасивый'; 2) 'неуживчивый' Арх., СРНГ 21: 73; *немудрый* 'некрасивый, невзрачный' Твер., Арх., Олон., Новг., Пск., Перм., Том., Сиб., Тул.: «*Ен был такой немудрый, рыженький, в веснушках весь*» СРНГ 21: 89; *непоротый* 1) 'некрасивый' Влад., Новг.; 2) 'плохой, неумный' СРНГ 21: 119; *неудельный* 1) 'некрасивый' Ряз.; 2) 'беспутный' СРНГ 21: 189; *невзора* 1) 'неказистый, невзрачный человек' Горьк.; 2) 'человек с замкнутым характером' Горьк. // 'надменный человек' СРНГ 20: 341; *плохой* 1) 'некрасивый, невзрачный' Ряз.; 2) 'глупый, беззаботный' Твер., Пск., ср. «*Идти по плохой пути*» 'вести беспутную жизнь' Горьк., СРНГ 27: 157; *вылюдье* 'выродок, нравственный урод' Твер., Даль, СРНГ 5: 307).

Особо следует отметить следы сакрализации понятия «красоты» в существительном *сущик* 'красивый милый' Новг., Кир., Даль IV: 368 (< прич. *сущий*, которое, как известно, является атрибутом Бога) и в прилагательном *богатый* 'красивый, хороший' Волог., Влад., Курск., Орл., СРНГ 3: 45).

Красота в языковом сознании русского народа оценивается и как социальное явление, так как красивый человек получает своеобразное «общественное признание» (ср. *знатный* 1) 'красивый' Волог., СРНГ 11: 310; 2) 'великолепный' Новг., НОС 3: 99; *знаткий* 'видный красивый, уважаемый' Бурят., Урал., СРНГ 11: 309; *красный* 'способный, искусный' Волог., СВГ 3: 120; *красить* 'хвалить' Волог.: *А он сидит и слушает, как его мать красит* СВГ 3: 119), и статус красавицы подтверждает ее «легитимация» (ср. *славёнка* Твер., *славнуха* 'прославленная красавица' Арх., Даль IV: 215; *славёна* 'красивая девушка' Яросл., ЯОС 9: 43; *славница* 'красивая, видная девушка' Яросл., ЯОС 9: 43). Безобразие же, наоборот, оценивается как «выпадение» из сообщества людей, из семьи или рода (ср. *невлюдный* 'неказистый, плохой' Брян., СРНГ 20: 346; *неизродный* 'безобразный' Арх., Сев.-Двин. СРНГ 21: 54; *незродный* 'невзрачный' Арх., СРНГ 21: 53), как отсутствие у человека его индивидуальности, «самости» (ср. *несамовитый* 'невзрачный, некрасивый' Пск., СРНГ 21: 148).

Социологизация понятия «прекрасного» в человеке проявляется и в том, что оно осмысливается и с чисто прагматической точки зрения (ср. *пригожан* 'красивый, пригожий парень' Волог., СРНГ 31: 166; *пригожица* 'красавица' Нижегород., СРНГ 31: 166; *пригожница* 'красавица' Яросл., ЯОС 8: 84; *пригожанка* 'красивая пригожая девушка' Волог.: *Вот какая пригожанка выросла* СВГ 8: 44). При этом ценность красоты в традиционной духовной культуре была, по-видимому, относительной, так как красота воспринималась как временное качество человека: она «избывается», утрачивается им, остается в его

прошлом, отсюда и народные сентенции: *Не ищи красоты, а ищи доброты; Не родись красив, а родись счастлив; Красивый муж на грех, а дурной на смех; Пригожая жена, то мужняя сухота* и др.

Это отчуждение красоты от человека особенно явственно предстает в свадебных причетах, когда невеста «сдает» свою «дивью красоту» (ср. «*Ты возьми, моя сестрица, честну дивью-то красоту да во белые рученьки*»), «красованье» своего девичества, принимая «убожество», «печаль великую» и «большую заботушку» замужества (Смольников 2002: 266).

Интересно, что в языковом сознании русского народа красота выступала не только в органической связи с добром, но и, будучи связанной с чувственной стихией, могла быть вольным или невольным источником зла. И в этом также проявляется относительность ее ценности. Однако эта «двуликость» красоты, судя по внутренней форме производного слова, прослеживается только по отношению к женщине, красота которой создает своеобразное «поле соблазна», поэтому красота ее нередко оценивается негативно (ср., например, названия красивой женщины дурного поведения: *красава* Влад., СРНГ 15: 172; *красавка* СРНГ без указ. места, 15: 172; *мазеха* 1) 'здоровая, дородная красивая женщина' Олон.; 2) 'проститутка' Твер.; 3) 'хитрая, ловкая женщина' Яросл., СРНГ, 17: 296).

Таким образом, широта семантического диапазона корня *крас-*, его высокий словообразовательный потенциал свидетельствует о том, что категория «прекрасного» в языке русской традиционной духовной культуры «работает» практически во всех сферах жизни человека — от витальной до социальной и религиозной, от этической до эстетической, оказывая влияние на формирование таких смысловых оппозиций мира духовных сущностей, как *добрый–злой, хороший–плохой, здоровый–больной, полезный–вредный*. При этом понятие «красоты» покрывает значительно большую часть семантического пространства, чем понятие «безобразного», поскольку именно красота является максимальным и минимальным условием бытия человека.

* * *

Итак, анализ концептов «знание» и «красота» показал, что «русская духовная культура, принимая новое, в значительной мере сохраняла старое, устанавливала формы сосуществования нового со старым, наслаивая одно на другое» (Толстой 1999, III: 37). Христианские традиции Средневековья «проросли» через тысячелетие и вошли в живую реальность нашей современности не только в виде

памятников церковной архитектуры, но и в виде тех языковых реликтов, тех осколков средневекового сознания, которые до сих пор живут в русском языке.

Литература

- Аверинцев 1983 — *Аверинцев С. С.* Истоки и развитие раннехристианской литературы // История всемирной литературы. М., 1983. Т. 1.
- Апресян 1999 — *Апресян Ю. Д.* Основные ментальные предикаты состояния в русском языке // Славянские этюды. М., 1999.
- Апресян 1999 НОСС — *Апресян Ю. Д.* Знать // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1999. Т. 1.
- Арутюнова 2000 — *Арутюнова Н. Д.* О стыде и совести // Логический анализ языка. Языки этики. М., 2000.
- Бахвалова 1996 — *Бахвалова Т. В.* Выражение в языке внешнего облика человека средствами категории агентивности. Орел, 1996.
- Вежбицкая 2001 — *Вежбицкая А.* Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001.
- Вендина 2002 — *Вендина Т. И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- Гуревич 1984 — *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978–1980. Т. 1–4.
- Дионисий Ареопагит 1994 — *Дионисий Ареопагит.* О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994.
- Жуковский 1969 — *Жуковский В. А.* Письмо Н. В. Гоголю // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1969.
- Запольская 2001 — *Запольская Н. Н.* Библейское антропонимическое пространство в славянских грамматических трактатах XIV–XVII вв. // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. М., 2001. Ч. 1–2.
- Иезуитова 1969 — *Иезуитова Р. В.* В. А. Жуковский // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1969.
- История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1969.
- Карташова, Семенов 1997 — *Карташова И. В., Семенов Л. Е.* Романтизм и христианство // Русская литература XIX века и христианство. М., 1997.
- Касьянова 2001 — *Касьянова Т. П.* Развитие семантики глаголов «знать» в истории русского языка // Проблемы филологии. Уфа, 2001.
- Купреянова 1981 — *Купреянова Е. Н.* А. С. Пушкин // История русской литературы в 4-х томах. Л., 1981. Т. 2.
- НОС — Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000. Вып. 1–13.

- Пелипенко 1998 — *Пелипенко А. А., Яковенко И. Г.* Культура как система. М., 1998.
- СВГ — Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2000. Вып. 1–9.
- Славянская мифология М., 2002.
- СЛЯП — Словарь языка Пушкина. М., 1956–1961. Т. 1–4.
- Смольников 2002 — *Смольников С. Н.* Язык кокшеньгской свадьбы в записи М. Б. Едемского // Русская культура на рубеже веков: русское поселение как социокультурный феномен. Вологда, 2002.
- СОГ — Словарь орловских говоров. Ярославль; Орел, 1989–2001. Вып. 1–12.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.), 1965–2001. Вып. 1–35.
- СС — Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994.
- СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Т. 1–25.
- СРЯ — Словарь русского языка. М., 1957–1961. Т. I–IV.
- Степанов 2001 — *Степанов Ю. С.* Константы: Словарь русской культуры. М., 2001.
- Толстой 1999 — *Толстой Н. И.* Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте // *Толстой Н. И.* Избранные труды. М., 1999. Т. III.
- Трубачев 1991 — *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
- Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. 1–4.
- Черных 1994 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. 1–2.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974. Т. 1–27.
- ЯОС — Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991.

Н. Н. Запольская
(Москва)

Библейские цитаты в текстах конфессиональной культуры: семантика, функции, адаптация

Христианская культура была основана на Библии, т. е. на императивных текстах, возникших как результат общения Бога с людьми, как письменная фиксация Слова Бога. Освоение библейских текстов происходило в процессе литургической практики, позволявшей верующим предстоять Слову Бога и стремиться созидать жизнь в согласии со Словом Бога. Принципиально мнемонический способ освоения санкционированного литургическим опытом книжно-языкового материала определил принципиально репродуктивный характер языковой деятельности, заключающийся в передаче во времени и пространстве изначально заданного, неизменного Слова, изреченного Богом и истолкованного избранными людьми. Однако результатом действия механизма репродукции являлись не только тексты закрытой структуры, фиксировавшие изреченное Слово, но и тексты открытой структуры, сопоставлявшие изреченное Слово и слово, сочиненное человеком, во все времена пытавшимся рассмотреть свою повседневную историю в сакральном контексте библейской истории. При порождении текстов открытой структуры действие механизма репродукции приводило к воспроизведению отдельных семантически значимых для требуемой темы фрагментов образцовых текстов, что приводило к синтезу цитатного и нецитатного книжно-языкового материала. Явленные в такого рода текстах эксплицитные цитаты выполняли прототипическую функцию, позволяя понять конкретные исторические события как реализацию библейских прецедентов. В свою очередь, имплицитные цитаты реализовали стереотипическую функцию, становясь средством изложения повседневной истории как продолжения библейской истории. При несовпадении языковых параметров цитатного и нецитатного поля эксплицитные цитаты могли сохранять свои языковые характеристики, поскольку цитате по определению естественно звучать иначе, чем основному тексту, тогда как имплицитные цитаты подвергались языковой адаптации. Сложный механизм создания текстов, синтезировавших цитатный и нецитатный книжно-языковой материал, мотивировал сложность исследования данных текстов — необходимость использования комплексного подхода, включающего атрибуцию цитат, определение семантического и функционального статуса цитат, реконструкцию

механизма их языковой адаптации. В данной статье проведено комплексное исследование цитат в «Сказании о Борисе и Глебе» в составе Успенского сборника (XII–XIII вв.)¹.

«Сказание о Борисе и Глебе» свидетельствовало о «вхождении» Руси «в пространство христианского опыта, связанного с явлением персонифицированной святости, то есть с первыми примерами канонизации, иначе говоря, признания определенных людей носителями святости»². Появление первых русских святых князей-братьев Бориса и Глеба осмыслялось на Руси как факт включения русской истории в священную историю и предполагало истолкование с позиции библейских прецедентов³. Теологически сведущий книжник представлял теологически сведущему читателю систему авторитетных контекстов, призванных выразить определенную духовную стратегию.

Семантическим центром эксплицитной цитатной системы «Сказания о Борисе и Глебе» являются цитаты, раскрывающие *смысл святости* Бориса и Глеба, состоящий в свободном принятии любви, основанной на прощении и ведущей к самопожертвованию по примеру распятого Христа. Предложенный агиографом цитатный посыл позволял раскрыть смысл христианской любви как любви крестной и любви Воскресения и тем самым уяснить смысл святости Бориса и Глеба. Основной семантический блок ветхозаветных и новозаветных цитат, объединивших монолог и молитву Бориса, открывался Словом царя Соломона (Пр 3: 34) о смирении как пути достижения Благодати Бога, достижения любви. Следующее затем ключевое Слово апостола Иоанна (1 Ин 4: 18, 20), представленное и в монологе и в молитве Бориса, свидетельствовало о единстве любви человека к ближнему и любви человека к Богу, ибо, являясь действием Благодати в человеке, любовь возвращается к Богу через любовь к ближнему. И, наконец, фрагмент «гимна любви» апостола Павла (1 Кор 13: 4), представленный в молитве Бориса, утверждал любовь как духовную силу, без которой ничего не имеет цены в тварном мире, ибо человек, любя Бога, становится совершенным для вечной жизни.

| Монолог Бориса | Молитва Бориса |
|--|--|
| <p>[пишетъ сѧ] гѣ гърдыимъ противитъ сѧ. съмѣренымъ же даеиъ бѣгодать. (СБГ 9в 14–17 = Пр 3: 34, 1 Петр 5: 5, Иак 4: 6)</p> <p>[апѣлъ же] иже рече бѣ люблю а брата своего ненавидитъ лъжь есть. (СБГ 9в 17–19 = 1 Ин 4: 20)</p> | <p>[по апѣлоу.] любви все тѣрпитъ всемоу вѣроу неметъ. и не ищеть своихъ си. (СБГ 11в 19–22 = 1 Кор 13: 4)</p> |

| | |
|--|---|
| [и паки] богази въ любви нѣсть съвършенаа. любви вѣнъ измещеть страхъ. (СБГ 9в 20–23 = 1 Ин 4: 18) | [и паки] богази въ любви нѣсть съвършенаа. любви вѣнъ отъмещеть богазнь. (СБГ 11в 22–25 = 1 Ин 4: 18) |
|--|---|

Семантическое доминирование цитат, выражающих смысл святости Бориса и Глеба (прежде всего — 1 Ин 4: 18, 20), подтверждается тем, что именно они объединяют разные жанры борисо-глебского цикла: летопись — «съвършенаа любовь измещеть боязнь», паремейные чтения — «аще кто речеть, яко Бога люблю, а брата своего ненавижу, — ложь естъ», похвальные слова — «аще кто глаголет, яко Бога люблю, а брата своего ненавижу, ложь естъ»⁴.

Семантически «ядерные» цитаты, объясняющие смысл христианской любви, сопровождалась цитатами, раскрывавшими значение христианской любви — любви права и долга. Идея любви как права на Благодать вечной жизни, обретенного через отказ от благ тварного мира, обосновывалась ссылкой на авторитет Слова царя Соломона (Ек 1: 2, Прем 5: 15):

| | |
|--|--|
| [соломонъ... рече...] все соудета и соудетне соудетню боудн. (СБГ 10а 11–13 = Ек 1: 2) | [помышляваше слово преоудрааго соломона.] правьдници въ вѣкы живоуть и отъ га мьзда имъ. и строение имъ ѿ вышняаго. (СБГ 11а 16–19 = Прем 5: 15) |
|--|--|

Понимание любви как долга свидетельства о вечной жизни, требующего отдачи себя по образу жертвы Христа, задавалось авторитетом Слова самого Христа, семантически объединившего молитвы Бориса и Глеба (Лк 9: 24, 21: 12, 16, 19):

| Молитва Бориса | Молитва Глеба |
|---|--|
| [словеси бжии] ниже погоуенти дѣшо свою мене ради и монхъ словесъ обращети ю в животѣ вѣчнѣмъ съхранити ю. (СБГ 10 б 17–21 = Лк 9: 24) | [Г҃и мон вѣмъ тѣ рекъша къ своимъ апостоломъ] яко за нма мое мене ради вѣзложить на вы роуки. и предани боудете родѣмъ и другы. и братѣ брата предасть на смьрть. и оумьртвять вы мене моего ради. (СБГ 14в 30–32, 14г 1–4 = Лк 21: 12, 16) [и паки]. в тѣрпѣнии вашемъ сътажите дѣша ваша. (СБГ 14 г 4–6 = Лк 21: 19) |

Литургический опыт «прочтения» данных евангельских цитат задавал «прочтение» судеб Бориса и Глеба как судеб мучеников, страстотерпцев, претерпевших страдание во имя Христово (служба мученикам — Лк 21: 12–19 = «мѣнкъ боудю. гоу моюму; стго н блженнаго хва страсотърпыца» СБГ 10 б 13–15, 11 г 15): отказавшись во имя братской любви от власти как блага тварного мира, Борис и Глеб выбрали смерть как жертву, предполагавшую духовное воздаяние.

Раскрывая истоки святости Бориса и Глеба, агиограф раскрывал их как истоки любви: способность братьев к жертвенной любви объяснялась любовью к ним отца, князя Владимира. В свою очередь, духовная гибель Святополка объяснялась нелюбовью к нему князя Владимира, греховностью происхождения Святополка «от двою отцу». Исходная заданность любви как духовного подвига и исходная заданность нелюбви как духовного падения подтверждалась агиографом посредством введения Слов царя Соломона при характеристике Бориса и Святополка (Пр 4: 3 // Пр 1: 16):

| Борис | Святополк |
|---|---|
| <p>[о таковыихъ бо рече притъчникъ] снъ выхъ оцю послушьянвѣ н люеннмъ предъ лицемъ мѣре своего. (СБГ 9а 15–19 = Пр 4: 3)</p> | <p>[о таковыихъ бо рече прѣркъ] скорн соуть крѣвь пролиати бес правды. си бо обѣщаваютъ си крѣви н събраютъ себе злани. си хъ поутые соуть събрающе н незаконне нечистиюемъ свою дшю обиемлютъ. (СБГ 10 г 3–9 = Пр 1: 16, 18–19 = Ис 59: 7)</p> |

Исходная заданность любви // нелюбви определяла не только различие земных судеб братьев, но и память // забвение после смерти, что подтверждалось Словом царя Давида (Пс 9: 18, 33: 21, 36: 14–15):

| Борис и Глеб | Святополк |
|--|---|
| <p>[рече двѣдъ]. хранишь гъ всиа кости нхъ н ни едиана отъ нхъ съкроушитъ са. (СБГ 15 б 12–14 = Пс 33: 21)</p> | <p>[рече двѣдъ]. възвратитъ си грѣшници въ адъ н вси забывающии ба. (СБГ 15 а 9–11 = Пс 9: 18)</p> <p>[пакы]. ороужие звѣкоша грѣшници напрагоша лоукъ свон. заклати правыа сьрдцьма н ороужие нхъ вѣнидетъ въ срѣца. н лоуци нхъ съкроушатъ са. яко грѣшници погыбѣноуть. (СБГ 11–19 = Пс 36: 14–15)</p> |

Значение святости Бориса и Глеба определялось автором «Сказания...» в двух аспектах — духовном и политическом. Знаменуя начало русской святости, Борис и Глеб выступали как защитники-покровители русской земли, что и позволило агиографу ввести цитату из Нагорной проповеди, приравнивая тем самым подвиг Бориса и Глеба к апостольской миссии:

[рече гъ]. не можетъ градъ оукрыти ся врѣхоу горы стоа. ни свѣщѣ въжыгъше споудѣмъ покрывають. нъ на свѣтлѣ поставляють да свѣтитъ тьмьнымъ. (СБГ 16 в 17–23 = Мф 5: 14–15).

Расширение семантической сферы текста позволило агиографу передать идею «симфонии» церкви и государства, поскольку мученичество Бориса и Глеба стало вкладом в христианизацию политической жизни Руси: окончательная духовная победа Бориса и Глеба была достигнута тем что, Ярослав покарал убийцу Бориса и Глеба, защитил память братьев и установил новый политический порядок, основанный на христианской истине. Обращаясь к авторитету Слова царя Давида (Пс 111: 2, 36: 26, Пс 51: 3–7), агиограф создавал своеобразную «парадигму праведности», в которую включал не только святых Бориса и Глеба, но и Ярослава, и исключал Святополка:

| | |
|---|---|
| <p>Родъ правыхъ блгословить сѧ [рече проркѣ]. и сѣмѧ ихъ въ блгословенни боудеть. (СБГ 8624–27 = Пс 111: 2, 36: 26)</p> | <p>[и събысть сѧ реченое псалмопѣвцьемъ двѣдѣмъ]. Чѣто сѧ хвалиши сильныи о зълѣбѣ. безаконне въ сѣ днѣ. неправдоу оумысли языкъ твои. възлюбилъ еси зълѣбу паче блгостынѣ неправдоу неже глаголати правдоу. възлюбилъ еси всѧ глы потопныи и языкъ льствѣ. сего ради раздрѣшишь тѧ богъ до коньца. въстергнетъ тѧ и преселитъ тѧ отъ села твоего. и корень твои отъ земли живѣющихъ. (СБГ 15 а 25–32, 15 б 1–7 = Пс 51: 3–7)</p> |
|---|---|

Эксплицитные псалтырные цитаты реализовали принцип кольцевой композиции и определяли направление «движения» текста, заданное начальной цитатой, являвшейся «тематическим ключом», определявшим связь духовного и исторического уровней текста⁵.

«Со-бытие» в тексте «Сказания...» цитатного и нецитатного материала мотивировало необходимость языковой адаптации цитат.

Показательный пример грамматической адаптации, вызванной семантической переориентацией исходного библейского текста, де-

монстрировала цитата из 68 псалма, встроенная в монолог Святополка⁶. Пророческий псалом, в котором псалмопевец призывает на своих врагов справедливый гнев и кару Бога, проецируется на судьбу Святополка, что приводит к адаптации по грамматическим категориям наклонения, времени, лица и числа: формы повелительного наклонения заменяются формами изъявительного наклонения, формы прошедшего времени – формами настоящего-будущего времени, формы мн. числа – формами ед. числа, формы 3 лица – формами 1 лица:

«поношеннѣ поносащѣхъ (нападоша > нападоуть) на мѣ... и въ дво-рѣхъ (нхъ > монхъ) не боудеть живоущааго. зане ѿго же гъ порази > възлюби а (ти погнаша > азъ погнахъ) и къ болѣзнь извоу (приложиша > приложихъ). (приложн > приложю) къ безаконню оубо безаконнѣ. ... и съ правдыными не (напишють > напишю) ста. нъ (да потребаъ > потреблю ста) отъ книгъ живоущихъ» (СБГ 13 а 12–27 = Пс 68: 26–29).

Однако наряду с полной адаптацией в тексте «Сказания...» имела место неполная адаптация, вызывавшая «эффект ошибок».

Так, неполная адаптация была представлена в эксплицитной цитате из книги Притчей Соломона⁷:

| Паремейник: Притчи Соломона 4: 3 | Сказание о Борисе и Глебе |
|---|--|
| <p>снѣ бо быхъ азъ шцѣ послушанвѣ. и любннмъ сын прѣд лицемъ матере моа (Григоровичев паремейник = Захарьинский паремейник, любннмъ → възлюбленъ Лобковский паремейник)</p> | <p>[о таковыихъ бо рече притъчннкъ] снѣ быхъ оцю послушанвѣ и любннмъ прѣдъ лицемъ мтре своаеа. (СБГ, 9 а 16–19)</p> |

Повествовательное пространство книги Притчей Соломона организовано как пространство субъекта 1 лица, маркером которого выступают личное местоимение, притяжательное местоимение и глагольная (аористная) форма. При совмещении цитатного и нецитатного материала, требующего перехода повествования к субъекту 3 лица («о таковыихъ бо рече притъчннкъ»), осуществилась лексико-синтаксическая адаптация, проявившаяся в устранении местоимений, указывающих на само 1 лицо и на принадлежность к нему. Однако в цитате сохранилась глагольная форма 1 лица, т. е. не прошла грамматическая адаптация цитаты, что породило «эффект аграмматизма». Атомарный лингвистический анализ, не учитывающий действия механизма порождения текста, может привести к тому, что данный пример окажется среди фактов действительно неправильно упот-

ребленных глагольных форм, свидетельствующих о формально-семантической дистанции между книжным и некнижным языком, поскольку «писцы, не имея этих форм в своей речи, не могли последовательно правильно употреблять их на письме»⁸. Только комплексный подход дает возможность понять, что в данном случае перед исследователем возникает не проблема языка, а проблема текста, при порождении которого совмещались цитатное и нецитатное пространства. В этой связи актуальным оказывается исследование бытования данной цитаты в других текстах и в других списках данного текста. Так, выявленный в «Сказании...» механизм неполной адаптации представлен в той же цитате в Лаврентьевской летописи: под 1207 г. дается характеристика князя Константина Новгородского как избранного из рода правящей династии — «снъ быхъ послушливъ оцю и възлюбленъ пре^а лицъ^м мѣре своеѣ»⁹.

В свою очередь, списки «Сказания о Борисе и Глебе» XV–XVII вв., демонстрирующие «движение» цитаты во времени и пространстве, представляют помимо неполной адаптации, отсутствие адаптации или полную адаптацию:

— отсутствие адаптации:

снъ быхъ азъ послушливъ... (РГИА. Ф. 834. № 1301, сборник XV в., ГИМ. Син. № 637, сборник житий 1459 г., РГБ. Ф. 304. № 745, сборник житий нач. XV в., РГБ. Ф. 304. № 692, сборник житий XVI в., РГБ. Ф. 304. № 646, Минея четья XVI в., РНБ. Собр. Погодина № 857, сборник XV в., РНБ. Собр. Кирилло-Белозерск. Монастыря. № 19, сборник XV в., РГАДА. Ф. 196. № 1619, сборник житий XVI в., РГАДА. Ф. 187. № 26, сборник XVI–XVII в.)

— полная адаптация, приводящая к замене глагольной формы 1 лица глагольной формой 3 лица или причастной формой, снимающей оппозицию по лицу :

снъ бысть оцю послушливъ... (ГИМ. Син. № 182, Минея четья, XVI, ГИМ. Син. № 996, Минея четья, 1546, РНБ. Ф. 209. № 645, сборник XVI в., РГБ. Ф. 304. № 679, Минея четья 1632 г., РГБ. Ф. 209. № 590, сборник житий XVII в.)

снъ бывъ оцю послушливъ... (РГИА. Ф. 834. № 584, сборник XVI в., РНБ. Собр. Погодина. № 850, сборник XVI в., РГБ. Ф. 299. № 587, сборник житий XVII в.)

Хронологическая прикрепленность случаев полной адаптации к XVI–XVII вв. представляется неслучайной, поскольку в это время в

культурно-языковом пространстве Slavia Orthodoxa кардинальным образом изменилось отношение к книжному языку и подход к тексту, правильность которых связывалась уже не с традицией передачи, а с формальной обработанностью¹⁰. В этой связи библейские и богослужебные тексты подвергались языковой справе, а цитаты из этих текстов свободно изменяли свои грамматические характеристики для достижения грамматического тождества цитатного и нецитатного пространств.

Равным образом, механизм неполной адаптации демонстрирует имплицитная цитата из Евангелия от Луки, которая соотносилась с цитатой из утренней молитвы:

| Евангелие от Луки 1: 79 (молитва) | Сказание о Борисе и Глебе |
|--|--|
| <p>направити <i>ногы наша</i> на поуть мирнь (ГЕ 1144) исправи стопы наша на пъть мира</p> | <p>нже направи на правый поуть мирнь ногы ногы моя тещи къ тебе бесъблазна. (СБГ 12 а 29–32)</p> |

Повествовательное пространство Евангелия от Луки и молитвенной формулы организовано как пространство с плюральным субъектом, маркером которого является притяжательное местоимение¹¹. Дистрибутивное употребление плюральных форм существительного и согласованного с ним притяжательного местоимения в исходном тексте могло быть мотивировано типом контекста, актуализировавшего идею непарноорганизованного множества: ср. контексты — *оукланан же ногоу твою ѿ стьзь нхъ* = *ногы бо нхъ на злобоу рнцоууть* (Пр 1: 15–16 — Захарьинский паремейник) // *гн. ты ли мон оумываеши нозъ...* = *и нача оумывати нозъ оучеником...* (Ин 13: 6, 5 — Мстиславово Евангелие).

При встраивании цитаты в молитву Бориса, организованную как пространство с сингулярным субъектом, произошла лексическая адаптация, проявившаяся в замене притяжательного местоимения, указывающего на плюральный субъект, притяжательным местоимением, указывающим на сингулярный субъект. При этом грамматическая адаптация не прошла, т. е. сохранились формы дистрибутивного множественного по сематнтическому библейскому образцу, что привело к «эффекту нарушенного употребления» числовых форм, т. е. употребления формы мн. ч. в позиции дв. ч. Поскольку выводы о «падении» двойственного числа основываются на фактах нарушения правильности употребления форм двойственного числа и замене их формами множественного числа, сторонники ранней утраты двойственного числа иллюстрируют свою точку зрения именно данным примером «нарушенного употребления» числовых форм:

— «Формы свободного двойственного уже в XII в. имели множественное значение. Они утратили синтаксическое значение двойственности еще в доисторический период, поэтому уже в древнейших памятниках XII в. наблюдаются случаи замены их формами множественного числа: *слава ти хѣ... нже направи на правын путь мирны ногы моя тещи къ тебе* (Сказ. о Бор. и Гл., 18)»¹²;

— «Несмотря на устойчивость дв. ч. в грамматической системе книжно-литературного (церковнославянского) языка, случаи употребления форм мн. ч. при указании на двух лиц (или на два предмета) встречаются уже в самых ранних памятниках восточнославянской письменности... *Направи на правын путь мирны ногы ногы моя тещи къ тебе* (УС, л. 12 а) — притяжательное местоимение указывает на ноги одного (!) человека (должно быть дв. ч. *мирнѣ ногѣ мои*)»¹³;

— «Что же касается бытования форм двойственного числа в Сказании о Борисе и Глебе, помещенном в Успенском сборнике XII–XIII вв., то его характеризует то же сочетание правильного и неправильного, которое свойственно и другим памятникам книжно-славянского языка этого периода и допустимость (даже „нормативность“) которого свидетельствует о том, что для писцов и авторов противопоставление единичности — двойственности не является актуальным... *ногы моя тещи къ тебе бесъблазна*, Усп., 49, 12а 30... ошибки, возможность использования форм двойственного и множественного числа на правах вариантов, свидетельствует о том, что ко времени возникновения письменной традиции у восточных славян категория двойственного числа для них, вероятно, не была живой»¹⁴.

Однако выявленный «эффект нарушенного употребления» числовых форм не является релевантным для решения проблемы эволюции грамматической категории числа, так как свидетельствует лишь о сложности действия механизма встраивания цитаты в нецитатное пространство.

Списки «Сказания о Борисе и Глебе» демонстрируют помимо указанного варианта бытования цитаты с неполной адаптацией, вариант без адаптации цитаты: *направитъ ногы наша на путь мирнѣ* (РГБ. Ф. 152. № 85 (1071) XV, Ф. 310. № 558, XV–XVI, Ф. 354. № 63, XVI, Ф. 272. № 365, XVI, Ф. 256. № 435, XVI, ГИМ. Син. № 556, XVI). Возможность совмещения в молитве Бориса форм, указывающих на сингулярный и плюралный субъекты, была мотивирована самим жанром молитвы, актуализирующим идею единичности = единства верующих (см. также молитву Глеба: «*вижъ гѣи и соуди се бо готова естъ доуша моя предъ тобою гѣи. и тебе славоу въсылаемъ оцю и сноу и стомуоу доухоу нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ*» СБГ 14 г 6–12).

Что же касается грамматической категории числа, то именно она является содержательно отмеченной в «Сказании о Борисе и Глебе», поскольку «движение» текста от тварной разъединенности Бориса и Глеба (княжили в разных городах, были убиты в разных местах, в разное время и при разных обстоятельствах) к духовному единению, «благодатной парности», достигнутой подлинно христианской кончиной, осуществлялось посредством расширения употребления форм двойственного числа: «По мере приближения к финалу формы двойственного числа вводятся *crescendo*. Они охватывают разные классы слов (существительные, прилагательные, местоимения, глаголы), вводятся большими массами, становятся чем-то почти принудительным, своего рода заклинанием, магическим средством вызывания изобилия, двойного блага, и чем далее, тем более эта грамматическая «парность» увязывается с мотивом благого возрастания, почти неотделимого от святости и блаженства»¹⁵.

Именно формы двойственного числа, о правильности которых особо заботились писцы, маркируют

– обретение святости Борисом и Глебом (и принесе са жьртва чиста господевн и благовоьна и възиде въ несныхъ обители къ гоу. и оузырь же лаеьмааго си брата. възсприаста вьньца несныхъ него же и възжелѣста. и възрадоваста са радостню велнкою неиздреченьною. юже и оулоучиста СБГ 14 г 27–15 а 5);

– защиту святости, выраженную в обращении-заклинании Ярослава (аще и тѣлѣмь ошьла еста, нъ блгодатню жива еста и господевн предѣстонтя. и молитвою помозѣта ми СБГ 15 в 26–30),

– значение святости, явленное в похвале Борису и Глебу и молитве, обращенной к ним (вама бо дана бысть блгодать да молнтя за ны. вама бо далъ есть бѣ о насъ молаща са и ходатаа къ богоу за ны... СБГ 17 в 18–23).

Таким образом, приведенные примеры неполной грамматической адаптации свидетельствуют о необходимости проявлять осторожность в интерпретации языковых форм в письменных памятниках, демонстрирующих соединение цитатного и нецитатного пространств.

Примечания

- 1 Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.
- 2 Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 415.
- 3 Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., 2000.

- 4 Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Подготовил к печати Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 83, 116, 129.
- 5 *Picchio R.* The function of biblical thematic clues in the literary code of Slavia Orthodoxa // *Slavica Hierosolymitana*. 1977. Vol. 1. P. 1–31.
- 6 *Мюллер Л.* Значение Библии для христианства на Руси (от крещения до 1240 года) // *Славяноведение*. 1995. № 2. С. 5.
- 7 Григоровичев паримејник. Скопје, 1998.
- 8 Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 91.
- 9 Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей). М., 1997. Т. 1. С. 430.
- 10 *Живов В. М.* Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XVI–XVII вв. Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 106–121.
- 11 Историческая грамматика древнерусского языка. Т. II. Двойственное число. О. П. Жолобов, В. Б. Крысько. 2001. С. 97.
- 12 *Иорданский А. М.* История двойственного числа в русском языке. Владимир. 1960. С. 42.
- 13 *Хабургаев Г. А.* Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990. С. 117.
- 14 *Ремнева М. Л.* История русского литературного языка. М., 1995. С. 105, 107, 112.
- 15 *Топоров В. Н.* Святость и святые... С. 497.

О. С. Данилова
(Екатеринбург)

«Цивилизация духа и души»: русские глазами французского славянофила

На протяжении всей истории Россия пленяла европейцев как своим географическим и политическим весом, так и своей экзотикой и загадочностью обитателей. В середине XIX — начале XX вв. «свет с востока» озарил многих европейцев и в частности французов — политическая и социально-экономическая ситуация в Европе лишь подхлестнула интерес к изучению загадки «русской азиатчины». А. Леруа-Болье в письме к Гальперину-Кашинскому так объясняет мотивы, побудившие его взяться за изучение русской темы: «Печальные события 1870–1871 гг. придали России еще больший интерес в наших глазах... Мое внимание притягивалось к востоку этой огромной империи, походившей на наших картах на terra incognita». Другой ученый К. Куррьер писал: «Со времени последней войны в общественном мнении Франции совершилась резкая перемена в пользу России. Открыли, что она стоит того, чтобы ее изучать, и взялись за дело»¹.

В 1892 г. вышла обстоятельная монография историка П. В. Безобразова «О сношениях России с Францией», где были подробно освещены основные аспекты франко-русских отношений XIX столетия и где автор явно указывает, что «редкий француз не отзывался о Российской империи отрицательно». Он заключает: «Из всего ясно, что франко-русские симпатии были односторонние, т. е. русские увлекались Францией и французской культурой, а французы знали Россию очень плохо, а то, что они о нас знали, в большинстве случаев не представлялось им симпатичным»². Однако долголетняя франко-германская вражда и необходимость ее разрешения коренным образом меняет ситуацию. После почти векового затишья Россия вторгается в сознание французской интеллигенции, да и среднего француза вообще, уже не только как могучая военная держава, присутствие которой на европейской сцене неоспоримо и с которой надо было

считаться. При этом Россия напоминает о себе там, где еще совсем недавно это казалось неожиданным и почти невероятным³.

Русский миф (загадочность силы русского духа) завладел умами многих вольнодумных иностранцев: «Россию не хотели воспринимать на слух, туда ездили»⁴. И если в середине XIX в. интерес больше наблюдался к славянскому миру как к целому, и был связан с распространением идей панславизма во Франции⁵, то с конца столетия намечается его сосредоточение на России в частности. Так, в декрете об открытии кафедры Коллеж де Франс в 1840 г., было определено что, «крайне важно постигнуть внутреннюю суть славянских народов, будущее которых неизвестно, но которые не останутся чуждыми нашей судьбе»⁶; а уже при открытии в 1876 г. кафедры русского языка в Институте восточных языков министр Г. Депре предупреждает профессора Л. Леже, что следует остерегаться преподавания «излишнего панславизма»⁷.

Результатами такого неподдельного интереса стали диаметрально противоположные мнения: русофобский и постепенно вытеснивший его — русофильский⁸; различие мнений заключалось в подходе к толкованию и пониманию русской ментальности и определялось степенью глубины ее изучения. И если первый подход, возникший с подачи маркиза А. де Кюстина⁹, не являлся неким целостным методом изучения русского духа и духовного склада, образа мышления и поведения азиатов, то второй¹⁰ — отнюдь. С некоторыми оговорками, используя современный понятийный аппарат, в частности школы «Анналов», его можно отнести к «ментальному исследованию».

Французские славянофилы, как исследователи русской ментальности, видели в ней связующее звено между духовной жизнью и социальными процессами. Изучая ментальность и поведение русского человека (его образ мышления, поведения, духовный склад), они пытались подойти к целостному пониманию исторического как прошлого, так и настоящего. Национальные мировоззрение и идеи не рассматривались ими изолированно от социальной среды, в которой (и которой) они были порождены, распространены и которая давала им разносторонние выражения и употребления.

Представленный в данной работе перевод текста из дневников¹¹ Пьера Паскаля — это попытка автора реконструировать синтез социального и ментального в коллективной психологии «русских» первой трети XX в. Новизну и необычность постижению «русского характера» придает тот факт, что автором этого своего рода микроисследования является француз-католик, Пьер (Петр Карлович) Паскаль (1890–1983). Воспитанный в духе интеллектуальных течений «французского славянофильства»¹² и «католического возрождения»¹³,

хронологически одновременно испытавших подъем на рубеже XIX–XX вв.; он также был сторонником консервативной и экуменической¹⁴ идей, последователем исторической антропологии.

На время Пьера Паскаля пришелся момент второго открытия России. Он, как и его учителя, считал очевидным кризис западного взгляда на Россию, заключающийся в том, что бедные понятия и трактовки не отражают на самом деле яркой, богатой и сложной действительности. Индивидуализм и буржуазность Запада подвели молодого Паскаля к знамени будущего: мир, благодаря особой благодати избранничества, дарованной России, сможет найти спасение через смиренную чистоту, скрытую в глубине сердца. В этой стране он, как и многие в то время, увидел избранницу истории, ведь она великая и славная уже только благодаря своему глубокому и истинному смирению. Паскаль полюбил Россию как страну, сохранившую дух соборности, облеченный в форму которой католицизм может вернуть свое призвание. Святая Русь, цивилизация духа и души¹⁵ — вот идеалы француза-католика. Святая Русь для него «это та сторона души русского народа, которую он воспринимает Христа и Церковь и которая по отношению ко всей народной жизни есть свет, светящийся во тьме»¹⁶.

Во многом именно это и предопределило для Пьера Паскаля постановку и дальнейшую попытку своеобразного прочтения проблемы загадочности русской души. Русская ментальность явилась предметом непосредственного изучения русофильски настроенного француза, приехавшего в Россию в 1916 г.¹⁷ и имеющего возможность на практике разгадать загадку для европейца. Предметом исследования П. Паскаля, изначально не научного, но позднее в такое оформившегося¹⁸, выступает «русский» (причем именно русский крестьянин) во всем богатстве своих жизненных проявлений.

Пьер Паскаль до конца своих дней оставался на позиции любви, веры и уважения к русскому крестьянству, которое в его глазах являлось «подлинной нацией». Намного позднее¹⁹, уже в 1969 г. в интервью со своим учеником Жоржем Нива, он пояснит свою позицию: «Я был глубоко поражен *человечностью* России. Вероятно, это слово наилучшим образом передает совокупность достоинств, которые я увидел в русских: чрезвычайная легкость и откровенность отношений, даже с иностранцами, тогда как во Франции я встречался со множеством предубеждений <...> В России нет нотариусов. То есть теоретически их не может не быть, но они где-то прячутся, их не видно. Русские не занимаются расчетами. Не знаю, плохо это или хорошо, но совершенно ясно, что такое может существовать лишь в стране, где есть обмен добрыми чувствами, великодушием. В России

это так — там можно быть непредусмотрительным, потому что знаешь: другие тебе помогут»²⁰.

Пьер Паскаль уникален тем, что смог постичь «самое трудное для изучающего историю чужой страны — за общественным строем, легко поддающимся описанию и анализу он смог обнаружить общество с его особой психологией, с его внутренней логикой, со всем тем, что согласует его с самим собой и приводит в недоумение иностранца»²¹. Он, проживший в советской России 16 лет, а потому ставший скорее русским интеллигентом, чем французским интеллектуалом, не повторил (да и не мог бы сделать этого) ошибки А. де Кюстина и является собой образчик истинного славянофила. Может быть поэтому, в апреле 1917 г. на одном из дружественных и свободолобивых собраний, когда в очередной раз в пятницу вечером дома у Бердяева собрались те, кому небезразлична судьба России (там присутствовал и Паскаль с Д. Мальфитано²²), Николай Бердяев сказал, что Паскаль более русский, чем он²³.

Протокол собрания во Французском институте в Петрограде от 27 октября 1917 года

ПРИСУТСТВУЮТ:

АВЕНАР ЭТЬЕН (Avenard Etienne), художник по керамике
ШЕЙНИС ЛЕВ (Cheinisse Leon), доктор медицины и права
ДУБЯНСКАЯ МАРИЯ (Doubianskaia Marie), доктор медицины
ФИШЕЛЬ АЛЬФРЕД (Fichelle Alfred), лектор Французского института
КРУКЕР ЭЛИ (Krouker Elie), студент факультета права
МАЛЬФИТАНО ДЖОВАННИ (Malfitano Giovanni), руководитель
лаборатории института Пастера в Париже
МЕТАЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ (Metalnikov Serge), директор биологической
лаборатории в школе Лесгафта
МОШКОВА АННА (Mochkov Anna), химик института путей сообщения
ПАСКАЛЬ ПЬЕР (Pascal Pierre), преподаватель словесности Парижского университета
САКЕТТИ АЛЕКСАНДР (Sacchetti Alexandre), приват-доцент Петроградского университета
СЕЛИБЕР ГРИГОРИЙ (Seliber Gregoire), бактериолог Петроградского института экспериментальной медицины
ВИГЕР ПЬЕР (Viguiet Pierre), лектор Французского института
Г-Н ПАТУЙЕ (M. Patouillet), директор Французского института, председательствующий

Зачитывают краткий итог предыдущего собрания и обещают, что более подробное резюме будет разослано тем, кто принимал участие в дискуссии, а для того, чтобы их мысль была верно изложена, просят высказаться добровольно. Мальфитано настаивает на этих резюме; они позволяют обеспечить непрерывность и единство наших усилий, дают возможность воспользоваться ими ДРУГИМ, в особенности НАШИМ ПАРИЖСКИМ ДРУЗЬЯМ.

Г-н Паскаль предложил обсудить тему, которую он выбрал «Русская душа глазами латинянина».

Он начинает с утверждения, что среди русских существует духовное единение; оно становится более очевидным, если из общей массы исключить проявляющийся в ней слой интеллектуалов, душа которых отличается элементами, приобретенным извне. События Революции могут быть лучше объяснены, только принимая во внимание данное единство. Ничего не побуждает к единению лучше, чем народные песни, которые распевает рота солдат, маршируя по улицам.

Это единение образовано тремя характерными чертами, которые так прекрасно согласуются: **СОЛИДАРНОСТЬ (коллективизм) — НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (вольность) — МАКСИМАЛИЗМ (стремление к абсолюту)**. Первая является основной, вторая представляет в этом единстве негативную сторону, а последняя — позитивную. По мнению Паскаля, каждая из этих трех характерных черт имеет явные проявления в повседневной жизни. Итак, по порядку:

СОЛИДАРНОСТЬ

- «Соборы» как образ множественности святых
- непрерывные вереницы повозок на улицах Петрограда
- самоорганизация людей в очередях
- голосование «чохом» целыми полками
- вкус к артелям, кооперативам и их объединениям
- обращения: «Товарищ», «Вперед, православные!»
- в философии и религии: теория «соборности» или союза всех верующих
- чувство коллективной ответственности как в момент отступления в 1915 году

Недостаток гордости является следствием этого коллективного сознания. Русский смирен; подозрителен по отношению к выскочкам — русский народ демократичен; власть ему была навязана как крышка.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

- отвращение к строгому соблюдению правил и принуждению
- важность отмены обязательной отдачи воинской чести

- русский не делает карьеры; он одновременно берется за многое и меняет профессии
- беспечность к бережливости и отвращение к расчету
- пренебрежение логикой
- презрение к тому, что является традиционным
- склонность к странствованию и бродяжничеству

Вследствие такого характера, Русский подчиняется не столько закону, сколько влиянию того, кому удается завоевать его доверие.

- сентиментальный патриотизм, без оттенка национализма
- религиозность, лишённая догматизма
- интуитивная, без четких правил мораль
- легкость разводов
- трезвость, прерываемая пьянством

Все эти проявления объединяет слово воля («volia»), которое не означает «volonte».

МАКСИМАЛИЗМ

- потребность по любому вопросу восходить к сотворению мира
- полное воплощение принципов (например, толстовство)
- отвращение к смертной казни и войне
- непонимание разницы между моралью индивидуальной и моралью Государства
- на Западе следуют правилу «своя рубашка ближе к телу», Русский же отдаст свою душу ради спасения других
- большевизм в политике
- в философии — малое значение, придаваемое объективной реальности
- в практической жизни — средство отвергается, как только в нем обнаруживается малейшее несовершенство

Следствием такого характера являются меланхолия и склонность к отчаянию; моральная капитуляция; будучи не в силах достичь абсолютного блага, Русский погружается в абсолютное зло.

* * *

В общей сложности эти три характерные черты обуславливают иерархию ценностей, в которой душа преобладает над разумом и силой воли. Это объясняет, почему русский народ может поддаться иностранным влияниям, не позволяя им глубоко изменить себя. Петр Великий навязал ему иноземный порядок, который мог длить-

ся веками, но оставил нетронутой прежнюю душу. Понятна та форма лени Русских, которая является не наслаждением и отдыхом, а смирением перед бессилием и бесполезностью усилий.

В покорности и бездействии Русский не теряет смысла того, чего он хочет, и никакое влияние из вне не разрушит его глубокой воли. Разум подчинен душе, и это совсем не как на Западе, где принято считать, что в человеке более важен рассудок, чем доброта.

Принцип непротиворечивости теряет свои права в русской мысли, которая терпима к любому мнению и скептически по отношению к рационализму. Она охотно соглашается с тем, что истина имеет две стороны. Отсутствие предубеждений, а так же частенько и способности различать добро и зло. Принципу причинности Русекий предпочитает принцип целесообразности, который он применяет с тонкостью, достигая, таким образом, истины более глубокие, чем истины рационализма. Так, в действительности, ответственность за войну лежит на всех, и когда говорят, что это вина капитализма, то подразумевают — материализма. Именно Русский питает большее расположение к душевным качествам, нежели разуму. И доказательство тому нежность, которой они окружают блаженных, душевно больных, называя их при этом безгрешными.

Русский народ добр к ближнему. У него ненависть не привилась. Он снисходителен к беспомощному виновному. Он предается бесознательно чувству сострадания и чувству справедливости. Этим и объясняются братания на фронте. Русский народ самый проникнутый христианством и в особенности его соблазняют социалистические принципы. Именно он больше других сознает человеческую слабость и в особенности слабость индивида.

ОБСУЖДЕНИЕ

Доктор СУЛИМА в восторге от услышанного из уст Француза столь тонкого и точного понимания русской души. Однако стоит заметить, что русским не то, чтобы недостает индивидуальности, а наоборот задаться вопросом, не слишком ли чрезмерны проявления в современной жизни этой самой индивидуальности. Ему ответят, что индивидуальность и коллективизм (как первое, так и второе) преувеличены в результате несовершенности индивидуальности и отсутствия отчетливой грани между личностью и обществом.

Г-н САКЕТТИ сожалеет, что в своем весьма верном докладе отстранился от анализа интеллектуалов, которые выделяются, отличаясь, из массы, потому что на самом деле именно они являют собой эманацию массы и более сильно выражают ее качества. Если принимать во внимание интеллектуалов, можно найти мотивы, объясняю-

щие некоторые противоречия, например, между духом индивидуальности и духом коллективизма, которые оба встречаются у русского народа.

Г-н СЕЛИБЕР находит, что характеристики, данные г-ном Паскалем, приложимы к любому примитивному народу.

Д-р ШЕЙНИС в основном будучи согласным с г-ном Паскалем, признает, что существуют факты, которые противоречат некоторым из его утверждений. Нельзя говорить, что Русский не питает уважения к личному авторитету, так как наоборот некоторые личности, такие как Толстой, Ленин, Плеханов, играют большую роль в менталитете народа и деятельность партий свидетельствует о влиянии некоторых личностей. Тем более нельзя утверждать, что Русский не уважает закон, но необходимо, чтобы этот закон удовлетворял его чувство справедливости.

М-м ДУБЯНСКАЯ полагает, что г-н Паскаль проявляет симпатию по отношению к русскому народу, которая доходит до того, что он приукрашивает худшие черты его характера.

М-ль МОШКОВА оспаривает положение, что у русских вечно слабая воля. Напротив, весьма часто проявляют себя слишком упорными.

Д-р СУЛИМА разделяет эту же точку зрения и напоминает о том, сколько русских посвятили всю свою жизнь одной идее и проявили силу воли.

Г-н САКЕТТИ подчеркивает, что г-н Паскаль говорил не о том, что русским не хватает именно воли, а о том, что воля отличается от того, что выражает «воля», которое означает скорее сильное желание, слишком спонтанную волю, которая не терпит притеснения своих устремлений.

Г-н КРУКЕР согласен с г-ном Паскалем, за исключением нескольких пунктов. Он напоминает историю Бабушки* по случаю ее выступления перед моряками Кронштадта. Последние только из чувства противоречия соглашались с ней по поводу красоты оскорбительных извинений, находя напротив справедливой их злобу по отношению к офицерам. Что касается презрения к традициям, Крукер не допускает этого у русских и приводит факт, который произошел в Совете крестьянских депутатов в момент поражения под Тернополем, когда решили туда послать самых старых депутатов с сединами в бороде чтобы убедить солдат вести себя достойно. Он так же не согласен с точкой зрения, которая приписывает русским отсутствие воли, и цитирует в качестве примера непрерывность усилий Тол-

* «Бабушка революции»: Е. К. Брешко-Брешковская, высокоцитируемая социалист-революционер.

стого, Брешковской, Чайковского, Мечникова. Тех, которые дали неоднократные подтверждения благородству, сопротивлению их окружению, то, что противоречит заявлению Паскаля о том, что русская душа легко подчиняется.

Г-н ВИГЕР думает, что Паскаль избежал бы некоторых противоречий, которые ему вменяют, если бы не обошел вниманием людей, которые выделяются из серой массы, как он выражается. На самом деле, по мнению г-на Вигера, русские интеллектуалы более русские люди, чем крестьяне, и утонченность образования делает еще очевиднее национальные достоинства и недостатки. Правильно говорят, что у русских не воля, а скорее желания, потому что истинная воля — это воля, которая заставляет себя следовать методу и напряжение которой неослабно, тогда, как порыв русских зачастую разбивается о первое же препятствие.

Доказательство тому, в том значении, которое приобрели в русской национальной жизни немецкие и еврейские инородцы. Последние благодаря своей методичности и непрерывной деятельности образуют некую связь, и которые сохраняют и поддерживают целостность русской жизни.

Г-н МАЛЬФИТАНО отмечает тот факт, что более серьезное разногласие заключается в двух различных подходах в понимании воли. По его мнению, русский народ наделен очень сильной волей, которая опирается на веру, и которая никогда не позволяет себе разбиться о препятствия, хотя часто, в сущности, этой волей движет не разум и она не умеет самоорганизовываться в практической деятельности. Существует мнение, что русские твердо верят в то, чего они хотят, но подчас сами не знают, чего же они хотят.

Наконец, думается, что если бы мы заблаговременно договорились о значении, которое придавать основным словам, используемым этим вечером, то различные мнения были бы завершёнными и лучше согласованными с пониманием русской души, которое изложил г-н Паскаль и с которым мы в общих чертах все согласны.

(Pascal Pierre Mon journal de Russie (à la mission militaire française) 1916–1918. Lauzanne, 1975. P. 233–237).

Примечания

- ¹ Цит. по: Манфред А.З. Образование русско-французского союза. М., 1975. С. 35.
- ² Цит. по: Буянов М. Маркиз против империи или путешествия Кюстина, Бальзака, Дюма в Россию. М., 1990. С. 129.

- 3 Например, на улицах Парижа горели электрические фонари, которые назывались в просторечии «jabloskoff», это непривычное для французского слуха название, связанное с именем русского изобретателя Яблочкова, так прочно вошло в разговорный обиход, что позднее с улицы перешло на сцену театра. Так, Парижская Академия наук, присуждая в 1888 г. премию Бордена за лучшую математическую работу, постановила дать ее первой женщине-математику, которой и оказалась С. Ковалевская, в этом же году И. Мечников становится одним из руководителей лаборатории Института Пастера в Париже и пр.
- 4 Шлегель К. Немецкий образ России в первой трети XX столетия: попытка реконструкции // Вопросы философии. 1994. № 5. С. 51.
- 5 Подробнее см.: Бернар А. Несколько особенностей панславизма во Франции // Славяноведение. 1998. № 5. С. 38–42.
- 6 Цит. по: Cadot M. La Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856). Paris, 1967. P. 477.
- 7 Léger L. Souvenirs d'un slavophile. Paris, 1905. P. 47.
- 8 Самыми видными представителями русофильства стали французские славянофилы. Подробнее см.: Данилова О. С. Французские «славянофилы» конца XIX – начала XX века // Славянский альманах 2001. М., 2002. С. 217–233.
- 9 Астольф де Кюстин (1790–1857), автор книги «Николаевская Россия в 1839 году», положившей начало русофобскому подходу.
- 10 Одним из основоположников «французского славянофильства» считается Анатолий Леруа-Болье (1842–1912). С 1869 г. он публиковался на страницах журнала «Revue des Deux Mondes», автор известного много-томника «Царская империя и русские», основатель «Комитета защиты и социального прогресса» (1895 г.), был лично знаком с П. Столыпиным и с Ю. Самариным. В 1886 г. для него В. Соловьев написал работу «Философия Вселенской церкви».
- 11 «Русский дневник» П. Паскаля состоит из четырех объемных томов, изданных усилиями его учеников Ж. Нивы и Ж. Катто во Франции–Швейцарии после 1975 г., хронологически охватывающих период с 1916 по 1928 гг. Пятый том, в котором описываются события до 1933 г., находится в стадии дешифровки.
- 12 Зарождение и расцвет «французского славянофильства» совпадает с периодом сближения России и Франции и заключением между ними в 1892 г. военно-политического союза. Начавшись с русофильски настроенных научных обществ и периодических изданий, оно явилось логическим ответом на русофобские настроения и на рубеже XIX–XX вв. оформилось в направление интеллектуальной мысли Франции. Его видными представителями были: А. Леруа-Болье, Ф. Порталь, Ш. Кене, А. Грасье, П. Буайе, Ж. Легра, А. Лирондель, А. Мазон, П. Паскаль.
- 13 Религиозно-нравственное течение конца XIX – начала XX в., оживлявшее мотивы янсенизма и галликанства, для которого были характерны искания в русле антикапитализма и христианского социализма. «Като-

- лическое возрождение» стало интеллектуальной реакцией на «повторную революцию» и выразилось в волне новообращения в католичество целого ряда представителей интеллектуальной элиты Франции: Л. Блуа, П. Верлен, Ш. Гюисманс, Ж. Маритен, Ш. Пеги и др.
- 14 В духовном созревании П. Паскаля важнейшую роль сыграл аббат Ф. Порталь — член Конгрегации лазаристов, основатель в Париже на улице Гренель Центра по изучению России и перспектив соединения церквей.
 - 15 *Pascal P. Mon journal de Russie (à la mission militaire française) 1916–1918.* Lauzanne, 1975. P. 178.
 - 16 Христианский социализм (С. Н. Булгаков): Споры о судьбах России. Новосибирск, 1991. С. 191.
 - 17 Впервые П. Паскаль в Россию приезжает в 1910 г. Он посещает Киев, лицей в Нежине, окрестности Полтавы, крестьянскую коммуну в Воздвиженском. Его маршрут определил аббат Ш. Кене. В 1911 г. он работает в Петербурге над дипломным проектом «Жозеф де Местр и Россия», общается с А. Мазоном и А. Лиронделлем под эгидой Французского Института. В апреле 1916 г. Паскаль приезжает в Россию в составе Французской военной миссии, и уже только в марте 1933 г. он покинет СССР.
 - 18 К государственной службе Паскаль был допущен только спустя 4 года. В 1936 г. он получил назначение в Лилль, в 1937 — в Школу восточных языков в Париже. В 1938 г. он защищает две докторские диссертации, посвященные протопопу Аввакуму. С 1950 г. и до выхода на пенсию работает в Сорбонне на кафедре русского языка и литературы. Его исследовательские работы можно разделить на несколько групп: основная — посвящена истории религии в России и во Франции XVII в.; вторая — истории, как Российской Империи, так и советского периода; третья — истории литературы; всем им сопутствовала переводческая деятельность. Полный список работ Паскаля см.: *Bibliographie des ouvrages et articles de P. Pascal // Revues des études slaves.* Paris, 1982. Т. 54. P. 255–270.
 - 19 Паскаль долгое время не комментировал свою жизнь в СССР. Только после событий 1968 г. в Университете в Нантере он начал общаться с прессой. Так он вступил на путь известности гораздо более громкой, чем слава переводчика и слависта. Данное интервью до сих пор не опубликовано.
 - 20 *Niva G. Rossie-Europe. La fine de shisme. Études littéraires et politiques.* Lauzanne, 1993. P. 277.
 - 21 *Tapié V.-L. Les cours du vendredi // Revues des études slaves.* Paris, 1961. P. 195.
 - 22 Джованни Мальфитано, руководитель лаборатории института Пастера в Париже; друг Паскаля, один из присутствующих на собрании во Французском институте 27 октября 1917 г.
 - 23 *Pascal P. Mon journal de Russie 1916–1918.* P. 270.

Сербский период

О русской эмиграции написано много. Здесь и сами мемуары известных личностей, и научные труды, посвященные ее «миссии», — отсутствует только повседневность, то, что определяет жизнь самого человека. Если говорить кратко: есть герой, но нет обывателя, нет среды. Мы уже много знаем о политических организациях и пристрастиях русской эмиграции, гораздо больше — о русской культуре, ее деятелях в странах русского рассеяния. Есть некоторое представление об условиях жизни в эмиграции. Имеются многочисленные свидетельства о вкладе русских беженцев в культуру, науку, просвещение, экономику, военное дело тех стран, где они оседали. Но, повторяю, каждый из авторов в определенной степени, но все же стремится к некоей героизации личности, своей, если речь идет о мемуарах, другой, которая находится в центре научного исследования.

Предлагаемые воспоминания имеют иной характер. Их автор Алексей Алексеевич Заварин в своем предисловии писал о себе, что он «никогда не был героем, а всегда оставался этим серым обывателем, всегда был этой маленькой незначительной пылинкой в бушующем море». Он «научился любить людей, простых, голодных, бесправных, это человеческое быдло, часто презираемое, но зато лишенное всякой гордости и готовое разделить с вами последнюю корку хлеба».

Именно мир обывателя, которому посвятил в свое время немало проникновенных строк В. В. Розанов, переживания, впечатления маленького человека — все это и находится в центре безыскусного повествования А. А. Заварина, одного из обитателей по его точному определению «эмигрантского архипелага».

С его рукописью, выдержки из которой печатаются здесь, меня познакомил русский человек из Сан-Франциско Александр Николаевич Мирошниченко, получивший от ее автора любезное согласие на публикацию некоторых страниц текста.

Несколько слов об Алексее Алексеевиче Заварине. Он родился в 1926 г. в г. Сомборе (Югославия) в русской семье. Достаточно упомянуть, что его мама была правнучкой актера Михаила Семеновича Щепкина. В его роду был и эстляндец фон Фрейман, защищавший честь России при Бородине. Свое детство и отрочество, юность автор провел в Королевстве Югославия, в основном в Нише, где обосновалась семья. Потом были другие страны — Германия, США, откуда он

ушел на Корейский фронт. Работа инженером. Различные житейские заботы и мелочи. Завершу свое краткое вступление его же словами: «Как пойдет жизнь дальше — покрыто мраком неизвестности. С каждым годом я делаюсь на год старше. Но с каждым годом, мне кажется, я все больше срастаюсь с Россией, ее все лучше понимаю и все крепче люблю. И Россия меня тянет к себе все крепче и крепче». Эта ностальгия, — где открыто, где потаенно — присутствует на всех страницах его примечательной по своей любви к России книги без героев.

В. И. Косик (Москва)

...В первый год в городе Ниш мы обосновались, познакомились с местной русской колонией и приобрели более близких знакомых и друзей. Вся наша частная жизнь проходила, главным образом, среди русских. В городе было две русских библиотеки, были русские врачи, русские священники и в соборе пел русский казачий хор... У нас с братом появились друзья среди русских мальчиков нашего возраста. Были организации русских скаутов и русских соколов. Были и другие русские организации, названия которых я теперь не помню. Каждый год колония устраивала на Рождество общую елку для детей... Вспоминается также, как детский хор пел: «А ступенька да ступенька, будет лесенка, // А словечко да словечко, будет песенка...»

Потом все дети брались за руки и водили хоровод. Приходили и калмыцкие дети из калмыцкой колонии. Иногда приезжал и сербский владыка Досифей, большой друг русских. Он раздавал детям нательные крестики. Дети получали угощение и подарки, обыкновенно русские книжки. Владыка Досифей закончил свою жизнь мучеником. Его за время второй мировой войны замучили до смерти хорватские усташи. Можно только сказать: «Святой мучениче, Досифее, моли Бога о нас!»...

Говоря об отношении русских к Сербской Церкви, должен сказать, что за все время проживания в Югославии я ничего не знал о существовании Русской Зарубежной Церкви. Крестили меня и брата сербские священники. Все русское духовенство в Югославии подчинялось сербскому Патриарху Варнаве. В городе Нише старшим священником был сербский протоиерей Павле. По канонам Православной Церкви, в стране, где есть уже Православная Церковь, не может быть другая Православная церковь. О существовании Русской зарубежной церкви я узнал гораздо позже, в 1946 году, после второй мировой войны, будучи в Германии, в русском беженском лагере... В школе я все-таки выделялся из-за моего русского происхождения. Другие дети меня не называли по имени — «Алексей», а всегда звали по на-

циональности — «Русский». Я никогда не отрекался от своей русской национальности, но такое отношение меня как-то лишало индивидуальности как человека. Наш учитель преподавал все предметы кроме Закона Божьего. Закон Божий, преподавал сербский священник. Был это еще совсем молодой священник, наверное недавно окончивший богословский факультет. Отношение к ученикам у него было иное, чем у других учителей. Он никого не бил, не ругал и не наказывал. Но порядка у него было всегда гораздо больше, и все дети слушали его с большим вниманием. Он относился к детям больше с любовью, с вниманием и уважением. С ним не было противостояния — мы и учитель. А скорее мы все были своими. Не было чувства насилия, он скорее был наш защитник. Он был один из нового поколения образованных сербских священников. Жалко, что тогда было еще мало таких новых учителей. Вообще у меня осталось большое уважение и любовь к Сербской Церкви, Церкви Святого Саввы...

Но были в школе и неприятные моменты. Я был в классе единственным русским, и ко мне ребята иногда приставали и надо мной издевались. Но у меня в основной школе была защита. Это были цыгане. В Нише было много оседлых цыган... Цыгане хорошо относились к русским, наверное потому, что когда русские брали цыган на работу, то относились к ним с уважением, по-человечески. В школе цыгане учились плохо, всегда повторяли классы и поэтому многие из них были старше остальных учеников. Так у нас в классе был здоровенный цыганский парень, Драги Романович. Если он замечал, что ко мне ребята приставали, то он молча подходил, драл их за уши, потом давал им пощечины и молча уходил. Он мне так и сказал, что, если кто-либо будет меня обижать, то надо только ему сказать. Почему он так поступал, я не знаю. От этого ему не было никакой личной выгоды...

Когда я был во втором классе, девятого октября 1934 года произошла трагедия для сербского народа. Во Франции, в городе Марселе, был убит сербский король, король Югославии, Александр Карагеоргиевич. Это была большая потеря для сербов, так же, как и для русских. Король Александр воспитывался в России и был большим другом русских. Это был король, который был по настоящему любим всем народом, настоящий вождь сербского народа. Я в этот день утром пошел в школу. Тогда наш класс вела учительница Александра Попович, жена нашего первого учителя. Она вошла в класс, заливаясь слезами, и только могла произнести: «Убили су Краля», т. е. «убили короля». После этого все ученики пошли домой. Когда я пришел домой, то около калитки застал бабушку, которая тоже вся в слезах вышивала над калиткой черный флаг... У нас дома все плакали, как

будто умер кто-то из своих. На всех домах города были выставлены черные флаги. Женщины надевали траур, у мужчин на рукавах были черные ленты. Народ плакал. К вечеру все фонари в городе были покрыты черной материей. Все газеты выходили с черным околышем. Вся Сербия оплакивала своего короля... Смотря на теперешний мир, думается, как мало среди мировых правителей осталось людей и как много людишек. Лукавых, жадных и фальшивых политиков. Я привожу первый и последний куплеты тогдашнего югославского гимна, т. е. сербского национального гимна:

Боже правде, Ти што спасе, од пропасти досад нас,
Чуй и отсад наше гласе, и от сад нам буди спас.

Мочном руком штити, брани, нашег краля и наш род,
Александра Боже спаси, моли Ти се сав народ.

Попробую перевести на русский язык.

Боже праведный, Ты, который спасал нас доньше от погибели,
Услыши и ныне наши голоса, и ныне будь нашим спасением.

Мощной рукою защиты, сохрани нашего короля и наш род,
Боже спаси Александра, Тебе молится весь народ.

Где в мире можно еще услышать национальный гимн с такими словами?...

Теперь я опишу свои воспоминания о русской колонии в городе Нише, и о людях, которые мне особенно запомнились. Город Ниш насчитывал тогда между тридцатью и сорока тысячами жителей. Русских семейств, я думаю, было несколько сот. Русские жили, как и всюду, двойной жизнью — своей внутренней русской и внешней сербской. История русской белой эмиграции уже хорошо документирована. Мы были частью этой эмиграции. Но одна принадлежность к ней не дает полную характеристику ни отдельных лиц, ни целых семейств, принадлежащих к ней. По моим наблюдениям, помимо ее резко антибольшевистских политических взглядов, она объединяла весьма разнообразных по своему происхождению и духовному наследству людей...

Однажды в наш город пришел кинофильм «Россия». Этот фильм был, кажется, снят русскими эмигрантами. Его показывали в местном кино, и местные школы водили учеников его смотреть. Там показывали сцены из русской революции и первые годы советской власти. Это был документальный фильм против большевиков. Не знаю,

как были засняты и доставлены все фильмы. Правда, тогда в Россию еще проникали агенты внутренней линии, т. е. разведки, организации русской белой армии за границей — РОВС... За всю мою жизнь в Югославии я видел только один кинофильм из России. Было это, когда я учился в гимназии. Этот фильм был «Минин и Пожарский». На меня этот фильм произвел большое впечатление. Было странно слушать, как на экране говорили по-русски. Русские эмигранты в разных странах мира различались по своему происхождению. Так в Югославии осели главным образом военные, т. е. остатки белой армии юга России. Центр югославской эмиграции был в Белграде, столице Югославии. Мы в городе Нише были провинцией. Но и у нас была довольно крепкая и хорошо организованная колония. Среди русских у нас было много знакомых, и к нам часто заходили. В городе жила одна женщина со своим приемным сыном, Рудановская. Была она уже немолодая. В городе также жил ее брат, художник Рудановский со своей женой и приемной дочерью Таней. Все они, как и наши, жили некоторое время в палатках, в лагере, на греческом острове Лемнос. Туда они попали после эвакуации из Новороссийска. Люди, попавшие на Лемнос, были уже весьма ослаблены всякими болезнями и недоеданием во время своего бегства из России. Эта ослабленность особенно сказалась по их прибытии на остров. Люди умирали как мухи. Сыпняк, скарлатина, туберкулез, менингит и другие болезни косили людей. Все время кого-то хоронили. Умирали и старики, и молодые, и дети. Часто умирали родители, а маленькие, совсем грудные дети оставались одни. Их часто усыновляли. Так Рудановский с женой взяли девочку, а его сестра взяла мальчика. Я помню как однажды Рудановская, сестра художника, зашла к нам в гости. Было мне тогда шесть или семь лет. Мы с братом ее немного побаивались. Ее считали немного странной, и ее лице было изуродовано шрамами. Во время революции ее сильно били, так что на ее лице остались шрамы в виде полосок... Это была моя единственная с ней встреча, но я после много слышал о ней и об ее приемном сыне. Она жила только воспоминаниями о России, святой Руси. Своему приемному сыну она внушила идею, что его миссия в жизни — спасти Россию. Она его так и воспитывала. Не знаю, как они жили, и чем они жили, и где учился ее приемный сын, но из него получился, собственно, юродивый. Он, видно, стал верить в свою миссию. Я его иногда видел в городе. Он уже был молодым парнем. Раз я его видел, как он шел с каким-то мешком на спине, одетый в очень поношенную, старую одежду. Другой раз я его видел, как он продавал вечернюю газету «Правда». Другие газетчики, когда продавали газеты, то кричали на всю улицу, а он как-то медленно, высоким голосом, едва

выговаривал: «Ево правда, ево правда», т. е. «Вот правда, вот правда». Его часто окружала шайка мальчишек, уличных хулиганов. Они над ним издевались, шумели, хватали и разбрасывали его газеты. У нас дома его называли «Орлеанский мужик». Позже, уже во время немецкой оккупации, и после начала войны Германии с СССР, мне про них рассказали такой случай. По-видимому, она или они оба пришли к заключению, что пришло время начать спасение России. По-видимому, какой-то план или идея у них была, но он, как носитель миссии, должен был играть главную роль. Они попросили аудиенцию у местного немецкого коменданта города, и он почему-то согласился их принять. И вот они пришли к коменданту со своей идеей спасения России. Комендант, конечно, не знал ни русского, ни сербского языка, так что разговор должен был быть через переводчика. (Историю о бегстве из России и жизни на острове Лемнос я беру из воспоминаний тети Иры, записи которых хранятся у меня.) Они вошли к коменданту, и наступила тишина. Орлеанский мужик стоял и молчал, а комендант ждал. Тогда Рудановская накинулась на сына: «Ну, говори, говори!» Дело кончилось абсолютным конфузом в духе Достоевского. Их выпроводили. Комендант, кажется, не рассердился, но сказал, чтоб больше к нему таких не приводили... Это один из примеров характерного чудачества, которое часто проявлялось среди русских эмигрантов. Может быть, это было последствием потрясений революции, бегства и потери Родины. Может это характерно для русского человека. Высокие идеи и чувства делают его человеком «не от мира сего», а может быть и то, и другое. Какова была их дальнейшая судьба, я не знаю. Помнится мне тоже один русский человек, который жил в нашем городе. Имени и фамилии его я не знаю, так как мы не были лично с ним знакомы. Он был инвалид, т. е. хромал на одну ногу. Одна ступня этой ноги стояла не прямо, а была всегда повернута в сторону. Не знаю, было ли это врожденным дефектом или результатом ранения. Хотя он хромал, но ходил он всегда очень быстро, так что его прозвали «Шанхайский экспресс». Может быть, по работе он что-нибудь разносил и ему приходилось спешить. За ним часто неслась шайка уличных мальчишек, местных хулиганов, с криком «Кальега! Кальега!». Так местные мальчишки переделали русское слово «калека». Не знаю, кем он был в России, но это мне запомнилось, как грустная судьба русского инвалида за границей. Но и мне тоже приходилось терпеть насмешки и издевательства. Когда я шел по городу, то часто кричали вслед «Рус — купус», что значит «Русский — капуста». Это, собственно, ничего не значило, просто набор слов, но так дразнили русских. Случалось это, правда, не всегда, но было неприятно ходить и ожидать, что на вас начнут так кричать.

Поэтому я вообще не любил один ходить по городу. К нам часто заходил один уже пожилой человек, родом из Курской губернии. Фамилии его не помню. Поскольку мы тоже со стороны матери родом из Курской губернии, то мы оказались земляками. Был он довольно полный, с большой седой бородой. Работал он в местной сербской городской библиотеке. В России он был помещиком, и там у него была семья. О судьбе его семьи я ничего не знаю. Он приходил, пил чай и часто долго беседовал с бабушкой. Я и брат обыкновенно не присутствовали, а занимались своими делами, о чем я теперь очень сожалею. Можно бы было услышать очень много интересного о жизни старой России. Был он очень живым и остроумным. Если мы встречались на улице, то он разводил руками, как будто хотел всех обнять и приветствовал нас словами: «Курский фронт!» К нему бежали дети, но над ним не издевались. Они к нему подходили, и он каждого целовал в голову. Дети его звали «деда Рус», что значит дедушка русский. Между собой мы тоже его так называли. Он писал книгу «О братстве русского, сербского, и черногорского народов». Это была книга о разных параллельных исторических событиях в истории этих народов. Первый том был уже опубликован, и он работал над вторым. Принадлежал он к категории русских эмигрантов, которых называли «зубрами». Возможно, что это название употреблялось и в России. Это были люди, очень глубоко привязанные к духовному наследству России. Я думаю, что они были очень близкими к славянофилам... По моим личным впечатлениям того времени, идея монархии не была доминирующим мировоззрением эмиграции. Скорее доминировала некая «белая идея» национальной России. В каждом русском общественном месте всегда висел портрет Государя Николая II-го, но Романовы были как-то вне русской политической мысли за границей. Демократия тоже не была популярной. Большинство скорее мечтало о некоем вожде, вроде Александра Невского. Может быть, я ошибался, но это было мое впечатление. Тяжела была доля многих русских эмигрантов, но главное было не в материальном положении. Многие жили, правда, бедно, но со временем устранивались лучше, и жить было можно. Но исчезли любимые усадьбы, липовые аллеи, свои родовые дома. Ушли знакомые места. Исчезли родные и близкие. С некоторыми просто потерялись связи, а других взяла к себе, «мать сыра земля». Ушла в небытие старая Россия.

Однажды, когда приехал дядя Вадя, Вадим Александрович Щепкин, мы сидели все вместе, и наши вспоминали свою жизнь в России. Шел живой разговор. Потом все как-то разом замолчали и сидели в раздумье. И дядя как-то тихо и медленно сказал, именно не продекламировал, а просто сказал:

И сколько нет теперь в живых,
Тогда веселых, молодых.
И это как-то определило наше настроение.

Гораздо позже, уже в Америке после смерти мамы, я нашел в маминой тетради ее стихотворение. Не знаю, когда оно было написано:

Когда сердце устанет от напрасной печали,
Когда душу отравит горький яд сожаленья,
Когда звезды померкли, струны все отзвучали,
Все мы ищем, все жаждем хоть минуту забвенья.

Никому нет упрека, никому осужденья,
Наша юность промчалась в годы зла и насилья.
Нам в былом нет отрады, впереди утешенья;
Всех нас жизнь обманула, оборвала нам крылья.

Так бредем мы устало, и ничто нам не светит,
По горам и по долам, чрез болота и реки,
Пока всадник суровый на пути нас не встретит
И в холодном объятье даст забвенья навеки.

...Однажды летом мы все шли на речку и проходили по этому лугу. Я отстал позади, а впереди передо мной, опираясь на палочку, шла бабушка. Вдруг бабушка остановилась, стала что-то кричать и звать меня. Я подбежал к бабушке. Бабушка стояла, улыбалась, и с радостью кричала: «Полынь! Полынь!» В руке она держала какое-то растение. Оказывается, она нашла былинку полыни. В наших местах полынь не росла, и я в первый раз увидел полынь, да и впервые узнал о существовании такого растенья. Но для бабушки это было как некая весточка из родных краев. Привет с далекой Родины.

Гораздо позже, когда я уже жил в Америке, мне опять вспомнилось это событие, когда я прочитал стихи Анны Ахматовой, где был такой куплет:

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полыню пахнет хлеб чужой.

Стихи правдивые, но в данном случае получилось иначе. Эта былинка полыни принесла бабушке чувство радости, чувство утешения. Я потом думал, как попала эта одинокая былинка полыни в южную

Сербию? Может быть, птицы занесли семя полыни или цыгане-кочевники, случайно привезли это семечко из Бесарабии в своих телегах. Былинка полыни, тоже изгнанница, росла одинокая, среди травы чужой.

...Гимназию мы с братом не любили не меньше, чем основную школу. Как и в основной школе в гимназии царствовал террор. Били там не меньше, чем в основной школе. Главная разница была, что все предметы преподавали разные преподаватели. У начинающих преподавателей было звание суплента, а более старшим давали звание профессора. По моему мнению, многие преподаватели подавали ученикам плохой пример. Так было принято учеников ругать и всячески унижать. Ругали учеников скотами и джукелами, что значит «бродячие» или «беспородные собаки». Один профессор просто заявлял классу, что в мире нет ничего более подлого и низменного, чем вы — ученики. Один профессор математики, когда ученик не мог ответить, приходил в ярость и кричал на весь класс: «Меньше занимайтесь мастурбацией или меньше держитесь за свой член и тогда выучитесь математике». Звали его Небойша. Он так орал, что другие преподаватели, проходя по коридору, спрашивали: «Что там такое творится?» Им отвечал служитель: «Да там Небойша ведет свои классные занятия»... У нас в городе, еще до меня, один ученик, кажется, из-за плохих отметок, покончил самоубийством, утопился в реке Нишаве. В парке около реки ему стоял памятник. Так вот Амброжевич, когда одному ученику поставил двойку, то добавил во всеулышанье: «Ну, а теперь можешь идти, топиться в Нишаве. Ты думаешь, я пойду тебя спасать? Да я тебе еще помогу. Я тебя сам туда толкну»... Между прочим, преподаватели которые зверски били и издевались над учениками, в частном общении были очень часто приличными и даже милыми людьми. Просто не было правильного отношения среди учеников и преподавателей. Я иногда думал, что может быть, с такими учениками нельзя было обращаться иначе. Но почему тогда некоторые преподаватели умели наладить совсем иное отношение с классом. Так, например, с преподавателями Закона Божия, отношения были хорошие. Их уважали и слушались, и у них в классе было гораздо больше порядка, хотя они никогда никого не били и не ругали. Наш первый классный наставник, который заведовал нашим классом, священник Тихомир Илич, когда ученик себя плохо вел, велел ему сказать молитву «Отче наш». Ученик читал молитву и потом сидел тихо.

Был также учитель рисования, художник Крстич. Он очень любил свое дело и умел заинтересовать учеников. Он тоже никого не бил, и у него всегда был порядок. Были и другие преподаватели, ко-

торые вели себя с достоинством, умели заинтересовать класс, никого не били, и у них всегда было больше порядка.

В нашей гимназии учились только ученики мужского пола. Я, правда, и представить бы не мог, чтобы в наш класс можно было пустить девочек. На переменах между занятиями в классе стояла такая площадная ругань и такие выражения, что девочек не стоило и близко подпускать. Для девочек было выстроено более новое здание на том же участке, где помещалась женская гимназия. Большое место между зданиями разделили на два двора большой бетонной стеной, метра два с половиной вышины. Стена была толстая, а сверху в стену было вставлено разноцветное острое битое стекло, так чтоб никто не мог перелезть через стену. Оба двора были окружены большой железной оградой с толстыми железными прутьями. Во двор проходили через большие железные ворота... В гимназии я, так же как и в основной школе, оставался «гадким утенком», и приходилось выслушивать всякие шутки или обидные замечания по поводу моей русской национальности. Так, например, ученик, который сидел рядом со мной на парте, во время перемены уроков, вдруг во всеулышание начинал говорить: «Я вообще считаю, что всем русским детям, как только они родятся, надо сразу перерезать горло. Да, взять и перерезать горло». На меня в классе другие ученики начинают смотреть с ехидными улыбочками и с любопытством. Никто в классе за меня не заступился. Я сижу один, молчу и стараюсь не смотреть по сторонам. Приходилось терпеть.

Конечно, это была всего лишь забава, хулиганство, но «гадкому утенку» от этого было не легче.

Преподаватель французского языка, по прозвищу Фуйта, меня спрашивал: «Французский не учишь, сербский не знаешь, русский забудешь, так что когда вернешься в матушку-Россию, на каком языке будешь говорить?» Весь класс смеется и смотрит на меня. Конечно, это шутка. Ничего страшного нет. Но все-таки, это как-то меня выделяло. В душе слагалось чувство, что мы здесь чужие.

Все эти отношения, конечно, не были русофобией. К русским как нации сербы относились хорошо. Русских называли «брача Руси», т. е. «братья русские», а Россию — «майка Русия», т. е. «мать Россия». Вообще, у сербов было большое сознание общеславянского происхождения. Но все же приходилось себя чувствовать чужим. Может быть близким, даже любимым гостем, но все же чужим.

Конечно, я с братом, будучи гражданами Югославии, не думали и не хотели менять свою русскую национальность. Да вообще, возможно ли менять национальность? Каким Вы родились — таким Вы родились. Национальность это Ваше качество, Ваше наследство на всю жизнь...

Время шло. Промчались 1936, 1937 и 1938 годы. Переход из отрочества в юность. Годы для меня были довольно однообразными: радостные летние каникулы и праздники, любимая семья и наш милый уголок малой Родины, наш дом, хотя и сам дом был не наш. И нелюбимая гимназия и чужой внешний мир...

По натуре я был мечтателем и любил предаваться разным мечтаньям и воображениям. У нас был большой атлас, и я часто сидел перед картой России и думал, как бы я увеличил границы России. Одно время я думал присоединить к России Индию и Китай. Потом я сообразил, что большинство населения такого государства будут нерусские, и переменял свои планы. Я решил присоединить к России Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, восточную часть Польши, Карпато-Россию, Бессарабию (Молдову) и южный Сахалин, который был тогда у Японии. Я также думал о присоединении Монголии и Маньджурии. Потом я решил, что России нужен выход на Индийский океан и долго рассматривал карту Азии. В конце концов, я решил покорить Афганистан и пробиться к Индийскому океану через британский Белуджистан. У меня уже был план, чтобы поднять восстание против Англии среди жителей Белуджистана и тогда ввести русские войска. Так что планы были довольно амбициозные... На карманные деньги, что нам давали, я покупал игрушечных солдатиков и на дворе их расставлял. Была у меня и деревянная крепость, батарея пушек, которые стреляли горохом, кажется, пара танков и большой грузовик. Один раз я накопал окопов и расставил свою армию. Тут пришел старик-почтальон, и стал смотреть на мои полки. Стоял он очень долго, все смотрел и о чем-то думал. Потом он спросил: «А где болгары?» Я, кажется, сказал, что их здесь нет, и он молча ушел. Наверное, он вспоминал свои военные годы.

Теперь, много лет спустя, когда я думаю о своих детских военных планах, то нахожу много общего с Советским Союзом. Говорят, что Советский Союз преследовал планы мирового коммунизма. Но по иронии судьбы, наши планы во многом совпадали. Может быть, лучше мне об этом молчать.

Россия всегда играла важную роль в моем самосознании. Началось это еще в самом раннем возрасте. Как появилось это чувство — мне не совсем понятно. В русскую школу я никогда не ходил. Дома у нас не было никакой систематической доктрины или конкретных политических идей. Нам читали много русских книг, и мы слушали много разговоров про Россию. Мы с братом были довольно дикими и ни в каких общественных организациях, как «Русские соколы» или «Русские скауты», не участвовали. Друзей среди русской молодежи у нас не было. Так что чувство к России было свое личное, не искусственно насажденное, а более органическое, более интимное.

Как я уже говорил, Россия всегда жила в моей душе. Был ли я еще дошкольным мальчиком, или в сербской школе, в рабочих лагерях в Германии, под бомбардировками в Берлине, или в тюрьме в Загребе, в Хорватии, в беженских ли лагерях, или на Корейском фронте в американской армии, в военном лазарете, или в Берклейском университете, читал ли я научный доклад в Вашингтоне, или отдыхал около Тихого океана в Мексике — Россия всегда была со мной... В 1939 году мне исполнилось 13 лет, и я поступил в третий класс гимназии. В этом году над Европой нависли мрачные тучи войны. Сперва захват Чехословакии, потом нападение на Польшу и объявление войны Германии со стороны Франции и Великобритании. Стало чувствоваться всеобщее напряжение. Стало пахнуть порохом. В школе сильно поднялся дух панславизма. На Германию смотрели как на врага Славян... Многие думали, что с концом Чехословацкого кризиса Германия успокоится, и войны не будет. Но кончился август, прошло лето... и тут 1-го сентября Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Я помню речь Гитлера: «Я надеваю серую форму...».

Всех поразил договор между Германией и СССР о ненападении и о разделе Польши. Это очень подвело коммунистическую партию Югославии. В газетах засверкали фотографии Риббентропа и Молотова, подписывавших договор. Местные коммунисты повесили головы. Проходя мимо железнодорожной станции, я заметил вагоны-цистерны с буквами «СССР». Советский Союз поставлял нефть гитлеровской Германии...

Но осенью 39-го и весной 40-го война на западе как-то притихла. Газеты больше писали о войне СССР и Финляндии, которая кончилась в марте 1940 года. Газеты писали о военной неподготовленности СССР и о неудачном ведении войны. Я помню карикатуру в газете, где СССР был изображен как великан, который держится за рукоятку меча в ножнах. На втором рисунке он выхватывает меч, а вместо меча оказывается одна рукоятка...

Вообще, можно сказать, что за последние годы по Европе тогда распространились диктаторские правительства. Идеи диктатуры стали к себе привлекать все больше людей. Люди стали разочаровываться в идеях демократии. Демократия стала казаться чем-то расслабленным, неспособным и насыщенным коррупцией. Дух диктатуры стал веять над Европой. Так в Литве власть захватил диктатор Сметона. В Финляндии управлял маршал Маннергейм, бывший генерал царской России. В Латвии тоже была диктатура. В Польше, после диктатуры Пилсудского, страной управлял Риц Смигли (Рыдз-Смиглы. — В.К.). Я помню, когда знакомых поляков спрашивали, как им нравится Риц Смигли, они отвечали: «Лучше Риц, чем ниц». В Венг-

рии управлял тоже диктатор — регент-адмирал Хорти. Меня всегда удивлял вопрос: зачем стране без выхода к морю адмирал? В Румынии власть захватила фашистская партия «Железная гвардия». В Болгарии управлял король Борис или, как его звали болгары — царето Борис. В Греции властвовал генерал Метаксас. И, конечно, диктаторы — Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Франко в Испании и Салазар в Португалии. Но и в других странах стали появляться потенциальные диктаторы — Лаваль во Франции, и даже в Англии, был сэр Освальд Мосли (Мосли. — В. К.), глава британской фашистской партии.

Я не делаю оценку всех этих течений. Я просто хочу передать те настроения, которые, как мне тогда казалось, царили в Европе.

Историю пишут победители, и они дают окраску всем происшедшим событиям. Они творят злодеев и героев, и рисуют историю по своей идеологии, своему мировоззрению и даже по своим привычкам. Сейчас в Америке, а может быть и в остальном мире, стали употреблять выражение «демонизация». Смысл этого выражения в том, что ваш противник изображается в абсолютно отрицательном виде, т. е. в виде некоего демона — олицетворения зла. Все силы пропаганды употребляются, чтобы полностью очернить вашего оппонента. Так политический противник оказывается и вором, и развратником, и массовым убийцей, и беспринципным оппортунистом и т. д. Придумываются новые и новые эпитеты, которые возводятся в «общепризнанные» качества злодеев, и ими окрашивается ваш противник. В России, среди простого народа, я слышал выражение, где правильно подметили этот метод: «Да, он был неплохой человек, но его уже засрали».

К несчастью, как результат такого подхода — повреждается и страдает истина. Те, кто употребляют этот способ, очень часто вредят самим себе и попадают в рабство своих собственных фантазий и иллюзий. Должен сказать, что этот способ демонизации очень принят в Америке. Им пользуются политики, начиная с президентов страны, и корреспонденты, ищущие остреньких новостей для разжигания страстей народных масс ради своих эгоистических целей.

Но никакой человек не есть дьявол. И у самого страшного преступника могут быть положительные дела и мысли. И главное, вашего оппонента и противника гораздо важнее понять, чем просто очернить. Человек, который от своих страстей и эмоций теряет рассудительность, вредит самому себе.

Чувства тоже необходимы человеку. Часто, когда я начинал запутываться в своих собственных рациональных размышлениях, сердце помогало найти правильный путь. Но и здесь нужно созерцательное успокоение. Как мне сказал один русский монах: «Злоба плохой советник».

Все эти рассуждения я привел, чтобы дать, как мне кажется, более правильное понимание того настроения, которое царило в умах и сердцах многих людей того времени. Почему многие порядочные люди находили привлекательной идею диктатуры или сильной власти и отворачивались от идей либеральной, парламентарной демократии западного образца?

Многие авторитарные и диктаторские режимы возникли как результат той разрухи и беспорядка, которые царили во многих странах Европы. Наследство Первой мировой войны и тот экономический кризис, который начался в Америке и разлился по всему миру, породили это положение. Конечно, более дальние причины можно искать в прошлом до бесконечности. Но реальность была та, что такой кризис существовал.

Первым ярким примером такого авторитарного, диктаторского режима стал фашистский режим в Италии во главе с Бенито Муссолини. Потом последовало укрепление во власти законно избранного канцлера германии Адольфа Гитлера и его национал-социалистической партии. Оба государства образовали так называемый «Союз оси». Теперь оба режима рассматриваются, главным образом, с точки зрения их националистических идеологий, развязывания войны и разных зверств, особенно со стороны Германии. Но обе партии и их лидеры начали свою деятельность с социальных реформ. Их план социальных реформ очень содействовал их приходу к власти. В сфере социальных, экономических и внутренних реформ они добились очень быстро значительных успехов. В странах, где царил беспорядок, безработица, инфляция, вечная борьба партий и коррупция, был очень быстро восстановлен порядок.

Главные жестокости этих режимов были совершены во время войны. Правда, многие политические свободы были ограничены. Но многие люди предпочитают променять свое право каждые два или четыре года бросать в коробку в выборном участке свой голос за того или другого кандидата на постоянную работы, медицинское обеспечение и приличную квартиру. Либерал-интеллектуал-романтик, требуя, прежде всего, свои политические права и политические свободы, не понимает человеческие потребности в бытовых свободах. Свобода иметь заработок, обеспечение и квартиру. Что касается свободы слова, то эти режимы мало вмешивались в частные разговоры. Правда, пресса и радио были под государственным контролем, но массы людей это не очень беспокоило.

В Германии очень скоро исчезла безработица. После ужасных инфляций немецкая марка, поддерживаемая промышленностью, а не золотом, быстро поднялась и стала стабильной валютой. У всех в стра-

не было хорошее медицинское обеспечение. Все профсоюзные организации были объединены в один Рабочий фронт, и забастовок не было. Это не значило, что рабочий лишился своего представительства. При Рабочем фронте были устроены всевозможные курсы, и льготы для рабочих. Так, была организована организация «Сила через Радость», где можно было получить доступные билеты на оперу, в театры и на новые кинофильмы в дорогих кинотеатрах.

В те времена радио-приемник был дорог и не всем доступен. В Германии стали выпускать типовой приемник, «Фолькс Эмпфенгер», т. е. «народный приемник», по возможным ценам. Я думаю, что во всем мире знают машину, фольксваген. Эта машина тоже была детищем Национал-социалистической Германии... первые машины стали выпускать. Война, конечно, все приостановила. Но очень скоро после войны производство этих машин возобновилось. Я помню, как эти машины уже в 1946 году везли по железной дороге. Тогда эти машины везли западным союзникам в счет немецких военных репараций. Но очень скоро за свои качества и прочность эти машины стали известны во всем мире.

Конечно, все эти достижения и удачи не могут оправдать все злодеяния и ужасы, содеянные национал-социалистической Германией. Мне просто кажется, что никакие данные, никакие наблюдения и мысли нельзя механически выбрасывать из опыта своей жизни только на основании общепринятой точки зрения. Мне хочется нарисовать ту картину, которая царила в то время вокруг меня и попытаться объяснить настроения многих и многих людей, с которыми мне приходилось встречаться.

В данное время на Западе и, в частности, в Соединенных Штатах Америки принято считать либерально-демократический многопартийный парламентарный строй и неограниченную рыночную экономику верхом совершенства. Но эта система никогда не была испробована в глобальных масштабах. Возможна ли такая система для всего населения Земного Шара? Или эта система приведет к бесконечной борьбе за мировые рынки, загаживание воды и воздуха в отдельных странах, вечное разделение на 20% богатых стран и на 80% вечной бедноты и на господство над миром одной державы или блока держав? Возможно ли найти лучшие и более гуманные пути для соотношения земного населения? Я не верю в Рай на Земле. Но хотя я не последователь Мартина Лютера Кинга во всех его действиях, но мне нравится им сказанная фраза в шестидесятых годах, когда он боролся за равноправие черного населения, и когда препятствия казались непреодолимыми: «I have a dream...». То есть «У меня есть мечта...».

В то время, особенно после начала войны, когда выяснились цели Германии, русский человек не мог сочувствовать ее планам, то есть порабощению России, уничтожению ее культуры и сведению русских людей на положение батраков для германской расы. Но и тогда можно было слышать среди русских людей за границей такую фразу: «Вот бы нам такого вождя!» То есть Германия нам-то враг, но хорошо бы нам было иметь вождя, который бы нас повел по пути русской исторической России... Уже к концу 1940 года война в Европе стала сильнее чувствоваться. В магазинах стал исчезать чай, так что магазины стали продавать чай только своим постоянным покупателям и то по порциям. Цены стали расти. Динар, который всегда был стабильной валютой, обеспеченной золотым запасом, стал падать. Государство выпустило медные динары. Жить стало труднее... В начале 1941 года стало чувствоваться сильное политическое напряжение. Во главе государства стоял регент — принц Павел, двоюродный брат почившего короля Александра, а премьер-министром был Драгиша Цветкович, родом из Ниша. Принц Павел среди народа не пользовался популярностью, т. е. он не смог заменить короля Александра, которого очень любили. Принц Павел получил образование в Англии и по духу был английской ориентации. Эта западная ориентация делала его чужим и непонятым народу. Премьер Драгиша Цветкович тоже не пользовался популярностью, но по другой причине. Народ его хорошо понимал и считал просто жуликом и оппортунистом.

Германия нажимала на Югославию. Среди народа начиналось движение сопротивления. Германию считали врагом всех славянских народов. Возрастала идея панславизма. Национальные патриотические организации стали подымать свой голос. Правда, главное движение сопротивления было среди сербов и черногорцев. 14-го февраля Гитлер потребовал, чтобы Югославия присоединилась к Пакту Оси, к которому уже примкнули Венгрия, Румыния и Болгария.

4-го марта принц Павел поехал в Германию, для встречи с Гитлером. Несмотря на свои английские симпатии, после этой поездки принц Павел, по-видимому, окончательно решил, что ради сохранения Югославии необходимо присоединиться к Пакту. Этот факт доказывает, что несмотря на свою английскую ориентацию, он оставался верен Югославии. Король Александр знал своего двоюродного брата лучше, чем народ... 25-го марта Югославия подписала Пакт... Еще до подписания Пакта началось некое движение объединения народа против этого Пакта. Как знак оппозиции Пакту, люди стали носить в петлице изображение флага Югославии — синий, белой и красный флажок. Мы, как и все школьники, носили этот флажок... 27 марта, как и всегда, я пришел в гимназию и занял свое место за партой.

Первый урок был по сербскому языку, который нам преподавала учительница по фамилии Грлич. Она вошла и первым делом с радостной улыбкой заявила: «Ну, теперь у нас у власти молодой король». Оказалось, что рано утром произошел государственный переворот. Принца Павла отстранили от власти и распустили все правительство. Во главе переворота был генерал Симович, глава воздушных сил Югославии. По радио выступил король Петр (как тогда думали), с обращением к народу и заявлением, что он берет власть в свои руки. Впоследствии я узнал от нашего хорошего знакомого, полковника Шебалина, что по радио выступал не король Петр, а подставной молодой поручик воздушного флота. Полковник Шебалин, бывший русский военный летчик, тогда служил в военно-воздушном флоте Югославии и был в прямом подчинении у генерала Симовича...

Как потом стало известно, Гитлер был взбешен событиями в Югославии, хотя новое правительство Югославии никогда официально не аннулировало присоединение к Пакту Оси. В самый день путча он дал приказ о скорейшем нападении на Югославию. Ситуация отложила нападение Германии на Советский Союз на целый месяц. План нападения под именем «План Барбаросса», предназначался на май месяц.

3-го апреля Югославия окончила мобилизацию... 5-го апреля Югославия и Советский Союз подписали договор о ненападении. Югославии был нужен этот договор для моральной поддержки народа. Сербия и Черногория всегда смотрели на Россию как на защитника. Когда я проходил по улице недалеко от нашего дома, я встретил конную часть Югославской армии, которая двигалась на фронт. Я помню, как солдаты пели: «Док имамо Петра и Сталина, не боймо се Рима и Берлина», т. е. «Пока у нас Петр и Сталин, мы не боимся Рима и Берлина»...

А. С. Стыкалин
(Москва)

**Проблемы польской и чехословацкой истории
в работе И. Бибо «О бедствиях и убожестве
малых восточноевропейских государств» (1946).
К выходу российского издания**

Среди оригинальных центральноевропейских мыслителей XX в., чье творчество становится известным заинтересованному российскому читателю только в последнее десятилетие, одно из важных мест занимает венгерский политолог Иштван Бибо (1911–1979)¹. Юрист по образованию, он в течение ряда лет был стипендиатом в Вене и Женеве, вернувшись в Венгрию, занимался при хортизме адвокатской практикой, работал в суде, с 1940 г. состоял приват-доцентом политических наук и права в университетах городов Сегеда и Коложвара (ныне Клуж-Напока, Румыния). Свои первые серьезные работы по теории права он написал в середине 1930-х гг. (либеральная направленность этих исследований затрудняла их публикацию в условиях хортистского режима). Осенью 1944 г., после захвата власти нилашистами, арестовывался за содействие спасению преследуемых евреев. В 1945 г., когда в Венгрии на короткий срок установилось коалиционное демократическое правление, Бибо, более года возглавлявший разные отделы в министерстве внутренних дел, выступил с инициативой реорганизации системы административного (в частности, муниципального) управления Венгрии. Его рациональные, по достоинству оцененные только в посткоммунистическое время проекты не могли быть воплощены в условиях обострившейся межпартийной борьбы, в которой все более задавала тон опиравшаяся на разностороннюю поддержку СССР компартия, к середине 1948 г. вытеснившая своих конкурентов и фактически монопольно утвердившаяся у власти. Наряду с административной и научной деятельностью во второй половине 1940-х гг. Бибо (в 1946–1950 гг. профессор Сегедского университета и один из руководителей Института

Пала Телеки в Будапеште, важного центра политической и исторической науки в Венгрии тех лет) активно занимался публицистикой. Его статья «Кризис венгерской демократии» (1945) положила начало большой дискуссии о политической ситуации в Венгрии и перспективах дальнейшего развития страны. Позиция Бибо, на основе четкого анализа расстановки сил в обществе и доминирующих в нем настроений указавшего на опасность, исходившую для антифашистской демократической коалиции слева, была подвергнута критике коммунистами и их сторонниками (в числе тех, кто спорил тогда с Бибо, был и всемирно известный философ-марксист Дьердь Лукач). Действительность, однако, в скором времени подтвердила правоту Бибо, не связавшего себя в данном случае с официальной точкой зрения какой-либо определенной партии, но выступившего в качестве независимого политолога.

В 1948 г. выходит основательное политико-социологическое исследование «Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года». В этой, как и некоторых других работах Бибо проявился его особый интерес к социально-психологическим феноменам как факторам политического развития (страхам, предубеждениям, массовым психозам и истериям, бытующим в обществе и влияющим на принятие политических решений силами той или иной ориентации, зачастую склонными использовать социально-психологические явления в своих узкогрупповых интересах). Другое достоинство политологических исследований Бибо — внимание к историческим корням современных политических явлений, опирающееся на глубокое знание венгерской, средневропейской и — шире — всеобщей истории. В этой связи особенно следовало бы отметить книгу 1946 г. «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств», о которой речь пойдет в дальнейшем².

После установления в Венгрии коммунистической диктатуры Бибо был лишен университетской кафедры. Избранный еще в 1947 г. членом-корреспондентом Венгерской Академии наук, через два года, в процессе реорганизации Академии он был выведен из нее. С января 1951 г. работал библиотекарем в будапештской университетской библиотеке. Кратковременное возвращение Бибо в общественно-политическую жизнь произошло в дни революции осени 1956 г. 3 ноября в качестве кандидата от партии Петефи (бывшей Национальной крестьянской) он стал министром в коалиционном правительстве Имре Надя. К своим обязанностям он должен был приступить на следующий день, однако утром 4 ноября советские войска вступили в Будапешт в целях свержения действовавшего правительства. Бибо, прибывший рано утром в здание венгерского парламента, оказался

единственным членом кабинета, оставшимся на своем посту в момент прихода советских солдат. Воззвание, подготовленное им от имени правительства Имре Надя и своевременно переданное западным дипломатам, получило отклик в мире как важный программный документ венгерской революции³. В последующие недели и месяцы, вплоть до своего ареста в мае 1957 г., Бибо составил еще ряд документов, в которых предлагались планы урегулирования венгерского вопроса⁴, а позже, в условиях укрепления кадаровского режима, предпринимались попытки осмыслить уроки «будапештской осени» в широком международном контексте⁵.

Приговоренный в августе 1958 г. к пожизненному заключению, Бибо был амнистирован в 1963 г., но до конца жизни продолжал находиться под подозрением властей. Вплоть до выхода на пенсию он состоял научным сотрудником в библиотеке Центрального статистического управления ВНР. Его основные работы 1960–1970-х гг. писались в стол и были опубликованы только после смерти автора, в 1980-е гг. Таковы, в частности, большая статья «Смысл европейского общественного развития» (1971–1972), работа «Недееспособность международного сообщества государств и ее преодоление» (1972), в которой давался глубокий анализ проблем, связанных с арабо-израильским конфликтом⁶.

Публикация трехтомника работ И. Бибо в 1986 г., на исходе коммунистического правления⁷, стала важным событием в духовной жизни Венгрии в преддверии смены систем, в условиях, когда венгерская интеллигенция приступила к усиленным поискам альтернативных марксистской традиции в национальной общественной мысли. С начала 1990-х гг. в определенных кругах предпринимаются попытки сделать Бибо своего рода знаменем либеральной идейной традиции в Венгрии. «Несомненно, крупнейшим венгерским мыслителем своего времени» назвал недавно Иштвана Бибо его соотечественник Имре Кертес, ставший в 2002 г. лауреатом Нобелевской премии по литературе⁸. Попытка, о которой идет речь, оказалась, впрочем, не совсем удачной. Судя по количеству работ о Бибо, изданных за пределами Венгрии, интерес к его фигуре за рубежом до сих пор несоизмерим с интересом к фигуре философа-марксиста Д. Лукача. Сам этот факт, однако, не перечеркивает значения творчества И. Бибо как действительно крупного венгерского ученого-политолога.

В работе «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств» (1946) И. Бибо пытался осмыслить опыт исторического развития трех средневропейских наций (польской, чешской, венгерской) в течение, по меньшей мере, двух столетий и на основе этого осмысления не столько спрогнозировать их дальнейшую полити-

ческую эволюцию с учетом расстановки сил на международной арене по окончании Второй мировой войны, сколько выявить те объективные (не в последнюю очередь социально-психологические) проблемы, с которыми в этих странах неизбежно столкнутся демократические силы в своем стремлении сформировать в новых, послевоенных условиях политическую культуру, отвечающую критериям современной западной демократии.

Принципиально интересен в его работе экскурс в польскую историю. Истоки многих трудностей, пережитых Польшей с конца XVIII в., особенно при ее взаимоотношениях с восточным соседом — Россией, Бибо выводил из польско-литовской унии, вследствие которой в составе единого государства наряду с территорией, заселенной польским этносом, оказалась литовская часть с преобладающей долей православного населения, в определенной мере ориентированного на Россию. По признанию Бибо, притязания России на земли польско-литовского государства, поначалу в основном ограничивавшиеся ее восточной половиной, изначально были более обоснованными как в этническом, так и в историческом плане, нежели претензии Пруссии и особенно Австрии. К тому же по мере своего усиления в XVIII в., превращения в великую европейскую державу, Россия становилась все притягательнее для православных Речи Посполитой. Оценивая в данном случае позицию Бибо, следует помнить, что его работа 1946 г. была плодом той конкретно-исторической ситуации, когда в результате второй мировой войны по всей Европе резко усилились антинемецкие настроения, проецировавшиеся и на прошлое взаимоотношений тех или иных этносов с Германией⁹. При всей сдержанности своего подхода, заметно контрастирующей с полемическим запалом в работах многих других авторов, в том числе и венгерских¹⁰, Бибо также не избегает в отдельных случаях некоторой тенденциозности там, где дело касается признания роли германского фактора и прогерманских ориентаций в развитии отдельных европейских стран и народов. Это сказывалось и в расстановке им акцентов, в частности, в треугольнике российско-польско-германских отношений. При этом важно заметить, что «односторонность», о которой идет речь, не только расходилась с глубоко укорененной в венгерской внешнеполитической мысли (достаточно вспомнить графа Д. Андраши) традицией отношения к России как главной угрозе европейской цивилизации, но и преодолевала ограниченность подобного подхода.

Обращаясь к анализу предпосылок трех разделов Речи Посполитой, Бибо отмечал, что мощное демократическое, реформаторское движение, возникшее в стране после первого раздела (1772) и достигшее своей кульминации в Конституции 1791 г., не имело пер-

спективы, поскольку Великая Французская революция сместила акценты в европейской политике, усилив повсеместно контрреформаторские тенденции. По мнению Бибо, после третьего раздела Польши (1795) создалась объективная ситуация, которая диктовала национальной политической элите насущную историческую задачу — привлечь на свою сторону Россию, чтобы, «имея за спиной такого союзника, попытаться возродить свою национальную жизнь в противостоянии двум немецким государствам»¹¹. Однако польское общественное сознание, однозначно восприняв раздел страны как вопиющую несправедливость, оказалось неспособно осознать различие между исторически закономерным отделением восточных земель и тем, что было в разделе Польши результатом голого насилия. Национальная элита продолжала верить в возможность существования Польши как великой державы, что и предопределило ее политический выбор в пользу Наполеона, готовившего свой антироссийский поход. Между тем, вопреки ожиданиям польской аристократии вступление наполеоновских войск в пределы земель, отошедших от Речи Посполитой к России, не привело к антироссийскому восстанию. Опыт, извлеченный Россией из наполеоновских войн, продиктовал ее позицию на Венском конгрессе. К Российской империи, как известно, отошла значительная часть исконно польских земель. С одной стороны, им были дарованы конституция и достаточно широкая автономия, отобранные после восстания 1830–1831 гг. С другой стороны, все три великие державы, участвовавшие в разделе Польши, утвердились в своем стремлении не допустить возрождения самостоятельного польского государства.

Хотя польский вопрос продолжал на протяжении всего XIX в. сохранять международное значение, задача восстановления национального государства могла быть поставлена в актуальную плоскость только вследствие итогов первой мировой войны. Присущее Бибо мастерство в проведении исторических параллелей проявилось в сравнении ситуаций, сложившихся в результате третьего раздела (1795) и Первой мировой войны. Урок истории, полученный в эпоху наполеоновских войн, не был усвоен польской политической элитой. В 1918–1920 гг., пишет Бибо, «история вновь подсказала Польше возможное решение: постараться развивать свою национальную жизнь, опираясь на исконно польские территории, и отказаться от тех обширных восточных районов, где, хотя и оставались крупные владения польских помещиков, но не было значительных масс польского населения» (С. 227). Такая позиция, способная снять напряженность в отношениях с Москвой, не отвечала, однако, великодержавным устремлениям Варшавы. Воспользовавшись тяжелым положе-

нием Советской России, польская армия в 1920 г. не удержалась от искушения перейти установленную Антантой линию Керзона. Этот акт, по мнению Бибо, имел не только внешнеполитические, но и серьезные внутривластные последствия. В частности, именно желание любой ценой удержать свои восточные земли предопределило отход властей от демократических методов, «ибо Польша не была уверена в лояльности населения этих территорий, а пережитые польской нацией в прошлом исторические катастрофы не позволяли рассчитывать на то, что с помощью великодушных демократических уступок ей удастся удержать эти территории» (С. 227–228).

Рижский мирный договор 1921 г. зафиксировал границы нового польского государства, далеко продвинутое к восточным границам Речи Посполитой в канун ее первого раздела, что никак не могло принять советское правительство, выступавшее за воссоединение всех украинских и белорусских земель в составе СССР. Не углубляясь в проблематику польско-советских отношений в межвоенный период (а надо заметить, что, проводя антисоветскую политику, Польша вместе с тем старалась не провоцировать крайнего обострения отношений с СССР)¹², Бибо, однако, попытался обосновать свою принципиальную позицию: независимое польское государство опять «не выдержало тот же исторический экзамен, суть которого — установление отношений доверия с Россией» (С. 228). По мнению венгерского политолога, значение войны 1920 г. заключалось, помимо всего прочего, в формировании негативного образа Польши в советском политическом сознании: это государство и особенно его восточные территории, незаконно присвоенные с точки зрения СССР, расценивались в качестве «символического плацдарма для враждебных акций, угрожавших новой социалистической империи со стороны капиталистического мира» (С. 228).

Известно, что в сентябре 1939 г. существование независимого польского государства было принесено в жертву советско-германскому сближению. Итоги Второй мировой войны заставили советское правительство пересмотреть свою позицию в отношении Польши. Сталин в апреле 1944 г., встречаясь с польским эмигрантским политиком С. Орлеманским, говорил о своем стремлении возродить политику Грюнвальда¹³. Несколько более развернуто он изложил суть поворота в политике СССР в беседе с польской делегацией в августе того же года¹⁴. Установки СССР в отношении места и роли Польши в послевоенной Европе были наиболее откровенно сформулированы в январе 1944 г. в записке, подготовленной комиссией Наркоминдела под руководством И. М. Майского: «Целью СССР должно быть создание независимой и жизнеспособной Польши, однако мы не заин-

тересованы в нарождении слишком большой и слишком сильной Польши. В прошлом Польша почти всегда была врагом России, станет ли будущая Польша действительным другом СССР (по крайней мере на протяжении жизни ближайшего поколения), никто с определенностью сказать не может. Многие в этом сомневаются, и справедливость требует сказать, что для таких сомнений имеются достаточные основания. Ввиду вышеизложенного осторожнее формировать послевоенную Польшу в возможно минимальных размерах, строго проводя принцип этнографических границ»¹⁵. Новая восточная граница польского государства в основном совпадала с линией Керзона, пересмотренной в пользу Польши, в частности, в районе Белостока. Области Западной Украины и Западной Белоруссии, Виленский край были включены в состав СССР, произошел обмен населением по этническому принципу. В вопросе об отношении к западным границам польского государства в позиции СССР произошли, однако, подвижки, причину которых невозможно понять в отрыве от внутривнутриполитической ситуации в Польше, где с первых месяцев после освобождения от Германии доминировали левые силы, в той или иной мере готовые к проведению просоветской политики. В качестве компенсации за утраченные восточные земли новая Польша при содействии СССР получила Силезию, часть Померании и Восточной Пруссии, при этом великими державами-победительницами ей была предоставлена возможность полного выселения с этих территорий немецкого населения. Став основным гарантом новых западных границ Польши, Советский Союз теснее привязал ее к себе. Необходимость союза с СССР в противодействии возможным в будущем реваншистским устремлениям Германии трудно было отрицать даже самым последовательным оппонентам коммунистов. Известно, в частности, с какой настороженностью был воспринят польской политической элитой (отнюдь не только на ее левом фланге) ряд выступлений У. Черчилля 1946 г., давших основания увидеть в позиции лидера британских консерваторов некоторые сомнения в целесообразности столь радикального пересмотра польско-германских границ. Вопрос об оценке европейским общественным мнением в 1940-е гг. новых границ Польши с точки зрения их оптимальности для национального развития заслуживает самостоятельного изучения. Обращает на себя внимание, что либеральный политолог в стране с глубокими полонофильскими традициями (речь идет о венгре И. Бибо) в 1946 г. воспринял компенсацию, полученную Польшей от СССР и его союзников как чрезмерную (!), чреватую новыми осложнениями в центре Европы.

Главные проблемы чешской истории, по мнению Бибо, также были порождены несовпадением национально-языковых и государст-

венно-исторических границ. В чешских землях не только чехи, но и немцы со времен средневековья обладали развитым богемским (можно добавить, также и моравским) самосознанием. Этому способствовало сохранение исторических рамок чешской государственности в структуре монархии Габсбургов — при том, что вследствие Тридцатилетней войны (первая половина XVII в.) эта государственность была чисто фиктивной. Между тем, с начала XIX в. в условиях подъема чешского и немецкого самосознания национальные движения, принимавшие все более массовый характер, уже не могли удовлетвориться идеей исторической Чехии; чехи все чаще находили себе опору в солидарности славянских народов, а немцы — в пангерманизме. Возникновение чехословацкой идеи Бибо рассматривал как производную от идеи славянской. Проживавшие на севере исторической Венгрии словаки, испытывая все большее отчуждение от венгерской государственности, ориентировались на чехов, которые в свою очередь в духе славянской взаимности совершали встречное движение.

Утвердившееся при поддержке Антанты в центре Европы молодое чехословацкое государство было пестрым по национальному составу. При этом из населявших его народов одни лишь чехи могли считать его воплощением собственной государственно-исторической традиции. Судетских немцев, составлявших 3 млн, связывала с новым государством лишь историческая, но не этническая близость. Словаков (а также русин), проживавших на землях венгерской короны — этническая, но не историческая. Венгерские по национальному составу земли не были связаны с чехословацким государством ни этническими, ни историческими узами, в Чехословакии они оказались в результате своего рода «случайности», а именно так, считает Бибо, можно квалифицировать достаточно произвольное проведение границы между Чехословакией и Венгрией в условиях формирования Версальской системы.

Все вышесказанное предопределяло сложность национального вопроса в межвоенной Чехословакии. Национальные противоречия власти пытались разрешить путем последовательной демократизации. Как небезосновательно заметил Бибо, «ориентация нового чехословацкого государства на демократическое развитие была более интенсивной по сравнению с его восточноевропейскими соседями не только потому, что чешское общество достигло гораздо более высокого уровня буржуазного развития, индустриализации страны, чем поляки и венгры, но и потому, что оно было более оптимистичным» (С. 233). Чешский исторический опыт нового времени в самом деле не знал таких сокрушительных поражений, какими были 1795 г. для поляков и 1849 г. для венгров. Именно политический оптимизм чеш-

ского и словацкого общества, считает Бибо, помог межвоенной Чехословакии стать настоящим оазисом демократии в регионе. «Чехи имеют все основания утверждать, что судьбу немцев или венгров в чехословацком государстве никак нельзя назвать невыносимой» (С. 234).

Вместе с тем, поскольку при образовании чехословацкого государства акцентировался этнический принцип, немецкое, а тем более венгерское население ощущало себя отчужденным от новой государственности. «Положение их было вполне сносным, однако нелепым был сам факт их пребывания в составе страны чехов и словаков, обретших друг друга на основе славянского братства» (С. 234). Чехословацкая политическая элита, однако, и слышать не хотела о какой-либо корректировке границ в соответствии с этническим принципом. Все более осознавая, что демократия не оградит их государство от влияния центробежных сил, окружение Масарика и Бенеша со все большим упорством отстаивало на международной арене принцип незыблемости территориальных границ, установленных в рамках Версальской системы. Жесткость этой позиции не способствовала разрешению спорных проблем, а напротив, считает Бибо, вела к их усугублению. Среди множества факторов, направивших европейское развитие по пути к катастрофе, по мнению Бибо, сыграло свою роль и отсутствие должной гибкости в чехословацкой внешней политике. Небеспристрастная позиция Бибо вне всякого сомнения отразила неприятие венгерским политическим сознанием (не только консервативным, но и либеральным) Версальской системы, не просто узаконившей расчленение исторической Венгрии, но — что важнее было для либерала Бибо — оставившей за пределами нового венгерского государства около 3 млн соотечественников, в том числе полмиллиона в Чехословакии вдоль венгерской границы.

Ужесточение требований гитлеровской Германии в отношении заселенных немцами областей Чехии привело к кризису чехословацкой государственности. В 1938 г. окончательно выяснилось, что не только немцы и венгры, но и значительная часть словаков хочет добиться национального самоопределения вне рамок государства, основанного в 1918 г. Т. Г. Масариком. По мнению Бибо, это обстоятельство заметно повлияло на позицию западных держав, в конце концов, согласившихся на раздел исторической Чехии (и шире — Чехословакии) на основе этнического принципа. Мюнхенский договор означал, однако, не просто раздел страны, а полное ее подчинение фашистской Германии. Как и в случае с Польшей 1930-х гг., длительный исторический процесс нарастания центробежных тенденций в многонациональном государстве нашел развязку вследствие грубого внешнего вмешательства. Причем факт грубого насилия,

считает Бибо, помешал чехам (как и полякам на рубеже XVIII–XIX вв., а также в 1939 г., в условиях нового раздела) увидеть за произошедшим проявление логики истории, определенную закономерность распада достаточно искусственной полиэтничной конструкции, ставшей продуктом конкретной исторической ситуации.

Чешские политологи неоднократно отмечали социально-психологические последствия мюнхенскогоговора, его влияние на общественные настроения в Чехии — речь идет, в частности, о разочаровании в западной демократии, усилении левых, социалистических тенденций в массовом политическом сознании, обращении интеллигенции к славянской идее, в конкретных условиях второй половины 1940-х гг. предполагавшей просоветскую политическую ангажированность. Один из видных идеологов «пражской весны» 1968 г. З. Млынарж следующим образом объяснил уже в начале 1990-х гг. мотивы приверженности многих интеллигентов своего поколения идее «социализма с человеческим лицом»: «У поколений, которые были причастны к событиям 1968 г., имелся и опыт до 1948 г., и довоенный опыт. Мы хорошо представляли себе, что означают парламентаризм, многопартийная система. Не надо нас считать наивными. Мы прекрасно понимали, что в 1938 г. и парламентаризм, и многопартийная система оказались слишком слабыми, чтобы защитить существование национального демократического государства от гитлеризма. Наши западные союзники — Англия и Франция — пошли на мюнхенскийговор, продав тем самым Чехословакию Гитлеру. Все это имело значение. Ведь люди принимают решения, исходя не только из своих идеологических убеждений, но и учитывая исторический опыт. А он тогда был именно таким»¹⁶.

На социально-психологических последствиях мюнхенскогоговора концентрирует свое внимание и Бибо: чехи с горечью ощущали, и с полным на то основанием, что «Европа бросила их на произвол судьбы, а национальные меньшинства нанесли им удар в спину». В результате «политический облик чехословацкого государства, возрожденного после постигшей его катастрофы, теперь уже омрачала та же неизгладимая память о катастрофах, которая была свойственна польской и венгерской нациям» (С. 235). Чешская элита подобно польской в 1920–1930-е гг. теперь уже не питает надежд на то, что демократия поможет ей сплотить многоязычное общество в политически единое целое. В 1946 г. Бибо мог наблюдать, что не только и не столько левые, сколько окружение Бенеша, продолжавшее ориентироваться на западные модели демократии, демонстрировало вместе с тем непримиримость в решении национального вопроса. Причем если, к примеру, в Польше и Румынии 1920–1930-х гг., в Венгрии по-

сле венских арбитражей в начале 1940-х гг. разочарование в демократических методах разрешения национальной проблемы проявлялось в политике мелочного притеснения меньшинств в использовании родного языка и в их деэтнификации, то власти Чехословакии пошли гораздо дальше, выдвинув программу выселения неславянских национальных меньшинств, поддержанную великими державами-победительницами там, где дело касалось немцев, и лишь отчасти поддержанную применительно к венграм¹⁷. Венгерский политолог, писавший свою работу в момент обострения отношений Чехословакии и Венгрии вследствие требований Праги об осуществлении неравного обмена населением между двумя странами¹⁸, прокомментировал чехословацкую позицию следующим образом: «Если это и безумие, то в своем роде последовательное: чехи желают демократии для себя, желают обеспечить своей стране покой от национальных меньшинств, но при этом не хотят поступиться ни пядью своей территории, то есть желают иметь все сразу. Однако за этими притязаниями на все сразу стоит не сознание собственной силы, а страх, порожденный памятью о пережитой катастрофе» (С. 236).

Резюмируя проделанный в работе анализ этнополитических процессов в Средней Европе в новое и новейшее время, Бибо приходил к выводу, что как поляки, так и чехи, и венгры¹⁹ в разное время и в разных условиях «питали надежду, что демократия и свобода станут той силой, которая будет способствовать сплочению в единое целое ориентирующегося в разных направлениях разноязычного населения» (С. 236). Эти надежды, однако, оказывались тщетными, внедрить единое национальное сознание на унаследованных исторических территориях не удавалось. Более того, в противостоянии силам европейской реакции не удавалось заручиться поддержкой собственных национальных меньшинств (под проводимые здесь параллели Бибо подверстывал и новый раздел Польши в 1939 г., что было достаточно смелым жестом в условиях Венгрии 1946 г.). Европа бросала на произвол судьбы поляков в 1795, 1815 и 1939 гг., венгров в 1849 и 1920 гг., чехов в 1938–1939 гг., хотя в целом ряде случаев (1795, 1849, 1938–1939) речь шла о национальных движениях, шедших в авангарде европейского прогресса. Несправедливость, констатирует Бибо, «казалась столь явной, что возникала иллюзия, будто и сам распад исторических рамок в целом произошел лишь в силу случайного стечения обстоятельств, воздействия факторов власти и принуждения» (С. 237). Казалось, что с устранением источников насилия не останется серьезных препятствий для восстановления государств в их исторических рамках, более широких, нежели границы титульных национальных сообществ. С точки зрения Бибо, губи-

тельные иллюзии следовало бы развеять в интересах самих наций; подлинное благодеяние полякам, венграм и чехам оказал бы «тот, кто ликвидировал бы рамки исторических государств, строго сообразуясь с этническим принципом и принципом самоопределения» (С. 238). Конечно, распад исторических государств не может не вызвать длительной болезненной реакции, но, по мнению венгерского политолога, она не усугублялась бы страданиями притесняемых за границей соотечественников, отрезвляюще подействовало бы и отсутствие жалоб на свою судьбу со стороны тех, кто оказался в составе других государств, не стремясь при этом вернуться в рамки прежних государственных образований. В обществе, считает Бибо, «смогло бы сложиться такое настроение, которое позволило бы осознать неизбежность частичной потери исторических территорий, и рано или поздно эти страны смирились бы со своими новыми границами, подкрепленными реальным, объективным положением» (С. 238).

Трезво оценивая современную ситуацию, Бибо, однако, воздерживался от слишком оптимистических прогнозов. В самом деле, в Чехословакии, еще недавно бывшей гордостью европейской демократии, как политическая элита, так и массы настолько разочаровались в демократических принципах как силе межнационального сплочения, что, оказавшись перед выбором между приверженностью идеям демократии и своими территориальными притязаниями, власти без колебаний выбрали второе, напроочь отбросив даже видимость демократических методов. Тяжелые душевные потрясения, вызванные последствиями войны, повергли чехов, как и поляков, в такое психологическое состояние, что «они были способны лишь предъявлять претензии мировому сообществу, забывая при этом о своих обязанностях и ответственности» (С. 239) по отношению к собственным национальным меньшинствам. Последнее касалось не только словацких венгров, но в первую очередь немцев в Чехии и Польше. Поднимая в 1946 г. вопрос о несправедливостях в отношении мирного немецкого населения, Бибо не побоялся в данном случае пойти вразрез доминировавшей в европейском общественном сознании тенденции, в соответствии с которой массовое выселение немцев из стран Восточной Европы рассматривалось как не только законная, но и адекватная в моральном отношении мера, поскольку нация, виновная в развязывании войны, должна понести коллективную ответственность, пройти через серьезное искупление. Бибо признавал, что после Второй мировой войны Европа не может не чувствовать себя в долгу перед Польшей и Чехословакией, а потому ей неизбежно пришлось бы пойти навстречу некоторым их претензиям в национально-территориальном вопросе. Однако столь крупномас-

штабное (измеряемое не в тысячах, а в миллионах людей) насильственное переселение народов не только не приведет, по его мнению, к полной душевной умиротворенности наций, решившихся на столь беспрецедентный шаг, но вызовет тяжелый «кризис совести», последствия которого еще долго будут сказываться на взаимоотношениях европейских стран.

Построения Бибо не просто отражали сиюминутную реакцию венгерского политического сознания на острый венгерско-чехословацкий национально-территориальный конфликт. Они строились на иллюзиях длительного мирного сосуществования в рамках сложившейся антифашистской коалиции, создающего предпосылки для продвижения (пускай и небезболезненного) стран Центральной и Восточной Европы по пути демократии. Холодная война внесла, однако, в скором времени свои коррективы в ход событий. На ближайшие сорок лет демократическая перспектива оказалась совершенно несбыточной для стран, в соответствии с договоренностью великих держав отнесенных к сфере влияния СССР. С другой стороны, Советский Союз был совсем не заинтересован в сохранении, а тем более усилении центробежных тенденций в лагере, в раздувании национально-территориальных противоречий. Венгерско-чехословацкие разногласия к концу 1940-х гг. урегулируются на компромиссной основе под бдительным оком «старшего брата», проблема переселения не отягощала и отношения между Польшей и ГДР. Логика истории посрамила как чересчур пессимистические прогнозы крупного венгерского политолога, писавшего в 1946 г., что еще весьма далеко то время, когда средневропейские нации «обретут свои, уже привычные для них и никем не оспариваемые рамки» (С. 240). Проблема заключалась лишь в цене, которую предстояло уплатить народам региона за достигнутое видимое спокойствие в общем доме.

Примечания

¹ Первая большая подборка работ И. Бибо на русском языке была опубликована в Будапеште в 1991 г. в специальном выпуске издававшегося в то время в Венгрии русскоязычного общественно-научного журнала «Венгерский меридиан» (1991. № 2). Отдельные статьи и прочие тексты Бибо публиковались в других изданиях (см. ниже). В настоящее время совместная российско-венгерская комиссия историков включила в свои приоритетные планы подготовку большого сборника работ И. Бибо на русском языке.

² Главы из этой книги см.: Венгры и Европа. Сборник эссе / Составители В. Середы и Й. Горетить. Предисловие и комментарии В. Середы. М., 2002. С. 224–259.

- 3 Текст воззвания см.: Венгерский меридиан. Будапешт, 1991. № 2. С. 108–109. См. в том же издании заметки Бибо от 27–29 октября, в которых он попытался теоретически осмыслить общеполитические задачи, актуальные для венгерской революции (С. 112–122).
- 4 См. его доклад о компромиссном урегулировании венгерского вопроса от 6–9 ноября 1956 г.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы / Редакторы-составители Е. Д. Орехова, В. Т. Середя, А. С. Стыкалин. М., 1998. С. 613–618. См. также подготовленную им в декабре 1956 г. совместно с другими политиками партии Петефи и партии мелких хозяев Декларацию об основных принципах государственного, общественного и экономического устройства Венгрии и путях преодоления политического кризиса (С. 725–729).
- 5 См. его работу, писавшуюся в январе–апреле 1957 г.: *Бибо И.* Положение в Венгрии и мировая обстановка // Мост. Будапешт, 1992. № 1/2. С. 30–37.
- 6 См.: Венгерский меридиан. Будапешт, 1991. № 2. С. 11–38, 83–107.
- 7 *Bibó I. Válogatott tanulmányok / Vál., utószó: Huszár T., jegyz.: Vida I., Nagy E.* Budapest, 1986. Köt. I–III.
- 8 Венгры и Европа. Сборник эссе. С. 487.
- 9 См.: *Стыкалин А. С.* К вопросу о славянском самосознании интеллигенции в странах Центральной Европы (вторая половина 1940-х – 1960-е годы). По документам российских архивов // Автопортрет славянина. Библиотека Института славяноведения РАН. М., 1999. Вып. 12. С. 241–255.
- 10 В 1947 г. в венгерской газетно-журнальной периодике состоялась целая дискуссия по проблеме немецкого культурного влияния в Венгрии на протяжении веков. Господствовавшие в венгерском обществе умонастроения лучше всего характеризует следующий факт. Согласно независимым социологическим опросам, проведенным в декабре 1945 г., 78% опрошенных высказались за выселение с территории страны этнических немцев (Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 128. Д. 913. Л. 155).
- 11 Венгры и Европа. Сборник эссе. С. 226 (в дальнейшем ссылки на работу Бибо даются по настоящему изданию с указанием в скобках номера страницы).
- 12 Так, например, в январе 1939 г. ее министр иностранных дел Ю. Бек в беседе с германским коллегой И. Риббентропом мотивировал отказ присоединиться к Антикоминтерновскому пакту тем, что подписав такое соглашение, Польша не смогла бы сохранить то «мирное соседство с Россией, в котором она нуждается для своего спокойствия» (Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. / Отв. редакторы В. К. Волков и Л. Я. Гибианский. М., 1999. С. 119).
- 13 *Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А.* Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории. М., 2002. С. 30.

- 14 «Тов. Сталин заявляет, что первый раз поляки и русские шли вместе при Грюнвальде, когда они разбили немцев. Потом у поляков с русскими были ссоры. В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, был министр иностранных дел Ордин-Нащокин, который предлагал заключить с поляками союз. За это его прогнали. Теперь нужен поворот. Война многому научила наши народы» (Запись беседы Сталина с делегацией правительства Польши в эмиграции во главе с премьер-министром С. Миколайчиком 3 августа 1944 г. См.: Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Документы / Отв. редактор Т. В. Волокитина. М., 1999. Т. 1. 1944–1948. С. 74).
- 15 Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940–1946. Документы / Отв. редактор Т. М. Исламов. М., 2000. С. 222.
- 16 *Мльнарж Ж.* Восточная Европа на историческом переломе // Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели развития. М., 1992. С. 77.
- 17 См.: Национальный вопрос и национальные меньшинства в Восточной Европе. 1944–1948 годы (Материалы Круглого стола) // Славяноведение. № 5. С. 90–105. Подготовил А. С. Стыкалин.
- 18 Там же.
- 19 Анализ в его работе особенностей исторического развития Венгрии в XIX–XX вв. остался за пределами нашего внимания.

Е. П. Серапионова
(Москва)

Дружба длиной в полстолетия

Несколько лет назад пражский институт Т. Г. Масарика и Матица Словенска (г. Мартин) осуществили двухтомное издание документов, повествующих об отношениях британского историка, публициста, издателя, специалиста по Центральной и Восточной Европе Р. В. Сетона-Ватсона (1879–1951) с чехами и словаками почти за полувековой период¹. Это издание уже по достоинству оценено специалистами разных стран², но пока не получило еще откликов в нашей стране. Как правило, значение документальной публикации, если оно выполнено на должном научном уровне, не теряется со временем, что, к сожалению, не всегда относится к историческим сочинениям. Именно поэтому мы и решили обратить внимание российского читателя на этот сборник.

Редакторы-издатели: Ян Рыхлик, Томас Д. Марзик и Мирослав Биелик. Официальные рецензенты — ведущие чешские и словацкие специалисты Я. Гавранек, Д. Ковач и Р. Квачек. Издание осуществлено при финансовой поддержке парижского фонда «Во имя прогресса человека» (Pour le Progrès de L'Homme) и пражского коммерческого банка.

Первый том предваряет предисловие на английском и чешском языках, написанное Т. Д. Марзиком и Я. Рыхликом, и введение, принадлежащее перу Кристофера Сетон-Ватсона (также на двух языках). Далее следует список сокращений названий 10 архивов и документальных хранилищ Чехии, Словакии и Великобритании, где были выявлены публикуемые документы. Всего в издание вошли 228 документов, датированных 1906–1951 гг. В приложении помещен фотоиллюстративный материал. Это десять фотографий с изображением Сетон-Ватсона, одного и в группе людей, в различные годы жизни, карикатура Хуго Боедтингера на А. Колисека и Р. В. Сетон-Ватсона, а также ксерокопия письма Сетон-Ватсона М. Буровсу от 30 июня 1915 г.

Второй том представляет собой ряд дополнений к документам первого тома: в него вошло предисловие ко второму тому, список документов, перечень основных поездок, осуществленных Р. В. Сетон-Ватсоном в 1905–1946 гг., библиография основных работ Р. В. Сетон-Ватсона о чехах и словаках, а также именной и географический указатели.

В предисловии к первому тому подчеркивается, что личность Роберта Вильяма Сетон-Ватсона выбрана не случайно, так как он был одним из самых больших друзей чехов и словаков за рубежом. Он родился в Лондоне 20 августа 1879 г. Родители его были шотландцами. Образование он получил в Англии, в 1902 г. окончив университет в Оксфорде. Сетон-Ватсону как шотландцу были близки проблемы малых наций. В 1908 г. в Лондоне вышла в свет одна из его первых работ, названная «Национальные проблемы в Венгрии». Она была опубликована под псевдонимом Скотус Виатор («Racial Problems in Hungary» under pseudonym Scotus Viator). Благодаря этой книге англоязычный мир узнал о словацкой нации и проблемах словаков в Венгрии.

В годы Первой мировой войны Сетон-Ватсон помогал Т. Г. Масарику и чехословацкому освободительному движению в создании независимого государства. С 1922 г. Сетон-Ватсон занял место Масарика на кафедре Центрально-европейской истории в Школе славяноведения и восточно-европейских исследований Лондонского университета. Позже с 1945 по 1949 гг. он возглавлял кафедру Чехословацкой истории при Оксфордском университете и являлся основным знатоком и специалистом по Чехословакии в Великобритании. В течение десятилетий его труды на английском языке являлись авторитетнейшим источником по чешским и словацким проблемам для студентов и всех интересующихся историей чехов и словаков.

В Первой Чехословацкой республике (1918–1938) Скотус Виатор (он был более известен там под этим именем) пользовался большим уважением как верный друг Чехословакии. Однако после Второй мировой войны, в годы коммунистического режима Сетон-Ватсон был объявлен защитником буржуазных порядков, и его имя постепенно было предано забвению.

В 1976 и 1988 гг. соответственно вышли сборники документов о связях Сетон-Ватсона с югославянами и румынами. Публикации были предприняты по инициативе его старшего сына Хью. Но в Чехословакии подобное издание стало возможным лишь после бархатной революции и падения тоталитарной системы. К тому времени Хью уже скончался, и эта задача легла на плечи его младшего брата Кристофера. Ярослав Опат — директор Института Т. Г. Масарика в Праге — и Мирослав Биелик — директор Словацкой национальной библиотеки Матицы Словацкой в Мартине — поддержали идею публикации. Практическую работу по изданию взяли на себя М. Биелик, а также научный сотрудник Института Т. Г. Масарика д-р Ян Рыхлик и профессор истории Университета св. Йозефа из Филадельфии

(Пенсильвания), словак по происхождению, Томас Д. Марзик, который начинал свою научную карьеру в Лондоне с исследования о Сетон-Ватсоне и словаках. Сын Р. В. Сетон-Ватсона Кристофер не только подготовил в сотрудничестве с Рыхликом и Марзиком введение, но и составил схему маршрутов путешествий отца, предоставил для публикации основные документы, находившиеся в его личном архиве, а также участвовал в издании книги на всех его этапах.

Во введении он кратко сообщает основные биографические сведения об отце, а также рассказывает о первых знакомствах отца со словаками и чехами в Австро-Венгрии, где с мая 1907 г. тот был корреспондентом британского издания «Spectator». Среди первых друзей Сетона были такие словацкие деятели как юрист, журналист и государственный деятель Милан Годжа (1878–1944), юрист, журналист, писатель, поэт, лидер Словацкой национальной партии Светозар Гурбан Ваянский (1847–1916), социолог, политик, общественный и культурный деятель, редактор и публицист Антон Штефанек (1877–1964), политик, юрист, адвокат Эмил Стодола (1862–1945), а также чешский историк искусства словакофил Алоис Колисек (1868–1931). Тесные личные связи он поддерживал с ними долгие годы, доказательством чему является их корреспонденция, опубликованная в этом издании. С момента первого знакомства со Словакией Сетон-Ватсон полюбил ее искусство и людей. Он старался рассказать всему миру правду о преследованиях словаков в Венгрии.

Следующий жизненный этап Р. В. Сетон-Ватсона, описанный его сыном во введении и, конечно же, отраженный в документах, относится ко времени Первой мировой войны и его связям с Томашем Гарригом Масариком. В 1916 г. вместе с Т. Г. Масариком Р. В. Сетон-Ватсон начинает издавать еженедельник «The New Europe», тогда же он знакомится с Эдуардом Бенешем и Миланом Растиславом Штефанеком, которые произвели на него сильное впечатление. С мая 1917 г. Сетон-Ватсон работает в управлении информации, а затем в департаменте пропаганды британского Разведывательного бюро. Сетон-Ватсон принимал участие в Парижской мирной конференции, и, хотя он не имел официального статуса, его роль в закулисной политике была не малой.

Р. В. Сетон-Ватсон поддерживал тесные отношения с чехами и словаками и в межвоенный период. Интересный сюжет связан с его поездкой в Чехословакию в 1923 г. с целью на месте разобраться в причине обострения чешско-словацких отношений. Результатом этой поездки стала небольшая книга «Новая Словакия», опубликованная в Праге годом позже. Сетон еще несколько раз приезжал в Чехословакию (в 1927, 1928, 1929, 1936 и 1937 гг.). Особенно длительной и

обстоятельной была его поездка вместе с женой по Словакии и Подкарпатской Руси весной-летом 1928 г. Именно тогда он был удостоен звания почетного гражданина города Турчански Сваты Мартин. С 1919 г. Р. В. Сетон-Ватсон состоял почетным доктором философии Карлова университета, а в 1928 г. был также избран почетным доктором философии университета Я. А. Коменского в Братиславе. Когда же его чешские и словацкие знакомые приезжали в Лондон, он принимал их у себя. В 1931 г. Сетон издал книгу «Словакия тогда и сейчас». Ее авторами были 25 наиболее заметных словацких государственных, политических и общественных деятелей, среди них М. Годжа, В. Шробар, А. Глинка, Э. и К. Стодолы, Ш. Осуский и другие. Сетон-Ватсон регулярно знакомился с чешской и словацкой прессой, поддерживал переписку со своими друзьями из ЧСР. В 1937 г. в Ружомбероке был открыт памятник в честь Р. В. Сетон-Ватсона.

Кристофер специально останавливается на позиции и действиях отца, не согласного с изменением чехословацких границ, в ходе мюнхенского кризиса. В годы так наз. «второй чехословацкой республики» (сентябрь 1938 — март 1939) по желанию Глинки памятник Сетон-Ватсону в Ружомбероке был убран. Второго марта 1939 г. вышла книга Сетон-Ватсона «Мюнхен и диктаторы», посвященная Э. Бенешу.

Р. В. Сетон-Ватсон не порывал контактов с чехами и словаками и в годы Второй мировой войны, способствуя признанию Чехословацкого национального комитета британским правительством. В 1939–1942 гг. Сетон работал в Иностранной аналитической пресс-службе, а затем в Политическом и разведывательном управлении Министерства иностранных дел. После этого он вернулся к научной и преподавательской деятельности. В феврале 1943 г. увидела свет его книга «Масарик в Англии», посвященная сыну Масарика Яну. А в декабре того же года выходит новая работа — «История чехов и словаков».

В послевоенные годы Р. В. Сетон-Ватсон полностью посвящает себя чехословацкой истории в широком международном контексте. Он возглавил в Оксфорде созданную на грант правительства Чехословакии кафедру Чехословацких исследований (1945–1949). Последний раз он с женой, старшим сыном Хью и дочерью Мэри побывал в Чехословакии в 1946 г. по приглашению чехословацкого правительства.

Рассказывая об определенном этапе жизненного пути отца, Кристофер ссылается на номера соответствующих документов и часто цитирует письма своей матери, сопровождавшей мужа в поездках по Центральной и Юго-Восточной Европе, а также на его работы и лекции.

В книгу вошли документы из различных архивных хранилищ, фондов и личных коллекций. Наиболее ценными из них являются материалы Р. В. Сетон-Ватсона из архива Школы славяноведения и восточноевропейских исследований Лондонского университета (RWS-WP), а также его личные дневники и письма из семейного архива Кристофера Сетон-Ватсона (CS-WA).

Часть вошедших в сборник документов выявлена в архиве британского Министерства иностранных дел. В книге помещены также документы из чешских и словацких архивов: пражских Архива национального музея (ANM) и Архива Масарика, хранящегося в архиве Института Т. Г. Масарика (AÚTGM MA), Словацкого национального архива (SNA) в Братиславе и Архива литературы и искусства Матицы словацкой (ALU MS) в Мартине.

Большая часть материалов опубликована по оригиналам, но иногда авторы сборника были вынуждены обращаться к копиям или черновым записям. Можно только приветствовать стремление составителей включить в сборник в основном ранее не публиковавшиеся материалы. Однако полностью провести этот принцип отбора документов все-таки не удалось, и для ряда наиболее важных документов было сделано исключение. В издание вошли документы, ранее частично или полностью публиковавшиеся в следующих книгах:

1. *R. W. Seton-Watson. Masaryk in England.* Cambridge, 1943;
2. *Hugh and Christopher Seton-Watson. The Making of a New Europe: R. W. Seton-Watson and the Last Years of Austria-Hungary.* London, 1981;
3. *Hugh Seton-Watson. Anton Štefánek and R. W. Seton-Watson // Bohemia. Vol. 18 (1977). S. 226–254;*
4. *R. W. Seton-Watson's Three Memoranda from 1935–1938, ed. Christopher Seton-Watson // Bohemia. Vol. 30, № 2 (1989). S. 375–385.*

Сами авторы публикации объясняют это обстоятельство малой доступностью этих книг в Чехии и Словакии. Составители сборника попытались собрать все наиболее важные документы, касающиеся личных и профессиональных контактов Сетон-Ватсона с чехами и словаками в первой половине XX столетия. Эти документы в определенной степени позволяют судить и об англо-чехословацких отношениях в целом. В предисловии авторы сборника выражают надежду, что эта публикация послужит первым шагом к должной научной оценке роли Сетон-Ватсона в чешской и словацкой истории.

Авторы сборника следуют утвердившейся в последние годы за рубежом практике публикации материалов на языках оригинала,

что, с нашей точки зрения, является единственно правильным, так как это позволяет избежать неизбежных при переводе искажений текста. В данной публикации документы по преимуществу воспроизводятся на языке оригинала, по большей части — на английском. Сетон-Ватсон владел чешским и словацким языками лишь пассивно, для него не составляло сложностей читать на чешском и словацком, но он редко говорил на этих языках. С чехами и словаками, не владеющими английским, он в основном общался на немецком (который был тогда международным языком в Центральной Европе) и французском. Сетон-Ватсон, а для близких просто Сетон, бегло говорил на этих языках.

Если существовало несколько версий документа, то выбиралась английская. Именно поэтому основной массив документов представлен на английском, несколько документов — на немецком, и лишь отдельные материалы даны на чешском, словацком и французском языках. Авторы публикации старались сохранить идентичность документа, поэтому исправлялись лишь типографские погрешности и описки. Иногда в тексте дается современное чешское или словацкое название.

Публикация прежде всего предназначена для чешского и словацкого читателя, но, естественно, представляет интерес и для иностранных читателей, интересующихся чешской и словацкой историей и владеющих английским языком. Для удобства пользователей каждый документ имеет заголовок. В подзаголовке излагается его краткое содержание на английском и чешском (или словацком) языках, а также указывается место происхождения документа и его дата. Документы не содержат развернутых комментариев, но все имена, упоминающиеся в тексте, раскрываются в именном указателе II тома.

Материалы сборника помещены в хронологическом порядке. Лишь в некоторых случаях этот принцип нарушается, что связано, по признанию самих авторов, желанием представить некоторые документы тематическим блоком.

Географические названия даются в соответствии с современным написанием и воспроизводятся в географическом указателе во втором томе.

Данное издание является ярким примером международного сотрудничества, проявившегося в создании конкретного труда. В работе над публикацией участвовал большой коллектив людей, включая переводчиков, составителей указателей, наборщиков компьютерного текста, редакторов, консультантов и других сотрудников.

Данная публикация очень тщательно подготовлена в смысле археографической обработки документов и необычайно богата в со-

держательном плане, во многом пополняя наши знания чешской и словацкой истории. Весьма мудро и актуально звучат слова одной из лекций Р. В. Сетон-Ватсона о том, что ключевое положение чехов и словаков между Востоком и Западом оставляет им единственную надежду на сохранение независимости, оставаясь друзьями и союзниками как Запада, так и Востока. Сетон-Ватсон верил, что это по силам этим малым нациям.

Примечания

- ¹ R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906–1951. Praha. Ústav T. G. Masaryka, Praha, Matica slovenská, Martin, 1995. 1 sv. 648 S., 2 sv. 241 S.
- ² См.: Mikula S. R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks: Documents 1906–1951, 2 Volumes, Prague. Ústav T. G. Masaryka and Martin, Matica slovenská 1995 // Kosmas. Vol. 13. № 1, Fall 1998. P. 232–234; Winkler T. Velký priateľ Slovákov. R. W. Seton-Watson: Dokumenty 1, 1906–1951. Ústav T. G. Masaryka – Matica slovenská 1995 // Literárny týždenník. Č. 48, 1995, 24.11.1995; Jakešová E. R. W. Seton-Watson and His Relations With the Czechs and Slovaks / Ed. J. Rychlík, Th. D. Marzik, M. Bielik. Martin, Ústav T. G. Masaryka, Matica slovenská, 1995. Zv. I. 648. Zv. II. 241 // Historický časopis, 44, 1996. Č. 4. S. 707–708; Bellová V. Krst reprezentatívneho diela (R. W. Seton-Watson: Documents...) // Slovenské národné noviny, 40/1996. S. 2; Winters S. B. Gala Reception for Book of Seton-Watson Documents // Bohemia, Band 38 (1997). S. 201–203 (zpráva); Wingfield N. M. Jan Rychlík, Thomas D. Marzik and Miroslav Bielik / Eds. R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents, 1906–1951. 2 vols. Ústav T. G. Masaryka and Matica slovenská, 1995 // Nationality Papers. Vol. 25. № 4, 1997. P. 778; Felak J. R. Jan Rychlík – Thomas D. Marzik and Miroslav Bielik / Eds. R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks: Documents 1906–1951. 2 vol. Ústav T. G. Masaryka, Matica slovenská Martin. 648 + 241 pp. // H-Net Reviews, Habburg, March 1998; Burian P. R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents. R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechům a Slovákom. R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom. Dokumenty. 1906–1951. Editors / editori: Jan Rychlík – Thomas D. Marzik-miroslav Bielik. 2 Bde, Ústav T. G. Masaryka. Praha, Matica slovenská, Martin, 1996. 648 S. 14 Abb. a. Taf. // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 48 (1999). Heft 1. S. 137–138; Pynsent R. B. Rychlík Jan, Marzik Thomas D. and Bielik Miroslav (eds): 1906–1951 R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks: Documents/Dokumenty 1906–1951, 2 vols. Ústav TGM – Matica slovenská, Praha – Martin 1995–1996, 648 pp. and 241 pp. // The Slavonic and east European Review. Vol. 77. № 4, October 1999. P. 762–763; Wessel M. S. R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Docu-

ments 1906–1951 / Hrsg. V. Jan Rychlík. Thomas D. Maryik unnd Miroslav Bielik. Banská Bystrica, 1995/1996, 2 Bde. 648 plus 241 S. // Bohemia, Band 40 (1999), S. 540–542; *Cornwall M. R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Austrian History Yearbook. Vol. XXXI, 2000. P. 215–217; Annotation on R. W. Seton-Watson // NewsNet, The Newsletter OF American Association for the Advancement of Slavic Studies. Vol. 38. № 2. March 1998. P. 14.*

Национальные идеи и их геополитические проекции (Восточная, Центральная и Юго-Восточная Европа)

Продолжая цикл ежегодных конференций, проводимых в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры и посвященных славянской идее (в мае 2002 г. состоялась десятая по счету), Отдел восточного славянства ИСЛ РАН на этот раз внес в его концепцию ряд существенных изменений. Если раньше обсуждению подлежали прежде всего макро- или мультиславянские идеи, то теперь их круг расширился за счет национальных идей отдельных народов, в первую очередь, украинского. В значительной мере тему конференции определила работа над проектом «Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе»¹. Отсюда и особое внимание к региональному контексту истории славянских народов: несколько докладов сделаны на неславянском материале. Такой подход важен для типологического сопоставления и позволяет определить особенности формирования славянских национальных идеологий и движений в условиях острой конфронтации с неславянскими соседями. В докладах приветствовались выход за пределы «классического» XIX в. и обращение к новейшей истории. Наконец, на конференции был предусмотрен междисциплинарный подход к освещению затрагиваемой проблематики.

Геополитические проекции национальных идей — во многом обделенный вниманием наших специалистов аспект, а между тем значение его трудно переоценить. В частности, представления о национальной территории, этом пространственном континууме, как и представления о временном, историческом континууме этноса, — весьма важный показатель зрелости национальной идеологии.

Геополитика формировалась как наука, обращенная к изучению современных процессов. Однако за время ее существования возникли такие отрасли, как историческая геополитика и история геополитических взглядов. Эта последняя определенно свидетельствует о том, что геополитическая мысль начала развиваться задолго до воз-

¹ В 2002 г. она велась по гранту РГНФ, проект № 02-01-00-291а.

никновения самого понятия геополитики. Если говорить о геополитическом постижении славянского мира и его ближайшего окружения, то нельзя не назвать имен М. П. Погодина, Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева.

Участники конференции в своих докладах и состоявшейся по ним дискуссии обратились к геополитическим аспектам политической и научной мысли, международных отношений, регионалистики и, конечно же, процесса формирования наций.

Открыл конференцию доклад д-ра ист. наук *Л. Е. Горизонтова* (Исл РАН) «Формирование представлений о национальной территории у украинцев». Память об объединении украинских земель в составе Польской короны продолжала жить на обоих берегах Днепра и после Переяславской рады, находя преломление в политике гетманов, установках и географии народных движений, казацком летописании. Однако за вторую половину XVII и почти весь XVIII в. вследствие активной политики Москвы и Варшавы углубился процесс дезинтеграции, что стало особенно очевидным после екатерининских разделов Речи Посполитой. Переход Галичины под власть Габсбургов и столетнее пребывание Холмщины в составе Царства Польского способствовали нарастанию межрегиональных различий.

В Российской империи отголоски представлений о единстве украинских земель прослеживаются как в опытах и проектах административно-территориального деления, так и в географии антиукраинских мер. Тем не менее установилась административная традиция локализации Малороссии и Украины преимущественно на Левобережье, которая все более вступала в противоречие с растущими этнографическими знаниями, что признавалось даже в дореволюционной энциклопедической литературе и особенно ярко проявилось в 1917 г., когда вопрос о границах украинской автономии был перенесен в практическую плоскость. Дополнительную сложность вносила исторически сложившаяся путаница в терминологии, усугубляемая тем, что понятия Малороссия — Украина, малороссы — украинцы приобрели наражающее политическое звучание.

Представления о национальных интересах, в том числе и о национальной территории в XIX — начале XX в. формируются будителями, начиная с кирилло-мефодиевских братчиков и «русской троицы». В старой киевской громаде 60-х гг. XIX в. организационно сплачиваются левобережники и правобережники, среди которых видная роль принадлежала польским украинофилам. С 70–80-х гг. XIX в. усиливается влияние Большой Украины на Галичину. Позднее, с превращением последней в «украинский Пьемонт» интегрирующее влияние идет также с запада на восток. Однако чем ближе становилось

знакомство жителей Поднепровья с галичанами (особенно с 1918 г.), тем очевиднее делались различия, доходившие нередко до глубокого взаимного отчуждения. Малороссийская колонизация Причерноморья — долгое время находилась вне поля зрения национального будительства и не вызывала опасений за целостность империи.

Несмотря на географическую компактность и принадлежность Галичины, Закарпатья и Буковины Габсбургской монархии, и по эту сторону межимперской границы связи между названными регионами даже в последней трети XIX в. были весьма слабыми. Лишь на рубеже веков под влиянием все того же «галицкого Пьемонта», в Закарпатье стало набирать силу украинское направление, позднее, уже в чехословацкий период, поддержанное также эмигрантами из Большой Украины.

Итог усилий национального движения XIX в. подвел Н. Михновский, писавший в 1900 г. о «единой, неделимой, свободной и самостийной Украине от Карпат до Кавказа». Намечая столь широкую геополитическую перспективу, он не оставил никаких сомнений в своих намерениях, употребив формулу «Украина для украинцев». Налицо усвоение украинским движением великодержавной имперской риторики.

Исключительно велика в судьбах Украины также роль империй-собирателей. Планы приобретения восточнославянских земель, оказавшихся за пределами Российской империи, вынашивались со времен Екатерины Великой, еще на этапе династической внешней политики. В канун и во время Первой мировой войны усилия империй и национальных движений переплетаются особенно тесно. В процессе своего становления национальное украинское государство пытается руководствоваться теми представлениями, которые были выработаны в рамках национального движения.

Если распад Российской империи привел к созданию Украинской Народной Республики, то менее года спустя в результате распада Австро-Венгрии образовалась Западно-Украинская Народная республика. Делались шаги по пути объединения двух украинских республик. Однако в межвоенный период произошло дальнейшее дробление интересующих нас земель между различными государственными организмами (четыре вместо двух прежних). Самым удачливым собирателем украинских земель оказался СССР, решавший таким образом свои глобальные геополитические задачи.

Когда в канун новой мировой войны у гитлеровской Германии наметилась возможность проводить активную украинскую политику, опираясь на плацдарм Карпатской Украины, последовала незамедлительная реакция Сталина. Присоединение к СССР зарубежной Украины в период Второй мировой войны нанесло окончатель-

ный удар по тамошнему русофильскому направлению и, наряду с включением в состав Союза Прибалтики, явилось катализатором дезинтеграционных процессов на советском пространстве.

Исторический опыт говорит о существовании украинской триады: украинизация — самостийность — соборность, каждый элемент которой сопряжен с двумя другими.

Востоочнославянский блок конференции был продолжен докладом канд. филол. наук *О. А. Остатчук* (ИСл РАН, МГУ) «Украинский литературный язык как фактор формирования представлений о национальной территории». Одна из основных характеристик литературного языка нового типа — наддиалектность, общезначимость для всей национальной территории. Украинский литературный язык в этом отношении представляет особый интерес, поскольку данная черта как раз не была изначальным условием его кодификации. Именно регионализм, специфичность языка отдельных территорий долгое время присутствовали в культурном и языковом сознании.

Переориентация литературного и языкового творчества на народную разговорную речь, начавшаяся с И. Котляревского, знаменовала также начало перестройки отношений внутри системы диалект — литературный язык. Если в формировании староукраинской книжности существенную роль играли территории юго-западного языкового ареала, то основой нового литературного языка становится среднеднепровский (юго-восточный) диалект. На начальном этапе развития новой украинской литературы складывается представление о Центральной Украине как колыбели литературного языка. Издание «Русалки Днестровой» в 1837 г. разрушило монополию Поднепровья. В 30–40-е гг. за ней последовал ряд рукописных и печатных грамматик украинского языка, которые заложили основы кодификации литературного языка на базе юго-западных диалектов.

Появление словарей, грамматик, художественных и публицистических произведений, написанных представителями разных регионов Украины, говорило о формировании единого культурного и языкового пространства. Вместе с тем создавалась почва не только для уникальной вариативности форм и лексем, но и языкового соперничества. Окончательной языковой консолидации препятствовало то, что в Галичине и Закарпатье реализовались другие проекты литературных языков: в частности, там долгое время функционировало «язычие», в котором региональные украинские, русские, польские элементы накладывались на церковнославянскую основу.

Дискуссия 1891–1892 гг. о характере нового украинского литературного языка стала, с одной стороны, осознанием конфликта между «малорусской» и «галицкой» языковыми моделями, а с другой —

очередным шагом на пути к культурной и языковой консолидации всех украинских земель. Этому же способствовали решение о том, что общеукраинский литературный язык должен строиться на основе центральных диалектов и закрепление самого термина «украинский язык» за всеми его региональными разновидностями в конце XIX в. В 1920–30-е гг. этому в немалой степени также способствовала деятельность Института украинского языка (Киев) и Научного общества имени Т. Г. Шевченко (Львов). Однако и в период украинизации данный процесс не получил завершения.

В своем выступлении канд. ист. наук *Е. Ю. Борисенко* (ИСЛ РАН) затронула этнонациональный аспект политики союзного центра в отношении Украины в 1920–1930-е гг. Советское национальное строительство, целью которого было преодоление прежних противоречий и консолидация неоднородного государственного пространства, имело целый ряд аспектов — социальных, экономических, политических, культурных. В ходе строительства социализма предполагалось добиться «выравнивания уровней» различных народов (и, соответственно, регионов их проживания), в связи с чем необходимы были как местные кадры управленцев и интеллигенции, так и «национальные отряды рабочего класса».

Особое значение придавалось Украине — и в силу ее удельного веса в СССР, и в силу международного значения, являвшегося не в последнюю очередь отражением геополитических реалий. Выдвигая задачу украинизации промышленных районов и городов Украины, дабы обеспечить «смычку города с деревней», Сталин сознательно стремился превратить республику в «образцовую» по части решения национального вопроса. Создание системы преимуществ для титульной нации с целью обеспечения широкой поддержки режима на местах приводило к созданию этнической партийной элиты, что имело далеко идущие последствия как для самой Украины, так и для СССР.

В докладе канд. ист. наук *А. С. Карцова* (СПбГУ) «Внешнеполитическая мысль русского консерватизма (изоляциялизм, панславизм)» на материале последней трети XIX — начала XX вв. показано сосуществование и развитие двух внешнеполитических ориентаций отечественной консервативной мысли. Лишь с военным поражением России в Крымской войне и началом Великих реформ консервативная мысль разрабатывает развернутые доктрины внешней политики государства. На их генезис наложило отпечаток наличие среди консерваторов приверженцев как славянофильско-почвеннических, так и западнических взглядов.

Изоляционисты исходили из опасности дальнейшего расширения империи, указывая на пагубность увеличения ее полиэтничности и

перспективу столкновения с Центральными державами, которые представлялись им много предпочтительнее западных демократий. В начале XX в., когда среди изоляционистов было значительное число черносотенцев, на закрепление указанной позиции повлияло то, что славянофильская фразеология все более эксплуатировалась либералами октябристско-кадетского толка. Как показал исторический опыт, изоляционисты обнаружили большую прозорливость, предсказав, в частности, механизм вовлечения государств в мировой военный конфликт и роль в нем Балкан, находившихся в центре внимания всех отечественных геополитиков.

Экспансионисты, большинство которых являлись по своим убеждениям панславистами, также демонстрировали известный прагматизм. Так, стремясь предотвратить реализацию «великих идей» славянских народов, они принимали в расчет межславянские противоречия. Прагматическую составляющую панславизма усвоил геополитический преемник Российской империи — Советский Союз. Свои наблюдения докладчик основывал на изучении периодики.

Канд. ист. наук *Б. И. Греков* (ИСл РАН) в докладе «Западные регионы Российской империи и идея Срединной Европы в годы Первой мировой войны» остановился на важной германской геополитической концепции, оформившейся в 1915–1916 гг. и имевшей влияние на национальные движения ряда славянских и неславянских народов, в частности украинцев. Утверждение данной концепции в качестве государственного курса было задержано тем обстоятельством, что, имея в России значительные экономические интересы, Германия не порывала до конца деловых связей со своим восточным соседом даже после развертывания военных действий.

Наряду с пангерманцами, стремившимися к получению «территории без людей», существовали либеральные интерпретации доктрины Срединной Европы, которые, проявляя интерес к тем же территориям, предлагали иные методы вовлечения новых пространств в сферу влияния Германии. При этом делался акцент на экономическую привлекательность прогерманской ориентации для национально-государственных образований, которым предстояло возникнуть в результате распада России. Важную роль играла идея революционизации, изначально разработанная германскими стратегами как способ развала Британской империи. Широко использовались как национальные, так и социальные лозунги, включая право наций на самоопределение.

Конкретным инструментом претворения идеи Срединной Европы в жизнь стала Лига нерусских народов России, располагавшаяся в Швейцарии и финансируемая германским посольством, но

внешне сохранявшая лояльность в отношении западных партнеров России по Антанте. Документы МИДа Германии дают представление о денежных вливаниях, в том числе на издание и распространение в России журналов, которые адресовались народам западных регионов, отмеченных в то время повышенной социально-политической напряженностью. Германские геополитические установки были позднее подхвачены державами Антанты, что способствовало долговременному влиянию внешнего фактора на национальное самосознание уже на постимперском пространстве:

Канд. ист. наук *О. В. Хаванова* (ИСл РАН) в докладе «„Хунгарская“ и „мадьярская“ модели венгерской нации: от территориального к этническому принципу» рассмотрела две геополитические проекции венгерской нации, показав, как они складывались, сосуществовали и конкурировали во второй половине XVIII — начале XIX в. в контексте реформирования системы образования. Сформировавшаяся в средневековье надэтническая общность *Hungari*, т. е. жители Королевства Венгрия, которая объединяла все население этой страны, в XIX в. раскололась, уступив место враждовавшим друг с другом сообществам, основанным на национальных языках. Причины этих изменений давно волнуют венгерских ученых, однако системе образования в этом процессе не всегда уделяется должное внимание.

Школьная реформа, осуществленная в Венгрии в 70-е гг. XVIII в., не предполагала доминирующего положения венгерского языка. На начальных ступенях в преподавании должны были использоваться языки, распространенные в данной местности, на более высоких ступенях их сменяла объединявшая все этнические группы латынь. В то же время правящие круги монархии Габсбургов все яснее осознавали, что язык является мощным инструментом государственной консолидации и культурной гомогенизации. Усилия венских властей по насаждению немецкого языка в сфере образования свидетельствуют о том, что Габсбурги стремились вырастить новую, лояльную имперскому центру немецкоязычную элиту. Эта политика в сочетании с генеральной линией Вены на централизацию земель и провинций во второй половине XVIII в. привела к тому, что венгерская политическая элита и нарождавшиеся национальные интеллигенции невенгерских народов королевства (не в последнюю очередь выращенные новой школьной системой) признали модель нации, основанную на общности языка, единственно жизнеспособной и исторически перспективной.

В докладе д-ра ист. наук *И. И. Лещиловской* (ИСл РАН) представлены во взаимодействии географические, исторические, политические, социально-экономические, демографические и культурные

факторы, определившие геополитическое положение хорватского народа в первой половине XIX в. и придавшие особые черты иллиризма идеологии хорватского национально-освободительного движения.

Проживание хорватов на конфессиональном и цивилизационном разломе сказывалось на их судьбах, порождая, в частности, периодические колебания хорватской политической мысли между Западом и Востоком. Существенными особенностями исторического развития хорватов явились разделение этноса государственными и административными границами, отсутствие у него культурного единства в условиях существования литературы на трех диалектах, смешанное проживание хорватов с близкородственными народами, прежде всего сербами, с которыми у части хорватов был общий литературный язык. Политическое положение различных частей Хорватии в конце XVIII — первой половине XIX в. характеризовалось сохранением остатков былой автономии при растущем давлении со стороны Австрии и Венгрии.

Ответом на потребность в культурном объединении народа как условия сохранения его самобытности в условиях иноземного гнета стал иллиризм. Эта доктрина была нацелена на консолидацию хорватов путем единения с другими ветвями южного славянства, политическое воссоединение Хорватии, Славонии и Далмации в рамках Триединого королевства, защиту автономных прав и культурно-политическую ориентацию хорватов на Балканы. Далеко идущие южнославянские амбиции иллиризма остались утопией, однако в сложной геополитической ситуации в значительной степени раскрылся его этноконсолидирующий потенциал.

Д-р. ист. наук *Ар. А. Улуьян* (Институт всеобщей истории РАН) представил доклад на тему «Геопропространственные ориентиры этно-политических программ албанцев и греков в отношении соседних славянских народов (конец XIX–XX вв.)». Программы национального освобождения балканских народов, находившихся под властью Османской империи, формулировались с учетом этнического и конфессионального факторов. С конца XIX в. они приобрели у большинства из них ясно выраженные этнополитические черты, что во многом было обусловлено процессом образования на полуострове национальных государств.

Для греков и албанцев — единственных, помимо турок, неславянских народов Балкан — «славянский фактор» становился одним из главных при формулировании национально-государственных доктрин. С конца XIX и на протяжении всего XX в. основными элементами последних являлись алармистское восприятие целей внешне-политического курса славянских стран; поиск возможных путей ми-

нимизации исходящих от соседей угроз (реальных и мнимых); противодействие попыткам использования славянских государств родственными им славянскими меньшинствами, проживающими на заселенных греками и албанцами территориях или в пределах государственных границ Греции и Албании; стремление объединить все территории, где имелось компактное албанское и греческое население (а позднее и те территории, где оно не составляло большинства), в рамках национальной государственности.

Наряду с этими, во многом общими для этнополитических программ балканских народов элементами, существовали и другие, характерные именно для албанской и греческой «версий». Прежде всего это касалось исторической аргументации (автохтонность обоих народов, имманентно присущая им «балканскость», этнотерриториальное «распыление» как результат поздней миграции славянских народов и турок). Политическая составляющая рассматриваемых программ формулировалась в категориях «сохранения этнотерриториального единства» албанцев и греков, высокой степени связи двух народов с европейским геополитическим и культурным пространством, противодействия экспансии славянства. Данные положения с разной степенью интенсивности использовались как для внутренней консолидации Албании и Греции, так и при формировании внешнеполитического курса этих стран. «Славянский аспект» программ превращался также в инструмент воздействия албанцев и греков друг на друга в периоды, когда их кратковременные союзы со славянскими государствами преследовали цель собственного усиления в регионе.

Д-р ист. наук *В. И. Косик* (ИСл РАН) поделился своими размышлениями о роли национализма на Балканах в XIX–XX вв. В XIX в. балканские народы оставались статистами, по возможности, копируя путь Западной Европы: движущей силой, особенно в сербском случае, было желание сделаться европейцами. Кроме того, балканские народы являлись сателлитами великих держав, от поддержки которых в высокой степени зависело их будущее. Тем не менее все достижения национализм был склонен приписывать себе. Характеризуя в геополитической плоскости национализм как комплекс представлений о мерах, призванных распространить те или иные понятия о благе на соседние территории, можно сослаться на исторический опыт борьбы соседей за Македонию.

По крайней мере с начала XX в. история не столько вершится вновь, сколько конструируется в опоре на исторические традиции. Национализм плодотворен, когда он выступает хранителем культуры, способствует углублению самопознания этноса, оставаясь при

этом открытой системой, не препятствующей усвоению инациональных ценностей. Однако зачастую он реализует себя отнюдь не в культурной, а в политической плоскости, что, собственно, и наблюдается на современных Балканах.

Доклады, весьма разнообразные по привлеченному материалу и исследовательским подходам, вызвали живой интерес всех присутствовавших на конференции, показали актуальность и плодотворность постановки вопроса о геополитических проекциях национальных идей.

Л. Е. Горизонтов

День славянской письменности — 2002

24 мая во всем славянском мире проходит под знаком Дня славянской письменности и культуры. На филологическом факультете МГУ празднование этого дня давно стало доброй традицией. Именно к дню памяти святых равноапостольных Кирила и Мефодия приурочено проведение ежегодных Кирило-мефодиевских чтений, тематика которых непосредственно связана с религиозно-культурными аспектами истории славянских народов. Успели сложиться свои традиции празднования этого дня и в рамках действующего на факультете вот уже четвертый год Славянского культурно-информационного клуба. Поскольку своей главной задачей инициаторы создания клуба — слависты филологического факультета — считают знакомство с актуальными культурными событиями и процессами в славянских странах, то предыдущие заседания были сосредоточены главным образом на современности. Так, в 1999 г. в рамках Дня славянской письменности состоялся «неакадемический» разговор о современных славянских писателях, завоевавших всемирную популярность: М. Павиче, М. Кундере, С. Леме и И. Хмелевской. В 2000 г. темой заседания стал вклад представителей разных славянских народов, в частности, Ю. И. Венелина, Яна Черского, Э. Ф. Направника, в российскую культуру. В 2001 г. предметом живого обсуждения стала проблема «Славянские языки: сколько их».

21 мая 2002 г., в преддверие праздника, состоялось очередное заседание Славянского культурно-информационного клуба, посвященное на этот раз славянским, а точнее русским, древностям —

культурно-историческому наследию Великого Новгорода и новгородским берестяным грамотам. Тема вызвала большой интерес и у студентов, и у преподавателей, а мероприятие приобрело статус межфакультетского благодаря присутствию на нем представителей филологического и исторического факультетов, факультета иностранных языков, а также лекторов славянских языков, работающих со студентами-славистами разных специальностей.

Зав. кафедрой славянской филологии В. П. Гудков открыл заседание цитатой, принадлежащей А. В. Арциховскому, инициатору археологических исследований в Новгороде: «Чем больше раскопок будет производиться, тем больше они дадут драгоценных свитков березовой коры, которые в конце концов станут такими же источниками для истории Новгорода Великого, какими для истории эллинистического и римского Египта являются папирусы»². Развивая мысль А. В. Арциховского, В. П. Гудков отметил важность новгородских берестяных грамот не только для российской истории и истории русской письменной культуры, но и для славистики в целом. Исследования историков и филологов, базирующиеся на материале новгородских грамот, позволили расширить наши представления о жизни и быте древних славян, по-новому взглянуть на процессы членения славянского языкового массива в дописьменный период. Жанровое разнообразие и тематическое богатство грамот, включающих помимо документов хозяйственного и правового характера также частные письма и любовные послания, перевернули существующие представления о распространении грамотности в древней Руси в раннюю письменную эпоху. Особо была подчеркнута важность взаимодействия представителей разных гуманитарных наук в исследованиях новгородских грамот.

Интердисциплинарность и значимость проблемы наследия Великого Новгорода в равной мере для исторической и филологической науки определила и состав участников заседания. На историко-археологических аспектах изучения новгородских грамот остановилась в своем выступлении профессор исторического факультета Е. А. Рыбина — активная участница новгородских экспедиций, начиная с 1962 г. По результатам исследований ею опубликовано в общей сложности более 100 работ и 3 монографии, главным образом посвященных проблемам торговых связей Великого Новгорода, а также другим фактам материальной культуры. Из уст человека, имеющего непосредственное отношение к открытию грамот,

² Арциховский А. В., Тихомиров М. Н. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., 1953.

было особенно интересно услышать, как происходит первичная их обработка, консервация и восстановление древних памятников, дешифровка их содержания и дальнейшие научные исследования. Освещены были также проблемы датировки грамот с использованием разнообразных методик. Главную цель работы археолога и историка в ходе исследования древних новгородских памятников проф. Е. А. Рыбина сформулировала как стремление к максимальному извлечению всей содержащейся в них информации, как о духовной, так и материальной культуре. Было подчеркнуто значение грамот как ценнейшего исторического источника, содержащего сведения об особенностях быта, государственного устройства, торговли, хозяйства в разные периоды истории Великого Новгорода на протяжении с XI по XV вв. История подтвердила предположение А. В. Арциховского, высказанное в его книге: «Надо полагать к тому же, что берестяные грамоты будут найдены не только в Новгороде, но и в других русских городах»³. Проф. Е. А. Рыбина подчеркнула, что в настоящий момент из 1007 грамот 90 были обнаружены в других регионах, что превращает грамоты в универсальный источник сведений по истории всей Древней Руси, позволяет восстановить древние торговые связи и хозяйственные контакты между древнерусскими территориями. Особо была отмечена важность новгородских берестяных грамот для истории письменной культуры и образования населения Древней Руси, чрезвычайную роль здесь сыграла и сенсационная новгородская находка 2000 г. — псалтирь первой трети XI в., ставшая древнейшим из известных нам славянских письменных памятников.

Взгляд на новгородские грамоты как источник собственно филологической информации представила доктор филологических наук, историк языка проф. М. Н. Шевелева. Отметив ценность фонда грамот для истории древненовгородского диалекта, позволяющего проследить его эволюцию на протяжении 4 веков: с XI по XIV, М. Н. Шевелева специально остановилась на значении новгородских памятников письменности для всей истории русского языка и славистики в целом. Тщательный анализ лингвистических особенностей новгородских грамот позволил акад. А. А. Зализняку выявить целый ряд признаков на разных уровнях языковой системы, по которым древненовгородский диалект противостоит не только всем остальным русским диалектам и восточнославянским языкам, но и всем прочим славянским языкам. На ярких убедительных примерах из сферы фонетики (отсутствие перехода зад-

³ Там же. С. 9.

неязычных в свистящие аффрикаты по 2 палатализации) и морфологии (специфическое окончание в И. п. мн. ч. существительных *о-основ: хлебе) М. Н. Шевелева продемонстрировала собравшимся уникальное положение древненовгородского диалекта в семье славянских языков. Эти лингвистические факты перевернули существовавшие представления о последовательности процессов интеграции и дифференциации в рамках славянского языкового континуума, поставив под сомнение господствовавшую в течение многих лет теорию о существовании некоего единого общего восточнославянского языка как промежуточного звена на пути от праславянского к отдельным восточнославянским языкам. Было подчеркнуто, что тем самым в совершенно новом свете предстает вся картина распада праславянской общности и дальнейшее развитие отдельных славянских языков и их групп, в частности, восточнославянской.

Нынешнее заседание Славянского культурно-информационного клуба еще раз убедительно продемонстрировало плодотворность взаимодействия смежных гуманитарных дисциплин, каковыми являются история и филология, в освещении проблем культурно-исторического наследия. Взгляды филологов и историков на проблему культурного достояния Великого Новгорода взаимно дополняют и обогащают друг друга, являясь в равной мере необходимыми слагаемыми для формирования полноценного представления об этом явлении в славянской культуре. Такой интердисциплинарный подход позволяет воссоздать общий культурно-исторический контекст, делающий новгородские грамоты одним из важных элементов духовной и материальной культуры в раннюю письменную эпоху истории славянства.

О. А. Остапчук

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>От редколлегии</i> | 3 |
|-----------------------------|---|

Пленарное заседание

| | |
|--|----|
| <i>Н. Н. Покровский</i> (Новосибирск). Поиски и находки памятников кириллической письменности и печати в Сибири..... | 4 |
| <i>Е. К. Ромодановская</i> (Новосибирск). Литературная деятельность Тобольского архиерейского дома в XVII в. | 16 |
| <i>А. А. Гиппиус</i> (Москва). У истоков древнерусской исторической традиции..... | 25 |
| <i>Б. В. Носов</i> (Москва). Славянские народы на рубеже XXI в. | 44 |

История

| | |
|---|-----|
| <i>Б. Н. Флоря</i> (Москва). Смоленщина и Московская патриархия накануне Русско-польской войны..... | 49 |
| <i>Н. С. Гурьянова</i> (Новосибирск). Эсхатологические построения сибирских старообрядцев XVIII в. и традиции русского православия..... | 54 |
| <i>А. И. Мальцев</i> (Новосибирск). Православная традиция пустынножителства в сочинениях сибирских старообрядцев..... | 64 |
| <i>И. И. Лещиловская</i> (Москва). Серб – сподвижник Петра I. Граф Рагузинский..... | 70 |
| <i>С. С. Беляков</i> (Екатеринбург). Южные славяне глазами московского славянофила: Путешествие И. С. Аксакова по славянским землям: май–август 1860..... | 94 |
| <i>А. Л. Шемякин</i> (Москва). Митрополит Михаил в эмиграции (вместе с Николой Пашичем против Милана Обреновича) | 112 |
| <i>А. А. Турилов</i> (Москва). К истории второй (македонской) рукописной коллекции А. Ф. Гильфердинга | 130 |
| <i>Е. П. Аксенова</i> (Москва). «Я не сделался славистом» (К 170-летию со дня рождения А. Н. Пыпина) | 144 |

| | |
|---|-----|
| <i>Л. П. Лаптева</i> (Москва). Казанский славист Мемнон Петрович Петровский (1833–1912) | 152 |
| <i>М. А. Робинсон</i> (Москва). Академик В. Н. Перетц — ученик и учитель..... | 178 |
| <i>А. Н. Горяинов</i> (Москва). Всеволод Измайлович Срезневский — археограф, славяновед и общественный деятель | 237 |
| <i>М. Ю. Досталь</i> (Москва). Сектор славяноведения Института истории АН СССР | 253 |

История культуры

| | |
|---|-----|
| <i>А. А. Плотникова</i> (Москва). Славянские культурные диалекты в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» | 291 |
| <i>Г. П. Мельников</i> (Москва). Патриотизм и европейскость в поэзии Богуслава Гасиштейнского из Лобковиц | 299 |
| <i>О. Д. Журавель</i> (Новосибирск). «Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мошей и отчасти сказание о чудесах святого и праведного Симеона, новаго Сибирскаго чудотворца»: модификация агиографического канона..... | 311 |
| <i>И. В. Кузнецов</i> (Новосибирск). К вопросу об аудиторрии «полезных повестей» в русской культуре «переходного периода» | 319 |
| <i>Л. А. Софронова</i> (Москва). Российский Театрон | 325 |
| <i>Н. К. Чернышова</i> (Новосибирск). Украинские духовные писатели о святителе Иннокентии, первом епископе Иркутском..... | 342 |
| <i>Н. Д. Зольникова</i> (Новосибирск). Древнерусское наследие и новая литература в творчестве сибирских народных писателей-староверов конца XIX — начала XX вв. | 351 |
| <i>В. А. Нилова, Ю. И. Штакельберг</i> (С.-Петербург). Два польских короля в костеле на Невском проспекте | 359 |
| <i>Н. В. Шведова</i> (Москва). Словацкий и русский символизм: черты сходства и различия..... | 374 |
| <i>С. В. Никольский</i> (Москва). Синтез художественных структур в творчестве М. Булгакова и русско-чешские литературные контакты | 386 |

| | |
|---|-----|
| <i>Н. Н. Старикова</i> (Москва). Исторический роман Словении 1920–1930-х гг. Типологический аспект..... | 399 |
| <i>Е. И. Жимулева</i> (Новосибирск). Обычай рождественского христославения в народной культуре Сибири..... | 407 |
| <i>Н. А. Урсегова</i> (Новосибирск). Жанровый состав украинского фольклора Новосибирской области..... | 418 |
| <i>Н. В. Леонова</i> (Новосибирск). Белорусский фольклор в контексте сибирских славянских традиций..... | 427 |
| <i>Л. Н. Будагова</i> (Москва). К выходу третьего тома «Истории литератур западных и южных славян»..... | 437 |

Языкознание

| | |
|--|-----|
| <i>Т. И. Вендина</i> (Москва). Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской традиционной духовной культуры..... | 448 |
| <i>Н. Н. Запольская</i> (Москва). Библейские цитаты в текстах конфессиональной культуры: семантика, функции, адаптация..... | 482 |

Публикации

| | |
|---|-----|
| <i>О. С. Данилова</i> (Екатеринбург). «Цивилизация духа и души»: русские глазами французского славянофила..... | 493 |
| <i>А. А. Заварин</i> (Сан-Франциско). Сербский период. Вступительное слово В. И. Косика (Москва)..... | 504 |

Рецензии

| | |
|--|-----|
| <i>А. С. Стыкалин</i> (Москва). Проблемы польской и чехословацкой истории в работе И. Бибо «О бедствиях и убожестве малых восточно-евро- пейских государств» (1946). К выходу российского издания..... | 521 |
| <i>Е. П. Серапионова</i> (Москва). Дружба длиной в полстолетия..... | 536 |

Хроника

| | |
|---|-----|
| Национальные идеи и их геополитические проекции (Восточная, Центральная и Юго-Восточная Европа) (<i>Л. Е. Горизонтов</i>) (Москва)..... | 544 |
| День славянской письменности — 2002 (<i>О. А. Остапчук</i>) (Москва)..... | 553 |

Научное издание

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ 2002

Корректор — *С. М. Хорошкина*
Оригинал-макет — *Л. Е. Коритысская*

Издательство «Индрик»

Книги издательства «Индрик»
можно приобрести
в книжной галерее «НИНА» по адресу:
ул. Б. Якиманка, д. 6
тел. 238-02-69

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other INDRIK publications may be ordered by

e-mail: indric@mail.ru
or by tel./fax: +7 095 938 57 15

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
(ОКП) — 95 3800 5

Изд. лиц. ЛР № 070644 от 19 декабря 1997 г.
Подписано в печать 07.05.03. Формат 60×90 1/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 35,0. Тираж 1000 экз. Заказ 1791.

Издательско-производственная фирма «ИНДРИК».
117218, Москва, Новочеремушкинская ул., д. 34.

Отпечатано с оригинал-макета
в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»,
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86.

